

Вадим Кожевников

5

Scan Kreyder - 27.02.2018 - STERLITAMAK

**Вадим
Кожевников**

Собрание сочинений

КВадим ОЖЕВНИКОВ

Собрание
сочинений
в девяти
томах



Москва
«Художественная
литература»
1987

К Вадим Кожевников

Собрание
сочинений
Том
пятый

Заре
навстречу
Роман



Москва
«Художественная
литература»
1987

P2
K58

Оформление художника

Ю. Б о я р с к о г о

Кожевников В. М.

K58 Собрание сочинений. В 9-ти т. Т. 5. Заре навстречу: Роман. — М.: Худож. лит., 1987. — 688 с.

«Заре навстречу» — многоплановое повествование о революционном движении в Сибири, Октябрьской революции и строительстве новой жизни. Рисуя образ юного Тимофея Сапожкова, автор показал процесс формирования характера нашего современника.

K $\frac{4702010200-008}{028(01)-87}$ подписное

ББК 84Р7

© Оформление. Издательство «Художественная литература», 1987 г.

3
аре
навстречу

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Что бы ни случалось, отец всегда держал себя с Тимой вежливо.

Когда Тима опрокинул на пол керосиновую лампу и похожий на шляпу зеленый стеклянный абажур разбился вдребезги, отец только сказал огорченно:

— Ну, брат, натворили мы с тобой! Придет мама, что мы ей скажем? — Присев на корточки, отец собирал осколки в газету.

— Папа! — заявил Тима. — Хочешь, пойду на кухню и посижу там один всю ночь, пока мама не простит?

Петр Григорьевич высыпал осколки в помойное ведро, долго молча ходил по комнате, пощипывая бородку, потом заглянул под стол, куда залез Тима, чтобы не видеть опечаленного отцовского лица, и произнес сердито:

— Только слабодушные люди могут просить о наказании, не чувствуя за собой вины.

— Папа, — проныл Тима, — я же печаянно его разбил!

— Тогда есть все основания упрекнуть тебя в лицемерии, — правоучительно сказал отец.

— Я же просто испугался, когда разбил!

— Выходит, ты трус?!

Этого Тима перенести не мог. Он вылез из-под стола, подошел к отцу и спросил, задыхаясь от обиды:

— Значит, я трус, по-твоему?

— Да, — спокойно ответил отец.

В отчаянии озираясь, Тима увидел на табуретке кринку с молоком, накрытую сверху блюдечком.

Вызывающе глядя в глаза отцу, Тима взял кринку в обе руки, высоко поднял ее, помедлил и бросил изо всех сил об пол.

— Вот, — прошентал Тима, — и еще чего-нибудь разобью!

Отец, сощурившись, смотрел на Тиму.

— Ты знаешь на кого сейчас похож? На погромщика!

Тима знал, кто такие погромщики. Об этом рассказывала мама. Его еще не было на свете, а мама тогда жила в Ростове, где по улицам ходили с портретами царя ломовые извозчики и лабазники. Мама прятала от них свою подругу Эсфирь. Когда в дверь стали бить каблуками, папа — который еще вовсе не был папой, а просто пришел в гости к маме, — снял студенческую тужурку, надел на пальцы оловянный кастет, скинул крючок с двери и стал драться в прихожей. Если бы рабочие-дружинники не разогнали погромщиков, папу убили бы. У папы до сих пор бровь рассечена белым шрамом.

Погромщики — это было самое оскорбительное в доме слово... Тима зажмурился, глубоко вздохнул, чтобы набраться сил, и разразился отчаянными рыданиями. И когда наконец открыл слипшиеся от слез глаза, увидел, что отец стоит у двери одетый.

— Папа, папочка, — закричал Тима истошно, — только не уходи!

— Я пойду к соседям занять молока, — спокойно сказал отец. — Если ты боишься один посидеть в комнате, — насмешливо предложил он, — пожалуйста, идем вместе.

— Но ты вернешься, не обманешь?

— Я никогда не обманываю и не говорю неправду! — сказал сердито отец и попросил: — Будь добр, возьми тряпку и вытри пол.

Всхлипывая, Тима долго возил тяжелой мокрой тряпкой по молочной луже. Потом он положил тряпку возле помойного ведра, вымыл под умывальником руки и, вздохнув, уселся в углу между печкой и умывальником. В кухне было темно и страшно. Вокруг железной дверцы печки собрались кучкой черные тараканы. По сырой стене, где был прибит умывальник, ползали мокрицы. У помойного ведра скреблась мышь, в кладовке грохотал пустой посудой хомяк.

«Как в тюрьме, — подумал Тима, — только в тюрьме больше животных, папа говорил, самое противное там — клопы и блохи, а мыши даже ничего, с ними весело. Папа воспитал одну, она у него из рук крошки ела».

Вот Тиму папа тоже очень терпеливо воспитывает, никогда не ругает, не бьет, он только рассказывает ровным, спокойным голосом, каким должен быть человек — честным, правдивым, смелым. Но когда мама хвалилась, что Тима сам умеет ставить самовар и ходит за водой к водоразборной будке, отец сказал: «Это же — естественное чувство долга».

Сознание вины терзало сердце Тимы, хотя он и считал себя оскорбленным. Ведь Тима так редко видит отца. Почему отец всегда разговаривает с ним, как со взрослым? У Вовки Сухорева отец тоже сидел в тюрьмах и тоже вернулся из ссылки, но он своего Вовку водит повсюду с собой и хвастливо говорит:

— Видали моего отпрыска? А ну, Вовка! Вопрос: кто есть узурпатор, кровопийца, губитель народа?

— Царь-император, самодержец Николай Второй и последний, — бойко отвечает Вовка, весело поблескивая хитрыми глазами.

А вот отец Тимы строго-настрого запретил ему говорить плохое о царе. И каждый раз поспешно посылает гулять на улицу, когда приходят гости.

Правда, однажды произошел ужасный случай. Но Тима тогда был еще совсем маленьким. Они приехали тайком из Нарыма в уездный сибирский город в большой просмоленной лодке и поселились в гостинице «Дворянское подворье».

Отец сбрил бороду, усы и стал сразу очень молодым. А мама расплела косы, сделала высокую прическу, купила жакет, расшитый черной тесьмой, и стала очень красивой, но только уж слишком важной, как жена нарымского урядника.

— Ну, старик, — говорил отец Тиме, сияя, — скоро в Россию поедem! — и мечтательно добавлял: — Там, брат, тепло.

А мама тревожно спрашивала, расправляя буфы на плечах жакета:

— Как ты думаешь, Петр? Не будет сразу слишком бросаться в глаза, что я одета несколько провинциально?

Потом мама с папой шептались, а отец вполголоса говорил:

— Паспорта надежнее настоящих, уж это, Варюша, будь спокойна, лучшего гравера, чем Изаксон, во всей Сибири нет. Артист! Он всем нашим стряпает.

Родители с утра уходили в город и приходили только вечером, счастливые и оживленные.

Как-то Тима полдня просидел в номере. Когда ему стало совсем невтерпеж одному, он открыл дверь и вышел в коридор, что было ему строго запрещено.

Тима долго бродил по длинному пустынному коридору «Дворянского подворья», не спуская глаз со своих желтых, совсем еще новеньких козловых ботинок. Вдруг кто-то

поднял его высоко вверх и весело оглушительным голосом спросил:

— Не жмут ботинки-то? — И, не дожидаясь ответа, краснорожий, усатый, стриженный ежиком человек предложил: — Желаете поглядеть, как я «Барыню» пляшу?

Притопнув ногами в чесаных валенках с галошами, подпрыгнул, легко и быстро прошелся по коридору вприсядку. Наклонился над Тимой и заговорщицки спросил:

— Пряники будем есть или как? — Заметив, что Тима колеблется, воскликнул: — Стой, я те лучше щегла покажу! Он только по обличью щегол, а поет, как кенар. А кота ученого зреть желаешь? Через ногу по команде прыгает!

Человек взял ошеломленного Тиму за руку и привел его в комнатнушку под лестницей, где жил швейцар.

Под потолком в клетке сидел, нахохлившись, жирный снегирь. Человек просунул сквозь прутья клетки палец, столкнул снегиря с жердочки и разочарованно сказал:

— А я думал, Енакентий щегла держит. Тоже ценитель!

Потом опустился на пол, пошарил под койкой веником и весело заявил:

— Удрал кот куда-то. Но ничего, мы его еще сыщем. — Похлопал ладонью по табуретке и предложил: — Садись! Я тебе, покуда кот не явится, один фокус-покус покажу. У тебя монета есть? Тогда держи от меня пятиалтынный насовсем. Теперь ты с этим капиталом можешь чем хочешь завладеть. Тебе небось отец денег не даст. Приказчики — они народ жадный.

— Мой папа не жадный и вовсе не приказчик, — обиделся Тима.

Человек рассмеялся и сказал:

— Я же шучу. Это про твоего отца глупость сказал тут один подрядчик. Отец у него в Семипалатинске, когда вы там жили, деньжищи зажал и не отдает.

— А мы в Семипалатинске никогда не жили, врете вы все про папу! — возмутился Тима и положил пятиалтынный на стол.

— Да ты не обижайся. На хороших людей всегда клепают. — И человек пригрозил: — Уж я теперь тому подрядчику бока обломаю! — И озабоченно осведомился: — Так где, ты говоришь, вы до этого жили?

— В Нарыме! — горячо сказал Тима. — Честное слово, в Нарыме!

Человек просиял и стал радостно сыпать словами:

— Ну, спасибо, друг, выручил ты меня, как говорится!

Камень с сердца снял! — С уважением, как взрослому, пожал Тиме руку: — Ну, прямо ты мне душу облегчил!

Вечером, когда Тима с папой и мамой пил чай в номере и папа снова рассказывал Тиме о том, как хорошо им будет в России, дверь отворилась и вошел жандармский офицер в сопровождении двух полицейских. В одном из них Тима с ужасом узнал своего знакомого.

Офицер вежливо поклонился матери, приложив к фуражке два пальца:

— Прошу прощения за столь внезапное вторжение, мадам! — Обернувшись к отцу, мгновенно свирепо меняясь в лице, отрывисто приказал: — Попрошу одеться и следовать.

Отец продолжал спокойно сидеть за столом.

— Господин жандармский офицер, надеюсь, вы знаете порядки и сообщите хотя бы мотивы?..

— Грызлов! — крикнул офицер.

Полицейский, в котором Тима узнал своего знакомого, шагнул вперед, ослабилась и проговорил радостно, показывая пальцем на Тиму:

— Мальчик вот все как есть мне сегодня доложил. — И, обращаясь к отцу, укоризненно сказал: — Так что вы, господин, не запирайтесь. Не из какого вы Семипалатинска. А самым что ни на есть бесчестным образом нарушили статью закона.

— Ну и мерзавец! — сказал отец.

— Мал еще! Не обучен врать, — благодушно заступился за Тиму полицейский.

— Это я тебе говорю, негодяй!

— А вы мне не тыкайте, — обиделся полицейский и обратился к офицеру плаксивым голосом: — Ваше благородие, попрошу внести в протокол оскорбление при исполнении службы.

Отец молча надел пальто, держа шапку в руке, подошел к матери, осторожно и нежно поцеловал ее в висок, потом взял Тиму на руки, прижал к груди его дрожащее, мокрое лицо и сказал тихо, вполголоса:

— Не плачь, глупыш. Взрослые, умные люди и те иногда пасовали перед провокаторами. А ты же у нас еще совсем маленький.

Спустя два месяца Тима вместе с мамой ехал на буксирном пароходе, вниз по реке. Все время шел мокрый снег, а кругом стояла густая, темно-синяя тайга. Вся река была

пятнистой от слипшихся льдин. Чем дальше плыли на север, тем реже становилась тайга, а льдины — огромное, матросы все время отталкивали их от парохода шестами. Потом пароход остановился, и Тиму с мамой свезли на берег в лодке. Три дня их вез на санях нерусский широколицый старик. В низкие сани были впряжены два оленя, и старик погонял их не кнутом, а тонкой длинной палкой.

Они ехали по белой пустыне без дороги, вокруг торчали какие-то низенькие, кривые деревца ростом с Тиму. Все вокруг было одинаково бело, и Тиме казалось, что они никак не могут съехать с одного места. Но вот показались закопченные кучи снега.

— Медвежья Лапа, — сказал возница. — Приехали.

Тима сначала не узнал отца, одетого с головой в такой же меховой мешок, какой был и на вознице. Лицо его, худое, желтое, густо обросло, а губы были сухие и жесткие.

Мама поцеловала отца, а потом стала обнимать одинаково одетых в меховые малицы людей.

— Господи, Эсфирь, какая же ты толстая стала! — удивленно воскликнула она. — Георгий, милый, какая радость! Федор, у тебя борода совсем как у деда! — Потом почтительно произнесла: — Здравствуйте, товарищ Рыжиков, — и робко спросила: — Но ведь вас...

— Заменили!.. Бессрочной! — весело сказал небольшого роста человек с блестящими голубыми глазами и маленькой, аккуратно подстриженной бородкой на скуластом лице.

Отец жил в двухэтажной избе, срубленной из больших коричневых бревен. Верх служил хозяевам сараем. Там хранилось сено и на стенах висели просмоленные сети. Большую часть нижнего этажа занимала огромная русская печь, похожая на пещеру. С потолка свисали гирлянды утиных клювов, на полу были разостланы лосевые шкуры, а на шкафу, сколоченном из нетесаных досок, лежал настоящий шаманский бубен и на нем сушеная заячья лапа.

Часто у отца в избе собирались ссыльные. Все они баловали Тиму, ласково называя его «сибирячком».

Толстая Эсфирь подарила ему унты, вышитые бисером, а Федор Захарович принес мохнатого розовоносого щенка с голубыми веселыми, как у Рыжикова, глазами.

Ссыльные совсем не выглядели несчастными и печальными. Собираясь вместе, они варили в ведре пельмени или пекли пироги с зайчатинной, а на сладкое — шанежки с голубикой. Но, садясь за стол, все начинали очень громко

и сердито спорить друг с другом и даже ссориться. Георгий Савич однажды сказал Эсфири:

— У тебя нет отечества, поэтому ты и стоишь на пораженческих позициях, а я русский и хочу победы над тевтонами.

Мама сорвала с вешалки тяжелую собачью доху Савича и, бросив ее на пол, гневно приказала:

— Вон отсюда!

— Варя, так нельзя, — примирительно попросил отец.

— Молчи, Петр! — крикнула мама и, подойдя вплотную к Савичу, произнесла шепотом: — Ты шовинист, Георгий, отвратительный шовинист. Я тебя ненавижу!

Бросившись к Эсфири, мама стала горячо обнимать ее. Но Эсфирь спокойно отстранила маму.

— Ты, Варвара, очень шумная и экспансивная, — произнесла она меланхолично. — Здесь тебе не Нарым. Там вы и театр создали и землячество. Даже из Женевы посыпочки получали, а тут нас мало, и мы должны бережно относиться друг к другу, терпеливо, заботливо. А ты гав-гав, пошел вон. А куда он пойдет один? Одному тут с тоски удавиться можно. Кроме того, у Георгия брат, офицер, погиб на фронте.

— И у Рыжикова брат погиб, — не сдавалась мама. — Рыжиков — большевик, ленинец, а Георгий — меньшевик, оборонец!

Обратившись к Савичу, Эсфирь сказала ласково:

— Не кипятись, Георгий, сядь. Давай будем с тобой ругаться спокойно, организованно.

С этих пор, если и происходили ссоры, то тут же поссорившиеся были обязаны помириться.

Вся эта маленькая колония ссыльных жила как одна большая семья. Они придумали для себя курсы и даже сдавали друг другу экзамены. Бывший адвокат Савич читал лекции по вопросам права, Рыжиков преподавал философию, а отец — медицину, Эсфирь обучала немецкому и французскому языкам. Только Федор ничему не учил, но сам учился старательнее всех. Когда Эсфирь ставила ему двойку, он долго ходил за ней и капючил: «Давай пересдам, неловко мне, все равно как приготовишке, с двойкой ходить».

Но Эсфирь была непреклонна, хотя Федор считался ее женихом.

Все они каждый день ходили на стойбище к чукчам и преподавали в созданной ими там школе для детей и взрослых. Занятия проводились в обшитом берестой чуме,

посередине горел костер, и дым его уходил в дыру, туда, где были связаны концы закопченных жердей. Учили русскому языку и арифметике.

Старшим у ссыльных считался Рыжиков. Должно быть, потому, что Рыжиков когда-то был приговорен к смертной казни и отбывал каторгу. Он очень строго требовал от каждого выполнения своих обязанностей. Один ведал доставкой дров, другой — воды, третий — провианта. Мама и Эсфирь стирали. Иногда ссыльные брали под честное слово охотничье ружье и гурьбой уходили на охоту. Случалось, на кого-нибудь нападала тоска, и тогда остальные совещались, придумывали средство, чтобы отвлечь, разве-сели товарища.

Когда затосковал Савич, жена которого находилась в минусинской ссылке, Рыжиков объявил уряднику, что, если тот не отдаст Савичу письма жены, он обязательно ударится в бега. Начальство за это не погладит урядника по головке. Урядник лишил Рыжикова права выходить из поселка, но письма отдал.

Когда Тима простудился, чаще других у его постели дежурил Федор. У него было красное, обмороженное лицо, жесткие солдатские усы и маленькие ловкие руки. Он мастерил пожом игрушки из сосновой коры и рассказывал Тиме, какая необыкновенно богатая и красивая земля Сибирь, сколько в ней золота, металлов, угля, какие могучие и обильные рыбой реки и как здесь потом будет хорошо жить людям.

Тима знал, что значит это слово «потом». Это когда царя прогонят.

Дядя Федор очень пугался, когда Тиме вдруг становилось плохо. Он дул ему в лицо и упрасивал: «Тимофей, друг, ты уж нас не подводи, превозможись, голубчик».

Весной, как только прошел лед, Федор вместе с Эсфирью бежал на обласе ¹. Потом, когда стало известно, что, благополучно добравшись до Урала, Федор добыл надежные документы и пошел добровольцем на фронт, Савич сказал, возмущенно пожимая плечами:

— Я отказываюсь понимать всю противоречивость позиции Федора. Бежать на фронт, будучи пораженцем! Получить там «Георгия» за храбрость и попасть под военно-полевой суд за противовоенную пропаганду. Это нонсенс!

Кончился срок дальней ссылки, и снова Сапожковы

¹ Выдолбленная из цельного дерева лодка. (Здесь и далее примеч. автора.)

плыли на пароходе, но уже вверх по реке. В Россию отец с матерью так и не доехали. Тима заболел брюшным тифом, пришлось задержаться в первом попавшемся сибирском городке, где, к счастью, оказались их близкие друзья: Рыжиков, Эсфирь, Савичи. Денег не было, залезли в долги. Отец поступил работать фельдшером в железнодорожную больницу, а мать — статистиком в городскую управу. Мать очень тосковала по России и пробовала копить деньги на дорогу — бегала еще по частным урокам.

Возвращалась она всегда поздно вечером, а отец приходил только с субботы на воскресенье, так как железнодорожная больница находилась далеко от города.

Последнее время Петр Григорьевич совсем не появлялся дома: его перевели работать в сыпнотифозные бараки.

И вот надо же было так случиться, что, когда папа наконец пришел, Тима нагрубил, обидел отца.

В темном и затхлом закутке на кухне пахло помоями, плесенью, а из больших щелей в деревянном полу несло холодом.

Тима с горьким сожалением думал: «Вот убегу на фронт, как дядя Федор! Тогда Эсфирь не будет больше упрекать маму, что она из-за меня перестала заниматься революцией. И почему Эсфирь считают железной? Толстая, с темными яркими глазами, рыжая, курит все время! Разговаривает, как учительница. И как она смела сказать отцу, что он болтается где-то между Плехановым и Мартовым? Нигде он не болтается, а служит старшим фельдшером железнодорожной больницы. Это Эсфирь болтается всегда неизвестно где. И когда Тима спросил ее: «Тетя Эсфирь, а вы где служите?» — она ответила непонятно: «Там, где партия, Тимочка, там я и служу».

Ну какая же это служба, когда известно, что за это им денег не платят, а даже, наоборот, чего-то они сами в партию платят! Правда, Эсфирь очень любит маму. Но тоже сказала ей обидное: «Ты, Варюха, к большевикам примкнула не по убеждению, а потому, что в большевиках оказалось много твоих приятелей, потому, что не любишь Георгия».

— Да,— вызывающе сказала мама,— не люблю, мне отвратительны эти снисходительные рассуждения о народе! Поспел он или не поспел для революции... Конечно, я не так марксистски образованна, как ты. Простая техничка. Но, если хочешь знать, я пошла к большевикам как мать, которая готова все сделать, чтобы ее сын мог жить в таком обществе, где не будет всей этой мерзости.

Вот как мама сильно любит Тиму. Значит, она и революцию делает для того, чтобы ему жилось хорошо. Милая, прекрасная, такая красивая, такая молодая, веселая, нежная мама!..

Открылась дверь, и с улицы в кухню вошла мама. На ней была маленькая круглая каракулевая шапочка, короткий жакет обхватывал плотно тонкую, как у ласточки, талию, в руках пакеты с покупками. Мама пытливо посмотрела на Тиму, потом перевела взгляд на помойное ведро, где лежали осколки зеленого стеклянного абажура и коричневые глиняные черепки кринки.

Положив покупки на кухонный стол и не дав Тиме даже открыть рот, мама быстро и ловко его отшлепала и сказала:

— А ну, марш отсюда!

Зажгла керосинку, налила в кастрюлю воды, высыпала туда из пакета сосиски, спросила:

— Отец приходил? — и, подмигнув, показала шоколадку с движущейся картинкой. Но, вспомнив, нахмурилась и добавила лукаво: — Если еще что-нибудь не нашкодил, получишь.

На сердце Тимы сразу стало светло и радостно. И как это мама умеет разрешать самое трудное, неприятное легко и просто. Какая она умная и все понимает!

Пришел отец, бережно держа в руках кастрюльку с молоком. Взглянув на Тиму и сразу сообразив, что здесь произошло, он сказал, болезненно морщась:

— Ты знаешь, Варя, я против подобных наказаний ребенка. Тем более, в сущности, история с абажуром — следствие уважительной причины. Ребенок нуждается в движении. Что касается кринки с молоком...

Отец осторожно поставил кастрюльку на стол и задумчиво поднес руку к подбородку.

— Ах, Петр, ты так все сложно объясняешь! — сказала мама, точно и быстро нарезая на листе пергаментной бумаги тонкими ломтиками чайную колбасу. — Я уже слышала. Не умею воспитывать... — Откинув пепельные пряди с лица тыльной стороной ладони, произнесла жалобно: — Может, я и неправильно делаю, что его шлепаю, но, кажется, даже Песталоцци рекомендует...

— Не думаю, — неуверенно сказал отец. — Видишь ли, всякое насилие, в какой бы форме оно ни проявлялось, унижает... — И поспешил добавить: — Хотя я отнюдь не против гуманной борьбы с дурными наклонностями ребенка...

«И что это такое? — обиженно думал Тима. — Разгова-

ривают обо мне, словно я какой-то больной, докторскими словами. Ведь все ясно. Ну, разбил абажур и кринку тоже. Мама отлупила. Чего же им еще от меня надо?»

— Что мы все торчим в кухне? — сказала мама. — Идем ужинать.

На ходу, задумчиво пощипывая бородку, отец продолжал рассуждать:

— На формирование характера ребенка наиболее разительно влияют различные факты действительности, с которыми он сталкивается повседневно, и я полагаю...

— Все понятно! — раздраженно прервала мама. — Но эта действительность пока ни от тебя, ни от меня не зависит. — И строго приказала Тиме: — А ну, марш мыть руки! Все за стол. — И торжествующе заявила: — Сегодня у нас сосиски. — Она деловито пояснила: — Из конины. И то я за ними сколько простояла.

Подозрительно оглядев руки отца, сердито спросила:

— А ты, Петр, не считаешь, что садиться за стол с такими руками — дурной пример для ребенка?

— Варенька, они абсолютно чистые, — взмолился отец. — Только пятна от карболового раствора. Так они же не отмываются!

— Не отмываются только у нерях и лентяев. Возьми щетку и потри.

Потом мама сняла со стола голую, без абажура, лампу, высоко подняла ее над головой и, вздернув подбородок, спросила надменно:

— Ну, что вы на это скажете?

Отец тревожно осмотрел маму и заявил обрадованно:

— Новая прическа?

— Нет, — возмутилась мама, — ты просто уже забыл меня.

— А я знаю, — запрыгал вокруг матери Тима, — воротничок! Воротничок новый!

— Да! — гордо сказала мама. — Из настоящего батиста. Купила на распродаже у Шмидта!

— Тебе очень идет, — заискивающе произнес отец. — То-то я думаю, отчего ты сегодня какая-то особенная.

— Никто в мире так не любит роскошно одеваться, как я! — вызывающе сказала мама.

— Ну что ты, Варенька! — замахал руками отец. — Разве я тебя упрекаю? — Потом он поежился и сказал виновато: — Я очень люблю, когда ты красивая. Только, понимаешь, какая история, мы немножко денег в больнице собрали для семьи машиниста Борисова. Управление счи-

тает, что взрыв котла произошел по его вине, и в пособии отказали. Хотя всем известно, что паровозы давно пришли в состояние полной непригодности.

— Какие негодяи! — возмутилась мама и строго спросила: — Надеюсь, ты...

— Конечно, Варенька! — обрадовался отец и, облегченно вздыхая, объяснил: — Но семь рублей я занял для нас у начальника эпидемического отряда, милейшего человека, в счет жалованья за будущий месяц.

— Ну и отлично! — сказала мама. — А Пичугин пождет!

Пичугин был владельцем дома, в котором поселились Сапожковы. Ему принадлежали также кирпичный завод и ресторан «Эдем» на главной улице города. Однажды Пичугин посетил Сапожковых. В снотовой шубе, высокой бобровой шапке и черных фетровых ботинках на металлических застёжках, держа в руках сучковатую, ярко полированную палку с серебряными монограммами, он осторожно уселся на шаткий стул и произнес степенно:

— Почел своим долгом не как хозяин, а как образованный человек. — И приветливо разрешил отцу: — Да вы не смущайтесь, садитесь. Я ведь в душе демократ. И, если желаете знать, большой недоброжелатель ныне царствующему дому. — Наклонясь, шепотом пояснил: — Помилуйте, разве так воюют? Генералы из пемцев, министры и того хуже. Вы даже не понимаете, господа социалисты, сколь губителен сейчас для России наш слабодушный самодержец. — И заговорщицки сообщил: — Здесь я целиком и полностью согласен с господином Георгием Семеновичем Савичем, небезызвестным вам. «Россия должна до полных революционных потрясений пройти основательный путь капиталистического развития». Мудро! Но, помилуйте, как нам развиваться, национальному капиталу, ежели в ныне царствующем доме, не могу выразиться при даме, такие безобразия! Императрица тайные переговоры с немцами ведет, будучи сама тевтонских кровей. Зарез будет русскому капиталу. Ну и пролетариат наш, конечно, пострадает, ежели мы под насилием иностранного капитала заводимки свои и фабрички позакрываем. Именно пострадает. Нет, нам война нужна до полного победного конца, чтобы наш российский капитал выходы в моря получил и, так сказать, прошел полное свое развитие.

Остановив взгляд на портрете Льва Толстого, Пичугин сказал одобрительно:

— Как же, читал!

Потом подошел к стене, где висел портрет, произнес огорченно:

— Однако гвоздик можно было бы выбрать поменьше.— И упрекнул: — Не уважаете вы, господа социалисты, чужой собственности. Съедете с квартиры, а дырка-то в стене останется.

Когда Пичугин ушел, Варвара Николаевна сказала с отвращением:

— Поклонник Савича. Ну и докатился Георгий Семенович!

— Нельзя, Варя, столь поспешно делать обобщения,— поморщился отец.— Я допускаю, что этот субъект сознательно вульгаризировал мысли Георгия.

Петр Григорьевич не терпел, чтобы кто-нибудь, даже жена, говорил за глаза плохое о бывших ссыльных.

— Каждый сколько-нибудь порядочный человек не может мириться с царем,— рассуждал отец.— Но не все в своей борьбе с самодержавием могут быть столь непреклонно последовательны, как Рыжиков, Федор, Эсфирь. Здесь играет большую роль и субъективный момент: сила воли, особо развитое сознание своей ответственности перед историей и способность все время ощущать себя частью народа, быть его учеником и учителем. Правда, есть среди нас люди, которые, пройдя через некоторые испытания, душевно устают, ищут примирения с действительностью. Но, как бы то ни было, я не могу отказать им в своем уважении за их благородное прошлое.

Мать называла такие рассуждения интеллигентскими бреднями, хотя сама всегда старалась найти извинение тому, что Савич согласился быть членом городской управы. Она очень охотно ходила на званые вечера к Савичам и с упоением танцевала там под граммофон.

Петр Григорьевич, будучи застенчивым человеком, ораторствовал только дома. К Савичам он ходить не любил, угрюмо отсиживался где-нибудь в углу, молчаливо прислушиваясь к яростным спорам. Но однажды он выразился так грубо и резко, что все спорящие сразу смолкли, и кто-то произнес удивленно:

— Ну, знаете, после этого следует только оскорбление действием!

Но отец, поеживаясь под гневным взглядом матери, продолжал упорствовать:

— Я назвал тебя, Георгий, подлецом не по субъективным качествам, тебе присущим, а за объективную сущность твоей мысли. Утверждать, что диктаторство и диктатура

пролетариата зиждутся на общем основании подавления личности,— это, повторяю, подлость.

Если бы не находчивость Савича, трудно сказать, чем бы окончилась эта ссора.

— Господа! — воскликнул Савич. — Вы только что были свидетелями покушения на мою свободу мышления со стороны Петра Сапожкова, пытавшегося подавить меня диктатурой своих идей, выраженных весьма, я сказал бы, в грубой, но зато лаконичной форме. И я предлагаю выпить за нашего уважаемого Петра, который, к счастью, так редко нас дарит плодами своего красноречия.

Савич все превратил в шутку. Но когда гости расходились, провожая Сапожкова, он шепнул ему на ухо укоризненно:

— Все-таки нехорошо, Петр! Если ты хотел мне подобное сказать, ну отозвал бы в другую комнату. Ведь мы с тобой товарищи, черт возьми, и с глазу на глаз можем высказывать друг другу все, что считаем необходимым.

Всю дорогу до дома отец брезгливо потирал рукой ухо, в которое шептал ему Савич, хмурился, молчал, хотя мать все время бранила его за то, что он не умеет вести себя в обществе.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Тиме было далеко не безразлично, что отец почти все свое жалованье отдал семье погибшего машиниста. Дело в том, что Ниночка Савич позвала Тиму к себе на именины.

Ее настоящее имя было Антонина, но Георгий Семенович называл дочку Ниной, считая это имя более изящным.

Сжимая губы пуговкой и щуря выпуклые голубые глаза с длинными, как у куклы, ресницами, Ниночка произнесла так, словно во рту у нее была барбариска:

— Мой папа и я приглашаем вас, Тима, к нам в день моего ангела.

Тима спрашивал как-то отца, есть ли на самом деле бог и живут ли на небе ангелы. Отец сказал уклончиво:

— По моим представлениям, бог и ангелы — плод фантазии. Но ты постарайся этот вопрос решить для себя сам.

Поэтому на всякий случай Тима иногда молился, особенно когда совершал какой-нибудь неблагоприятный поступок. Но чтобы показать Ниночке, что он не так уж обрадовался приглашению, Тима спросил насмешливо:

— Это что же, у тебя собственный ангел есть?

Ниночка ответила:

— Так принято говорить, Тима.— И добавила: — Будет большой именинный торт и очень, очень много всяких сладостей из магазина Абрикосова.

Георгий Семенович Савич снимал в городе большую квартиру, обставленную черной бамбуковой мебелью с красными бархатными сиденьями и увешанную картинами в таких же бархатных рамах. Там были белые кафельные печи с медными дверцами и медными отдушинами, теплая уборная с большим жестяным баком у потолка, куда забиралась по железной лестнице кухарка Агафья и наливала из ведра воду, гладкий линолеум на полу, раскрашенный под паркет, граммофон на высокой подставке из красного дерева, зеленые бархатные занавески на окнах, перехваченные медными цепями, вделанными в медные львиные морды. Вся эта роскошь подавляла Тиму.

Обедая иногда у Савичей, он переживал за столом мучительные унижения: «Не бери руками соль, для этого существует нож!», «Салфеткой не утирают нос!», «Держи вилку в левой руке!», «Не клади локти на стол!», «Котлеты не едят ложкой!..»

В последний раз, когда Тима был у Савичей в гостях, Георгий Семенович, ловко складывая салфетку и вдевая ее в деревянное кольцо, сказал протяжным, скрипучим голосом:

— Удивляюсь, Тимофей. Твои родители — интеллигентные люди, хотя твой отец и не лишен некоторых странностей. Неужели они не могут внушить тебе самые элементарные правила, необходимые каждому воспитанному человеку?

— А я не хочу быть воспитанным, — угрюмо пробормотал Тима.

— Ты что же, братец, дворником собираешься стать?

— Ага...

— Ага? Ты знаешь, Ниночка, что означает это слово «ага»? — ядовито осведомился Георгий Семенович.

— Это такой турок, папочка!

— Лучше быть турком, — с отчаянием огрызнулся Тима, — чем, как вы, буржуазии служить!

Георгий Семенович откинулся на стуле, собрал губы пуговицей, совсем как Ниночка, сощурился и произнес протяжно, не разжимая рта, так, словно голос исходил у него откуда-то изнутри:

— Агафья, помогите мальчику одеться.

Потом он вскочил и, идя следом за Тимой, размахивая руками, обиженно говорил:

— Не понимаю твоих родителей! Неужели у них нет гражданского мужества высказать мне в лицо то, о чем они изволят рассуждать у себя дома, в твоём присутствии? Это гадко, мелко, низко! Подобными непозволительными приемами заявлять свою неприязнь! Передай отцу! Я негодую! У меня нет слов! Я возмущен до мозга костей! — И, обращаясь к Ниночке, пожаловался: — Твоего папочку оскорбили, Нинок!

Нина смотрела на отца большими остановившимися глазами, по щекам у нее текли слезы, и она молила:

— Папочка, успокойся! Папочка, я тебе все объясню! Тима обиделся, у него дома вовсе нет салфеток, и он там все ест ложкой.

— Врешь, — сказал Тима. — У нас дома все есть, и побольше вашего!

И он выбежал на улицу, страдая от того, что еще сильнее унизился бессмысленной ложью.

Падал мягкий, теплый снег, и все было белым, красивым, чистым. Розовоперые снегири сидели на ветвях деревьев. С горы на Почтовой улице катались с веселым визгом мальчишки. В витрине магазина Абрикосова между керосино-калильными лампами лежали на деревянных подносах пирожные, а посередине возвышался гигантский торт, похожий на цветочную клумбу. Тима, полузажмурившись, брел через весь город. Он забыл у Савичей мамин платок, которым нужно было обвязываться под поддевкой, снег падал на голую шею и, тая, затекал под воротник, но Тима даже не думал его стряхивать. Чувство печали, одиночества подавляло волю, и он брел по снегу, удивляясь, почему все кругом так красиво, и чисто, и сияюще, когда у него так тяжело на душе.

Но хотя Тима был еще очень юн, он давно нашел способ преодолевать душевные страдания. Этот способ был не очень сложный, зато сладостно приятный: Тима начинал мечтать.

Любимым его героем был Тарас Бульба. Вот он уже видел себя толстым, усатым, на мохнатом коне, с кривой турецкой саблей в руке, бешено мчащимся по заснеженным улицам города, а за ним стая лихих казаков. Он останавливает коня у дома Савичей и входит, гремя шпорами. У Савичей горит разноцветными свечами рождественская

елка. Ребята ходят вокруг елки хороводом, держась за руки, и поют. Тима топает валенком с серебряной шпорой и говорит сипло: «Здорово, хлонцы!» Все останавливаются. Головы поворачиваются к нему. Ниночка, сложив губы пуговкой и широко открыв голубые глаза, смотрит на него радостно и изумленно. Красавица Леля Ильинская, с длинными зелеными глазами, с огромным бантом на распущенных каштановых волосах, делает ему реверанс, придерживая кружевное платье тонкими пальцами. У Вовки от изумления вытаращены глаза, и он, подлизываясь, говорит: «Здравствуйте, Тимофей Петрович!» Савич низко кланяется, как приказчик, когда в лавку входит Пичугин, а мама тревожно вскакивает, суетится: «Боже мой, Тима ранен! Где же йод?» Тима сбрасывает с плеч мешок, вынимает оттуда царскую корону, скипетр. Державу, всю в алмазах, он пихает валенком, как тыкву, к ногам отца. Скипетр отдает матери, а корону небрежно надевает на голову смущенной Ниночке. Потом он произносит громко: «Царя мы отвели в участок и посадили в каталажку. Теперь у всех свобода». Потом он снова садится на коня и мчится с казаками на пемцев... Нет, нет, это нельзя: папа говорил, что немецкие солдаты такие же люди, как и русские, и война с ними подлая и стыдная. Тогда что же он дальше будет делать?..

— ...Ты чего zenки раззявил, товар топчешь? — пронзительно закричала на Тиму торговка банными вениками, с фиолетовым лицом. — Вот я сейчас наподдам тебе, слепшарый!..

Тима растерянno сказал:

— Извините, пожалуйста, я задумался.

Ошеломленная вежливым ответом, торговка смутилась и, стряхивая снег с веников, разложенных вдоль обочины дороги, посетовала:

— Иззябнешься тут без почину. Ну и собачишься на хороших людей.

— Я вас просто не заметил, — объяснил Тима. — Так вас всю снегом занесло.

— Да разве нынче люди друг друга примечают? Все ожестокосердились.

Потом торговка спросила настороженно:

— А ты, мальчик, не из хитреньких?

— Не знаю, — честно признался Тима.

— Так будь добрый, — попросила торговка, — покарауль товар. Я до дому сбегая, дите не кормлено!

Тима благородно согласился сторожить веники.

Возле длинной бревенчатой, вросшей в землю бани коченели в очереди новобранцы. Те, кто прибыл из дальних деревень и селений, зябли, кутаясь в лохмотья, как нищие. Местные были одеты теплее, и возле них стояли их матери, жены, дети, с жадным отчаянием вглядываясь в серые, угрюмые лица новобранцев. Когда какая-нибудь женщина, упав на снег к ногам сына или мужа, начинала громко, истошно причитать, никто не обращал на нее внимания, словно это полагалось, как на кладбище. Только унтер с седыми усами, в башлыке, подходил для порядка и говорил хриплым, сорванным на учениях голосом:

— Чего воешь? Не всех убивают, гляди, во — я, живой, а на передовых два года пробыл.

Хозяин бани, старообрядец старик Сомов, не пускал новобранцев до тех пор, пока не помоются все вольные. Он сидел за прилавком, где были разложены мочалки, куски желтого сухого ядрового мыла и стоял большой жбан с хлебным квасом. Расчесывая сивую бороду деревянным гребнем, степенно вещал:

— Бог не велит убийство вершить. Но бусурмана бить вполне дозволено, потому как у него душа вроде как у кошки или собаки из одной вони состоит.

— Вполне, — заискивающе соглашался унтер. — Только, почтенный, почему вы христолюбивых воинов не пущаете? Замерз народ.

— Коммерция, служивый. Мне ведь тоже исть-пить надо. Вас казна содержит, а я трудом умственным пропитанье собираю.

Здесь же, во дворе бани, сажая новобранцев на березовый кругляк, поставленный торчком, стриг их тощий цирюльник в рваной синей поддевке и визгливо жаловался:

— До чего у мужиков волос жесткий! Все пальцы обмозолил. И с такой башки копейку! Ежели бы патриотом не был, силком не заставили бы!

Снег перестал падать, стало еще холоднее. Тусклое, багровое солнце уползло за сугробистые крыши домишек.

В городе не было ни канализации, ни водопровода. Воду возили в обледеневших бочках с реки из проруби. Вдоль тротуаров проходила глубокая, в человеческий рост, канава, куда спускали нечистоты. Возле бани канава дымилась паром, и многие новобранцы, заочнев, пытались отогреться над канавой и стояли там, упираясь ногами в обледеневшие перекладыны, подпирающие дощатую обшивку. Только на главных улицах эта канава была сверху заделана толстыми горбылями, после дождя и весной она доверху

наполнялась водой, и нередко случалось, что дети, да и взрослые, оступившись, тонули в ней, уносимые бурным потоком под настил центральных улиц.

Тима несколько раз был в сомовской бане. Гнилые, выпученные потолки угрожающе низко свисали над головой. В раздевалке связанную в узел одежду вешали на железные крюки, такие, как в мясных лавках. Только здесь горела тусклая, семилинейная лампа. В мыльной с единственным окном в двери было темно, как в погребу. Посредине стояли два огромных, сорокаведерных чана с множеством деревянных затычек по бокам. Один чан с холодной водой, другой — с горячей. В чан для горячей воды бросали раскаленный булыжник, который привозили на тачке, обшитой железом. Люди бродили по колено в грязной, сизой воде с тяжелыми деревянными шайками в руках, ощупью разыскивая в темноте свободное место на склизких скамьях. В парной, налезая друг на друга, истошно крича, издавая томные стоны, люди хлестали себя вениками, задыхаясь в жгучем, угарном, кисейно-липком тумане. Сомлевшие выползали на улицу, на снег, потом снова упорно карабкались на верхний полук и истопленно орали: «А ну, поддай еще!» И кто-нибудь, взмахнув лихо деревянной шайкой, выплескивал крутой кипяток в черный зев печи, набитой доверху раскаленным булыжником, и оттуда с пушечным взрывом выбивало клубы палящего пара.

Ошпаренные восторженно вопили и еще яростнее стегали себя вениками, состязаясь друг с другом в нечеловеческой выносливости.

По воскресеньям любители уходили в баню на весь день. В лютые пятидесятиградусные морозы баня была для людей, иззябших в тайге, на лесных работах, в бараках неотапливаемой кожевенной фабрики, сырых землянках скорняжных и пимокатных артелей, поистине великим прибежищем тепла и удовольствия.

И нередко бывало, что сильный, матерый тайговщик, невезучий, обмороженный, слезно упрашивал Сомова пустить его помыться «за так», клятвенно заверяя, что он после расплатится золотишком. И, получая непреклонный отказ, отдавал шапку, рукавицы, а то и истоптанные чуни, чтобы только попасть в баню.

Баня Сомова называлась «общедоступной». В городе была еще баня Пичугина — торговая. Там имелось два отделения: общее и дворянское. В дворянском одежду складывали в деревянные сундуки, запирающиеся на за-

мок, ключ от которого болтался на цепочке, приделанной к ручке таза. Воду здесь брали из медных кранов, и за копейку можно было пользоваться душем. Пол из настоящего кафеля, а скамьи каменные. В эту баню Тима ходил с отцом, в дворянское отделение. Но каждый раз Тима боялся: а вдруг их выгонят?

— Папа, а если кто-нибудь скажет, что мы с тобой не дворяне?

— В данном случае, — рассудительно объяснял отец, — это лишь условное название. И право определяется только возможностью человека уплатить несколько больше обычного за вход.

— Папа, а мы кто?

— Тебя интересует сословная принадлежность? Мещане.

— А почему мама называет Андросова мещанином? Ведь он же дворянин?

— Она называет его так за то, что Павел Андреевич оказался подвержен некоторым предрассудкам.

— Значит, все мещане подверженные?

— Нет, все люди равны в своем духовном и человеческом качестве, — объяснял отец. — Но так как у нас нет общественного равенства, те, у кого в руках находится власть, придумали и утвердили это унижительное и выгодное им сословное деление и связанные с этим различные привилегии.

— Выходит, мы с тобой униженные?

— Нет, унижаются те, кто потворствует несправедливости. А ты мой голову с мылом, если хочешь, чтобы я с тобой беседовал как с самостоятельным человеком.

Тима, намыливая голову и изо всех сил жмуря глаза, все-таки испытывал тревожное чувство страха: а вдруг их выставят из дворянского отделения? Он не понимал, почему его отец не хочет ходить в сомовские бани, где чисто одетым посетителям выдавали медные тазы и банщик грубо расталкивал в парной всех, у кого деревянные шайки, очищая место на лавке для человека с почтенным медным тазом...

— Почем веники? — спросил вдруг кто-то Тиму сильным простуженным голосом.

— Гривенник, — назвал Тима несуразную цену, желая сделать приятное торговке, у которой дома голодный ребенок.

— Ошалел!

— А они особые!

— Какие такие особые? — недоверчиво протянул покупатель.

— Гигиенические.

— Это как?

— Микробов убивают.

— Вошей, что ли?

— Вошь не микроб. Насекомое. Микробы для глаз невидимы.

— Скажи пожалуйста, какие слова знаешь, — уважительно произнес покупатель и, поколебавшись, дал семь копеек.

Тиме удалось сбыть таким образом несколько веников, и он не считал, что обманывает кого-нибудь. Ведь вот продавец шанежек кричит, расхаживая с лотком, обитым железом и накрытым сверху засаленным стеганым одеялом: «Кому шаньги с луком, с перцем, с собачьим сердцем!» И у него покупают, хотя никто не стал бы есть собачатину. И продавец кваса зазывает: «А вот квасок, сшибает с ног, пенится, шипит, по-немецки говорит!» Значит, так полагается при торговле выдумывать...

— А на чесотку твой веник не действует?

— Купите Вилькинсоновскую мазь, — папиным голосом советовал Тима, — втирайте на ночь тряпочкой.

— Напиши название на бумажке, так не zapomню.

И только за один этот совет Тима получил три копейки.

Но вот наступил черед идти в баню и новобранцам, переулок опустел, а торговка все не возвращалась. В темно-синем небе повисла луна, воздух стал сухим, жестким, звенящим. Тима почувствовал, как стужа начала сжимать грудь, колоть кончики пальцев. Ресницы слипались, а нос и щеки ныли тупой болью, словно он стукнулся лицом о что-то твердое. Возле бани топтались только родственники новобранцев.

Папа рассказывал Тиме, как однажды, когда в стойбище тяжело заболела женщина, Рыжиков один пошел в пятидесятиградусный мороз в селенье, где жила ссыльная медичка. Он привел ее в стойбище, медичка спасла женщину, а потом отрезала Рыжикову на ногах суставы отмороженных пальцев кухонным ножом, который для этого Рыжиков сам наточил о камень. Вот и Тима может застыть так, что ему отрежут пальцы. В смятии и страхе Тима уже готов был покинуть доверенные ему веники и побежать домой: ведь дом так близко.

Из бани стали выходить распаренные новобранцы. Тима с изумлением увидел, как они, окруженные семьями,

скидывали поддевки, азямы, армяки и отдавали их женам и матерям, а некоторые даже снимали шапки и повязывали влажные головы женскими платками. И все это совершалось молча, деловито, как будто так и должно было быть. Потом унтер скомандовал, и новобранцы пошли строем по дороге, а над их головами дымился пар, поблескивая в синем, жгучем, морозном воздухе оседающими тонкими, летучими кристалликами.

— Тетя, что же это такое, они же простудятся? — с ужасом спросил Тима подошедшую торговку.

— Обыкновенное дело, — сказала она печально. — Не пропадать же одеже. Теперь к ним никого из сродственников не допустят. И как на фронт вести будут, тоже никого не допустят. Все равно как к арестантам. Бунтуются солдаты, воевать не хотят. Вот строго и оберегают. Моего там уже вбили. И этих поубивают. Ну, беги домой, малый! Заколел ты, гляжу. Уж ты прости, замешкалась. Дома печь заглохла. Стала младенца распеленывать, а он весь стылый. Я уж у соседки корчажку горячей воды заняла.

Торговка вытерла концом платка глаза и предложила:

— Возьми веничек себе за услугу. Выручил ты меня, сынок. Если б не ты, ведь я бы насмерть младенца заморозила.

— Вот тут вам деньги. Я наторговал немного, — подавленным голосом произнес Тима.

Торговка равнодушно ссыпала медяки в карман и снова попросила:

— Так ты все-таки веничек возьми, не побрезгай. Может, тебе пятачок или гривенник следовало бы?

И стала поспешно собирать свой товар в охапку.

Домой Тима пришел иззябший, закоченевший, но гордый и с веником в руках. Хотя он и претерпел унижение у Савичей и надерзил там, за что ему может влететь, если Савич нажалуется, зато он совершил хороший поступок, а такое не каждый день бывает.

И вот даже об этом, о своем хорошем поступке, Тима не успел рассказать папе, когда тот вернулся домой после многих дней отсутствия. И все началось с того, что когда Тима, бросившийся к папе, у самой двери восторженно спросил:

— Хочешь знать, какой я хороший?

Папа, вместо того, чтобы сразу обрадоваться, отстранил Тиму, сказав:

— Подожди, голубчик. Я очень холодный.

И стал стряхивать с усов и бороды сосульки. А потом,

когда разделся и погрел руки, приложив их к кирпичной стене печки, посоветовал:

— Не нужно быть хвастуном, дружок. Пусть лучше о тебе хорошее скажут другие!

Но ведь папа вовсе не знаком с торговкой, кто же ему расскажет? Тима обиделся. И, чтобы не показывать своей обиды, начал нарочно гоняться за котенком, хотя котенок его тогда совсем не интересовал. Ему так хотелось забраться на колени к папе, прижаться к нему, всегда остро и кисло пахнущему карболкой, и рассказать все с самого начала, даже о том, как он нагрубил Савичу. Но тут котенок прыгнул на стол, Тима хотел поймать его и задел рукой лампу, она покачнулась. Тима подхватил лампу, но абажур свалился с нее, как шляпа, и грохнулся об пол. И самое главное, он забыл сказать папе, что Савич пригласил Тиму к Нине на именины.

И на свободе Сапожковы сохраняли суровый обиход, к которому привыкли за годы ссылки. Но это происходило не от сознательного стремления к самоограничению, а скорее от нежелания обременять себя чем-нибудь лишним.

Рождение Тимы в ссылке явилось не только радостью, но и серьезным испытанием для Сапожковых, так как они были вынуждены на время отстраниться от активной политической жизни и оберегать себя ради сына. И хотя никто не упрекал их за это, а даже, напротив, товарищи всячески старались помочь Сапожковым создать для ребенка хоть сколько-нибудь сносные условия, родители Тимы считали себя в долгу перед партией. И они стремились привить мальчику с ранних лет необходимые навыки на тот случай, если он вдруг останется один.

Тима давно уже привык к постоянным денежным затруднениям.

Отец воспитывал его в пренебрежении к излишествам. Но частенько поступки матери опровергали самые мудрые рассуждения отца.

Варвара Николаевна с какой-то удивительной беспечностью умела раздавать и одалживать нужные им самим вещи людям, которые, она знала заведомо, их не отдадут. И когда получала жалованье в городской управе, она с такой же легкостью тратила его в один день. Иногда ее покупки были настолько нелепыми, что отец, разводя руками, говорил:

— Знаешь, Варюша, у тебя просто талант юмориста! Ну, скажем, зачем нужны лайковые перчатки, когда у меня и в меховых варежках руки мерзнут?

— Ах, Петя! — восклицала мать. — У тебя такие краси-

вые руки, а твои варежки — это такие уродские мешки, что просто смотреть на них ужасно.

— Ну, а вот Тимке зачем гамаши? Ведь у него даже валенок целых нет.

— Господи, какая я нескладеха! — сокрушалась мама и предлагала: — Давай теперь будем тратить деньги рационально. Составим заранее список.

Список составлялся. Потом он терялся. И мама, сокрушенно разглядывая свои покупки, заявляла:

— В конце концов все это можно кому-нибудь и подарить. Знаешь, сколько в нашем доме живет нуждающихся?

Себя Сапожковы нуждающимися никогда не считали, хотя неделями питались одной картошкой и покупали в солдатской пекарне дешевый ржаной хлеб, утверждая, что нет более вкусного и полезного хлеба, чем хлеб солдатской выпечки.

Когда отец с матерью уходили в гости, от них сильно пахло бензином, а на столе оставалась выпачканная чернилами, свернутая в трубочку бумажка, которой отец замазывал посветлевшие нитки на швах изношенного черного сюртука. И шагал он, почти не сгибая ног, чтобы не сразу выперли пузыри на коленях брюк, отутюженных мамой.

А мама, приколов к поясу какой-нибудь матерчатый цветок, долго разглядывала себя в круглое карманное зеркальце, потом тревожно спрашивала:

— Взгляни, Петр, как это — не слишком вызывающе?

— Не думаю, — с колебанием в голосе отвечал отец.

Подойдя к двери, мать поворачивала к отцу свое прекрасное, строгое лицо со светящимися голубыми глазами и, милостиво протягивая руку, кокетливо произносила:

— Тебе не кажется, что я сегодня одета особенно к лицу?

— Кажется.

И отец осторожно, бережно брал руку мамы и почти-тельно целовал ее.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Однажды в больнице, где работал Петр Григорьевич, состоялось торжественное вручение эпидемическому железнодорожному отряду дезинфекционной машины, полученной в подарок от союзников. На эти торжества мама поехала с Тимой и главной своей подругой Софьей Александровной Савич.

Рослая, плечистая, с низким, грудным голосом и пышными золотистыми волосами, которые она всегда сердито откидывала с выпуклого, упрямого лба, Софья Александровна обладала властным, резким характером, мужской размашистой походкой и удивительным неумением скрывать свою неприязнь к людям, которые ей не нравились. Георгий Семенович называл жену Дианой. Софья Александровна много курила, любила щегольнуть грубым словечком в момент самых утонченных философских споров. Иногда ее обуревало желание назло себе, назло другим во что бы ни стало говорить знакомым в глаза какую-то особую неприятную правду о них. Но когда обличительный пыл проходил, она томилась, мучилась, страдая от своей гордыни, мешавшей ей просто извиниться перед людьми.

Тонкое, нежное лицо ее с удлинненными, овальными глазами некрасиво багровело, когда она вдруг, нервно одергивая на груди кофточку розового, конфетного цвета, гневно бросала:

— Эти эсеровские задницы, которыми вы когда-то восхищались, сначала кидались на генерал-губернаторов, а потом стали в оборонческом лагере восхвалять Милюкова и наших бездарных генералов!

Софья Александровна когда-то училась в Петрограде на Бестужевских курсах. Жила два года в эмиграции в Париже. Сослали ее в девятьсот десятом в Минусинск, где она сблизилась с большевиками. Вернувшись из ссылки, с изумлением узнала, что муж ее стал членом городской управы захолустного сибирского городка и обрел там репутацию разумного общественного деятеля.

— Не то Георгий карьеристом стал, не то обывателем, не то все вместе, — словом, ну его к черту! — брезгливо говорила Софья Александровна, сердито откидывая волосы со своего выпуклого чистого лба. — Бросила бы я его, да Нинку жалко! Портит он ребенка. Надоели мне постоянные домашние драмы, перееду в гостиницу. Не могу же я из-за материнской привязанности переносить весь этот балаган со зваными обедами, какими-то свиными рылами, которые постоянно у нас теперь торчат. Нет, нет, я это уже давно решила!

Барвара Николаевна не одобряла намерений подруги бросить мужа. Несколько раз крупно из-за этого рассорившись, они обоюдно решили больше никогда не касаться этой темы.

К вокзалу подъехали на извозчике. Тима сидел на передней скамеечке. Гостей у входа в зал первого класса

принимал вместе с воинским начальником человек по фамилии Дэвиссон. Он приехал в Сибирь из Австралии. Скупал пушнину, имел дела с золотопромышленниками. Во время войны стал представителем сразу двух американских фирм, интересующихся рудными и угольными богатствами края. Последнее время он вдруг стал появляться в американской военной форме, высокомерно разговаривал с воинским начальником.

Дэвиссон, улыбаясь, пожимал руки гостям. Софье Александровне он сказал:

— Вы гениально красивая женщина.

Софья Александровна пожала плечами и небрежно спросила:

— Что за машину вы приволокли? Надеюсь, это не аппарат для изготовления удушливых газов?

— Нет, мы гуманисты,— заверил Дэвиссон.— Это — только обычное наше техническое чудо.

За столиками подавали мужчинам разведенный спирт с клюквенной эссенцией, а для дам секретарь Дэвиссона собственноручно готовил лимонад из лимонной кислоты, соды и сахара.

Потом все вышли на перрон. Там стояла закрытая брезентом машина, а из ее трубы валил черный дым. Два санитары с каменными лицами стояли подле машины, вытянув руки по швам.

Дэвиссон подошел к закрытому брезентом сооружению, стал к нему спиной, нежно погладил выхоленной полной рукой куцую бородку и провозгласил:

— Господа, сегодня не нужно речей. Сам факт доблестной помощи русским воинам со стороны президента настолько красноречив, что я благоговейно смолкаю на этом. Гип-гип, ура, господа!

Не оборачиваясь, он махнул рукой санитарам. Санитары поспешно содрали брезент и оттащили его в сторону. Глазам присутствующих открылась машина. Она стояла на двух высоких железных колесах, опираясь о землю изящно изогнутыми оглоблями. Весь вышуклый блестящий корпус ее был сделан из красной меди. С боков торчали две ручки, как на вóроте колодца, из латунной круглой крышки выступали никелированные гайки, а впереди была приделана большая бронзовая плашка с названием чикагской фирмы. На чугунной дверце топки был выпукло отлит американский орел.

Пояснения давал начальник эпидемического отряда, тучный подпоручик с застенчивыми вороватыми глазами.

— Так вот что, господа,— говорил он сипло, не сводя глаз с новых, колбасного цвета, высоких, до колен, ботинок Дэвиссона,— снаружи вы видите только котел. Внутри его имеется сетчатый цилиндр, туда закладывается белье. Этими ручками цилиндр приводится во вращательное состояние.

— Прикажите показать в действии! — перебил Дэвиссон.

— А ну! — рявкнул поручик.

Санитары бросились к ручкам и стали их бешено крутить.

— Таким манером,— продолжал поручик,— белье кувыркается в пару, и всякие насекомые в нем гибнут.— И печально добавил: — Насмерть.

— Продемонстрировать,— приказал Дэвиссон.

Один санитар начал ключом отвинчивать гайки, а другой стоял наготове со свежееоструганной длинной палкой. Но когда санитар отвинтил все гайки, крышка вдруг сама отскочила и из машины вырвались клубы жгучего пара, санитар со стоном схватился за лицо.

Все покрылось белым влажным туманом. Толпа гостей с испугом попятилась, и люди стали ломиться в дверь вокзала.

Дэвиссон растерянно метался среди гостей и возмущенно говорил:

— Мужичье, разве они умеют обращаться с иностранной техникой! Мы приставим к ней интеллигентных людей, из вольноопределяющихся, и все будет в порядке!

Софья Александровна подошла к Дэвиссону и произнесла гневно:

— Послушайте, Дэвиссон, зачем вам понадобилась эта клоунада с вашей омерзительной вошебойкой?

— По-русски,— сердито и обиженно ответил Дэвиссон,— вошебойка, а для всего цивилизованного мира это передвижная дезинфекционная вакуум-камера.

— Или чикагский самовар для вшей? — язвительно спросила Софья Александровна. И посоветовала: — Рекомендую вам поскорее отсюда убираться, а то солдаты в эшелонах, узнав про столь эффектный подарок от союзников, могут прийти сюда, чтобы набить кому-нибудь морду.

Мама сумела увести Софью Александровну, а то бы, наверное, она ударила Дэвиссона по щеке перчаткой.

Обратно шли пешком, к великому огорчению Тимы. А Софья Александровна всю дорогу бушевала и упрекала

маму за то, что она не дала ей возможности высказать в глаза Дэвиссону все, что она о нем думает. И только папа отнесся к этому событию с испытанием вошебойки очень спокойно.

— Ты знаешь, Софочка, какой у нас есть замечательный изобретатель в железнодорожных мастерских? Великолепный тип рабочего-интеллигента этот Кудров! Он сделал для нас две отличные передвижные дезинфекционные камеры, основанные не на устаревшем и громоздком действии водяных паров, а производящие обработку посредством сернистого газа. Дешево, практично и громадная пропускная способность. Я советую тебе...

— Познакомиться с твоей газовой вошебойкой?

— Нет, с Кудровым, — не обижаясь, сказал отец.

У Сапожковых Софья Александровна и познакомилась с механиком Кудровым. Сын приискового старателя, Алексей Кудров, поссорившись со своим отцом, в тринадцать лет ушел работать забойщиком на угольную шахту. Ссылный поселенец подготовил его на аттестат зрелости. В Томске он поступил в технологический институт, был арестован за революционную деятельность и сослан в Туруханский край. Бежал. Снова старательствовал вместе с отцом. Намыл на свой пай пятнадцать фунтов золота, приехал в Красноярск, чтобы там поступить в железнодорожное училище. Был снова арестован, но так как уже в процессе следствия обнаружилось, что отобранное у него золото кем-то из чиновников похищено, прокурор, боясь огласки, прекратил дело. Кудров поступил на железную дорогу кочегаром, затем помощником машиниста. В железнодорожных мастерских заштатного сибирского городка освободилось место механика, и ему удалось получить его. Отец Тимы занимался с Кудровым немецким языком. Язык этот Кудров избрал потому, что очень высоко ценил немецкую инженерную технику.

Кудров — коренастый, широкоплечий; необыкновенной синевы глаза делали его очень привлекательным. Держался свободно, независимо, умел вести себя в любом обществе естественно и с достоинством.

Когда Кудров впервые увидел Софью Александровну, он проговорил жалобно и восхищенно:

— Ну и красавица вы! Даже смотреть страшно!

— А вы не смотрите! — отрезала Софья Александровна.

Впервые у Сапожковых Кудров выглядел таким потеряннным, даже униженным. Не смея поднять глаз, Алексей

ожесточенно теребил заусеницы на пальцах, молчал, и лицо его было угрюмым и обиженным. А Софья Александровна, положив ногу на ногу так, что сразу было видно, какие у нее длинные, стройные ноги, и одергивая кофточку на высокой груди, громко и уверенно говорила:

— Трудности революционной пропаганды в сибирской деревне связаны с тем, что здесь крестьяне не ощущают так остро необходимость отторжения помещичьей земли, как крестьяне в России.

— Неверно, — вдруг резко сказал Кудров и, выпрямившись, враждебно глядя в лицо Софье Александровне, горячо заявил: — Это эсеровские бредни!

Софья Александровна надменно подняла брови, но вдруг все лицо ее неожиданно приняло радостное, удивленное выражение, и, обращаясь к матери Тимы, она произнесла растерянно:

— Варюша, ты видела, какие у него глаза? Синие, совершенно синие. Даже как будто не настоящие.

— Вы про глаза бросьте глупости говорить. Я с вами серьезно разговариваю! — рассердился Кудров.

Тима боялся, что сейчас Софья Александровна скажет что-нибудь особенно резкое и грубое, но она смутилась, щеки ее нежно заалели, и она робко попросила:

— Алексей Филиппович, вы извините меня, пожалуйста, я, очевидно, о сибирской деревне сужу очень поверхностно...

С этого дня, как только Софья Александровна приходила к Сапожковым, незамедлительно появлялся и Кудров. Но мама решительно заявила:

— Соня, мне это не нравится!

— Но пойми меня, Варя! — взмолилась Софья Александровна.

— Я не только не хочу тебя понять, но и осуждаю, — ледяным голосом произнесла мама.

— Хорошо, мы не будем больше здесь встречаться, — покорно согласилась Софья Александровна.

Однажды поздно вечером к Сапожковым пришел Георгий Семенович. Почти упав в шубе и шапке на хлипкий стул, сложив молитвенно ладони, он сказал маме с тоской:

— Варя, помоги мне вернуть Соню. Я не буду жить без нее!

Он снял шапку, бросил на пол. Длинные темные волосы упали на лицо. Георгий Семенович стал дергать себя за пряди волос так, что голова его моталась, как у игрушечного болванчика. Тонким голосом он жаловался:

— Я понимаю, у меня с ней оказались различные политические взгляды, но нельзя же таким жестоким способом воздействовать на мои убеждения!

— Она любит другого, — сказала мама.

— Любит? — спросил Савич изумленно и вдруг захохотал, но глаза его оставались неподвижными, а лицо злым. — Этого пролетария? Доморощенного изобретателя? Нет, нет, уволь, не смей! — И, отчетливо выговаривая слова, заявил: — Я рассматриваю случившееся только как политическую демонстрацию против себя.

— Какой ты еще не человек, Георгий! — сказала мать с сожалением.

— В таком случае... — Савич встал, гордо поднял голову, но вдруг снова тяжело плюхнулся на стул. Опустил голову на руки, посидев несколько мгновений в такой позе, внезапно решительно выпрямился, потрогал мизинцем с длинным, острым, словно куриный клюв, ногтем маленькие, как у Макса Линдера, усики и проговорил обычным своим голосом: — В таком случае, Варвара, у меня к тебе просьба. Уверен, ты мне не откажешь хотя бы во имя столь священной своим прошлым дружбы. Я отмечаю именины дочери. Соберется общество, и я прошу, даже умоляю, поговори с Соней. Разумеется, я тебя также приглашаю с Петром и с сыном. В этом ты мне не откажешь! Нет, нет!

И Савич ушел, простирая к маме руку с открытой ладонью, словно отталкивая то, что она могла ему ответить.

Тима понимал, что приглашение на именины и приход Георгия Семеновича — все это касается не только Тиминых интересов, но каких-то взрослых дел, тревожно запутанных и не совсем ясных для Тимы. Удобно ли поднимать сейчас разговор о том, что пойти ему на именины не в чем, заштопанные локти на его курточке чернилами не замажешь, как это папа делает со швами, короткие штаны годятся только под валенки? Да и может ли он пойти на именины в валенках? Потом нужен подарок. Допустим, он почистит бензином старого плюшевого медвежонка, но у медвежонка нет одного глаза. Потом Ниночка — уже взрослая, она ровесница Тиме. Кто же дарит в таком возрасте плюшевых медведей, даже новых? Теперь, допустим, папа с мамой не захотят пойти к Савичу и отпустят Тиму одного. Но ведь тогда Георгий Семенович рассердится. Он же хочет, чтобы пришли папа, мама и Софья Александровна. Увидев, что Тима один, Савич разозлится и снова начнет его мучить, теперь уже при всех, за то, что он не умеет вести себя за столом, как полагается воспитанному

человеку. Правда, Тима уже научился держать вилку в неудобной левой руке, даже дома брал из баночки соль ножом, но вдруг он снова что-нибудь забудет? Или нарушит какое-нибудь не известное ему правило приличия? Нет, идти одному к Савичу невозможно. Видя, как отец достает из кармана скомканные деньги и с виноватой улыбкой разглаживает их на столе рукой, Тима, для того чтобы не выдать своих мыслей, сказал маме равнодушным голосом:

— Мамочка, а если почистить плюшевого мишку бензином, он станет совсем как новый, и я смогу его тогда подарить Ниночке Савич на день рождения!

— Ах да,— сказала мама расстроенно,— эти именины... Как мне не хочется туда идти!

— Варенька,— радостно заявил отец,— кстати, за ночные дежурства в сыпнотифозном бараке мне полагается завтра кое-что получить.

— Петр, ну зачем эти деньги? Я так за тебя беспокоюсь.

— Нельзя, Варенька, люди. Ты не представляешь, какие там ужасные условия. А еще кто-то единственный термометр украл. Просто чудовищно!

— Мне не надо матросского костюма,— самоотверженно воскликнул Тима,— а то ты там заболеешь!

— Глупости,— сказал отец,— завтра же я получу деньги.— И, искательно улыбнувшись матери, попросил: — Ты, Варенька, тоже купи себе что-нибудь оригинальное.

— А Софья? Ты говорил с ней? Она будет?

— Естественно,— пожимая плечами, сказал отец.— Я ей прямо заявил: «Ты из себя Анну Каренину не изображай». Знаешь, Варюша, то, что Соня вместо функционера в комитете стала простым пропагандистом в солдатских эшелонах, правильно. А что это произошло на почве особых, лирических отношений с Кудровым,— это ее личное дело. Но чтобы все это общество, окружающее Савича, делало ее предметом обывательских осуждений, мы не позволим.

— Петя, а если бы со мной подобное случилось? — спросила мама.

Отец побледнел, лицо его жалко сморщилось, и он тихо сказал:

— Варя, ведь ты знаешь, я не очень волевой человек,— и, разведя руками, сокрушенно объяснил: — Мое личное еще очень довлеет над моим сознанием. Я бы, очевидно, этого пережить не смог.

— Милый мой, единственный! — Мама взяла в обе руки лицо отца с впавшими темными щеками и, целуя его

в нос, сказала с волнением: — Я бы ведь тоже без тебя не могла жить! Вопреки утверждению Федора, что только тот революционер, кто все свои инстинкты подчиняет разуму.

— А вот когда Эсфирь заболела воспалением почек, Федор обрыдал всех врачей, умоляя спасти ее, — самодовольно посплетничал отец. — Вот тебе и Федор!

— Ладно, — сказала мама. — Ты у меня тоже порыдаешь в случае чего. И попробуй только проявить спокойствие и выдержку, я тебе этого никогда не прощу.

Но Тиме надоело слушать эти слютяйские разговоры, и он посоветовал отцу:

— Папа, на те деньги, которые у тебя после моего костюмчика останутся, ты себе револьвер купи, как у Кудрова. А то он сказал, что войну с немцами на другую войну будут переделывать. А из чего ты тогда стрелять будешь?

— Господи! — произнесла мама с отчаянием. — Какое это несчастье, когда мальчик все время слушает разговоры взрослых!

— Пусть слушает, — сказал отец, — об этом сейчас все говорят. — И, наклонившись к маме, долго о чем-то рассказывал шепотом, потом громко заявил: — Так что, Варя, в Питере уже началось. Стягивают войска с фронта. Самодержавию, по-видимому, конец. Но весь вопрос в войне. Кто ее может кончить? Если миллионы рабочих и крестьян посчитают необходимым изгнать тех, кому война выгодна, мир станет перед лицом пролетарской революции. Это, собственно, я повторяю чужие мысли. Но глубоко правильные.

Потом отец попросил маму:

— Варюша, я понимаю, насколько тщетна моя просьба, но будь, пожалуйста, сейчас поосторожней. Ты же знаешь, все время идут аресты. В здешней тюрьме тиф, а у тебя уже здоровье подорвано. — Но тут же, испуганно замахав руками, объяснил: — Я только с медицинской точки зрения. — И, поцеловав в лоб уже засыпающего Тиму, папа ушел из дому в свою железнодорожную больницу.

А на улице мела пурга. Колючие снежные потоки мчались по пустым дорогам сухими снежными реками, то закручиваясь в вихре, подсвистывая и скрежеща на ледяном насте, то тяжело опадая тысячами снежных пудов на деревянный городишко. Темные и низкие тучи неслись над тайгой. Из недр их вываливалась сияющая луна, но тучи мохнатой стаей набрасывались на нее, и она исчезала. В этой кутерьме из туч летели на землю мохнатые снежные клочья, ветер кружил их, сметая в сугробы, потом снова

разбрасывал, тащил волоком вдоль реки, стараясь сдуть с нее мягкий покров, и тогда синими полосами начинала холодно и чисто блестеть ее ледяная крыша. Пурга бушевала всю ночь. И всю ночь мать просыпалась, тревожно вглядываясь в окно, за которым тяжело стонала береза: ветви ее безжалостно заламывала непогода.

Тима тоже просыпался от жалобного стука ветвей в обледеневшее окошко. Ему хотелось сказать дереву: «Войдите». И он видел, как дерево входило к ним в комнату, нагибая под притолокой крону, увешанную хрустальными сосульками, и, застенчиво останавливаясь, отряхивало землю с корней у порога.

А на столе слабо мигала прикрученным фитилем лампа, вместо стеклянного зеленого абажура прикрытая куском газетной бумаги, коричнево обгоревшей там, где она соприкасалась с ламповым стеклом...

На следующий день Тима вместе с мамой рано утром вышел из дому, чтобы взять у отца в железнодорожной больнице деньги на покупки. Хотя Варвара Николаевна не хотела брать Тиму с собой, он с таким отчаянием вымолил еще вчера вечером обещание, что она вынуждена была сдержать свое слово. Стояла жестокая стужа. На пожарной каланче висели черные шары,— значит, на улице мороз сорок градусов.

Багровое, тусклое, без лучей солнце, окруженное туманным белым кольцом, выпукло торчало в высоком, чистом, зеленом небе. Снег на земле так нестерпимо сверкал бертолетовыми синими блестками, что все время приходилось зажмуривать глаза. Телеграфные провода покрылись пышным, толстым инеем и висели, как белые гирлянды. Белым пухом иней обросли ветви лиственниц. Затихшая к утру пурга намела сугробы у домов до самых подоконников, а обледеневшие окна казались окровавленными от отсветов багряного солнца. Снег визжал под ногами, как толченное стекло.

Мама обвязала Тиму большой серой шалью крест-накрест, и сама тоже обвязалась платком до самых глаз. Но все-таки оставалась красивой, потому что глаза у нее были очень красивые. А Тима, укутанный шалью, походил на чурку. Редкие прохожие, встречаясь, бросали отрывисто:

— У вас нос! — Или: — Ах, как жаль, такие щеки шелудиться будут!

Это означало, что нужно остановиться, набрать в варежку колючий снег и тереть им обмороженное лицо.

Мама намазала Тиме перед уходом гусиным салом нос и щеки. Наложила ему в проношенные валенки бумаги и поверх куртки велела надеть ее бумажейную кофту, а в варежки напихала ваты. Идти до железнодорожной станции нужно было через весь город, а потом еще по открытому полю версты две. Но Тиме с мамой повезло. Их окликнул знакомый санитар, схавший на розвальнях:

— Ежели вы папашу навестить, с нашим удовольствием, подвезу. — Потом он сказал весело: — Вот какой сюрприз, приятное соседство, а то, знаете, возишь все время мертвяков, поневоле о живых соскучишься.

— Каких мертвецов? — испуганно спросила мама.

— наших, сыпнотифозных. — И успокоил: — Вы не тревожьтесь, такой стужи вошь не переносит. Полная гигиена! — Горько добавил: — А вот пациент наш до чего крепкий, дрова в медицинских бараках конфисковали, нечем на паровозах воду кипятить, а эшелоны на фронт гнать надо. Третьи сутки бараки не топим. Петр Григорьевич очень расстроен. Даже ключи от дровяного склада сдавать не хотел. Так его офицеры водили расстреливать за саботаж, так сказать.

— Господи! — простонала мама. — Значит, Петра?..

— Извиняюсь, жив, здоров, в полной форме. Подобное у нас часто происходит. Я думал, вы знаете.

— Как же он спасся?

— А чего тут спастись? Все обыкновенно. Бежим к солдатам: «Братцы, ваше начальство нашего к стенке повели за то, что он за вашего брата, тифозного, сострадать готов!» Ну солдаты выскочат из теплушек, глядишь, ведут обратно. Жив, здоров. Ну, а после, как полагается, митингуют. Дежурные ораторы из города у нас всегда раньше в бараках грелись. Теперь, конечно, не погреются. Студено стало. Все равно как наружи.

— А мне Петр ничего об этом не говорил.

— А чего тут обсказывать? — развел руками в больших меховых рукавицах санитар. — Сказано: все для фронта, господину Пичугину и прочим на пользу, а народу на полное огорчение, — и, показав на очередь в хлебную лавку, сказал насмешливо: — Любит у нас народ ржаной хлеб без ничего кушать. А в булочной Вйтмана пирожными из крупчатки торгуют. Так там никого. Вот необразованность!

— Зачем же вы над голодными смеетесь?

— А что над ними плакать, — сердито сказал сани-

тар, — если они дуры? Пошли бы к Витману гуртом на склады, да и побрали бы муку на салазки. Он же, подлюга, за войну сколько нажил! И еще наживет! Ежели только спину свою подставлять, чтобы тебе мелом на ней номер писали оттого, что хлеба ржаного с мякиной хочешь.

Навстречу показались двое саней, накрытые рогожами; между рогожами торчали голые желтые человеческие руки и ноги.

— Вот, — печально сказал санитар, — такой товар возим. А они живые были. Губят народ. И все отчего? От нашего покорства. Похватать бы им, когда еще живы были, винтовки да до дому! Если всех мужичишек с фронта с ружьишками собрать, они власть, как солому, раскидали бы, пошибче, чем в девятьсот пятом.

Город кончался землянками, занесенными снегом выше крыш. А потом потянулось бесконечное белое поле — место городской свалки, там рычали и взвизгивали бродячие тощие собаки, такие злые и остервенелые от голода, что загрызали волков, забредших в одиночку к городским окраинам. Возле серого дощатого забора бойни толпились кучки крестьян в рваных малахаях. Низкорослые, мохнатые коровенки с клещеватыми копытами сиротливо жались одна к другой и испуганно всхрапывали обледеневшими, окровавленными ноздрями.

— Вот, — злобно сказал санитар, — мало что людишек на убой гонят, так еще скотину им веди, — не справляются с налогами, последнюю режут. Ну до чего народ кроткий! Смотреть тошно! И супруг ваш тоже добродушный. Вчера часы свои продал начальнику эпидемического отряда, ну, прямо задарма. Буре и компания часы. А тот, сука, даже всех денег сразу не дал. Пускай, говорит, у меня походят. Семь рублей задатку дал. А у самого деньги бумажник не вмещает. Спирт весь поворовал. Сулемой только и пользуемся. Шприц скипятить не на чем. Это же абсурд!

— Вы знаете, — сказала мама, — я передумала, мы дальше не поедem.

Санитар остановил лошадь и, глядя мимо лица мамы, произнес неуверенно:

— Вообще-то, конечно, у нас там жуткое дело. Опять же мальчик с вами. Но, если рассуждать по-человечьему, рекомендую Петра Григорьевича удалить от нас хоть на пару днейков.

— Что-нибудь случилось? — испуганно спросила мама.

— Случаев у нас всяких много. Всевозможные бывают.

Я сегодня Петру Григорьевичу сообщил: заберут его. Уж очень он, знаете, либерал. Велел братьям милосердия ночью забор разобрать, чтобы печи в бараках истопить, а за тем забором наши усопшие сложены, разве их всех перевезешь? Ну, солдаты как увидели своих, которые нагишом в штабеля сложены, туда-сюда, митинг, на офицеров покушаться стали по морде. Жандармский унтер из уважения мне сказал: заберут вашего социалиста не сегодня завтра, а поскольку железная дорога на военном положении, дело короткое. Если смягчение обстоятельств — на фронт, а так — взвод, пли — и пульса нет.

— Едемте, пожалуйста, поскорее, едемте!

И мама начала развязывать на голове платок так, словно ей сразу стало жарко.

Санитар провел Тиму и маму через вокзал служебным ходом. Они вышли на перрон, покрытый грязным льдом, и пошли вдоль бесконечного эшелона кирпичного цвета теплушек. Петли на дверях теплушек были прикручены толстой проволокой. Солдаты караульной роты в башлыках и в коротких черных полушубках стояли возле вагонов, держа на согнутых руках винтовки с примкнутыми штыками. Из теплушек доносились приглушенные голоса, а в одной кто-то пел тоскливую песню.

— Видали? — кивнул головой санитар на связанные проволокой двери теплушек. — Боятся, чтобы не разбежались по дороге. Ружьишки-то им только в окопах дадут. Не столько от немцев, сколько от своего народа начальство пугается.

Когда уже подходили к концу перрона, из дверей дежурного по вокзалу четверо офицеров в башлыках, в романовских полушубках выволокли одетого в замасленную железнодорожную форму человека с седой, свинцового цвета головой и запачканными кровью седыми усами. Офицер в черной бурке, накинутой поверх полушубка, отороченного серым каракулем, пиная железнодорожника на ходу в живот, хрипло спрашивал:

— Значит, не исправлен паровоз, говоришь? Не исправлен? Ну, обожди, мы тебе мозги вправим!

Офицеры сбросили человека с перрона, потом подняли и поволокли, держа под руки, к водокачке.

С круглой кирпичной башни водокачки свисала жестяная труба, подвешенная за проволочную дужку к большому чугунному крану. Один из офицеров снял с себя ремень, наклонился над человеком и связал ему ноги. Другой офицер поднял полы полушубка, отстегнул тонкий брючный

поясок и скрутил им руки железнодорожника. Потом офицеры все разом отскочили от человека, лежащего на льду, и один из них скрылся в башне водокачки... Вдруг kloкочущая, окутанная морозным паром толстая струя воды ударила в корчившегося на земле человека.

Мать схватила Тиму за плечи, прижала его лицо к себе и повела куда-то...

Тима и до этого знал многое о жестокости людей.

В Банном переулке, где жили Сапожковы, часто происходили по воскресеньям драки между татарами-скорняками и слободскими пимокатами. Дрались стенка на стенку, в кровь. Но потом все вместе на завалинках мирно обсуждали, кто кого как ударил, гордились силой. И пимокат Кузмишников, опустившись на корточки, клал себе на плечи, как коромысло, бревно, усаживал на него четырех здоровенных татар-скорняков, подымал и переносил их всех через дорогу. Потом говорил, вздыхая:

— Если бы я каждый день досыта ел, не то бы мог!

На пристанях речные грузчики тоже дрались между собой. Но каждый раз за правилом боя строго следил старшина артели, высокий старик с рваной щекой, разъединенной волчапкой.

Самым страшным в том, что сейчас увидел Тима, было то, что человек, которого волокли офицеры, не сопротивлялся. Он даже не звал на помощь, а только сипло уговаривал:

— Господа, постесняйтесь! Я же сорок лет... меня нельзя бить при публике...

Санитар вздрагивающим голосом бормотал:

— Это что же такое, так и намертво искупать можно! Ведь он же Никитин, у него царские портреты в доме. Самый что ни на есть верноподданный! Он же правильно за машину встревожился. Крушения каждую неделю. Намедни целый состав с солдатами под откос. Сносились паровозы. Разве живой груз на таких можно возить? Хорошие машины под пичугинские грузы со сливочным маслом ставят! А под людей — хлам!

Помощник дежурного по вокзалу, Городовиков, в лисьей шубе, в меховых наушниках и в красной фуражке, увидев Варвару Николаевну, неожиданно обрадовался и стал витиевато упрасивать ее осчастливить своим присутствием его служебную келью.

Варвара Николаевна решительно отказалась, но тогда Городовиков, склонив свое сизое, печальное лицо пьющего человека, значительно сказал вполголоса:

— Имею сообщить нечто важное, касающееся жизненного благополучия вашего уважаемого супруга. — И добавил с отчаянной решимостью: — Только из благородных побуждений, вопреки служебному и гражданскому долгу.

— Тима! — сказала мама. — Погуляй здесь, я сейчас приду.

— Видал! — усмехнулся санитар. — Какой двоедушник! Социалисты для него хуже черта. А вот желает предупредить. На всякий случай в будущем место себе сохранить: вот, мол, я же вам подслуживал.

Тима из вежливости кивнул головой, будто понимая то, что говорит санитар. Но одно он ясно видел: спутник его очень огорчен задержкой и тревожно поглядывает на железнодорожные часы. И когда санитар произнес обеспокоенно: «Жандармы небось тоже службу знают, им теперь чай пить некогда», — Тима вдруг понял, чего от него ждет этот человек, и заявил решительно:

— Вы мне покажите, пожалуйста, где папа работает. Санитар обрадовался.

— Ладно, была не была — другого хода нет. Увидит тебя отец, испугается, сразу выскочит, а тут мы его в сторонку отведем, и мамаша на него воздействует. Только ты там мигом, и ни к кому не касайся.

В дощатых бараках лежали вповалку на нарах покрытые шинелями люди в серых солдатских папахах, натянутых иногда до самого рта, из-под шинелей виднелось бязевое грязное белье. Тяжелое, горячее дыхание, несвязное бормотание, сиплые стоны, кислое зловоние и шорох соломы под мечущимися в бреду телами — все это было еще более страшным, чем то, что до этого увидал Тима у водокачки. Два санитара несли на брезентовых носилках покойника в одной короткой нижней рубашке с уже окоченевшими тощими руками и ногами.

Тима отшатнулся, чтобы пропустить их, и увидел вдруг перед собой смеющееся костлявое лицо с глубоко провалившимися черными щеками. Медленно двигая потрескавшимися губами, человек спросил его:

— Испугался, парнишка? Не надо! Покойников только псы по глупости боятся. Ты и живых не бойся. Я вот спужался и сюда угодил, а нужно было бы в тайгу с ружьишком уйти. Вот за хилость души наказание. — И попросил: — Ты бы мне водицы подал испить!

Тима пошел к бочке, стоявшей у двери, зачерпнул ковшиком воду с плавающими в ней кусками льда и подал

больному. Солдат взял ковш в обе руки и стал пить звонкими глотками, жадно двигая кадыком.

Потом Тима увидел, как другой солдат, лежащий здесь же, на нарах, стал корчиться и, хрипя, дергать на груди рубаху.

— Помогите, ему же плохо! — закричал Тима.

Откуда-то из глубины барака поспешно подошел отец и, посмотрев на Тиму так, словно он не видел его, а только услышал откуда-то издали, сказал деревянным равнодушным голосом:

— Немедленно уходи. Как ты сюда попал?

Отец держал в одной руке шприц, другой обнажил грудь солдата и затем быстро воткнул ему в тело иглу. Медленно нажимая поршень освободившейся левой рукой, он поднял бурое веко солдата и снова опустил движением запячканных йодом пальцев.

Бессильно присев на нары, отец пробормотал, глядя на неподвижное, очень спокойное лицо солдата:

— Вот, значит, еще один.

— Петр Григорьевич, супруга! — сказал санитар.

Отец дрогнул и сказал сердито:

— Не пускать. Тут и без бабьих воплей голова кругом.

— Не его. Ваша!

— Вон! Скажите, чтобы уходила вон! — крикнул отец и, поймав за халат проходившего мимо длинноволосого человека в драповой шубе с каракулевым воротником, с повязкой красного креста на рукаве, спросил хрипло: — Вы почему Юсупову приказали отменить инъекцию?

Человек повернулся к отцу и сказал приглушенным басом:

— Господин Сапожков, надо разум иметь, православным медикаментов не хватает, а вы на иноверцев изводить изволите.

Отец ухватил человека за отворот шубы и, шатая его из стороны в сторону, огромного, тучного, закричал тонким голосом:

— Я вас ударю!

Человек мычал, покорно раскачиваясь, и шептал испуганно:

— Пустите, пустите!

Освободившись уже у самой двери, человек воскликнул могучим гулким басом:

— Почетного в рыло? Да за это тебе острог!

Отец вздохнул:

— Хорошо. Позовите дежурного офицера, пусть составит протокол.

— Э, нет! — вдруг испуганно воскликнул человек. — Мне это никак нельзя. Уж извините. То, что вы меня действием оскорбили, кто видел? Они! — И человек простер толстую руку к парам. — Да их всех скоро вперед ногами вынесут. А протокол — бумага. Разговоры по городу пойдут, а я соборный староста. Вас, конечно, накажут, а мне мой срам дороже. Так что, господин хороший, между нами ничего не было. Но что касается иноверцев, тут мы с вами отдельно поговорим, через нашего начальника. Средства, собранные прихожанами на обзаведение аптечных снадобий для христолюбивых воинов, должны, следовательно, идти по назначению, и здесь — я скала.

— Какая мерзость! — сказал отец, с отвращением разглядывая свои руки с дрожащими пальцами.

Санитар, ласково заглядывая отцу в опущенное лицо, снова напомнил:

— Супружница вас дожидает. И сыночек — хороший мальчик. Солдату испить подал. Но ведь вошь у нас здесь вредная, кольнула — и тифок...

Тима вышел из барака. Санитар, приказав зажмуриться, тряс у него над головой пакет с дезинфекционным порошком, приговаривая:

— Не вертись! Стой смирно! Едкая дрянь. Сам знаю. Говорят, от заразы хорошо действует.

Вдруг Тима услышал рыдающий, гневный голос мамы:

— Вы жестокий человек! Как вы смели повести туда мальчика?

Тима открыл глаза и тотчас зажмурился, почувствовав жгучую боль, словно от мыльной пены.

— Мама! — закричал Тима. — Это я сам!

— Простите, если можете, — виновато сказал санитар. — Но только им рассчитывал Петра Григорьевича из барака вытянуть. Другое не поможет. Непреклонный он.

Из барака вышел отец, и санитар вежливо отошел в сторону...

— Нет, — сказал отец, выслушав мать. — Я никуда не уйду. — И таким же деревянным голосом спросил: — Я даже удивляюсь, как ты, увидя все это, можешь предлагать мне подобное?

Отец все время нетерпеливо озирался на двери барака, по-видимому совсем не интересуясь тем, что ответит ему мама. Но мама молчала и только смотрела на него блестящими глазами.

Отец сказал:

— Ну, вот, значит, я пошел.

И мама только успела легким, летучим движением руки коснуться его колючей, давно не бритой щеки. Отец, уже подойдя к двери барака, крикнул, обернувшись:

— Подожди, Варя! А деньги?

Мать подбежала, взяла руку отца и прижалась щекой к открытой его ладони, к еще дрожащим пальцам.

— Петр, какой ты у меня настоящий!.. Я так счастлива!

— Ну, Варя, — сконфуженно бормотал отец, пытаясь отнять свою руку. — Неудобно, люди кругом, что за сантименты.

Мама отпустила руку отца и вдруг сказала гневно:

— И чтоб без часов я тебя больше не видела! Верни этому торгашу деньги. Слышишь, немедленно.

— Ну что ты, Варенька! Это такие пустяки. Я, право, не знаю, почему ты так реагируешь, — смущенно бормотал отец. — Тебя, очевидно, не так информировали.

— Так или не так, а чтобы часы были, — строго приказала мама. И, уходя, послала отцу воздушный поцелуй, улыбаясь ему своей самой нежной улыбкой.

На перроне мама поскользнулась и упала. Попробовала сама подняться и не смогла.

— Подожди, Тимочка. Не тяни меня. Я немножечко устала. Посижу так и отдохну. — Она попыталась сесть, но руки ее подогнулись, и она снова упала на бок.

Но тут появился тот самый санитар, который привез их сюда. Он поднял маму, отвел ее на скамейку под медным колоколом, помахал над ее бледным лицом меховой варежкой и осведомился:

— Значит, ни в какую? — И хвастливо заявил: — Петр Григорьевич человек — вершина! Я с самого начала полагал, не пойдет.

— Его сегодня арестуют?

— Увы, лишен возможности полного содействия.

Но вдруг лицо санитаря просияло, и он воскликнул радостно:

— Мадам, я ведь только им сочувствующий, но осведомлен. Прошу вас, не сползайте со скамейки. Мальчик! Держи мать. Один момент.

Санитар ушел.

Но скоро он прошел мимо них с гордым видом, шагая рядом с человеком в ветхой кожаной фуражке железнодорожника. Этот человек на ходу вытирал руки паклей, лицо его было сердито и озабоченно.

Немного погода подошел отец и, не глядя на мать, проговорил сурово:

— Ну что ж, пошли.

На выходе их ждал санитар. Похлопав варежкой по соломе, лежащей на дровнях, он, как заправский извозчик, пригласил:

— Прошу. Прокачу на резвой.

Отец поколебался, но потом сказал Тиме:

— Садись.

Мама спросила:

— А я?

Отец только пожал плечами.

Ехали долго, в тяжком, отчужденном молчании. Отец не выдержал, сказал:

— То, что ты позволила себе обратиться в комитет,— это выше самого недопустимого, что я мог предполагать.

Мать ничего не ответила.

— Я испытываю к тебе сейчас глубочайшее презрение и не считаю необходимым это от тебя скрывать.

Щека матери дрогнула, и по ней поползла слеза.

— Мне кажется,— сказал металлическим голосом отец,— что после случившегося нам лучше на некоторое время расстаться.

Мать сделала глотательное движение и прижала к лицу руки.

— Остановитесь,— приказал отец вознице.

Санитар только дернул головой и вытянул лошадь кнутом. Лошадь, брыкнув, пустилась галопом, встряхивая на ухабах дровни и ударяясь копытами о передок саней. Отец пытался выхватить у санитара вожжи, но тот, повернув к отцу сизое, обмороженное лицо, сказал с горечью:

— Эх, Петр Григорьевич, а я тебя за человечность почитал! Да что у тебя в крови, сулема, что ли? Что ты жену мучаешь? Что в душу пинаешь? Ну я, обыкновенно, в комитет сбегал. Заберут, мол, сегодня вашего. А он из себя Иисуса делает. Если сегодня благонадежного насмерть купали, то с вашим братом по закону и говорить не приходится чего сделают. А мне: правильно, спасибо за сознательность. Вот и все.— Потом он вдруг всплеснул руками и воскликнул тонким голосом: — Гляди, Григорьич, чего интендантские делают! Коней на бойню согнали, жулье. Вот, значит, какой говядиной солдат кормят. А мужик последнего коня на армию сдает. Обезлошадела вся деревня. То-то я смотрю, сегодня интендантские коров на ипподром собрали,

пичугинские приказчики им хвосты ломают. А Пичугин их тайком ночью гуртами на прииск... Там у него ферма. Сливочное масло эшелонами гонит московским да питерским бакалейщикам, а те за него по военному времени три шкуры дерут. Вот она война пауков с мухами! Хуже германцев народ грабят!

Начали густо сыпаться косматые, пухлые снежинки. И скоро снег уже валил густыми хлопьями. Он падал с птичьим, крылатым шорохом, застилая все вокруг белой роящейся завесой. Стало теплее. На улицах не было ни души. Город засыпал рано. На пожарной каланче пробило восемь раз. Всего восемь часов, в окнах темно, и только у хлебной лавки жалась очередь, да за высокими заборами лязгали цепями сторожевые псы.

Сани остановились возле дома.

— Спасибо,— сказала мама санитару.

— Не за что. Конь казенный.

Мама наклонилась к санитару и быстро поцеловала его в щеку.

— Ну уж это, понимаете, зря,— бормотал сконфуженно санитар.— Мы же инфекционные. Можно заразу какую занести.

Отец подал санитару руку, но тот медлил протянуть свою и подозрительно спросил:

— А вы, Петр Григорьевич, жену дома разговорами пилить не будете, чтобы после назад обернуться? Я тогда снова до комитета сбегая. У вас же дисциплина вроде как у солдат. Там за самовольство по головке не погладят.

— Нет, вам не придется больше затрудняться.

Отец нащупал на столе лампу, снял стекло, зажег фитиль, дохнул в стекло и вставил в горелку. Поднял лампу, обегая взглядом комнату. Потом сказал извиняющимся голосом:

— Ах да, она без абажура.

Тима все время, пока отец зажигал лампу, внимательно и тревожно следил за ним.

— Папа, это же я разбил.

— Очень возможно,— сказал отец рассеянно. Он взял мамины руки в свои и спросил: — Мне нужно у тебя просить прощенье?

— Нет,— сухо сказала мама.— Самовар поставить?

— Не нужно, я сам. Ты все-таки на меня сердисься, я оскорбил тебя, да?

— Петр, я не люблю глупых, сентиментальных объяснений. Давай пить чай...

Весь следующий день отец провел с Тимой дома. И Тима наслаждался дружбой с отцом.

— Ты, Тимофей, пойми, — говорил отец, лежа на койке с книгой в руках. — Человеческий разум всемогущ. Вот один человек еще в очень далекие времена заметил: если натирать кусочек янтаря о сукно, то в этом янтаре возникает энергия, способная притягивать к себе мелкие клочки разорванной бумаги. Изучая это явление, люди постепенно создали мощные машины, способные вырабатывать колоссальную электрическую энергию, которая может приводить в движение другие машины, освещать ярким светом огромные города. Электричество можно получать и посредством водяных двигателей. В Сибири величайшие реки в мире, и когда-нибудь они будут служить источником электрической энергии, ее научатся давать столько, что весь этот край превратится в истинно прекрасное место на земле. Я очень сожалею, что мне не удалось получить инженерное образование. В будущем счастливом обществе инженерам предстоит решить огромные технические проблемы.

— А почему не удалось? — спросил Тима, тщетно пытаюсь заставить котенка стоять, как собаку, на задних лапах.

— Видишь ли, неблагонадежных не принимают в инженерные учебные заведения.

— А я благонадежный?

— Как тебе сказать? Вообще этот вопрос сейчас перед тобой не стоит, но когда ты станешь юношей, я убежден, что это слово исчезнет навсегда с языка людей, как и многие другие постыдные слова.

— Это когда революция, что ли?

— Да.

— А долго ее ждать? Уж надоело. Ты в больнице, мама на службе, а я все один, как хомяк в кладовке. Скорей бы, что ли.

— Я думаю, теперь уже скоро, — серьезно сказал отец. — Десять миллионов русских рабочих и крестьян получили винтовки, стали солдатами, и их заставляют воевать с немцами. А они не хотят воевать. И вот вся эта вооруженная масса людей, если поймет и будет организована, то никакие силы на земле не смогут в ближайшем будущем предотвратить революцию в России.

— Честное слово?

— Эх, Тимоша, мал ты еще, — сказал отец с сожалением. — А ведь я, знаешь, очень хочу, чтобы мы с тобой жили как товарищи...

— Значит, поэтому ты меня за абажур не захотел отлупить и за кринку тоже?

— Да,— вздохнул отец.— Ты, брат, действительно мало еще чего понимаешь...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мама раньше обычного вернулась домой. Уже в дверях она взволнованно сказала отцу:

— Петр, очень возможно, что в Петрограде произошел революционный переворот. Газеты сегодня не вышли. Банк закрыт. На телеграф никого не пускают. Софья сказала, что все члены городской думы собрались на экстренное заседание. А воинский начальник приказал арестовать тех офицеров, которые истязали железнодорожника.

Почти вслед за мамой пришла Софья Александровна и с нею Кудров. Заметив вопрошающий взгляд матери, Софья Александровна гордо встряхнула головой.

— Варя, все это сегодня ничего не значит. В Петрограде революция. Власть находится в руках Временного правительства.

Отец стал поспешно одеваться. Мама сказала:

— Я с тобой, Петр.

— А как же Тима?

— Тимофея мы отправим к Савичу. Там у него целое собрание местных тузов,— насмешливо объявила Софья Александровна.— Ждут правительственных указаний. Пичугинский рысак стоит у почтамта. У них уже сформировался градоправительственный кабинет. Савич, очевидно, получит портфель городского головы. Представляю его упоенную рожу! Пошли!

Тиму отвели к дому Савича и сдали на руки Агафье. Он заснул на кухне, на мучном ларе. Агафья постелила ему свою перину. Засыпая, Тима думал о том, как приятно будет завтра проснуться в новом человеческом мире, где люди будут счастливыми, добрыми, на всю жизнь радостными, где все будет принадлежать всем, где можно даром ходить в дворянскую баню и никто не будет больше болеть тифом, потому что каждый сможет получить сколько угодно лекарств.

Утром Агафья отвела Тиму в детскую и сказала Ниночке, удивленно поднявшей тонкие брови:

— Вот тебе первый гость.

— Садитесь, Тимоша,— произнесла протяжно Ниночка.— Я вам очень рада.

Но Тима и не думал садиться. Он схватил Нину за руку и предложил:

— Бежим скорее на улицу. Ты знаешь, теперь революция. Все люди — братья. Царя нет.

Но Ниночка сказала рассудительно:

— Я все знаю. Папу еще вчера поздравляли. А на улицу ходить нельзя. Там пьяные солдаты. Папа уже звонил воинскому начальнику.

— Теперь никаких начальников не будет.

— Вот и неправда. Будут. Теперь папа — начальник.

А ты анархист.

— Я против царя, — обиделся Тима.

Ниночка переменяла разговор:

— Папа сказал, что из-за революции мои именины отменять не будет. Вы меня поздравить пришли, да?

Она выжидательно смотрела Тиме на руки.

— Я подарок дома позабыл, — мучительно краснея, пролепетал Тима. — После принесу.

— Спасибо, Тима, — опуская глаза, сказала Ниночка.

Но вскоре стали приходиться настоящие гости с разными подарками и, оставляя детей в детской, поспешно удалялись в кабинет Савича.

Пришла пышная и крикливая, с подбритыми бровями, жена санитарного инспектора Грачева. Звонко поцеловав Ниночку в обе щеки и сунув ей в руки две серебряные ложки, связанные шелковой ленточкой, она оставила в детской двух тощих братьев-близнецов, похожих друг на друга, как два венских стула.

Пришла дама в розовом платье, с толстыми икрами, долго и тщательно вынимала из бумаги горшок с чахлым цветком, а рядом с ней стояла застенчивая долговязая дочь, с длинными, как у болотной птицы, ногами, и поясняла мяукающим голосом:

— Этот цветок приносит счастье, так как мама поливала его освященной водой.

Потом пришла учительница музыки и заявила, восторженно закатывая глаза:

— Нинусик, я принесла тебе в подарок полечку моего сочинения.

Усевшись за пианино, она заиграла что-то очень громкое, с остервенением колотя по клавишам желтыми прыткими пальцами.

Вошел Пичугин, тщетно пытаясь сощурить в улыбке выпуклые глаза, прохрипел:

— Расти большая, — и положил на стул коробку,

в которой лежало розовое боа из кудрявых страусовых перьев.

В кабинете Савича было тесно и шумно. Каждый входящий, восторженно улыбаясь, скороговоркой произносил:

— Поздравляю. Великое свершилось.

Или:

— Наконец Россия свободна!

Или:

— Ах, какой неописуемый исторический момент!

А некоторые совсем кратко:

— Свобода, господа, свобода!

Пичугин, тревожно потирая руки, допытывался:

— А солдатики как, не сбунтуются? — И протяжно вздыхал: — Нам беспорядка не требуется. — Озираясь, спрашивал: — Как, господа, можно без безобразия обойтись, а? — Обращаясь к своему тестю Золотареву, одетому в визитку, тучному, солидному, с пробором посреди клиновидной головы, наставительно шептал: — Если будут верны союзническому долгу, следует запросить новых кредитов у Временного. — И, ухмыляясь: — Овчину-то я на сто тысяч полушубков зажал. А то, что я получил от бывших, забыть и растереть. Самодержца поперли. Какие могут быть претензии?

Золотарев, отмахиваясь от него рукой, сипло ораторствовал:

— Теперь, когда наступило единение всех рачительных сил России, я полагаю, господа, необходимо создать комитет из промышленных людей, так сказать представителей вольного капитала, с тем, чтобы взять в свои патриотические руки снабжение армии.

— Меня честность заела. Поэтому и не хотел больше взятки ветеринарному давать, — говорил Пичугин, держа за лацкан старенького пиджака санитарного инспектора Грачева.

— Если судить по вашей комплекции, вы сильно преувеличиваете аппетит вашей честности, — ядовито шепелявил Грачев.

— Он всегда с такой тонкой иронией обличал самодержавие, что только знатоки могли догадаться о его социалистических взглядах, — кивая на Савича, бросил на ходу Грачев, пробиваясь к купцу Мачухину, который тяжким басом угрожал кому-то:

— Ты меня историей человечества не пугай. В Париже машиной головы рубили императорской фамилии. А теперь там кто? Пуанкаре. Ну и пошли нам Христос такого же!

Положив на плечо директора мужской гимназии Лисикова пухлую лиловую ладонь, Мачухин произносил с удовольствием:

— Я глупый, а ты умный. Но я перед сном себе зубы чищу, а ты — ботинки. А почему? На жалованье живешь. Ступай ко мне в приказчики. Через год на своем рысаке ездить будешь. Образованные люди должны в дело идти, как у англичан и прочих иностранцев.

Высокий брюнет с лошадиными глазами шепотом осведомился о Савиче:

— А супруга его где? Нехорошо. Супруга должна сопровождать мужа во всем.

— Друзья,— говорил ласково Савич,— позвольте вам представить одного из потомков наших славных и благородных предшественников.

Из низкого, с кривыми, как у таксы, ножками, кресла, синий от усилий, вылезал аккуратный плешивый старичок и с достоинством кланялся.

— Кто это? — спрашивал брюнет с конскими глазами.

— Из декабристов, говорят.

— Октябристы, декабристы, кто их разберет!

— Нет, это вы уже зря, батенька! — гудел Мачухин. — Этот из тех, о которых, помните, Пушкин выразился: мол, во глубине сибирских руд...

— Ах, из этих... А Савич, знаете ли, не лишен, не лишен сообразительности.

Мачухин басил хвастливо:

— Я библиотеку патристическую составил. В какой книге наша Сибирь добрым словом помянута, ту страницу велю выдрать и под кожаный переплет.

— Кто честный? — спрашивал Пичугин и кивал на Савича. — Он, что ли? Честный потому, что боится прослыть взяточником? Видали мы таких.

Моргая и нервно подергивая плечом, Грачев заступился за Савича:

— Однако вы, господин Пичугин, преждевременно распускаетесь. Революция еще только в самом начале. Боюсь, как бы Георгий Семенович не призвал вас к порядку.

— Дорогой мой,— прорычал заискивающе Пичугин. — Так я только и хочу, чтобы порядок во всем был.

— Господа,— громко говорил Савич,— когда русский народ подвел великие исторические итоги, нам не следует заниматься личными счетами.

— Видать, он эту фразу напоследок берег, вроде слад-

кого блюда, да не удержался, — иронически прошептал Золотарев Мачухину.

Мачухин одобрительно улынулся и громко прочел вслух:

— «Тот самый человек пустой, кто весь наполнен сам собой». — И, обернувшись к Золотареву, спросил шепотом: — Кто?

— Несомненно, Георгий Семенович.

Мачухин качнул седовласой курчавой головой, потом произнес важно:

— А сочинил сие Михаил Юрьевич Лермонтов.

Брюнет с лошадиными глазами сказал Мачухину, поведя бровью на Савича:

— Этот, я думаю, не имеет заметных недостатков. — И, подумав, добавил: — Так же, как и достоинств.

Подошедший Золотарев произнес вполголоса:

— Но ведь городской голова — это же фигура.

Пичугин взял Золотарева за локоть и сказал с укоризной:

— Эх, Пантелей, ну чистый ты Пантелей! Что ж ты думаешь, ежели революция, начальника полиции полковника Сенцова на эту должность сажать или меня, а может, тебя, пентюха? Разве так дела с народом делают? Он тебе тогда враз башку оторвет. Без всякой французской машины, одними руками.

— Граждане свободной России! — звонко произнес Савич, притрагиваясь к усам, и продолжал, несколько поколебавшись: — Господа и дамы! Сегодня по счастливому совпадению мое личное семейное маленькое торжество совпало с великим торжеством всего русского народа. Я как русский социал-демократ хочу приветствовать этот день гимном свободы.

Он нетерпеливо махнул рукой ожидающему возле граммофона помощнику присяжного поверенного, тихому юноше с угреватым лицом.

Из граммофонной трубы зазвучала «Марсельеза».

— Всех прошу встать! — негодуя крикнул Савич и высоко вздернул длинный, острый подбородок.

И как бы эта разношерстная публика ни была настроена, гневная власть музыки, кощунственно звучавшей из голубой трубы с нарисованным на ней сидящим на пластинке голым амуром с гусиным пером в руке, была настолько всесильна, что у многих глаза насторожились и потускнели, а в сердца вкрался леденящий холодок страха перед грядущим.

Вдруг с улицы под окнами савичевской квартиры из сотен простуженных в казармах солдатских глоток раздалось громкое «ура». И чей-то глухой голос выкрикнул раздельно, сильно и страстно:

— Да здравствуют Советы рабочих и солдатских депутатов, товарищи!

Да, это было нечто пострашнее «Марсельезы», загнанной в граммофонную трубу.

— Какие еще Советы? — с испугом спросил Пичугин Грачева. Но тот небрежно отвел его руку своим плечом, и только один Савич не растерялся. Он захлопал в ладоши и радушно объявил:

— Прошу всех за стол, дорогие граждане!

ГЛАВА ПЯТАЯ

Тима ушел от Савичей, где он чувствовал себя одиноко среди всех этих малоприветных ему гостей Ниночки, и направился домой.

На многих зданиях висели красные флаги. На главной улице, как в праздник, гуляли парочки, дворники движением сеятелей посыпали тротуар золой из больших железных совков. Гимназистки и гимназисты продавали в пользу раненых красные банты. В аптекарском магазине Гоца взамен портрета царя был вывешен портрет Льва Толстого. Какие-то люди, забравшись на крышу почты, сбивали с фронтона палками гипсового двуглавого орла. Шагала по дороге колонна солдат, впереди важно шествовал рядовой с большими черными усами и красной повязкой на рукаве шинели. А проходящие мимо офицеры, в фуражках и с черными бархатными чехольчиками на ушах, иронически поглядывали на этого рядового, бодро выкрикивавшего: «Ать-два, левой!»

На перекрестке какой-то человек, держась руками за фонарный столб, ругал войну и убеждал солдат воткнуть штык в землю. Солдаты слушали этого человека очень внимательно и серьезно.

Двое штатских, один в высокой каракулевой шапке, а другой в треухе, оба подпоясанные поверх пальто ремнями, наперевес держа винтовки, провели толстого околоточного, недоуменно и угрюмо озирающегося.

На черном рысаке в крохотных санках догнал солдатскую колонну Пичугин. Приподнявшись, опираясь рукой

о спину кучера, Пичугин сорвал с головы бобровую шапку с черным бархатным верхом и лихо прокричал:

— Русским доблестным революционным войскам слава! Граненым штыком в глотку кайзеру! Ура!

— Ура! — с добродушной готовностью подхватили солдаты.

Но черноусый солдат, обернувшись к своей команде, сипло рявкнул:

— Отставить.— И ехидно спросил: — Не видите, кому урякаете? В бобрах до самых бровей. А ну, подравняйся! Шагом марш!

В синематографе «Пьеро» шла картина с участием Веры Холодной. Солдат в задние ряды пускали бесплатно. Торговка калеными кедровыми орешками, насыпая в карман бороdatoму унтеру стакан орехов, тревожно спрашивала:

— Значит, отвоевались? Теперь и мой, значит, возвратится?

— Ежели не упокоили, жди! — весело гоготал унтер.— Прибудет после пятницы в субботу, в самый банный день.

А возле хлебной лавки, как всегда, с вечера выстраивалась длинная, унылая очередь. Некоторые приходили сюда со своими табуретками.

И тут Тима встретил знакомого санитара. Но теперь санитар не лежал на дровнях, а важно восседал на извозчичьих санках, франтовато выставив ногу на подножку.

— Эй, товарищ! — крикнул санитар.

Тима оглянулся, ища глазами, кого это зовет санитар.

— Ты чего озираешься, словно жулик? Айда сюда! К отцу повезу.

Усадив Тиму к себе на колени, санитар приказал извозчику:

— Пшел!

Прижимаясь к уху Тимы шершавыми губами, стал шептать:

— Петр Григорьевич сейчас в ресторане «Эдем» властвует. Нажал на буржуазию. Всех подраненных из санитарного эшелона туда перевезли. А койки из-под жильцов «Дворянского подворья» забрали. Ничего, там полочки мягкие. Так поспят.

Потом санитар рассказал, как он явился в аптекарский магазин Гоца с бумажкой за медикаментами. Провизор спросил: «А печать где? Не успели обзавестись? Вот когда обзаведетесь, тогда и приходите».

— Но я, знаешь, какой? — спрашивал санитар Тиму. — Неуравновешенный. Меня раздражать нельзя. Ухватился я за карман, будто в нем пистолет. Так они сразу всё в пакеты запаковали и сами к извозчику вынесли. Теперь в госпиталь везу.

Обычно у входа в ресторан «Эдем», ярко освещенного двумя большими керосинокалильными лампами, топтались всякие странные личности. Гармонисты с завернутыми в кошму музыкальными инструментами, цыгане в грязных шубах мехом наружу и в мягких, ярко начищенных сапогах, седовласый старик с медалями за японскую войну. И множество мелких торговцев кедровыми орешками, семечками, сильно проперченной нельмовой строганиной и морожеными вернинскими яблоками. Но сейчас здесь было темно и пусто.

Тима поднялся на второй этаж.

В расписанном амурами большом зале с множеством зеркал в простенках стояли ряды кроватей. Гирлянды бумажных китайских фонариков свисали над ними крест-накрест. А в углу стояло чучело бурого медведя, держа в зубах деревянную золоченую бутылку. Пахло йодоформом, карболкой. В огромном застекленном, похожем на алтарь, буфете выстроились аптекарские склянки, а на двух бильярдных столах, придвинутых к стене, спали санитары в серых халатах.

Тима увидел маму: она стояла на лестничной площадке с племянником Золотарева. На рукаве его хорьковой шубы, перепоюсанной солдатским ремнем, на котором висел револьвер, была красная шелковая повязка. Несколько позади Золотарева нетерпеливо топтался белобрысый студент с винтовкой в руках.

— Обратитесь в комитет, и вам там разъяснят многое из того, чего вы не понимаете, — сухо говорила мама. — А обсуждать здесь с вами, кому принадлежит власть в городе, извините, не буду!

— Но позвольте! — обиженно возражал Золотарев. — Это по меньшей мере произвол! В первый же день революции, вместо того чтобы согласованно разработать, так сказать, программу, ваш комитет производит на вокзале аресты пассажиров и потом в одну ночь переселяет раненых солдат из эшелона в неподобающее им помещение.

— Те, кого вы называете пассажирами, — переодетые жандармы и подобные им господа. А второе, милейшие граждане, запомните: революция — это изменение в лучшую сторону условий существования людей, и прежде

всего тех, кто больше нуждается, и за счет тех, кто повинен в бедствиях народа.

Высунувшись из-за плеча Золотарева, студент сказал восторженно:

— Вы нас не поучайте, я сам старый социал-демократ.

— Мама! — робко произнес Тима. — Я пришел, это ничего, что я пришел сюда?

Мама перевела глаза на Тиму, уголки губ ее дрогнули, но она мгновенно сурово сжала их и сказала не Тиме, а студенту:

— Тем лучше, что вы старый социал-демократ. — Она чуть усмехнулась. — Значит, вы возьмете на себя обязанность подробнее объяснить гражданину Золотареву все, что я сказала. По остальным вопросам, снова повторяю, обращайтесь в комитет, так как я подчиняюсь только комитету.

Золотарев пожал плечами и стал спускаться по лестнице, а студент, оборачиваясь, через плечо крикнул маме:

— Это все большевистские приемчики: завоевывать симпатии масс путем незаконной экспроприации!

— Гражданин! — весело крикнула мама. — Вы вырвали из вашей винтовки затвор. Нельзя быть таким рассеянным!

Когда студент и Золотарев скрылись за дверью, мама присела на корточки перед Тимой, обняла его и, глядя снизу вверх смеющимися, радостными глазами, воскликнула:

— Тимофей, как ты нашел нас? — и гордо спросила: — Ну как, здорово я их отчитала?

Тима проникся к маме большим уважением, но все-таки посоветовал:

— Ты меня при всех так больше не целуй в щеки. А то подумают, вроде как я маменькин сыночек, а ты без меня скучаешь. Нельзя сейчас так, раз революция...

Мама отвела Тиму в огромную кухню, накормила перловой кашей с солониной и сказала, что будет помогать папе в госпитале. А жить они будут теперь все вместе в отдельном кабинете.

Тима подумал, что отдельный кабинет — это что-нибудь даже более роскошное, чем кабинет Савича. Но оказалось, просто закуток. Тонкие дощатые низкие стенки, оклеенные грязными обоями, не доходили до потолка. Вместо дверей пыльная занавеска и узкий полукруглый диван, обитый плетеной соломой.

Улегшись на диван, покрытый маминой беличьей шубкой, во многих местах протертой до кожи, Тима долго не мог уснуть, прислушиваясь к тяжкому дыханию и к тонким младенческим всхлипам раненых.

На следующий день Тима после завтрака в кухне отправился осматривать госпиталь. Ничего похожего на тифозные бараки здесь не было. Тима стеснялся глядеть на потолок, где были намалеваны жирные полуголые нимфы с распущенными волосами и какие-то козлоногие рогатые мужики. В больших зеркалах, в гипсовых золоченых рамах отражались ряды самых разнообразных кроватей — от двуспальных никелированных до брезентовых носилок. За отсутствием специальной посуды под кроватями стояли мельхиоровые ведерки. На больших восьмиугольных столах для карточной игры, обтянутых зеленым сукном, с круглой полированной впадиной посередине, лежали груды бинтов и пачки ваты, завернутые в пропарафиненную бумагу. На таком же столе сестра милосердия в белой косынке и в гимназическом фартуке кипятила в спиртовом кофейнике иголки для шприца.

На эстраде за зеленым бархатным занавесом разместилась перевязочная. Тут к потолку была подвешена керосинокалильная лампа с белым асбестовым колпачком и примусным насосом на пузатом резервуаре. Вчера еще эта лампа висела на чугунном кронштейне у входа в ре-сторан.

Посередине стоял бильярдный стол, накрытый белой простыней. И такие же простыни висели вокруг стола. На верхнем этаже, из кухни, до потолка облицованной кафельными плитками, сделали баню. Сюда из кухни нижнего этажа санитары приносили на березовом шесте огромные красной меди кастрюли с кипятком.

В госпитале у Тимы не было ни минуты свободного времени.

Каждому раненому хотелось подольше задержать мальчика у своей койки.

Ему первому, а не санитару, протягивали термометр и озабоченно спрашивали:

— А ну, скажи цифру?

После перевязки сообщали радостно:

— Правильный совет давал: когда глаза шибко зажмуришь — верно, не так больно.

Тима научился точно отмеривать лекарство, бережно вливать его между сухих губ раненого, сматывать в рулончики выстиранные бинты, долго о чем угодно рассказы-

вать шепотом страдающим от тяжелого ранения солдатам, которые забывали о боли, слушая в полузабытьи Тиму, узнавая в его голосе голоса своих ребят.

Его требовали тоскующие накануне операции. И Тима объяснял папиными словами, что это вовсе не страшно, а даже очень полезно и необходимо для здоровья, и восторженно расхваливал хлороформ, который так колдовски усыпляет человека.

Когда отец и доктор Шухов обходили койки с ранеными, санитар возил за ними столик на колесиках. На столе стояли склянки с лекарством и в блестящей никелированной коробке медицинские инструменты.

На докторе Шухове была офицерская форма с черной полоской на погонах, а на груди Георгиевский крест. С ранеными он обращался грубо, сердито тараща опухшие, с темными веками глаза. Он отрывисто командовал, все равно как унтер на плацу: «Сесть! Дышать! Молчать, пока не спрашивают! Чего рожу кривишь? Больно? Не баба! Солдат должен терпеть!»

Уединившись с отцом в перевязочной, он говорил, сморкаясь в платок защитного цвета:

— Ампутированных нужно держать отдельно. Они плохо влияют на тех, кто после излечения должен будет снова продолжать службу. Хотя после госпиталя солдат — дрянь, с мозгами набекрень, наслушаются тут от студентов политики. Вообще я считаю, что данная обстановка внушает раненым нежелательные мысли.

— Позвольте, но нельзя же было дольше держать их на путях в холодных теплушках!

— Можно и должно! В окопах будет хуже!

Закурив тонкую дамскую папироску и дыша отцу в лицо дымом, спрашивал угрожающе:

— Сие заведение принадлежит господину Пичугину? Так? Значит, нарушен принцип священной и неприкосновенной частной собственности. Солдаты это понимают, наматывают на ус и, следственно, по выходе из госпиталя могут покуситься и на мою и на вашу собственность. Вот какие развратные выводы они сделают!

Налив в мензурку с широким горлышком спирт и разбавив его из бутылки дистиллированной водой, Шухов пил, сделав губы дудочкой, шумно выдыхая из себя воздух и задумчиво почесывая седую бровь.

— Я ведь, батенька, человек подневольный, — жаловался он. — В случае чего снова на фронт. В армии либералов не терпят!

— Вот, сынок, в каких дворцах пищу жрали, — говорил Тиме солдат Егоров. — Три этажа трактир, две кухни, а народ голодует.

— А вы за что «Геоργия» получили?

— Так, за дурость. Ведь кто германский солдат? Тоже мужик, только он вместо хлеба картошку жрет. Вся разни-ца. А я его за это в брюхо штыком. Ребята брататься полезли, а я в окопе остался. Совестно в глаза глядеть. Взводный говорит: «Молодец, Егоров, значит, презираешь врага?» — «Сочувствую, говорю. Да что ему до меня, если завтра друг на дружку снова погонят». — Ну, взводный меня по морде. Я стерпел до первого боя, а там пойми, кто его, раз кругом пули свищут.

— Страшно на войне?

— С какой стороны подойти. Я вот на медведя с ножиком ходил. Тогурские мы! Их в тайге много. Там я человек, а он, одним словом, медведь. Но я его не боюсь, поскольку мне с него польза. А там что? Ты бьешь, тебя бьют, а для ча? Ну и, конечно, боязно с того, что зазря.

На соседней койке лежал с ампутированной ногой ротный писарь Тимохин. Лысый, с толстым синим носом и отвисшими губами, он кричал на Егорова пронзительным голосом, стараясь, чтобы все его слышали:

— Ты же подлец: кавалер, герой, а рассуждаешь как инородец! Германец хочет Россию покорить!

— А чего ему нас корить, когда он сам вшивый?

— Лютеранцы церкви порушат.

— Токо у них и делов. Вот обожди, поддадут они своему кайзеру, как мы Николашке...

— Престол пустой не бывает!

— Башка у тебя пустая, вот что.

— Я патриот!

— Патриот, а зачем ногу под колесо фуры сунул? До дому захотел, сбруей торговать?

— А он и в писаря-то попал за взятку, — сказал слепой рыжий солдатик. И пожаловался: — Курю, а без видимости дыма во рту одна горечь.

— А ты видел, как я взятку давал? — визжал писарь.

— Когда глаза были, все видел, но понятий не имел.

— А теперь имеешь?

— Пойду по деревням правду говорить. Узнаешь, — спокойно и угрожающе произнес слепой.

— Бунтовать, да? — Тимохин даже приподнялся.

— Валяй, валяй, скачи на одной ноге до дежурного офицера, он тебе семишник за услугу отвалит.

Вокруг койки, где лежал артиллерийский наводчик Саковников, всегда толпились раненые.

До войны Саковников работал на Урале литейщиком. Худой, тощий, с впалыми глазами, он говорил сиплым шепотом, прижимая ладонь к забинтованной шее. У него было прострелено горло и ампутированы обмороженные ступни.

— Мужiku что надо? — вопрошал он слушателей строго, как учитель. — Верно, землю. А рабочему? — Правильно, заводы, которые он собственноручно соорудил. Взяли. Дальше что? А дальше, ребята, самое такое, — кто у власти? Если мой хозяин да твой помещик, что ж, они хомут на себя оденут? Нет, тебя запрягут и дальше по старой дорожке погонят. Значит, чего сейчас главное? А главное сейчас такое, кто сверху будет: мы или они?!

— Дак революция же сейчас! — беспокойно восклицал однорукий пулеметчик Орлов. — Царя нет!

— Учityваю, — важно произносил Саковников, — с того и разговор веду, что царя нет, а хомут остался...

Самая молчаливая палата была та, где лежали раненные в лицо, тяжело изуродованные люди, те, у кого оторваны нижние челюсти, срезаны щеки, носы и кости черепа обтянуты только тонкой глянцевитой розовой пленкой. Здесь же помещались раненные в позвоночник, недвижимые, потерявшие слух, речь, зрение.

После того, как один раненый с оторванной челюстью удавился ночью на пояском ремне, привязав его к спинке кровати, в этой палате назначили постоянное дежурство. Санитар Вихров, веселый кудрявый паренек, отличный балалаечник, дня через три-четыре сказал Тиме:

— Попроси отца, пусть сменил: не могу больше. — И прошептал с ужасом: — Там один безрукий, безногий, глухонемой взял в зубы карандаш и написал на бумаге, которую я перед ним держал: «Отрави, сжался». Не могу я так больше, не могу!..

В госпиталь приходили с подарками от городской думы расфранченные дамы-патронессы и делегаты из офицерского союза.

Однажды после того как солдаты из рук дам получили белые сайки и пакеты с леденцами, делегат офицерского союза произнес речь о том, что сейчас свободная Россия, верная своему союзническому долгу, жертвует кровью лучших своих сынов на фронте. Но так как большевики — немецкие шпионы — ведут агитацию против войны, хорошо, если бы ходячие раненные в воскресенье пошли по

городу с лозунгами: «Война до победного конца!» Это произведет ободряющее впечатление на население.

— Гражданин прапорщик, дозвольте вопрос?

Егоров поднялся на локте и спросил умильно:

— А лежачим нельзя народу представиться?

— Георгиевский кавалер? Грамотный? По записке речь сказать сможешь? — обрадовался офицер.

— Я не про себя, — ухмыльнулся Егоров. — Тут у нас солдатик есть интересный. Без ног, без рук, глухонемой, но ловкач, берет в зубы карандаш и пишет. — Протягивая офицеру скомканную бумажку, дрожащим от злобы голосом крикнул: — Только ты бумажку там прочти и не давься словом!

— Ты, братец, какое-то безобразие хочешь учинить?

— Ладно, — зловеще сказал Егоров, — я тебе, ваше благородие, бумажку все равно в руки бы не дал. Ходячим стану, на площадь ее вынесу и всем людям покажу. Я их за войну так сагитирую, что и ружьишек всем не хватит для первой надобности!

С этого дня в госпиталь стал по вечерам наведываться штаб-ротмистр Грацианов. Вызывая по очереди в операционную санитаров, сиделок и сестер милосердия, закрыв на ключ дверь, допрашивал их.

Отец сказал ротмистру:

— Господин Грацианов! Я бы очень попросил вас избрать другое помещение для ваших бесед с персоналом.

— А что такое? — прищурился ротмистр.

— Ведь это же операционная! Малейшая инфекция...

— Ах, вот что вас беспокоит! — Оскалившись, произнес злобно: — А то, что тут большевистская зараза развелась, это вас не беспокоит? А может, даже радует, а?

— Я прошу в таком тоне со мной не разговаривать.

— Виноват! — Ротмистр шутовски щелкнул каблуками. — Затронул, так сказать, чувствительные струны, — и сухо предупредил: — Я должен доложить о нежелательности вашего пребывания здесь. Кстати, позвольте взглянуть на ваши документы.

Возвращая паспорт, заметил небрежно:

— Очкарь, белобилетчик!

Отец Тимы носил очки, страдая сильной близорукостью. Он ходил осторожно, сощурившись, откинув назад голову. И вид у него от этого был надменный. На самом деле он был до болезненности застенчив, но очень легко приходил в ярость от малейшей грубости.

Сколько раз он давал жене клятву, что будет считать до тридцати, если ему покажется, что его оскорбили!

Но на этот раз Петр Григорьевич не успел досчитать до тридцати. Ротмистр ушел, все-таки найдя нужным приложить два пальца к светлой каракулевой, лихо заломленной папахе.

Кроме этих посетителей, с самого утра, когда раненых еще только умывали перед завтраком и возили на перевязки, в госпиталь приходили Рыжиков, Эсфирь, Софья Александровна, механик Капелюхин из пароходного затона. Они приносили махорку, мороженое молоко, бруснику в берестовых туесах и сушеную черемуху. Сидя возле коек, вполголоса беседовали с ранеными.

Рыжиков как-то невзначай посоветовал Егорову провести выборы революционного комитета.

Хитро щурясь, Егоров спросил:

— Из георгиевских кавалеров комитет собрать или как?

— Вам виднее, — так же хитро улыбаясь, ответил Рыжиков. — Если у вас такой обычай, действуйте по обычаю.

— А у вас как?

— Мы люди штатские, тихие. Кто побоевее, за народ постоять может, тех и придерживаемся.

— Значит, большевиков наперед суете?

— А у вас они здесь не водятся?

— Ежели поискать, найдутся.

— Ну вот и договорились, — облегченно вздохнул Рыжиков и озабоченно спросил: — А кто я, тебе доложить?

— Вижу! — с достоинством произнес Егоров. — Наслушался ваших, теперь по повадке узнаю.

— Значит, поладили?

— Будь надежен.

После ухода этих гостей раненые бережно прятали листовки, отпечатанные на желтой оберточной бумаге, кто под рубаху, а кто под бинты.

Оренбургский казак Дубиня учил Тиму играть в шашки, сделанные из хлебного мякиша. У казака была большая черная борода и кудрявый чуб, свисающий на левую бровь.

— Умственная игра, полезная, — говорил Дубиня, передвигая шашку. — Я и грамоту одолел на фронте, чтобы башкой просветлеть. В девятьсот пятом плеткой полосовал народишко. Ты уши не вешай, гляди, в дамку лезу. Так. Сообразил? Резервной сотней нас здесь держат. Понял, для чего? От беспорядков. А к нам в казармы никто из этих вот не приходит. Все за девятьсот пятый обиду держат. А хоть

мы и казаки, да ведь и среди нас всякие есть. Я вот одно название что казак. За войну баба землю продала, и конь у ней сдох. Ну вот тебе, Тимофей, полный сортир. А за что? За то, что меня слушал и свою дамку потерял.

Рядом с казаком лежал молоденький белобрысый солдат. Сияя лазоревыми глазами, он гладил забинтованную култышку и счастливым голосом говорил:

— А я вместо ноги чурочку прилажу — сойдет. Сапожники мы, наше дело сидячее.

— Что же? Тебе ноги вовсе не жалко? — недоверчиво спрашивал казак.

— Народу тысячу тысяч перемолотили, а я буду о своей полной плакать! Ну и чудак ты! — удивлялся солдатик.

— Может, ты сектант?

— Не, я просто веселый... Жить нравится.

— Жена есть?

— Обязательно.

— А вот она тебя кинет, безногого.

— Это Нюшка-то? Меня? — солдат задорно смеялся. Потом говорил торжественно: — У нас с ней любовь до полного гроба.

— Эх, ты, молодо-зелено! Обожди. Обрастешь корой, от любви твоей одно дупло останется!

— Сам ты дупло! — сердился солдатик.

Днем он был самым веселым человеком в палате, а ночью, уткнувшись лицом в подушку, беззвучно плакал. Казак шепотом уговаривал его:

— Ты деньжишек подкوبي, в аптеке кожаную ногу с пружиной купишь. Придешь к Нюшке сначала как обыкновенный. Сейчас пол-России безногих.

Представителю союза георгиевских кавалеров удалось все-таки уговорить нескольких раненых солдат пойти в воскресный день с манифестацией по городу.

Они ковыляли посредине улицы, неся на шестах бязевое полотно, на котором было написано: «Война до победного конца!» Но митинг на Соборной площади не получился. Контуженный разведчик, пластун Евтухов, упал на трибуне в тяжелом припадке. Корчась, он скатился по деревянной лестнице на снег и бился там с закатившимися белками глаз, закусив до крови толстый синый язык. Потом солдаты бродили по городу с жестяными кружками на груди и конфузливо останавливали прохожих, прося чего-нибудь пожертвовать в пользу раненых воинов. Смущен-

ные и подавленные, они вернулись в госпиталь, и здесь их дружно встретили издевательскими насмешками:

— Здорово, инвалидная команда! Надрали глотку? Христа ради побирались! А ну, Тимохин, спой нам Лазаря. А ты, Гончаров, рассказал, как тебе сладко было на немецкой проволоке, кишками запутавшись, висеть? Сагитировал бы желающих! Воробьев, тот даже чужой «Георгий» нацепил. Вот сволочь!

Тима заметил, что отец и мать особенно заботливо относились к самым злым и громко выражающим свое недовольство солдатам. Они подолгу сидели у них на койках, беседуя вполголоса. Давали читать какие-то тонкие книжицы. Самым боевым из всех был Егоров, и с некоторых пор его стали слушаться все другие солдаты. Отец часто советовался с Егоровым, особенно после посещений штаб-ротмистра.

Но вот однажды, поздно вечером, в госпиталь явился в сопровождении полувзвода солдат из городского гарнизона офицер с красной повязкой на рукаве романовского полушубка. Пройдя в операционную и усевшись на табурет, выкрашенный белой масляной краской, офицер сказал:

— По приказанию воинского начальника и штаб-ротмистра Грацианова, в соответствии с постановлением городской думы, предложено вернуть госпиталь в первоначальное состояние!

— То есть как это? — не понял отец.

— А так. Одних в бараки, а других в теплушки санитарного эшелона. И срок для эвакуации самый минимальный. — Офицер вынул из нагрудного кармана френча часы и, показав пальцем на циферблат, спросил: — Понятно?

— Без начальника госпиталя я не могу выполнить это распоряжение.

— А вам ничего не надо выполнять, — пожал плечами офицер. — Вынесут, сложат на сани. И под покровом ночной темноты, без излишнего смущения обывателей, доставят к месту назначения.

— Но нужно сначала ознакомиться, насколько новое помещение пригодно для раненых.

— Это не ваша забота.

— В таком случае я считаю себя обязанным поговорить с председателем Революционного комитета раненых.

— Не вижу особой необходимости. — Офицер подошел к двери, встал к ней спиной и, протягивая отцу портсигар, предложил: — Курите, успокаивает.

— Это насилие! — возмутился отец.

— Ну что вы, — ухмыльнулся офицер, — только начало восстановления порядка.

Из палат доносились глухая возня, стоны, брань, топот сапог, несколько раз на пол со звоном падали какие-то склянки. Потом офицер поднялся со стула, который он поставил у двери, вынул часы и, щелкнув по циферблату ногтем, хвастливо заявил:

— Есть еще дисциплинка в русской армии! — открыл дверь и, пристукнув каблуками, сказал: — Прощу.

Проходя по пустым залам, где стояли пустые койки и валялись на полу набитые соломой матрацы, офицер безразлично бросил:

— Так загадить помещение, предназначенное для лучших часов жизни, это же варварство!

— Варварство — так обращаться с ранеными! — возмутилась мама Тимы.

— Мадам, — сощурился офицер, — если вы намерены оскорбить меня, предупреждаю, вынужден буду смыть оскорбление в лице вашего супруга в соответствии с понятием офицерской чести. — И рывкнул на подскочившего унтера: — Ну?!

— Раненый рядовой Егоров убежал прямо с саней, ваше благородие...

В синем воздухе кружили хлопья сухого снега. На стоптанном тротуаре возле ресторана валялся ситцевый кисет. Тима поднял его. В кисете лежали вылепленные из хлебного мякиша шашки.

Студеный ветер гнал снежные космы вдоль улицы. Ледяного цвета луна то влезала в лиловые тучи, то снова выползала из них, снег поглощал лунный свет и источал его как свое собственное сияние.

На волосах и на ресницах у мамы блестели снежинки и таяли. Отец шел, опустив голову, устало шаркая валенками.

Мама сказала:

— Хорошо бы выпить сейчас горячего чаю с сушками.

— Да, недурственно, — деревянным голосом согласился отец.

Потом мама сказала строго:

— Тимофей, перестань шмурыгать носом. Возьми платок и высморкайся.

— Я не шмурыгаю. Мне солдат жалко! — всхлипнул Тима.

Вышли на набережную. Здесь ветер с сухим шорохом

мчал по обледеневшей реке снежную бурю, и прибрежные тальники глухо рычали на ветер. По ту сторону стояла глухой, темной стеной тайга.

В комитете Рыжиков сказал отцу:

— Прибыл комиссар Временного правительства. Городская дума устраивает в «Эдеме» банкет в честь его прибытия. Вот, собственно, все, что я могу тебе пока сообщить.

— Это подло и бесчеловечно! — воскликнула мама.

Рыжиков вздохнул, поглядел на Тиму и спросил:

— Ну, как, Тимофей-воробей, озяб сильно? — Потом, обернувшись к Егорову, который находился тут же, строго приказал: — Придется тебе, солдат, до госпиталя пешком топать. Нельзя ваш комитет в такое время без председателя оставлять. А протест ваш мы завтра листовочками отпечатаем. — Переведя глаза на отца, посоветовал: — Тебе, Петр Григорьевич, надо завтра в тифозных бараках быть, как обычно. По-видимому, нам пока придется вернуться к прежним методам работы. Связь с солдатами и железнодорожниками надо держать. Дровишек с пристани на себе затонские ребята подвезли. А как дальше быть, посоветуемся...

Когда пришли домой, отец долго шарил в темноте, потом зажег спичку и, держа ее над головой, спросил:

— Варенька, ну где же лампа?

— Да вот же, на подоконнике.

— Верно! А я не узнал ее без абажура.

— Папа, — с огорчением сказал Тима, — ты это нарочно не узнал. Тебе все еще жалко абажура, да?

— Я совсем забыл про абажур.

— Ну вот что! — раздраженно сказала мама. — Хватит про абажур. Ну, был, а теперь его нет. Самый дешевый стеклянный абажур. Сколько можно мучить ребенка! Дали вам этот абажур. И молчите, а то, кажется, я сейчас расплачусь.

— Варенька, если хочешь, я завтра куплю новый, у меня, кажется, есть деньги, — робко сказал отец.

— Замолчи, Петр! — простонала мама и, стукнув кулаком по столу, гневно воскликнула: — Ну почему я не ударила этого наглого офицеришку по физиономии?!

— Тима, — попросил отец, — будь другом, поставь-ка самоварчик, наша мамочка хотела чаю.

— Ничего я не хочу, — жалобно произнесла мама.

Тима наколот в кухне лучину, зажег, засунул ее в самоварную трубу, сверху насыпал уголь и еловые шиш-

ки, одел на самовар жестяную трубу и вставил ее в отдушник; сел на корточки и стал ждать, пока самовар закипит.

Когда самовар вскипел, мама уже спала, свернувшись клубочком на узкой железной койке. Отец, прикрыв лампу газетой, чтобы свет не падал ей в лицо, озабоченно смазывал большой, с потертой никелировкой, смит-и-вессон. Тима сел рядом и стал смотреть, как отец собирает смазанные части.

— Папа, а ты настоящий революционер!

— Почему ты так думаешь?

— Раз у тебя теперь револьвер, — значит, ты настоящий.

— Но это не мой револьвер, — сказал отец. — Мне его дал на сохранение один человек. Я его должен вернуть, но неловко возвращать заржавленным.

Потом отец встал, оделся, положил револьвер в карман пальто и попросил Тиму:

— Закрой за мной дверь, только, пожалуйста, тихонько, чтобы мама не проснулась.

И отец ушел в темноту, наполненную гудящим снегом. На столе остались комок смятых денег и в блюде с керосином тряпочка, запачканная бурой ржавчиной...

Начались мартовские снегопады и метели. Город стоял занесенный снегом, словно кто-то небрежно нахлобучил на него огромную белую шапку и из-под нее виднелись только обледеневшие слепые бельма окон. По занесенным улицам даже кони брели по брюхо в снегу. Возле домов были выкопаны глубокие, узкие траншеи, и по ним пробирались люди, задвывая плечами за снежные стены. Заносы остановили движение поездов. Отягощенные снегом, рвались телеграфные провода. На пустынной базарной площади гуляла поземка, крутя белые вихри.

Отец не приходил из бараков домой. Мать часто оставалась ночевать в Совете, где теперь работала машинисткой.

Тима сидел дома: у него совсем прохудились валенки. Он пек в печке картошку и для одного себя ставил самовар.

Каждый день к Тиме навещался Яков Чуркин, сын рулевого буксирного парохода «Тобольск». У Якова были злые черные глаза и черные, длинные, почти до ушей брови. Он считался первым драчуном во дворе. Яков хвастливо говорил:

— Меня нельзя победить! Я на боль бесчувственный!

Сестра Якова Зина была слепой от рождения. Но она

убежденно, с злым, гордым упорством утверждала, что все видит, только по-своему, видит то, чего не видят другие.

Подняв худое лицо с остреньким носом и тонкими серыми губами, она шептала:

— Мальчики, глядите, на чердаке цыплятки воробьиные вылупились. С пушком, как у мышей.

— Что ты врешь? Разве через потолок что-нибудь видно?

— А вы слáзайте. В углу над самой кроватью гнездышко.

Ребята лезли на чердак и находили воробьиное гнездо с птенцами, Зина, презрительно кривя губы, спрашивала:

— Что, сленошары, сыскали? То-то же! Муха, знаешь, кто? — таинственно спрашивала она. — Это же птичка самая малая. С бескорму тощает, тощает и вот такой малюсенькой делается. Я одну муху знаю, так она в кулаке песни, как чирик, поет.

— Ладно. Ты скажи, вот цветок, какого он цвета?

— Чистого соку, зеленого по венчику, — спокойно и уверенно вещала Зина. — Лепесток у него кисленький. А стебель в волосиках. А вот те, которые у забора растут, — у них цвет особенный: утрешний.

— Ну как, — спрашивал Яков, — здорово? Она даже в кармане видит, что у человека лежит. Отец еще к дому подходит, а она знает, несет он получку или пустой, пьяный.

Обращая на Тиму сизые, пустые белки, хвастливым тоненьким голоском Зина произносила:

— А гриб я издали чую. У него дух рыбный.

— Верно, — подтверждал Яков. — И ягоды она знает.

Когда-то Пичугин занимался ямщицким извозом и построил на заднем дворе большую конюшню из кедровых бревен. Впоследствии, став крупным дельцом, он за ненадобностью переделал конюшню в жилой флигель. Поставили дощатые перегородки, прорезали двери, окна, и Пичугин начал сдавать эти закутки портовым рабочим, ремесленному люду. В таком вот закуте и жили Чуркины. Но Зина не пускала Тиму к ним в дом, каждый раз говорила сердито:

— Не прибрано! Нельзя!

Приходя к Сапожковым, Яков вел себя степенно. Сняв у порога валенки и обмахнув метелкой, он ставил их к печке, а сам босой входил в комнату. Пригладив обеими руками черные жесткие волосы, говорил:

— Наше вам с кисточкой!

Но как ни старался Яков с мужской сдержанностью

соблюдать свое достоинство, слишком много у Сапожковых было всяких богатых вещей, чтобы можно было скрыть свой интерес к ним.

Прежде всего двухфитильная керосинка со слюдяным окошечком, блестящая голубой эмалью башенки, накрытая зубчатой чугуновой решеткой.

— Стоящая штука, но один в ней грех, — строго замечал Яков, — греет, но не светит, зазря керосин жжется.

Потом швейная ручная зингеровская машина. Бережно и любовно трогая ее руками, Яков мечтательно говорил:

— Подрасту маленько, на буксир наймусь матросом, лет пять поплаваю, такую Зинке куплю. А то она простой иголкой тыркает исподки монашкам. Восемь штук за неделю. Машиной она бы шибко зарабатывала.

Но больше всего он благоговел перед книгами и журналами. Тщательно вымыв руки, он каждый раз спрашивал:

— Дозволишь?

Брал комплект «Нивы» и, дуя меж страниц, чтобы не мять уголки, перелистывая, дивился.

— Гляди, наши немцев колотят. А во казак Кузьма Крючков. Видел, как он их всех пикой воздел? — И тут же небрежно замечал: — На немцев-то он герой. А своего офицера небось трусит. Казаки — они против народа.

— Садись картошку есть, — приглашал Тима.

— Благодарствую. Сыт — во! — и Яков прикладывал ладонь к горлу.

Но чай он пил жадно, громко и помногу, угрюмо отводя глаза от миски с печеной или вареной картошкой.

— Папашу в боевую дружину взяли за то, что пить бросил, — солидно сообщил Яков. — Каждое воскресенье в лагерной роще собираются. В цель пуляют.

— А револьвер ему кто дал?

— Обзавелся.

— Что же, он на войну собирается?

— А как же? Против буржуев.

Рассматривая иллюстрации Доре к роману «Дон-Кихот Ламанчский», Яков оживленно рассуждал:

— Вот бы в затон, в мастерские такую книжицу снести да показать! Там ребята ловкие, могли бы по этой модели дружинникам железную одежду сковать, чтобы их никакая пуля не брала.

Подходя к аптечке и заложив руки за спину, он долго разглядывал склянки с лекарствами, спрашивал:

— Не знаешь, почем самое дорогое лекарство стоит? — и объяснял: — Зинке бы глаза помазать.

Перед уходом с душевной готовностью предлагал Тиме:

— Давай подеремся без морды.

— Зачем?

— А я тебе всякие присмы покажу. И по-татарски головой, и по-цыгански с подножкой. Научишься, меня колотить будешь. Ты что думаешь, я силой ребят беру? Нет, сноровочкой...

Драться мальчишки уходили за флигель на пустырь. Потом, возвращаясь, они деловито обсуждали, кто кого как ударил. Яков поучал:

— Ты не яришь, ты меня презирай, это можно. А кто яритя, тот мимо махает.

Забравшись на чердак флигеля, где раньше был сеновал, а теперь лежала толстым слоем затхлая труха, рассказывали друг другу всякие истории. Но то, что рассказывал Тима, было не очень интересно, потому что он пересказывал Якову книжки, боясь что-нибудь перевернуть при этом. Яков же передавал слышанное.

— С севера баржу с вяленой рыбой гнали, а река встала. Пришли до затона пехом — на лыжах. Приказчик их по морде и отрядил матроса Лихова обратно на баржу зимовать. Пришел Лихов на баржу, притомился, в лоцманской будке спать лег. Ночью слышит топот, чавканье. Взял пешню, открыл дверь, подошел к трюмному люку, а оттуда как брызнут лисы, видимо-невидимо. Двоих пришиб, снял шкурки, золой из камелька мездру присыпал. На следующую ночь решил: как лисы в трюм наберутся рыбу икрать, их люком прихлопнуть. Проспал он, что ли, кинулся, глядит, волчью лапу прижал. Все ж таки закрыл люк и деревянный брус сквозь железные петли просунул. А там, в трюме, рычанье — сил нет. Сколько там волков, посчитать невозможно. Сидит он и думает: «Сожрут товар волки. Выпускать надо». Привязал чалочку к петлям люка, сам в будку забрался, дернул, распахнул люк, а волки не идут. Беда! Надо спасать хозяйский товар! Зажег паклю, в люк сунул. Ну, волки оттуда вроссыпь. С ног сбили, куснули на ходу аж до костей, но задирать не стали — сыты. А после каждую ночь приходили, по палубе топ-топ, а матрос в будке сидит, переживает. Так до весны мучился. Река тронулась. Баржу лед сокрушил. Пришел Лихов в затон больной, тощий. Приказчик ему с насмешкой: «Дурак, тебе нужно было в стойбище жить, а не на барже сидеть. Товар и баржа застрахованы. Если бы все уцелело, один убыток. А послал я тебя вроде только как свидетелем для страхового акта. Но ты там всю зиму хозяйскую рыбу ел и печурку рыбой то-

пил, за это мы из твоего жалованья вычет сделаем». Взял матрос топор и на двух пичугинских баржах с солью доски в подводной части выбил. В тюрьму посадили. Он с тюрьмы бежал. Сначала в тайгу к старателям, золотишком разжился, ружье купил. Но не то у него ружье прохудилось, не то не заметил, как снег в ствол набило, нажал собачку, а ружье — бах и разодралось. Глаз выбило, с одной руки пальцы оторвало. Дошел до острога, не берут. Но ничего, выжил. Даже народ к себе собрал с тайги вольной. Теперь он атаманом стал. Деревни против временных бунтует. Грозит на затон напасть зимой, пичугинские пароходы пожечь...

Мама приходила домой вместе с Софьей Александровной. Они приносили большие узлы с теплой одеждой. Всю ночь стирали, штопали, чистили бензином и, уложив в пакеты, утром уносили на вокзал. Эту одежду собирали по знакомым для возвращающихся в Россию политкаторжан и ссыльных, отбывавших наказание в самых глухих и далеких северных районах. Иногда на вокзал брали с собой Тиму.

— Увидишь тех, кем гордится Россия!

Перед уходом мама и Софья Александровна долго толкались возле маленького зеркала. У Софьи Александровны появлялась в руках треугольная коробочка с белым лебедем. Мама и Софья Александровна по очереди окунали в эту коробочку клочки ваты и пудрили нос, щеки, подбородок. Послунявив палец, оттирали от пудры только брови.

Тима вез на санках пакеты с одеждой. А мама и Софья Александровна, шагая рядом, взволнованно шептались:

— Неужели, Сонечка, это он был? — говорила мама с испуганным и восхищенным выражением лица.

Софья Александровна мечтательно улыбалась.

— Со второй полки седого ты узнала?

— Боже мой, ну, конечно! — восклицала мама. — А тот, широколицый, с отмороженными ногами, ну, который сказал, что у тебя глаза русалки, вытащенной на солнцепек?

— Он по делу типографии на Лесной — лепинец.

— А красивый, с орлиным профилем?

— Ну, этот совсем другого поля ягода, — презрительно отмахивалась Софья Александровна. — Из породы Савичей. Он мог и раньше вернуться. Но отсиживался в Красноярске. Выжидал наиболее благоприятной ситуации.

Подойдя к вокзалу, мама и Софья Александровна, присев на саночки, снимали валенки и надевали ботинки.

Потом, оглядев друг друга, выпустив из-под платков прядки волос на виски, торжественно шествовали на перрон.

Ничего особенного Тима не видел в тех людях, о которых с таким благоговением говорила мама. И он не понимал, почему ими нужно гордиться, а их лица запоминать на всю жизнь.

Вот мама и Софья Александровна стоят с почтительным видом возле высокого, костлявого человека с солдатскими усами. А он их спрашивает, как школьник:

— Вы с какого? А по какому? Типография в Темрюке? Помню! Помню!.. — и крикнул шагающему с чайником крутолобому человеку в арестантском бушлате, в новенькой длинноухой заячьей шапке: — Семен, познакомься, товарищи из местного комитета!..

Из вагона вышел Петр Григорьевич, одетый поверх полушубка в белый халат. Лицо его было растерянным и удрученным. Развел руками беспомощно:

— Отморожены верхушки легких, началось крупозное воспаление. Положение очень тяжелое. Но лечь в больницу не хочет!

— Мы шли с Сергеем верст восемьдесят. И мороз был за сорок, — сказал человек в заячьей шапке. — Ждать подводы не захотел. Вот, сократили время.

— Может быть, все-таки убедите остаться? — робко попросил отец.

— Не думаю, чтобы нам это удалось, — сказал человек с солдатскими усами. — Сейчас партии особо нужны все ее лучшие люди там, где решается судьба революции, а значит России. А Сергей — один из лучших людей партии. Он ведь еще в Шушенском с Ильичем был.

— Все-таки пойдемте, попробуем уговорить.

На нижней полке лежал человек, укрытый шубами, и читал местную газету, близко поднеся ее к бледно-розовому воспаленному лицу. Познакомившись с мамой и Софьей Александровной, приподнявшись на локте, он сказал сердито:

— Вы, что же, товарищи, газетку на пожирание эсерам, кадетам и всякой сволочи отдали? Нельзя так. Нельзя. Кто этот фельетонист — «Седой»? Талантливый, мерзавец. Нужно и нам искать в своей среде людей, остро владеющих словом. Листовочки ваши я читал, — разумно, но не хлестко. И зачем этот ернический, псевдонародный язык? Учитесь вот... — и стал шарить в изголовье, где вместо подушки лежал свернутый полушубок, покрытый полотенцем.

— Сережа, — сказала печально женщина с маленьким лицом, опущенным пепельными волосами, — у тебя тридцать девять и четыре.

— Разве? — равнодушно спросил больной. Потом он сощурился и сказал с усмешкой: — Я не помню, кому эти слова принадлежат, но в армии победителей раненые выздоравливают быстрее, чем у тех, кто потерпел поражение. А мы, товарищи, должны победить. Должны!

Отец, глядя себе на ноги, сказал задумчиво:

— А больница, знаете, у нас сейчас очень приличная.

— Рад за вас! — раздраженно сказал человек. — Но прошу больше к этому разговору не возвращаться.

Поезд ушел. Отец, мама, Софья Александровна долго стояли на перроне, провожая глазами все слабее мерцающий свет красного фонаря на хвостовом вагоне.

Мама жалобно спросила отца:

— Тебе не кажется, Петр, что рядом с этими людьми чувствуешь себя такими заурядными...

Отец потрогал бородку и произнес перешително:

— Вообще, конечно, если подходить к требованию момента. — И, печально улыбнувшись, погладив руку мамы, сказал: — Сейчас особенно остро чувствуешь, в какой мы глуши застряли.

А Софья Александровна страстно и тоскливо воскликнула:

— Как бы я хотела быть сейчас там, в Петрограде!..

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Отец работал теперь на эвакуационном пункте. Он распределял больных и раненых по госпиталям и производил дезинфекцию в вагонах. Эвакуационный пункт помещался в теплушке, стоявшей в тупике. В углу кучей была насыпана сера, у стены — ведерные бутылки с разведенной карболой и сулемой. Отец и два санитары спали тут же, на расставленных носилках. Петр Григорьевич попросил лишнего здесь не болтать, так как подозревал, что один из санитаров связан с контрразведкой. А что такое контрразведка, Тима уже знал. В дом с колонами на Соборной площади привозили людей со связанными руками. Спотыкаясь, эти людиковыляли к подъезду, конвоируемые офицерами в черных полушубках и таких же черных башлыках с кавказскими шашками на боку.

Городской Совет рабочих и солдатских депутатов поме-

щался на берегу реки, в деревянном домишке, до самых окон опоясанном глиняной завалинкой. Здесь мать стучала на пишущей машинке, а Софья Александровна, притулившись к подоконнику, писала листовки. Председатель Совета Рыжиков, скуластый, большелобый, с прямым маленьким упрямым носом, в сатиновой косоворотке, подпоясанной тонким сыромятным ремешком, стоя у высокой конторки, правил угольным карандашом листовки и делал замечания Софье Александровне хриплым, сорванным на митингах голосом.

— Опять словесности напустила. «Вампиры»!.. Есть подходящее русское слово — «кровопийцы». Так и пиши.

Рыжиков не только поучал, он обладал способностью увлеченно слушать человека, если даже тот высказывал мысли, противные его убеждениям.

— Значит, ты считаешь правильным, что Пичугин сейчас у власти? — терпеливо расспрашивал он пимоката Якушкина.

— Именно, — подтверждал Якушкин. — Башку нужно иметь, чтобы капитал такой собрать.

— А ты, значит, глупый?

— Это в каком смысле?

— Пимы катаешь, а сам в опорках ходишь.

— Так на хозяйской шерсти работаю. Себе взять не из чего.

— А ты сжуль. Мешай шерсть с глиной, вот и урвешь не только себе на обувку, но и на все семейство.

— Такой пим обманной, в сырость сразу раскошматится, распузится. Человеку-то горе.

— А тебе что?

— Совестно.

— А вот Пичугин валенок с глиной поставляет. Из гнилой овчины полушубки, всё на армию. Это как?

— Словил, — печально согласился Якушкин. — Значит, все они таким манером капитал складывают?

— Ты вот что, — предложил Рыжиков. — Собери слободских пимокатов. Я с ними разом и побеседую.

— Про капитал?

— Можно и про капитал.

— А чего к нам рыжая перестала ходить?

— Товарищ Эсфирь, что ли?

— Именно. Очень ловко она разъясняла, как нас хозяева грабят. Ну, чего теперь эксплуатация называется. Очень сильно ребята на хозяев обиделись.

— А почему вы ее там нехорошо обзывали?

— Кто обзывал, того уже нету. В больницу свезли прямо с беседы.

— Ну, это тоже нехорошо.

— А кто спорит? Могли бы и после наказать.

— Вы бы, товарищ Якушкин, человек пяток ваших в рабочую дружину выбрали.

— Можно и с полсотни.

— С оружием у нас туговато.

— Ружьишки-то найдутся. Охотники мы. Так, значит, ждем на беседу. А про Пичугина ты не сомневайся. Это я не для себя спросил, а чтобы уведомиться, как других от этой глупости отразить. Народ ведь у нас разный. Есть которые и царя жалеют. Он, говорят, хоть и дурак, а все ж помазанник. Но войны не желают. Царь, говорят, восвал, и временные воюют, — где же оно, облегчение? Беда! А ведь всем разъясни. Народ обижать нельзя умолчанием.

Приходили рабочие с затона, где ремонтировались пароходы и баржи.

— Слушай, начальник, — плачущим голосом обратился как-то к Рыжикову долговязый человек в коротком рваном зипуне, жирно запачканном на груди и животе красками. — Ты скажи ему, чего он нас не допускает?

— Кого? Кто? И куда не пускает?

— Нас, маляров, Капелюхин, в партию.

— Товарищ Рыжиков, — сказал плечистый коротконогий человек, — мы в свою ячейку только чистый пролетариат зачисляем. Механиков, токарей, котельщиков. Ну и кто по слесарной части. А маляр? Одним словом... — Человек небрежно махнул рукой и пропел вдруг шаляпинским басом: — Чаво нам, малярам, день работам, два гулям. Эхма!..

— Я на чугунок ходил, — жаловался маляр, — там вежливо отставку дали. Мол, работаете в затоне, там и зачисляйтесь. — И, прижимая к груди овчинную драную папаху, отчаянным голосом спросил: — А мы что, не эксплуататоры, да?

— Видел? Дура! — высокомерно сказал Капелюхин. — Даже слов революции не знает. Эксплуатируемые, а не эксплуататоры.

— А что мне слова? — обиженно воскликнул маляр. — Слов всяких много, их всех не упомнишь.

— Ясно! — заявил Рыжиков и, обратившись к маляру, весело попросил: — Садись, товарищ. Давай будем вместе Капелюхину мозги вправлять...

Приходили рабочие с паровых мельниц, грузчики из

речного порта, ломовики с извозного двора Золотарева, солдаты городского гарнизона. Приезжали из тайги на собаках приисковые старатели. Рыжиков со всеми подолгу неумоимо, внимательно беседовал и, уже прощаясь, ободряюще говорил:

— Значит, понял? Мир. Хлеб. Землю. Вокруг этого и действуйте!

Появлялся Кудров. Софья Александровна, не поднимая глаз, продолжала сидеть у подоконника. Рыжиков мимоходом говорил:

— А ну, выйди, Соня, на улицу, а то он тут весь пол вокруг тебя своими ножищами обтоптал.

Кудрову, как человеку веселому, легкому, доставались всегда самые тяжелые задания комитета.

То он подолгу пропадал в тайге, разыскивая повстанческий крестьянский отряд, который волей случая возглавил уголовный каторжник. То сидел в земляной яме, упрятанный туда приисковой стражей за агитацию против войны, пока его не выручали старатели. То вдруг его посылали выступить в казарме, где размещалась казачья сотня. И он приходил оттуда основательно избитый, хотя утверждал, что речугу все-таки доорал до конца.

В короткие свободные минуты Кудров с Софьей Александровной уходили к обледеневшей ветле, сиротливо торчавшей на обрывистом берегу, над рекой. Сняв варежки, Кудров бережно держал в своих жилистых маленьких темных руках красивые большие белые руки Софьи Александровны. Говорил он ей что-то такое, от чего ее красивое, величественное лицо принимало счастливое детское выражение.

Тима не мог сказать о себе, что он жил покинутым. Приходили незнакомые, очень спешившие люди, деловито задавали почти одни и те же вопросы: как здоровье, сильно ли скучает один? Они приносили еду, книжки с картинками, чистое белье, проверяли по «Родному слову» и учебнику арифметики Евтушевского заданное. Подозрительно осматривали бутылку с рыбьим жиром и приказывали при себе выпить полную ложку.

Один даже взялся мыть пол, но вдруг, взглянув на часы, ахнул и убежал, опрокинув ведро, и Тиме пришлось самому домывать. Каждый из них почему-то непременно пытался убедить Тиму, что маме сейчас очень некогда и он очень хороший мальчик, потому что понимает это. Тима сердито спрашивал:

— А вы, значит, без дела, если у вас есть время ко мне ходить?

Ему смущенно объясняли, что посещать Тиму поручил комитет.

И, что тут скрывать, Тима этим гордился.

Несколько дней у Тимы, к его великой радости, жил Федор, получивший после ранения кратковременный отпуск. От Федора исходил мужественный запах железа и кожи. Сабля с кожаным темляком в облупленных ножнах, револьвер в лоснящейся кобуре, портупья со множеством медных пряжек, фляжка, обшитая серым сукном, артиллерийский огромный кривой кинжал-бебут, алюминиевая самодельная ложка, бинокль с кожаными кружочками на стеклах — все это героическое снаряжение приводило Тиму в благоговейный восторг.

Косой сизо-розовый рубец пересекал лицо Федора, покрытое черными пороховыми точками, и некрасиво приподнимал верхнюю губу; только глаза его светились, как всегда, нежно и озабоченно.

— Скучал я там, брат, о тебе.

— А об Эсфири? — ревниво спрашивал Тима, силясь вытянуть саблю из ножен.

— Давай договоримся, — строго говорил Федор, — с саблей при мне баловаться можешь, а к револьверу, ближе чем на два шага, не подходить.

— Она у вас совсем тупая, — разочарованно заявил Тима. — Как же вы дрались там тупой саблей?

— Я из пушки стрелял.

— И вам не стыдно?

— Чего?

— А вот Рыжиков скажет вам чего. В людей из пушки стрелять!

— Ты, я вижу, политиком стал.

— Никем я не стал. Я только как папа и мама.

— А сам хвастал, у отца револьвер есть.

— Так он от буржуазии.

— Значит, думаешь, попадет мне от Рыжикова?

— Не любит он офицеров, — уклончиво ответил Тима. — На площади Свободы дом с колоннами знаете? Там вроде вас офицеры, только получше одетые, настоящих революционеров мучают.

— Я ведь не без спроса офицером стал, — примирительно сказал Федор.

— Ну, тогда ничего. Тогда Рыжиков вас, наверное, ругать не будет. Но чего же вы там делали, если не воевали?

— Как не воевал! — удивился Федор. — Воевал и даже крест за храбрость получил, — и объяснил серьезно: — Видишь ли, Тима, когда убеждаешь солдат, что воевать не надо, они должны знать, что ты так говоришь не потому, что боишься смерти.

— Значит, вы только для этого были храбрым?

— Пожалуй, так. Но вообще на войне бывает, что дерешься для того, чтобы спасти своих товарищей.

— Ну, спасти, это — другое дело, — благосклонно согласился Тима, все-таки чувствуя в душе, что, если бы Федор совсем не дрался с немцами, он бы много потерял в его глазах.

Для встречи с Эсфирью, которая произошла в лагерной роще, Федор переоделся в штатскую одежду Петра Сапожкова и выглядел в ней довольно жалко: брюки короткие, куртка узка и не застегивалась на груди.

А Эсфирь пришла в розовой кофточке Софьи Александровны и в ботинках Варвары Николаевны с каблуками рюмочкой. Это было первое их свидание, не связанное с каким-либо партийным поручением.

Растерянный Федор после неловкого поцелуя в щеку, держа руку Эсфири, бормотал растерянно:

— Вот, значит, как хорошо, что ты здорова и не в тюрьме, а я там все время беспокоился: ведь у тебя, знаешь, почки...

Но уже спустя несколько минут, после коротких фраз о себе, разговор вошел в привычную колею.

— Не понимаю! — с возмущением сказала Эсфирь. — Мечтать о военном образовании, когда революция вот-вот разразится. Забивать голову ненужными военными знаниями... Извини, это просто глупо.

— Ты, что же, считаешь, у нас не будет потом армии? — хмуро спросил Федор.

— Не будет!

— Ошибаешься. И должны быть большевики, способные руководить ею с полным знанием военной науки. Если мы будем без армии, опасность военного нападения на нас неминуема.

— Революция произойдет и в других странах, — решительно заявила Эсфирь.

— Да вот, кстати, — поморщился Федор и, глядя прямо в лицо Эсфири, напудренное, может быть впервые в жизни, сурово спросил: — Вот ты убеждена, что революция произойдет и в других странах, но тогда какого черта ты ни разу не сунула нос в лагерь военнопленных? Почему мы, боль-

шевики, на фронте находим способы работать с солдатами противника, а вы здесь, в тылу, не находите этих возможностей? В особенности ты, владеющая немецким языком!

— Федор! — огорченно проговорила Эсфирь. — Я хочу знать, ты только это мне хотел сказать, когда шел сюда?

Федор смутился и попытался снова овладеть рукой Эсфири, которую было выпустил в пылу спора, но она не давала ее. Вдруг сказала сердито:

— Ладно, поцелуй меня в губы и уходи, — и покорно добавила: — С лагерниками я сегодня же попытаюсь связаться.

Вернувшись, Федор разыскал томик Пушкина, улегся на кровать и, вздыхая, читал почти всю ночь.

А через два дня, повидавшись с Рыжиковым, снова уехал на фронт, подарив Тиме кожаный темляк с кисточкой и флягу, обшитую серым сукном.

Когда Тима, невыносимо стосковавшись по маме, приходил в комитет, Рыжиков спрашивал его:

— Что, гражданин новой России, надоело дома в узилище сидеть, соскучился?

Как-то, заметив, что у Тимы на ногах мамины старенькие боты, Рыжиков сказал восхищенно:

— Ну и обувка у тебя, как у Пичугина! — И неожиданно предложил: — Давай-ка сменяемся!

Быстро сев на табуретку, он бросил свои валенки Тиме, заметив:

— Ноги у меня — детский размер, после того как пальцы с них обстригли. Везет тебе, Тимофей!

Но Тима не решался взять валенки. Тогда Рыжиков произнес обиженно:

— Ты что, думаешь, я тебя надуваю? На тебе в придачу еще пожик.

И протянул Тиме отлично сделанный из полотна слесарной пилы перочинный нож.

Тима сказал благородно, хотя нож ему очень понравился:

— Ладно, я и без ножа согласный.

— Вот и спасибо, — поблагодарил Рыжиков и крикнул:

— Максимыч, там у меня сапожки на весну хранятся, а ну, кинь-ка их сюда.

Набивая в стоптанные сапоги бумагу и уже забыв о Тиме, он сердито и наставительно говорил Эсфири:

— Ты теоретически человек подготовленный. Агитато-

ров у нас хватает. А пропагандистов раз, два — и обчелся. Почему в Общественном собрании не выступила, там меньшевики и кадеты митинг проводили? А Чевичелов что? Облаял их с остервенением, а толку? Можно было их всех там культурненько так разделить, что дальше некуда. Нам никакой аудиторией пренебрегать не следует.

— Городишко наш захолустный: ни фабрик, ни заводов. Вот только у железнодорожников пролетарские традиции, — вздыхал Кудров. — Был на мельницах. Так там рабочий класс — механики да кочегары, остальные сезонники. Из порта все зимой тайговать уходят. Или вот заводы тоже — по пятнадцать рабочих деготь гонят. Плохо здесь с рабочим классом. В слободе раскольник старец Палладий уговаривал в скиты уходить. Офицеры казаков пугают, говорят, за девятьсот пятый народ будет счеты с ними сводить. Убеждаю — не верят.

— Значит, не те слова говоришь, если правду до человеческого сознания донести не можешь! — сердито обрывал Рыжиков. — Ты исходи из объяснений Ульянова-Ленина, что такое девятьсот пятый. Ты больше вспоминай не как народ били, а как народ тогда за самую власть уже ухватился. Скажем, у нас в Красноярске как было? Совет рабочих и солдат полицию и жандармов обезоружил. Восьмичасовой рабочий день установил. Полная свобода собраний и печати и так далее. А в чем урок? Урок в том, что эсеры нас продали, испугались подъема народных масс, подвели под капитуляцию. Но мы там сражались до последнего. Рабочие, железнодорожники и солдаты второго батальона забаррикадировались в железнодорожных мастерских и дрались этак примерно с конца декабря до начала января. Холод, голод, патроны по счету. «Красноярской республикой» мы тогда назывались. А в Чите четыре тысячи в рабочей дружине было. Там в Совете солдатских и казачьих депутатов кто состоял? Товарищ Курбатовский, ученик Ленина, и старый большевик Костюшко-Валюжанович. А в Иркутске? Там, брат, такой орел действовал — друг Ильича, Бабушкин. А кого на нас кинули? Карательную экспедицию Ренненкампа с пулеметными ротами, регулярные войска под командованием Меллер-Закомельского. Война была против народа самая настоящая. И весь народ ее помнит, потому что эта была его первая революционная война с самодержавием. И как потом лучших людей каратели расстреляли, тоже помнит народ. Но главное он не забыл, как у него из рук власть революционную предатели выдирали. Вот это в данный момент самое важное

объяснить. Мы на опыт своей первой революции опираемся. А что касается нас, товарищ Кудров, заметь, Россия велика, людей в ней разного труда миллионы и городишек, подобных нашему, тысячи. Так вот, изволь, где бы ты ни находился, делать дело партии так, чтобы его понял так же хорошо наш слободской пимокат, сезонник с лесопилки, рабочий с кирпичного, как понимает питерский пролетарий с Путиловского или в Москве с Гужона.

— Я стараюсь,— вздохнул Кудров.

— Вот и старайся! — сердито сказал Рыжиков. — А то вот Софья молчала, молчала, и вдруг осенило: в Питер собралась! Нас здесь и так мало... Ну и что ж с того? На то мы и большевики, чтобы нас везде стало много. — Задумался, потом произнес требовательно: — И чтоб к завтраму настоящего литератора для наших листовок сыскать! Этого Седого из «Северной жизни» нужно высмеять и обличить. — Мечтательно добавил: — Своего бы Демьяна Бедного завести, — и признался застенчиво: — Не спалось, попробовал, — не идет стих, таланту нет. Старался под Никитина — не то, — жалобно получается...

Тиме казалось странным, почему Рыжиков, которого все считали здесь старшим, разговаривал с людьми не как начальник.

Каждый раз он переспрашивал: «Что, понял? Согласен?» И если замечал хоть тень колебания, усаживал человека на табуретку и, расхаживая возле него, начинал рассказывать про какие-то сюртуки, за которые буржуи недоплачивали немецким портным и ткачам, а потом заявлял, будто Пичугин точно так же обжуливает рабочих на кирпичном заводе.

Всем совал книжки, брошюрки, требуя: «Ты обязательно прочти».

И сам он, как только наступала тишина в комнате, читал, делая записи в толстой тетради в клеенчатом переплете.

Каждый раз, когда Рыжиков произносил имя Ленина, он благоговейно добавлял:

— Наш учитель.

Мама набила себе на машинке кончики пальцев до волдырей. Рыжиков купил ей в аптеке Гоца несколько резиновых сосок и посоветовал:

— А ну, примерь на пальцы!

Мама сказала:

— Неудобно.

— Ничего, привыкнешь. За ночь надо еще сотни две листовок размножить,— и сказал Тиме: — А ты, братец, ступай-ка домой. Не отвлекай мамашу.

Мама неловко обвязала шею Тимы платком, смешно шевеля пальцами в резиновых сосках, и строго спросила:

— Ты без меня рыбий жир пьешь?

— Иногда,— уклончиво ответил Тима.

— А вот я к тебе приду и проверю! — угрожающе произнес Рыжиков.— Раз мать приказывает, выполняй. У нас здесь дисциплина во всем. Ты нос пальцами зажимай и соли крепче. Ничего, пройдет.

Как все мальчишки, Тима предпочитал конный способ передвижения пешему. Выйдя из комитета и добравшись до главной улицы, он стал поджидать, когда появятся крестьянские подводы, возвращающиеся с базара, чтобы забраться на порожние дровни или, в крайнем случае, прицепиться к извозчичьим саням, если там есть седок,— иначе это делать опасно: извозчик может огреть кнутом.

Наконец возле аптекарского магазина Гоца показались нарядные сани с седоком, укрытым по пояс суконной полостью, обшитой волчьим мехом. Дорога здесь шла под гору, лошадь с рыси перешла на шаг, и Тима, став на полозья, ухватился за медные шишечки на задке саней. Взяв гору, лошадь снова перешла на рысь. Тима перестал следить за затылком седока, начал спокойно разглядывать мелькающие мимо дома и плетущихся по тротуару съездившихся от холода прохожих. Внезапно на ухабе сани подбросило, руки Тимы оторвались от медных шишечек, и он с ужасом понял, что ухватился за мягкие плечи седока, чтобы не упасть. Человек испуганно вжал голову в плечи, словно ожидая, что его кто-то ударит сзади. Тима соскочил с саней и уже отбежал к тротуару, но вдруг увидел, что на одной ноге нет валенка,— валенок стоит на полозьях, застряв носком под кузовом удаляющихся саней.

— Стой! — закричал отчаянно Тима.— Стой! — и бросился бежать вслед за санями.

Сани остановились. Извозчик слез с облучка. Достал валенок и, помахивая кнутом, поджидал Тиму.

— Вот я тебя сейчас отлупцую, милый!

И, наверно, извозчик выполнил бы свое обещание, но седок, обернувшись и близоруко брезгливо щурясь, внезапно произнес скрипучим голосом Савича:

— Ты, что же, совсем уличным мальчишкой стал? — и приказал извозчику: — Отдайте ему его валяный сапог.

Пока Тима надевал валенок, Савич рассматривал его печально и серьезно, потом вдруг сказал строго:

— Садись.

Тима покорно уселся в сани, думая, что Георгий Семенович хочет еще помучить его рассуждениями о том, как должен вести себя на улице хорошо воспитанный человек. Но Савич молчал всю дорогу, ссутулившись и упрятав свой длинный подбородок в меховой воротник...

Георгий Семенович пропустил Тиму в кабинет, закрыл дверь, уселся за большой письменный стол, положив перед собой руки с гладко отполированными, как у женщины, ногтями. Тима сел на стул, поджал ноги и стал уныло ждать, когда Савич начнет его воспитывать.

Большая настольная лампа, поддерживаемая бронзовой малоодетой женщиной, освещала лицо Савича так, что казалось, над столом висит только одна его нижняя белая челюсть. Савич пошевелил этой челюстью и сказал, тяжело вздохнув:

— Ты хороший мальчик, Тима.

Тима не мог считать себя хорошим мальчиком и, съежившись, ожидал, как Савич ядовито обернет дальше эти самые слова против него.

Георгий Семенович умел изводить человека тонко и многословно. Будучи блестящим и многоопытным юристом, он стяжал себе славу острослова-каламбуриста. Недаром даже Петр Григорьевич побаивался иронического умения Савича выворачивать значение самых обыкновенных слов неожиданной изнанкой, придавая им совершенно другой смысл.

Савич встал, несколько раз прошелся по комнате, испытующе поглядывая на Тиму черными галочьими глазами, потом остановился, вскинул голову и страдальческим голосом спросил:

— Ты одинок, мой мальчик? Так же, как я!

— Георгий Семенович, — взмолился Тима, — только вы, пожалуйста, маме про сегодня не рассказывайте. Я больше никогда не буду.

Савич поморщился и сказал сердито:

— Ну, что ты со своими глупостями. — И прежним скорбным голосом протянул: — Я хочу объяснить тебе мое одиночество.

Твердо, словно диктуя, он стал отдельно и отчетливо произносить фразу за фразой. Во время пауз подносил к губам платок, пахнувший одеколоном «Гейша», и пытливо взглядывал на стеклянную дверцу шкафа, словно

спрашивая у своего отражения: «Ну как, ничего получается?»

— Ты знаешь, — размеренно цедил Савич, — Софья Александровна покинула меня в силу различия политических взглядов. Она безжалостно разбила мое сердце, и я страдаю от невыносимого одиночества. Приверженность к отвлеченным принципам толкнула ее на этот крайне эгоистический поступок. Но я не осуждаю ее, нет. Я привык уважать чужие убеждения так же, как и свои собственные. Следовательно, я могу залечить те раны, которые она мне нанесла. И зову ее, даже униженно молю: «Вернись...» — Он задумался, потрогал мизинцем крохотные усики. — Даже в нашем коалиционном правительстве люди с самыми разными политическими убеждениями находят общие идеалы, когда ими руководят высшие интересы отечества, и я полагаю, что священные принципы семьи могут быть для меня и Софьи Александровны той великой связующей нитью, которая лежит в основе всякого нормального брака.

Гудящий, мерный голос Савича звучал монотонно и действовал на Тиму успокоительно, так как он сразу понял, что Георгий Семенович вовсе не собирался ругать его. Но потом Тима стал ощущать щемящее беспокойство. Зачем Савич разговаривает с ним о том, о чем даже взрослые люди стесняются говорить между собой? Когда мама говорила о таком с Софьей Александровной, она каждый раз выставляла Тиму на кухню. Тима часто ссорился с Яковом, но считал бесчестным рассказывать кому-нибудь об этих ссорах, да еще просить, чтобы их помирили.

Нужно в таких делах действовать самому. Подойти и сказать: «Я больше не буду» или «Давай руку, и всё».

Тиме было стыдно, неловко слушать слова Савича, и он уже не мог глядеть ему в лицо.

— Вынь руки из кармана. Мальчику держать руки в карманах без особой необходимости неприлично и предосудительно, — прервал вдруг Савич свою речь и продолжал прежним тоном: — Так вот, словом, я прошу Софью Александровну — вернись.

Подойдя к столу и роясь там в ящиках, Савич строго заметил:

— Кроме того, у нас есть дочь. Отсутствие матери и связанные с этим всякие неблагоприятные разговоры могут дурно влиять на ее дальнейшее воспитание.

Савич вынул из ящика конверт и, протягивая Тиме, попросил:

— Будь любезен, передай это Софье Александровне. Если она откажется принять, надеюсь, ты развитой мальчик, сообщишь ей в таком случае в общих чертах, о чем я тебе со столь предельной откровенностью говорил.

Открыв дверь и высунув в коридор голову, Савич крикнул:

— Нинусик, а у нас гость!

В комнате Нины было казенно, неуютно. Посередине стояла школьная парта, а у стены — черная доска и в желобке лежали кусочки мела. Окна без занавесок. Пианино закрыто парусиновым чехлом. У двери под стеклом распятие дня, термометр. И больше ничего.

— Папа хочет, чтобы я получила самое правильное воспитание, — вздохнула Ниночка. — Тебе не холодно здесь? — Вздрагивая худенькими плечами, пожаловалась: — А я все время мерзну. Оттого, что мне нужен свежий воздух, открывают форточку, и, пока проветривают комнату, я сижу в коридоре на сундуке. — Помолчав, Нина спросила оживленно: — Ты знаешь, как теперь лечат туберкулез? Свежим воздухом и сырыми морковными котлетами. — Она поморщилась: — Такая гадость!

— Рыбий жир хуже, — сказал Тима, вспомнив обещание, данное матери.

— Я пью три раза в день по столовой ложке, — грустно сказала Нина. — Меня всегда тошнит от него.

— А ты соли и пос затыкай, так легче, — посоветовал Тима.

— Мне нос затыкать бонна не позволяет.

— Тогда плохо тебе, — посочувствовал Тима.

Он давно заметил, что Нина стала уже не такой кукольной, какой была раньше. Губы бледные, а скулы красные, нос стал еще больше. Это, наверное, оттого, что впали щеки. На тонкой шее все время бьется под кожей жилка, и моргает Нина так, словно вот-вот заплачет.

Тима сообщил деловито:

— Я с твоих именин ушел не от тебя, а из-за революции.

— Я все маму тогда ждала, — тихо произнесла Нина, перебирая худенькими пальцами оборку фартука. — Но мама тоже из-за революции не могла прийти. — И пожаловалась: — Ну, теперь же революция кончилась, почему же она не приходит?

Тима хотел было сказать Нине, что она ничего не понимает, революция вовсе не кончилась, а наоборот. Те-

перь Рыжиков делает революцию получше и для всех. И мама тоже ее делает. Она натянула на сбитые кончики пальцев резиновые соски, чтобы больше напечатать объясняющих листовок. Рыжиков, Софья Александровна, и Эсфирь, и механик с затона Капелюхин, и даже маляр в рваном под мышками зипуне, и папа с его тифозными ранеными, которые остаются жить, тоже делают новую революцию. И все они обещают, что после окончательной революции всем будет очень хорошо.

Но Тима не стал этого говорить Нине: все равно она ничего не поймет. И предложил:

— Давай что-нибудь делать, а то у тебя скучно...

— Хочешь, я буду волшебный фонарь показывать?

Тима сидел за партой, а Нина, передвигая картинки в волшебном фонаре, поясняла уныло:

— Это пустыня в Африке, где очень жарко. Зебра. Мальчик верхом на страусе.

— Молчи,— приказал Тима,— что я, слепой, что ли?

На белой простыне, повешенной на школьной доске, возникали и исчезали яркие картинки, излучающие чудесное, радужное сияние. Это было так прекрасно и необычайно!

— Конец,— сказала Нина.— Больше нет картинок.— И вежливо осведомилась: — Может, ты по второму разу хочешь смотреть?

— Нет,— сказал Тима, почему-то обиравшись, словно его внезапно и грубо разбудили.— Ноги замлели сидеть так.— Но он не вставал с парты, и в глазах у него стояло еще волшебное сияние картинок.

Нина села рядом с Тимой, и он слышал ее неровное дыхание и ощущал щекой теплоту ее волос.

— Ты чего свет не зажигаешь? — сердито спросил Тима, чувствуя неловкость оттого, что Нина так близко сидит рядом с ним в темноте и молчит.

— Тима, ты видишь мою маму?

— Ну, вижу иногда. Да зажжешь ты свет или нет? Войдет Георгий Семенович, начнет ругаться.

— Тима, помоги мне увидеть маму. Я так... соскучилась!

— Да я свою тоже неделями не вижу. Они же революцией занимаются, им некогда.

Влажными руками Нина схватила руку Тимы и с мольбой спросила:

— Скажи, если женщина уходит от мужа, она детей от него тоже перестает любить, да?

— Что значит — от него! — сказал рассудительно Тима. — Мы же от них вместе. — Помедлил и добавил: — Вот кошка совсем без мужа, а попробуй у ней отними котенка — глаза выцарапает. Нет, матери нас всегда просто так любят.

— А кто тебе роднее: отец или мать?

Тима смутился и стал чесать согнутым пальцем глаз. Произнес неуверенно:

— Маму мне больше, конечно, жалко, она ведь женщина.

Поежившись от озноба, Нина обиженно воскликнула:

— Жалеть одно, а любить — другое. Любят — это когда жить друг без друга не могут. Вот!

— Я маму люблю, — сердито сказал Тима, — но она в комитете живет, и вижу я ее совсем редко. Но я вовсе не такой дурак, думать, что она меня меньше от этого любит. И Софья Александровна там все время на подоконнике пишет. А ты рассуждаешь, как глупая.

Напряженно глядя в глаза Тимы, Нина требовательно спросила:

— Скажи, а твои папа с мамой когда-нибудь ссорились очень сильно?

Смущенно шаркая под партой ногами, Тима сказал нехотя:

— Недавно вот папа сказал маме: «Давай расстанемся». Это за то, что мама будто бы в комитет ходила просить, чтобы он в тифозном бараке больше не работал. Но она вовсе нигде не ходила.

— А ты бы мог остаться один, или с папой, или с мамой? — спросила Нина.

— У моих такого не может быть, — обиделся Тима. — Они одинаково про революцию думают, а это им главное. А Софья Александровна с Георгием Семеновичем — по-разному. Вот и поссорились, — и извиняющимся тоном пояснил: — Теперь многие от этого ссорятся.

— А мама обо мне спрашивает?

— Даже надоела, все пристает, — мужественно соврал Тима.

— Тима, когда снова увидишь маму, — взволнованно шептала Нина, — скажи ей, я очень, очень...

— А что это за суаре интим? — прозвучал возмущенный голос Георгия Семеновича. — Нина, ты разве не знаешь: это неприлично — сидеть вдвоем в темноте с мальчиком!..

— Ты приходи к нам, Тимофей, — приглашал радушно Георгий Семенович, провожая Тиму. — Я даже полагаю, что дружба с Ниной будет для тебя небесполезна в воспитательном смысле. Ну, а волшебный фонарь тебе поправился? — и пообещал: — Не исключено, что ты можешь стать собственником такого же. — У самой двери строго осведомился: — Письмо не потерял? Ну и отлично. Значит, помни: ты всегда для нас желанный гость.

Дома Тима зажег лампу, поел холодной картошки, так как от ужина у Савичей отказался из гордости, чтобы не подумали, что он ходит голодный. Поставил валенки Рыжикова на табуретку возле постели, погасил лампу и лег.

Чтобы не было так страшно спать в темноте одному, Тима обычно клал к себе под одеяло мамино старенькое летнее пальто. И когда под одеялом становилось тепло, он чувствовал, как от маминого пальто начинал исходить нежный запах мамы.

И темнота становилась уже не такой страшной, зловещей, и промерзшие, синие от лунного света окна не так жутко мерцали, не так пугал скрип стонущих половиц.

Тима засыпал со сладким ощущением, что у него есть самое главное, самое прекрасное на свете — мама.

...Яков Чуркин пришел к Тиме совсем рано, когда Тима лежал еще в постели. Яков принес в качестве гостинца кастрюльку кипятку, и потому не нужно было ставить самовар. Заварив морковный чай, мальчики сели за стол завтракать.

Яков сказал угрюмо:

— Сегодня чуть свет опять Елизариха приходила. Полы мыть. Но мы с Зинкой прогнали.

— За что?

— Хочет за отца замуж пойти, все к нам подлизывается. А я не желаю, чтобы у Зинки мачеха была. И без того она несчастная.

— А может, Елизариха хорошая?

— Если она даже каждый день пироги печь будет, все равно мы неподкупные. Конечно, отцу что? Он с матерью плохо жил, даже дрались. Она в порту торговлишкой занималась, закуску всякую продавала, ну, и водку из-под полы. А отец — рабочий человек, ему стыдно. Вот и лаялись все время. И пить с того начал. А как мама простыла — сначала болела, а после ноги отнялись; Зинку она уже больной родила. Отец ее корил за Зинку: мол, от жадности, беременная, в самую стужу торговать не бросала. Тоже

опять ссорились. И он еще пуще от всего пить стал. А мы с Зинкой мать понимали, жалели, ведь это она для нас деньги собирала, чтобы мне в ремесленное училище поступить. Там за каждый месяц денежки платить надо. Да за инструмент, если испортишь, и форму купить надо... В вольной одежде туда не пускают. Помирала мать года два. Очнется маленько, лежит, ложки, ковшики из березового корня на продажу ножом режет. Она же вятская. Там все к этому большие мастера. Так и умерла с недоделанной солонкой в руке. Очень она все время тревожилась, что мы бедные стали.

И печально Яков объяснил:

— Мать всякому одна на всю жизнь дается. Хоть плохая, хоть хорошая, а на всю жизнь одна. Ее и люби до самой своей смерти. Мы так с Зинкой и решили. Вот и гоним, когда отца дома нет, Елизариху. А она плачет. Говорит, мужа на войне убили, страшно одной жить. Пожалейте, ребятки, я к вам со всей лаской буду. Видал, какая хитрая? Ее пожалей, а свою мать из памяти забрось. Нет, мы с Зинкой тут каменные.

Намазывая кусок хлеба топленым крупитчатым маслом, Тима сказал степенно:

— Тут один человек без матери тоже страдает.

— Померла?

— Нет, живая.

— Уехала куда?

— Так, недалеко.

— А почему уехала?

— С мужем поссорилась.

— А человек же тут при чем? Ежели он ребенок, должна она совесть иметь. Ты эту тетку знаешь?

— Знакомая.

— Может, она чего не знает? Скажи все как следует. А может, мне к ней сбегать? Уж я бы ей показал, как детей бросать.

— Нет, лучше я сам.

Пришла Зина.

— Иди домой, Яков. Опять Елизариха притащилась, снова плачет. Не могу я на ее черную рожу глядеть.

— Притворяется, — небрежно бросил Яков. — Черную рожу видит. Ничего она не видит. Вот я не могу в лицо Елизарихе глядеть, ну, такое несчастное, и молодая совсем еще. Чего она в отце нашла? Зубов даже нет, капитан выбил.

И Яков ушел, сделав сердитое лицо.

Почти неожиданно для себя Тима оказался на Бутниевской, возле дома, где жила теперь Софья Александровна. Шел-шел по улице, думал, идти или не идти к ней. И вдруг решился. Ладно, будь что будет! Зайду, а там что-нибудь придумаётся. Может, даже вовсе ничего не скажу, отдам письмо, и все.

Софья Александровна открыла дверь заспанная, в одной рубашке. Волосы все на одно плечо свесились.

— Ты? Случилось что-нибудь? — спросила она встревоженно.

— Нет, я просто так, в гости.

— Вот и хорошо. Значит, чай будем пить вместе, — с облегчением вздохнула Софья Александровна. — С примусом умеешь обращаться?

— Нет, — сказал Тима.

Софья Александровна выглядела совсем как девчонка: губы опухшие, заспанная, зевает, показывая мелкие, как у кошки, зубы, на ногах опорки от валенок, которые она все время теряет.

— Я могу самовар поставить, — солидно предложил Тима.

— Зачем же самовар, когда есть примус.

Накачивая примус, Софья Александровна стала лениво одеваться.

— А ну, подай лифчик со стула, — командовала она. — Чулки, пояс и вот это.

Как-то Тима видел в журнале «Солнце России» картинку, изображавшую неодетую женщину, лежащую на тигровой шкуре с виноградной гроздью в изогнутой руке. Женщина была такой красивой, что смотреть на нее вовсе не было стыдно. Но, хотя Софья Александровна тоже была красивой, Тима смутился: ведь она Нинина мама. Он почти прикрикнул на Софью Александровну:

— Чего вы передо мной не одетой вертитесь! Непривлекательно это.

— Скажите пожалуйста, — небрежно отмахнулась Софья Александровна, — тоже мужчина нашелся! — И, не обращая на Тиму никакого внимания, вытянув ногу, ловко, одним движением натянула чулок, потом сказала сердито: — Порвался, черт. — Пожала плечами и заявила так, будто решилась на что-то очень важное: — Ну и пускай! А штопать не буду. — Надевая через голову платье, она сказала глухим голосом, оттого что лицо ее было закрыто:

— А я очень рада тебе. Знаешь, как одной скучно!

— А кто вас заставляет быть одной?

Стараясь поймать на спине пояс от платья, Софья Александровна сказала рассеянно:

— Плохо, когда человек остается один. Очень плохо.

«Ага,— подумал Тима,— значит, теперь все получится».

— А я вас обманул. Я ведь не в гости пришел.

— А мне все равно приятно, что ты здесь,— весело, словно дразня Тиму, произнесла нараспев Софья Александровна.

— У меня письмо к вам от Георгия Семеновича,— поддаваясь веселому тону Софьи Александровны, также нараспев протянул Тима.

Лицо Софьи Александровны мгновенно изменилось. Оно стало сразу надменным, презрительным, злым. Острым и властно она приказала:

— Разорви и брось в помойное ведро, немедленно! — Потом пренебрежительно спросила: — Зачем ты взял это письмо?

Тима малодушно признался:

— Я не думал, что я плохое этим сделаю.

— Не думал? — обрадовалась Софья Александровна. — Ну, тогда мир. И давай пить чай с сушками. Ты любишь сушки? Я, когда маленькая была, очень любила сушки.

— А теперь что вы больше всего любите?

Софья Александровна вдруг потемнела лицом и сказала печально:

— Когда некоторые люди становятся взрослыми, они постепенно теряют многое из того, что любили когда-то. И самое страшное в таком человеке, когда он начинает любить только одного себя.

— А я знаю, о ком это вы! — радостно сказал Тима. — Вы так про Георгия Семеновича думаете. Но это неправда, он мне сказал...

— Тима,— лицо Софьи Александровны исказилось от отвращения,— или ты глупый, или ты все-таки хочешь выполнить это некрасивое поручение.

— Вы на меня не кричите! — дрожащим от оскорбления голосом произнес Тима. — Вы мне не мама, чтобы на меня кричать,— и, ожесточаясь, одним духом выпалил: — Вы никому не мама. И не смеее называться ничьей мамой.

— Тима, ты что, болен?

— Нет, я не болен. А вот Ниночка сильно больна,— и, видя, каким жалким стало побледневшее лицо Софьи Александровны, добавил: — И никакой свежий воздух и сырые

морковные котлеты ей не помогут. Она от горя мрет, что вы ее бросили.

— Тима, что с Ниной? — сдавленным голосом спросила Софья Александровна. — Ну скажи мне все, мальчик. Почему Агафья молчит? Я каждый день ее вижу. Зачем же она от меня скрывает?

Но Тима уже не испытывал торжества оттого, что Софья Александровна так растерянно мечется по комнате с некрасиво растрепанными волосами, разыскивая под кроватью валенки, хотя они стоят на печке.

Тима чувствовал всем своим существом, что он коснулся каких-то таких сторон человеческих отношений, которых он не имеет права касаться. И он сам испытывал мучительное смятение. Но разве нужно так стыдиться того, что он сделал? Ведь это его, а не Савича, Нина попросила вернуть ей маму. Разве Софья Александровна совсем уж одна? У нее есть Кудров, Рыжиков, Эсфирь. А вот Ниночка совершенно одна в пустой комнате с голыми окнами, с черной партой и черной доской. Совсем одна. А Георгий Семенович не любит ее по-настоящему, ему только нравится ее воспитывать, чтобы хвастаться перед гостями, какая у него дочь воспитанная. Но вместе с тем Тима понимал: он сделал что-то очень нехорошее. Почему он с таким злорадством сказал, что Нина больна? А если бы она была здоровая, разве ей меньше нужна была бы мама? Значит, Тима не верит, что Софья Александровна любит Нину по-настоящему, и схитрил, зная, что взрослые всегда становятся растерянными и беспомощными, когда узнают, что их дети заболели. Вот даже папа, когда Тима заболел, рассказывал ему по целым ночам красивые сказки, а когда Тима выздоровел и попросил отца рассказать ему сказку, отец ответил пренебрежительно:

— Я, в сущности, против сказок. Они внушают человеку ложную надежду, что существуют якобы какие-то силы, которые могут действовать помимо его собственных усилий. И этим самым расслабляют волю человека к борьбе.

А когда Тима снова захворал, отец снова рассказывал ему сказки, и хотя у Тимы невыносимо болело горло, слушая сказки, он не так остро ощущал боль. Значит, взрослые тоже не очень-то всезнающие люди и, когда теряются, прибегают к тому, против чего возражают.

Или вот отец прочел Тиме рассказ, как глухонемой дворник утопил по приказанию помещицы собачку. Когда отец читал этот рассказ, у него от жалости к собачке даже

голос дрожал. А потом Тима принес с помойки котенка, и отец сказал брезгливо:

— Зачем ты притащил эту гадость, я не люблю, когда в доме воняет кошками. — И когда мать заступилась, он сердито предупредил: — Ты хочешь, чтобы у мальчика завелись глисты? В таком случае я умываю руки.

Нет, взрослые тоже в жизни не все правильно понимают, и им не очень-то просто все сразу объяснить.

Но какое он имеет право так думать о Софье Александровне? Если бы он смог честно и просто рассказать, как невыносимо всякому жить без мамы, она бы поняла и, может быть, вернулась к Ниночке.

Он решил несколько загладить свою вину перед Софьей Александровной.

— Тетя Соня, — сказал Тима рассудительно, — есть такие болезни, от одних нервов. Я как-то сдачу из лавочки в чеканчик проиграл, а маме соврал, что потерял по дороге. И мама меня за это вовсе не ругала. И за то, что она меня не ругала и такая она хорошая, я всю ночь не спал, а паутро у меня по телу сыпь. Мама очень испугалась, а я ей говорю: «Ты меня не жалей. Я плохой. Я сдачу в чеканчик проиграл». И она меня тут же простила за правду. Папа еще из больницы не пришел, а с меня вся сыпь исчезла. Это оттого, что мама меня простила и я успокоился. Вот я думаю, что у Нинки тоже болезнь оттого, что она думает: вы ее не любите.

Софья Александровна долго, испытующе смотрела в глаза Тимы, потом вдруг крепко поцеловала его в лоб и сказала шепотом:

— Спасибо тебе, Тима, что ты так мою Нину любишь. Спасибо тебе.

Но Тима рассердился:

— Я вашу Нину и не люблю вовсе.

— Не любишь?

— Я не потому, — шепотом признался Тима. — Я потому пришел, что сам без мамы замучился. Вот и все.

— Тима, — сказала Софья Александровна и посмотрела ему прямо в глаза своими заплаканными, сияющими глазами. — Ты знаешь, у меня есть друг — Алексей Кудров.

Тима смутился и пролепетал, чувствуя, что краснеет:

— Он и папин друг.

— Так вот, — гордо сказала Софья Александровна. — Я теперь буду одна, одна всю жизнь.

— А Нина? — изнемогая от тяжести нового испытания

всех своих душевных сил, но все-таки не сдаваясь, спросил Тима.

— Ты понимаешь, Тима, что это означает?

— Да,— растерянно протянул Тима, но понял только одно, что у Нины снова будет ее мама.

Шагая по узкой тропке в глубоко протоптанном снегу и жмуря глаза от слепящей снежной пыли, которую несла поземка, Тима чувствовал себя совсем усталым, измученным. Он уже не мог думать о том, что плохого и что хорошего было в сегодняшнем его поступке. Правильно или неправильно он сделал, что пошел к Софье Александровне? Он испытывал чувство жалости к себе. Будто было у него цветное стекло; когда глядишь сквозь него, все кажется таким красивым, необыкновенным, и вот он его потерял. Или нет, такое же чувство он испытал, когда отец показал ему в банке со спиртом человеческий мозг, похожий на огромную половинку грецкого ореха.

Отец объяснил: благодаря этому мозгу человек думает, видит, чувствует и даже разумно двигает руками и ногами. И каждая частица мозга ведаёт чем-нибудь у человека. Тима потом долго не мог смириться с ощущением, что в голове у него тоже лежит такая серая, отвратительная на вид морщинистая штука, и она заведует всем в Тиме. Но потом, когда он забыл про мозг, ему стало сразу очень хорошо. Он даже решил, что отец это все придумал, чтобы Тима стал более серьезным и рассудительным.

Вот папа говорит, люди страдают только оттого, что богатые мучают бедных. И когда будет настоящая революция, всем будет хорошо. Но есть люди, которые сами от себя мучаются.

Зина слепая, отец Яшки водку пьет. Кудров теперь станет несчастным, и Софья Александровна тоже. Хотя, пожалуй, если бы настоящая революция случилась давно, мать Яши не жадничала бы из-за денег, не торговала на морозе, и Зина родилась бы здоровой, и их отцу не для чего тогда было бы пить. А Софья Александровна не выходила бы замуж за Савича, раз он настоящей революции боится. А отец стал бы инженером и строил что-нибудь для людей, вместо того чтобы с тифозными возиться и под матрацы листовки совать, за которые в тюрьму могут посадить. А мама окончила бы музыкальную школу и пела бы всем даром на площади. Ведь Эсфирь говорит, что у мамы исключительная колоратура. Это вроде как у соловья голос. Она могла бы в театре петь, если бы в тюрьму не села и в ссылку не уехала. Ее даже такая знаменитая певица, Нежданова, слу-

шала и очень похвалила, сказала: «У вас исключительный голос, но вы, теперешняя молодежь, больше не об искусстве думаете, а о революции. И в Сибири вы свое сокровище загубите». Но мама вовсе не загубила. На вечерах у Савича она «Соловья» Алябьева пела. Сожмет перед собой руки, на цыпочках вытянется, глаза зажмурит, и как будто у нее в горле трубочка серебряная. И все слушают ее, восхищенно полужакрыв глаза.

Когда Тима пришел домой, у двери его встретил Яша. Он сказал, вздрагивая плечами, словно сильно озиб:

— Зинка на вилы в сарас напоролась животом. Вот тебя ждем. Давай лекарство.

Зина лежала на сундуке, закутанная полостенцами, на которых влажно проступили темные пятна крови, и в забытьи шептала:

— Мене мухи лицо лижут. Дышать не дают, гони мух, Яков.

Но никаких мух на лице у нее не было. Какие же мухи зимой?

Руки Тимы дрожали, и он не мог удержать склянку с йодом. Когда Яша обнажил тощий живот девочки, покрытый липкой кровью, Тима сполз на пол и прошептал:

— Я не могу.

— Давай, баба, гляди, сколько пролил. А он денег, йод, стоит.

Яков разорвал жесткую бумагу на пакетах, наложил вату на живот, спросил сурово:

— Может, чем еще помазать?

— Посыпь йодоформом.

— Это чего?

— Желтый порошок в банке.

Бинтуя Зинку, Яша спрашивал:

— А еще один бинтик истратить можно? Отец твой не заругает?

— Нужно ее в больницу везти, — сказал Тима. — Я пойду извозчика искать.

— Извозчик деньги спросит, давай лучше сами на салазках свезем.

Мальчики завернули Зину в одеяло и в тулуп, которым накрывался Яков, ложась спать, вынесли на улицу, положили в маленькие санки и обвязали веревкой, чтобы она не выпала из саней. На холоде Зина очнулась.

— Вы куда меня волочете? Не хочу в больницу, хочу дома!

— Я тебе дам — «не хочу»! — сердито прикрикнул Яков.

Зина стала плакать и жаловаться:

— Зачем побудили? Я уже ангелов видела.

— Ангелов! А говорила, мухи лижут.

Тима понимал, что Яша говорит так с сестрой не от черствости, нет. Мальчик хотел внушить Зине бодрость, делал вид, будто ничего страшного не произошло и он даже не очень ее жалеет. Но по лицу Якова текли слезы. Ни разу прежде Тима не видел, чтобы Яков плакал, даже когда его жесточайше и бессмысленно избивал пьяный отец.

— Ничего, — шептал Яков, — она все равно не видит.

И слезы залубеневали на его острых скулах ледяной коркой.

— Мальчики! — застонала Зина. — Не трясите меня так. Ой, больно! Животик горит! Присыпьте снежком маленько... Ой, тошнехонько мне!..

Тима решил отвезти Зину прямо на квартиру Андросова, главного врача городской больницы.

Павел Андреевич Андросов жил на Садовой улице в особняке, выкрашенном белой масляной краской, с большими окнами в узорных наличниках, которые почему-то здесь называли «итальянскими».

Огромного роста, с большим животом и длинными вьющимися каштановыми волосами, всегда по моде одетый, Павел Андреевич походил на артиста. Лет пятнадцать тому назад он был выслан из Москвы за то, что слишком откровенно бравировал своим знакомством с социал-демократическими кругами. Сын известного профессора-окулиста, он отлично устроился в маленьком сибирском городке и, будучи способным хирургом, быстро разбогател, бесцеремонно назначая самые высокие гонорары купцам и промышленникам, когда те нуждались в его помощи.

В первый год изгнания, чувствуя себя еще обиженным, он отважно женился на молоденькой и очень хорошенькой цыганке, чтобы, как он говорил, «бросить вызов обществу». Кутил, катался на тройках, вел с воротилами города карточную игру по крупной. Но как-то так случилось, что его жена-цыганка с помощью ассистента Павла Андреевича подготовилась на аттестат зрелости, уехала в Томск и там поступила на медицинский факультет.

Андросов вел жизнь холостяка и уже основательно успел позабыть жену, как вдруг она вернулась в город врачом и в расцвете такой женской красоты, что Андросов оробел, растерялся и с тех пор стал покорным и преданным

супругом. Жену Андросова звали Феклой Ивановной, но он называл ее Фенечкой и Фиалкой.

Действительно, у Феклы Ивановны были удлиненные глаза настоящего фиалкового цвета. Она была всегда гладко, на пробор причесана, держала себя с людьми строго, независимо, и только когда сердилась — начинала говорить отрывисто, гортанно, с цыганским акцентом. Когда Андросовы ссорились, а это случалось частенько, они оба, стесняясь прислуги, переходили на цыганский язык. Павел Андреевич очень хорошо говорил по-цыгански, научившись этому языку в доказательство любви к своей супруге.

Андросов встретил Тиму в стеганом халате и, не давая произнести ни слова, потащил в комнату, восклицая:

— Смотри, Фиалочка, у нас гость!

Тима сразу понял, почему Павел Андреевич принял его так радостно. Не обращая внимания на Тиму, Фекла Ивановна что-то сердито крикнула мужу по-цыгански. В доме происходил очередной скандал. Андросов, схватившись за голову, заныл:

— Какая карьера? Я завидую Савичу? Боже мой, что за нелепость! — И стал сыпать шумными цыганскими словами. Потом он снова с отчаянием воскликнул по-русски: — Когда же прекратятся эти моральные пощечины? — и бессиленным голосом спросил Тиму: — Ты хотел мне что-то сказать, мой друг?

— Там девочка напоролась животом на вилы, помогите ей, пожалуйста.

— Позволь, какая девочка? Что ты мелешь? — моргая глазами, переспросил Андросов. — И потом, почему сюда? У меня же не больница, и я не обязан...

— Нет, обязаны, — сказал Тима.

— Позволь, кто же может меня заставить?

— Наш комитет, Рыжиков.

— Ну, батенька мой, я человек беспартийный, ты меня не пугай. Я думал, ты меня еще по-хорошему просить будешь, а ты вот как! Может, ты еще с пистолетом пришел?

— Я у вас все окна повышибаю! — заявил Тима.

В этот момент в комнату ворвалась Фекла Ивановна, держа на руках Зину.

Уставившись на Андросова своими широко открытыми фиолетовыми глазами, она повелительно крикнула:

— Мой руки, ребенок погибает!

Позади Феклы Ивановны понуро стоял Яша, держа в руке разорванную веревку, которой привязана была к саням Зина.

Больше двух часов мальчики сидели молча в гостиной Андросовых, а из двустворчатой, с матовым стеклом двери медицинского кабинета Андросова доносились только металлический звон инструментов, бросаемых на поднос, и короткие, приглушенные повелительные фразы Павла Андреевича.

Потом он вышел в белом халате, марлевая повязка сползла с его рта на грудь, лицо было усталым, потным, он тяжело дышал, от него остро пахло лекарствами. Сдирая с рук, словно кожу, желтые резиновые перчатки, он болезненно морщился, сопел, потом сказал самому себе с озлоблением: «У-у, подлец!..» Взял из коробки папиросу, закурил, сломал, плюнул на ковер и, подняв на мальчиков тусклые глаза в опухших веках, спросил хрипло:

— Да кто же такую муку вытерпеть мог? А она, крошечка, только одно просит: «Дяденька, вы денег с Яшки не берите, я буду вам после полы каждый день мыть».

— Вы не беспокойтесь,— сурово сказал Яков,— мы заплатим.

— У ребенка шок,— произнесла Фекла Ивановна.— Она уже ничего не видит.

— Это ничего,— сказал Яков.— Она всегда ничего не видит.

Фекла Ивановна терла рукой свою длинную тонкую шею, и под кожей у ней вздувался и ходил какой-то твердый клубок. Андросов рванул себя рукой за четырехугольную бородку. Встал и, раздирая на толстой волосатой руке рукав, крикнул жене:

— Нужно переливание крови!

— Без жестов,— сказала Фекла Ивановна.— Кровь нужно взять у ее брата. Пойдем, мальчик.

Яков остался ночевать у Андросовых. А Тима пошел домой. Голова у него кружилась, он ощущал какую-то тоскливую пустоту в груди, словно кровь взяли не у Яши, а у него.

А через неделю Зина умерла.

Андросов купил на кладбище хорошее место, и гроб с Зиной привезли на катафалке. Но провожали ее только Фекла Ивановна, Тима и Яков. Отец Зины пришел на кладбище пьяный и, стесняясь своего растерзанного вида, ждал у ограды, пока не ушла Фекла Ивановна. Андросовы предложили Яше поселиться у них, но он сказал угрюмо:

— Нет! Если понадобится, за вас обоих я помереть готов в случае чего. Но отца не брошу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В конце апреля снег посинел и стал бурно таять, но ночью еще скрипели заморозки. Вскоре уже можно было ходить днем без зимней одежды, хотя под заборами в тени еще лежал снег. На проталинах появилась зеленая нежная трава.

Когда Тима пришел к маме в комитет, он увидел, как Рыжиков обнимает угрюмого квадратного Капелюхина и кричит ему в лицо, словно глухому:

— Ленин приехал! Слышишь, Кузьмич, Ленин!

И все радовались в комитете; только мама, напряженно вглядываясь в какую-то бумажку, лежащую на столе, все время стучала на машинке, даже не обернувшись ни разу к Тиме. А Рыжиков, давая каждому входящему напечатанные мамой листовки, восторженно спрашивал:

— Видал? — и по складам, нежно, протяжно выговаривал: — Ле-нин! Вот, брат, тезисы — программа партии. Куда и как идти сегодня и навек.

Ночью город был разбужен глухим гулом.

Набухшая река взломала свою ледяную крышу и со стеклянным звоном и скрежетом тронулась к океану. Могуче подняв гигантские ледяные плиты, разбросавшись в ширину на много верст, выворачивая с корнем прибрежные сосны и кедры, река стала подобна бесконечно растянувшейся, бешено хлынувшей ледяной лавине.

Ледяные поля величиной с Соборную площадь налезали друг на друга, сшибались и косо выпирали из реки, обнажая прозрачное, лунного цвета днище. Потом они рушились, выбивая высоко вверх мелкие льдины, которые сверкали в воздухе, словно выскочившие из воды диковинные рыбины. С треском, сопением, чавканьем и грозным грохотом река волокла на себе миллионы пудов льда, подобно тарану, сбивая им на поворотах углы крутых берегов вместе с рыбацкими хатами и березовыми рощицами. А когда в устьях образовались заторы и река с гневным усердием все выше и выше громоздила ледяную баррикаду и наконец, остановив свой бег на север, начинала расплзаться вширь, одним плечом давя с хрустом таежную чащу, а другим — халупы поречных окраин городишка, наступала зловещая тишина и становились слышны горестные вопли жителей, перетаскивавших свой скarb на взгорье, где проходила центральная улица.

Совет добился того, что городская управа разрешила

жителям затопляемых окраин занять здание Общественного собрания и ресторан «Эдем».

Из затона сорвало две баржи с зерном. Баржи принадлежали Золотареву, а зерно Мачухину. Золотарев сдал эти баржи в аренду военному ведомству, а Мачухин продал зерно владельцу паровых мельниц Вытману, который, в свою очередь, считал, что зерно продано интендантству, пусть оно и беспокоится. Никто из них не хотел позаботиться о спасении судов и грузов.

Рабочие-дружинники во главе с Кудровым с веревками, досками и жердями пошли по льдинам к баржам, зажатым почти на самой середине реки. Они успели забраться на баржи до того, как река сломала затор. Но когда ледяная лавина снова тронулась, баржи понесло к Кедровому мысу, где льдины, сшибаясь, с пушечным грохотом давили, топили одна другую, выбрасывая в воздух сверкающие осколки.

Сотни людей бежали вдоль берега к мысу, где должна была произойти неизбежная гибель судов. Одну из барж река выпихнула на ледяное поле, потом это поле треснуло, и судно косо повисло, погрузившись кормой в воду. Сзади стали налезать льдины, громоздясь все выше и выше. Раздался сухой, жалобный треск досок. Было видно, как с покатою палубы раздавленной баржи спрыгивали на лед дружинники.

Раздробив корму, река толкнула баржу снова на ледяное поле, но оно почти тотчас же раздалось под ней и снова сомкнулось. Это было очень страшно.

И еще страшнее было оттого, что выпрыгнувшие на лед люди, схватив брошенный с другой баржи толстый пеньковый канат, запрягшись в него, как бурлаки, стали неторопливой, мерной поступью шагать от этой баржи с большого ледяного поля к стремнине, туда, где мчались, толкаясь и ворочаясь, дробящиеся льдины.

Почти возле самого мыса окоченевшие, окровавленные дружинники выбрались на берег. Они успели окрутить канатом толстый ствол векового кедра. Натянувшийся канат брызнул водяной пылью и почти мгновенно высох.

Дружинники, оставшиеся на барже, упирались баграми в льдины, пока баржу медленно оттягивали к берегу. Из щелей продавленной обшивки на лед сыпалось зерно.

Зажимая под мышкой окровавленную руку, на берег соскочил Кудров и командовал:

— Капелюхин, хлеб раздать семьям, потерпевшим от наводнения, пораненные — до дому!

На следующий день в «Северной жизни» появилась

статья Седого под заголовком «Подручные кайзера!», в которой автор обвинял большевиков в похищении двух барж с хлебом, принадлежавшим военному ведомству. А еще через несколько дней Кудров был арестован по обвинению в совершении действий, направленных на подрыв военной мощи государства. Забастовали рабочие мельниц Выхмана, кирпичного завода Пичугина, ремонтники затона. Когда их поддерживали железнодорожники, Кудрова выпустили...

Дом на набережной, где находился Совет, снесло наводнением, и Совет перебрался в слободу, так как дума отказалась предоставить здание в городе.

После подвига, совершенного дружинниками, Тима проникся к Кудрову благоговейным восхищением. Впервые в жизни он видел, как люди совершают героизм. И то, что настоящий герой — его знакомый и, мало того, даже почти друг, заставляло Тиму как-то иначе, с большим уважением относиться к самому себе.

Возвращаясь однажды вечером из комитета вместе с Кудровым, Тима испытывал настоящее блаженство. Идти рядом с таким человеком, да кто ему не позавидует!

В синем теплом небе низко висели звезды. От берез с новорожденной листвой исходил нежный терпкий запах. Кудров, засунув руки в карманы короткой железнодорожной куртки с орлеными пуговицами, обшитыми материей, задумчиво говорил:

— Вот, Тимофей, какая штука. У нас здесь, в тайге, миллионы десятин кедров. А что такое кедр? Корова! Каждый кедр даст знаешь сколько фунтов масла? Сотни тысяч пудов можно получить с одного сбора. И какого масла! Почтище коровьего. А у нас люди голодают, жрать нечего. Тайга каждое лето на сотни и даже тысячи верст выгорает, и тушить ее некому. Лес, мол, казенный, чего его жалеть! Вот помни мои слова, социализм устроим — каждый человек должен будет за общее добро, как за свое собственное, болеть. У каждого будет глаз цепкий на всеобщую пользу... — Наклонившись, он поднял с земли круглую гальку, вытер ее об рукав, показал Тиме, спросил: — Что такое?

— Камень.

— Не камень, а кусок угля река обточила. Таких, из каменного угля, голышей на берегу много. Что это значит? А значит, где-то в верховьях река по угольным пластам течет, куски отламывает и волочит на всем пути следования. Но никому это не интересно, что где-то уголь есть. Палят леса в печах да топках. И какие леса — лиственни-

цу! Она же вечное дерево, нетленное. Из нее можно города построить, сотни лет будут стоять! Во время японской войны мой отец в Китае был, так там, говорит, дворцы из хвойного дерева тысячи лет стоят.

Вот, скажем, пимокат Якушкин так социализм соображает: всем все поровну, чего буржуи похватали, раздать. Нет, не так. Социализм — это такое, когда люди собственноручно все потаенные сокровища земли и силы ее на себя обернут. Вот от чего оно, настоящее богатство, народу чойдет — от умного хозяйствования...

На углу Гражданской и Пироговской, где помещалась бильярдная «Дядя Костя», к Кудрову подошел долговязый парень в гимназической фуражке без герба, в короткой телячьей куртке и в высоких хромовых сапогах. Заглянув Кудрову в лицо, он попросил прикурить, потом, угодливо улыбаясь, заявил:

— А вас тут один человек дожидается. Один момент. — И скрылся в бильярдной.

— Ты пока иди, Тима, а я тебя догоню, — сказал озабоченно Кудров.

Но из дверей бильярдной вышли уже четыре человека.

— Узнаешь? — спросил одного из них долговязый.

Тот, кого он спрашивал, в летней поддевке, наброшенной на покатые плечи, сощурился, поглядел в лицо Кудрову угрюмыми выпуклыми глазами, мотнул головой и сказал сипло:

— Виноват, обмишурились сходством, — вздохнул и обернулся к остальным: — Ну, по домам, что ли? — И, тяжело ступая толстыми ногами, не спеша побрел не по тротуару, а по дороге. За ним поплелись и остальные.

Свернули на Подгорную, но тут Тима, тревожно оглядываясь на шагающих сзади людей, провалился в сточную канаву почти по пояс. Кудров успел его вытащить за руку. Еще немного, и вода сбила бы Тиму с ног и уволокла под деревянный настил.

— Что же ты такой пеловкий? — упрекнул его Кудров и, присев на корточки, стал расшнуровывать ботинки. — Идти в мокрых нельзя, пятки сотрешь и вообще протушишься.

И вдруг над головой Тимы раздался сиплый крик:

— Ребенка грабишь, сволочь?

Нога, обутая в хромовый сапог, ударила в склоненное лицо Кудрова. Кудров упал, на него бросились сверху плашмя еще двое, но он, извиваясь по земле, вырвался, привстал на одно колено и, стоя так, на одном колене,

ударил в живот долговязого. Тот согнулся пополам и сунулся лицом в землю, словно бодая ее. Кудров вскочил на ноги и крикнул:

— Беги, Тимоша!

Сзади на Кудрова бросился тот, с покатыми плечами, и поднял на себя, сжимая ему горло. Но Кудров ударил его затылком в нос. Плечистый разжал руки, присел и стал шарить одной рукой у себя за пазухой, а другой зажимать разбитый нос. Кто-то сшиб Тиму, наступил ему на локоть, надавил каблуком и повернулся. Тима взвизгнул, от боли у него потемнело в глазах. Когда он открыл их, было тихо, только хлюпала вода в сточной канаве. Казалось, в рукав ему кто-то насыпал раскаленных железных опилок — такая рука была тяжелая и так невыносимо болела. Тима, скособохавшись, с трудом поднялся.

Поджав к животу ноги, на земле лежал Кудров. Лицо спокойное, и на прижатой к груди ладони растопырены пальцы...

Тима лежал в постели, рука его, толсто перебинтованная, покоилась на маленькой подушке. Разорванная кожа в уголке рта мучительно стягивалась. Мама сидела рядом и, опустив глаза, слушала, что говорит Капелюхин. А Капелюхин, вежливо покашливая в волосатый кулак, стараясь смирить свой могучий голос, шептал:

— Тут, Варвара Николаевна, партию трогать не надо. Материнское сердце спросить. Дружина велела: мол, если материнское согласие будет, тогда да, а так — нет. Опознает Тимоша, спасибо. Но концы у них могут остаться. Мы, конечно, за мальчиком надзирать будем, но беспокойство в смысле мести законно. Так что вот, выбирайте.

Мама посмотрела на Тиму, легким, летучим движением коснулась его щеки и покорно сказала:

— Пусть он сам решает.

— Я пойду, — произнес с трудом Тима каким-то булькающим голосом оттого, что мог сейчас говорить только одной стороной рта. — Не боюсь.

Ночью рабочая дружина оцепила флигель в усадьбе Вытмана, где находился штаб так называемого «Патриотического общества содействия». Возглавлял это общество фельетонист «Северной жизни», глава местных анархистов Сергей Седой.

Всю компанию захватили врасплох. Капелюхин богатырским плечом вывалил дверь и сказал скучным голосом:

— Не двигаться, а то убивать будем.

Якушкин с мочальной кошелкой обошел всех арестованных, сложил в кошелку пистолеты, ножи и чугунные гирьки на сыромятных ремнях, упрекнул:

— Что же это вы черносотенным инструментом пользуетесь? Некрасиво!

Сергей Седой, полный, представительный, с огромным, в залысинах, лбом над лукавыми лазурными глазками, разводя руками в крахмальных манжетах, негодуя за-явил:

— Товарищи! Кто вам дал право разоружать боевые силы революции?

— Я те дам революцию! — И Якушкин показал Седому косматый крашеный кулак.

В кладовой рабочие нашли женские шубы и большую кадушку, набитую дорогими мехами.

— Вы что же, еще и грабите? — спросил Капелюхин.

— Экспроприированное имущество буржуазии, — небрежно бросил Седой.

Тиму привез на телеге к воротам вытмановского дома пимокат Шурыгин. Он старательно укрыл мальчика сеном и спросил:

— Видать тебе тут? Ну и нишкни. Я к тебе спиной сяду, увидишь кого из тех, пихни меня. Опознавать я буду.

— Я так не хочу, — запротестовал Тима.

— А как ты хочешь? — рассердился Шурыгин. — Чтоб после твои родители горе узнали? Лежи, а то выпорю, как своего. — И даже за ремень ухватился, но лицо у него осталось ласковым.

Арестованных выводили за калитку поодиночке, Якушкин освещал каждого фонарем и спрашивал Шурыгина:

— Разглядел рожу? Теперь дальше гляди. Грудь, пузо, ноги, ну?..

— Не спознаю, — вздыхал Шурыгин.

Вдруг фонарь осветил потное лицо с белесым чубом на узеньком лбу и гимназическую фуражку на затылке.

— Он! — закричал, приподнимаясь, Тима и стал дрыгать ногами, стараясь стряхнуть с себя сено.

Но сильные руки Шурыгина повалили его снова на телегу. Кто-то закричал: «Держи!» Телега рванулась, Тима ухватился здоровой рукой за перекладину, чтобы не вывалиться, и вдруг впереди раздался тонкий, жалобный, словно кошачий, визг и всплеск воды. Телега остановилась.

Тима приподнялся и увидел, как вдоль сточной канавы, не торопясь, шагает Шурыгин и пинает что-то ногой со стенки канавы, словно камешки сбрасывает. Там, где канава уходила под деревянный настил, он остановился, встал на колени, нагнулся, поглядел под настил. Потом выпрямился, подошел к телеге, засунул охотничье ружье под сено, спросил рассеянно Тиму:

— Как, руку не ушиб? Вздрыбился конь, испужался.

Сел, повернул коня и шагом поехал обратно.

Подбежал, запыхавшись, с револьвером в руке Капелюхин. Спросил:

— Не поймал?

— Где там, — махнул рукой Шурыгин.

— Эх, шерсть кислая, — презрительно сказал Капелюхин. — Убег из-под носа, значит?

— Ничего, ему теперь недалече бечь, — скучным голосом произнес Шурыгин и кивнул головой на канаву.

— Так что ж ты ваньку валяешь? — рассердился Капелюхин.

Но Шурыгин сказал ему строго, покосившись суровым карим глазом на телегу:

— А сны ребячьи портить нам дано право? Ты о сне ребячем думаешь, дуболом? Мне и то теперь, — стукнул себя в грудь кулаком, — пятно. Понял? Ну и все.

Тима пролежал в постели около месяца. Когда с руки сняли гипс, она оказалась тощей, а кожа на ней — дряблой, серой, морщинистой. Рука плохо сгибалась в локте, а пальцы все время были холодные.

Все эти дни он чувствовал себя счастливым. С ним была мама. И он терпеливо переносил боль. Одно тревожило: когда он выздоровеет, мама ведь снова уйдет от него. И, чтобы продлить жизнь с мамой, он тайком теребил повязку, чтобы рука не так быстро заживала.

От Якова он узнал, что всех арестованных за убийство Кудрова городская власть выпустила из тюрьмы. А Седому предложили передать его организацию в состав «народной милиции», набранной из гимназистов старших классов, солидных домовладельцев и лабазников.

Рабочие дружины и созданную из рабочих пролетарскую милицию воинский начальник приказал распустить. Тем, у кого есть оружие, даже только охотничье, сдать властям.

Седому посоветовали вернуть награбленное имущество

бывшим владельцам, и он развозил по домам на извозчике вещи, извинялся и предупреждал: «Если мы, анархисты, лишь частично покушались на чужую собственность, то большевики непременно заберут у вас все полностью».

Улицы города патрулировали казаки. А в доме с красивыми белыми колоннами, называвшемся «Домом Свободы», разместилась особая военная комендатура. Щеголеватые офицеры с подбритыми бровями и наглыми лицами доставляли сюда арестованных людей в старинной тюремной карете с железной решеткой на задней двери.

В городе торжественно и пышно проводилась подписка на «Заем свободы». Собранные средства должны были идти на войну с Германией «до победного конца».

Двухэтажное здание городского Государственного банка, коренастое, солидное, напоминало тумбу казенного конторского стола. Это сходство еще увеличивала огромная входная дверь, раскрашенная под дуб масляной краской. По бокам кирпичных ступеней сидели два гипсовых льва с вытаращенными глазами, каждый величиной с большого мопса. Пузатый балкончик подпирали кариатиды, тоже сделанные из гипса, изображающие полногрудых женщин, сцепивших на затылке толстые и мускулистые, как у грузчиков, руки. На фронтоне, в том месте, где раньше был прилеплен гипсовый двуглавый орел, теперь зияла белесая плешь. Две оштукатуренные колонны в синих разводах под мрамор примостились под навесом крыльца, напоминающего катафалк. Жестяная вывеска, похожая на медную ленту с фуражки полицейского, была прибита под самой крышей, но орлы на ней замазаны охрой.

Сейчас это почтенное здание походило на нарядный ярмарочный балаган. Над окнами висели гирлянды из елочных лапок вперемежку с разноцветными флажками, а на балконе стояла пожилая исполнительница интимных романсов Вероника Чарская в кокошнике, разукрашенном фольгой, и в ярко расшитом сарафане. На фальшивой жесткой косе ее развевались розовые и голубые ленты, а сама Вероника Чарская беспрестанно улыбалась, показывая вставную челюсть с ослепительно-белыми зубами, какие продавались в аптекарском магазине Гоца.

Обязанностью Вероники Чарской сегодня было публично целовать в щеки тех граждан, которых выводили на балкон банковские чиновники после получения соответствующего куша на «Заем свободы».

Почести, воздаваемые гражданам в награду за их патриотизм, зависели от вносимых сумм. Одним в помеще-

нии банка чиновник кратко говорил «спасибо»; другим он говорил «спасибо», но при этом еще жал руку; третьим говорил «спасибо», улыбался и пожимал руку обеими руками; четвертых он выводил на балкон, и там городской голова Савич благодарил их и публично жал руку, а потом, отступив на шаг, жестом предлагал Веронике Чарской осчастливить жертвователя поцелуем. Были и такие, для которых в придачу к поцелую духовой оркестр, стоящий под балконом, исполнял туш. В честь же некоторых — по таким было немного, это были Пичугин, Золотарев, Мачухин, Витман — в добавление ко всему упомянутому стоявшая в городском саду пушчонка выпаливала холостым зарядом салют. И после этой пальбы все находящиеся на балконе, кроме самого жертвователя, приходили в патристическое иступление. Вероника Чарская целилась влечить ему дополнительный поцелуй в губы, а Савич в силу своего маленького роста обнимал живот жертвователя и прикладывался щекой повыше его жилетных карманов, напоминая доктора, который выслушивает больного. Представитель Союза георгиевских офицеров с черной повязкой на выбитом глазу кричал «ура» и, вытаскивая шашку, салютовал ею, отчего каждый раз Вероника Чарская вздрагивала и прижималась к кому-нибудь, пугаясь грозного блеска стали.

Возле конторских стоек банка дежурили патриоты со списками служащих разных городских заведений и отмечали галочками явившихся, а также сумму вносимых денег. Уклонившимся от патристического долга, а также покупившимся объявляли бойкот. В учреждениях на стол к ним клали бумагу, где эти граждане изображались в виде свиньи с германской каской на голове. С ними запрещалось здороваться, разговаривать, а швейцару — брать у них пальто и калоши. В чернильницы им подливали масло, а некоторые наиболее яростные патриоты подкладывали пистоны под ножки их стульев.

Поэтому слабодушные, обремененные большой семьей, приносили в банк серебряные ложки или старинные иконы в серебре, отдавали даже обручальные кольца.

Но как бы там ни было, а все-таки почести эти произвели на Тиму большое впечатление, когда он стоял возле городского банка в толпе зевак. Ему очень хотелось, чтобы его отцу тоже публично пожали руку на балконе, и даже, может быть, духовой оркестр сыграл туш.

Придя домой, Тима стал обследовать комнату, раздумывая, что бы такое найти для пожертвования. В жестяной

чайнице лежала решетчатая серебряная ложечка с такой же решетчатой крышечкой. Потом он нашел в коробке с иглами и нитками мамин серебряный наперсток, а в комодѣ обнаружил старенький портфельчик, на крышке которого была приделана серебряная пластинка в виде визитной карточки с отогнутым уголком, и на ней было написано: «Будущему великому инженеру от Вареньки».

Взяв столовый нож, Тима стал отдирать серебряную пластинку от портфеля. За этим занятием и застал его отец.

— Папа,— сказал Тима озабоченно,— я тут тебе насобирал для займа. Ложка, она все равно дырявая, наперсток и вот, видал, какая плашка.

— Очень хорошо,— ответил отец рассеянно. Потом взял из рук Тимы мамин наперсток, задумчиво повертел его и положил в карман.

— Одного наперстка мало. Бери вот еще,— и Тима протянул остальные вещи.

Но отец не стал брать. Усевшись на табуретку и поглаживая ладонью колено, морщась так, словно оно у него болело, отец сказал:

— Вот что, дружок, я против войны. Я тебе говорил: эта война пужна только русской, английской и французской буржуазии, и она несет лишь неисчислимые бедствия народу.

— Ну, а зачем ты тогда наперсток взял? Я думал, ты согласный.

— Наперсток? — удивился отец. — Просто так, на память.

— Зачем же на память?

Отец улыбнулся, привлек Тиму к себе и, очень пристально глядя ему в глаза, сказал:

— Я недавно погорячился и высказал в общественном месте свои взгляды на войну. А сейчас, кажется, снова введены полевые суды за антивоенную пропаганду. Конечно, я готов повторить на суде то же самое. Ты знаешь, что такое наш комитет?

— Это Рыжиков, что ли?

— В городе Рыжиков, а у нас на железной дороге свой комитет. И вот комитет предложил мне съездить в одно место. Значит, я уеду. Словом, мама все будет знать. Но только ты ей про наперсток не говори.

— Ты что думаешь, ей жалко будет наперстка, да? Да возьми хоть еще и ложку и плашку.

— Так ты будешь хорошим? — спросил отец.

Тима обнял отца и прижался лицом к его пахнувшей карболкой старенькой железнодорожной тужурке.

Поздно вечером, когда Тима укладывался спать, в дверь кто-то незнакомо постучал. Тима снял крючок. На пороге стоял костлявый офицер в коричневом френче и таких же коричневых широких галифе. Оттого, что галифе были очень широкие, он походил на кувшин. Офицер молча шагнул в комнату, напряженно и внимательно огляделся.

— Один?

— Нет, вдвоем, — сказал Тима.

— Кто же еще? — тревожно спросил офицер.

— А вот вы еще.

Лицо офицера оставалось озабоченно-неподвижным, потом он вдруг захохотал горлом и, мгновенно меняясь в лице, строго заявил:

— Но, но, без этих штучек.

Сел. Поставил саблю между ног и, глядя на эфес, спросил:

— Фамилия?

— Чья?

— Твоя.

— Вы меня Тимофеем зовите, — посоветовал Тима.

— Значит, Сапожков?

— А разве все Тимофеи с такой фамилией?

— Не шали, мальчик, — сурово сказал офицер. — А то, знаешь, могу и того... рассердиться.

— А вы с самого начала сердитый пришли.

— Отец дома? — Офицер сморщился, махнул рукой и переспросил: — То есть где он сейчас находится?

— Вы что, про папу спрашиваете?

— Отец и папа — по-русски это одно и то же.

— А вы разве его не видели?

— Где? — встрепенулся офицер.

— Ну там, — махнул рукой Тима, — на балконе, в банке. Он же туда пожертвование понес.

— Шутишь, мальчик! Твой отец не из таких. Чего ты со мной в пешки играешь? — Офицер положил ногу на ногу, потом наклонился к лицу Тимы грудью, увешанной медалями и крестами, спросил: — Видал, сколько регалий?

— Значит, вы храбрый?

— Ага! — сказал офицер.

— Расскажите, как вы немцев убивали, — ласково попросил Тима. — Будьте добреньки.

Тима уже давно почуял нечто общее между этим офицером и тем человеком, который так подло обманул когда-

то его доверие там, в гостинице «Дворянское подворье». И он вступил в борьбу с этим офицером, призвав на помощь все свое детское лукавство и мстительную ненависть.

— Чай пить хотите? — предложил Тима.

— Ну что ж, угощай.

— Ну, так я за водой сбегаю.

— Э, нет, шалишь! — Офицер даже к двери подошел. —

Ты, я вижу, ученый.

— Даже очень, — с гордостью согласился Тима. — Могу басню прочесть «Кот и повар».

Офицер вынул из кармана записную книжку, показал лежащую в ней фотографию Эсфири.

— Ты эту женщину знаешь?

— Она ваша невеста, да? — обрадовался Тима.

— Почему невеста, дурак?

— Фотографии невест всегда с собой в кармане носят.

— Ну и остолеп же ты, мальчик, — вздохнул офицер. —

Это же ваша знакомая!

— А ну, еще раз покажите.

Тима долго разглядывал карточку тети Эсфири, потом огорченно сказал:

— Нет, таких у нас нет.

— А кто у вас знакомые?

— Всех по пальцам назвать? Господин Пичугин — раз, доктор Шухов — два, доктор Андросов — три, Георгий Семенович...

— Это какой Георгий Семенович? — оживился офицер.

— Ну, городской голова, что вы, не знаете?

Тима даже возмутился.

— Вот что, — решительно заявил офицер. — Хватит.

Говори, где отец?

— Вам адрес сказать?

— Вот именно, — обрадовался офицер.

— А я дом глазами знаю, а как адрес называется, не знаю.

— Показать можешь?

— Пожалуйста, — согласился Тима. — Только далеко идти.

— Ничего, у меня извозчик.

Когда вышли из дому, Тима заметил в палисаднике у кустов боярышника двух незнакомых людей. Офицер бросил им на ходу:

— Одному остаться, другому за мной следовать. —

И похвастался: — Кажется, веревочка в руках.

На улице было сонно и тихо. В небе торчала плоская

луна, измазанная грязными облаками. Воняющий помоями ветер нес в лицо невидимую, тонкую, как зола, пыль.

И уже исчезло озорное возбуждение борьбы, которое испытывал Тима, когда разговаривал с офицером, увертываясь от его цепких вопросов. «Ну, повозит он меня по городу, ну, час, ну, два,— тоскливо размышлял Тима,— я скажу: забыл и не могу найти дом. И зачем было придумывать себе такое геройство, ведь оно никому не нужно. Папа сказал, что не вернется больше домой. Значит, офицер мог сколько ему угодно сидеть у них в доме без толку. И нужды в таком обмане нет, даже можно чего-нибудь напортить этим обманом».

Тима смущенно сказал офицеру:

— Дяденька, вы на меня не сердитесь, ночью я не найду того дома, да там сейчас все равно никого нет. Это там, где в костяные шары играют на столе.

— Значит, в бильярдную хотел сводить, да? — задумчиво произнес офицер и спросил человека в штатском: — Так что же, Грызлов, выходит, ушел он от нас?

— Один момент, — сказал человек в штатском. Обращаясь к Тиме, предложил: — Молодой человек, зайдемте-ка в палисадничек побеседовать.

Тима сел на скамью и вопросительно посмотрел в лицо человека, озабоченно склонившегося над ним.

— Задери-ка маленечко рубашку, я погляжу: ничего там у тебя не спрятано?

Тима послушно поднял рубашку, и вдруг человек цепко ухватил его жесткими сильными пальцами за кожу на животе, оттянул ее на себя и с силой ударил ребром ладони по оттянутой коже.

Черная, душащая боль ослепила Тиму, и он с открытым ртом опрокинулся навзничь.

— Репете! — произнес человек и снова оттянул кожу на животе Тимы, повторил удар. — Так где родитель? Не знаешь? Ну, значит, репете...

Все существо Тимы, опаленное болью, металось, будто в дыму, и как он ни пытался пошевелить ртом, чтобы хоть чуточку вдохнуть воздух, ничего не было, кроме этого черного дыма, заполнившего его всего. И сквозь этот мрак он видел скуластое лицо в седом бобрике, словно пришедшее во сне, такое ненавистное, такое знакомое, и голос, произносящий это страшное слово «репете», звучал так же, как тогда в «Дворянском подворье», — участливо и зловеще. «Это он, снова он, тот человек...» — гудело колокольным боем в исступленном сознании мальчика. Потом он

услышал хриплый, раздраженный голос офицера над собой:

— Прекратить!

— Ваше благородие, я же в четверть силы. Баночки, — извиняющимся, умильным голосом сказал человек в штатском.

— Ты сукин сын, — сказал офицер гневно. — Разве можно так с ребенком! — И сердито пояснил: — Детей бьют ремнем по мягким частям тела, не больше того.

— А следы? — обидчиво сказал человек в штатском. — Мы ведь соображаем. После баночек никаких вещественных доказательств представлено быть не может. Вот как нас по старой науке учили. За одно это, можно сказать, нас, опытных, из бывшей охраны в нынешнюю контрразведку зачислили. А вы еще, извините, в этом деле только начинающий.

Тима лежал горячим голым животом на холодной влажной земле и дышал коротко, часто. Сознание медленно и лениво возвращалось к нему.

Он с трудом поднял голову, огляделся. Никого. Вот из грязных облаков, словно из тряпья, вывалилась огромная луна. Она осветила дерево, тонкое дерево в белых гроздьях цветов на смуглых ветвях, пахнущих горько и нежно. Дерево дохнуло чем-то таким любимым, знакомым, бесконечно добрым и бесконечно ласковым. «Мама, мамусечка», — прошептал Тима.

Он подполз к дереву и, хватаясь за ствол, поднялся и пожаловался: «Больно мне очень». Потом спросил: «Может, они мне кишки перебили?» Заплакал, прижавшись щекой к прохладной и гладкой коре. Мама очень любила эту черемуху и называла ее ласково «сибирской вишенкой». Где сейчас мама? Не знает она ничего, что с ним случилось? Может, пойти к ней в комитет и все рассказать — ей и Рыжикову. Нет, нельзя. Папа говорил, что в таких случаях люди не должны ходить друг к другу, а то и с другими может случиться плохое, потому что можно привести за собой свою тень: так называют шпионов. А он узнал Грызлова. Выходит, Грызлов — папина тень, а теперь, может быть, и Тимина. Значит, нужно долго быть одному, чтобы никому не принести вреда.

Тима пополз к дому, разделся, лег на кровать, укрылся маминым пальто, а поверх одеялом. Потом вспомнил, что забыл закрыть дверь на крючок. Подумал: «А зачем закрывать? Может, они снова вернуться». Нет, надо закрыть. Он теперь ни за что им не откроет. А если будут

ломиться в комнату, он убежит в окно. И Тима встал, закрыл дверь на крючок, а в раме окна отодвинул шпингалеты.

Улегшись снова в постель, Тима подумал: «Вот я как правильно все сделал, значит, я еще молодец, а живот у меня все-таки целый, только болит, болит очень. Но все-таки это не такая боль, как тогда, когда однажды болел зуб. Зуб болел сильнее».

И, вспоминая, как у него болел зуб и какое страдальческое лицо было все время у мамы, пока у него болел зуб, Тима уснул, думая только о маме.

Утром он проснулся от осторожного стука в дверь. Но Тима не встал с постели. «Может, это пришли те снова? Но почему тогда так осторожно, вежливо стучат? А вдруг мама? Нет, мама стучит бойко, нетерпеливо, весело. Яков? Нет, Яков стучит пяткой, в низ двери. Буду молчать, как будто дома никого нет». Тима закутал голову одеялом. Нет, так нельзя. А вдруг кто-нибудь из знакомых?

Стоящий за дверью человек перестал стучать.

Потом произнес, видно присев перед замочной скважиной:

— Сапожков Тимофей здесь живет?

Тима вскочил с постели, подошел к двери, но, усомнившись, остановился на пороге. Те ведь хитрые, могут кого-нибудь нового прислать. Их ведь таких много.

— Мальчик,— сказал человек за дверью.— Я от твоей мамы. Открой.

Тима быстро откинул крючок и толкнул ногой дверь. Перед ним стоял незнакомый человек с усталым лицом и подвязанной белым платком щекой.

— У вас зубы болят? — спросил Тима.

— Нет, это я просто так,— сказал человек. И внимательно оглядел комнату.— Варваре Николаевне про папу все уже известно... Ну, и что в доме были.

— А про живот? — осведомился Тима.

— Не понимаю. Какой живот?

— Мой,— плаксиво протянул Тима.— Меня за папу так били! — И махнул в воздухе ребром ладони. Но, видя, что человек все-таки не понимает, Тима поднял рубашу и спросил: — Теперь видите? Вот ногтями поцарапал.

— Мальчик мой,— сказал с отчаянием человек и, опустившись на стул, спросил: — Что же нам теперь с тобой делать? В больницу нужно...

— Не надо в больницу. Я вот даже садиться уже могу.

Показать? Он ведь только в четверть силы бил, а так, наверное бы, живот лопнул.

— Вот что, — сказал человек, — ты посиди пока дома, за тобой тут скоро один товарищ придет. Так ты побудешь у него, ладно? Он хороший.

— А мама его знает?

— Без мамы, брат, такие вопросы не решаются, — серьезно сказал человек и ушел.

Ян Витол сидел на берестовом туесе, обшитом сверху, как барабан, кожей, и, зажав в круглых толстых коленях сапожную колодку, вбивая деревянные гвоздочки в вымоченную подошву, поучал Тиму:

— Человек должен быть такой хладнокровный, как лягушка, когда пужно очень думать. Я занимался французская борьба. Мне делают двойной нельсон и ломают шея. Это неприятно — двойной нельсон. Партнер оторвал меня от ковра и трусит, как мешок сена. И больно и опасно. Он меня трусит. А во мне веса семь пудов двадцать семь фунта, а золотники ничего не значат. Он меня трусит и теряет силы. Я немножко отдыхаю, потом делаю резкие движения. Ныряю вперед. И я уже в партере. Это значит, лежу на ковре и дышу спокойно. Он пробует взять меня в одинарный нельсон, я забрасываю вверх руку, схватываю его в замок на затылке. Бросок — он касается обоими локтями ковра. И я его туширую грудью.

— А почему вы тогда сапожник, если вы борец? — ехидно спрашивает Тима.

— Я немножко строил корабли, — не обижаясь, объясняет Витол. — Мне очень нравилась эта работа. Но мы делали большую забастовку, и я стал борец, чтобы кушать.

— А сапожником?

— Сапожником научился в тюрьме.

— Значит, вы революционер?

Ян трет круглую, коротко остриженную голову ладонью и, смущенно поведя широким выпуклым плечом, объясняет:

— Я совсем маленький, совсем приготовишка.

Тима смеется, глядя на могучую грудь Витола, на его голые массивные руки, покрытые веснушками, где под белой кожей круто вздуваются мускулы, словно там у него спрятаны крокетные шары.

Но Ян невозмутим.

— Мальчик, — говорит он ровным голосом, — я был на

каторге и видел там людей, которые еще тогда знали, что будет с Россией.

— А очень вас мучили на каторге?

— Нет, слегка. Я только не люблю мороз, когда мало одет.

— А латыши — это все равно что русские?

— Нет, мы другой народ.

— И вам тоже нужна революция?

— Революция? Это, мальчик, то, что нужно всем народам.

— А сейчас революция кончилась?

Ян нахмурил белесые брови, засонел коротким, вздернутым носом и сказал сердито:

— Э-э, революция — это борьба. Сейчас немножко нам плохо. Потом будет ничего. А еще потом... — Ян сделал руками движение, будто опрокидывал кого-то, и, глядя на Тиму узенькими голубоватыми глазками, торжествующе заявил: — Хорошо будет. — Потом снова повторил: — А сейчас немножко плохо.

— И маме?

— И маме.

— А папе?

— И папе.

— А вам?

— А я сапожник, тук-тук, не жалею нежных рук, — лукаво пропел Ян.

— Дядя, вы очень хороший человек, — восторженно заявил Тима.

Вот уже неделю Тима жил у Яна Витола, испытывая на себе его отеческие заботы и его принципы гигиенического воспитания.

В пять часов утра Витол поднимал Тиму с постели, открывал форточку и заставлял проделывать гимнастические упражнения по Мюллеру. Таблица упражнений была прибита к стене сапожными гвоздями. Потом приказывал Тиме встать в эмалированный таз и окатывал его водой.

За завтраком Ян заставлял Тиму есть побольше свиного сала.

— Меня тошнит, — жаловался Тима.

— Ничего, — говорил Ян, — привыкнешь. — И озабоченно добавлял: — Мне партия тебя дала, я должен тебя рационально воспитывать. Иди на улицу, дыши воздухом.

После обеда Ян укладывал Тиму отдыхать. Потом важно гулял с ним по переулку. Затем Тима писал диктант, решал арифметические задачки. И Ян аккуратно, после

долгих мучительных размышлений, кряхтя и сомневаясь, ставил ему отметку.

Перед сном Ян читал Тиме стихи Пушкина унылым голосом, перевирая слова и вытирая кулаком набегавшие от волнения слезы.

Однажды, когда Тима гулял в городском саду с Яном и Ян внимательно разглядывал у гуляющих обувь, чтобы, как он говорил, «украсть какой-нибудь заманчивый фасон», Тима увидел сидящую на скамейке в зарослях бузины Софью Александровну. Лицо ее было печально, волосы гладко причесаны. Она смотрела сквозь ветви деревьев на аллею, где гуляла с бонной Нина. Софья Александровна не заметила Тиму. «И очень хорошо, что не заметила,— подумал Тима с тоской.— Ведь он был тогда с Алексеем Кудровым. Если бы Кудров был один, он, наверно, мог бы убежать, а он не убежал, и его убили. Потом ведь это он, Тима, виноват, что Софья Александровна перестала видаться с Кудровым. А Кудров, наверное, не знал, что все это наделал Тима. Разве он тогда стал бы с ним так дружить, как дружил последнее время?..»

Тима частенько бегал на пристань к Якову, который жил теперь в избушке бакенщика.

Ян неохотно отпускал от себя Тиму. Но Тима говорил:

— У меня есть друг, не могу же я его бросить.

— Это нельзя,— соглашался Ян.— Друг человеку — это очень, очень важно. У меня тоже был в Риге большой друг. Очень красивый человек.

— А где он теперь?

— Нигде.

— Как это нигде? Так не бывает — нигде.

— Бывает,— спокойно объяснил Ян.— Если человек не живой — значит, он сейчас нигде...

Очень интересно было ходить на реку. Могучая сибирская река, широко и сильно раскинувшись в просторных берегах, мчалась, прозрачная и студеная, к океану. Но год от году все пустынее становилась эта великая водная магистраль. Черная тень военной разрухи пала и на нее. Некогда шумный порт с его дебаркадерами, плавучими белыми пассажирскими пристанями, брандвахтами, огромными пакгаузами и кварталами товарных складов замер, оброс тальниковыми шалашами, где ютились семьи речников и грузчиков, угнанных на фронт.

Прежде с одного захода многоверстного невода, заводимого буксирным пароходом, неводчики брали тысячи пудов рыбы. Но уже давно горожане ходили в гости друг к другу

со своей солью. На базаре за фунт соли отдавали последнюю рубашку. Весь порт был пропитан отвратительным зловонием: лабазники не принимали улов у рыбаков, и выброшенная в реку, прибитая к берегу гнилая рыба опоясывала набережную, словно белая плесень. Штабеля сушеной рыбы тухли на складах.

А в каких-нибудь ста верстах от реки люди голодали и ели ворон. Но доставить им эту рыбу было не на чем. Коней забрали для армии, а железная дорога на разваливающихся паровозах возила только солдат на фронт.

Счаленные плоты лежали на реке бесконечными гигантскими серыми площадями, отсыревшая древесина тяжело погружалась в воду, и поверх затонувших плотов ставили новые. Лесопромышленники не хотели продавать лес, пока правительство не повысит цены, и паровозы останавливались в пути без топлива. На угольных шахтах происходили обвалы, так как не хватало крепежного леса. У пристаней стояли с холодными топками пассажирские и буксирные пароходы. Не было смазочного масла для машин, а пользоваться растительным паромовладельцы считали невыгодным. Только паровые мельницы работали на полный ход.

Продажа зерна была запрещена на рынке, зерно забирали у крестьян по твердым ценам, но муку можно было продавать за любые деньги, и владельцы паровых мельниц наживали огромные капиталы, закупая зерно по твердым и сбывая муку по бешеным ценам.

Мальчики молча смотрели на опустевшую реку. Блестя своими черными, как ягоды черемухи, глазами, Яков сказал Тиме шепотом:

— В деревнях мужики забунтовали. На «Тобольске» велели пары разводить. Отец думает, карателей пошлют. В капитанской каюте офицер поселился. Велел зеркало повесить, чтобы прическу в нем смотреть. С пробормотом прическа.

И тут же озабоченно спросил:

— Ну как, на сома сегодня глядеть будем?

— А ты пропастину достал?

— Есть! В самый раз протухшая. Денек еще подержал бы, лопнула. Несет от нее, как с кладбища.

— До вечера чего делать будем?

— На мельницу надо сбегать. Мукой разжиться. Не пропустить бы, когда ребята отряхаться станут.

Осыпанным с ног до головы мучной пылью рабочим паровой мельницы перед уходом полагалось отряхивать

свою одежду на специально для этого разостланное во дворе брезентовое полотнище. Но никто из них не делал этого, зная, что за воротами ждет ватага голодных ребятишек, которые будут молить:

— Дяденька! Страхнись мне! Ну, дяденька! Вы же прошлый раз мне страхнуться обещали!..

И будут подстилать им под ноги рогожи, мешковину. На эти подстилки рабочие вытряхивали мучную пыль со своих рубаш, курток, штанов, старательно выворачивая карманы.

Но разжиться мукой на этот раз ребятам не удалось.

Во дворе мельницы происходил митинг. Забравшись на кучу мешков, высокий тощий рабочий, стуча кулаком в грудь так, что мучная пыль вокруг него разлеталась облачками, страстно вопрошал:

— С ночи люди за хлебом становятся, да? А что получают? Во! — Он показал кукиш. — А куда мука девается? Может, ее Вытман сам жрет? Нет! По вольным ценам продает, людей грабит. Зерно у мужика купить нельзя — закон. А муку продавать за сколько Вытман хочет — можно, закон. Шкуру драть — закон. Бастовать надо. Нас законом военного времени не испугаешь.

На штабели мешков с мукой легко вскочил Капелюхин.

Тима сразу же узнал его и шепнул Якову:

— Это мой знакомый.

— Подумаешь, тут с ним все знакомые, — отмахнулся Яков, — не мешай слушать.

— Товарищи! — крикнул Капелюхин. — Долой войну! Долой тех, кому она нужна! Революция, которую совершил пролетариат, находится в опасности. У власти те же капиталисты. Они установили сейчас военную диктатуру и хотят задавить революцию...

В ворота мельницы быстро вошел взвод школы прапорщиков. Бородатый офицер с Георгиевским крестом на груди снял фуражку, вытер платком лоб и сказал укоризненно:

— Что же это вы, пролетариат, порядки нарушаете? Запрещены теперь митинги и прочие разные сборища. Поскольку революция закончилась и так далее...

И, вытаращив табачного цвета глаза, налившись багровой кровью, зычно крикнул:

— Разойдись!..

Но никто из рабочих не двинулся с места. Потом толпа стала медленно и грозно сжиматься вокруг юнкеров.

Офицер тревожно оглянулся на усмехающегося Капелюхина и предупредил:

— У меня, знаете, приказ, вплоть до крайних мер! В Петербурге уже снова спокойненько вашего брата за подобное стреляют.

Высокий худой рабочий с бледным лицом тянул к себе винтовку из рук юнкера и, задыхаясь от злобы, требовал:

— А ну, покажи инструмент! Может, он у тебя испорченный? Я — механик, починю. А завтра ты за ним придешь спозаранку.

Капелюхин поднял руку и произнес отчетливо своим могучим голосом:

— Ну что же, товарищи, вы видите, мы, большевики, правы. Буржуазия, терпя поражение в преступной войне с Германией, идет в наступление на рабочий класс.

Потом он вдруг нагнулся и, показав пальцем на юнкера с длинной, как кишка, шеей, спросил насмешливо:

— А позвольте узнать, где это находятся Дарданеллы?

Юнкер вздрогнул от неожиданности и вопрошающе уставился на офицера.

— Не знает,— небрежно заявил Капелюхин,— а тоже за проливы воевать собирается... Впрочем, виноват,— и осведомился у того же юнкера: — Вы, кажется, племянник «Кобрин с сыновьями»? — Обращаясь к рабочим, сказал с усмешкой: — Ну, этот знает, за что воевать. Чтобы кобринская фирма до полной победы над супостатами могла валенки из гнилой шерсти пополам с глиной военному ведомству сбывать... На этом пока смирненько разойдемся.

Легко прыгнув на землю, Капелюхин пошел к выходу, плотно окруженный рабочими.

— Вот врезал меж бровей! — восхищенно бормотал Яков. — Сразу видать: главный революционер, — и грустно сообщил: — Отец у меня никудышный от самогона стал. Никто карателей на партизан вести не хочет, а он взялся. А все кто? Она, водка. Недаром ее люди царской называют. — Помолчал, тряхнул черной кудлатой головой и заявил бодро: — С мукóй сорвалось, нужно бы рыбки раздобыть на ужин. Видал, что достал? — И Яков хвастливо показал залубеневшую бурую тряпку с поблескивавшими, как изморозь, кристалликами соли. — В бочке нашел. Выварим в котелке, солонá уха будет.

Мальчики долго шагали вдоль берега реки. Уже смеркалось, когда они добрались до затона, принадлежавшего неводчикам Крупенниковым.

Здесь, за оградой из тальникового плетня, были выкопаны огромные садки — квадратные ямы, кишасщие рыбой.

Обычно садки заполнялись рыбой с осени, потом, когда

наступала зима, рыбу выбрасывали из проруби на лед и, замороженную, отправляли обозами.

Перебравшись через плетень, мальчики подошли к яме с черной, затхлой водой. Почти вся поверхность была покрыта плотным слоем всплывшей вверх брюхом задохшейся рыбы. Но этот слой мертвой рыбы шевелился. Об него бились тысячи еще живых.

Мальчики склонились над водой, испытывая одинаковое чувство жалости.

— За что ее так мучают? — спросил Тима.

— За то, что цены слабые были зимой. Вот Крупенниковы и придержали товар.

— Да она же дохлая!

— А им что? Если народ сильно оголодает, съедят и тухлую. Крупенниковы понимают. Они, значит, все равно свою цену возьмут.

— Давай спасем ее.

— А как?

— Пророем канаву к реке, и все.

Почти до захода солнца они копали найденными на берегу досками канаву от садка к реке. И когда в потоке тухлой воды вялая рыба стала медленно выходить в реку, мальчики почувствовали себя счастливыми.

Спустившись в реку, рыбы так широко разевали белые пасти, заглатывая чистую воду, что казалось, они измучены жаждой.

Тима, облизывая сухие губы и делая глотательные движения, произнес печально:

— Рыба, она все-таки глупая. Вот если так собаку спасти, она бы на всю жизнь помнила, кто ее выручил.

Усталые и довольные, мальчики брели обратно и только у самой хижины бакенщика вспомнили, что ничего с собой для ухи не прихватили.

— Ладно, — сказал Яков. — Такую замученную и есть неохота. Возьмем у Еремея бредень, пройдемся по-над берегом, чего-нибудь подцепим.

Сварив уху из мелких окуньков и пескарей, наскоро похлебав ее, мальчики забрались в облас и отплыли от берега.

Тима сидел на корме и греб доской; бакенщик больше дорожил новым веслом, чем старым обласом, который назывался также душегубкой. Рассохшийся, толсто законпаченный паклей, изъеденный древоточцами, облас давно потерял какую-либо ценность. Обычно такие старые, пришедшие в ветхость долбленные из дерева лодки использова-

ли вместо колод для корма скота. Но другой лодки у Еремея не было. Когда-то у него была крепкая завозня, хорошо просмоленная, но ее года два назад в тумане разбил буксирный пароход.

Облас легко и податливо скользил, сочно чмокая по воде носом. На стремнине вздымались скользкие волны, и вода была упругой от могучего и быстрого течения. Здесь глубоко ввинчивались в реку блуждающие воронки водоворотов, и волны, набегая друг на друга, сшибались в водяную пыль.

Подхваченный на стремнине облас, несмотря на все усилия Тимы, стало крутить. Опираясь о борт доской, он силился выправить облас, несколько раз зачерпнул бортом воду и даже, теряя равновесие, чуть было не опрокинул лодку. Но только когда вырвались из стремнины, Яков сказал:

— Нужно было наискосок резать.

— А я как?

— А ты напоперек.

— Чего ж ты молчал?

— Под руку говорить не по-рыбацки.

— А если бы перевернулись?

— Ныряй поглубже, чтобы под низом крутоверть пройти. Тогда не затянет.

— Страшно.

— Кому неохота утоплым быть, тому нырять надо.

Тучи разверзлись, и из них вывалилась тяжелая желтая луна. Луна то появлялась из-за туч, то снова исчезала в их бездне. И река то освещалась серебристым, чешуйчатым блеском, то глянцевито мерцала угрюмым, почти угольным цветом.

В заводи, далеко врезавшейся в обрывистый берег, стояла вязкая тишина. Здесь укрощенная вода мирно, почти недвижимо отстаивалась в глубоком омуте.

Было таинственно, страшно, одиноко.

Казалось, безмерная глубина омута неслышно всасывает в себя и темные громады туч, и круглую гладкую луну, и даже таежные чащи, плавающие у берегов плоским отражением.

Яков, лежа на носу обласа, внимательно вглядывался в гляцевитую воду.

— Есть! — произнес он придушенным голосом. — Стоп машина! — Пошарив в кармане, вытащил коробок, зажег спичку, подпалил берестяной свиток и сунул его под низ проволочной корзины, подвешенной на носу обласа и набитой доверху сухими сосновыми сучьями.

Костерчик вспыхнул, и вдруг непроницаемая тьма накрыла облас, словно на него опустился огромный колокол. И ничего не было видно, кроме пылающего костра и этого плотного, близко подступившего к самому лицу, густого, почти осязаемого черного мрака.

Но когда Тима наклонился и поглядел в воду, освещенную костром, он увидел под собой словно глубокий прозрачный колодец, и из глубины колодца на него глядела страшная волосатая оскаленная морда. Тима отшатнулся в ужасе. Но Яков хвастливо спросил:

— Ничего пропастинка? Я ее прошлой ночью привез. Сначала коротко подвязал, два раза пырял, пока поправил, теперь в самый раз — на аршин под водой. И камень тяжелый выбрал, чтобы течением не спесло. Я эту собаку удохшую за пристанью нашел. Видать, рыбой гнилой отравилась.

Почему-то ребята считали: сомы идут не на свет костра, а на запах вонючей падали.

— Они человеческих покойников сосут, — прошептал Яков. — Поганая рыба. Но красотища в ней и сила, как у жеребца. Лягнет хвостом, дух может выбить. Когда сом в океан уходит, у него с соленой воды аппетит. Все жрет. С кита становится, только клыков нет.

— У китов клыков не бывает, — заметил Тима.

— Может, скажешь, и у моржов их нет? — ехидно спросил Яков и вдруг, подняв кулачок, угрожающе потряс им.

Через освещенный круг прошла щука с волчьей длинной головой и скрылась. Яков снова сделал страшные глаза и плашмя растянулся на носу обласа, свесив с борта голову и почти касаясь лицом воды.

— Сом идет! — замирающим от почтения голосом прошептал Яков.

В освещенном прозрачном колодце показалась склизкая, широкая, приплюснутая голова с белыми шевелящимися, словно червяки, усами. Огромные, грузные плавники колыхались по бокам рыбы. Свиные глазки вопрошающе мерцали из глубины.

— Вот это рыба-конь! — восхищенно простонал Яков.

Вдруг сом раскрыл пасть и будто рывкнул под водой. От движения его каменно-осклизлой головы поверхность воды дрогнула. Сом ударил по воде растопыренными плавниками и исчез.

Яков плюнул в прозрачный круг воды и заявил сердито:

— Не хочет. А мы же к нему без вреда. Вот дурак рыба! Пошли обратно, что ли?

Теперь Яков сел на корму и сильными, короткими движениями гнал облак наискосок стремнине.

Луна совсем провалилась в бездну неба, и угрюмые, взъерошенные тучи низко свисали над водой. Над тайгой неслышно вспыхивала ветвистая молния и гасла в сырых тучах. Потом пошел тяжелый и мерный дождь, шлепая по воде так, словно кто-то ходил по ней легкой птичьей поступью.

На берегу Тиму ждал Ян Витол. С его круглого лица стекали струйки воды, рубаха плотно прилипла к могучей груди. Он жалобно повторял:

— Как можно так волновать? Я уже хотел плавать, хотя б найти твой мертвый труп. Скажи, как сильнее всего наказывали тебя родители? Я должен над тобой сделать то же самое.

Ян привел Тиму домой, раздел, долго тер ему спину и грудь жестким полотенцем, потом заставил вышить касторку, утверждая, что чем у человека меньше плохого внутри, тем этому человеку лучше.

Всю ночь Ян не спал. Он подходил к постели, клал на лоб Тимы огромную ладонь, потом прикладывал ладонь к своему лбу и огорченно шептал:

— У меня очень грубая кожа, она ничего не понимает.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Время от времени Витол вынужден был отлучаться из дому на несколько дней; в таких случаях он отводил Тиму к кому-нибудь из своих знакомых.

В поречных улочках города жили татары, вернее, татарская ремесленная и промысловая беднота. Мануфактурщики, пушноторговцы, такие богачи, как Юносовы, Мамедовы, выстроили себе на главной улице приземистые двухэтажные кирпичные особняки.

Когда Витол привел Тиму к Мустафе Мурзаеву, тот сидел на кошке, скрестив ноги, и, шевеля от удовольствия пальцами в толстых белых шерстяных носках, пил чай из самодельного жестяного самовара с грубо припаянным медным водопроводным краном и фарфоровыми роликами на крышке.

Мустафа скорняжничал, брат его Али был жестянщик, зять Файзула промышлял в тайге охотой. Три семьи жили

в одной комнате. За ситцевой занавеской — женская половина. Ни стульев, ни стола, только кошмы на полу и несколько красных подушек у стены. По кошмам ползают голые пузатые черноглазые ребятишки с лиловыми, гладко выбритыми головами. Кто постарше, — в серых из суровья рубашках, надетых на голое тело.

— Салям! — сказал Ян, прикладывая ладонь ко лбу, а потом к груди.

— Здорово! — сказал Мустафа и, не поворачивая головы, приказал: — Эй, женщины, принесите из сарая табуретку гостю!

Но Ян сел на кошму и руками подогнул под себя ноги.

— Пусть счастье будет твоим всегдашним гостем! — заявил торжественно Ян.

Мустафа лукаво усмехнулся и спросил:

— А кошке ты как говоришь — мяу? А собачке — гав-гав? А корове — му? Давай дело!

— Мальчик поживет у тебя недельку.

— Пусть живет...

Женщина принесла медный поднос с жареным мясом и поставила к ногам Яна.

— Маханина ¹, — сказал Мустафа.

Ян взял с подноса щепоть мяса и стал медленно жевать.

— В мечети муфтий говорил: прапорщик Юносов из правоверных охранную роту собирает.

— Ну? — спросил Ян.

— Четверо записались.

— Немного.

— Мулла тоже сказал: мало... Из Гасандая шестнадцать татарских мужиков в рабочую дружину ушли.

— Кто сказал?

— Файзула. Он тоже в дружину хочет.

— Я поговорю с ним.

— Ступай, он в сарае. С утра тебя ждет...

Тима знал: когда родители говорили ему строго и озабоченно: «об этом разговаривать ни с кем нельзя», или «если встретишь где-нибудь знакомого, который заходит к нам поздно вечером, не смей ни подходить к нему, ни здороваться», или приказывали: «пойди-ка на улицу и побудь там, пока тебя не позовут, а если увидишь, возле дома гуляет человек, возвращайся немедленно», — все это нужно было

¹ Конское мясо.

выполнять беспрекословно. И почему так нужно, спрашивать не разрешают. Все равно ответят одними и теми же словами: «Так надо».

И Тима догадывался, что это «так надо» повелевает и папой, и мамой, и всеми, с кем они работают для революции.

Поэтому, как ни грустно ему было теперь расстаться с Яном, он покорился неизбежному. Зачем ждать, чтобы Ян произнес в ответ эти неумолимые слова — «так надо»?

Но все-таки Тиме казалось жестоким, что его оставляют у этих людей.

У них здесь все по-своему, и им, может быть, не очень приятно, что русский мальчик будет жить у них. Кроме того, и без Тимы здесь еще пятеро ребят, и видно, как бедно они все живут.

А тут еще Тима со стыдом вспомнил, как он с Яковым дразнил старика татарина — старьевщика: «Алла, мулла кошку родила», — и загибал из подола рубахи свиное ухо. И старик гнался за ними по двору с палкой.

Разговаривая с Яном, Мустафа ни разу не взглянул на Тиму, а ребяташки тревожно посматривали на него черными глазами, прячась за занавеску.

Но все произошло удивительно легко и просто. Маленький Абдула подошел к отцу и стал канючить что-то по-татарски.

Мустафа строго сказал сыну по-русски:

— Спроси старшего брата! — и кивнул головой на Тиму.

Медленно, с трудом выговаривая слова, Абдула попросил Тиму:

— Братка! Ножик взять можно, лодку стругать?

Тима вопросительно взглянул на Мустафу и сказал:

— Можно.

И тут же Мурзаев приказал Тиме:

— Вели женщинам обед готовить!

Когда Тима вышел из женской половины, Мустафа, сортируя беличьи шкурки, стал с ним советоваться, какие пустить на шитье шубы, а какие на одеяла.

Распялив на пальцах шкурку, Мустафа говорил огорченно:

— Видать, в хребет дробинки попали. Не охотник — баба била. — Поглаживая бережно ворс на другой шкурке, объяснял: — Эта из кедровника, на сладких орешках росла. Правильно думаешь, на шубу ее.

Тиме было очень приятно, что все семейство Мурзаевых

говорило в его присутствии по-русски. Когда он, возвращаясь с улицы, подходил к двери, он слышал, как в комнате говорили по-татарски, но стоило ему войти, даже бабка Фатьма, которой тяжелее всех давался чужой язык, тотчас начинала говорить по-русски.

И еще, когда Мурзаевы увидели, что Тима не умеет аккуратно, как они все, брать пищу руками с большого медного подноса, Мустафа купил вилки, и Тиме предоставили право обучать малышей, как нужно обращаться с вилкой.

А Савич, хоть и желал, может быть, ему добра, а все же обидно при всех, свысока поучал Тиму правилам поведения за столом.

Вся семья Мустафы, вплоть до самых маленьких ребятишек, работала с раннего утра до захода солнца.

Тима научился скоблить распяленные мехом внутрь шкурки деревянными дощечками, очищая с мездры присохшее сало, нушить мех веревочной тетивой и выщипывать жесткую ость из песцовых, куньих и хорьковых шкурок.

Мустафа гладко обрил Тиме голову, и Тима тоже ходил, как и все здесь, в длинной рубахе из суровья, надетой прямо на голое тело. Ел из медного таза, а на ночь мылся, поливая себе из кувшина с длинным, красиво изогнутым носиком. Спал он на кошке вповалку с ребятишками, а бабка Фатьма из уважения к гостю рассказывала им по-русски татарские сказки.

Файзула, разминая тяжелые волчьи шкуры такими же мускулистыми, как у Яна, руками, сладко жмурясь, говорил:

— Православные, правоверные, буддисты, иудеи, староверы, язычники, инородцы... Разве так людей делят? Очень богатый, просто богатый, бедный, совсем бедный — это правильно. Яп — неизвестного народа человек, нет такого народа в Сибири, свинину любит, а мне единоведец. Очень смешно получается.

В мечеть Мустафа ходил редко. Но стихи из Корана знал наизусть и читал их каждый день нараспев, закатывая от наслаждения глаза и прищелкивая языком, будто проглатывал что-то вкусное.

Тима подружился с Зихой. Тоненькая, быстрая, с сияющими, как отшлифованные угольки, глазами и смуглым, как кедровый орешек, личиком, она называла Тиму кунаком. Хватала для него с подноса лучшие куски, сливала ему воду на руки из медного кувшина с длинным носиком

и вытирала их полотенцем, будто он сам этого не умел делать. Мустафа смеялся.

— Готовь калым, покупай невесту. Пока не жирная, дешево продам.

— А вы ее кому-нибудь правда продать можете? — тревожно спрашивал Тима.

— Моя дочь, мой товар, кому хочу, тому продам.

— Вы не смеете так говорить! — сердился Тима.

Когда через неделю Витол зашел за Тимой, Зиха увела Тиму в сарай, надрезала себе и ему палец ножом, приложив ранку к ранке, сказала шепотом:

— Мы теперь с тобой кровные. Ты не боишься?

— Нет, — мужественно сказал Тима, хотя его всегда мутило от вида крови.

А вскоре Витол отвел Тиму к другому своему приятелю.

— Я давно вас знаю, — сказал Тима дружелюбно Осипу Давыдовичу. — Вы жулик.

Изаксон снял очки, вопросительно посмотрел на Тиму карими усталыми глазами, потом снова надел очки, склонился у верстачка и стал царапать стальной иглой медную пластинку.

Тима с увлечением листал альбом старинных гравюр. Кладя альбом на стол, Осип Давыдович строго предупредил:

— Мальчик, это — сокровище. Пальцы слюнуть нельзя. — Помолчав, Изаксон сказал печально: — Приходит ребенок и говорит взрослому человеку: «Вы жулик». Странно.

Тима повернулся и объяснил:

— Вы же фальшивые паспорта делали. Папа считал, что даже лучше настоящих.

— Твой папа — очень хороший человек. Но говорить подобное при ребенке, — Осип Давыдович пожал острыми плечами, — неблагоприятно.

— Я не ребенок.

— Извините. Я не заметил, вы сбрили усы и бороду.

Изаксон аккуратно записал все, что ему наказал Витол для гигиенического воспитания Тимы. Он тоже будил Тиму в пять часов утра, открывал форточку и, накинув поверх нижнего белья пальто, хлопая в сухие ладони, отсчитывал сонным голосом: «Ать и два, три, четыре, пять».

Тима и здесь должен был проделывать комплекс гимнастических упражнений по Мюллеру. Потом Осип Давыдо-

вич окатывал Тиму водой и, заглянув в расписание, наливал полную столовую ложку рыбьего жира. Просил умоляюще:

— Мальчик, глотай быстрее, а то у меня кишки выворачиваются.

За завтраком говорил:

— Пищу нужно тщательно пережевывать, пока у тебя свои, а не вставные зубы.

Потом Тима писал диктант, решал задачки. Когда Тима не мог решить, Изаксон ядовито спрашивал:

— Ах, вы не Лобачевский? Вы мальчик, которому достаточно на руках его десяти пальцев, чтобы при их помощи все вычислять.

Ночью Изаксон работал в кладовке, закрыв дверцу на крючок. Как-то Тима спросил:

— Вы фальшивые деньги тоже делаете?

Осип Давыдович взял Тиму за плечо, привел его в кладовку, снял с полки эмалированную ванночку, вынул из нее цинковую пластинку, спросил:

— Ты знаешь, кто это?

Тима увидел на пластинке лицо человека с выпуклым лбом, с прищуренными внимательными глазами, чуть приподнятую верхнюю губу обрамляли короткие усы, сливающиеся с острой бородкой.

— Это Ленин,— сказал Изаксон и опустил пластинку снова в воду.

— Но почему вы прячете его портрет?

— Я прячу? Я его делаю, я достаю шрифты и делаю клише для тех, которые хотят, чтобы все люди стали равны, как братья и сестры, чтобы богатый не пихал штиблетом в морду того, кто трудится, чтобы ни один человек не поднимал руку на другого человека.

Благоговейно переворачивая листы старинных гравюр, Осип Давыдович говорил Тиме:

— Человек рождается с чувством красоты. Человек ищет красоту и любит красоту, красота — это гармония. Но даже если снять восковую маску с лица самого прекрасного человека, она хотя и отпечатает все черты его лица, но не сможет передать душу человека. Искусство должно служить самому прекрасному, к чему устремляется человек.

— Ну что же здесь красивого? — спрашивал Тима, разглядывая гравюру, на которой была изображена согбенная под вязанкой хвороста старуха в рубище, бредущая босиком по лужам.

— Правда,— взволнованно шептал Изаксон,— правда!

Она будит чувство протеста, борьбы. Это великая миссия искусства. И это искусство красиво, как красив бесстрашный герой!

— А вы герой?

— Кто, я? Герой? Хэ! У тебя, мальчик, появился юмор.

— А Ян?

— Ян работает на революцию.

— Значит, сапоги тоже нужны революции.

— Сапоги — это борода Яна.

— Какая борода?

— Ложись спать, мальчик, у меня от тебя уже заболела голова.

Осип Давыдович заглядывал в расписание и, загибая пальцы, перечислял:

— Рыбий жир пили, зубы чистили, диктант, задачки, форточка, еще раз форточка. Желёзки... Какие желёзки? Ах да, нормальные! Спать на жестком. Конфет не давать — в зубе дырка. Сводить к дантисту ребенка не могли! Спартак из него делают...

Иногда Ян «сдавал на хранение» Тиму также Егору Косначеву.

Маленький, лысоватый, всегда в состоянии возбуждения, готовый мгновенно предаться крайнему восторгу и тут же впасть в шумное отчаяние, Егор Косначев был тем человеком, из которого Рыжиков вознамерился воспитать боевого фельетониста.

Вся комнатуха Косначева была завалена книгами. Ложась спать, он сбрасывал со своей койки только часть их и так спал — в книгах. Страдая бессонницей, он читал ночью при свете коптилки. Когда книга ему не нравилась или что-нибудь в ней вызывало возмущение, он швырял ее в угол, пошарив рукой на койке, брал другую. Иногда он вдруг начинал умиленно читать вслух.

Он вдруг будил Тиму среди ночи и говорил:

— Послушай! Как это великолепно сказано о человеке!.. — И самозабвенно читал про себя, только выкрикивая отдельные фразы, особенно поражавшие его.

Расписание дня, которое вручил ему Витол, чтобы рационально воспитывать Тиму, Косначев затерял где-то в своих бумагах в первый же день.

Он сказал Тиме:

— Если ты будешь испытывать потребность в еде, хлеб всегда на подоконнике.

Умывался он из таза, и то ночью, объясняя, что делает это главным образом для того, чтобы освежить голову.

Молоко он называл секретом молочной железы, а яйца ел сырыми, считая, что это наиболее идеальная пища для людей умственного труда. Зарабатывал он на жизнь изготовлением вывесок, наклеивая на жесть мозаичные буквы из кусочков зеркального стекла. Эти вывески ярко блестели и пользовались успехом. Но заказы он выполнял так неаккуратно и так не любил эту свою работу, что жил всегда впроголодь. Фельетон он писал обычно в трех вариантах: один прозой, другой в духе раешника, третий для себя — торжественным белым стихом.

Рыжикова он за глаза называл деспотом и мучителем за то, что тот беспощадно редактировал его фельетоны.

Большевицкий листок «Революционное знамя» издавался теперь подпольно. Материал для газеты принимался то в одном месте, то в другом. Отправляясь сдавать материал, Косначев приказывал Тиме идти за ним несколько позади, по другой стороне улицы, и следить, нет ли за ними «хвоста». Потом Тима шел впереди, а Косначев сзади. Так, меняясь, они долго кружили по переулкам, чтобы потом быстро нырнуть в ту калитку, куда следовало.

Пока Рыжиков читал, Косначев ходил вокруг него на цыпочках, лицо выражало такое страдание, словно у фельетониста невыносимо болел зуб.

При каждом движении карандаша Рыжикова, вычеркивающего строки, а то и целые абзацы, Косначев вздрагивал, закатывая глаза, хватал себя за голову, угрожающе шептал:

— Я молчу, я молчу, но мы еще поговорим.

Потом он брал со стола выправленную рукопись, подносил ее к самому носу, брссал на стол с отвращением и заявлял в отчаянии:

— Меня здесь нет! — наклонившись к Рыжикову, злоеце шептал: — Я убью тебя сейчас одной только фразой!

— Давай! — спокойно кивал Рыжиков.

— Литературное дело не поддается нивелировке...

— Правильно! — соглашался Рыжиков. — Вот мы и стараемся освободить твои мысли от старинной пестрой словесной шелухи, которая нивелирует твою индивидуальность.

— Я стараюсь найти новый стиль языка революции, — гордо говорил Косначев.

— Не там ты его ищешь, — сухо замечал Рыжиков. — Вот у Щедрина не слова, а кинжалы.

— Щедрин писал длинными фразами, а я борюсь за

короткую строку. Каждое слово должно быть вызовом, неотразимым ударом.

— Нам не в барабан стучать, а толково, понятно и, конечно, коротко объяснять народу, что происходит и что нужно делать.

— Значит, писать одними лозунгами?

— Зачем же крайности?.. Вот прочти заметку, написал столяр: «Вчера наша мастерская сдала двести штук ружей, соструганных из березовых плах, для занятий новобранцев. Спрашивается, почему мы делаем теперь не приклады для винтовок, а эти фальшивые ружьишки? А потому: правительство боится давать новобранцу настоящее ружье, чтобы он его тут же против него не обернул. Народ войны не хочет, а хочет против войны драться. Вот что это значит». Что, хлестко? И хлестко и умно! Ты побольше ходи к людям, слушай, что говорят, знай, что они делают, а ты даже спишь в книгах. А книги — они, как ни говори, зеркало прошлого.

— Не согласен! — восклицал Коспачев.

— Ну ладно, ладно, — примирительно говорил Рыжиков. — Я ведь сам книжник.

Во время таких посещений Тима виделся с мамой. Она сильно похудела, глаза глубоко впали, ногти запачканы типографской краской. Она жадно трогала Тиму руками, словно слепая, ощупывала его лицо, голову, плечи и растерянно спрашивала:

— Я забыла, хотела тебя спросить о чем-то важном. Да, ты не пьешь сырой воды? Сейчас эпидемия брюшного тифа.

Но по молящим, тоскующим глазам мамы Тима понимал, что не об этом она хотела у него спросить, и он, задерживая ее ладони на своем лице, шептал:

— Ты мне очень часто во сне снишься! В таком белом платье. Помнишь, папа называл тебя за него нашей черемушкой?

— Папа сейчас в тайге, в партизанском госпитале.

— Пусть он мне кедровых шишек привезет!

Про кедровые шишки Тима сказал только для того, чтобы показать, что не беспокоится о папе и чтобы мама тоже не беспокоилась.

Потом мама доставала холодные картофельные котлеты и говорила:

— Кушай, сыночек.

Хотя Тиме совсем не хотелось есть, он ел холодные картофельные котлеты, жаренные на постном масле, ел, чтобы доставить удовольствие маме.

Но когда мама однажды спросила встревоженно:

— Значит, ты плохо питаешься, если такой голодный? — Тима растерянно перестал жевать и честно сознался:

— Мы с Косначевым когда хотим, тогда кушаем, даже ночью кушаем. Я все время очень сытый. А чего ты на меня все смотришь такими странными глазами?

Мама смутилась, виски у нее порозовели, и она сказала, опуская глаза:

— Ты мне снишься, но не таким, какой ты сейчас, а совсем маленьким, когда грудным был. И снится мне, что молоко у меня пропало.

— Я помню, ты рассказывала: когда папу снова в тюрьму посадили, оно у тебя высохло. Да? — Потом обиженно спросил: — А почему же я все-таки тебе настоящим не снюсь?

— Не знаю, — печально сказала мама. — Я даже помню, как пахнут твои волосы.

— И я тоже всегда помню, как твои волосы пахнут. Дай я еще на память понюхаю. Знаешь, мамочка, чего бы я больше всего на свете хотел? Стать совсем-совсем маленьким, вроде как мальчик с пальчик, тогда бы ты всегда меня везде при себе держала и я бы тебе никогда не мешал.

— И я бы этого очень хотела.

— Мама, а может, можно?

— Нет, нет, Тима, — даже отшатнувшись, произнесла испуганно мама, — этого никак нельзя. Ты уже большой, ты же понимаешь, почему нельзя.

— Я буду с тобой все время в подвале сидеть.

— Нет, Тима, нет, — и, слабо улыбаясь, пообещала: — Подожди немного, скоро мы будем всегда и везде все вместе — папа, ты и я.

— Скорей бы! — просил Тима. — А то уж очень вы чего-то медленно это свое дело делаете. И газетка у вас смешная, малюсенькая. А «Северной жизнью» весь стол накрыть можно, и всегда там картинки. Один раз очень здорово вас изобразили: боярышня — Россия, она меж колен мальчишку зажала — это вы, и венником вас порет. Я посмотрел и чуть не заплакал, до чего же обидно, что вас так рисуют! Не скоро, значит, нам еще вместе...

— А если ты еще глупый, так нечего глупые картинки смотреть, — обиделась мама.

Каждый раз, прощаясь с Тимой, мама, прижимая его к себе, закрывала глаза и гладила долго и потом, вдруг оттолкнув, говорила сердито:

— Ну, ступай и, прошу, не надоедай товарищам, что ты соскучился, ты уж не маленький.

Как-то Витол ни с того ни с сего несколько раз провел Тиму мимо одноэтажного домишки, на самой окраине города. И когда Тима случайно оглянулся, он заметил, что кто-то отшатнулся от окна, и только по мелькнувшему краску рукава кофточки он догадался, что это была мама.

Однажды — Яна не было дома, и Тима, сидя на туеске, возился с обрезками кожи, стараясь постигнуть сапожное ремесло, — в каморку вошел человек, цепкими глазами оглядел Тиму и спросил:

— Витол дома?

— Нет, — сказал Тима и, в свою очередь, очень внимательно оглядел человека. Он заметил на нем армейские сапоги, галифе с кантами, рубаху сатиновую, новую, по словно с чужого плеча.

— А вы кто будете?

— Скажешь, из комитета приходили.

— Из какого комитета?

— А ты дурачка не валяй — знаешь.

И человек ушел, сердито хлопнув дверью.

Тима рассказал Витолу об этом странном посещении. Ведь никто из комитетских никогда даже не произносит слово «комитет», а говорит «из дома» или «оттуда».

Ян долго смущенно тер ладонью свою круглую, гладко стриженную голову, потом сказал:

— По-видимому, что-то почуяли. М-да... Придется тебе, наверно, дружок, побыть некоторое время одному.

— Как одному, совсем одному?

— Не совсем, но, понимаешь, придется тебя подальше пристроить... А то заберут меня врасплох, куда ты денешься?

В тот же день к Тиме пришел Яша Чуркин. Его черные, обычно веселые, злые глаза были печально тусклы. Он сказал сипло:

— Отца в тюрьму забрали. Он пароход об отмель треснул, когда карателей вез. — И с гордостью пояснил: — Совсем трезвый был, — значит, нарочно. Говорят, расстреляют. Мне с ним свидание дали через проволочную решетку, а он только смеется, подмигивает, спрашивает, будто хвастает: «Видал, Яшка, каков старикашка? А ты думал, я не аккуратный, запойный». Завтра Елизариха поведет меня в приют определяться. Усыновить она меня желает, но я не дался, хоть она и говорит, что моему отцу

жена. Отец так и сказал: либо в сыновья к Елизарихе, либо в приют, а так, вольно, жить не позволил...

В городе было два четырехэтажных здания: тюрьма и сиротский дом.

Тюрьма находилась в центре, напротив городского сада, приют — на окраине, там, где сеной базар. Сиротский дом был построен на средства золотопромышленника Мачухина, «первого сибирского патриота», как его величали в газете «Северная жизнь». Старинная городская тюрьма считалась самой капитальной в Сибири, и поэтому Мачухин, будучи патриотом, поручил строить приютский дом сыну того архитектора, который в дни своей юности построил городскую тюрьму. Почитая память родителя, сын выстроил приют, взяв за образец тюремное здание. Только сиротский дом был значительно меньшего размера.

Мачухин считался просвещенным человеком и либералом. Он жил на Миллионной улице в деревянном флигеле, на крыше которого был водружен большой стеклянный глобус. По воскресеньям внутри этого глобуса горела лампа.

Глядя на пузатый светящийся шар, все прохожие могли очень хорошо видеть, как много места занимает Сибирь на земле. В этом легко было убедиться, так как вся остальная суша была закрашена охрой, и только Сибирь сияла прелестным зеленым светом. Над воротами мачухинского дома был прибит доморощенный герб Сибири — медведь и собо́ль, держащие щит, задрапированный горностаевой мантией.

Дворником у Мачухина служил бывший каторжник Леонтьев. Мачухин говорил о нем с восхищением:

— Матерый душегубище!

Некоторые высказывали почтительное опасение:

— Не прирезал бы он вас ночью, Прокофий Гаврилович.

— Нисколько. Я и не таких обламывал. Он меня трепещет...

Мачухин владел также книжной лавкой. Он сидел там всегда в деревянном кресле перед прилавком, огромный, одутловатый, сизолицый, широко расставив толстые ноги в войлочных ботиках. Над головой у него висел портрет Потанина¹.

Прежде чем подойти к прилавку, каждый школьник был обязан показать Мачухину кондуит. Если отметки

¹ Г. Н. П о т а н и н — известный путешественник-этнограф, уроженец Сибири.

были хорошие, Мачухин дарил переводную картинку и приносил при этом всегда одно и то же:

— Вот тебе презент, сибирячок, — наука юношей питает!

Здесь же, в книжной лавке, он принимал своих приисковых приказчиков и кричал на них зычным, страшным голосом:

— Натолкли тебе в добычу колчедана, уворовали золотишко! — И выплескивал на валенки приказчика серную кислоту из блюдца, где он производил пробу золота.

В городской думе Мачухин выступил с предложением просить у Керенского, «поскольку теперь свобода», полную автономию Сибири. Тех, кто робко пытался ему возразить, он обозвал «залетными чижиками».

На пасху и рождество Мачухин устраивал в здании городской управы выставку ремесленных изделий, сработанных воспитанниками приюта. Посетителей привлекали сюда не добротные столы и скамьи из твердотелой лиственницы, не многопудовые амбарные замки и петли и прочие скобяные изделия, а настоящие произведения искусства: тончайшая резьба по дереву, точенные из папльвов березы ковши, братины, вырезанные из глыб алебаstra вазы, затейливые орнаменты из бересты.

Принимая поздравления и ликуя так, словно все выставленное здесь на обозрение он сделал собственными руками, Мачухин лучшие вещи подносил власть имущим, хотя давно уже сиротский дом существовал на средства городской управы.

Никто из посетителей не удивлялся, что на выставке ремесленных изделий нет тех, кто эти изделия сработал. Изделия были безыменные. Никто не спрашивал, как зовут того мальчика, который так дивно вырезал из кедрового корневища тетерева, отбивающегося от лисы, или того искусника, который, словно кружевом, накрыл тонким узором большой деревянный поставец.

Но когда однажды Пичугин сказал: «Замки бы я не велел им делать, — пока они сами взаперти сидят, замки делают, а выйдут наружу, начнут чужие замки раскрывать, поскольку механику постигли, опасно это для общества», — все одобрительно отнеслись к его словам.

Воспитателями в приют Мачухин брал обычно бывших тюремных надзирателей, выслуживших пенсию на прежней службе.

Но в чем он проявлял себя воистину либералом, так это в подборе учителей, обучающих ремеслу. Так, он привел из затона побывавшего под судом слесаря Долгополова. Во-

преки желанию властей, он взял учителем резьбы по дереву бывшего ссыльного Кучумова. Запойный пьяница, краснодеревщик Ангелов обучал сирот столярному делу.

Славился в городе и приютский хор. Приютские пели в домовй церкви Золотарева, а также на квартирах у именитых граждан. Регент хора Мефодий Жохров жаловался:

— В просвещенной Европе, а именно в Ватикане, с соизволения самого римского папы лучших дискантов мальчикового хора холостят, дабы сохранить прелесть голоса. А у нас обучишь, истратишь на него силы, а он уже верха потерял невозвратно. И ничего поделать нельзя. Живем в дикой стране, полной предрассудков.

Перед выступлением хора Мефодий сам пудрил лица мальчикам, чтобы скрыть следы рукоприкладства. Зимой хористов возили из приюта в розвальнях, закрыв с головой кошмами, чтобы не простудили горло. Летом они шли попарно, держась за руки, и все разом снимали холщовые серые фуражки, поравнявшись с махухинским домом или зданием городской управы. Когда по улице проходил приютский хор, вольные ребята выскакивали из ворот и кричали:

— Херувимы, пудренные рожи!

Когда же зимой, в сумерки, приютские шли посредине дороги в баню, по четыре в ряд, в рваных валяных бахилках и рыжих, похожих на арестантские халаты азиях из деревенского домотканого сукна, никто не рисковал попадаться им навстречу. Приютским ничего не стоило втащить зазевавшегося паренька в свою шеренгу, на ходу поколотить и еще унести с собой его шапку и рукавицы, иногда даже валенки.

Как-то летом на заднем дворе дома, где жил Тима, воспитатели поймали убежавшего из приюта мальчика. Он несколько дней скрывался в бурьяне, питаясь кочерыжками лопуха. Тима хорошо помнил, как тащили воспитатели мальчика за руки и за ноги к телеге, стараясь ударять его коленями. А мальчик, дергаясь, извиваясь, яростно кричал:

— Отпустите, каты, все равно стеклом зарежусь!..

И вот Яков добровольно согласился идти в эту страшную детскую тюрьму.

— Может, не надо, — сказал жалобно Тима. — Я попрошу Витола, он тебя тоже на сохранение возьмет.

Тима сказал «на сохранение» нарочно, зная, что Якову не понравится слово «усыновить».

Но Яков покачал головой:

— Нельзя мне из милости жить. Гордость за отца не

позволяет. Он же теперь не подзаборный пьяница, а герой. Все пристанские по нем плачут. А раньше что? Насмехались, и тока...

Проводив Якова, Тима вернулся домой подавленный, страхась горестного одиночества. И когда Ян Витол, потирая руки, сказал: «Мой мальчик, тебе нужен свежий воздух, тебе надо жить на даче. У меня есть друг, он тебя завтра гостить возьмет. Он тебе будет давать много парного молока. Это очень полезно. Ты сразу станешь очень веселеньким и очень здоровым. Это хороший человек: он понимает революцию», — Тима отнесся к словам Витола с глубоким безразличием.

И вот в дремотные, предрассветные сумерки Тима трясется на телеге, и мохнатая лошаденка бодро шлепает копытами по черным осенним лужам.

Сивый влажный туман висел на деревьях клочьями. Тяжко сопела раздавленная колесами густая, как мазь, земля. В растрепанных кустах тревожно орали вороны.

Петр Прокофьевич Анакудинов в широком ржавого цвета азяме, с большим горбатым сизым носом на крупном костистом лице, поглаживая кудрявую бороду свободной рукой, — в другой он держал вожжи, — почтительно говорил:

— Ян Янович просил по бумажному расписанию вас содержать. Я грамотный: чего там сказано, понял. Но вы не сомневайтесь, притеснять не буду. Разве вечером как-нибудь посидим, побеседуем.

— О чем? — растерянно спросил Тима.

Петр Прокофьевич почесал задумчиво мохнатую бровь, испытующе поглядел на Тиму и доверительно произнес:

— Вам ведь всяких хороших людей доводилось видеть. — И пояснил: — Я понимаю, по возрасту мы с вас много не спросим, а так, чего от их слышали, и нам с простотой расскажем. Нам всякое зерно с того поля в разум. Я так полагаю, есть у нас пожилые, которые еще сомневаются, а я им после скажу: слышали, он же вроде дите, да и то в самую правду носом целит. Давай трясги мозгами, ребята!

— Пашни у меня клоч малый, — рассказывал Петр Прокофьевич Тиме. — Но я человек промышленный, зимой дровни делаю, колесные ободы. Ну, и тайгую помаленьку с ружьишком. Иногда с лоточком балуюсь, если золотишко находится. Семья у меня обыкновенная. Жена, три сына.

Одного на войне убили, другой, значит, в тюрьме сидит за это самое, чего — сами знаете, а меньшей с испугу заика. Это, когда умиряли, сомлел, пока меня возле церкви зимой сначала, значит, били, а потом из бадьи окатывали, чтоб насмерть сморозить. Ну да я горячий. Ничего, выжил. Другой, может, и кашлял бы после, а я ничего. Да у нас тут все крепкие...

Деревня, куда привезли Тиму, называлась Колупаевка. Когда-то здесь был старательский прииск, но золото иссякло, и только вся местность осталась расковырянной глубокими, заросшими бурьяном шурфами с гнилой водой на дне; всюду валялись черные валуны, вывороченные из земли старателями. Избы разбросаны как попало. Петр Прокофьевич жил в недостроенной рубленой хате с земляной крышей. Многие жили в землянках, хотя тайга окружала деревню со всех сторон.

— Лес казенный. За лес объездчик последнюю коровенку берет, может свободно и пулю засадить. Он на убийство бессудный, — объяснил Анакудинов. — Вот река у нас шибко прекрасная. Сарантайка называется. Рыбы в ней достаточно. И кедрача кругом, орешков — хоть целый день, как белка, грызи. Это свободно. Ну потом чо? Малина, голубица, опять же черемуха, рябина, калина. Медведев не опасайся, он, в осень, увидит человека, похрюкает, как свинья, — и ходу. Зверь у нас добрый, сытый. В балке полозы есть. Ну, это змея — червяк, хоть и в полсажени. Иногда, говорят, колесом катится. Сам не видал, врать не буду.

А вон на горке плетнем опоясанное место, видишь? Опасайся. Там мужик живет, страшной болезнью мучается — проказой. Это он свое место плетнем огородил, чтобы народ от заразы обезопасить. Урядник говорил: вы б его того... Как же это живого человека можно? Закон, говорит, позволяет. Видал, какие у них законы? По им сколько тысяч на германской перемолотили.

— И вы не боитесь заразиться?

— Как не бояться! Боимся, но не одной боязнью человек жить должен, а и совестью...

С Гошкой, сыном Анакудинова, Тима уходил в тайгу с самого раннего утра. Сухая короткая сибирская осень пылала в березниках и осинниках холодным дивным багрянцем, и чистое небо лилось меж деревьев светом и свежестью. Гигантские, дородные кедры растопыривали граненые метельчатые иглы, меж которых торчали увесистые, напитанные смолой шишки с плотно сомкнутыми выпуклыми крышечками. И под каждой крышечкой притаилось

по два ореха, словно коричневые глазки, наглухо прикрытые веками.

Засучив штаны, Тима и Гошка бродили по реке и, подымая тяжелые плоские камни, ждали, когда река снесет взбаламученную тину. Под камнями лежали, притаившись, ленивые осклизлые налимы, серые, похожие на ужей, прыткие вьюны и каменные ерши с широкими плоскими головами, покрытыми мелкими колючими бородавками. А в омутах водились огромные красноперые окуни, на быстрине — хариусы.

Гошка говорил заикаясь, медленно, осторожно, иногда судорожно мучаясь над трудным словом.

— За логом пещеры есть. Там мужики беглых политиков прятали. Страшные пещеры! Там мыши на кожаных крыльях летают. И совы их жрут, сколько хотят.

— Пойдем посмотрим, — замирая от предвкушаемого страха, просил Тима.

— Нельзя, — с грустью говорил Гошка. — Может, тебе, политическому, можно, а мне нельзя. Мужики чего-то там прячут, но не человека, а чего-то другое.

— Золото? — шепотом спрашивал Тима.

— Золотишком мы не балуемся, — степенно пояснял Гошка. — Золотишко нонче только дикой промышляет. Мужики теперь все вместе держатся, ждут чего-то. И богатые против нас кучей тоже.

— Да кто же у вас тут богатый? Это в городе только богатые, — сомневался Тима.

— А вот и не так. Глаголев, видал, — вон землянка с кособокой крышей...

— Ну?

— Так он, жадюга, для народа в землянке обитует. А у самого в тайге оленей тысячи голов, инородцы содержат. Магазию на пристани, коней полсести, своими обозами в губернию все с нас возит. У него за это в рубленой хате четыре солдата-стражника живут. Потом — Прянишников. У того дом пятистенный. Он плоты гоняет до самого океана. Не сам, конечно, народ гонит. Потом обратно пехом идут тысячи верст. Кого зверь задерет, кого болезнь валит, а он только живому платит. Зимой меха скупает. Или вот Елтухов. Тот совсем ушлый. Соберет беглых с прииска, те тайгу палят, после он наймет мужиков кое-как землю вспахать да рожь десятин на тысячу посеять. В первый год после пала земля, знаешь, как родит? Он урожай снимет, а землю бросит. Земля снова зарастает, только бросово, бурьяном да чернолесьем, а он новое место палит. Ему мукомолы от

царя медаль на шею охлопотали. Он лебяжьим пухом торгует. Лебедь — птица неедомая, она для красоты живет, когда помирает — плачет и женским голосом стонет. А он ее со своими жиганами тысячами бьет, да еще когда она на гнездах.

— А жиганы — это кто?

— Артель у него такая, против революции. Он им всем на свои двустолки купил. Нам в окна два раза палил зазря. Мы теперь с того на полу спим. А ты что думал, мы от дикости на полу? Нет, это от ума. Отец у меня здесь за главного. На сходе, знаешь, как с него богатеи трепещут? Как начнет их туды-суды обличать! Они ему двух коней сулили, только чтобы с этих мест сгинул. Не хочет. Я, говорит, вас скоро всех, воронье, в яр свезу. Довольно терпели вас, мироедов!

— Не боится их?

— А чего ему бояться, он не один, у него общество...

Могучая таинственная мощь тайги вызывала у Тимы чувство благоговейного восторга.

Но однажды он забрел с Гошкой в сумрачную чащобу, где стоял мертвый, серый лес. Будто изваянные из камня деревья истлели от старости сотни лет назад. Павшие на землю стволы начинены сухой древесной пылью. В этом мертвом лесу не было ни птиц, ни зверья, земля была усыпана, словно золой, распавшейся в прах древесиной.

— Почему лес умер? — спросил шепотом Тима.

— Он без человека, — объяснил Гошка. — Спелое дерево рубить надо. Не поруби, сопреет на корню без пользы. Такой лес на тысячи верст. Заплутается в нем человек — верная гибель. Нет в нем пропитания, зверь и то обходит.

Так же сильно поразили Тиму «черные» реки. Эти реки протекали в мягких земляных руслах таежной чащи. Вода в них бурая, густо проросшая водорослями, рыба так и кишит, но ловить ее невозможно: дно завалено павшими стволами деревьев и настолько заросло водорослями, что даже щуки запутывались в них во время перестенного боя. Крупные звери не решались переплывать черные реки, боясь трясины болотистых бездонных заводей. В этих огромных, как озера, заводях гнездились многотысячные стаи диких гусей, уток, лебедей, и птичий пух плавал на черной воде, словно клочья облаков. На отмелях можно было увидеть глубокие, заполненные водой следы сохатых.

Черные реки текли под нависшими ветвями, как по дну сумеречной пещеры. Весной они затопляли тайгу на тысячи верст. Потом в оврагах долго стоял смрад гнилой рыбы.

— Летом тайга кормит, — говорил внушительно Гош-

ка. — Оденет, насытит. А зимой — гибель. Если человек без запаса и охотничьего снаряжения, лучше заранее помереть. Зимой она к человеку злая. И богаты у нас такие же: летом работника хорошо содержат, в харче отказа нет, за один стол с ним садятся, а вот как зима поднажмет, тут шкуру тянут. Недоволен расчетом — катись. А куда без жилья и шубы деться? Пища хуже чем скотине. Отец говорит, нынешней зимой, по всем приметам, народ бунтоваться будет — за землю. Никто тайговать не собирается. А ружьишки чистят и вместо картечи и дробы пули льют.

Тима старался ни в чем не уступать Гошке. Он забирался на вершины кедров — срывал липкие от смолы шишки, нырял с крутого берега вниз головой в омут и в доказательство, что достиг дна, показывал горсть ила. Бесстрашно гладил холодные влажные ноздри быка, совсем недавно утащившего на рогах тяжелые ворота скотного двора. Тима даже превзошел Гошку в игре в «чух-навар», и частенько приходилось Гошке вытаскивать зубами забитый в землю деревянный колышек — удел проигравшего. Но даже в самом простом труде Тима не мог тягаться с Гошкой. И не потому, что Гошка был сильнее его. Нет, дело было совсем в другом. Вот они пололи огород; вначале, подумаешь, — выдирать траву из грядок. Но постепенно начинало нестерпимо ломить спину, голова становилась тяжелой, и даже щеки и глаза набухали и болели.

— Пойдем искупаемся, — предлагал Тима.

— Нельзя! — Гошка продолжал угрюмо и упорно работать.

— Почему? — спрашивал Тима, зная, что никто не говорил им, что нужно полоть огород.

— Не выдергаем сорняк, картошка мелкая будет, — наставительно говорил Гошка. — Нам и так до весны не хватит.

Возвращались из тайги: Гошка тащил свитки надранной бересты на растопку валежника.

С реки он волок большие камни — обложить курятник, чтобы не подкопались зимой лисы. С болота пес мох — конопатить пазы меж бревнами сарая.

В лесу Гошка жадно ел какие-то невкусные корни и очищенные лопуховые кочерыжки, а потом, когда все садились за стол, отодвигал тарелку, говорил степенно:

— На вечер оставлю, а то уже пожевал кое-чего.

Он подбирал с дороги на ходу клочки оброненного сена, складывал их под куст и потом никогда не забывал на обратном пути прихватить с собой.

Оставшихся с рыбалки червей высыпал на корм курам. Где бы Гошка ни был, он всегда находил себе дело. Греясь на солнце после купанья, плел из тальника корзину. Плыли на обласе вниз по реке — сучил из конского волоса лески. Вечерами слушали, сидя на завалинке, как поют девки на гулянье, — Гошка строгал ножом из деревянной чурки ложку.

А когда Гошка работал вместе с отцом, он никогда не садился отдыхать первым, хотя по ввалившимся глазам и влажным вискам в красных пятнах было видно, как страшно он устал.

Никогда Тима не думал, что люди могут так упорно и долго работать и только менять труд тяжелый на более легкий. Никогда он не видел такого непрерывного труда.

Папа любил читать Тиме стихи Некрасова. Протерев запотевшие очки, отец говорил взволнованно:

— Какой великий поэт! Какая сила изображения человеческого страдания!

И Тима думал, что все бедные крестьяне очень несчастные, кроткие и нуждаются в помощи.

Самым бедным мужиком в Колупаевке считался Елисей Копытов. Он носил на голом теле длинную, истертую лосевую рубаху, сквозь рвань которой просвечивала смуглая кожа.

Жил он в копанке один.

Костистый, широкоплечий, с глубоко внавшими глазами, Копытов говорил всегда злым голосом и никого не боялся в деревне. Приходя в лавку Елтухова, он гулко хлопал тяжелой ладонью по прилавку и, небрежно кивая хозяину, произносил сипло:

— Здорово, павук!

— Иди-ка ты отсюда с богом, — дребезжаще просил Елтухов и, скосив глаза на приказчика, шептал: — Сбегай-ка за стражником.

— Стой! — приказывал Копытов. — Ты меня сначала обслужи. — И требовал: — Покажь сбрую самую наилучшую. — Приказчик колебался. — Ну, кому говорят!

— У тебя же коня нету. Зачем тебе сбруя? — пробовал ласково убедить Елтухов.

Взяв сбрую в руки, Копытов спрашивал:

— Гнилой товар?

— Что ты, бог с тобой! — возмущался хозяин.

— А вот я тебе сейчас улику сделаю. — И почти без всякой натуги Копытов рвал сыромятные ремни; бросив обрывки на пол, сощурившись, спрашивал: — Ну?

— Уходи, Елисей, добром. Вот тебе гривенник, и иди себе с богом в другое место буйствовать.

— А хошь, я тебе эту монету для сохранности в лоб вколочу, как Каину, заместо медали? — спрашивал Копытов.

Входил запыхавшийся стражник. Увидев Копытова, он сразу взволнованно потел всем своим бурым широким лицом, но все-таки, повинувшись долгу, произносил угрожающе:

— Опять смутьяниничаешь? Смотри мне!

— Это ты смотри, — спокойно говорил Елисей. — Когда белковать пойдешь, очень смотри по сторонам, в тайге свободно пришибить могут, а потом скажут — я. А мне об тебя мараться охоты нет.

Выходя из помещения, Копытов с такой силой хлопал дверью, обитой кошмой, что вся посуда на прилавках громко и жалобно звякала.

У себя в копанке Елисей держал на цепи пятнистого рысенка и баловался с ним, как с собакой.

Тима приходил с Гошкой смотреть на этого звереныша. Рысенок шипел, как кошка, и, приподняв губу, обнажал клыки, похожие на изогнутые клинья.

Почесывая рысенка пальцем за ушами, Копытов говорил мальчикам снисходительно:

— Зверь, а вот доброту понимает, не то что другой человек.

— Вы сами злой, — заявил однажды Тима, набравшись храбрости.

— Злой, правильно! — с удовольствием согласился Копытов. — На тихость людскую зол. На их безропотность. Молотят их, как горох об стенку, а они терпят. — И быстро, взволнованно проговорил: — Вот ты городской парнишка. Слыхал небось, как у вас от притеснения на мельнице рабочие бунтовали. Раскидали мешки с мукой народу и за берданки взялись. А мы тут все тихие, а жмут нас покрепче.

— Чего же вы хотите? — робко спросил Тима.

— Иной жизни. Я, паренек, золотишко мыл на Алда-не — речка такая студеная есть, в ущельях вся зажатая. Лето там короткое, все равно как спичка на ветру: чирк — и нету! Шуга ледяная по реке идет, а мы по пояс в воде — песок и гравий со дна черпаем. Зима там крепкая. Плюнешь, а плевков вроде гальки стучается. Вся шкура на тебе коробом залубеневаает. Земля застывает, как камень-гранит. Свалим цельные сосны, нагромоздим их, подпалим, а после талую землю кайлами бухаем. Ноги в мокрети, а все

остальное на стуже. Скажешь, жизнь каторжная? Нет. Народ там артельный, боевой, теплый. Как против хозяев разом поднялись, так к нам войско настоящее прислали — стреляли. Всё по-настоящему, как на войне. А вот те, кто до нас на Лене бунтовал, — тоже люди основательные. Поубивали их. Но это ничего. От народа им уважение большое вышло. Ты вот, малый, еще глупый, не знаешь — человек такой есть. Большущей души человек! Он от этой реки прозвание себе выбрал — Ленин, значит. Он народ за иную жизнь в кучу сбивает. Нам, присковым, там по совести первое место. А тут — глядеть тошно. Жмут, а мы только ежимся. Вот с того и злой. Здесь Анакудинов — человек, его уважаю. Но он меня не очень. Ты, говорит, буйный, а не шибко умный, а надо ко всякому делу с умом подходить; с рекрутами все шепчется, по тетрадочке вслух им читает. — И вдруг неожиданно предложил Тиме: — Хошь, я тебя уважу за то, как ты гость Анакудиныча, — росомашьи когти подарю? Они вроде крючков на белугу, крепко острые.

Гошка сказал уважительно:

— Дядя Елисей с охоты на плечах лосевого телка нес, а росомаха на него с дерева как прыгнет, и все когти в шею и в спину всадила, да как начала его рвать, а он к дереву, да как об ствол сосны ее трахнет!

— На язык ты звонкий! — усмехнулся Копытов. — Подрала она мне мясо, пока я с ней слаживал. На карачках в деревню приполз, если по-всамделишному рассказывать.

— Поэтому вы никого не боитесь? — спросил Тима.

— А кто тебе сказал, что никого не боюсь? Боюсь, совести своей боюсь. Вот, говорят, беден, даже смеются с меня. А я могу со своей удачи пушниной, золотишкой иль плоты до океана сгонять — деньжишками разжиться. После хату срубить, землицы купить, а зачем? Чтобы после первого недорода все в заклад Елтухову сдать? Нет. Докуда такие, как Елтухов, сверху народ мнут, от земли одна тягость мужику. А будет иная жизнь, я хошь на себе землю пахать буду, потому не мироеду хлеб пойдет, а справедливо, по человеческому назначению. Анакудиныч говорит, покуда земля ихняя, нет человеку воли. А без воли только зверь жить может и то в неволе шелудивеет. Землю людям — вот главное...

Уже начались стылые ночи, и утром в земляных впадинах сухо блестела тонкая скорлупа инея. С ветвей осин замертво падали вялые, желтокожие листья.

Осыпались багряным листопадом березовые рощи, и

стволы их сверкали слепящей белизной в чистом светло-зеленом прохладном воздухе.

В синем от стужи ночном небе появились зимние блеклые звезды, и, пронзая малиновые зори летучими клиньями, уходили на юг птичьи стаи. Стало рано смеркаться и поздно светать. В коротком дне солнце быстро сгорало.

С двенадцати дворов днями должны были уйти новобранцы. На хвосты крестьянских коней и коров староста уже навесил деревянные бирки, чтобы вместе с новобранцами гуртом гнать в город — интендантству.

Староста не собирал схода, но люди, каждый сам по себе, шли к деревянной часовенке, поставленной на месте древнего скита. Усаживаясь на бревна, сваленные здесь с принсковых времен, безразличными голосами переговаривались так, словно пришли сюда невзначай. Но лица у всех были тревожные. Отдельной кучкой стояли новобранцы. Обычно они начинали гулять чуть ли не за месяц. Но сегодня все были трезвые.

Елтухов сидел на венском стуле, который для него принес сюда зять, тощий парень в фуражке с плюшевым околышем чиновника почтового ведомства и в высоких драгунских сапогах, густо намазанных салом.

Сам Елтухов, тучный, перяшливый старик в выворотной лосевой жилетке и в коротко обрезанных валенках на босых ногах, положив толстые ладони на городскую трость с серебряным набалдашником в виде русалки, опрокинувшейся навзничь, поглядывая на всех угрюмыми сизыми глазками, гудящим, утробным голосом поучал:

— Сибирь кто? Мужичья она, хлебная. Замкни мы амбары — город что? Фикусы жрать аль мышей жарить на машинном масле? Город мужику — враг. Мужик мужику — брат. Держава наша мужичья. И должны меж себя рассуждать — смирененько и ладком, уважаячи, кто хозяйственной, мудрее. С одной стороны, немец Россию хочет захватить, а с другой стороны, городские подучают землю у своего же благодетеля хапнуть. Изнутренних врагов отечества бить надо.

— А ты кто будешь отечеству? — спросил рыжий парень в плетенных из сыромятины охотничьих лаптях.

— Мы его корень, — глухо сказал Елтухов. — По темя в земле.

— Ага! — воскликнул рыжий и спросил ожесточаясь: — Слыхали? А у меня земли — ногу некуда поставить. Так, может, мне тебя за это в темя целовать или на тебя всю жизнь батрачить?

— Земля, она купленная трудом тяжким.

— Твоим, что ли?

— Мой труд твоей глупости невидимый.

— Нет, видимый, если ты из-под меня пашню за должок выдернул.

— Я Христа ради не подаю. Я по закону действую.

— Почему закон в твою пользу, а не в мою?

— Кто за отечество, тому и служит закон. Это вас большевички мутят, они от кайзера за это деньги получают, как всему народу известно.

— Тимоша,— спросил ласково Анакудинов. Тима с Гошкой весь день собирали шишки в кедровнике и только сейчас прибежали на сход.— Твоя мамка от партии сколько в месяц деньжишек-то получает?

— Нисколько,— смущенный множеством устремленных на него глаз, пролепетал Тима.

— Это что же выходит, задарма совсем в партии состоит? — с парочито радостным изумлением осведомился Анакудинов.

— В партию она сама немного платит,— ободренный всеобщим вниманием объяснил Тима.— У них это все так делают.

— Вроде как в артели на харч собирают,— одобрил рыжий.

— Нет, не на еду.

— А куда же они деньги девают?

Тима вопросительно взглянул на Анакудинова. Тот, поощрительно улыбаясь, посоветовал:

— Ничего, валяй все как есть.

— Листовки печатают. Такие тонюсенькие книжечки.

— Брошюрки называются,— подмигнул Анакудинов. И громко заявил: — Ну что, мужички, прояснен вопрос? Листовочки эти мы с вами читали. Из них на нас правда светит. Вот, значит, какие это люди — без корысти, с одной совестью.

— Знаем мы их совесть! — тонко завизжал Елтухов.— Вон нонешний городской голова тоже из социалистов, а в думе как выступал? За войну с германом. У них тоже разные есть, которые так, а которые эдак. Нам своим умом жить надо.

Тима, увидев, как потемнело лицо Анакудинова, взволнованно воскликнул:

— Неправда! За это его жена не любит, и дочь не любит, и все другие товарищи не любят, и я у них в доме теперь совсем не бываю, и мама и папа тоже не пойдут.

— Значит, червивый орех оказался? — облегченно вздохнул Анакудинов. Потом встал, одернул на себе рубаху и громко заявил: — Тут из города человек...

— Агитатора приволок? — выкрикнул Елтухов.

— Зачем? — спокойно ответил Анакудинов. — Он за пареньком прибыл, который у меня на харчах состоял для здоровья. А кто не желает слушать, не надо. Мой гость, мне его беспокоить тоже нежелательно. — Потом, обернувшись к Тиме, вполголоса сказал: — А ты ступай до дому в «чухнавар» с Гошкой играть. Народ у нас растревоженный, могут и черными словами обозваться. Зачем тебе уши марать пакостным словом!

Серые сумерки спустились на землю. И как ни рад был Тима приезду Яна, ему было неловко выказывать эту радость. Разве Анакудиновы не стали ему такими же близкими людьми, как Ян, а Гошка разве меньше друг, чем Яша? И разве не делились они всем с Тимой так же, как делились Мурзаевы?

Прощание было до слез грустным, и, когда Тима поцеловал Гошку в щеку, Гошка посоветовал:

— Убеги ты к нам насовсем на зиму, а я тебе свои пимы отдам, только живи с нами.

Бездонное чистое небо висело над головой, словно опрокинутое озеро. Оно светилось холодным голубым огнем, и звезды зовуще мерцали в его глубине. Только тайга стояла угрюмо, впитав в себя весь мрак ночи.

Хрустел под телегой белесый лед, сковавший лужи, и на придорожных кустах лежал пушистый иней, весь в синеватых отблесках.

Анакудинов, довольный, говорил Яну:

— Побились маленько на сходе — это ничего. Народ у нас крепкий, драться любит. Но главное обсудили: больше на войну людишек не сдавать. Мы с лета мясо сушим. Хлеб в бочки ссыпали в потайном месте, где прежде беглых политических прятали. В тайгу ребят снарядили. Дезертиры и раньше у нас были, но баловались они в тайге, народ на себя злобили. Теперь мы артели сбиваем, ну вроде отряда, и за главного серьезного человека ставим. Если карателей власть пошлет, их в нашей таежной чащобке очень даже сильно потрепать можно.

— Разумно, — радовался Ян.

— И за мальчишку тебе спасибо, — сказал Анакудинов. — Хоть он и малую правду мужикам сказал, а большое это просветление. Мужика понимать надо! Его можно за сердце как клещами ухватить и куда хочешь повести, если

он твердо поверит, что ты не в свою корысть, а ради всех людишек делу служишь.

— Очень правильно,— согласился Ян,— мальчик он хороший.

Витол внес спящего Тиму на руках в свою каморку и положил на постель. Но когда зажег свет, с берестяного туеска поднялся пожилой лысый человек в коричневом драповом пальто и сказал благодушно:

— Вот, господин Витол, мы снова с вами и встретились. И, как говорится, каждый снова на своем поприще.

Витол быстро оглянулся на дверь, но там уже стояли солдаты с заспанными лицами. Лысый сказал злорадно:

— Обыском мы вас беспокоить не будем, на досуге поглядел кое-что, по старому времени зловредное, по нынешнему — кто их знает.— Ухмыляясь, заявил любезно: — Очень, знаете, приятно, милейший, встречать в подобных обстоятельствах бывших своих крестников.

— Я тебе не милейший,— сказал Витол спокойно.

Но человек попятился и, словно отталкивая от себя что-то страшное пистолетом, крикнул угрожающе:

— Но, по!.. Я знаю тебя, бугая. Только пошевелись!..

Ян, разглядывая свои руки, сказал угрюмо:

— Мальчик у меня.

— Детей мы в тюрьмы не сажаем,— сказал лысый.

— Я уже мог тебя два раза на пол бросить твоей свинячьей мордой, ты это знаешь? — спросил Ян.

— Стреляю при первом движении,— пятась к двери, предупредил лысый.

— Стой и не подходи близко, пока я буду беседовать с моим мальчиком,— глухо приказал Ян.

— Пять минут,— с готовностью согласился лысый,— но чтобы потом без эксцессов.

Ян сел на кровать к Тиме, обнял его, прижал к себе и, прикасаясь губами к его уху, шептал:

— Ты мой, как сын, ты меня, как отца, слушай. Я стал очень веселый, что у меня есть немножко такой сын. Это ничего — тюрьма. Деньги лежат в коробке с-под табака. Ты ходи сам на базар и много кушай. И если ты немножко любишь Яна, обливайся водой утром, вечером. Это очень полезно. Я тоже в тюрьме буду обливаться водой и думать спокойно, что мой мальчик тоже обливается водой. Ян, глупый, пришел на старую квартиру. Но ты устал, и я думал, зачем ехать далеко? Но это совсем ничего.

И уже в дверях, обернувшись к Тиме, Ян сказал, щуря в нежной улыбке свои узкие светлые глаза:

— Ты очень много вырос в деревне от свежего воздуха. Это очень хорошо.

И Тима остался один, совсем один...

В серых предрассветных сумерках падал первый снег, сухой, как пепел. Низкие облака повисли над землей. Угрюмые шерстистые тучи сыпали снежной трухой, и, кроме шороха снега, ничего не было слышно на пустынной улице.

С того дня город все больше и больше заносило зыбучими снегами, и он весь будто еще ниже оседал в землю. Но пока мел снегопад, стужа не трогала город. словно мохнатые лиловые тучи согревали его.

Иногда ночью по улицам проносились, взметая в лунном свете снежную пыль, тройки, запряженные в розвальни, но колокольцы под дугами были обернуты тряпками, а в санях чинно сидели контрразведчики в огромных тулупах, и меж ними лежал кто-нибудь из арестованных со связанными руками.

Тима не нашел в коробке из-под табака денег. Верно, их украл тот лысый, и на базар Тиме не с чем было ходить. Первые дни он питался остатками хлеба и картошки, привычно принимая три раза в день рыбий жир. Но потом не стало ни хлеба, ни рыбьего жира.

Тима лежал, одетый, на койке и не знал, что ему теперь делать. И когда в каморку пришел старичок, с мокрым розовым посом, с запавшей верхней губой и настороженно вытянутой нижней челюстью, одетый в лисью шубу и белые валенки с малиновым узором, и строго сказал: «Жилец в нетях. Чужим людям тут не место. Так что подобра удалитесь...» — Тима послушно встал, надел поддевку и пошел к двери...

Но старик остановил его, поманив длинным, с распухшими суставами пальцем. Старичок быстро охлопал Тиму сухими, легкими ладошками, потом с таким же проворством обшарил карманы. Ничего не нашел, сказал со вздохом:

— Ну, ступай с богом, милый. Видать, ты еще дурачок, чтобы воровать.

Тима долго и бессмысленно бродил по улицам после того, как побывал у Косначева, где двери ему открыла какая-то злая старуха, сердито крикнув:

— Сбежал студент, одни книги с него остались!

В Заречье, во флигеле, где жил Мустафа, он увидел на

окнах набитые крест-накрест серые доски, а в квартире Эсфири его долго и зло допрашивал на кухне черноусый жилец в кавказской рубашке с множеством мелких пуговиц. Он все время предупреждал:

— Я тебе могу свободно нос на затылок посадить, ежели брешь.

Идти больше было некуда. Тима понял, что всюду его ждало то же самое. Можно было пойти к Савичу или Андросову, но он не хотел, — не хотел искать жалости. Оставалось последнее — пойти домой, в Банный переулок, где он так давно не был.

Со щемящим сердцем Тима брел знакомой дорогой и мечтал: вот он подходит к двери, протягивает руку к щели за дверным наличником, а ключа там нет. Кто-то взял ключ. Но кто? Он дергает дверь, она заперта. Тогда он тихонько стучит, дверь открывается, и в дверях — мама... Мама отступает на шаг в коридор и говорит сердито: «Тимофей, где ты пропадал? Я тебя всюду искала». Потом мама помогает ему снять поддевку, разматывает шарф и, прижимаясь своей теплой щекой к его холодному лицу, тревожно спрашивает: «Разве можно так долго гулять, ты же простудишься!» — «Мамочка, — говорит Тима, — я так по тебе соскучился, и больше я от тебя никуда не уйду». — «Да, — говорит мама, — теперь мы будем всегда вместе».

Тима вошел во двор и искоса посмотрел на окна дома. Окна были черные. Но ведь в кухне окна нет. И еще ничего не известно, мама может быть там. Тима протянул руку к щели за дверным наличником, с тоской нащупал пальцами ключ. Он открыл дверь, вошел в кухню, в печной нише взял спички. С зажженной спичкой прошел в комнату. На столе стояла лампа, прикрытая полуобгоревшей газетной бумагой. В квартире затхло пахло погребом, мышами и пылью, промозглой, холодной сыростью.

Тима лег в сырую, холодную постель одетый, положил под одеяло мамино пальто, но согреться не мог. Его знобило. В лампе выгорел керосин, и фитиль, чадя и потрескивая, меркнул. Но Тима теперь не боялся темноты. Что может быть самое страшное в темноте? Ну, пускай даже явится синий покойник. Ну и что? И пускай! Разве от этого ему может быть еще хуже? Когда он один, совсем один!

Утром Тима не мог встать с постели, он весь горел. Ему было душно, глаза и голову давило невыносимой болью, а перед лицом плавали какие-то тошнотные радужные пятна. Он плохо помнил себя в эти дни. Откуда-то издалека доносился раздражающий голос Елизарихи, а иногда из

радужных пятен выползло ее лицо с детскими круглыми глазами и удивленно поднятыми белесыми бровками.

Как потом узнал Тима, Елизариха подобрала его во дворе, в палисаднике, где он лежал на снегу под голыми ветвями черемухи. Елизариха переселилась в комнату Чуркиных, считая себя законной женой отца Якова. Она выходила Тиму, но когда он встал на ноги, сказала степенно:

— Я женщина мирная, с Яшкой сладить не могла. Да и ты окрепнешь, тоже нахальным станешь, как он. Так я к пичугинскому приказчику с поклоном ходила, он хозяину доложил. Сам господин Пичугин к тебе с божеской милостью обернулся. Будет тебе стол и дом и от казны признание.

А через два дня пришел приказчик Пичугина Евсеев. Трогая пальцами свои серые, морщинистые, как грибы-поганки, уши, Евсеев сказал сладенько, умильно:

— Ваш батюшка изволил заблаговременно уплатить за квартиру. И тут мы находимся выше данного момента, за имущество не извольте беспокоиться. И поскольку наш хозяин своим жильцам благодетель и попечитель, считаю долгом объявить, что они обеспечивают вам дальнейшее существование через сиротский дом, куда бы вы ни в жизнь по закону не могли попасть, поскольку вы не круглый и даже не полсирота. Но господин Пичугин сказал слово, и оно будет исполнено во всем естестве.

Тима был еще так слаб и так подавлен всем случившимся, что покорно пошел с Евсеевым. Евсеев мог даже не держать так больно Тиму за руку: Тиме было все безразлично, и он никуда не собирался от него убежать.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

И вот Тима стоит у ворот сиротского приюта, обитых листами ржавого кровельного железа.

Все четырехэтажное здание с зарешеченными окнами окружено высоким серым забором, поверх которого торчат остриями вверх большие, грубо кованые гвозди. Перед сиротским домом простиралась Сенная площадь, и по белой пустыни ее ветер гнал сухие плоские струи поземки. Дальше, за глинистым обрывом, лежала река, уже обмерзшая в заберегах, и на той стороне дымящейся паром реки бесконечно тянулись заснеженные луга, и совсем далеко мерцала чернотой тайга.

Громыхая железной щеколдой, калитку открыл дворник в тулупе. Тима с приказчиком прошли пустой двор, мимо поленницы осиновых, самых дешевых дров, потом очутились перед входной дверью с крохотным, чуть больше медного пятака, глазком. Дверь открылась, и они оказались в прихожей, тускло освещенной маленькой трехлинейной лампой, висевшей у притолки за проволочной решеткой.

Приказчик сказал в темноту с достоинством:

— От господина Пичугина.

— На одежду притязание есть? — спросил голос.

— То есть как это? — не понял приказчик.

— А так, — сказал тот же голос из темноты. — Может, добродушные люди снарядили, а потом обратно с приюта захотят снаряжение требовать.

— Нет, у него свое.

Из темноты вышел человек в нижнем белье и наброшенной на плечи черной шинели.

— Воши есть? Чесоточный? Какими болезнями болел? Фамилия, званье? — Плюнув в чернильницу, он записывал сведения в узкую толстую книгу. — Круглый или половинный? Дурак, все померли или кто живой? И не рассуждай. Отвечай казенно-четко: да, нет. Больше с тебя не требуют.

Захлопнув книгу, приказал:

— Раздевайся до полного.

Втолкнув Тиму в кладовку, человек окатил его водой из деревянного ведра и, указав на влажную тряпку, прибитую к стене гвоздями, приказал:

— Утирайся.

Пока Тима, вздрагивая от озноба, надевал казенную одежду, человек наставлял его скрипучим голосом:

— Тут у нас первый закон — тишина. Начальству — стойка и глядеть в глаза. Нарушишь чего — изолятор. Величать по-старому — господин воспитатель, господин попечитель, господин смотритель. Мы новые порядки не допускаем. Если умный — привыкнешь, а дураку везде плохо.

Крутая лестница с перилами, обитыми квадратными деревяшками, вела вверх. На третьем этаже вместо двери — люк, запертый большим деревянным брусом. Из таких же брусьев решетки внутри коридора. Пахло кислой капустой и еще какой-то едкой гнилью.

Огромная спальня тускло освещена в углу лампадой. Двухэтажные нары подымались к потолку.

— Легай беззвучно, — сказал воспитатель. — По малой

нужде — параша. Отхожее место во дворе — до утра стерпишь.

Тима лег на сенник и закрыл глаза. Он всем своим существом ощущал эту промозглую, вонючую темноту, полную шорохов, сопения, стонущих вздохов тех, с кем ему придется теперь жить. И только здесь, сейчас, с леденящей тоской Тима осознал, что началась новая и, может быть, самая тяжелая полоса в его жизни.

Среди приютских существовал жестокий и неукоснительный обычай «обновлять» новичка. Побоями, издевательствами унижениями испытывали новоприбывшего до тех пор, пока ребята не убеждались в его покорной смирности и в том, что он никогда не будет искать себе защиты у воспитателей. Кто не выдерживал «крещения», становился навсегда отверженным.

На четвертом этаже помещались великовозрастные. Это были ребята, которые не только постигли ремесло, но и проявили даровитость, подлинный талант, столь восхищавший посетителей выставок художественных изделий сиротского приюта.

Обычно, начиная с двенадцатилетнего возраста, приютских отпускали на волю. Их забирали после соответствующего взноса в попечительский совет приказчики помещичьих экономий, владельцы смолокурен, лесопилок, ремесленных мастерских. Бывшие приютские обязаны были работать даром, только за харчи, до совершеннолетия. Это была вполне узаконенная купля и продажа. За обученных ремеслу давали большие взятки приютскому начальству. А приютские начальники, в свою очередь, в день именин Мачухина подносили ему в складчину тысячерублевый подарок. Но талантливыми ребятами начальство дорожило. С тринадцати лет их переселяли на четвертый этаж, подальше от посторонних глаз. Мастерские для них были оборудованы на чердаке. К люку на четвертый этаж вела приставная лестница, которую убирали на ночь. Изделия великовозрастных давали большой доход начальству, так как лишь малая доля их попадала на выставку. Например, почти вся мебель в пичугинском доме была сделана руками приютских мастеров. Столы, инкрустированные малахитом, яшмой, халцедоном, продавали за большие деньги любителям.

Но в приюте ремеслу обучали только круглых сирот, тех, у кого не могли обнаружиться заступники. Детей,

имевших хотя бы дальних родственников, ничему не обучали. Обычно таких сдавали потом в помещичьи экономии.

Бюджет городской управы был нищенским. Дума, в которую входили тузы города, урезая средства единственной больницы, отпускала ассигнования на приют. Многие члены думы были заинтересованы в приобретении из сиротского дома даровой рабочей силы, обученной для них на средства города.

В первые дни Февральской революции в сиротском доме побывала комиссия из городской управы. Члены комиссии установили: при старом режиме для сирот не устраивали рождественской елки — и предложили в будущем устраивать. Больше всего их обеспокоило то, что до сих пор в приюте, несмотря на революцию, висят портреты царя и императрицы. Приказали убрать.

Но сделали вид, будто им неизвестно, что на корпус городской тюрьмы, равной по кубатуре сиротскому дому, отпускается на зиму сто шестьдесят сажень дров, а на приют всего сорок; на освещение корпуса городской тюрьмы тратится в год двадцать пудов керосина, а на приют — пять. Уголовный получает полтора фунта хлеба, приютский — фунт. А одежда приютским перешивается из той, что уже сношена тюремными заключенными. Дальше же второго этажа комиссия вообще не поднималась.

Союз офицеров прислал показаться в приюте знаменитого по Сибири мальчика Степана Соколова, награжденного Георгиевским крестом за то, что он участвовал в разведке на войне.

Однако главный смотритель, бывший начальник женской тюрьмы Чекмарев нашел, что посещение юного георгиевского кавалера может отрицательно сказаться на настроении воспитанников. Найдутся, пожалуй, такие, что тоже возжаждут воинской славы и ударятся в бег. Поэтому Чекмарев угостил у себя на квартире Соколова чаем и пирогами с черемухой, дал десять рублей и отправил восвояси.

В подвалах приюта, в так называемых мастерских, полусироты плели из тальника корзины, а из отбросов, доставляемых сюда с боен, варили в больших чугунных чанах столярный клей; здесь же, в столярной, щепали дранку для штукатурных работ и дрань для кровель.

Сиротский дом славился также производством гробов, украшенных белым глазетом и пальмовой ветвью из фольги.

Приютское начальство неохотно брало малолетних сирот. Но содержались они неплохо. У каждого отдельная кровать, аккуратно сшитые костюмчики, кормили их сытно. Таких малолетних было всего восемнадцать, и, когда по воскресеньям их выводили в городской сад, округлые щеки воспитанников производили на жителей города очень благоприятное впечатление. Вид этих чинных, упитанных малюток, гуляющих по аллеям городского сада, вызывал чувство умиления и благодарности к благотворителям города.

Кому могло прийти в голову, что остальные сто шестьдесят воспитанников влачат в этом приюте труженическую, тяжкую жизнь?

Тима продрог от промозглой, холодной сырости, но он заметил, что ребята спят не на сенниках, а на досках, укрывшись сенниками, и он сделал так же — стало теплее.

Он лежал с открытыми глазами и думал: буду жить здесь, как в тюрьме. Ну и что? Папа и мама тоже сидели по тюрьмам. Но папа говорил: самое трудное — одиночка. А ведь Тима здесь не один. Пускай тут много плохих, жестоких ребят, которые будут «обновлять» его. Но не может быть, чтобы он не нашел среди них себе товарища. И где-то, может, в этой спальне, спит Яков. Значит, ему даже повезло, у него тут друг.

Главное, найти, увидеть во что бы то ни стало Якова. А Яков не такой человек, чтобы позволить обижать Тиму. Самое страшное: ни папа, ни мама не знают, где Тима. Они будут искать его, мучиться, страдать. А им и так плохо. Но как сообщить о себе, чтобы они не беспокоились? И об этом надо завтра посоветоваться с Яковым. Уж Яков найдет способ известить папу и маму. У Якова столько знакомых в порту, на паровых мельницах, они помогут.

И Тима заснул с облегченным сердцем.

Он проснулся с болью в ушах от звона большого колокола, который тряс над головой сторож в солдатской коротко обрезанной шинели и с черными молодцеватыми усами, поднятыми к щекам торчком.

— Свежак, становись! — скомандовал он Тиме.

В спальне было так же темно, как и вечером, только стало еще холоднее. Воспитанники уже стояли в шеренге, некоторые умудрялись досыпать стоя.

Спустились в темноте вниз по крутой лестнице и вышли во двор. Снег сине искрился, а на краю неба еще висела луна.

Пока воспитанники посещали отхожее место, сторож все время сердито покрикивал:

— Веселее, не задерживай!

Он зяб в своей коротко обрезанной шинели и сердился на сирот, на которых, кроме миткалевых гимнастеров и таких же штанов, ничего не было.

Умывались в нижнем этаже из длинных деревянных корыт, похожих на кормушки для скота. Полотенец было всего два на всех — прибитые к стене парусиновые полотнища.

В столовой каждый подходил к окошку на кухню и получал глиняную миску с овсяной кашей и жестяную кружку с морковным чаем. Потом все садились за столы из тесни, положенных на козла, но к еде никто не притрагивался.

— Встать! — приказал сторож.

Все встали, один из воспитанников начал монотонно, голосом нищего на паперти, читать молитву.

— Не части, — покрикивал сторож, — не жуй божье слово.

После завтрака разбитые на команды воспитанники пошли в мастерские. Сторож внимательно оглядел Тиму и сказал пренебрежительно:

— Для маляра ты корпусом не вышел — не долговяз. Для столярного и слесарного дела — у тебя сопатка унылая. Пойдешь в клеевары.

— Дяденька, — сказал заискивающе Тима, — можно вас спросить? Тут у меня знакомый есть, Чуркин Яков...

— А ты кто такой?

— Моя фамилия Сапожков.

— Я у тебя не фамилию спрашиваю, а кто ты такой, чтобы вопросы задавать? Я тебя на теплое место назначил, а ты сразу грубить! Пошел в свою команду!

В подвальном помещении, где варили клей, в огромную печь были вмазаны два чугунных котла. А на досках перед печью навалены груды костей, клочья сухожилий и куски осклизлых внутренностей. От всего этого смердило падалью. Восемь ребят, в том числе Тима, были приставлены к этой печи. Старшим над ними — тощий, узкоплечий паренек с надменным остреньким носом. Он повелительно покрикивал, явно испытывая удовольствие оттого, что он старший.

Паренек быстро растопил печь, пока остальные напояли котлы водой. Держа в руках деревянную мешалку, забравшись с ногами на печь, он месил в котлах вонючую гниль, которую сваливали туда его подручные, и командовал:

— Сыпь вразброс, а не кучей.

Заполненные котлы он прикрыл жестяными крышками, сел на дрова и, утирая бледное лицо рукавом, сказал удовлетворенно:

— Сегодня в аккурат заправил. К обеду формы залить успеем.

Поманив к себе Тиму, стоявшего с брезгливо растопыренными руками, спросил участливо:

— Что, с непривычки воротит?

— Да, — честно сказал Тима.

— А хошь сразу привыкнуть? — И, зачерпнув с доски склизкие комья, поднес к лицу Тимы и предложил: — А ты вот возьми и пожуй.

Тима с ужасом отшатнулся, а паренек, настойчиво прижимая его к стене, продолжал совать в лицо Тимы то, что держал в руке. И вдруг один из воспитанников — Тима только потом рассмотрел его — низкорослый, но плечистый, с разбитой запекшейся бровью, рванул к себе паренька за рубаху и сказал спокойно и даже каким-то нарочито сонным голосом:

— Ты, Огузок, над нами старший на работе, а после я над тобой буду. Это тебе понятно?

— Да ты что, Тумба? Я же шутю. — И парень плаксиво добавил: — А как надо мной изгилялись, обновляя, так это ничего...

— Ладно, — сказал Тумба. — Мы его еще обсудим.

— Ребята! — воскликнул Тима. — Я, честное слово...

— А тебя сейчас ничего не спрашивают, — угрюмо обрезал его Тумба. — Когда спросят, тогда скажешь.

Месиво бурлило в котлах, и теперь все вместе размешивали его палками, задыхаясь в отвратительно вонючем и горячем пару. Но Тима заметил: ребята работали дружно и даже с рвением. И когда месиво сварилось, его стали осторожно сцеживать сквозь железное решето, а потом разливали по большим деревянным лоткам с квадратными перегородками из тонких дощечек. Залитые лотки выносили во двор, где жидкость остывала, густела, покрывалась гляцевитой, блестящей пленкой. А Огузок, окунув пальцы в жидкость, медленно разводил их. Меж пальцами тянулись тонкие, липкие, светлые нити, и он с видимым удовольствием говорил:

— В самый раз разлили. Видал, какой липучий?

Подошел сторож, так же, как Огузок, окунул пальцы в остаток жидкости в котле и, оставшись доволен пробой, сказал:

— Ну и химик, Огузок! И как это ты ловко в самый раз угождаешь! Я его лет пять в Якутске варил, но такого легкого отвара не производил.

— А я, дядя Кондрат, — сияя от радости, объяснил Огузок, — все обрезки, все косточки сначала руками пощупаю, чтобы уверенность иметь заранее в отваре и воды не перелить, — это с того.

— Я тебе не дядя Кондрат, — рассердился сторож. — Забыл, как величать надо? Вот велю лишний котел дать, сразу башкой посветлеешь.

Огузок съежился и униженно пролепетал:

— Я, господин помощник воспитателя, стараюсь.

Хотя Тиме был очень неприятен Огузок, но он проникся к нему уважением, видя, как тот ловко и увлеченно орудовал у печи. Тима позавидовал его сноровке и охотно готов был за это признать старшим над собой. И вдруг такая поспешная, трусливая готовность к унижению. Разве, когда человек умеет что-нибудь хорошо делать, он должен бояться других?

На обед дали то же, что и на завтрак, — овсянку. После обеда воспитанники гуляли парами в коридоре от одной деревянной решетки до другой. После прогулки в подвале заправили четыре котла и разлили по лоткам. Ужинали в темноте.

Сколько Тима ни пытался расспрашивать ребят про Якова Чуркина, ему отвечали угрюмо и недоверчиво: «Не знаем», или насмешливо: «Это кто — начальник? А мы с начальством не ладимся».

Тима не понимал, почему так неприязненно разговаривают с ним, почему скрывают, где Яков. Ведь только одна надежда встретить здесь Якова помогала бы ему переносить мужественно все тяготы первых дней приютской жизни.

Чтобы узнать, где Чуркин, он пытался завязать дружеский разговор с кем-нибудь из воспитанников. А ему грубо и язвительно отвечали:

— Не клейся в дружбу, еще неизвестно, куда глазом косить будешь.

И эта отчужденность угнетала Тиму больше даже, чем попытки Огузка обидеть его.

Усталый, но еще более измученный душевно от этой непонятной и зловещей враждебности ребят, Тима чувствовал: в сердце его начинает закрадываться страх перед чем-то неведомым, что угрожает ему и о чем никто не хочет его предупредить даже намеком. Ну, пусть обновляют, пусть

изобьют, но скорее бы кончилось это ожидание. Он даже спросил у Тумбы, когда ходил с ним в паре по коридору, надеясь снискать расположение и показать свою осведомленность:

— Вы когда новичков крестите: в первый день или после?

Но Тумба только насмешливо покосился на него угрюмым глазом и ничего не ответил.

Прошел еще один день, потом еще и еще. Но ничего не изменилось в отношении ребят к Тиме. Они по-прежнему не желали замечать его, и даже Огузок перестал повелительно покрикивать на него. Это было самым страшным, самым мучительным испытанием. Ночью Тима не спал, вздрагивал от каждого шороха, а днем потерянно пытался заискивать перед ребятами. Когда Тумба уронил ломоть хлеба, Тима быстро нырнул под стол, поднял и протянул Тумбе, тот не взял хлеб, только смотрел на него сурово и презрительно. И другие воспитанники глядели на него так же насмешливо и презрительно. И этого Тима не мог выдержать. Он бросился на Тумбу и, хватая его за плечи, тряс из всех сил, крикнул:

— Я тебе как человеку, а ты что?

Но Тумба оторвал его руки от себя и предупредил:

— Ты меня не хватай, а то я тебя так хвачу, два дня икать будешь.

Ночью Тима проснулся оттого, что ему заталкивали в рот тряпку.

— Нишкни! — предупредили его. Загнули на спину руки и, крепко держа, вывели из спальни.

Дверь в брусчатой решетке, делящей коридор на отсеки, оказалась открытой. Провожатые втолкнули его в какую-то конуру, вытащили изо рта тряпку, захлопнули за ним дверцу, а сами остались снаружи. Услышав шорох в темноте, Тима проговорил те слова, которые заранее приготовил, зная, что с ним это будет:

— Ладно. Обновляйте. Я все равно стерплю.

И, зажмурив глаза, весь сжался в ожидании. Кто-то хихикнул и сказал ядовито:

— Смотри какой, сам просит! Может, услужить?

— Тебя на жизнь сдали или временно, на харчи? — спросил другой голос.

— Не знаю.

— А Чуркин тебе дружок?

— Да, — облегченно сказал Тима и взволнованно спросил: — Где он, я его видеть хочу, очень хочу!

— В бегах твой Чуркин, уже месяц, как поймать не могут. А почему тебя не новили, понял?

— Нет.

— Он же свежак, что ты спрашиваешь!

— Разинь уши и слушай. С тобой сейчас комитет разговаривает. Тайный комитет. Комитет крещение свежак-ков отменил. Но если с воспитателями ссучишься, мы тебя так укоротим, хуже цуцика.

— Я ему сейчас задатком поясню!

— А ну, Дылда, сядь!

Послышалась глухая возня, злое сопение. Потом кто-то жалобно прорычал:

— Что же вы все на меня, как живодеры, наваливаетесь?

— А ты старый режим брось.

— И комитет не обзывай.

— Постановили — значит, держись.

— Тебе, Сапожков, мы приставляем за старшего Буслова, ну, Тумбу по прозвищу. Он за тебя ручатель — такой теперь порядок. Уразумел? Ступай!

На следующий день Тумба сказал Тиме:

— Ну вот, значит, и все. А по старому времени знаешь, как свежака новили? Слезами умывался! Теперь, конечно, тоже бить будут, но только за дело.

Тима не знал прежней приютской жизни. Поэтому все изменения, произошедшие здесь после того, как возник комитет, он не мог оценить. Ему казалось только справедливым, что Стась Болеславский, хоть он хилый и золотушный, безбоязненно сказал здоровенному Дылде:

— Верни сегодня же хлебную пайку Гололобову, понял?

— Ладно, — покорно согласился Дылда, — отдам при свидетелях.

А ведь совсем недавно этот Дылда заставлял тех, кто слабее его, сдавать ему половину хлеба и работать за него, когда он, забравшись в мастерской под верстак, спал. Еще недавно Дылда жестоко избивал Стася, потому что тот отказывался за него работать.

Каждый вечер в спальне по очереди ребята читали с упоением вслух книжки о приключениях сыщика Ника Картера. Тима не видел в этом ничего такого особенного — интересно, и все. Но ведь книжки принадлежали Дылде, и раньше он брал за чтение выпуска с каждого воспитанника хлебные пайки от обеда и двух ужинов.

И дело вовсе не в том, что председатель комитета

Рогожин был одним из самых сильных ребят в приюте. Рогожин ни разу никого не ударил с тех пор, как стал председателем. Но стоило Рогожину сказать: комитет наказывает Дылду молчанкой, — и самые маленькие воспитанники безбоязненно отмалчивались, когда обращался к ним Дылда.

Побесившись первое время, Дылда начинал изнывать от тоски. Он даже пробовал будить кого-нибудь внезапно ночью, чтобы услышать слово, обращенное к нему, будь то хоть ругань.

И те приютские, которых всегда обижали более здоровые ребята и от постоянных гонений выглядевшие, «как пришибленные», поняв, что комитет — это сила, почувствовали себя людьми и безбоязненно, как Стась, выполняли все, что скажет комитет, зная, что комитет за них заступится.

И комитет заступался, защищая уже тем, что объединял слабых против сильного обидчика. Но так как слабых было больше, они всегда были сильнее.

Даже Дылда постепенно покорился воле комитета, испуганный мужественной стойкостью тех, кого он раньше угнетал поодиночке.

Тима очень удивился бы, если б узнал, что Яков Чуркин рассказывал Рогожину об отце Тимы как о великом герое: «Пришел это он в ресторан «Эдем», где буржуи жареную колбасу едят, очки протер с мороза, надел да как гаркнет: «Вон!» Те, как тараканы, посыпались. Заместо них раненых солдат за столы усадил, неделю кормил всем, что в кладовых было. «Вы, говорит, ешьте, поправляйтесь. Вам же надо революцию делать!» Они большевиками называются, эти люди, и смелые они от своего названия — их больше всех на свете. Но пока они себя не очень показывают — готовятся».

Бежал Чуркин из приюта только потому, что обещал Рогожину свести его с городскими подпольщиками. Но в квартире Сапожковых никого не оказалось.

От Елизарихи Яков узнал, что отец его расстрелян. В тот же день Яков пошел на площадь Свободы к дому с колоннами и ударил камнем по голове офицера, который вышел из здания контрразведки. Преследуемый, он бежал через реку, еще покрытую слабым льдом, и с берега по нему стреляли. Все это какими-то неведомыми путями дошло до приютских.

Вот почему приютские так бережно относились ко всему, что было связано с именем Чуркина, и ничего не хотели говорить Тиме о Якове.

Тумба рассказал Тиме, как возник этот приютский комитет.

О том, что царя свергли, никто из приютских не знал. Когда в город прибыл комиссар Временного правительства, городская управа приказала привести сирот на вокзал для организации патриотической встречи. Но тут оказалось: железнодорожники объявили забастовку. Комиссар был вынужден в остановленном поезде ждать дрезину. Благонадежные граждане разбрелись. На перроне остались только воспитанники сиротского дома. Ребята стояли на холоде больше четырех часов. Пришли железнодорожники и увели приютских греться в мастерские. Смотрителя приюта они арестовали и заперли в будке стрелочника за то, что смотритель обозвал рабочих забастовщиками и предателями и не разрешал им уводить ребят с перрона.

Потом железнодорожники разобрали сирот по домам. Тумбу взял к себе паровозный кочегар. Через два дня «народные милиционеры» вместе с солдатами караульной роты пришли в железнодорожный поселок и забрали приютских.

В приюте ребята потребовали, чтобы им разрешили каждое воскресенье навещать семьи железнодорожников, у которых они гостили.

Зачинщиков посадили в изолятор. Тогда на следующий день ребята не пошли в мастерские, а великовозрастные сошли на третий этаж. Собравшись все в одной спальне, приютские выбрали, как у железнодорожников, свой революционный комитет. Среди приютских оказался предатель — Тишков. Он назвал имена тех, кого выбрали в комитет. Смотритель сообщил о событиях в приюте в городскую управу. Комитетских увезли на пичугинскую ферму. Тишкова нашли потом в подвале избитым до полусмерти. За это восемнадцать человек посадили в изолятор, а между спальнями в коридоре соорудили деревянные решетки.

В приюте объявили оспенный карантин. Когда от железнодорожников пришла делегация, ее не пустили. Городская управа приказала сохранять карантин вплоть до особого распоряжения. С тех пор никого из приютских не выпускали в город. Тогда избрали новый, тайный комитет. Все разбились на десятки и сначала выбрали тайных десятских. И уже десятские выбирали комитет. С десятскими теперь сносились только ручатели, те, кто брал под свой надзор одного или двух воспитанников. Это все придумал резчик по дереву Володя Рогожин. То, что скажет комитет, — закон для всех.

Прошло не так много дней с той поры, когда Тима считал себя самым одиноким и самым несчастным человеком на свете.

С тоской и страхом ожидая жестокого обряда обновления, работая в мастерской под командой Огузка, испытывая тошнотную тоску от каждого прикосновения к злобонным отбросам, Тима видел только, как трусливо его товарищи делают стойку перед каждым надзирателем, как нагло лгут им и с какой покорностью соблюдают все правила казарменного распорядка жизни.

Но с тех пор он многое узнал. И теперь совсем другие чувства переполняли его сердце. Тима считал, что он многое успел испытать. Но что его испытания по сравнению хотя бы с тем, что пережил Огузок! Отец Огузка гнал деготь. Стала гореть тайга. От лесного пожара не удалось убежать. Окруженные со всех сторон огнем, люди зарывались в землю. Отец выкопал яму, лег и прикрыл собою сына. Он спас его, но сам сгорел заживо.

Отца и мать Тумбы завалило на прииске породой.

Стрепухов, когда ему было шесть лет, свалился с плота, и его затянуло под бревна. Сначала за ним бросился отец, потом мать, но спасли только его.

Родителей Гололобова настигла волчья стая. Отец выпряг коня, привязал мальчика вожжами к лошади, а сам остался с женой отбиваться от волков топором.

Отца Витьки Сухова повесили в 1906 году после подавления «Красноярской республики», а мать угнали на каторгу.

У Терентьева и мать и отец тогда же сгорели в здании управления Томской железной дороги, где до последнего мгновения боролся с карателями революционный комитет.

Чумичка родился в тюрьме, и Махавер тоже.

У Тетехи все умерли с голоду, и он с тех пор прячет под сенником заплесневевшие хлебные куски.

Володя Рогожин родился, когда его мать гнали этапом. До четырех лет он жил в бараке с каторжниками. А когда мать отбыла срок и ехала на поселение, баржа, наскочив на подводный кряж, затонула. Володе повредили багром позвоночник, когда вытаскивали из воды, и у него теперь горб на всю жизнь. Мама его вскоре умерла, с шести лет он попал в приют.

Коренастый, большая кудрявая голова вдавлена в плечи, руки длинные, необычайно сильные, он лучший резчик по дереву. Ребята рассказывали, что он несколько раз бежал из приюта. Два месяца жил в тайге. Воспитатели

боятся его силы, потому что он иногда приходит в такое бешенство, что в изолятор его сажают только связанным.

Но Мачухин дорожит Рогожиным и не позволяет его выгнать. Это Рогожин чудесно вырезал из кедрового пня тетерева с разорванными, широко растопыренными крыльями, яростно отбивающегося от лисы. Перед пасхой и рождеством Рогожин полирует пичугинскую и мачухинскую мебель. И его ведет на квартиру к богачам самый сильный приютский сторож, бывший надзиратель каторжной тюрьмы в Нерчинске.

Зная, что ребята считают Рогожина своим вожаком и беспрекословно слушаются его, смотритель посоветовал воспитателю Тихому пристрастить мальчика к вину. Тихой зазывал к себе Рогожина, вынимал бутылку водки и, сладостно потирая руки, говорил:

— Ну, что? Побалуемся по маленькой?

Но напивался не Рогожин, а Тихой. И он же потом молил Рогожина не доносить начальству о его слабости к спиртному.

Учитель резьбы по дереву, опустившийся и спившийся бывший анархист Кучумов, приохотил Володю к чтению, давая ему без разбору самые разнообразные книги. Он пробовал по-своему переломить суровый и непреклонный характер Рогожина.

— Вот, Володя, ты стоишь передо мной,— говорил Кучумов торжественным шепотом,— и ты для меня то, что подсказывает мое сознание, подчиненное тем восприятиям, которые рождаются у меня в общении с тобой. Таким образом, я нахожусь в постоянном рабстве от впечатлений, рождаемых в моем сознании от соприкосновения с внешним миром. Значит, я не свободен. Я, человек, поработен своими же ощущениями. Но подлинный мощный разум может отвергнуть этот мир и создать в своем сознании новый мир, и не менее реальный, чем существующий для всех. В познании мы руководимся своими ощущениями. А ощущения могут быть ложными, потому что они грубые, первичные. И облекаются они в форму только волей человеческой мысли.

— Значит, я могу волей своей мысли представить, что вы не человек, а собака? — грубо спрашивал Рогожин.

— Именно! — радостно говорил Кучумов. — Это будет так же реально, как и то, что ты волей своей мысли можешь считать себя богом, великим или ничтожным, счастливым или несчастным. Нужно только научиться управлять своим мышлением.

— А если я поддам вам пинком за то, что вы в моем уме — собака, смотритель меня потом в изолятор посадит?

— Посадит. Потому что я в его представлении человек плюс воспитатель, то есть, по условному понятию, для воспитанника личность неприкосновенная. Но ты можешь, сохранив свое представление обо мне и в силу этого, считать, что ты ударил не человека, а собаку.

— Зачем вы эту чепуху городите, Иннокентий Захарович? — печально говорил Рогожин.

Кучумов ежился, покашливал в тощий мохнатый кулачок и, испуганно озираясь, объяснял:

— Страшно, Володя, жить, очень страшно, и нужно искать хотя бы духовной свободы в самом себе, — и жалобно заявлял: — У меня, Володя, туберкулез: сгнили легкие. Я хотел во Владивосток уехать, а оттуда бежать в Японию. В Японии вишни цветут, как в Крыму.

— А вы вообразите, что наша черемуха и есть японская вишня.

— Пробовал, но слишком духовно ослабел. Не могу я больше быть в вашем сиротском доме: тюрьма.

— Ну какая же это тюрьма? — ласково улыбался Рогожин. — В тюрьме хуже, я знаю.

— Я говорю в духовном смысле! — И, вздрагивая щекой, Кучумов произносил злобно: — Я думал, что революция будет подобна землетрясению, где в мгновенной агонии погибнет весь старый мир и человек начнет новое, изначальное существование. А разве что-нибудь изменилось? Нет, свобода лежит не вне человека, а внутри его.

— Значит, бежать из приюта не надо?

— Зачем? Этот приют существует только как подобие окружающего мира. Формы рабства могут быть различными, но от формы суть ощущения не меняется.

— Расквашенный вы человек!

— Когда я был юношей, Володя, мне казалось, во мне есть нечто гениальное. Я писал картины, но они не имели успеха. Чтобы утешиться, я мечтал: когда-нибудь, лет через сто, обнаружат мои картины и будет постигнута буря моего бунта против современной мерзости существования.

— Да разве так бунтуют? Я видел, как на барже каторжане взбунтовались, цепями солдат били. Вот это люди!

— Я знаю, Володя, вы и здесь хотите толкнуть ребят на нечто подобное. Но поймите, они же дети!

— Дети? Когда видел, как у тебя на глазах отца убили или мать, старее старика станешь. А тут почти все такие.

— Да, я знаю, какие вы все здесь ожесточенные.

— Ничего вы не знаете. У нас тут артель — товарищество. Когда Чуркин собрался бежать, ему всем приютом сухари сушили. Больше двадцати человек в изоляторе держали, а никто не выдал.

— Обычные тюремные нравы. А этот ваш ужасный обычай обновлять свежаков?

— Отменили как старый режим. Вот Сапожкова не трогали. И, может, зря. Нам надо сразу узнать, каков человек, но мы его еще испытываем.

— А если б мальчик с моим складом ума и характера попал к вам, что бы вы с ним сделали?

— Вы, Иннокентий Захарович, фискалом бы стали от слабодушия...

Совсем другие отношения были у Рогожина со слесарем Долгополовым. Долгополов не уважал склонность Рогожина к резьбе по дереву.

— Баловство! — говорил он сипло. — Украшательство! В самом простом кованом гвозде больше пользы, чем в твоём тетереве. Слесарь кто? Предмет производит на пользу человеку. Паровоз, в нём сколько лошадиных сил? Сто троек заменит. Вот, брат, где вершины дела человека. Потому настоящий рабочий такой гордый. Он знает: без него полная остановка жизни. По пятому году мы спознали свою силу, и не в драке с войсками, драка что! А вот как всеобщую в Красноярске закатали! Хожу по городу и горжусь. Поезда стоят, заводишки тоже. В окнах темно. Керосина не подвезли. Товары на пристани кучей лежат. Вот, думаю, чего мы, рабочие, значим. От нас жизнь идет. Раньше так не понимал, не гордился. Царя обожал. Всю фамилию его возле иконы развесил. На старшего сына донос сделал, когда он стал в кружок бегать. В «Союзе русского народа» состоял. А когда в мастерских последние бои вели, уже в шестом годе, пришел, говорю: «Дайте ружьишко». Дали. Ну, пострелял в карателей. После судили: кого расстреляли, кого на каторгу. А мне снисхождение сделали: донос на сына вспомнили и про союз тоже. В своём навозе обвалынный я из тюрьмы вышел. Других ведь, настоящих, они убили. Пошел по Сибири место искать. Осел в затоне у вас, а и сюда слушок, как я сына предал, дошел. Ребята на меня как сквозь стекло глядят, не замечают, что я человек тоже. В запой меня кидать стало. В приюте у вас прибежище нашел. Вроде как сам себя в тюрьму посадил. И ты мою боль на всю жизнь запомни: нет человеку прощения, если он от своих, как собака за костью, на сторону кидается...

— Дядя Вася, а ты скажи по-честному: будет настоящая революция?

— Дура! Кто ж такую глупость спрашивает? Ты не гляди, кто сейчас наверх залез, ты гляди, кто под ними всю землю раскачивает. На Косначевке, слышал, что началось? Пошла брюхатая баба до своего мужика обед нести. А ее к шахте не допустили. И еще, значит, солдат зашиб. Она лапти кверху. А чего дальше? А дальше кто из охраны не убежал, тех в ствол шахты покидали. Туда-сюда, мужичишки из деревень на подмогу подошли. Теперь у них Совет правит. Пуржит, сейчас военную экспедицию не пошлешь. А как погода наладится — значит, бои у них там будут. Город в тревоге, войска вызвали. Говорят, управа наше приютское помещение под солдат освобождать будет. А сирот, — того, на все четыре стороны, а может, в бараки из-под мобилизованных. Вот вам и воля с другой стороны пришла. Хошь — жиганствуй, хошь — в люди нанимайся. Ваша свобода!

— Солдат вместо нас поселят?

— А чего? Помещение емкое, ежели его топить как следует, жить можно. Тебе, Володька, житуха открытая по мебельному делу. Можешь большую деньгу колупнуть. Сначала внаем, тебя всякий возьмет, а потом и свое заведение откроешь. Я к тебе по субботам после бани буду заходить. Как, поднесешь старику или взащей?

— Выходит, солдаты постоят, а потом косначевских бить пойдут?

— Такая служба у них, — уныло сказал Долгополов.

— Что ж такое получается? Нам счастье, а косначевским горе?

— Кому что.

— А если мы не уйдем?

— Да кто из вас свою волю губить захочет? Нет, Володька, ты это брось. Вот, скажем, в прошлом году вы кладовую обобрали и воспитателя ночью в спальне били. На это ребят собрать можно. А если двери настежь, кого удержишь? Каждый приютский в бега метит. Чуркин ваш как бежал? Через сточную канаву. А если б не заделали канавы решеткой, и другие вслед пошли бы. Не удержишь. Да и покидают вас отсюда солдаты, как солому. Так что вот с праздничком тебя и всю вашу компанию.

— А вы куда же?

— Может, на Косначевку подамся. Умою с ними свою совесть в беде.

Весть о том, что часть ребят отпускают на волю, а остальных переведут временно в бараки, быстро распространилась среди приютских. И Тима теперь думал только о том, как бы скорее вырваться отсюда и потом разыскать мать или отца.

Но случилось вот что. Огузок, готовясь к воле, спрятал под нарами сухие пластины столярного клея, рассчитывая продать их на базаре. Воспитатель Чижев обнаружил этот клей. Всех воспитанников построили в коридоре. Чижев вывалил клей из наволочки на пол, постучал пластинкой о пластинку и спросил, ехидно улыбаясь:

— Почему фунт, а? Ну, что рты замкнули? Если ворует, знай цену. А продешевишь, обидно будет. Небашковитый, вижу, вор. Товару здесь на полтинник. Глупый, значит, вор. Ну, кто из вас дурее всех, сказывайте! Ну, что рыжие глаза воротишь? — ядовито спросил он Сухова. — Не бойся, знаю! Ты что-нибудь другое, ценой выше подцепил бы.

Потом приказал Тумбе выйти из строя, оглядел со всех сторон, похлопал по широкому плечу и заявил ласково:

— Ты не вор, из тебя грабитель будет. Но только скажи, что с тем сделать, кто под твоё спальное место краденое подсунил? Артельно это или как? Чего с таким сделать надо, как ты прикидываешь? — и, потирая руки, пятясь к двери, Чижев сказал, ухмыляясь: — Может, сами без меня побеседуете?

Воспитанники угрюмо молчали.

— Ну что ж, тогда пойдем с вами дальше. Сапожков! А ну, выйди ко мне, голубчик! Скажи, как следует поступить с вором, который подбросил под чужое спальное место сворованное? Ведь не ты же вор, хотя под твоим спальным местом найдено. Подумай, что нам следует сделать с вором, если вор, скажем к примеру, — Огузок. Твой папаша за свободу население мутит — значит, вот тебе свобода. Выбирай: либо все вы трое воры, или Огузка нужно проучить за то, что подкинул, и за то, что сейчас свою крысиную рожу отвернул, будто он ни при чем. Отвечай по своей совести, кого в изолятор совать?

— А клей разве ваш? Вы его варили?

Чижев, потирая руки, будто они у него озябли, подошел к Тиме вплотную и прошептал ласково:

— Сгниешь в изоляторе, дура, — наклонился ухом к губам Тимы и, кивая головой, сказал громко: — Ну вот, так и надо было! Значит, Огузок своровал?

— Врете! — крикнул в ужасе Тима и, обращаясь к ше-

ренге ребят, еще громче закричал: — Врет он! Я ничего ему не говорил!

— Макеев, — приказал Чижев, — спровадь этого первым.

Ухватив Тиму за плечо, сторож почти поволок его по ступеням. В подвале прошли мимо остывшей печи, где варили клей, потом между ларей с картошкой. Открыв низенькую дверцу, Макеев толкнул Тиму в густую, как деготь, темноту, щелкнул засовом, и сразу со всех сторон навалилась на него тяжелая тишина.

Пол был земляной, мокрый, кирпичные стены источали холод. Едко воняло нечистотами. Тима решил: буду стоять. И он стоял очень долго, потом опустился на корточки. Сидел на подогнутой ноге. Менял ноги. Все тело болело. Он опустился на пол, чувствуя, как холодная сырость пропитывает одежду.

Мама, смеясь, рассказывала Тиме, что когда он был маленьким, всегда спрашивал: «Сегодня что: завтра или вчера? А почему нельзя сделать завтра сегодня? Ночь — это когда сплю? А если я не стану спать, тогда завтра не будет?» И теперь он не знал, что сейчас: сегодня или завтра, день или ночь, а может, уже послезавтра, и все ушли из приюта — кто на волю, а кто в бараки, — а его забыли. И он умрет здесь взаперти.

Опершись спиной о дверку, он бил ее пятками, но удары были глухими, словно вязкая темнота душила все звуки. Какое-то время он метался в бешенстве, потом молил, плакал, ползал, искал кусок стекла, думая, что здесь его можно найти. А потом пришло безразличное изнеможение, будто темнота заполнила голову, пропитала все тело, и он сам стал частью этого зловонного, гниющего мрака. Он уже не мог сидеть и лежал, обессиленный, на земляном полу. Тело его застыло. И только пальцы с содранными ногтями и разбитые о дверь пятки горели.

Когда Макеев открыл дверь, Тима даже не поднял с пола головы. Потом он плелся на подгибающихся ногах вверх по лестнице, не имея сил даже для того, чтобы понять, почувствовать, что он уже не в изоляторе. Он лег на свой сенник, забыв, что лучше лечь на доски и накрыться сенником, а когда вспомнил, у него не было воли встать и сделать это.

От желтого мерцания ночника в глазах плавали едкие маслянистые пятна. Пришел Тумба; аккуратно сложив одежду в изголовье, забрался на нары и, оглядев Тиму, сказал сердито:

— Ты чего загваздался, как боров? Вот фефела! Нашарил бы кирпичи у стенки и сидел бы на них, как царь на троне.

— Какой сегодня день? — стонуше спросил Тима.

— Думаешь, нас до завтра продержали? — ухмыльнулся Тумба. — Это только с первого раза там все долго кажется. Сегодня — еще сегодня. Понял? В первую смену сторожей выпустили нас. А ты что унылый, крыс испугался?

— Нет, там крыс не было.

— Есть такие дураки, которые с собой в изолятор еду прихватывают. Тогда только знай отмахивайся. В самый рот лезут. — Блаженно потягиваясь под сенником, Тумба произнес задумчиво: — Завтра решать будем. Если Огузок с умыслом под нас клей подсунул — побьем, а если по жадности — я об него руки марать не стану.

Утром Тима обнаружил на столе во время завтрака лишнюю пайку хлеба, а в бумажке лежала кучка обломков сахара.

— Пользуйся, ничего. Артельно собрали, — объяснил Тумба.

Когда заправили котлы, Огузок деловито отозвал Тумбу и Тиму к поленнице дров и, вытерев рукавом пот с бледного, тощего лица, зажмурился и предложил:

— Валяйте сразу, чего уж там тянуть...

— Значит, подкинул? — зло спросил Тумба и отступил на шаг.

— Бей. Разговор после.

— Нет! Ты скажи, когда спрашивают.

Губы Огузка задрожали, щека стала дергаться, и он, весь съежившись, хрипло спросил:

— Значит, не хотите по-хорошему, когда сам подставляюсь?

— Ты отвечай!

— А ты поверишь?

— Говори, там видно будет.

— Я почему под ваши места клей положил, — жалобно сказал Огузок, — другие, если найдут, сопрут, а вы, думал, честные. У себя-то прятать не могу: мое место верхнее.

— Ну как, — строго спросил Тумба, — будем его учить или так отпустим?

Тима, кроме жалости, к Огузку ничего не испытывал.

Тумба махнул рукой и сказал Огузку презрительно:

— Ладно, ступай, чего было, того не было.

— Ребята.— тонким, дрожащим голосом воскликнул Огузок,— я же вам теперь на любую услугу!

— Ступай,— угрюмо повторил Тумба,— что ты вихляешься! — и пригрозил: — А то передумаем.

Вечером спальни обходил Рогожин. Садился на пары и, пристально глядя в лицо каждому своими зеленоватыми, как ягоды крыжовника, глазами, спрашивал:

— Про волю знаешь? А то, что солдаты здесь поживут, а после пойдут косначевских стрелять, этого ты не знаешь? Так вот: если трусишь, уходи; если артельный, оставайся. Ну как, с нами или мимо? Значит, давай руку и обзывайся.

Всю ночь в спальне шли разговоры:

— А кормить нас кто будет?

— Хлебные пайки прятать!

— На сколько их хватит?

— Из ларей картошку заберем, будем в печах печь.

— А если нас силком вышибать будут?

— Дровами двери завалим.

— Это снаружи. А изнутри воспитатели?

— А мы их в изолятор загоним.

— У Силы Андреевича револьвер.

— Был... — сказал Гололобов, подмигнув хитрым золотистым глазом.— Я у него полы вчера мыл. Нет у него больше револьвера.

— А нас после в острог.

— Тю! Да в тюрьме хуже нашего, что ли? Только надо, чтоб каждый при всех обозвался, что согласный.

— Может, с пальца помазаться?

— Давай с пальца.

— Ребята, у кого стекло есть?

— Кирпичей бы натаскать, чтобы отбиваться в случае чего.

— Воды принести. С реки в бочке не привезут.

— Ты шепотом ори, а то воспитатель услышит.

— А ты мне в рот пальцы не суй!

— А ты не разевай его шире рожки!

— Тихо! — приказал Рогожин.— Тихо! И чтобы больше даже меж собой об этом ни полслова. С хористами не якшаться. Их Мефодий все равно растрясет и выведает, чего ему надо. Теперь вот о чем думайте: может, силой нас отсюда вышибать и не станут. В городе и так заваруха... Начинать с нами суматоху, может, им не к чему. Но башка у них тоже есть, они хитростью нас отсюда выживать будут. Так вот, чтобы без комитета никто и ничего.

— Пусть комитет всем объявится.

— Нет, — сердито сказал Тумба. — Не надо объявляться. Забыли Тишкова?

— Правильно, обождем до времени. Хлюзда какая-нибудь всегда найдется.

А в пятницу вечером воспитатели объявили, что приютские получают отпускные билеты на субботу и воскресенье. За эти дни в приюте будет произведена дезинфекция. Если дезинфекция затянется, те, кому негде ночевать, явятся в казарменный городок, в третий и четвертый бараки. Всем уходящим в город выдаются талоны в Торговую баню и билеты в синематограф «Пьеро», где будут показаны картины с участием Макса Линдера. Талоны и билеты выдает за воротами на руки каждому воспитатель Кучумов.

Никогда никто из воспитанников не подвергался столь соблазнительному искушению сладостной, праздничной жизни. Никогда никто из них даже не помышлял о том, что избавление от приютского заключения может быть таким скорым и легким. Никогда никто из них не был в синематографе, и только хористы видели в доме Мачухина сеанс волшебного фонаря. Никогда никто из приютских — цинготных, золотушных — не мылся в настоящей бане. Они ходили в сомовские бани только зимой, и то поздно вечером, после всех посетителей, когда пар превращался в сырой, промозглый туман и из бочек вместо горячей текла чуть теплая вода, с каждой шайкой все холоднее. Помывшись, они были обязаны потом вымыть внутри всю баню.

И вот отказаться от этих необычайных радостей, отказаться ради того, чтобы самим продлить свое приютское заключение, и не просто продлить, а еще бороться за то, чтобы не выбросили отсюда, — сколько же для этого нужно было недетских душевных сил, преданности товариществу, мужества!

И когда жалким шепотом, глотая слезы, Огузок уговаривал Тумбу отпустить его хоть одним глазком глянуть на Макса Линдера, клятвенно обещая после вернуться, у Тумбы не подымалась на него рука. И когда Огузок молил: «Я же на заимку в тайгу уйду. У меня там дядька, должен я ему про город чего сказать или как? Отпустите, ребята!» — никто не смеялся над Огузком.

А Иоська печально и мечтательно говорил:

— После пара с меня болячки сходят, и я спать могу. А так ночи не сплю, скоблюсь до крови.

И никто грубо не прикрикнул на него. Все бродили по спальням и коридорам мрачные, подавленные, растерянные.

Даже Тумба шепотом расспрашивал Тиму: из чего делают живые картины, и правда ли, что, как свет погасят, на стене настоящие дома показываются, люди? И все как на самом деле?

Тима был в смятении. Он может уйти так легко и просто и больше, возможно, никогда не встретится с этими ребятами. Он будет ходить по городу до тех пор, пока не найдет тех, кто скажет ему, где мама. Ведь она очень мучается, ничего не зная о Тиме. Только ради мамы он должен выбраться из приюта. А если все прямо и честно сказать Рогожину? Нет, Рогожин не согласится. Он, наверное, начнет спрашивать ребят, согласны ли они отпустить Тиму. Но ведь другие тоже хотят уйти не меньше, чем он. А вдруг никто не уйдет, а уйдет только один Тима, и Рыжиков узнает, что ребята не пустили солдат в приют и только Тима не участвовал в этом, что тогда скажет Рыжиков? Однажды Рыжиков сказал хорошо одетому рослому человеку с нарядной золотистой бородкой: «Партии не нужны трусы! А билет сдайте мне». У человека лицо стало серым, как гороховый кисель. Он не мог даже расстегнуть пуговиц пальто дрожащими пальцами. И Рыжиков помог ему. Когда этот человек уходил, все отворачивались от него. Потом Рыжиков сказал брезгливо: «Какой подлец!»

И вот Рыжиков скажет маме: «Ваш Тима — подлец»

Рогожин сидел на нарах, молчал, грыз ногти и исподлобья, пытливо и тревожно поглядывал на ребят.

Вошел воспитатель Чижов. Суетливо потирая руки и нервно моргая, приказал:

— Всем разом не лезть. Спокойненько, по одному. Ступайте во двор. Выходной билет и прочее там получите.

И стало очень тихо. Никто не решался глядеть в глаза товарищу.

— Ну! — крикнул визгливо Чижов. — Ошалели с радости? — и отступил от двери, словно боясь, что толпа ребят сразу бросится к выходу.

Но никто не двинулся с места. И вдруг в этой тягостной тишине прозвучал голос самого робкого и хилого из воспитанников, Витьки Сухова:

- Я, Аркадий Евсеевич, в город не пойду.
- Это почему же?
- Меня ребята со Спасской улицы побить обещались.
- А ты на Спасскую не ходи.
- У меня там тетя.
- Так ты, дурак, к тете не ходи.

— А она обидится.

— Ты, Стрепухов, чего рожу воротишь? Тебя же год за ворота не выпускали?

— А чего я в городе не видел?

— Ты что, дубина, задумал?

— Дубина не скотина,— нагло ухмыляясь, огрызнулся Стрепухов.— Мы тут с Гололобовым лучше в шашки сыграем.

— Что, Гололобов, тебя тоже подговорили?

— Меня, Аркадий Евсеевич, Чумичка обещал басню с выражением научить читать, так я с ним порепетирую.

— Чумичка, у тебя же мать есть. Она каждое воскресенье возле приюта стоит, в окна смотрит, а ты что же, негодяй?

— Не хочу зря расстраиваться.

— Чурка ты бесчувственная! А у тебя, Махавер, что?

— Брюхо болит, Аркадий Евсеевич, сил нет. Аж ноги отнимаются.

— Иоська, почему отпускной билет не берешь?

— Так в город с ним идти надо, а я пешком не люблю. На извозчике бы.

— Вы все тут в заговоре?

— Что вы, Аркадий Евсеевич, мы очень даже желаем.

Но ведь холодно, озябнешь на улице-то.

— Да у вас здесь разве теплее?

— А вы будьте добреньки, Аркадий Евсеевич, прикажите протопить.

— Ну, вот что, субчики, кто вас здесь замутил, разбираться сейчас не буду. Не хотите добром уходить, не надо. Но предупреждаю! Дезинфекцию мы устроим. Посмотрим, как вы, серы нанюхавшись, забастовочку свою продолжать будете. Посмотрим.— Пригладив ладонями височки, Чижев склонил голову, будто собираясь бодаться, и, глядя угрожающе исподлобья, крикнул визгливо: — Ну, в последний раз спрашиваю? Идете? Нет? Отлично!

И Чижев, злорадно улыбаясь, исчез за дверью.

Конечно, Витька Сухов хорошо придумал играть дурачка перед Чижевым, многих увлекла эта дерзкая игра. Очень здорово они его выпроводили. Но слушать, как громко хлопают внизу двери, зная, что кто-то уходит из приюта,— это было невыносимо.

Никто уже не смеялся, не хвастал, как здорово отбрил воспитателя, сидели молча.

Первым, крадучись, поплелся к двери Огузок. Он сказал шепотом, ни к кому не обращаясь:

— Я погляжу тока,— и вышел в коридор.

Тумба вскочил, но Рогожин сказал тихо:

— Не надо, пусть. Ну его к черту!

Ушли хористы. Вывели малолетних, они шли парами, чинно держась за руки... Воспитатели выносили свое имущество, только сторожа оставались на местах.

— Володька! — лихо крикнул Гололобов. — Собьем за-сов в кладовой, там же сало, сахар.

— Сиди, пока не спрашивают! — сурово приказал Рогожин. Потом он встал, поднял свою кудрявую голову и торжественно заявил: — Чтобы всем в ответе не быть, вот вам комитет: значит, я, Тумба и Стась. И вот мы прямо говорим: кто хлюздит, иди. Иди безопасно, трогать не будем. Но если потом трусить станете, жалости не будет. Вот. Ну, кто хочет, ступай!

Встал рыхлый, большеголовый мальчик с бельмом на глазу по прозвищу «Тетеха».

— Ребята,— сказал он вяло,— боюсь я,— и, озираясь, повторил: — Я по чести говорю: боюсь. Отпустите, а?

Рогожин обвел всех взглядом и спросил:

— Ну что?

— Пусть катится!

— Спасибо,— пробормотал Тетеха, мелкими, вороватыми шажками пробираясь к двери.

— Еще кто найдется вроде Тетехи? — спросил Рогожин. — Нет? Ну, тогда конец. А теперь, Гололобов, пошли в кладовую. А ты тут за порядком смотри! — кивнул он Стасю.

Тиме правился Стась Болеславский.

Худой, болезненный, с усталыми светлыми глазами на длинном, бледном, всегда спокойном лице, он говорил протяжно:

— Мой отец умер в тюрьме нарочно от голоду, после того как узнал, что кто-то из друзей посмел написать от его имени прошение царю о помиловании. — И Стась предупреждал: — Смотри, я тоже гордый и никому не позволю оскорблять себя.

Действительно, даже старший воспитатель Чижов прекращал брань, когда вдруг встречался с его ненавидящим, бесстрашным, упорным взглядом.

И сейчас Стась сохранял свое обычное спокойствие: прислонившись спиной к стойке, подпиравшей верхние нары, сложив на груди руки, медленно, отдельно и гордо говорил:

— Пусть меня потом пошлют в помещичью экономию

или даже посадят в тюрьму. Я теперь не сирота какой-нибудь, знаю, что такое настоящее товарищество, что такое один за всех и все за одного. Отец рассказывал: когда в Варшаве расстреляли повстанцев, весь народ носил по ним траур. Если мы погибнем, по нас тоже будут носить траур.

— А ты людей не запугивай! — рассердился Тумба.

— Я не запугиваю, — спокойно сказал Стась. — Я просто говорю, что даже погибнуть в борьбе — это очень красиво.

Вернувшись из кладовой, Рогожин заявил:

— Еды, ребята, много. Но сейчас хватать никому ничего не позволю. И вот что! Давайте занятие устроим. Заскочит кто из начальства, а мы тихие, ну и уберется обратно спокойненько. А к ночи двери дровами завалим. Сапожков, — приказал он, — читай, чего хочешь, вслух. И чтоб всем слушать. — Переспросил грозно: — Понятно?

К середине дня по лестницам приюта затопали сапогами санитары дезинфекционного отряда, одетые поверх полушубков в серые халаты. Отворачивая лица, они несли в руках жестяные тазы с песком, где лежали желтые бруски серы, кипящие синим пламенем и источающие едкий, угарный чад.

Поставив тазы в спальнях, в коридоре, в кухне, в столовой, в мастерских, санитары ушли.

Сначала только щипало глаза и першило в горле, но потом словно все стало больно съезживаться внутри, и в глазах поплыли нефтяные радужные пятна. Будто не воздух, а едкие колющие железные опилки наполняли легкие. Даже на верхних нарах дышать было нечем. Кто-то истощным голосом завопил:

— Пропадаем! Бей стекла! Спасайся, ребята!

Стали бить стекла табуретками. Холодный, пресный воздух хлынул из окон, как вода из родника. Ребята лезли на плечи друг другу, чтобы вдохнуть этот чистый воздух, толкались, оттаскивали один другого. И эта злая возня у окон перешла в драку.

Рогожин крикнул:

— Разойдись! — и швырнул таз с серой и песком в окно.

То же сделали Тумба и Гололобов. Но они забыли, что на окнах решетки. Ударившись о решетки, тазы с серой упали на нары; загорелись тюфяки, набитые соломой.

Ребята кинулись к дверям, но здесь их встретил Тумба с табуреткой, поднятой над головой.

— Хоть брюхом гаши. Никого не выпущу! Совай серу сквозь решетку.

— Ее же в руку не возьмешь, она вся кипит, сволочь!

— Вали сенники на пол, затапывай ногами!

— Тащи сюда парашу!

Чумичка, прижавшись к решетке лицом, кричал на улицу:

— Спасите, милые, горим!

Сухов злобно крутил ему уши и уговаривал:

— Брось орать, брось.

И только один Стась — долговязый, меланхоличный — сохранял спокойствие. Обмотав руку портянкой, он осторожно брал куски серы, аккуратно, методично просовывал их сквозь решетку и просил:

— Не пужно кричать мне под руку. Не суйте тазы под самую физиономию...

Скоро Стась, обеспамятев, свалился. Его сменил Гололобов. Потом у окна встал Тима, позже — Сухов.

Рогожин отрядил по двое ребят в другие помещения выбрасывать серу на улицу. И хотя почти все окна были выбиты и сера выброшена, сизый, едкий, угарный газ еще долго жирным туманом висел в воздухе. Все провоняло им, даже питьевая вода. Конечно, многим ребятам случалось угорать, но такой боли в голове, в груди, в глазах еще не испытывал никто. Многих уже рвало кровью.

Лежали, обессиленные, на верхних нарах, головой к разбитым окнам, с открытыми ртами. Но потом к мукам отравления сернистым угаром прибавился холод. Все посинели, дрожали, но отползти от окон не было сил, да и не хватало смелости расстаться с чистым воздухом.

И только Рогожин, Тумба и Гололобов бухали внизу дровами, заваливая входные двери. Потом, поднявшись наверх, они заткнули разбитые окна тюфяками и затопили печь.

Иоська, дуя на обожженные пальцы, иронически рассуждал:

— Теперь никто не скажет: ты золотушный. Теперь скажут: ты погорелец. Это же все-таки лучше.

И хотя в печи испеклась картошка, а на доске лежали крупно нарезанные куски нутряного сала, добытого в кладовой, и тут же стояли завернутые в синюю бумагу головы рафинада, никто не мог есть.

Наступила ночь. Рогожин приказал:

— Ложитесь все спать, я один буду караулить.

Но Иоська заявил:

— Я же себе все пальцы пожег. Разве с такой болью спать можно? — и тоже остался дежурить.

Тима тоже обжег пальцы, но от слабости, от тошноты и головной боли он не мог даже приподняться на тюфяке. Его знобило и трясло.

Тумба накрыл Тиму вторым тюфяком и подоткнул с боков. Так это делала когда-то мама. Тима заплакал, но не от отчаяния, а от чувства умиления, нежности и гордости. Значит, товарищи признали его, хотя он ничего особенного не совершил, а был только таким, как все.

Пришел медленный, осторожный рассвет. Стойки на нарах покрылись инеем. Ребята жались к раскрытым дверцам печи и жадно пили чай, почти черный от обильной заварки. Ели промерзший хлеб, от которого ломило зубы.

Потом все перебрались в большую кухню, разожгли плиту, нажарили в больших противнях картошки и снова пили чай, высыпая прямо в рот из горсти сахарный песок.

Несколько раз сторожа пытались отбить двери, колотя по ним бревнами. Но двери были завалены изнутри, и от ударов только отлетала штукатурка со стен.

Рогожин, сверкая светлыми глазами, торжественно говорил:

— Вы что думаете, про нас никто не узнает? Узнают. Если где забастовка, так ее народ завсегда поддерживает.

— А у нас чё? — спрашивал Сухов. — Разве забастовки так делают?

— По-всякому, — объяснял Рогожин. — Законов на них нет, потому что все против законов. Главное — артельно действовать.

— А нас после стрелять не будут?

— Не-е, малолетних не стреляют.

— А за воровство казенных продуктов?

— Может, сначала в тюрьму, а потом в экономию сдадут, и все.

Играли в чехарду, потом нашли меховую шапку смотрятеля и стали пинать ее ногами. Что эта игра похожа на футбол, никто не знал. Придумали ее сами. Потом снова ели и пили чай. К ночи завалили прихожую возле дверей до самого потолка дровами, ларями из-под картофеля. Улеглись спать на полу в кухне, назначив пять человек дежурных. Среди ночи все проснулись от глухого гула.

— Стреляют! — испуганно сказал Гололобов. — Я звук знаю. На руднике так же палили.

— Может, по нас палят?

— Если б по нас палили, снаряды стучали бы об стенку.

— Холостыми страшат, — уверял Терентьев. — Отец сказывал: сначала они холостыми, а уж потом по-настоящему.

Вытащили тюфяк из окна. Где-то в городе шла стрельба, трещало так, словно кто-то железной палкой проводил по чугунному забору.

— Закрой окно, — попросил Иоська, — а то пуля влетит.

Окно снова заткнули тюфяком. Поставили в печь чайник, но, не дождавшись, пока вскипит вода, опять уснули.

В эту ночь Рогожин назначил Тиму дежурным. Завернувшись в одеяло, Тима сидел внизу и сторожил дверь, заваленную дровами. Было темно и холодно. У самых ног бежали озябшие мыши. Но Тима не боялся, а только жалел их и старался сидеть, не шелохнувшись.

И темноты он тоже совсем не боялся. Раньше боялся, а теперь нет.

Раньше он думал: самое страшное на свете — остаться без папы и мамы, без их любви, нежности, ласки. Разве может тебя кто-нибудь любить так, как они?

А вот оказалось, хоть это и совсем другое, но тоже без чего нельзя жить на свете — без человеческого товарищества. Вот, допустим, кинется на него сейчас из темноты что-нибудь очень страшное, крикнет Тима — и все ребята, как один, бросятся его спасать. Самое плохое — это потерять доверие товарищей.

Тумба, он грубый, а вот когда Тима лежал, зачоченев от холода, взял и подоткнул тюфяк, совсем как мама это делала с одеялом.

Стась — очень гордый, а признался:

— Знаешь, как вспомню свою мать ночью, так плачу, закушу зубами подушку и плачу. А ты?

— Я тоже, — сказал Тима, проникаясь благодарностью к Стасю за его такое сокровенное признание.

Рогожин задушевно сказал Тиме:

— Я понимаю. Тебе тяжелее всех оставаться с нами. Если б у меня были где-нибудь отец или мать, я бы не выдержал — убег. А ты смотри какой! Видать, у тебя родители — люди правдышние, раз они тебя выучили так товарищество уважать.

И Тима не мог не сознаться:

— А я ведь сначала думал уйти.

— Думал, — улыбнулся Рогожин. — Только дураки не думают. А ведь не ушел, об этом и речь.

Тихо, очень тихо, слышно даже, как мышцы топчутся.

Неужели все это было, и совсем не так давно: разбил дома нечаянно лампу, потом нарочно кринку, был на именинах у Ниночки, в госпитале в «Эдеме», жил у Яна, у Мустафы, выпустил с Яковом рыб из садка. А сом был огромный, как кит, с белой пастью и белыми усами в прозрачном водяном колодце...

И Тима вдруг ясно увидел, как сом, раскрыв пасть, медленно заглатывает скользкую луну, которая оказалась почему-то не на небе, а в воде.

— Спишь? — громко спросил его Тумба.

Тима оглянулся испуганно:

— Нет, мне только сейчас что-то померещилось.

— Тебя же Гололобов сменять должен; заметил бы, как носом клюешь, он бы тебе отвесил. А я ведь только так. Думаю, сидишь один, пойду припугну.

— Спасибо, — сказал Тима.

— Сам утись своим «спасибо», а мне оно ни к чему! — сердито заявил Тумба и, усаживаясь на дрова, предложил: — Ты иди, а у меня чирей болит, все равно не сплю. — И зло прикрикнул: — Ну, кому сказал!

И Тима пошел наверх, в кухню, где спали вповалку все приютские. Но заснуть он долго не мог, потому что был сильно взволнован. Ведь Тумба только вчера хвастал перед Иоськой, что у него никогда ни болячек, ни чирьев не бывает, потому что ест черемшу, и советовал то же делать Иоське. Вот какой он, Тумба: сказать ему об этом — рассердится и еще ударит, а вот с таким товарищем можно самого страшного на свете не бояться.

Глухо ныл ветер в трубе, и в отверстиях железной дверцы печи багрово мерцали меркнувшие угли.

Тима встал, открыл дверцу и, стараясь действовать бесшумно, положил в печь дрова. Скоро печь жарко разгорелась, стало совсем тепло, и с обледеневших подоконников начало мерно капать. Тима улегся и, бездумно прислушиваясь к мерному стуку капель об пол, заснул.

Утром всех разбудил глухой, сердитый голос сторожа Макеева. Он стоял на пожарной лестнице против окна и хрипло говорил:

— Эй, слушай, что скажу. В городе полная смена творится. Вы не бойтесь, ступайте отсюда. Пошла ихняя власть под горку.

Рогожин схватил обломанную стойку с нар, просунул ее сквозь решетку в окно и, наставляя на грудь Макеева, угрожающе крикнул:

— Слазь, а то спихну!

— Ладно, ладно, спускаюсь, — поспешно твердил Матеев, потом злобно крикнул снизу: — Я же к вам с добром, а вы так! Ну, ладно, арестантская команда, сидите себе, как суслики.

— В обход взять хочет, — хитро прищурился Гололобов. — Нас на такое не возьмешь. Только держись, ребята! Тут одной картошки на полную зиму, но сахар горстями жрать нечего. По совести черпай. Нам тут жить долго надо.

Черная, как вороний пух, липкая копоть кружилась в воздухе. Едко и кисло пахло еще сернистым газом. Оттого, что окна заткнули тюфяками, угрюмая темень стояла и днем. Тихо было в огромном здании. Никто больше не ломился в двери, никто не приходил уговаривать, и у всех возникло тоскливое ощущение заброшенности — тревожное чувство, что, может быть, в их бунте уже нет никакой необходимости и отсиживаются они здесь зря.

Даже Рогожин не мог скрывать больше своего беспокойства. Он часами стоял у окна, закутавшись в одеяло, и глядел, отодвинув немного тюфяк, на пустынную Сенную площадь, пытаясь отгадать, что происходит в городе.

Но стрельба больше не доносилась. Густо падал шерстистый снег, и в мягком шелесте его томительно и скучно мерцали вспученные от снегопада крыши окраинных лачуг.

Иоська, сидя на корточках у печки, протягивая к огню тощие длинные руки, говорил печально, нараспев:

— Вы думаете, нас, сирот, жалеют? Нет, стыдятся. Если бы, скажем, у нас родители законно поумирали от болезни, так это ничего, но их же поубивали или затолкали в тюрьму. А мы живы. Спросят: мальчик, где твой папа? Где? Убили по голове палкой. За что? А за что косначевских стреляли? Мы же чистый срам для людей. Поэтому нас всех и позапирали сюда. И не постыдятся снова куда-нибудь запихать. Почему нас сейчас не трогают? Стесняются. Публично драться с сиротами — это же скандал! Потом тихохонько спровадят в экономии и будут из нас делать дармовых батраков.

— Ну что ты ноешь? — раздраженно прикрикнул Гололобов. — И без тебя кисло.

— Я не ною, я рассуждаю, — спокойно сказал Иоська. Гололобов заявил:

— Сложить тюфяки в кучу, зажечь — и на все четыре стороны.

— Нет,— сказал Рогожин,— так нельзя.

— Боишься?

— Сбрендил?

— Ты своего отца чтишь? — спросил сурово Рогожин. — А когда по всему городу объявят: мол, видали, отцы их против власти шли, а эти дом зажгли, казенное имущество ограбили! Хорошо это будет?

— Мы с пустыми руками уйдем.

— А чем докажешь, когда все погорит?

— Больше я здесь тухнуть не согласный.

— Верно! Тикать надо.

— Поедим как следует и айда! — радостно предложил Стрепухов.

— Может, кому чего-нибудь прихватить позволите, на первое время разжиться,— жалобно попросил Чумичка.

— Разбирай завал у дверей, хватит.

Рогожин подошел к печке, пошарил в ней кочергой.

— Пока артельно не решим,— спокойно сказал он,— никто вниз не сунется.— И он встал у дверей; потом, оглянувшись через плечо на Тиму, сидящего на дровах и закутавшегося с головой в одеяло, спросил тихо: — А ты, Сапожков, хочешь домой?

— Хочу,— печально сказал Тима.

— А дом у тебя есть?

— Не знаю.

— Не знаешь, а хочешь, как же так?

— У меня в городе знакомые есть.

— Приютят?

— Не знаю.

— Вот и все не знают, куда деваться.

— Так что же, на поклон к воспитателям идти? Ты в какую сторону гнешь, Володька? — гневно воскликнул Тумба.

— Если б лето было, я бы разговора не поднимал,— осадил его Рогожин. — Намерзнутся, скитавшись, а потом поодиночке обратно, вот чего будет.

— А если своей артелью где-нибудь до весны продержаться? — спросил Гололобов.

— Вот я об этом и думаю,— сказал Рогожин. — Может, на Косначевку податься, там ребята на сортировке угля работают.

— Далеко не дойдем по зимней дороге, замерзнем.

— Заберем из вещевой кладовки одежду. Если побольше натянуть на себя и харчей прихватить, дотопаем.

— Правильно, Володька.

— А кто не хочет, тот сам по себе.

— Копанку для жилья сделаем, там все в копанках живут.

— А если спросят, откуда мы?

— Скажем, по назначению присланы. Мол, часть в экономию, а часть сюда.

— А они город запросят.

— А чего им запрашивать? От дармовых рабочих кто отказывается?

— А если там бастуют?

— А тут мы припремся.

— Тогда вот: пусть завтра с утра Тумба по городу походит, может, выведает чего. Вернется — решим.

— Лучше ты, Володька, ступай, ты головащее.

— Мне нельзя, я с вами.

Но когда утром откидали от дверей дрова, оказалось, что дверь снаружи заперта на засов. Кинулись в слесарную за инструментом — весь инструмент воспитатели увезли. Пробовали выбить в окне решетку поленьями, но решетки были крепко вмурованы в толстые каменные стены.

Вылезли через чердак на крышу. Рогожин попробовал спуститься вниз по водосточному желобу, но проржавленная труба сломалась, и его с трудом втащили обратно.

Подавленные, растерянные, ребята бродили по пустым помещениям приюта.

— Ладно, — сказал Рогожин. — Видно, без пожара нам не обойтись. Придется подпалить дверь, а подгоревшие доски отобьем поленьями. Но жечь буду я с Тумбой, чтобы аккуратно получилось, без большого пожара.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Рогожин и Тумба сложили у порога кучкой щепки и зажгли их. Все ребята стояли на лестнице и смотрели, как разгорается этот костерчик. Вдруг, когда пламя стало лизать дверные доски, кто-то со двора забарабанил по двери и крикнул:

— Эй, открывай!

Это было так неожиданно, так весело и по-свойски приказано, что Рогожин и Тумба стали затапывать горящие щепки. Но потом, засомневавшись, начали быстро заваливать выход дровами, и все в страхе помогали им. Поленья гулко бухали о двери. И что там во дворе кричали, не было слышно.

Забив снова весь коридор дровами, ребята кинулись вверх и прильнули к окнам. Но из окон не было видно, кто стоит внизу.

Но вот от стены дома отошел невидимый до этого человек. Остановился посреди двора и, приложив сложенные ладони ко рту, крикнул:

— Вы что, гольтепа, ошалели взаперти, что ли? Открой, говорят.

На голове человека была папаха из всклокоченного волчьего меха. На плече висела винтовка, и из рваного под мышками полушубка вылезала клочьями овчина.

Потом к нему подошел другой человек — квадратный, плечистый, в черном бушлате, перепоясанном солдатским ремнем, а на ремне, как маленький окорок, коричневая кобура пистолета. Этот человек также поднял голову к за-решеченным окнам и гулким басом спросил сердито:

— Вам еще кланяться нужно, что ли?

— Вы кто будете? — крикнул Рогожин.

— Ревком! — мощным голосом произнес человек.

— Попался, не подловишь! — ехидно завопил Гололобов. — Кто оттуда, тот на всю улицу орать об этом не будет.

— А почему? — раскатисто спросил человек. — Почему нам не орать, когда мы теперь власть? И можем вам уши еще оттрепать за сопротивление революционной власти.

— Поори, поори шибче! — крикнул Тумба. — Услышит кто, похлебаешь в тюрьме баланды.

— Вы, может, прятаться к нам прибежали? — озабоченно спросил Рогожин.

— Ну, пусть прятаться, — согласился человек.

— Тогда так и говори! — крикнул обрадованно Тумба. — Только снаружи запор отбейте, мы вас к себе пустим, пожалуйста.

— Отбили, — сказал человек.

Ребята, толкаясь, сбежали вниз и быстро разбросали дрова. Но Тумба все-таки предупредил:

— По кругляку возьмите на всякий случай, если обман, их двое, справимся.

Дверь открылась, и Тима сразу узнал: квадратный — это Капелюхин, а в рваном под мышками полушубке — пимокат Якушкин. Тима радостно закричал:

— Ребята, я их знаю! Они настоящие!

Капелюхин, нахмурившись, оглядел Тиму, потом сказал, сощурив глаза:

— Ведь Сапожков, а?

— Где мама, вы знаете?

— Вот видали его? — насмешливо спросил Капелюхин. — Сразу — где мама, а еще герой... Варвара Николаевна терзалась, терзалась да в нарушение приказа комитета стала бегать по городу как оглашенная, сына искать. Ну, контрразведка ее и прихватила.

— Она в тюрьме?

— Сейчас в тюрьме одни мыши остались, — гордо заявил Капелюхин. — Всех освободили в один момент. Представим тебя мамаше, не беспокойся.

Расхаживая по приюту, Капелюхин крутил головой и говорил укоризненно:

— Ну и запаковали вы, ребята, помещение, ай-яй-яй. Старший-то у вас был?

— Я, — сказал Рогожин и смущенно потупил глаза.

— Что ж ты революционной дисциплины внушить им не мог! Куда ни ступи — кожура картошки. Сахар на полу рассыпан. Казенные матрацы пожгли. Стекла на сколько рублей поколотили. Разве так неаккуратно бунтовать следует?

— Мы это не от озорства, — тихо сказал Рогожин.

— Ну там с чего, после расскажете, а сейчас давай сядем и подумаем, куда вас девать теперь. На сем месте оставлять нельзя — скотный двор.

— Дяденька, а вы нас отпустить насовсем можете? — кротко спросил Сухов.

— Это куда же?

— А так, кто куда.

Капелюхин задумался, потом заявил решительно:

— Нет, не пойдет. Надо вас к новой жизни пристроить основательно.

— Значит, в барак стоните?

— Зачем в барак, нужно помещение хорошее пригладеть. Что же, мы такие бедные, что и буржуев у нас нет? Может, махухинский флигелек присмотрим или у Пичугина особняк — тоже ничего.

— Да вас дворник Леонтьев ка-ак шуганет! Он револьвера не испугается.

— Дворник — это, конечно, начальство сейчас большое, но мы его уговорим, дворника. Посулим чего-нибудь.

— Зачем вы над нами смеетесь? — обиженно спросил Иоська.

— Я, мальчик, не смеюсь, а радуюсь, — строго сказал Капелюхин. — Радуюсь, что революция столько хороших дел сразу сотворить очень просто может. В городе знаете кто? Полная власть пролетариата — рабочих и крестьян.

Мы, конечно, задержались маленечко после Питера и Москвы, но ничего: к чему шли, к тому пришли.

— Вы как про нас узнали?

— Мальчонка в ревком пришел. Огузков его фамилия.

— Это не фамилия, а прозвище — Огузок.

— Ну, это все равно, как его там зовут, только он всех за полы хватал. Сразу толком ничего объяснить не мог. А как поняли, ну и пришли.

— Это вы ночью стреляли?

— И мы, и в нас. Обоюдно, как водится. Значит, так, ребята. Давайте от себя тройку. У нас теперь, как чего, сразу тройку. Мы по городу ходим, помещение подходящее подыщем, а остальным все здесь прибрать, чтобы полный порядок был. К вечеру переселим.

— А нельзя, чтобы вместо наших живодеров вы воспитателями остались? Будьте добры, дяденька. А мы все вас, как солдаты, будем слушать, — взволнованно попросил Чумичка. — Верно, ребята?

— Спасибо за доверие, — сказал Капелюхин, скручивая задрожавшими от волнения пальцами сигарку. — Только в воспитатели я не гожусь. Мы вам кого пообразованнее сыщем.

— Не надо нам образованного, вы идите.

— Вы что же, дураками расти хотите? — сердито спросил Капелюхин. — Революции обученные люди требуются. И чтобы такие слова глупые вам забыть. Понятно? Ну, кто у вас тройка, давай пошли.

— У нас комитет.

— Ну, давай сюда комитет, раз вы такие уж организованные.

К Капелюхину подошли Рогожин, Тумба и Стась. Капелюхин торжественно пожал каждому мальчику руку и отрекомендовался:

— Капелюхин с ревкома, — подумав, добавил: — Бывший механик с затона. Ну, пошли!

И когда уже подошли к дверям, Тима отчаянно крикнул:

— А как же я?

— А ты что, комитет? — прикрикнул на него Тумба.

— Обожди. Так нельзя. Давай обсудим парня, — сказал Капелюхин и, обращаясь ко всем ребятам, заявил: — Вот об этом пареньке мать очень страдает. Не знает она, куда он подевался. Конечно, до вечера он здесь может побыть, не скиснет, да мать его жалко. Но вы сами решайте. А я тут ни при чем.

— Монетой метнуть, да?

— Эх вы, отставшие! Давайте на голосование: кто согласен отпустить, кверху руки. Так... А кто теперь против? Ну, четверо против остальных. Называется, при подавляющем большинстве. Значит, пусть идет.

— А двери нам после вас снова дровами завалить?

— Нет надобности. Только вы полы помойте, ребята.

— А где воды взять?

— Река под носом.

— Можно и на реку ходить?

— Ну, я вижу, и бестолковые вы! — рассердился Капелюхин. — Придется с вами после митинг проводить, чтобы все права растолковать.

Когда вышли во двор, из приюта раздалось запоздалое «ура». Якушкин спросил опасливо:

— Может, они с радости какую шкodu учинят?

— Нет, — сказал Капелюхин, — с радости люди глупостей не допускают. С горя, да, бывает.

Снегопад кончился. Сухой, лучистый блеск исходил от рыхлого, словно вспененного, снежного покрова. Уминаясь под ногами, снег хрящевато хрустел. Кротко светило блеклое голубое небо. Засыпанный снегом город выглядел чистеньким, опрятным, тихим. На перекрестках у костров грелись люди с винтовками за плечами, и многие из них уважительно здоровались с Капелюхиным. Возле сомовской бани стояла очередь солдат. Капелюхин подошел к ним прикурить и осведомился:

— Вы что же, ребята, в Торговую не пошли?

Молоденький веснушчатый солдат сказал конфузливо:

— Там сейчас Красная гвардия моется.

— А вы кто?

— Из второго замороченного батальона, который не сразу к своим примкнул, — бодро ответил солдатик.

— Ну, тогда правильно, — согласился Капелюхин.

Переходя по хлипким доскам, перекинутым через дымящуюся помоями канаву, Капелюхин пробормотал укоризненно:

— Заразу посреди города какую развели! Нужно в Совете сказать, чтобы досок отпустили и гвоздей. А жителям присоветовать забить канаву досками, — и весело спросил Рогожина: — Слышал, чего я удумал? Правильно?

Подошли к дому Мачухина. Но Капелюхин вдруг усомнился:

— Без мандата, ребята, нельзя. Вроде самоуправство. Придется в Совет топать.

Совет помещался теперь в здании городской управы. Какой-то лысый человек в телячьей куртке отстукал с трудом, одним пальцем, Капелюхину бумажку. Протянув ее, сказал:

— Бери. Но только она недействительная.

— Это почему же?

— Печати нет.

— У кого же печать?

— Ни у кого. Изаксон еще делает.

— А где Осип Давыдович?

— В типографии.

— Может, без печати сойдет?

— Нельзя. И номер исходящий надо. Сорок шесть будет. После сам простишь.

— Видал? — довольно подмигнул Рогожину Капелюхин. — На все номер кладут, чтобы беспорядка никакого не было. И печать требуется. А я еще револьвер со вчерашней пальбы не чистил. Вот как крепко сразу за свою власть взялись.

В подвальном этаже бывшей редакции «Северной жизни», склонившись над верстачком, что-то царапал тонким шильцем Изаксон.

— Осип Давыдович, давай печатку, — крикнул еще издали Капелюхин.

— Вам как еще прикажете, прямо-таки с собой в бумажку завернуть? — не подымая головы, иронически спросил Изаксон. Потом закричал возмущенно: — Печать с революционным гербом могу выдать только председателю Совета товарищу Рыжикову!

— Осип, — униженно попросил Капелюхин. — Ты только на нее дыхни и сюда вот пришепни. Я ее даже в руки брать не буду, если нельзя. Гляди, ребята ждут. Им помещение для жизни предоставить надо.

Изаксон озабоченно поправил на носу очки в железной оправе и, склонив по-петушиному голову, посмотрел в ту сторону, куда показывал рукой Капелюхин.

— Тима! — внезапно жалобно воскликнул Изаксон. — Мой мальчик! — и вдруг, отталкивая от себя нечто невидимое, с горечью произнес: — Нет, нет, не подходи ко мне, жестокий человек. Забыть меня, старика, когда я столько искал тебя...

— Я не забыл, — взволнованно сказал Тима. — Меня в приют посадили. А где мама?

— Твоя мама придет сюда только вечером. Она сейчас сидит на телеграфе и принимает из самого Петрограда

декреты Совета Народных Комиссаров. И если б даже произошло землетрясение, она не смеет отлучиться оттуда даже на пять минут. На проводе у нее товарищ Бонч-Бруевич. А утром, ты знаешь, что было утром? Утром товарищ Ленин уже знал не только про наш город, но и про всю губернию.

— А где папа?

— В тюрьме.

— Так почему вы его не освободите оттуда? — в отчаянии закричал Тима.

— Я извиняюсь! Неточно сказал: он временный помощник начальника городской тюрьмы, только и всего. Твой папа часто попадал в тюрьму, у него есть опыт, вот его и назначили. Только и всего.

— Тогда я пойду к папе.

— Он пойдет к папе! — пожал плечами Изаксон. — Теперешнее тюремное начальство должно само добывать заключенных. Он сейчас воюет с остатками офицерского отряда. Офицеры засели в мужском монастыре. Там же здоровые кирпичные стены!

— Так что же мне делать?

— А почему ты не спрашиваешь про Яна!

— Ну, я хочу тогда к Яну.

— Он хочет к товарищу Яну — военному комиссару города! А у того сейчас только и делов, чтобы поить тебя рыбьим жиром и учить гимнастическим упражнениям. Нельзя к Яну: ему некогда.

— Осип Давыдыч, дай печать, — нетерпеливо сказал Капелюхин.

— О печати не может быть и речи.

— Тогда я пойду так. — И Капелюхин, дернув сердито плечом, приказал: — Пошли, ребята.

Тима остался. Но когда уже захлопнулась стеклянная дверь типографии, он не выдержал и сказал мечтательно улыбающемуся Изаксону:

— Я вечером приду. Скажите маме — я целый, — и бросился догонять Капелюхина.

Сам Мачухин открыл им дверь. Поверх нижнего белья на нем была огромная мохнатая шуба, ноги засунуты в фетровые ботинки с расстегнутыми застежками. Нижняя мокрая губа расслабленно свисала, а глаза были сивые, мутные.

— Пожаловали, — произнес он хрипло, еле двигая язы-

ком. — Входите, — погладив всклокоченную бороду лиловой опухшей ладонью, торжествующе сообщил: — А я душу вином гащу. Значит, грабить пришли? Будьте любезны. Вот мой чертог, обитель, так сказать. Это трапезная. А тут, вы хоть выражение морды смените, молельня. Почивальня. Двухспальная — карельская береза. А я на ей, как сиротка, второй десяток лет один. Преставилась супруга. — Смахнув с бороды слезу, открыл дверь в следующую комнату, глухо сказал: — А это, думал, помру, городу сдам, на просвещение поколений. Все, что о Сибири написано, собрал. Каждый переплет — полтинник. На растопку товарищи, конечно, пустят. В прах из трубы развеют. Глобус на крыше кирпичами расколотят. — Тяжело опустившись в кресло, застряв в нем толстыми бабьими боками, он вдруг жалобно попросил: — Пододвиньте кто графинчик, а то под сердцем засосало. — Выпив из старинного, радужного стекла, стаканчика, спросил: — Выходит, ваша взяла. Тэ-кс... Значит, имущество брать будете?

— Гражданин, — с достоинством заявил Капелюхин. — Я к вам с мандатом. Вот.

Мачухин держал между пухлых пальцев бумажку и глядел на нее бессмысленными глазами.

Капелюхин деликатно пояснил:

— Мандат. Законно машинкой отпечатан. Но пока не действует — поскольку без печати.

— Антихристовой? — спросил Мачухин.

— Давайте без выражений, — сурово предупредил Капелюхин. — Значит, мы пока с предварительным осмотром к вам.

— Дверь как, запирать или нараспашку оставить? — вяло спросил Мачухин, с трудом волоча ноги. — Мне теперь все едино. Бери, хватай! Конец свету наступил, крушение!

— Быстро вы на корню подгнили, гражданин Мачухин.

— Горе свалило, горе, — сказал Мачухин. — Стала на дыбки Россия, — и, хитро подмигивая заплывшим воспаленным глазом, спросил: — Ты думаешь, я из тех, кто ныл, что хам грядет. Не-ет. Я народ знаю. Мы его круто мяли, а он нас за то еще шибче сомнет. Потому горе в вине топлю, что все понимаю и чую себя, как муха осенняя, но неохота за открытую злобу на старости лет в вашем остроге доживать. Вот какой я неглупый! Потому покорно говорю: берите, нате. Вот ключи все на стол выложил.

Мачухинские апартаменты не понравились Капелюхину: комнат много, а все вроде кладовок — темные, тесные. Решил: нужно поискать помещение попросторнее.

Иначе было у Пичугина. Он вышел навстречу в косоворотке, в болотных сапогах. Держа руку в кармане, спросил сразу:

— Что, с обыском? Нет? Зачем пожаловали? Помещение? Ваш мандат? — И, возвращая мандат, сказал с торжествующей ухмылкой: — Липа! Ни печати, ни подписи! — Вытащив из кармана руку с револьвером, нацелив на живот Капелюхина, предупредил: — Принимаю вас как грабителей, буду стрелять и могу без предупреждения.

Сзади Пичугина появился поджарый человек с пробормом посредине головы, в такой же, как на Пичугине, сатиновой косоворотке, но в офицерских галифе и армейских сапогах. Он держал руку за спиной.

— Ребята, — сказал озабоченно Капелюхин. — Выйдите-ка отсюда на улицу. Я тут по секрету побеседую. — И, видя, что мальчики колеблются, прикрикнул: — Ну, кому сказано?

Вышли на улицу, как велел Капелюхин. Прошло несколько томительных минут. Рогожин подошел к двери и стал дергать ее: дверь оказалась запертой изнутри. Он начал колотить дверь ногами, пикто не открывал.

— Бежим, — сказал Тумба, — до рабочих и солдат. Они же теперь на всех перекрестках стоят.

Действительно, мальчики скоро наткнулись на красногвардейский патруль. Красногвардейцы выломали замок двери и ворвались в пичугинский дом. В коридоре валялся с прижатыми к животу руками человек в офицерских галифе, а в огромной столовой среди опрокинутой мебели они нашли Капелюхина, лежащего на Пичугине. Лица обонх были в крови.

Подымаясь, Капелюхин сказал со вздохом облегчения:

— Здоровый, черт. Слышу: стучат, а слезть с него не могу. Я его держу, а он меня. Крепкий. Если б я из-под его ног половичок не дернул вовремя, он бы мне сразу башку прострелил, а так споткнулся и промазал. По самому черепу пуля скользнула. Сначала, как поленом, огрела. Если б не моя ловкость, лежать бы мне теперь вверх брюхом.

Пичугина держали за руки. Но потом отпустили. Тяжело дыша, он сел на стул и, положив ногу на ногу, нагло улыбаясь, сказал красногвардейцам:

— Благодарю, товарищи! Вы спасли мне жизнь, — и, указывая пальцем на Капелюхина, заявил: — Он пришел меня грабить, я, конечно, был вынужден защищаться.

— А это кто? — спросил красногвардеец, наклоняясь над человеком в офицерских галифе.

Пичугин пожал плечами.

— Возможно, из их шайки. Я слишком взволнован. Прощу меня сейчас оставить в покое.

— А вот дойдете до комиссара города, по дороге остынете, успокоитесь, — сказал вежливо старший из красногвардейцев и ехидно попросил: — А который тут из трех ваш пистолетик? Будьте любезны, покажите пальчиком. — Потом он приказал одному из красногвардейцев: — Козлов, поищи у покойника документки.

Ян Витол сидел за большим столом. Его лоб и шея были забинтованы, и он не мог повернуть головы. Пристально глядя на Пичугина маленькими, светлыми, пронзительными глазами, держа в руках документы человека в офицерских галифе, он спросил усталым голосом:

— Значит, помощника начальника контрразведки укрывали?

— Не укрывал, а принял у себя в доме, — спокойно и с достоинством сказал Пичугин.

— Допустим. Значит, это он сдал вам на хранение ящик лимонок?

— Я не знал, что в ящике гранаты.

— А вот эти письма, адресованные иностранному подданному Дэвиссону, вашей рукой написаны?

— Они носят чисто коммерческий характер. Это мой компаньон по приискам и некоторой части рудников, а также лесных владений.

— Понятно. Но вот списочек тут приложен членов ревкома...

— Это частная информация.

— Была, — сурово сказал Витол, вставая. — А теперь мы рассматриваем это как передачу шпионских сведений о нашей державе иностранной державе и будем вас судить как шпиона.

— Позвольте, о какой державе может идти речь? Ну, пришла к власти вместо временной коалиции другая партия. Это же еще не государство. Любой юрист опровергнет такое обвинение.

— Вас будет судить народный трибунал Российской Социалистической Республики. — И, не оборачиваясь, Ян приказал громко: — Товарищ Сапожков, препроводите арестованного.

Из соседней комнаты вышел папа Тимы, близоруко вглядываясь в лица людей, спросил озабоченно:

— Простите! Кто арестованный?

— Папа,— закричал Тима,— папочка! — и бросился на шею отцу.

Но отец, растерянно бормоча, не решался обнять сына, только гладил его лицо дрожащими пальцами:

— Тима, голубчик, это такое счастье, что ты нашелся! Но, понимаешь, сейчас ужасно неудобно. Ты извини, но я занят, так сказать...

— Мальчик,— грозно сказал Витол,— отойди в сторону.— Распишитесь в получении арестованного,— приказал он отцу,— и выполняйте! Все остальное потом.

Обратившись к Капелюхину, строго спросил:

— А вы чье поручение выполняли, явившись к Пичугину?

Молча кивая головой, Витол терпеливо слушал сбивчивый и взволнованный рассказ Капелюхина. Потом спросил:

— Так вы уверены, что это помещение вам подходит?

— Да вроде да,— смущенно сказал Капелюхин.— Не обсмотрел все внимательно. Но когда бегал я за ним,— видал, помещение обширное. А когда под ним лежал, заметил, потолки высокие, атмосферы много.

— Значит, вы это помещение именем Совета рабочих и крестьянских депутатов предлагаете конфисковать для сиротского дома, я вас так понял? — медленно и значительно выговаривая каждое слово, спросил торжественно Витол.

— Именно так,— согласился Капелюхин.— Только вы, товарищ Витол, печатку мне на мандат поставьте, если имеете, конечно, чтобы я по закону все мог обернуть.

— Печать у меня есть, и очень красивая,— похвастался Витол.— Мне ее уже давно преподнес Осип Давыдович: он всегда твердо верил в то, что у нас будет военно-революционная комендатура.

Достав из кармана портсигар, Ян вынул оттуда завернутую в тряпочку печать,дохнул на нее и приложил к истерзанной бумажке. Потом спросил:

— Как будет называться ваш новый дом?

— Обыкновенно — сиротский приют.

— Нет, это не подходит,— брезгливо поморщился Ян.— Нехорошие слова, надо другие. Ну, мальчики, вам жить, ваше предложение?

— Дом свободы,— сказал Рогожин.

— Нет, это пышно.

— Счастливый приют,— сказал Тумба.

— Нет, сентиментально.

— Школа труда,— сказал Стась.

— Нет, это не школа, а дом. Но Дом труда у нас уже есть. Ты? — глядя без улыбки на Тиму, спросил Витол.

— Может, детский сад?

— Нет, это когда маленькие.

— А назовем детский дом. И точка,— сказал Капелюхин.

— Серьезно, но мало. Нужно так,— задумчиво произнес Витол,— детский дом номер один. Это значит, что таких домов будет много. Ну, как? Одобрили? Дай бумагу, я напишу на мандате название.

И, наклоняясь, морщась от боли, Витол написал бережно: «Вышеупомянутое помещение передать на вечное владение «Детскому дому № 1».

— А теперь,— сказал Витол Тиме,— подойди ко мне, мой мальчик, и я обниму тебя, пока за тобой не пришли твои папа и мама.

Когда Витол выпрямился, на повязке его проступила кровь.

— Это ничего,— сказал он, слабо улыбаясь,— я очень полнокровный. Немножко даже полезно.

Он налил из цинкового бачка воды в жестяную кружку и медленно, с наслаждением глотал, поглядывая на мальчиков веселыми светлыми глазами.

— Мы знаем про вас,— пожимая каждому руку, сказал он им на прощание.— Вы хорошие товарищи. Благодаря вам второй батальон расселили в железнодорожной казарме, и нам очень легко было их разоружить. Я буду ходить скоро в детский дом номер один в гости.— А Тиме он сказал: — Ты останься, я уже послал за твоей мамой. Будешь сидеть здесь и ждать.

Все ребята по очереди попрощались с Тимой, а он, едва сдерживая слезы, словно извиняясь в чем-то, говорил каждому:

— Я все равно приду. Только вы понимаете...

— Понимаем,— сказал Рогожин.

— Ты все-таки приходи,— попросил Тумба.— Я же твой ручатель. Мне все про тебя интересно будет...

— Ну вот, ты уже и счастливый,— сказал Стась. Потом Ян долго крутил ручку телефона и говорил:

— Барышня, будьте любезны, дайте мне тюрьму. Это кто у телефона? Говорит Ян Витол. Слушай, я неофициально буду говорить. Отпусти своего помощника. Сегодня у него сын нашелся. Ну, да, Тима. Кого отпустить? Тебя? Что такое? Надо же кому-нибудь там сидеть, то есть не

сидеть, а сажать врагов. Что? Не умеешь? Сапожков тоже не умеет. Каждого о здоровье спрашивает. Но это ничего, он медик. Арестанты смеются? Пусть! Нет, ты это оставь. Столько в тюрьмах сидел! Значит, плохо сидел, теперь учись. А Сапожкова учить мы не будем, он с завтрашнего дня — заведующий городского народного здоровья. Почему не сегодня? Товарищ Рыжиков еще решение не подписал...

Потом Витол ходил по истертым каменным плитам старинной гранильни, занятой под военную комендатуру, и, застенчиво улыбаясь, говорил дежурным красногвардейцам:

— Сейчас надо строить новый мир. В борьбе со старым миром русский пролетариат уже накопил гигантский исторический революционный опыт. Но строить новый мир — это очень не просто. Завтра мы должны пустить две фабрики, мельницы, подвезти топливо в город, на железную дорогу, снабдить тысячи людей продуктами, наладить нормальную работу всех необходимых учреждений. Нужно много людей, которые возглавят все это, — и, обращаясь к Тиме, спросил: — Ты знаешь, кто твоя мама? Директор телеграфа. Когда-то ее партия поставила работать телефонисткой, чтобы подслушивала разговоры охраны. И она спасла нескольких товарищей. А теперь она плачет в телефонную трубку, жалуется, что ее не слушаются телефонные барышни. Твой отец — помощник начальника тюрьмы! Бывший контрразведчик пожаловался на «резь в желудке», и твой папа явился к нему в камеру с кружкой Эсмарха. Косначев морочит всем голову и просит позволения устроить на площади мистерию, изображающую взятие Бастилии. Он хочет быть создателем нового театра. А нам нужны в газете его боевые фельетоны. А Эсфири Рыжиков сообщил, что она назначена начальником всех хлебных и фуражных складов города. Эсфирь за две ночи взяла на учет все до последнего фунта. Ты понимаешь, как это важно? Хлеб! Завтра мы отсылаем первый эшелон хлеба в Россию. И знаешь, кого я пошлю комиссаром эшелона? Капелюхина. Это крепкий человек. Косначев говорит, что революция — это красота, и требует, чтобы мы устроили иллюминацию в городе. А Эсфирь не дает ему керосина. И правильно, керосин нужно дать людям. Зачем, чтобы на улицах был свет, а в домах темнота? А он, знаешь, как обозвал меня? Этим ползучим, как его... — Ян нетерпеливо защелкал пальцами.

— Гадом, — подсказал Тима.

— Нет, вспомнил, — эмпириком. Но это у Косначева

одно и то же. Я не могу обижаться. Он особый человек. Пишет стихи.

Ввалилась группа красногвардейцев.

— Товарищ комиссар, вот поймали кобринского племянника. Гляди, чего он кидал через забор в хлебные склады. Как шлепнется об землю, так горит.

Тима узнал этого человека по длинной, как кишка, шее. Это был юнкер, которого Капелюхин на митинге спрашивал: «Где пролив Дарданеллы?»

Витол сел за стол, положил перед собой листок бумаги и спросил жестяным голосом:

— Ваша фамилия? Занятие? Предупреждаю, за ложные показания будете привлекаться к особой ответственности судом Народного трибунала...

Тима вышел из комендатуры и сел на ступени крыльца.

Над головой, замирая от высоты, трепетали звезды. А с земли навстречу небу голубым пламенем сверкал снег, будто освещенный изнутри.

Вздымая стеклянную снежную пыль, подъехало много саней, запряженных парами и тройками. В них сидели и лежали люди с винтовками. Из передних саней вышел человек и скомандовал:

— Без приказа никуда! А я мигом. — И прошел в комендатуру. На поясе у этого человека висела длинная драгунская сабля. Тима узнал его — это был Анакудинов. Но он не остановил Анакудинова.

Он увидел, как по тротуару торопливой походкой шла мама. Она была обвязана серой шалью, но на голове прежняя потертая круглая каракулевая шапочка.

— Мама! — крикнул Тима. Но мама, вместо того чтобы идти навстречу Тиме, почему-то остановилась, начала развязывать шаль и вдруг медленно опустилась на землю.

— Мама, мамочка! Что с тобой? Ты больная?

— Нет, я просто немножко поскользнулась, — жалобно проговорила мама и, бросив на снег варежки, трогала лицо Тимы, как-то недоверчиво, нерешительно и слабо улыбаясь. Потом она спросила: — Я даже не верю, я такая счастливая. Неужели это ты?

— Да я же, я... мамочка, — твердил Тима.

Мама подошла к ступеням комендатуры, села и, жадно глядя на Тиму, произнесла с отчаянием:

— Нет, я не могу никак еще поверить!

Подошел отец и смущенно сказал:

— Ну, здравствуй! Понимаешь, я первый раз, как тебя увидел, даже растерялся.

— Слушай, Петр,— заявила торжественно мама.— Я хочу, чтобы сегодня мы были вместе.

— Да, да, я больше от вас ни к кому не пойду,— горячо сказал Тима.

Отец озабоченно спросил маму:

— К тебе можно?

— Ну что ты, Петр, я сплю там на столе в аппаратной.

Отец сконфуженно сказал:

— У меня есть кабинет, но я его сегодня уступил. Видишь ли, у нас только девять арестованных. Топить весь корпус нецелесообразно. Ну, так вот...

— Куда же нам деваться?

— Но у нас же есть квартира.

— У нас квартира?

— Я имею в виду квартиру в Банном переулке. Мы же внесли вперед, когда Тима жил один. Возможно, ее никто не занял.

Был уже второй час ночи, небо светлело и будто всасывало в себя звезды. А снег стал зеленоватого цвета, такого же нежного, как небо. Отец пошарил в щели за дверным наличником и сказал удивленно:

— Смотри, ключ на месте.

Открыли дверь. Мама нашла в печной нише спички. Зажгла. Прошла в комнату, чиркнула новую спичку, потом взяла со стола лампу, налила керосин, зажгла фитиль,дохнула в стекло и вставила его в горелку. Комната осветилась.

Не было керосинки, швейной машины, не было многих вещей. Но стоял стол, железные кровати и, главное, лампа, хотя и без абажура. Голая и некрасивая, она все-таки светила, и иней по углам блистал рыбьей чешуей.

— Я затоплю печь,— сказал папа.

Мама обхватила Тиму руками, прижалась лицом к его лицу и сказала шепотом:

— Ты весь мой. Вот я трогаю тебя, а все не могу поверить.

— И мне всё, как во сне...— сознался Тима.

— Петр,— спросила мама,— это ничего, что я так ослабела от счастья?

Тима проснулся оттого, что кто-то в кухне громко говорил:

— Так точно, товарищ помощник начальника, вызывают.

Папа вошел на цыпочках в комнату, наклонился к маме и стал что-то шептать. Мама сказала сонно:

— Ах, Петр, ты мне все лицо своей щетиной поцарапал! — Потом произнесла тихо, покорно: — Я понимаю. Иди. Только возьми мой теплый платок. Ужасно смотреть на твою голую шею.

Папа пощекотал усами Тимину щеку, сказал:

— Спи, мальчик,— посоветовал: — Лучше всего на правом боку.— И ушел.

А на рассвете пришел другой человек, уже за мамой. Мама старалась одеваться бесшумно, думала, что Тима спит.

Но Тима не спал. Он смотрел, как осторожно движется по комнате мама, — вот такой же она виделась ему всегда во сне, как в тумане. Когда Тима силился разглядеть ее лицо, она вдруг вся расплывалась, исчезала. И он лежал, стараясь не шевелиться, тоскливо думал: вот она сейчас тоже уйдет — исчезнет, как всегда исчезала во сне, и он снова останется один.

Мама подошла к Тиме. Тима зажмурил глаза. Мама вздохнула и, положив легкую руку ему на плечо, произнесла нежно:

— Тим, Тимочка!

Тима открыл глаза и с трудом улыбнулся маме. Ему вовсе не хотелось улыбаться, но улыбнулся он для того, чтобы маме было легче уйти. Ведь она все равно должна уйти, потому что это всегдашнее «так надо» властвует над папой, и над мамой, и над всеми, кто с ними.

— Ты иди, ничего,— мужественно разрешил Тима.

Мама погладила Тиму по щеке, поводила по его лицу теплыми губами и со вздохом сказала:

— Ты уже взрослым становишься, да? Понимаешь, как нам трудно.— И уже обычным своим озабоченным голосом продолжала: — На подоконнике кошелка, там крупа, сало, хлеб и немножечко сахара в фунтике. Ты покушаешь, хорошо?

— Ладно. Иди уж.— Тима произнес эти слова нарочно грубовато и снисходительно, увидев, как на глаза мамы, на нижние веки, вдруг набежали слезы, и, чтобы самому не заплакать, повернулся лицом к стене.— Иди. Я спать буду.

Мама подоткнула вокруг Тимы одеяло и, еще раз протяжно вздохнув, проговорила жалобно:

— Я постараюсь прийти еще сегодня.— Потом нерешительно добавила: — Может, даже папа придет.

Но Тима, зажмутив глаза, молчал. Зачем мучить маму? Ведь он знал, когда мама так обещает прийти домой, увидеть ее снова удастся обычно очень не скоро.

По-мышинному пискнув заиндеветыми петлями, закрылась дверь, и Тима опять остался один.

Но как бы там ни было, обещанная папой, мамой и Рыжиковым революция произошла.

Почти полночи сегодня папа и мама говорили об этой революции.

Папа рассказывал, как он участвовал в штурме мужского монастыря, где засел офицерский батальон. Папа сказал:

— В Петрограде рабочие и солдаты Зимний дворец брали, а мы здесь — мужской монастырь. Но это для нас, сибиряков, тоже исторический момент.

Тима заметил: отец впервые назвал себя сибиряком.

Когда отец упомянул имя Ленина, Тима, вспомнив, что ему говорил Копытов, заявил маме:

— Это очень хороший человек, он себе даже имя такое нарочно выбрал, чтобы всегда все помнили, как при старом режиме трудящихся людей зазря убивали, чтобы таких случаев никогда на свете больше не было.

— Значит, у вас в приюте среди учителей и передовые люди были? — наивно спросила мама.

— Нет, — с чувством превосходства сказал Тима. — Учителя там все вроде жандармов. Это я сам узнал. — И, смутившись, объяснил: — Мне Копытов еще в деревне Лениным хвастал, а он самый злой мужик в Колупаевке, никого зря хвалить не станет.

Потом отец сказал Тиме:

— Знаешь, когда мы пытались взять мужской монастырь, нам помог удивительно смелый мальчик. Перелез незамеченным через каменный забор, пробрался к монастырским воротам, бросил в офицеров гранату и, хотя его тяжело ранили, открыл железный засов на воротах, и мы тогда ворвались.

— А кто этот мальчик?

— Говорят, из тайги с партизанами Анакудинова пришел, мне его увидеть не удалось.

— А он жив?

— Не знаю. Отвезли в больницу к Андросову. Павел Андреевич — отличный хирург, будем надеяться. — И отец стал рассказывать с гордостью, как отважно дрались с офицерами рабочие с затона и мельниц, а также слободские мастеровые. Разводя удивленно руками, отец сказал маме: — Представь, Федор какой умица оказался. Это, соб-

ственно, он руководил всем штурмом. Великолепный стратег! Полковник, которого мы там взяли, и тот потом в тюрьме мне Федора хвалил: «Никогда, говорит, не полагал, что так тактически грамотно атаковать нас мужичье будет». Спросил: «Нельзя ли узнать, кто ими командовал?»

Мама рассказывала, как она волновалась, когда на телеграфе принимала из Петрограда декреты о мире и о земле, и как она, взволнованная, выскочила на балкон, держа пук телеграфных лент, и стала читать по ним декреты, и как сотни людей стояли внизу и слушали в тишине. А мама чуть не отморозила себе уши, так как забыла даже накинуть платок.

Папа, протирая вспотевшие очки, взволнованно сказал маме:

— Представь себе, декреты вручили мне написанными от руки в тот момент, когда я пробирался в казарму к солдатам второго батальона, чтобы убедить их перейти на нашу сторону... Ты сама понимаешь, какое историческое и жизненное значение имеют для народа эти великие документы. Естественно, я счел целесообразным прочесть их солдатам. Они уже выстроились с оружием во дворе казармы, но я успел вовремя, выбежал перед ними и объявил: «Товарищи, одну минуту, прослушайте, пожалуйста, великие документы, подписанные Лениным...» Стал читать, вижу боковым зрением: бросился офицер к пулемету. Конечно, испытываю очень неприятное ощущение. Но солдаты схватили офицера за руки и кричат мне: «Читай, читай дальше!» И вот дочитал до конца — молчат, потом свалка у них началась, стали офицеров обезоруживать. Тут все обошлось как нельзя лучше.

— А когда ты читал декреты, ты ничего не заметил? — спросила мама каким-то странным голосом.

— Вообще момент исторический, — смущенно пробормотал отец, — но я старался сосредоточиться только на тексте.

— И не узнал моего почерка! — обиделась мама. — Ведь это же я для вас переписывала срочно по приказу Рыжикова.

— Представь, Варенька, не узнал, — смутился отец. И извиняющимся тоном объяснил: — Понимаешь, очень волновался. Прости, пожалуйста. Читаю, а сам все-таки думаю, вдруг кто-нибудь выстрелит. Вполне естественная в таких условиях раздвоенность сознания. Словом, нервничал. Я ведь, знаешь, не всегда вполне умею владеть собой.

— Значит, ты меня не так сильно любишь, — упрямо сказала мама и, вздохнув, заявила: — А я как услышу

запах карболки, так у меня сердце страшно начинает биться, словно ты где-то рядом...

— Ну, Варвара, — испуганно сказал отец, — разве можно делать такие поспешные выводы? Я ведь твой наперсток с собой носил. Вот видишь... — И отец показал руку с растопыренными пальцами. На безымянном был мамин серебряный наперсток.

Мама расхохоталась и стала целовать папу в запавшие щеки. А отец счастливо ежился и бормотал:

— Ну-ну, вот видишь, я тоже не чужд сантиментов.

А Тима снисходительно думал о своих родителях: «Странные они все-таки люди. То друг перед другом такие строгие, непреклонные: «Комитет велел», «Комитет приказал», — а то вот — нате! — расстраиваются оттого, что будто бы папа о маме не думал, когда его убить свободно могли. Словно нельзя обойтись без этих телячьих нежностей. Нет, наверно, все-таки они не настоящие революционеры. Разве правильно спрашивать с человека, когда он на врагов идет, чтобы про любовь думал? Нет, — утешился Тима, — они это просто так, шутили. И никакая любовь им вовсе сейчас не интересна. Главное сейчас, чтобы мама над телефонными барышнями настоящей начальницей стала, а папа перед арестованными не срамился, держал бы их строго, как полагается. Все-таки не умеют они еще начальниками настоящими быть...» — И, обеспокоенный этой мыслью, Тима сказал родителям:

— Вы бы лучше спать ложились. А то завтра сонные плохо работать будете.

— Правильно, — поспешно согласился отец и погасил лампу.

Но уснуть ему не удалось, так он и ушел на свою работу не выспавшийся.

Когда ушла и мама, Тима встал, затопил печь, сварил кашу, поел, убрал комнату, даже пол вымел... И затосковал, но уже не от одиночества, а оттого, что нечего было больше делать. Его охватило беспокойство. Сидеть одному и ждать родителей? Конечно, можно побродить по улицам. Но ведь Ян говорил, что всюду не хватает людей, столько у всех дел, чтобы устраивать новую жизнь, а Тима будет просто так гулять? Что с приютскими ребятами сейчас? Бросил он товарищей. Ведь они же его товарищи, как товарищи папы и мамы — Рыжиков, Федор, Эсфирь, Капелюхин. Так почему же он сейчас не с приютскими? Ему нужно быть с ними.

И, воодушевившись этим таким простым и радостным открытием, Тима написал на листке бумаги большими

печатными буквами: «Я в детском доме № 1», — чтобы в случае чего родители знали, где он. Положил бумагу на стол, оделся, запер дверь, засунул ключ в обычное место, в щель за дверным наличником, и отправился на Миллионную улицу к пичугинскому дому.

А до этого вот что произошло в детском доме № 1.

После того как приютские перебрались в большой пичугинский особняк, Капелюхин сказал им:

— Вы, ребята, устраивайтесь здесь спокойненько, словно у себя дома. — И приказал Рогожину: — Ты у них старший, ты и командуй, а я в Совет пойду за дальнейшими директивами насчет вашей новой жизни.

Какой должна быть эта новая жизнь, никто из ребят не знал. Поэтому слова Капелюхина «устраивайтесь, словно у себя дома» они поняли по-своему.

Под командой Рогожина они стали выносить пичугинское имущество в сарай и конюшню. Стаскивали туда стулья из красного дерева со спинками в виде лиры, огромные кресла с пузатыми сиденьями, шкафы из карельской березы, узорные ковры, кованые сундуки вывезли, взяв тачку у дворника. А сам дворник, долговязый, с горбатым сизым носом, растерянно бродил по пичугинской квартире и все время приговаривал:

— Вот это пасха, вот это будь здоров, господин Пичугин, ваше степенство!

— Ты что? — спросил его Рогожин. — Рад или притворяешься?

— Гляди: во! — Дворник разинул рот и показал беззубые десны. — Двор худо вымел — за это. — И обиженно заявил: — Не вам одним без них радость.

Картины в золоченых рамах и портреты родичей Пичугина снесли на чердак. Горшки с кустами роз, унизированных шипами — кривыми и острыми, словно кошачьи когти, фикусы в деревянных кадках и рододендроны с висящими, словно серые змейки, воздушными корнями вытащили в дворницкую.

Складывая пичугинскую обувь в плетенный из черемуховых ветвей короб, Огузок, вернувшийся к ребятам, прельстился кожаными шнурками с медными наконечниками на охотничьих австрийских ботинках. Выдернув шнурки, он запрятал их себе под рубаху. Но Сухов заметил и закричал испуганно:

— Ты что делаешь, ворюга? — и бросился на Огузка.

Огузка били скопом. Когда отпустили, он против своего обыкновения не стал обзывать своих обидчиков живодерами, а только сказал сердито:

— Вы мне скажите спасибо, что я попался. Другой не попадется. А нас потом всех за такое выгнать могут.— И предложил деловито: — Надо бы всех обыскать, что ли.

Ребята стали смеяться над Огузком, но Рогожин не смеялся. Он сказал задумчиво:

— Правильно Огузок говорит, нужно чего-нибудь придумать. Если не из нас кто, так дворник сопрет. А отвечать нам,— и приказал Стасю: — Давай все вещи записывай!

Усевшись в прихожей за круглым столиком, согнувшись напряженно, как велосипедист, Стась старательно выводил в толстой книге меж печатных строк: «Ложки вроде серебряные, маленькие 30, большие 20. Часы со звонком 1, без звонка 2. Баба с чернильницей золотая, а может, медная. Оленьи рога. Одежда 8. Чучела всякие 5. Шапки меховые 9, без 7. Одежи всякой 80. Шубы 10. Машинка с музыкой. Посуда 90. Ботинки со шнурками 11 пар. Лобзик 1...»

Рогожин, потный, взволнованный, с выступившими на лице красными пятнами, говорил, затыкая нажеванным хлебным мякишем отверстия в сундучных замках:

— Вот видали, чуть с маху не влипли. Верно. Спасибо Огузку: революция нам доверилась, а мы — шнурки воровать. Правильно сообразили — перепись устроить. По переписи всё Капелюхину сдадим. А пока сарай и каретник сторожить по очереди будем.

После того как все помещение было освобождено от пичугинского имущества, ребята притащили со двора доски и начали сооружать нары.

Работали всю ночь. К утру нары были готовы.

— Окна здесь здоровые,— хозяйски заявил Тумба,— будем баловаться, кокнем ненароком. А теперь сберегать надо казенное имущество. Давайте решетки делать!..

В огромную кафельную печь на кухне вмазали два чугунных котла, привезенных из приюта. Один для каши, другой для баланды.

Оглядывая помещение, Тумба с гордостью говорил:

— Все в точности, как полагается, сделали. Придет этот Капелюхин из ревкома, вот подивится порядочку!

Но пришел не Капелюхин, а Рыжиков.

И хотя у Рыжикова торчала из кармана телячьей куртки рукоять нагана, ребята встретили его не очень приветливо.

— Вы кто будете? — осведомился Рогожин, недоверчиво разглядывая аккуратно подстриженную бородку и брезентовый засаленный портфель, который Рыжиков держал под мышкой.

— Во-первых, здравствуйте, — сказал Рыжиков.

— Ну, здравствуйте, — нехотя ответил Рогожин.

— Это что же такое будет? — поблескивая голубыми глазами, спросил Рыжиков, кивая головой на нары. И насмешливо улыбнулся: — Похоже на тюремное помещение. Если вы его для контрреволюционеров оборудовали, тогда ничего, может вполне сойти. Конечно, спасибо за труд. Но у нас для них от старого режима остались специальные здания, значительно большей вместительности, чем требуется. — Помедлив, спросил: — Так кто ж вас тут попутал?

— Вы что, смеяться пришли?! — вызывающе крикнул Гололобов. — Так мы за такой смех можем вам поворот от ворот сделать. И нагана вашего не испугаемся!

— А сесть можно? — спросил Рыжиков.

— Садитесь, — согласился Рогожин.

Рыжиков сел на нары и, пытливо глядя в лица ребят, спросил:

— Выходит, вам нравится, как вы помещение для себя оборудовали?

— А чем плохо? — удивился Тумба. — Все как следует, — но, чувствуя что-то неладное, тревожно осведомился: — Может, нельзя было доски без спроса брать?

— Не в досках дело, — грустно промолвил Рыжиков.

— Ах, вы про вещи всякие беспокоитесь! — догадался Стась. — Думаете, чего-нибудь стащили? Нет, такого нету. Мы тут решили: хоть самое малое у кого найдут, бить артелью. Вот, пожалуйста, проверьте. — И Стась протянул Рыжикову том роскошного издания «Мужчина и женщина».

— Богатая книга! — усмехнулся Рыжиков.

— А вы на картинки не глядите. Вы прочтите в ней мою перепись.

— Так! Здорово! — с каким-то радостным изумлением говорил Рыжиков, листая страницы и просматривая записи Стася. Захлопнув книгу и бережно прижимая ее к груди, он произнес взволнованно: — Спасибо, товарищи, ну прямо большевистское спасибо! И как это вы сразу правильно свой революционный долг поняли. На учет все взять! Ведь с этого мы все сейчас начинать должны. Без этого народ правильно хозяйничать не может. Ну, молодцы!

— Если б я шнурки не спер, не догадались бы,— похвастался Огузок.— А то бы...

Но на него так цыкнули, что он сразу смолк и сконфуженно спрятался за чужие спины.

Ласково улыбаясь, Рыжиков попросил:

— Вы меня, товарищи, извините. Может, вначале оби-дел — посмеялся. У вас ведь, верно, все в приюте так было? А нам старое вот где сидит! — Он похлопал себя ладонью по худой шее.— Ломает народ сейчас все старое. Но сло-мать — это еще полдела. Надо сразу по-новому жизнь строить, а как? Вот вопрос. С этим вы и столкнулись. И по-лучилось не очень хорошо. Но я не в упрек. Нам всем очень трудно...— задумался, потом произнес уверенно: — Стар-ый мир, он сотни лет существовал. А новый? Великий народу труд предстоит,— и, потолкав рукой деревянную стойку, подпиравшую верхние нары, вдруг заявил восхи-щенно: — Крепко сделали — мастера, а вот почему нары? А может, что-нибудь другое?

— А чего надо было? — хмуро спросил Тумба.

— Топчаны хотя бы. Все-таки на топчанах спать лучше, чем на нарах.

— Это мы не догадались,— виновато признался Рого-жин.— Верно, топчаны лучше.

— А стулья почему вынесли?

— Слабые они. Спинки из жердочек: чуть ногой заде-нешь, раз — и нету,— пренебрежительно заявил Тумба.

— Зачем же на стул обязательно ногами становиться? Вещь хорошая, ее беречь надо. Потом, глядите, в стенах гвозди торчат. Некрасиво это.

— Мы их после повыдергасм.

— Гвозди-то от картин. Почему картины сняли? Не интересные, что ли?

— Там на одной лес очень здорово нарисован, совсем как правдышний.

— Ну вот, выходит, смотреть приятно, а вы — в сарай.

Рыжиков оглядел пол, спросил:

— Ковры были?

— Были,— печально сказал Рогожин,— тяжелые, еле вытащили.

— А ведь ковер, пожалуй, лучше, чем просто голый пол.

— Если по новой жизни нас выпускать на улицу теперь будут, загваздаем их ногами.

— Можно скребок на крылечке прибить, а в прихожей тряпку положить,— вот и будут ноги чистые.

— Это конечно, — вздохнул Рогожин.

— Потом печь в кухне разрушили. Вмазали котлы. Я смотрел, хорошо, как настоящие печники! Но кастрюлю некуда теперь поставить — плиты-то нет!

— А зачем кастрюлю?

— А вдруг третье блюдо, скажем кисель. В чем его сварить?

— Кисель тока на пасху и рождество — долго ждать! — уныло заметил Огузок.

— А если по воскресеньям варить, раз тут такие любители. Тогда как?

— Кисель! Это бы здорово!

— Шкафы все вынесли. Куда книги класть?

— А книг у нас нету.

— Нет, так будут.

— Тогда мы шкафы враз из сарая и принесем.

— Вот, ребята, видите, какая история получается, — проникновенно произнес Рыжиков. — Не подумали вы сами, какая у вас новая жизнь должна быть. Собрались бы обсудить, что ли, сначала.

— А как?

— Ну, помечтали б, как жить хотите. Что ж вы, мечтать не умеете?

— У нас Сухов здорово мечтает. Как начнет сказки врать, только держись.

— А вы по правде помечтайте. Про то, что на самом деле может быть.

— Неловко. Зачем же нам нахальничать, и так все здорово!

— Нет, ребята, мечтать нам всем надо. Без этого далеко не уйдешь. Нужно всегда цель видеть. Мы вот, большевики, всегда мечтаем и не стыдимся этого. Только так мечтаем, чтобы потом это на самом деле для всего народа сбылось.

Провожали Рыжикова гурьбой. Просили:

— Вы к нам заходите, не стесняйтесь. Про книги не забудьте!

Пришел Капелюхин. Осмотрев котлы в кухне, нары в комнатах, он остался очень доволен и заявил громко:

— Все правильно!

— Нет, неправильно! — ядовито сказал Тумба. — Это только для старого режима правильно. А мы должны всё по-новому делать, а не так, как было.

— Это как же? — смутился Капелюхин.

— А вот так, чтобы красиво.

— Смотри, как быстро всё понимать стали! — опасливо произнес Капелюхин и вдруг радостно ухмыльнулся: — Согласен. Верно! Гляжу — как казарма. Я тут, помню, о ковры спотыкался. — И сердито спросил: — Куда подевали, тащи обратно! И еще чего-нибудь для полного удовольствия.

Увидев Рогожина, Капелюхин протянул ему бумажку и, тыча в нее пальцем, попросил:

— Распишись. Восемь саженой дров привез со склада. Шесть мешков муки три нуля и два мешка картофельной. Товарищ Эсфирь сказала, чтобы кисель из нее варили.

Тима пришел в детский дом № 1, когда ребята выгружали дрова из саней. Увидев Тиму, Тумба крикнул:

— Становись в ряд, подхватывай! Видал, какие поленья — березовые!

Тима не заметил, чтобы его возвращение кого-нибудь удивило. Стась только спросил:

— Чего так долго не приходил? Боялся, наверно, думал: у нас все по-старому? Нет, теперь у нас тут коммуна, — и, смутившись, поправился: — Не совсем еще, но будет коммуна.

Сложив дрова в сарай, ребята сварили кашу и чинно расселись в столовой, и хотя здесь было, как и в приюте, — вместо столов настелены на козла доски, — зато ели они из тарелок, и не деревянными ложками, а мельхиоровыми, совсем похожими на серебряные.

Потом привезли книги. Ребята расставляли их по шкафам, а Стась переписывал названия в толстую тетрадь, которую подарил ему Капелюхин.

Совсем неожиданно в детском доме появился воспитатель Чижев. Моргая и потирая руки, он вошел в комнату, где укладывали книги, и прикрикнул как ни в чем не бывало:

— Товарищи, непорядок! Каждую книгу необходимо предварительно обернуть в бумагу. С книгами нужно обращаться бережно!

Ребята угрюмо отошли от шкафа.

Капелюхин согласился:

— Правильно, книги оберегать надо! — Но по глазам ребят он понял, что тут что-то неладно, вежливо спросил Чижева: — А вы, извините, кто будете?

— Старший воспитатель, — с достоинством отрекомендовался Чижев.

— Тэ-экс, — протянул Капелюхин, пристально разглядывая Чижова. — Значит, старший? А позвольте узнать, когда вы старшим стали: до или после?

— Не понимаю вашего вопроса, — пожал плечами Чижев.

— А чего тут понимать, вопрос ясный: до революции или после, — усмехнулся Капелюхин. — Теперь каждому человеку такая мера.

Чижев оглядел пасмурные, враждебные лица ребят, съежился и, опускаясь на стул со спинкой в виде лиры, спросил с отчаянием в голосе:

— Так вы меня выгнать хотите? — не получив ответа, произнес: — Ну что ж, стало быть, не заслужил я лучшей участи. Будучи человеком бесхарактерным, я очень обижал вас, очень, хоть все это было глубочайшим образом и противно моим убеждениям.

Ссутулившись, он поплелся к выходу, тяжело шаркая подшитыми валенками.

Все молчали и не могли смотреть друг другу в глаза. И никто не испытывал торжества, что так унижен был сейчас этот старший воспитатель, прозванный «Душескребом» за привычку долго мучить обидными словами провинившихся воспитанников.

— Может, вам его жалко? — спросил Капелюхин. — Тогда вернем? Сами решайте. Мое дело — сторона.

Неизвестно, как бы обернулась вся эта история с Чижовым, но в этот момент пришел фельдшер из госпиталя. Сдергивая с усов сосульки, он спросил сердито:

— Детский дом номер один? Это вы, что ли? Тогда давайте депутацию. Парнишка у нас стреляный лежит. Тоскует, говорит, из приюта бежал. Товарищей повидать хочет. Могу взять, сколько влезете. Я на подводе.

— Это Чуркин Яша! — воскликнул Тима. — Он через стену монастыря лазил. Теперь я знаю: это он!

— Ну вот, значит, ты, а кто еще? — сказал равнодушно фельдшер и попросил: — Давайте живее, а то конь мерзнет. Набегался, пока нашли. Никто в городе вашего дома не знает. Вывеску бы приладили. На улицах и то уже новые висят. Говорили: поедешь по Подгорному, свернешь на Дворянскую, выедешь на Конную площадь. А ехал, выходит, по Гоголю, свернул на Пролетарскую и выехал на Краснопартизанскую площадь. Теперь все по-новому. Сразу не угадаешь.

Словно голубым спиртовым пламенем жгла последняя зимняя стужа. Высоко в небе белыми кристаллами свети-

лись звезды. Натертая полозьями, ярко блистала дорожная колея в сухом, искристом снегу.

Поеживаясь в коротком бушлате, Капельюхин говорил, сердито поглядывая в небо:

— Сегодня лектор сказывал: то не просто звезды, а черт-те что. Громадины, вроде нашей земли, да еще в расплавленном виде. А тепла с этого дела нам никакого. Одно уважение, что на небе тоже порядок и никакому богу места там нету.

— А ты меня не агитируй! — обиделся почему-то фельдшер. — Сам на митинге был. Там и не такое говорили.

Возле костра, на перекрестке, где грелся красногвардейский патруль, Капельюхин слез с саней.

Фельдшер сказал о Капельюхине уважительно:

— Видать, партийный — накоротке, а и то просветить пожелал...

Возле койки Яши Чуркина сидела на белой больничной табуретке Фекла Ивановна. Увидев входящих мальчиков, она встала и сказала недружелюбно:

— Пришли? Но только на две-три минуты. Он еще очень слабый.

— Здравóво! — тихо сказал Чуркин и спросил: — Может, чаю хотите? Здесь настоящий, не морковный, как в приюте.

— У нас теперь — во! — громко заявил Тумба, оттопыривая большой палец.

Но Рогожин, показывая глазами на Яшу, остановил его:

— Ты что, хвастать сюда пришел? — наклонясь над Чуркиным, спросил: — Что? Больно, Яша?

— Больно, — медленно и тихо произнес Яков и, отводя глаза со спинки кровати, перевел взгляд на Тиму. Лицо его исказилось от боли, но он, пересиливая себя, сказал: — Нашелся, значит. А я тебя по всему городу искал, а после в тайгу сбег. Один в яме жил, пока партизан не встретил. — Прикрывая устало глаза опухшими веками, пожаловался: — Была бы Зинка жива, ее бы теперь вылечили, — видал, какая больница? На всех кроватях шишки блестящие. Лекарства самые дорогие всем почем зря дают.

— Ну, ребята, хватит! — решительно заявила Фекла Ивановна. — Ступайте! В следующий раз подольше разрешу.

Тима прощался с Чуркиным последним. Яша, взяв его руку, вдруг положил в нее что-то холодное и тяжелое.

— Возьми на память, — сказал шепотом, — другого у

меня здесь ничего нет. Пуля моя. Ее из меня вытащили. Возьми, ничего. Это можно.

На следующий день жители города с самых дальних окраин шагали к площади Свободы по улицам, где всю ночь горели костры, у которых грелись красногвардейские патрули.

Красные с черными лентами знамена, печальные и торжественные, плыли на склоненных древках впереди колонн.

И такие же, черно-красные, будто обугленные по краям, флаги свисали со стен домов. Стояла лютая стужа, и воздух жег, как расплавленное стекло. На деревянной пожарной каланче висели черные шары.

Обычно город замирал в такие холода. И тогда скрипучий стон снега под ногами одинокого прохожего можно было слышать в тишине за много кварталов. Но сегодня люди вышли на улицы и медленной поступью двигались к площади, становясь в колонны, неведь кем организуемые. Весь город звучал стеклянным звоном от мерных шагов многотысячного людского потока.

Никто не созывал этих людей на площадь, но они шли и шли, хотя большинство не знало тех, кто погиб. Они знали только, что это те, кто отдал свою жизнь за них, и не только горе повелевало людьми, а и гордость героями.

Погибших везли на орудийных лафетах. За ними следовали шеренги красногвардейцев и рабочих дружин. Посреди площади возвышалась деревянная трибуна, обвитая кумачом с черной каймой. На трибуне стоял Рыжиков и, сжимая в руке кожаную фуражку, говорил:

— Товарищи! Мы строим на развалинах старого мира царство человеческой свободы и справедливости. Лучшие сыны и дочери народа не щадят жизни во имя этого. Мы клянемся перед нашими товарищами, павшими в борьбе, что будем всегда неотступно служить великому делу пролетарской революции...

Тима стоял в колонне воспитанников детского дома, и сердце его тоже сжималось от скорби и гордости.

Папа когда-то говорил Тиме: «Жизнь человека кончается с его смертью, и нет ничего за пределами смерти». Как это было страшно слушать! Ничего потом нет. Ничего! Как это страшно! А вот они шли на смерть и не боялись этого ужасного «ничего».

— Плачешь? — спросил шило Тумба. — Ничего, я сам плачу, — и добавил дрожащими губами: — Вот, выходит, какие люди нас из сиротского дома выручили.

Красногвардейцы подняли винтовки и стали стрелять залпами.

И, словно в ответ, с деревьев городского сада посыпались легкие махровые хлопья снега.

На деревянный четырехгранный памятник братской могилы Капелюхин прикрепил настоящий крестьянский источенный серп и накрест над серпом — большой слесарный молоток с темной маслянистой рукоятью.

Воспитанникам детского дома не удалось подойти и попрощаться с погибшими героями.

— Гляди, ребята, как цуцики, замерзли! — сказал какой-то человек с красной повязкой на рукаве и сердито приказал: — А ну, марш греться!

Он привел ребят в дом с белыми колоннами и стал поить их чаем. Стены внутри дома были исковыряны пулями, и куски отбитой штукатурки лежали на полу. Человек сказал, сгребая ногой в кучу отбитую штукатурку:

— Здесь мы с контрразведчиками бились. Пока в подвалы проникли, успели они наших товарищей застрелить. Я человек семейный, осторожный за свою жизнь, а и то одного офицера прямо голой рукой за пистолет ухватил. Видали, рука маленько поврежденная. Но ничего, кость целая.

Когда Тима возвращался с площади, он увидел идущую по тротуару в беличьей шубке Нину Савич. Она, верно, сильно озябла и прижимала к лицу руки в пушистых варежках.

Тима сначала колебался: выйти из колонны детского дома или нет. Но потом решил: «Подойду, пускай узнает, кто мы, расскажу ей, пускай удивится».

Он выскочил из шеренги и догнал Нину.

Но она совсем не удивилась, когда он остановил ее. Не отнимая варежек от лица, Нина сказала глухо и равнодушно: — Это ты, Тима?

— А ты думала, кто-нибудь другой?! — обиделся Тима. — Ты думала, Софья Александровна, да?

— Нет. Мама у меня больше нет. — Нина отняла от лица варежки и, показывая рукой туда, на площадь, сказала, с трудом шевеля застывшими губами: — Маму сейчас похоронили, она там, с другими...

Тима молчал, подавленный, не зная, что ему сказать и что сейчас можно сделать для Нины. Нина смотрела на него сквозь смерзшиеся ресницы внимательно и строго.

— Ее расстреляли в тюрьме, когда уже в городе началось восстание. — Нина смотрела на него какими-то

удивительно спокойными горестными глазами взрослого человека и говорила успокаивающе, как старшая: — Ты только не думай, что я очень несчастная. Я очень горжусь мамой и хочу быть такой, какой была она.

В тот же день, вечером, делегация воспитанников детского дома шагала по улицам города к зданию Общественного собрания, называемого теперь «Дворцом труда», чтобы приветствовать первую уездную конференцию рабоче-крестьянской молодежи.

И снова над головой пылало голубым пламенем звездное небо. Певуче пел снег под полозьями саней, и стужа жгла своим невидимым белым огнем.

Навстречу по дороге шла колонна рабочих с топорами и пилами. Они возвращались из лагерной рощи, где заготавливали дрова для новых общественных учреждений города. Впереди колонны топали, закутавшись до самых бровей в башлыки, оркестранты и выдували из медных труб ухающие звуки марша. Тонкие снежные блестки мелькали в синем воздухе — это стужа высушивала влажное дыхание людей. Подняв голову, Рогожин сказал:

— Хотел бы я, как Яков Чуркин, жизнь за народ отдать.

Тумба сердито перебил Рогожина:

— А ты не каркай, он еще выздоровеет! Он не из таких, чтобы помирать сейчас. Видал, он какой, ничего про себя не сказал, не похвастал.

Возле здания почты, несмотря на стужу, стояла огромная толпа. На балконе невысокая женщина в черной каракулевой шапочке, повязанной поверх платком, держа в варежках телеграфную ленту, громко читала только что полученный из Петрограда декрет о создании Высшего Совета Народного Хозяйства для управления промышленностью страны.

И Тима узнал в этой женщине свою маму...

А на берегу реки, в каменном одноэтажном недостроенном здании, где некогда дума собиралась оборудовать городскую электростанцию и откуда пока единственная слабосильная динамо-машина давала ток лишь в управу и синематограф «Пьеро», рабочие под «Дубинушку» подымали на больших бревенчатых козлах новую большую динамо-машину, привезенную из речного порта, — она много лет лежала там на складе Витманов. Возле здания станции горели большие красные костры, и веселое пламя мерцало на подтаивавшем снегу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Революция не оправдала самых сокровенных надежд Тимы — он снова оказался один. Мама являлась домой поздно ночью, когда Тима уже спал. Она неслышно ходила по комнате, готовила на керосинке обед, потом, закутав кастрюли старым драповым пальто, исчезала, оставив на столе записку.

Почерк у мамы мелкий, неразборчивый, наставления одни и те же, и Тима лишь ревниво следил, не забыла ли она написать в конце, что любит и сильно скучает.

Чтобы не проспать прихода мамы, Тима привязывал к дверной ручке пустые жестяные банки, но мама открывала дверь так осторожно, что ни одна банка не звякала.

Тима думал: революция и счастье — одно и то же. Но какое же это счастье, если его родителям теперь еще больше некогда, чем при старом режиме, и еще суровее ими повелевает это неотвратимое «так надо»?

В тот день, когда председатель ревкома Рыжиков объявил на площади Свободы о социалистической революции, городская организация большевиков насчитывала всего сорок человек, и напрасно местные эсеры и меньшевики обвиняли большевиков, что они, как заговорщики, насильственно захватили власть. Разве могли каких-то сорок человек захватить власть, когда лишь в одном сводном батальоне, находившемся в распоряжении городской думы, было четыреста штыков? Совершить революцию могли только тысячи людей, и их действительно были тысячи, возглавленных большевиками, убежденных в том, что все, что говорят большевики, — правда.

А теперь перед большевиками стояла задача — научить всех этих людей правильно распоряжаться своей властью.

Но даже Тима хорошо знал: ни его родителям, ни их старшим товарищам по партии никогда не доводилось служить где-нибудь начальниками. Всю жизнь их только и преследовали разные начальники, сажали в тюрьмы,

ссылали. А вот те, кто был в других партиях, еще при Временном правительстве заняли большие должности во всех городских учреждениях, стали чиновниками и не хотели помогать большевикам.

Несколько дней мама Тимы ходила в городскую управу собирать сведения об экономическом положении уезда. Но служащие все время подсовывали ей материалы за прошедшие годы. Тогда она стала приходить по ночам и сама искала в шкафах и папках нужные ей документы.

Два вечера мама сидела дома и писала. Тима был невыразимо счастлив, когда она усталым голосом просила дать ей горячего чаю.

Тима представлял себе, как его мама появится перед всеми и гордо, властно, словно Егор Косначев на митинге, будет говорить о мировой революции, о будущем всечеловеческом счастье. А мама вместо этого почему-то все время щелкала на счетах, озабоченно шептала цифры, решала задачки на клочках бумажек и только сердито отмахнулась от Тимы, когда он посоветовал закончить выступление революционными стихами.

Вернулась мама после своего доклада в ревкоме огорченная. С ней пришел папа — тоже расстроенный. Он пытался утешить маму.

— Как статистик ты, Варенька, провела большую, добросовестную работу, — говорил он фальшиво-бодрым тоном. Но потом, как всегда, стал задумчиво теревить бородку и уже другим, строгим голосом продолжал: — Но как коммунистка ты допустила непростительную ошибку. Разве можно руководствоваться официальными данными? Цифры — тоже политика, и их специально исказили, чтобы скрыть истинные размеры катастрофической разрухи в уезде. Нужно было все сначала проверить на местах, — строго заключил папа.

— Ты даешь смешные советы! — обиженно воскликнула мама. — Как я могла это сделать одна?

— Очень просто: тебе нужно было делать это не одной.

— Но ведь ты знаешь, чиновники саботируют, — горячилась мама.

— А зачем тебе чиновники? Скажем, топливо. Обратись к рабочим с лесопилки. Мука — к грузчикам с пристани.

Мама всхлипнула и произнесла с отчаянием:

— Это ужасно, что я так осрамилась!

— Варенька, я сам недавно осрамился не меньше, — грустно признался отец. — Производил ночью обыск в бывшем Союзе офицеров и ничего там не обнаружил. А днем

пришел ко мне истопник и сказал: «Чего же вы обслуживающих людей обошли? А мы-то за кого, по вашему?» Ну и оказалось — целый склад оружия. Так я себя неловко чувствовал...

Тиме очень не нравилось, когда его родители с такой готовностью признавались в своих ошибках и слабостях. Должно быть, они не только здесь, друг перед другом, так говорят, но и в ревкоме тоже. Нет, не годятся они в начальники. Вот Егор Косначев стал настоящим начальником, и его знает теперь весь город.

В прошлое воскресенье на площади Свободы он был главным во время постановки народной феерии под названием «Взятие Бастилии». Посредине площади построили из снега крепость с четырехугольными зубчатыми башнями. На крепостной стене стояли с застенчивыми лицами красногвардейцы. На шапки у них натянуты синие картонные треугольники, а к полшубкам прикреплены булавками трехцветные бумажные ленты. Другие красногвардейцы, без синих треугольных картонок, но с красными бантами на груди, изображали восставший народ.

Когда по сигналу Косначева духовой оркестр стал играть «Марсельезу», красногвардейцы с красными бантами бросились на красногвардейцев с синими картонками на шапках, и началась свалка. На башню по деревянной лестнице взобрался Косначев с красным флагом в руке и, приказав красногвардейцам в синих картонках уступить места на крепости красногвардейцам с красными бантами, произнес очень красивую речь. Красногвардейцы носили его потом на руках, а он все время, пока его носили, размахивал красным флагом. После этого многие из публики записывались у Косначева в рабочие дружины.

Егор Косначев открыл в помещении акцизного управления первую настоящую картинную галерею и сам давал посетителям объяснения. Он говорил, размахивая указкой:

— Вы видите, товарищи, перед собой копию картины, созданной великим русским художником. В ней запечатлена вся великая стонущая правда о безмерных страданиях народа-титана, вынужденного веками тянуть на своих богатырских плечах корабль русской империи.

И посетители выставки — рабочие кирпичного завода, таежные смолокуры, присковые старатели, речники с затона, бородатые мужики из самых дальних заимок и селений — с благоговением смотрели на копию великой картины.

Огромный, с бурым, до язв обмороженным лицом

таежник, подымая руку в меховой варежке величиной с собаку, говорил густым, скрипучим голосом:

— Видать, ваш партийный с народа ту картину писал. Уж очень он сочувственно все изобразил. — Помедлил и добавил задумчиво: — Барку тянуть — занятие тяжелое.

В бывшем архиерейском доме Егор Косначев создал Клуб просвещения.

Он уговорил преподавателя резьбы по дереву в сиротском приюте художника Кучумова вылепить из снега перед зданием клуба фигуры рабочего и крестьянина. После того как эти фигуры облили водой, они выглядели словно мрачные.

Теперь каждое утро Кучумов бережно обметал метлой со своих «скульптур» свежий снег.

Еще Косначев поставил в клубе пьесу Горького «На дне». Спектакль шел без антрактов. После каждого акта артисты выходили на авансцену и обращались к зрителям с призывами помогать Советской власти налаживать новую жизнь, чтобы старая скорее ушла в прошлое.

Потом кто-нибудь из зрителей, заранее подготовленный активистами клуба, поднимался на сцену и горячо убеждал актеров не терзаться больше, не мучиться, потому что теперь народ у власти и обижать обездоленных никому не позволяют.

Возле клуба всегда толпилось множество людей, желающих попасть «на представление». Но так как мест было мало, а желающих много, Косначев посылал на улицу агитаторов с волшебным фонарем. Такие митинги пользовались большим успехом, и на них приходили целыми семьями.

Мало того, Косначев разыскал какого-то садовода, потомка декабриста, и почтенный старичок читал лекции в клубе. Вынимая из карманов яблоки, тщательно вытирая их платком, он говорил сердито:

— Вот, видали? Вырастил! Нужно, господа, сады разводить. На зиму каждое дерево шубой из соломы покрывать. Революция так же необходима в растительном царстве, как и в человеческом. Сибиряки должны кушать фрукты, а не только ржаной хлеб и картошку.

После всего этого Косначев стал одним из самых популярных людей в городе. Его почтительно называли комиссаром просвещения. Тщедушный, в старенькой фетровой шляпе и засаленном полушубке, он возвышенными словами уговаривал людей приобщаться к сокровищам науки и культуры.

— Социализм — это красота! — хрипло кричал Косначев рабочим кирпичного завода. — Красота — это гармония. Человек прекрасен, но капитализм уродовал человека. Мы уничтожили капитализм, открыв путь человечеству к вершинам светлого будущего.

И хотя Рыжиков посылал Косначева выступить перед рабочими для того, чтобы уговорить их дать в ближайшие дни пять тысяч кирпичей, которые ревком хотел отправить обозом в деревню, в обмен на хлеб, Косначев почему-то обходил эту тему в своем выступлении. Но странно, чем возвышенней и отвлеченней он говорил, тем сильнее захватывал людей своей пламенной речью. Когда он кончил призывом: «Совершить мировую революцию на всем земном шаре!» — рабочие долго аплодировали и кричали «ура».

Встал мастер по обжигу Хрулев, сипло и деловито сказал:

— Так вот, ребята, поскольку у всех теперь полная ясность по главному вопросу, значит, можем обнадежить ревком насчет кирпича? Голосую, чтобы вписать пункт в резолюцию по тому, что говорил здесь докладчик.

В этом захолустном таежном городе, некогда серой разбросанной древесной кучей возникшем вокруг древнего каторжного острога, люди жили, как на острове, окруженные океаном снегов. Да и летом лесная чащоба была непроходима. А подняться вверх по реке можно было, только если тянуть лодки на бечеве.

Угрюмо и одиноко жили здесь люди. Страшась долгой зимы, они не покладая рук трудились все лето, чтобы запастись дровами, мукой, мясом, рыбой, ягодой. И только самые отчаянные уходили тайговать в зиму.

Тысячи крестьян-переселенцев, обманутых царским правительством, скитались по Сибири голодные, разутые, раздетые и нанимались на любую работу только за хозяйский харч, полушубок и валенки.

И природа здесь была жестокой к людям и человек к человеку.

На окраинах в землянках жили слободами ремесленники, пимокаты. Центр города принадлежал чиновникам, купцам, промышленникам, военным, полицейским и тюремному начальству.

И в этом угрюмом, одичавшем в своей острожной жизни городе, где люди не называли себя русскими, считая, что

русские — это только те, кто живет там, далеко, за Уральским хребтом, а они — сибиряки, чалдоны, варнаки, таежники, кержаки, хожалые, азиаты или просто без роду и племени из каторжных, — большевики взялись строить новое человеческое общество.

Тима думал, что, когда придет настоящая революция, его папа и мама наконец уедут в прекрасную страну — Россию. И они поселятся в мамином городе Ростове, где прямо на улице растут настоящие вишни, яблоки, груши, сливы, арбузы и дыни, вкуса которых Тима не знал, но, по словам папы и мамы, это было что-то необыкновенное.

Теперь революция произошла. Но вместо того чтобы уехать, родители решили остаться в Сибири до тех пор, пока здесь не станет так же хорошо, как в России. Прислушиваясь к разговорам родителей, Тима с тревогой убеждался, что очень многого они просто не умеют как следует делать. Вот недавно Тима внезапно проснулся ночью, и вдруг оказалось, папа и мама дома.

Сквозь полузажмуренные веки Тима видел: отец и мать сидят на скамье против окна, и мутный, блеклый свет освещает их лица. Отец держит мамины руки и, наклоняясь, осторожно, бережно целует каждый палец в отдельности.

Мама отморозила руки на общественных работах, когда перебирала картошку, сваленную возле пристанских пакугаузов, и сейчас они у нее как обожженные.

Мама устало жаловалась:

— Ты подумай, Петр, какой негодяй Кобрин, узнал о конфискации излишков продуктов и велел приказчикам выбросить из амбаров всю картошку в снег!

— Варенька, — произнес папа, как всегда учительным тоном, — подобное следовало предвидеть. Саботаж — одна из форм классовой борьбы буржуазии с народной властью, и поэтому мы должны...

— За такое сажать в тюрьму, — гневно перебила мама.

— Варвара, ты видишь только одну сторону факта, который мог бы и не произойти, если бы вы заранее установили на складах рабочий контроль.

— Выходит, значит, мы же виноваты?

— До известной степени да.

— Ну, знаешь, Петр... — Мама вскочила, сняла с печки валенки и, опираясь рукой о стол, стала поспешно их надевать.

— Варя, извини меня, — тихо попросил отец. И упрямо добавил: — Все-таки, если ты спокойно подумаешь, я прав.

— А я хочу, — горестно воскликнула мама, — чтобы ты запомнил раз и навсегда!.. Я так стосковалась, а ты, ты просто холодный, рассудочный человек. — И вдруг кротко попросила: — Пойми меня, Петр, я очень измучилась...

Тима знает, почему мама сейчас такая нервная. Дело в том, что Эсфирь, подруга мамы, стала продовольственным комиссаром, и она командует мамой, назначив ее в какую-то фуражную тройку. Из-за этой тройки после работы на почте мама ходит ночью по городу с рабочими-дружинниками и ищет овес и сено. Если мама не найдет корма для коней, то нельзя будет снарядить обозы, которые должны привезти в город хлеб, топливо, и всем будет очень плохо.

Уже больше месяца метет пурга, базары пусты. А когда пурга кончится, наступит ростепель, город, как деревянный остров, будет окружен расквашенной снежной хлябью. Запасов продовольственных нет, значит, начнется голод. Не зря же Эсфирь сказала маме: «Сейчас, Варвара, продовольственный вопрос — главное!»

Тимы еще не было на свете, когда мама познакомилась в тюрьме с Эсфирью. И они стали на всю жизнь подругами. В то время маму все знакомые звали не как теперь — Варвара Николаевна или товарищ Сапожкова, а просто Варенькой.

Вареньке не было еще двадцати лет, но она уже дважды сидела в тюрьме и множество раз в полицейских каталажах. Она считала себя опытной заключенной. Ухаживая в Таганской тюрьме за больной Эсфирью, говорила:

— У революционера должно быть очень хорошее здоровье. И забота о здоровье — это не личное, а партийное дело. Здесь не должно быть никакой фанаберии, нужно руководствоваться только революционной целесообразностью.

И она заставляла Эсфирь пить топленое сало. Но при всей своей внешней рассудительности Варенька держала себя со следователем вызывающе и, забывая о революционной целесообразности, говорила ему оскорбительные колкости; это привело только к тому, что обвинение против нее было составлено с большей тщательностью и суровостью, чем того стоила ее вина.

В камере она вела себя легкомысленно и беззаботно, будто впереди ее не ждал тяжелый приговор. Несколько раз в день меняла прическу, распевала песенки Беранже, и когда приходил ее черед мыть парашу, делала это с таким веселым жеманством, что даже впавшие в уныние узницы не могли скрыть улыбку.

Она сумела предупредить товарищей, чтобы для Эсфири достали теплую одежду, но сама отправилась в сибирскую ссылку в короткой модной жакетке, отороченной фальшивым каракулем, и в такой же крохотной шапочке на пышных пепельных волосах. Единственно, что удалось ей добыть для себя, это новые глубокие мужские галоши, в которые она насовала газет для тепла и для того, чтобы они не сваливались с ног.

Политических ссыльных гнали в Сибирь вместе с уголовными преступниками. Царское правительство лишило политических даже тех ничтожных прав, которыми они пользовались до 1905 года. Конвойный начальник поощрял уголовных бить и обворовывать политических.

Больше всех издевался над политическими каторжник Угорьков. Коренастый, плешивый, низколобый, он находил особое удовольствие, лениво улыбаясь, избивать человека. Он отнял у Вареньки ее глубокие резиновые галоши. Вынув из них бумагу, примерил — оказались малы, ухмыльнулся, разодрал в клочья и выбросил в снег.

— Вы негодяй! — сказала Варенька.

— А вот обожди до ночи, я тебя до воротника разую, — пообещал Угорьков.

Но выполнить свое злое обещание ему не довелось. Поскользнувшись на дороге, он вывихнул ногу. Конвойный солдат бил его прикладом, и он полз на карачках. Варенька стала кричать на солдата, присела возле Угорькова на корточки и, смотав с его вонючей ноги тряпки, с отчаянной решимостью вправила вывихнутую в суставе ступню. Угорьков взвыл от боли и ударил Вареньку кулаком по лицу. До этапа он добрел, опираясь на ее плечо. После этого Угорьков притих. Но когда он предложил Вареньке помочь нести узелок, она сказала гордо:

— Я не нуждаюсь в ваших услугах, — и добавила с угрозой: — Если вы ко мне прикоснетесь, то вот видите, — и показала камень, который несла завернутым в платке.

— Эх, барышня, — укоризненно сказал Угорьков, — да разве ж можно так нараспашку! Доложу господину конвойному, он мне за это — благодарность, а вам плохо будет. Верить никакому человеку невозможно — пропадете!

В ссылке Эсфирь познакомилась с Федором Зубовым.

Сначала она испытывала к этому человеку только уважение, видя, с какой железной настойчивостью занимается он самообразованием, почти не выходя из нетопленной избы, питаясь только хлебом и мороженой рыбой. У него была поразительная память, но никогда он не хвастался ею,

молча слушал других и только шевелил бровями, если был с чем-то несогласен.

Однажды Федор мрачно сказал:

— Вот что, товарищ Эсфирь. Вы знаете, что между нами существует культурное неравенство. Но оно, как всякое неравенство, преодолимо.

— Да, правильно,— сказала Эсфирь.

— Значит, вы согласитесь стать моей женой?

Эсфирь очень обиделась на такой примитивный подход к браку и здорово отчитала Федора, но потом, спустя почти год, объявила на собрании ссыльных:

— Товарищи, я решила выйти замуж за Федора Зубова. Думаю, такое содружество не мешает нашей революционной работе.

Став мужем и женой, они с суровой требовательностью относились друг к другу.

Почти в это же время Варенька вышла замуж за ссыльного студента Сапожкова. И так же, как Эсфирь, объявила о своем решении на общем собрании ссыльных. Но мотивировала это решение тем, что очень давно любит Сапожкова, только они всё не могли встретиться, так как то он сидел в тюрьме, то она.

Сапожкова и Эсфирь преданно служили партии в качестве ее рядовых и всегда с уважением относились к людям, которые руководили ими. Они никогда не представляли себя самих в роли руководителей и были твердо убеждены, что, когда произойдет революция, все станет сразу ясным и те люди, которые руководили ими и раньше, мудрые, прозорливые, скажут им, что они должны делать в новом человеческом обществе.

Только Сапожкова, мечтая о светлом будущем, высказывала опасение, что она недостаточно образованна. Вот Эсфирь — другое дело: образованная марксистка, она, наверное, будет ученой, вроде Софьи Ковалевской. У нее такие исключительные математические способности.

— А ты будешь певицей,— утешала ее Эсфирь,— окончишь консерваторию. У тебя замечательный голос.

Но вместо этого им, как и многим другим рядовым людям партии, выпало на долю после свершения пролетарской революции стать ее тружениками и строить новое человеческое общество в захолустном сибирском городке, окруженном дремучей тайгой, оторванном от России тысячами тоскливых верст. На плечи местных большевиков лег тяжкий труд по спасению людей от принесенных войной бедствий: разрухи, нищеты, голода.

Тима шел на всякие хитрости, чтобы увидеть отца или мать хотя бы ненадолго, но они больше, чем когда-нибудь, принадлежали теперь не ему, а партии, повинуюсь ее повелительным словам: «Так надо».

Так надо! И мама приходила только ночью и уходила этой же ночью. Так надо! И отец, которого он не видел неделями, случайно встреченный на улице, поспешно расспрашивал о здоровье мамы и говорил, тут же прощаясь: «Так ты будь умником, не скучай, я зайду домой завтра». Но приходили завтра, и послезавтра, и еще дни, а отец не показывался.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Заботы о Тиме родители возложили на бывшего учителя женской прогимназии Евграфа Васильевича Пыжова, жившего одиноко в соседнем флигеле и давно отказавшегося от педагогической деятельности ради трудных поисков рудных богатств.

Зимой и летом он скитался по тайге и приносил оттуда в мешке камни, зеленую глину, а потом отсылал все это по почте в посылках в Петроград. Несколько раз пытался пробраться на заседание городской думы, крича сторожам: «Пустите меня, пустите!» И молил: «Поймите, немцы бьют нас оттого, что у них больше металла. А вот глядите, вот», — и совал сторожам какие-то бурые, тяжелые, грязные обломки камней. Эта благородная одержимость, желание оказать услугу отечеству овладели Пыжовым много лет тому назад, когда он нашел в архиве городской управы список с царской грамоты шестнадцатого века, адресованной местному воеводе. В ней было сказано: «А велено тем кузнецам делать из тамошнего железа беспрестанно пищали полуторные и полковые и к тем пищалам ядра, сколько их которой пищали надобно. Да сколько они каких пищалей и к ним ядер сделают, и из тех пищалей велено для опыту выстрелить хотя по одново перед воеводой, крепкие ли те пищали вперед будут, и не разорвет ли их на стрельбе».

Накануне Октябрьской революции Пыжов был арестован. Во время обыска у него обнаружили динамитные патроны — он пользовался ими для взрыва твердых пород, копая поисковые шурфы.

В ночь переворота офицеры расстреляли в камерах узников. Пыжов получил только ранение и был спасен

рабочими-дружинниками. Тимин папа выходил его, и теперь Пыжов взял на себя обязанность быть репетитором и наставником Тимы.

Числиться великовозрастным второгодником в городской прогимназии Тима категорически отказался из самолюбия. Разве он виноват, что всю прошлую зиму скитался сначала по друзьям родителей, а потом попал в сиротский приют?

Несколько недель Тима учился в первой смешанной советской школе. Смешанной потому, что мальчики и девочки учились там вместе.

Эту школу создал комиссар просвещения Егор Косначев. Он захватил подвал в здании Общественного собрания. Там раньше находилось игорное заведение, сводчатые стены подвала были расписаны зловещими изображениями карточных фигур — королевами и королями в средневековых одеждах. Вместо парт — ломберные столы с подпиленными ножками. Педагогов для этой школы Косначев тоже нашел сам. Он говорил: «Ваша задача — не муштровывать детей, как солдат, а прививать им любовь к знаниям. Нужно начинать не с арифметики, а с паровой машины, действие которой основано на математических расчетах. Нужно начинать не с грамматики, а со стихов Пушкина, Лермонтова, Некрасова, тогда законы грамматики они будут воспринимать как поэзию. История — это не жития царей, а деяния борющегося народа — восстания Пугачева, Болотникова, Разина. Ни экзаменов, ни пятибалльной системы. Пусть ученики сами оценивают успехи друг друга путем голосования. Мы должны прививать им чувство гражданской совести. Новая школа должна воспитывать новых людей».

На урок русского языка пришла артистка Вероника Чарская. Она была в черном платье, обшитом стеклярусом, на тощей, высокой шее висело боа из белых перьев. Держа в руке раскрытую книгу, она, как курица, кивала головой, словно склеивала строки со страниц, и восторженно жмурила подведенные глаза.

Перестав декламировать, отступила на шаг, присела и поклонилась, улыбаясь.

Потом вдруг резко выпрямилась, лицо ее приняло обиженное выражение, она спросила гневно:

— Дети, почему вы такие невоспитанные? Где же аплодисменты? — и ушла из класса, хлопнув дверью, забыв на столе крохотную бисерную сумочку.

Урок арифметики был более удачным. Инженер Асмо-

лов принес с собой модель паровой машины, зажег спиртовую лампу и, когда машина заработала, стал говорить сухо, четко, но так, что сразу всем стало понятно, почему она движется.

Урок истории провел сам Косначев. Он увлекательно рассказывал о Парижской коммуне. И всем было очень приятно узнать, что рабочие Парижа делали во время своей революции то же, что делают сейчас рабочие затона, кирпичники, пимокаты города во время своей собственной революции.

Но, к сожалению, Косначев, как и его новые преподаватели, оказался очень занятым человеком. Они часто пропускали уроки, а когда вместо них пригласили обыкновенных учителей из прогимназии, один из учеников смешанной школы заболел тифом, и школу закрыли на карантин.

Как репетитор Пыжов не обременял Тиму уроками.

Что же касается всего остального, то еще не известно, кто о ком больше заботился: Пыжов о Тиме или Тима о Пыжове. Привыкнув к одиночеству, Тима научился стряпать, убирать комнату и даже мыть полы.

Пыжов говорил торжественно:

— Еще тысячу лет назад Ксенофонт писал: бывает земля, которая, если ты ее засеешь, не принесет плодов, если же ты ее разроешь, она гораздо большее число людей прокормит, чем если бы она приносила плоды.

— Это значит картошка, — отгадывал Тима.

— Нет, — возмущался Пыжов, — не картошка! Руды, минералы и другие бесценные ископаемые богатства, которые лежат у нас втуне!

— Картошка нужнее, — рассудительно замечал Тима и добавлял Эсфириным голосом: — Продовольственный вопрос — сейчас главный. — Потом советовал: — Вы поправляйтесь побыстрее, найдете потом золота побольше и сдадите в ревком, а то у них там денег нету.

— Золота! — усмехался Пыжов. — Самый старый и бесполезный металл! — и оживленно добавлял: — Вот кобальт некрасивый, черный, но если его добавить в сталь, она приобретает волшебные свойства. А ванадий, индий, магний!.. Эти металлы многое сулят человечеству. Я ужасался, когда на прииске все эти руды выбрасывали в отвалы. Какое варварство!

— Вы скажите Рыжикову, он прикажет, и не будут выбрасывать.

Доверительным шепотом Пыжов произносил:

— Когда заживут ноги, я сам пойду в ревком и докажу им, что таблица Менделеева полностью здесь. — И он стучал костылем по доскам пола.

— Может, вам чайку согреть? — заботливо предлагал Тима.

Пыжов спрашивал Тиму, видел ли он когда-нибудь, как люди добывают уголь.

— Нет, — говорил Тима.

— Это самый тяжелый труд, но я знаю, как можно избавить людей от этого каторжного труда.

— Как? — допытывался Тима.

— При золотодобыче даже твердые породы размывают мощной струей воды. И вот если бы были такие сильные насосы, которые под большим давлением подавали бы в шахты воду, уголь можно было бы вымывать из пластов и потом такими же насосами высасывать наверх.

— Здорово! — говорил Тима. — А почему так не делают?

— Для этого нужно построить дорогие машины, а сейчас, ты сам знаешь, людям даже хлеба не хватает.

Когда папа и мама еще считались политическими ссыльными и раз в неделю ходили в полицейский участок регистрироваться, они очень много говорили, как все будет хорошо после революции. Все люди станут добрыми, справедливыми, и у всех все будет. А вот, оказывается, на самом деле всем всего не хватает.

Георгий Семенович Савич как-то сказал папе:

— Вы, большевики, совершили политическое безумие, взяв сейчас власть. В стране хаос! Бедствия экономической разрухи, вызванные войной, безмерны. Я согласен, что некоторые социал-демократы, войдя в состав Временного правительства, вольно или невольно сотрудничали с буржуазией, которая, руководясь только своекорыстными интересами, довела разрушенную экономику страны до состояния губительной катастрофы. Но, голубчик! Пойми меня правильно. Брать на себя ответственность в данный исторический период — это же нелепость! Есть только один выход. Я понимаю, он позорный, мучительный, но единственный! Это, принеся в жертву независимость страны, прибегнуть к помощи иностранных держав. Иначе революция погибнет, ее задушит голод. Ты видишь, у меня слезы? — Савич шумно высморкался и спросил деловито: — Ты, конечно, будешь сейчас меня оскорблять?

— Да, буду! — твердо сказал папа.

После того как офицеры убили жену Георгия Семенови-

ча, улица, где она жила, стала называться проспектом имени Софьи Савич.

Тима иногда приходил навещать Нину Савич. В квартире Савичей все осталось по-прежнему, только в кабинете Георгия Семеновича висел портрет Софьи Александровны в венке с красными лентами, на которых было написано серебряными буквами: «От Сибирского бюро большевиков — другу, герою, борцу».

Нина, одетая в толстое шерстяное платье и вязаную кофту, все время зябко ежилась, хотя в доме было очень тепло, и по-старушечьи кашляла, поднося к губам скомканный платок.

Она сильно похудела; некрасиво торчали костлявые локти; глаза стали еще больше. Она смотрела на Тиму, почти не моргая, испытующе строго. Темные ресницы стали еще длиннее и упруго загибались на концах.

— Ты что, ешь мало? — осведомился Тима.

Нина передернула плечами с выпирающими, похожими на вешалку для платья, ключицами и, усевшись с ногами на диван, пожаловалась:

— Ты очень глупый, Тима.

Тима обиделся, но не стал задираться. Ведь Нина теперь полусирота, и он ходит к ней не почему-нибудь, а вот как его папа к Савичу, из сочувствия, хотя папа и считает Савича меньшевиком.

Тима кротко сказал:

— Зато ты очень умная.

Нина велела ему сесть рядом с собой на диван, потом, уставившись на Тиму своими синими глазами, которые теперь занимали так много места на ее лице, произнесла резко:

— Вот я бы не ходила к человеку только для того, чтобы прийти!

— Почему ты думаешь, что я так прихожу, я вовсе не так, — объяснил Тима.

— К папе все из-за этого ходят.

— А я не к нему, а к тебе.

— Потому что я несчастная, да?

— Нет, я просто в гости.

— Но ведь ты знаешь, я больная и ты можешь заразиться!

— От чахотки не заражаются.

— Нет, заражаются! — и вызывающе заявила: — Вот дотронься до моих губ — узнаешь!

— Ты в коридоре на меня нечаянно кашлянула, а я даже не утерся! — гордо сказал Тима.

— Вот теперь заболеешь и умрешь.

— Подумаешь, испугала!

— А если бы на меня на улице жиган напал, что бы ты стал делать?

— Я бы ему подножку — раз, а потом...

— Значит, ты меня любишь?

Тима смутился, покраснел и сказал сердито:

— Не люблю, а потому что ты моя знакомая, значит, я обязан за тебя заступаться!

Нина вздохнула, откинула голову, прикрыла глаза и спросила шепотом:

— А когда мама была в тюрьме, об этом все знали?

— А как же, весь город!

— Значит, и папа знал? Почему же он не помог ей, если даже перестал ее считать женой, ну, как просто знакомой?

Поняв, к чему клонила Нина весь этот разговор, Тима ужаснулся тем мыслям, которые, выходит, все время мучают Нину. Как это страшно — даже на секунду подумать так о своем отце! В отчаянии, не зная, как уклониться от этого разговора, Тима сказал сердито:

— Я тебе соврал, что в коридоре ты на меня кашлянула! А если ты считаешь меня трусом, то вот, пожалуйста...

— Ты меня поцеловал, да? — торжествующе спросила Нина.

— Дура, — сказал сконфуженно Тима, — стану я еще с тобой целоваться! Это я тебе доказывал, что ты вовсе не больная, а врачи врут, чтобы ты больше дома сидела. Вот придет лето, я тебя с собой в тайгу возьму. Золото искать. Сразу на воздухе поправишься. Потом нужно есть медвежье сало. Пыжов говорит, оно от всяких болезней — лучшее средство. Он простреленные ноги тайком от папы этим салом лечит и уже здорово поправился.

— Я знаю Пыжова, — тихо сказала Нина. — Его вместе с мамой в подвале расстреливали. Он рассказывал папе, как мама вела себя во время казни. Я за дверью подслушивала. Мама сказала им...

Нина вдруг смолкла, лицо ее побелело. Она все вдыхала и вдыхала воздух, а выдохнуть не могла. Тима вскочил, стал трясти ее.

— Тебе плохо, да, плохо? — спрашивал он испуганно.

Но Нина преодолела удушье: откинувшись на спинку дивана, она медленно, тяжело дышала, потом вдруг сказала брезгливо и злобно:

— Что ты мне в нос так противно дунул?

— Я думал, тебе плохо!

— Мне не плохо! — сипло, с трудом вымолвила Нина. — Это я просто воздухом подавилась, — и пригрозила: — Только посмей сказать об этом папе, я тебя презирать буду! — Встала, прошла по комнате, потом оперлась рукой о круглый столик и произнесла отчетливо и громко: — Мне правда очень плохо, но не потому, что я болею, мне плохо оттого, что я все время думаю: у меня нет папы!

Она взяла Тиму за руку, привела в кабинет Георгия Семеновича, остановилась перед венком, висящим на стене, и сказала грустно:

— Когда папа вешал венок, он прибил ленты к стене гвоздиками так, чтобы всем была видна надпись. Но ведь он поссорился с мамой потому, что она была большевичкой, он и сейчас считает, что большевики погубят Россию!

— Это неправда, они не погубят! — запротестовал Тима.

Подперев лицо ладонями, Нина, пристально глядя на Тиму, сказала задумчиво и строго:

— Вот ты не любишь, а поцеловал, когда тебе стало жалко меня.

— Я не поцеловал, — снова запротестовал Тима, — а просто губами об тебя помазался, чтобы доказать...

— Все равно! — упрямо сказала Нина. — А папа ни разу меня не целовал с тех пор, как я считаюсь больной.

В этот момент вошел Георгий Семенович, скрипя новой кожаной курткой, которую он носил теперь вместо пиджака. Тима почувствовал, что ему очень трудно взглянуть в глаза этому человеку. Но Георгий Семенович, не обращая на него внимания, подошел к Нине, положил руку на ее худенькое плечо и торжественно объявил:

— Ниночка, во имя светлой памяти Сони я сегодня пожертвовал своими убеждениями, чтобы быть с теми, с кем она была до конца своей жизни! — наклонился, осторожно поцеловал Нину в лоб, откинулся и, вытирая губы большим белым платком, уже обращаясь к Тиме, сказал: — Ты, Тимофей, дружи с Ниной, у нее, знаешь, последнее время жизненный тонус несколько понизился. А ты, смотри, какой здоровяк! Что значит много бывать на свежем воздухе!

Глаза Нины были широко и изумленно открыты, она даже не заметила, как ушел Тима.

Став продовольственным комиссаром, Эсфирь ездила теперь по городу на собственной подводе, и кучером у нее был матрос с парохода «Тобольск», Хохряков. Но сам Хохряков говорил, что он не кучер, а адъютант продкомиссара. Хохряков добрый, он несколько раз брал с собой Тиму кататься и даже доверял ему вожжи.

Эсфирь стала похожа на базарную торговку. Лицо сизое, обмороженное; закутана в большущий, как одеяло, татарский платок и подпоясана полотенцем. За полотенцем, как кинжал, заткнут щуп — большая длинная игла с углублениями на конце. В амбарах Эсфирь с размаху втыкает щуп в каждый куль муки, высыпает на ладонь из углубления в щупе муку и нюхает, не цвелея ли. И от этого ее нос всегда как напудренный.

На складах вытмановской мельницы Эсфирь нашла целую гору отрубей.

— Позвольте, Эсфирь Яковлевна, — сказал Вытман обиженно, — кто же утаивает? Испокон веков обычай: отрубя мельнику за помол.

— Отрубя! — насмешливо передразнила его Эсфирь. — Вы же гимназию окончили! Отрубя!.. И какой вы, извините, мельник? Вы крупный промышленник! Зачем же, как деревенскому мельнику, мошенничать?

Отруби Эсфирь привезла в кондрашевскую пекарню и попросила испечь из них хлеб. Пекари стали смеяться: какой же из отрубей хлеб? В ржаную муку для обмана подсыпают — это верно, но чтобы из чистых отрубей — такого не бывало.

— А вот когда я жила в Швейцарии, — строго сказала Эсфирь, — я там ела очень вкусный и очень питательный хлеб из чистых отрубей!

Сняв полушубок, она замесила отруби в большой деревянной миске, потом слепила из этого теста лепешки и сунула их на лопате в печь. Когда лепешки испеклись, она дала попробовать всем пекарям. Попробовал и Тима. Лепешки действительно оказались вкусными.

Только Кондрашев, хозяин пекарни, ломая лепешки толстыми пальцами в кольцах, заявил брезгливо:

— Маца!

Но на него замахнулся молодой рыжий пекарь:

— Я те дам маца!.. — и, обращаясь к Эсфири, похвастал: — Мы его сейчас отучаем непропеченный хлеб сбывать. Он как? Раньше на замес два ведра воды, а теперь — четыре. Муку своровывает. Но мы над ним совет из пекарей установили. Не даем обманывать. На ларь с солью

свой замок повесили. Ключ при мне. Во! А то изловчился соль в квашню не сыпать! Соль-то нынче дороже денег.

Эсфирь пожала рыжему пекарю руку и сказала взволнованно:

— Спасибо, товарищ!

— Вы бы мне спасибо адресовали! — обиженно заявил Кондрашев. — Верно, хлеб непропеченный, а отчего? Дрова ваши экономлю! Но и тех с полсажени осталось. Преду-преждаю, так сказать.

— Дров мы вам привезем, — пообещала Эсфирь.

Провожать ее на улицу вышел рыжий пекарь. Босые ступни его ног всунуты в кожаные петли, прибитые к досочкам, ворот ситцевой рубахи расстегнут.

— Идите, простудитесь! — попросила Эсфирь.

— Ничего, мы привычные! — Пекарь тряхнул рыжими волосами и вдруг застенчиво вполголоса произнес: — Я понимаю, вы по хлебной части, но если б кто из ваших к нам с разговором приехал, очень благодарны были бы.

— А что именно вас интересует?

— Все! — сказал пекарь. — Очень мы злые нынче ко всяким вопросам.

— Хорошо, я буду у вас часиков в восемь, — сказала Эсфирь.

Потом она поехала на пристань. Здесь рабочие-дружинники вырубали вмерзшие в лед плоты.

Пока Эсфирь разговаривала с начальником рабочей дружины, Хохряков беседовал с Тимой.

— Вот так по цельным суткам и мотаемся с ней по городу. Куда ни сунемся, — проруха, саботаж. Народ есть, пить и тепла хочет, а где их достать? Ничего такого буржуи нам не напасли. Наоборот, даже последнее развалили, расхитили. Скажем, вода, что такое? Вон ее цельная река. А куда ни кинься, всюду вода требуется. Пекарне — четыре сотни ведер. Столовым — двести. Больнице — сто. В казармы — триста. В бани — не менее, а может, более. По промысловым надобностям, если на круг брать, — тысяча пять. Раньше как было? Артель водовозная, а теперь ее нет. Городская дума для поддержания войны экстренную поставку солонины отправила в водовозных бочках. За это им Керенский по телеграфу «мерси» прислал. А народ, понятно, всухомятку жить не может. У проруби очередь, как за хлебом. Товарищ Эсфирь в ревком хлоп кулаком по столу: нужно, говорит, принять экстренные меры! Да ведь как их примешь, в горстях воду не принесешь! Но тут из

затона ремонтники показали революционное сознание: сколотили высокие ящики, осмолили, законопатили, словно баржи, и поставили на полозья. Теперь из тех ящиков весь город поим. С конями было туго. Красная гвардия сжалась — одолжила коней. А мы их одной соломой кормим. Узнает Красная гвардия — обидится, отберет. Но где его, фураж, взять? Попрытали извозопромышленники. Они и коней в тайгу тайно перегоняют на заимки. Но ничего, ловим. И в народную собственность берем. Глаз нам острый на все требуется. Добром свое добро буржуй никак отдавать не захочет.

По ледяной крыше реки мчится, шурша сухим снегом, поземка. Ветер пронизывает все тело мертвящей стужей так, словно на тебе нет одежды. В прорубях черная вода с плавающими в ней голубыми обломками льда курится паром.

Дружинники, подсунув под бревно толстые длинные ваги, виснут на них грудью, животами. Но отсыревшие от долгого пребывания в воде бревна обрели тяжесть железа. Какой нечеловеческий, каторжный труд нужен, чтобы выкатить тяжелое, словно гранитная колонна, бревно на берег! А потом еще пилить сырую древесину, когда пилу зажимает, словно в тисках!

Полузатопленные плоты с позапрошлого года лежали на песчаной отмели, но даже в летнюю пору самые опытные артели грузчиков отказывались разбирать их: «Хребет сломишь, но всосанного в песок сырого бревна с места не сдвинешь».

А сейчас, вырубив бревна из двухаршинной ледяной толщи, насытые, плохо одетые люди, у которых в доме нет и полена, — не для себя, а для других, — с самозабвенным усердием, до треска в костях, выкатывают тяжелые, словно каменные, бревна на берег.

Эсфирь в кургузом полушубке, в растоптанных, подшитых валенках, с опухшим, шелудящимся, обмороженным лицом произносит высоким голосом:

— Товарищи, от имени ревкома большое, большое вам спасибо!

И люди улыбаются Эсфири.

А один из них, в коротко обрезанном азяме, с разбитой в кровь скулой, залененной бумажкой, глухо сказал:

— Попервоначально думали, не сдюжим на пустое брюхо. А как взялись дружно, пошло!

Поземка перешла в буран. Лавина снега неслась с железным скрежетом, и в белом дыму уже не было видно

людей, и только слышались их натужливые крики и тяжелый скрип льда под выволакиваемыми из воды бревнами. На берегу мерно сипели пилы, и их звук не мог задушить шипящий шорох летящего снега.

Тима очень озяб. Но хотя Хохряков давно отсылал его домой, он упорствовал, рассчитывая, что Эсфирь в конце концов поедет в ревком, и тогда он увидит маму. Ведь не прогонит она его, когда узнает, как он сильно замерз!

А Эсфирь все продолжала разговаривать. Потом она взяла деревянную сажень и, словно заправский лесоторговец, стала мерить вытащенные на берег бревна.

«И откуда она так наловчилась?» — размышлял Тима, почтительно наблюдая за Эсфирью.

Только потому, что Тима твердо решил промерзнуть хоть до печенок, а дожидаться Эсфири, ему удалось в этот день повидать маму. Вернее, это была уже ночь. В светящемся небе торчали, как сухие кристаллы, чистенькие звезды. В домах не горел свет, не было керосина, и окна в них блестели угольной чернотой.

Возле ревкома стояли подводы и верховые лошади. Эсфирь сказала часовому, мотнув головой на Тиму:

— Этот человек со мной.

И Тима, гордый тем, что его по-взрослому называли человеком, поднялся вместе с Эсфирью по темной деревянной лестнице на второй этаж и вошел в дверь, на которой было написано: «Продотдел». Здесь он увидел маму.

Обязанная туго крест-накрест теплой шалью, тоненькая, стройная, она, гневно наступая на человека в мохнатой медвежьей куртке, раздельно, звонко говорила:

— Вы сейчас же поедете на лесопилку и заберете овес обратно!

— Так ведь я же не для коней выдал! — оправдывался человек. — Для людей вместо хлеба.

— Я вам сказала, это неприкосновенный семенной фонд!

— До весны дожить надо! — сердито сказал человек. — Рабочие сейчас есть хотят, а вы тут для мужиков запасы делаете!

— Товарищ Пантюхов, — укоризненно вмешалась Эсфирь, — вы что же думаете, нам до весны только дожить, а там трава не расти?

— Это я так, от сердца. Рабочих жалко. Овса выдать — и то нельзя.

— Овес нельзя, а муку можно.
— Так ее только поскребушки остались!
— Вот их и выдайте.
— А потом что?
— Вчера нашли в затоне целую баржу.
— Зерно подмоченное, в глыбы смерзлось.
— Договорились с рабочими кирпичного завода, будут сушить в печах.

— Ну что ж, тогда я пойду.

— Ну вот и правильно!

Пантюхов ушел. Мама сказала Эсфири:

— Ты знаешь, какой у него порядок на складе? Всюду трубы деревянные вентиляционные сделал. А говорил: «Я только бондарь, ничего другого не умею».

И вдруг мама увидела Тиму.

— Тима, почему ты здесь, почему не спишь? Что случилось?

Эсфирь сказала меланхолично:

— Случилось то, что у тебя есть сын, который помнит, что у него есть мать.

— Ты где его нашла? — тревожно спрашивала мама.

— Слушай, Варвара, — строго сказала Эсфирь, — оставь эти домашние сцены! Мальчик любит кататься, а ты знаешь, я теперь очень много езжу по городу. Зачем же его лишать удовольствия?

— Но он совсем замерз!

Мама стащила с Тимы валенки и стала растирать ему ноги.

— Противно смотреть, такой здоровый парень — и все не может обойтись без мамочки! — насмешливо сказала Эсфирь. Потом приказала: — Иди вымой руки, и я дам тебе настоящий бутерброд.

В коридоре Тима долго и тщательно мыл руки под умывальником, в котором вместо стерженька с медной пуговкой двигался большой гвоздь с набитой на острие деревяшкой. А когда Тима снова вернулся в комнату, там уже было полно людей; от сизого махорочного дыма сильно щипало глаза и першило в горле. Мама и Эсфирь важно сидели за столом, плечом к плечу. А напротив них разместившиеся на скамьях люди поочередно говорили:

— На вытмановской мельнице обнаружили лари с белым речным песком. И как мы выяснили, приказчики сыпят песок в муку для весу. На Вытмана наложили контрибуцию в пятикратном размере против веса обнаруженного песка.

— Мало! — рявкнул кто-то возмущенно.

— Не мало, а по разуму! Поскольку еще обнаружили, что все двухпудовые, а также пудовые гири не соответствуют по своему весу пробирным знакам, мы наложили и против их веса контрибуцию.

— На складе Кобрина нашли две сотни полотнищ двуручных пил. Оказались железными. Стали справляться: зачем держал железные — объяснение получили: для торговли с иностранцами. Наложили тоже резолюцию.

— Контрибуцию! — поправил густой голос.

— А ты не перебивай! Понятно, что не простили обмана!

Тима присел на корточки и, опершись спиной о стену, стал думать, как было бы хорошо, если бы на свете не было буржуев, зимы, а все время стояло лето, и вместо травы рос овес, и всем людям и коням его хватало бы вволю. А Пыжов нашел бы свои знаменитые металлы дороже золота, и люди топили бы печи углем, который так легко можно намывать водой, а Нина ела б только медвежье сало и стала бы совсем здоровой... И он тоже ел бы это медвежье сало сырым и стал бы сильным, как Капелюхин, и тогда бы он поймал всех офицеров, которые убили Софью Александровну, и он бы их...

— Ешь! — сказала Эсфирь и положила ему на колени сплюсненные куски хлеба, между которыми лежал кусок муксуна.

Он стал вяло жевать, не раскрывая глаз, и сквозь дрему слышал, как мама говорила звенящим голосом о каких-то очень важных делах:

— Товарищ Костицын правильно сделал, не разрешив взять на убой четырех коней для питания курсантов военного училища. Пусть снарядят группу курсантов в тайгу, сейчас самое время охоты. Нужно на бойне установить рабочий контроль, чтобы прекратить хищение мяса. Мясники продают населению требуху, а говядину развозят тайком по квартирам богатых покупателей.

— Ты про нутряное сало информируй, — подсказала Эсфирь.

— Да, товарищи! Продотдел постановил создать неприкосновенные фонды жиров. Рабочие слесарной мастерской Кутерина построили нам салотопки. К весне мы должны собрать не меньше пяти тысяч пудов сала.

Сонно, печально и недоуменно Тима думал о своей маме. Чего это она тут, словно кухарка, говорит только

о том, чем кормить людей? И ничего про революцию, свободу, про мировой пролетариат, который сейчас рвет на себе цепи!

— Иди-ка ты, братец, спать, — сказала Эсфирь и, взяв Тиму за плечо, повела его куда-то за собой.

В ревкоме работали круглые сутки, поэтому две канцелярские комнаты превратили в спальни. На двери одной написано углем «Мужчины», на другой — «Женщины».

Когда Тима вошел в спальню, освещенную блеклым светом, проникавшим в окна, он сразу же наступил кому-то на ноги. Шарахнулся, споткнулся и упал.

— Спасибо, валенком по рылу, если б сапогом, оно б чувствительнее получилось.

— Извините, — сказал Тима, — я нечаянно.

Тот же голос посоветовал:

— Ты, землячок, людей зря не тревожь, местов все равно нет. Прикидывайся ко мне. Ничего, я сдвинусь.

Тима осторожно улегся на край соломенного тюфячка, но тут же испуганно вскочил, почувствовав, как ему под голову сунулось что-то мохнатое, теплое.

— Я ж тебе свой треух для мягкости, — успокоительно сказал человек. — Если башка на мягком, спать слаже.

— Спасибо! — еще раз поблагодарил Тима.

— Нынче все люди друг другу угодливы, — наставительно сказал человек. — Каждый теперь не что-нибудь, а полный гражданин, фигура! Вот я, скажем, шестнадцать лет на кобринской лесопилке спину гнул. А ну, погладь меня рукой по роже! Чуешь рубец? Как впервой низовым поставили, сомлел с непривычки, ну и полоснуло пилой, аж по кости проехало. А теперь я, Гусяков, полномочный. И не Кобриных, а меня в ревкоме улещают насчет теса.

— А сами небось в землянках живете?! — вдруг сердито спросил Гусякова невидимый человек, лежавший на соседнем тюфяке.

— Это правильно, — согласился Гусяков, — жилье наше зверовое. Но как рассуждать? Если сейчас каждый на себя тащить начнет, чего будет? Вот вы при чем состоите?

— Мухин я, слышал?

— Флегонт Егорыч?

— Именно.

— Так чего ж вы меня с панталыку сразу сбить желаете?

— Хочу знать, как дело понимаешь.

— Все забыть не можете, как спервоначалу мы не только тес да кругляк, а топоры и пилы меж собой делить начали?

— Во-во! — со вздохом произнес Мухин. — Революция вас на совместную жизнь тянет, а вы на себя тянете!

— Так набедовался ж народ!

— Набедовался с того, что буржуазия все на себя хапала. А нам надо аккуратно обживаться, со строгостью.

— Это верно. Слабосильное оказалось у буржуев хозяйство. Вот Кобрины, говорят, миллионами ворочали, а все пилы сточены до самого хребта: замены нет.

— Обносились Россия с войны, обезжелезила.

— На базаре за горсть ржавых гвоздей куру дают.

— Куру, ее без корму не вырастишь, а пойди в бакалею, за фунт пшена такое спросят, зачешешься!

— Вот и корми после этого ребят кашей!

— На крупорушках теперь рабочий контроль поставлен.

— Все равно на базаре из-под полы торгуют по вольным ценам. Кто же за ими уследит?

— Мы! — гулко и властно сказал человек у самой стены.

— А кто это мы, позвольте узнать?

— Якушкин я, уполномоченный продотдела по базару.

— Скажи, чин какой громкий!

— А ты не смейся, человек у большого дела стал!

— Все едино обманут. Торговцы, они хитрые!

— Я не один, я сочувствие найду, помогут.

— Гляди, как бы сочувственные эти тебя не купили. Большую совесть иметь надо.

— А ты мою совесть мерял?

— Чего обижаешься? Я ведь с тревогой. Может, у тебя дома ребят куча и все жрать хотят, а тебе сунут в руки кус сала, разве его на землю бросишь, когда дети несытые?

— Дети-то у меня несытые, верно, — тихо произнес Якушкин, — но и у других тоже.

— Ну, раз понимаешь, — значит, непродажный. Верного человека на такое дело поставили. Тебя кто уговорил, Сапожкова?

— Знаем, цепкая, — заговорил новый человек тонким голосом. — Приходит к нам в лабаз, к самому Животину, спрашивает: «Вы получили в банке кредит под залог ста

пудов юфтовой кожи?» Животин — мужик политичный, сам в себе уверенный — смеется: «Признаю, словчил, было дело. Но кожа эта — выдумка. Ссуду я под чистое коммерческое доверие получил. Никакой кожи в натуре не имеем! — Смеется. — Сами видите, в щиблетах хожу. На сапоги взять неоткуда». Сапожка вежливо заявляет: «Придется вам вернуть ссуду». Животин аж посинел: «Позвольте, это же мои сделки с Временным правительством, а вы тут при чем?» — «А при том, что все банковые ценности приняла власть Советов, и если вы немедленно не вернете задолженности на соответствующую сумму, конфискуем у вас товары, а торговлю вашу прикроем». Прибила она его этими словами, как гвоздем к столу.

— Ну и как?

— Отдал кожей.

— А куда юфть подевали?

— На крой сапожный пустили. Рабочим на лесопилку — пятьдесят пар, сто — курсантам. Красной гвардии отдельно головки — сто двадцать, шестьдесят — в затон. Сто пар фуражному отряду на овес в деревне сменять, восемьдесят пар — семьям, у которых отцы в боях за революцию погибли. Одна пара — артистке Чарской, остальное под замок, до крайней надобности.

— За что артистке-то?

— За выступления. На площади перед всеми выступала, за это.

— Бывало, ей купцы одеколон подносили в мешке из собольих шкурок.

— Сапог — вещь тоже бесценная.

— Могла и за так.

— Это верно, нельзя имуществом швыряться. Меня к складам дровяным поставили, все дров просят, а я, пока с понятыми не проверю, что топить нечем, не даю.

— В буржуйских дворах поленницы в три этажа. Забрать надо!

— Без резолюции ревкома нельзя.

— А ты скажи, пусть напишут резолюцию.

— Написать недолго, а ты бы сначала с умом посчитал, сколько на каждую печь до весны дров требуется, а излишек тогда под закон.

— Так ведь канители сколько, если все считать!

— Без канители нам нельзя, скажут: грабят и все, а мы должны по закону.

— У меня тоже дело немалое — картошка, семьсот пудов. Половина морожсная, так я ее только и выдаю, а то

к весне сгниет. Поморозили ее в баржах лабазники; куда ни кинь, у них все порченное да сношенное, как пилы у Кобринских или жернова у Вытманов.

— Про то народу объяснить как следует, ладком надо, а то все на митингах «ура» да «ура», а с нас, полномочных, спрашивают!

— На то тебя и поставили, чтобы с тебя спрашивать!

— Ну, это я и без тебя просветленный!

— Просветленный, а ноешь!

— Так это я для разговору, может, кто что правильное присоветует. Один тут прикинул мороженую картошку на патоку пустить, а то ведь люди чай с солью пьют.

— Может, ребята, хватит разговору? Спать надо.

— Какой сон, когда душа горит!

— Так давай хоть шепотом или местами сменяйтесь, а то орете через все помещение.

— Видать, умный человек, правильно присоветовал.

— А вот как соль с рыбного рассола выпарить, чтобы она после не пахла, не знаешь?

Прижавшись к Гусякову, вдыхая теплый и едкий запах махры и овчины, Тима долго не мог уснуть, встревоженный всеми этими не совсем понятными разговорами, по которым получалось, что революция сейчас — хлеб, дрова, картошка.

Вот мама Тимы по приказанию ревкома обследовала документы и архивы городского банка и управы. Потом оказалось: все, что она подсчитала по написанному в бумагах, неправда. В городе нет ни угля, ни дров, ни хлеба, ни крупы, ни шерсти, ни многих других товаров. Все это числилось только на бумаге. Так, в бумагах, под которые Вытманы получили большие кредиты в банке, числилось, будто у них в амбарах лежит двадцать тысяч пудов ржи. На самом деле в амбарах Вытмана ничего не оказалось, и только в конторке хранились векселя различных мелких хлеботорговцев на двадцать тысяч пудов хлеба. Так же было с овчиной, кожей и со всем другим. А вот Косначев, выступая на митинге, говорил людям:

— Кошей русского капитализма скаредно хранил под семью замками несметное сокровище награбленных богатств, которые отныне станут достоянием народа.

И все это оказалось не так. Вытмановская мельница — гордость города — по залоговой числилась оборудованной новыми машинами. На самом деле паровая машина так изнашивалась, что мельница со дня на день может остановиться. То же самое с пароходами, и с лесопилкой Кобрина,

и с пичугинским кирпичным заводом. Владельцы таежных смолокурен называли свои смолокурни химическими заводами и под этот обман брали деньги в банке. Нет, не сокровища несметные скрывали сейфы городского банка, а тайны жульнических сделок.

Когда Тимина мама вызвала богача Мачухина в Совет и обвинила в совершении подлогов, тот добродушно сказал:

— Так ведь коммерция — злое дело!

— Но за это вас судить надо!

— Судить меня за то, что я Россию грабил, умственно можно, — согласился Мачухин, — но по закону нельзя. Закон на нашей стороне был. Мы с полного с ним согласия действовали. — Помолчал, задумался, потом стал объяснять: — В нашем городе, извольте знать, с самых древних времен торговый капитал угнездился. Это который барыш берет, но следа после себя оставлять не любит. Ну, разве что церковь на спасение души или там домишко каменный с башнями для куражу. Хотя хищно брали, бывало, на рубль — сто, а то и поболее. А если в кучу капитал сдвигали, так только для того, чтобы петельку на каком слабомощном купчишке аж до позвонка стянуть. Но в промышленность мы не кидались. Куда нам со своим сиротским капиталом, боязно! Фабричишками себя не обременяли. Это те, у кого с иностранным капиталом сговор, те могли позволить. В случае чего такое имущество чужой державой оберечь можно! — Подмигнул и сказал с схищцей: — У нас, у торговых людей, ум хоть и велик, а жуликоватый, понимаем, что куда клонится. Россия — она велика, но рыхлая: иностранный капитал давно ее обшарил всю. Те, у кого прииска или там шахты, обязательно должны иностранной державой обнадежиться. А так, для себя одного, одна дерзость. Я это еще после девятьсот пятого смекнул! — усмехнулся, подмигнул и сказал доверительно: — Выходит, медведя вы убили, а шкурка-то с него собачья оказалась. Декрет ваш насчет недр грозный, ничего не скажешь, но мы тоже ничего народ, увертливый. — И торжествующе объявил: — Прииска-то мои за американской компанией числятся. Теперь вы с господином Дэвиссоном разговаривайте, а мое дело сторона...

Тима сквозь дрему вспоминал, как огорченно Канелюхин рассказывал маме о знаменитом на всю губернию, будто бы литом из чистого золота полупудовом льве, стоящем на серебряном блюде в гостинной купца Мачухина. Ввиду величайшей ценности лев был конфискован и доставлен в городской банк, но на самом деле оказался

оловянным и только сверху покрыт позолотой. И Капелюхин угрюмо говорил маме:

— Так у них, у буржуев, во всем. Обман один, за что ни ухватишься!

Несмотря на сердитые окрики: «Кончай митинг, и так от них голова пухнет!» — в ревкомовской спальне долго еще не смолкали взволнованные разговоры.

Мухин, ни с кем не считаясь, говорил уверенно, громко:

— С войны они большие капиталы нажили, верно! Но в дело-то их не пускали, в кубышку или еще куда попрятали. У нас в затоне что? Все машины на буксирах сносились до невозможности. Парят, света божьего не видишь. Вроде бери мыло и веник да парься, все равно как в бане. Но это еще полбеды. А вот нормальную атмосферу в котле не удержишь: лопнет. Проела вода все трубы-то. Тут уж как ошпарит — одна от тебя вареная говядина останется, а они и при Керенском не желали на ремонт ставить. С каждого рейса тысячи брали. Столько и буксир не стоит, когда он одно ржавое железо. А теперь смотри, есть у них интерес навигацию открывать? Нету. Отобрали мы у них в народное пользование пароходошки; капитаны сбежали, им за это наперед за год жалованье пароходчики выплатили. Но ничего, на воде мы и без капитанов справимся. Но как ты его на воду спустишь, когда он пар не держит?

— Что ж, починить не можете?

— Мы-то можем, а чем?

— Железа вам мало?

— Железа? А где его взять?

— Вот бы и сообразил башкой, чем людей стращать!

— Я-то сообразил, да на железной дороге не хотят паровоза старого отдать. У них там своя власть. Заседают — говорят, без губернии не могут. А паровоз, который мы высмотрели на запасах, в землю колесами аж до осей врос, брошенный.

— Пароходы зимой — дело второе. Сейчас кони для нас главное. Слыхал, извозопромышленники стали тайно лошадей в тайгу на заимки перегонять?

— Это зачем еще?

— А чтобы Советская власть сейчас обезножела; без обозного подвоза городу зимой петля. Значит, под самый вздох нам поддать целят.

— Ничего, Совет их декретом накрыл. Постановили: «Приравнять по народной важности извозные дворы к железнодорожному и водному транспорту».

— Это — дело, а то без коней нам труба...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Самый большой извоз в городе был золотаревский. Его ямщики славились на всю губернию. Они возили грузы без перекладных на тысячи верст. Отважные ходили к океану за тюленьими шкурами, пушниной, которую закупали фактории, принадлежавшие Пичугину и американцу Дэ-виссону.

Золотарев держал в своих руках почти все подряды на доставку в город товаров, топлива, зерна, продовольствия.

На большом тракте у него были лабазы, где его приказчики скупали для английской и датской компаний сливочное сибирское масло. Специальные «масляные поезда» возили из Сибири в Европу этот товар сотнями тысяч пудов.

Пробовал когда-то заниматься извозом и Мачухин. Но Золотарев собрал у себя на заимках беглых каторжников, и те совершали нападения на мачухинские обозы. Пришлось Мачухину отказаться от выгодного дела. Но не столько ему было жаль барыша, сколько самолюбие страдало.

Отомстил он Золотареву озорно и диковато. Начал тайно скупать векселя золотаревского зятя, торговца пушниной Антона Сорокопудова. Сорокопудов каждую осень ездил за границу и продавал там с аукциона соболя, куницу, горностая, песца и на вес — чохом — беличьи шкурки. Был он тучен, ходил в визитке и штучных брюках в полоску, носил эспаньолку, котелок и трость с золотым набалдашником. Каждую ночь Сорокопудов просиживал в Общественном собрании, где играл по-крупному в железку, в штос, а с приезжими купцами — в очко.

Считая всех азиатами, он объяснялся с людьми презрительными жестами, своего тестя называл Урсусом, то есть медведем.

Мачухин подстерег момент, когда Сорокопудов крупно проигрался, и, воспользовавшись тем, что Золотарев был в отъезде, предъявил векселя ко взысканию.

И вот в воскресный день городские обыватели стали свидетелями странного зрелища. По главной, Почтовой улице Сорокопудов тащил усевшегося на него верхом Мачухина до самых торговых рядов на Миллионной. У торговых рядов Мачухин слез с Сорокопудова, молча подал ему кипу векселей; тот пересчитал, разорвал в клочья, вскочил в извозчичью пролетку и, надвинув котелок на

потное багровое лицо, уехал. А Мачухин отправился пешком домой.

В ту ночь, когда Тима ночевал в ревкоме, загорелись фуражные склады Золотарева. Тима вместе с Гусяковым и другими ревкомовцами побежал на Ямскую улицу, где находился извозный двор. Алое зарево зловеще осветило весь деревянный город. Оно окрасило снег улиц и пустырей малиновым трепетным светом. В фиолетовых сумерках трепыхались пунцовые отблески. Воздух пах горькой едкой гарью. Жители суматошливо вытаскивали из домов вещи: ведь не раз бывало, что город во время пожаров выгорал почти до половины.

Сложенные из тяжелых лиственничных бревен золотаревские амбары выбрасывали в прозрачное зеленое небо гудящие столбы почти бездымного, чистого огня. Ямщики и конюхи растерянно бегали возле горящих флигелей и амбаров, и только рабочие-дружинники и красногвардейцы мужественно боролись с огнем. Красногвардейцы сбили замки с конюшен и выводили визжащих низкорослых мохнатых нарымок, по-волчьи пытающихся схватить людей оскаленными зубами.

Здесь же находился член ревкома Капелюхин. Он брал бешено мечущегося коня за поздри, низко пригибал его голову и вел за собой, словно собаку.

Золотарев в лисьей дохе, сидя на розвальнях в мягком глубоком кресле, печально говорил кучеру:

— Постиг меня гнев божий за грехи немощного духа! Но ничего. Бог дал, бог и взял. Не стану тешить дьявола воплями скорби. Смирюсь, как инок перед видением указующим.

На красногвардейце, который волоком вытащил из амбара куль овса, загорелась одежда. Его стали катать по снегу. Золотарев произнес умильно:

— Уподобился сей отрок грешнику в печи огненной, — и задумчиво, уже про себя пробормотал: — Разве такое дело чужой, нехозяйской слезой погасишь?

Подошел Капелюхин; швырнув на снег тлеющие варежки, спросил властно:

— О пожаре вам как, заранее известно было? Или на огонек прикатали?

Золотарев невозмутимо осведомился:

— А ты кто? Брандмайор? Так где же, милок, каска? Пропил? — Махнув головой на ямщиков, пожаловался: — Под хмелем. Водка — она всем грехам начало. С того и горим.

— А керосин они у вас пьют? — осведомился Капелюхин.

— Пьют! — Оживился Золотарев. — Они все пьют. Лампадного масла поднеси — вылакают.

— Тут вот жестянки из-под керосина обнаружили.

— Жестянки — тоже посуда. Туда все налить можно. И воду и молочко. А кто спиртного. Все зависит, к чему склонность.

— Говорят, из вашего дома жестянки?

— Кто его знает, кто тем банкам хозяин? Теперь что мое, что ваше — один бес ведает.

— Может, от этого и подожгли?

Золотарев встал, опираясь лиловыми, цвета коровьего вымени ладонями о плечи кучера, проговорил угрожающе:

— Ты вот что, господин хороший, если ты из ихнего сыска, так тень не наводи по своей некультурной глупости! По старому времени, если желалось знать, самочинно палили, чтобы страховку взять. При «Саламандре»¹ действительно баловались керосинчиком и, если с умом, получали сполна. А теперь, хоть у меня все страховые полиса сохраненные, вы мне кукиш поднесете?

— Верно! — с удовольствием согласился Капелюхин. — Платить не будем.

— Значит, понял? — рассудительно сказал Золотарев. — А то пытаешь, как сыщик. Какой же у меня расчет может быть?

— Вам что ж, своего добра не жалко?

Капелюхин снова кивнул в сторону продолжающего бушевать пожара.

Золотарев пожевал сухими губами, сощурился.

— А я, мил человек, не конь. Я одной просфорой да коньяком питаюсь.

Капелюхин схватил Золотарева через доху за толстое колено и, жестко сжимая пальцы, произнес взволнованно:

— Намек, значит?

— Дура! — брезгливо отстранился от Капелюхина Золотарев. — Что же я, сам себе злодей, с тобой в поддавки играть? — и, болезненно морщась, потирая колено пухлой сизой ладонью, бормотал, раскачиваясь: — Если бы у меня такая мысль затесалась, я б еще засветло овес на заимку сначала свез: его тут свыше двух тысяч пудов испепелено. Цельный капитал по нынешнему голодному времени. Разве хозяин так безумно, без расчета свое жечь станет? Тут кто-

¹ Страховое общество дореволюционной России.

то позлее меня спичку поспешил сунуть. Постигаешь? Ну, вот то-то же! — И, снова насмешливо улыбаясь, хвастливо заявил: — Кони у меня, конечно, резвые, но без корма, как ты с ними ни митингуй, ног не потащат.

С сухим скрежетом огонь раздирал кровли амбаров. Пламя, упруго пружиня, прыгало ввысь. И казалось: багровое небо тоже вот-вот вспыхнет само. Вокруг пожарища снег растаял, и черная жирная парная вода хлюпала под ногами людей. Сипло, опаляюще дыша, тугие красные волны огня разваливали срубы.

Зрелище грозной мощи огня захватило все существо Тимы. Он чувствовал, как сами по себе трясутся губы, онемел подбородок, холодно трепещет что-то в животе, жалко дрожат ноги, и вместе с тем какое-то странное, озорное и дерзкое возбуждение все сильнее завладевало им, и его неудержимо тянуло туда, где в огне мелькали темные силуэты людей, борющихся с огнем.

Но каждый раз, когда Тима подходил близко к пожару, его прогоняли. А какой-то рабочий даже сердито сорвал с него шапку и, отбросив далеко в сторону, пригрозил надрать уши.

Тима видел, как молодой щуплый красногвардеец, облив себя водой из ведра, бросился в распахнутые ворота амбара и скоро появился оттуда, держа на спине куль овса. Свалив куль на землю, красногвардеец стал оббивать руками затлевшую дымящуюся паром одежду. Он озорно улыбался и что-то кричал людям, весело зазывая их лезть в огонь.

И другие красногвардейцы с такой же веселой отвагой пробирались в самую огненную чашу и там с таким бесстрашием дрались с огнем, вонзая в стропила багры, рассекая топорами скрепы, скидывая вниз, словно поверженную добычу, мохнатые от огня балки, что Тима готов был отдать все на свете, чтобы хоть на мгновение уподобиться этим людям.

Вдруг он увидел бурого пса, мечущегося на короткой цепи в простенке между горящим амбаром и сеновалом. Тима сам не понял, как очутился здесь, словно внутри пылающей печи. Дрожащие пальцы его никак не могли расстегнуть пряжки на сделанном из сыромятного ремня собачьем ошейнике. А пес, опустив башку, скосив глаза, хрипел, оскаливая пасть, всю в кровавой пене. И когда Тима наконец расстегнул пряжку, пес отскочил, сжался, прыгнул и тяжким ударом свалил Тиму, располозовав его поддевку почти надвое. Лежа на земле, Тима на мгновение

ощутил вонючее собачье дыхание, заслонился рукой. Он не услышал выстрела. Поддерживая Тиму за плечо, Капелюхин говорил сердито:

— Нехорошо! Папаша и мамаша делом занимаются, а сынок без надзору по пожарам бегает, с собаками озорует! Не истрать я патрон, она бы тебе не только одежду испортила. Вот доложу отцу, всыплет он ремнем по заднице как следует быть!

Тима, ощущая безмерную слабость, поплелся к воротам, но силы отказали, он прислонился к забору, чувствуя, как все расплывается перед глазами в дымном красном тумане.

А где-то гулким, шалашинским басом зычно возглашал Капелюхин:

— Ребята! Наперед кули с овсом из амбаров выгребайте! Да аккуратнее, чтобы самим не сгореть!

Пламя кидалось на людей, но те швыряли в него из ведер воду и бросались, словно в огненную пещеру, в распахнутые ворота амбаров. Капелюхин вышел из амбара, прижимая могучими руками к бокам по кулю овса.

На рысаке, в крытых ковром санях к месту пожара подъехал Мачухин. Он сказал Золотареву, с трудом скрывая злорадство:

— Соболезную и содрогаюсь от беды, тебя постигшей!

Золотарев, не поворачивая головы, погруженной в мохнатый воротник дохи, сурово осадил:

— Не радуйся, а сними с башки шапку перед дланью наказующей!

— Кого наказующей? — ехидно спросил Мачухин. — Меня, что ли?

— А ты своими утлыми мозгами пошевели — и поймешь кого! — торжественно изрек Золотарев.

Мачухин съежился и, теряя с лица улыбку, пугливо прошептал:

— Ну и отчаянной силы ты человек! — и вдруг сдернул с головы бобровую шапку с бархатным верхом, махнул ею у ног и заявил восторженно: — А что! За такое и земной поклон могу отбить. Герой!

— Ступай, ступай отсюда! — глухо попросил Золотарев. — А то вот скажу комиссару, что это ты по давешней злобе подпалил. Он тебя скрутит. Видал, по кулю в каждую подмышку кладет, а в куле шесть пудов.

— Не скажешь! — весело заявил Мачухин и озорно подмигнул.

— За этот намек я еще тебя достану! — пригрозил Золотарев. Потом устало добавил: — Ну, конец шутовско-

му разговору. Поглядел, как мое добро горит, насладился и ступай водку пить! На другое ты не годен.

Только к утру пожар стих. И хотя разбросанные бревна, покрытые черной угольной чешуей, продолжали дымиться и тлеть, и в серых рыхлых пепельных кучах по временам вспыхивали легкие фиолетовые лепестки пламени, и беззвучно всеми ветвями горела одиноко стоящая возле поваленного забора огромная пихта, никто уже не обращал на этот огонь внимания. Красногвардейцы ушли, а рабочие-дружинники по приказанию Капелюхина уводили со двора в бывшие казачьи казармы извозных коней — кто в поводу, а кто верхом.

Тима давно уже заметил коня, у которого передняя нога в бабке была залита темной, густой, застывшей сургучными подтеками кровью. Конь держал ногу на весу, поджимая ее, словно пес пораненную лапу, дрожал, всхрапывал и злобно, неловко шараялся, скаля желтые зубы, когда кто-нибудь приближался.

Дружинник хотел поймать коня за повод, но конь дернулся, встал на дыбы, и у головы дружинника промелькнуло тяжелое копыто. Дружинник отскочил и поднял с земли кусок доски. Тима закричал:

— Не надо, дяденька, он же раненый, ему больно! Дайте я его отведу!

— Валяй, — согласился дружинник. — Только гляди, он уросливый.

Тима подошел к коню и, не спуская глаз с его здоровой передней ноги, осторожно взял повод за самый кончик и вежливо подергав, сказал просительно:

— Но-но, пошли, лошадка!

Конь, почти по-кошачьи выгнув спину, как-то боком скакнул раз-другой, всхрапнул со стоном и снова скакнул. После каждых десяти скачков Тима решил давать коню отдых. Осмелев, он даже погладил коня по угластой скуле, а конь, низко опустив мохнатую голову, дышал тяжело, прерывисто. Когда Тима стал гладить коня по ляжке, он чувствовал, как судорожно и мелко вздрагивает кожа под его ладонью. Тима решил, хоть это было очень страшно, перевязать маминым платком, который был накручен у него на шее, пораненную ногу коня. Он присел на корточки и сначала потрогал пальцем висящее перед его лицом тяжелое, словно двухпудовая гиря, черное копыто с истертой, жарко блестящей железом подковой. Потом поднял руку выше. Конь, повернув голову, смотрел на него печально и внимательно коричневым глазом с сизой поволокой.

В темной глянцевиой выпуклости конского глаза Тима увидел свое лицо, испуганное, широкое, с жалко растянутым лягушиным ртом. Тима сказал:

— Ты не бойся, я очень остороженько,— и, зажмурившись, приложил конец платка к кровоточащей бабке.

Конь всхрапнул и сильно хлестнул его по щеке жесткой кистью хвоста.

— Чего же ты дерешься? — обиженно пожаловался Тима. — Ведь больно!

Скрутив ему два раза ногу платком, Тима под конец совсем осмелел и, забравшись коню под брюхо, все ту же бинтовал ногу.

Закончив перевязку, Тима уже спсходительно похлопал коня по влажному храпу и, властно дернув повод, приказал:

— Ну, пошли, пошли! Теперь хромать нечего!

И, действительно, конь теперь уже передвигался не мучительными прыжками, а только замедлял поступь, прежде чем бережно ступить на поврежденную ногу.

Сердце Тимы было переполнено гордостью собой и нежностью и любовью к лошади.

Он шагал посередине улицы, держа накоротке повод, чувствуя на пальцах влажное и теплое дыхание коня.

Забота о золотаревских лошадях, размещенных в бывших казачьих казармах, была поручена рабочим кирпичного завода Пичугина. Коня у Тимы принял печной мастер Хрулев. Лицо его было орехово-смуглое от постоянной близости к огню. Короткие, подпаленные усы и борода торчали сердитыми клоками. Тиме этот человек показался грубым, неприветливым, и он попросил:

— Этот конь замечательный, но он раненый, ему нужен особенный уход, как за больным. И, пожалуйста, пока он не выздоровеет, не заставляйте его возить тяжелое.

Хрулев сощурился, внимательно оглядел Тиму, потом коня и сказал:

— Вот что, парень, если ты такой лошадиик, что даже с себя имущество пожертвовал, то должен коня сам блюсти и холить. Ты с какой улицы?

— Я не с улицы, я с Банного переулка!

— Все едино. Так вот, собери со своего переулка ребят, у кого, конечно, к лошадям сердце есть, приводи сюда.

— Спасибо, дяденька! — восторженно поблагодарил Тима и пообещал: — Я своему коню еще хлеба достану!

— Хлеба и людям не хватает! Ты это брось и ребятам не вели таскать, а чтобы не думали, для баловства сюда бегаешь, скажешь: Хрулевым мобилизованный.

И это пахнущее железом, мужественное слово революции — «мобилизованный» — пронизало все существо Тимы гордостью.

Казачьи казармы, где разместили золотаревских коней, находились на окраине города. Это были обветшавшие деревянные бараки, построенные наспех в девятьсот пятом году; они долго пустовали, и окраинные жители потихоньку растаскивали их на топливо. Здесь находили себе приют обнищавшие крестьяне-переселенцы из России, городские босяки, а иногда и шайки уголовников. Верно, только из страха перед ними обыватели не решались растащить все казарменные строения начисто. Пользуясь тем, что по городу ходят страшные слухи об обитателях брошенных казарм, здесь тайком проходили военное обучение рабочие боевые дружины, готовясь к революционному восстанию.

И вот теперь рабочие кирпичного завода приводили казарменные конюшни в порядок, латали досками кровлю, клали новые плахи на прогнившем настиле в стойлах, сколачивали решетки для кормушек, сгребали смерзшиеся кучи старого навоза. И за всем этим наблюдал Хрулев, начальник дружины, старый мастер по обжигу, которого рабочие привыкли слушаться беспрекословно.

Степенный, неторопливый, он требовательно говорил:

— Вы не тят-ляп, не на времянку! Это же великое дело у нас тут получается! Вроде первая транспортная народная контора. Теперь нас извозопромышленники за горло держать не смогут. Теперь мы сами можем чего хочешь отвезти и привезти. И заводишко наш не остановится в силу отсутствия дров, глины и воды. Сами все подвезем, — и, показав рукой на Тиму, добавил ласково: — Парнишка, видали, шарфик с себя стащил и ногу пораненную коню обвязал. Хоть он еще полчеловек, а душа проклевывается на общее дело. — И, снова обращаясь к Тиме, советовал: — Так ты с умом всем ребятам своим объясни: подмочь просим. А за услуги кирпичей штук пятьдесят можем выдать. Кирпич для дому — штука хозяйственная: печь починить или еще куда.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Коммерческое домовладение золотопромышленника Пичугина в Банном переулке, где жил Тима, было довольно обширным. Обращенный фасадом на улицу двухэтажный дом под железной крышей, два бревенчатых одноэтажных флигеля, крытых тесом; к ним примыкали амбары, сеновалы. В глубине заднего двора находились конюшни, лет двадцать назад переделанные под жильё, и длинные низкие строения, похожие на приисковые бараки, только внутри разделенные перегородками. Эти помещения снимали у Пичугина ремесленники и мастеровые люди. Для жителей заднего двора в заборе, выходящем на пустырь, была сделана калитка, чтобы они не показывались на глаза приличным съёмщикам.

Весь верхний этаж большого дома занимал инженер Асмолов, сосланный в Сибирь по уголовному делу. Жена его, высокая, тонкая, с красивым, надменным лицом, обычно на всю зиму уезжала в Россию.

В нижнем этаже жил поверенный Мачухина Финогенов, доморощенный историк Сибири, публиковавший в местной газете заметки о старине за подписью «Филин». Сутулый, всегда чем-то озабоченный, с длинными седыми «под Потанина» волосами, он все свободное время летом проводил в раскопках на Успенской горе, собирая глиняные черепки и куски тесаного камня.

Соседями у него были управляющий торговой баней Пичугина, член городской думы Станислав Борисович Залесский и один из деятелей партии кадетов — присяжный поверенный Илюмский.

Сапожковы жили во флигеле, находящемся на территории переднего, чистого двора, но отношение к ним со стороны привилегированных съёмщиков Пичугина было чрезвычайно неровным.

Год назад Асмолова решила подружить с Тимой своего сына Анатолия. Хотя Толя был на два года старше Тимы, но, кроткий, застенчивый, он расположил его к себе доверчивым признанием в одиночестве. Тиме сразу же пришла мысль познакомить его с Ниной Савич, которая тоже одинока. Толя вначале обрадовался, но потом стал встревоженно просить Тиму:

— Нет, нет, пожалуйста, не надо! Моя мама очень самолюбивая! — и взволнованно, чуть не со слезами на глазах, шепнул: — Ведь мой папа сидел в тюрьме!

— Ну и очень хорошо! — горячо воскликнул Тима. — Все, кто против царя, все в тюрьмах сидели...

Но Тиме не удалось договорить всего, что он собирался сказать. Мама Толи, неслышно войдя в комнату, произнесла сухо:

— Извини, Тима. Толе нужно заниматься музыкой, — и проводила Тиму до прихожей.

С тех пор Тиму не приглашали больше к Асмоловым.

А когда во время Керенского родители Тимы скрывались и Тима жил один, Анатолий Асмолов, разодетый в новенькую форму скаута, встретив замурзанного Тиму в городском саду, сделал вид, что не узнал его.

Тогда же навестил Тиму и Финогенов. Осмотрел сложенные в кухне дрова и предупредил:

— Если обнаружу хоть одно полено с угольным крестом на торце, — значит, ты похититель. В моей пленнице все дрова меченые, — подумав, добавил: — Впрочем, дети интеллигентов не столь просты, когда занимаются воровством, — и попросил ласково: — Скажи, голубок, честно, ведь тряпочкой стер знаки? Это я не для улики, а в подтверждение своей мысли спрашиваю. О хитрости интеллигенции.

Залесский, встречая Тиму во дворе, каждый раз громко и весело вопрошал:

— Скучаешь? Ничего! Скоро твоих предков разыщут и вернут в естественное состояние — за решетку.

Теперь же Финогенов, здороваясь первым, угодливо говорил:

— Здорово я тогда над тобой шутку сшутил! — и предлагал: — Дровишки понадобятся, бери, не стесняйся.

А Залесский осведомлялся:

— Здоровьичко-то как папаша с мамашей, ничего? Ну, передай самое нижайшее.

Асмолова, встретив Тиму, сказала с упреком:

— Почему ты такой бука, Тима? Толя тебе говорит «здравствуй», а ты отворачиваешься! Ну, ну, помиритесь!

Но Тима не захотел протягивать руку Анатолию Асмолову.

Зато с жителями заднего двора у Тимы были всегда хорошие отношения, хотя никто из них ни раньше, ни теперь не проявлял к нему особого расположения.

Многодетный лоскутник Полосухин жил в барачном закутке, который он гордо именовал мастерской. Посередине лачуги стоял на козлах большой стол, сколоченный из ветхих досок, выломанных из забора. Этот стол называли

верстаком. Ночью на нем спал Полосухин с женой, а на полу, на тряпье, — восемь человек детей и старуха теща. В сенях стояли две кадки: одна с водой, другая с квашеной капустой — и общие семейные валенки, в которых Полосухины бегали зимой в отхожее место.

Полосухин в первый же день знакомства с Тимой объяснил с достоинством:

— Я, мил человек, не тот лоскутник, который по дворам ходит, шурум-бурум орет и бедных людей обмишурирует. Я мастеровой, из старья спорки выделяваю, крой шапочный, жилеточный и тому подобное. Мое звание — брючник. Но не захотел на хозяина соки тратить, свое дело завел.

А дело у Полосухина было такое: каждое воскресенье он отправлялся за товарами к купцу Юносову, содержателю артели скупщиков старья. Нагрузив санки рухлядью, он волок их домой. Здесь сортировал обноски, а потом, разложив на верстаке, приступал со всем семейством к разделке. Орудия сапожными ножами, Полосухины срезали сначала пуговицы, металлические крючки и петли, складывали их по сортам в берестяные туеса, потом начинали пороть обноски «с крыши», отдельно разделявали приклад.

Так Полосухины работали с рассвета до сумерек. А когда становилось темно, оставляли «тонкую работу» и начинали на ощупь трепать свалывшуюся вату или пеньку, отчего в лачуге носилась едкая пыль, словно серый снег.

В деревянном корыте, подвешенном к потолку на веревках, жил самый младший Полосухин — Ленька. По субботам его вынимали из корыта, потому что жена Полосухина и теща занимались стиркой спорков. В воскресенье спорки сушили, и тогда ребята Полосухины поочередно сторожили их во дворе.

Сутулый, тощий, с впавшими щеками и длинным унылым хрящеватым носом, на людях молчаливый, всегда с испуганными, несчастными глазами, Полосухин дома неузнаваемо преображался. Свое семейство он держал в строгости, обращался с домашними не как отец, а как хозяин с работниками.

— Фадеевна, — говорил он жене сухо и повелительно, — надо бы в подмастерья к тебе на сукно девку поставить! Старуха, гляжу, начала товар портить.

— Ты что же, для дочери другой клички не знаешь? Девка! Опсовел, что ли?

— А я говорю, не разговаривай, а ставь, как приказано!

— У Фенечки рука порезана.

— Ничего, пусть варом залепит.

— Залепила, а все гниет.
— Ну, ставь кого другого!
— Да ты что ирода строишь, забыл, как детей зовут?
— Давай тогда конопатую!
— Сам ты, черт, конопатый!
— А вот полайся, ссажу с верстака — узнаешь.
— Напугал!
— Так-с, значит, строптивисься. Тогда вот мое слово: Тонька вместо тебя у окна сядет.

— Наказал!
— В другой раз не то будет. Говорю — значит, сполняй.
— Да я те кто? Жена?
— Жена — это которая вообще, а я из тебя мастера сделал. Ты не дури. Помру — сама мастерскую вести будешь.

— Мастерскую! Ты хоть мне-то в глаза песок не кидай.
— Врешь! — ярился Полосухин. — Достиг я. Вот свезу товар еще и вывеску навешу.

— Петлю ты на нас навесил, вот что!
— Петлю? — смущался Полосухин. — Каждый день едите, а ты говоришь, петля. У других и такого нет, чтобы есть каждый день.

— Ладно, слышали!
— Слыхала, так уважай и чти, что у тебя муж, супруг то есть, не какой-нибудь тряпичник, а мастер и мог бы карьеру завести с вывеской.

Такие разговоры Полосухин вел в своем доме очень часто.

Отведя душу, становился смирным и, уже заискивая перед женой, говорил мечтательно:

— Ничего, придет еще и к нам счастье. Бывает, что которые в одежду деньги зашивают, так и ходят с кладом, а потом запоминают или случай какой — старьевщик с него и купит. А тот обносок — ко мне. Стану пороть... Господи прости, чего такое? Гляжу, стопка денег! Пятьсот рублей, как одна копеечка! Значит, перво-наперво к маляру за вывеской, потом с толкучки беру двух мастеров. Ты за ними будешь приглядывать, а я по заказчикам. Зажили! Феньку в ученицы к Зотовой, а Костю даже можем в школу. Отхватит три класса — пойдет в приказчики. А теще очки в аптеке куплю. Ей можно тогда доверить петли метать.

Оттого, что Полосухины жили всегда впроголодь, в пыли и грязи, копаясь в гнилом тряпье, невесть с кого снятом, они часто болели всем семейством. Но никогда Полосухин не обращался за помощью к отцу Тимы.

— Ты своего родителя не тревожь,— говорил Полосухин,— а то он враз всех в больницу заберет, а нам нельзя. Юносов узнает про больницу, другому станет товар сдавать. Тогда не с болезни, а с голоду помрем. А так, хоть и все тело ноет, мы потихоньку свое дело скребем. Только хороший товар не трогаем, а то со слабости в глазах порезать недолго. Ты уж будь снисходительный, дай порошок каких от нутряного жара. В прошлый раз здорово подействовали.

И Тима, к удовольствию своего отца, проявлял большой интерес к медицине, выпрашивал его, что чем лечить, а потом наносил довольно большой урон домашней аптечке.

По выздоровлении Полосухин так торжественно вручал Тиме завернутый в газетную бумагу слипшийся комок ярко раскрашенных базарных конфет, что Тима не мог оскорбить его отказом принять подарок. Но когда он потом пробовал угощать этими конфетами полосухинских ребят, те упорно отказывались и вежливо, хотя и настойчиво, просили, переходя на «вы»:

— Вы кушайте, пожалуйста, на здоровье сами, а мы благодарствуем. С непривычки со сладкого зубы только гниют.

Больше всех из полосухинских ребят Тима дружил с Костей. Тощий и сутулый, как отец, Костя, несмотря на худобу, отличался редкой силой. Заложив правую руку за ремень, бил Тиму «понарошке» одной левой, «как хотел».

На самодельных лыжах, сделанных из бочковой кленки, по воскресеньям они уходили в тайгу, где отгребали снег в луговинах, собирали мороженую клюкву в туеса, а в кедровниках находили беличьи гнезда и брали из них орехи и сушеные грибы.

В чужих лунках, выбитых во льду реки, они ловили окуньков на хлебный мякиш, вместо крючков используя согнутые булавки. И хотя Костя был одет только в стеганный спорок с ямщицкой поддевки и в войлочные опорки на босу ногу, он никогда не зяб и, даже если к ночи стужа на реке шла за тридцать градусов, первым не предлагал уходить. Только изредка, хватая горстью снег и растирая им лицо, говорил озабоченно:

— Ты, Тимка, не сиди, как сурок, а то кровь застынет! А ну, давай «понарошке». Выходи на одну руку, я тебя погрею.

Костя всегда сам делил добычу и, разделив, добавлял Тиме лишнее.

— Это тебе за компанию! — говорил он строго.

И если Тима протестовал, предупреждал его:

— Ты охотничье правило не рушь, а то вместо всего по харе заработаешь!

Потом шел на базар и продавал торговкам свою добычу. Пряча деньги, говорил:

— Это я Феньке на приданое коплю, а то отец ее за старика кошкодера замуж отдать хочет. Говорит, скорняк — профессия, а он не скорняк, а живодер, и больше ничего.

Тиме очень нравилась Феня Полосухина, худенькая, кроткая, с маленьким личиком, освещенным большими голубовато-серыми глазами, гладко, на пробор, причесанная, с толстой длинной косой, завязанной простой веревочкой. Она становилась особенно печально-красивой, когда пела старинные песни, откинув голову на высокой, тонкой шее, полузакрыв глаза, прижимая иссеченные порезами большие труженические руки к впалой груди.

Жених Фени, кривой скорняк Бугров, подперев мохнатую голову толстым кулаком, слушал ее, тяжело сопя, и из его единственного глаза текли слезы на мохнатую скулу. И вдруг он произносил с непонятной яростью:

— Будя, будя душу рвать!

Нашупав среди тряпья шапку, уходил, не прощаясь.

— Чего это он? — спрашивала тревожно жена Полосухина.

— Чего, не понятно, что ли? — зло говорил Костя. — Совесть его жрет. Посватался, вонючий живодер, а когда слушает, как она поет, стыдно!

— Чего ж тут стыдного-то? — робко осведомлялся Полосухин. — Пока в девках ходит — поет, а станет бабой — враз смолкнет.

— Вернул бы ему деньги, которые он тебе в долг дал, не стала бы тогда Феня из-за него мучиться! — кричал на отца Костя.

— А самим на улицу? — отвечал отец. — Он за нашу квартиру Пичугину за год уплатил. А Феньке лучше, что кривой: с одного боку свободнее жить будет!

— Ты чему дочь учишь? — возмущалась мать.

— Эх ты, горесть никудышняя! — восклицал с отчаянием Полосухин. И вдруг набрасывался на дочь: — А ты что, как богородица, сидишь, глазами хлопаешь? Если не нравится, скажи, откажем!

Феня поднимала на отца печальные глаза и произносила тихо:

— Вы, папаша, прикиньте, может, дома вам меня

держат больше выгоды. Он меня не по любви берет. Все ходит, смотрит, какая работница.

— Значит, как мастерицу уважает, — нерешительно говорил отец. Потом вдруг с отчаянием кричал: — Я вам сколько раз говорю: гляди обноски лучше, может, в их клад где зашит, скажем, золото! А вы его стряхнете на пол, а после метлой в помойку. Значит, сами и будете за такую жизнь виноватые, а более никто.

Когда скорняк приходил к Полосухиным пьяным, Костя не впускал его.

— Я же тебя калекой сделаю, — угрюмо дыша перега-ром, говорил скорняк. — Я же тебя не рукой, а гирькой на ремне гвоздить буду.

— А вот видел?

И Костя показывал Бугрову спрятанный в рукаве коротенький, черный, косо сточенный сапожный нож.

Скорняк уходил во двор и там начинал буйствовать и орать:

— Тряпишники, лоскутники, обобрали, а теперь в срод-ственники лезете! Гони деньги, а то к Юносову пойду, он вам от товара откажет, с голоду сгинете!

Из соседнего закута выходил на шум слесарь Коноплев, жилистый, плешивый, с лихо закрученными, будто с чужо-го лица, большими черными усами, и произносил отрыви-сто:

— Честных людей срамить? А ну, поди сюда, я тебя под ноги положу!

— А ну, тронь! — выл Бугров, вращая чугунную гирю на сыромятном ремне.

— Значит, трону, — спокойно говорил Коноплев и, под-ойдя вразвалку к скорняку, вдруг присев, ударял его наотмашь в подмышку.

— Ты мне руку свихнул, — визжал Бугров, — ты мне за это ответишь!

— Скажи спасибо, что не голову.

Коноплев шел к Полосухиным и вежливо осведомлялся:

— Может, добавить, чтоб совсем сюда не ходил? Ну, как желаете. Значит, за долг стесняетесь? Правильно. Вы, соседи, люди честные, — и, подумав, заявлял скромно: — Тогда пойду еще добавлю. Слегка. Чтобы не срамил без основания.

Свадьба скорняка с Феней Полосухиной не состоялась. В тот день, когда в лачуге Полосухина собрались гости, и «молодые» сидели уже за столом, и Феня покорно под-ставляла свою холодную, впавшую щеку под вялые, саль-

ные от еды губы жениха, вдруг явился Коноплев с винтовкой в руках и с ним еще двое рабочих, тоже с винтовками.

— Извиняюсь, — сказал Коноплев, — я к вам на полминуты. Только женишка спросить, сколько ему тут должны деньгами.

— А ты кто такой? — закричал Бугров и, зажав в руке вилку, попытался вылезти из-за стола.

— Значит, так, — сказал Коноплев своим товарищам. — Эту свадьбу мы отменяем, поскольку она незаконная и происходит в силу бывшего старого режима, где деньгами человека насквозь покупали. Любви тут никакой нету, одно рабство за долги.

— Нет, ты мне скажи, кто ты такой есть, — кричал скорняк, — чтобы я из тебя потом душу вынул!

— Вот мы тебя сначала отсюда вынем, а потом в другом помещении все объясним.

Против такой отмены долгов старого режима не стал возражать и Капелюхин, который сначала очень рассердился и бранил Коноплева «за самоуправство, проявленное при срыве чужой свадьбы», но потом, узнав подробности всего дела, простил.

Коноплев устроил Полосухина на новую работу — армейским портным при военном училище. Но еще долго семейство Полосухина брало у Юносова обноски для разделки, чтобы уплатить свой долг скорняку.

Коноплев рассказывал о себе иронически и безжалостно:

— Я к революции еще парнишкой прилепился, но не с того боку. Отец на заводе токарем, а я дома из проволоки мышеловки гнул, сбывал вразнос обывателям. Почтище отца жить хотел. На толкучке в железном ряду познакомился с гимназистом Меркурием Алмазовым, он там для смит-вессона патроны искал. Имя-то настоящее было — Егор Пташкин, его из гимназии выгнали за игру на интерес на бильярде. Спрашиваю: «Зачем вам патроны? Воров боитесь?» — «Я, говорит, революционер. Мы, эксы, без болтовни с массами обходимся. Личность — это главное. Если ты личность, то можешь стать хоть Наполеоном, Робеспьером или графом Монте-Кристо. Все зависит от силы воли, кем пожелаешь быть».

Пришел я домой, сел против зеркала, гляжу: рожа. Нос в расшлепку, губы висят, скулы с обеих сторон торчат, глаза, как у собаки, унылые. Вот те и личность. Стал ходить к Алмазову: он у лавочника на хлебах жил. Сыплет он мне в башку слова все о том же: чем, мол, человек выше о себе

думаю, тем он выше над толпой подымается, а толпа всегда за героем идет. А герой — это тот, кто действие бесстрашно совершает.

Словом, напустил в душу туману. Ограбил я с тремя ребятами бакалейную лавку, а деньги все Алмазову снес для его партии. Потом в ломбард залезли. Поймали меня. Думал, за грабеж судить будут, а судили за убийство. Алмазов деньги, которые мы ему отдавали, прикарманивал; его за это анархисты казнили по партийному приговору. А на меня, как постороннего для их партии, вину свалили. Они-то все личности, превыше всяких там предрассудков. Получил каторгу. Бежал. На казенном прииске четыре года породу долбил. Ушел я оттуда через тайгу, чуть с голоду не сгинул. Потом в нашем городишке поселился. Напетлял в своей жизни много. Теперь раскручиваю.

После того как Коноплев расстроил свадьбу Фени Полосухиной, все во дворе стали замечать, что она смотрит на него какими-то особенными глазами. Подметил это и Коноплев и сказал сурово:

— Ты девушка хорошая, чистая, а я человек крученный, верченный, так что ты из меня ничего хорошего не выдумывай. Понятно?

В лачуге Коноплева было очень опрятно. На стене на кожаных петельках развешан инструмент. Он ловко мастеровил ребятам коньки, врезая в деревянные чурки полотнища источенных пил.

Сделал он коньки и для Тимы. Но Тима никак не мог понять, за что могла полюбить Феня этого усатого, лысого, пожилого человека. И даже сказал Косте:

— Если бы у меня ружье было, я бы тоже скорняка прогнал. Подумаешь, с ружьем каждый может!

Костя сначала согласился, но потом, подумав, объяснил не очень уверенно:

— Она его не за это, она его за жизнь жалеет.

Сирота Кешка, которого Коноплев усыновил и обучал дома слесарному делу, злорадно сообщил Тиме:

— Теперь над Фенькой весь двор смеется. Жениха-то прогнали.

— Неправда, — горячо заступился Тима. — Это не над ней смеются, а над твоим Коноплевым.

В бараке жили еще Редькины.

Главой в их семействе считали жену. Во дворе все называли ее почтительно — «тетка Капитолина».

Ее мужа, Мартына Редькина, немцы отравили под Сморгонью газами. Он вернулся с войны полуслепым, с обезображенным, красно-бурым, стянутым от ожогов лицом, руки и ноги его все время дергались сами по себе. Он висел между костылями такой плоский и тощий, словно под одеждой у него ничего не было.

Капитолина выхаживала мужа с великим упорством. Каждый день она мыла его в корыте в настое из хвойных лапок с солью, по нескольку часов растирала его трепетно дрожащие руки и ноги пихтовым маслом, поила чернобыльником.

До войны Редькин работал токарем по дереву. Был черняв, носил острые усы, волосы делил на прямой пробор, одевался аккуратно и, зная себе цену, держался с людьми независимо. Жилистый, малорослый, он был ловок в драке и любил по воскресеньям ходить в Заозерье биться стенка на стенку с татарами. Желену содержал строго, называл небрежно — коровой.

Покорная воле мужа, Капитолина безропотно, с рабской угодливостью сносила его деспотически властный характер. Обращалась к нему только на «вы» и по имени-отчеству.

Главная мечта у Редькиных была обзавестись токарным станком, чтобы начать «собственное дело». О своей работе в столярной мастерской Кобрина Редькин отзывался презрительно: «Столярку на мещанский вкус гонят, а я могу настоящее изделие дать, сортовое».

Он копил деньги на станок и даже на базар за продуктами ходил сам, жестоко гоняясь за каждой копейкой.

Когда Капитолина забеременела во второй раз, он сказал раздраженно:

— Опять распузилась поперек моего пути.— И добавил, как всегда, небрежно: — Корова!..

Все же станком обзавелся. Покупал он его несколько лет по частям в железных рядах на барахолке. Но работа на дому не дала ему большой выгоды, все равно пришлось материал брать у Кобрина. Для токарных изделий нужна древесина сухая, выдержанная. Он под свой рост сделал под потолком настилы, на которые складывал сушить деревянные брусья для тонкой работы, но они должны были вылежать там год-два, не меньше.

Уходя на войну, наказывал Капитолине:

— Гляди за младенцем. Чтобы не лазил куда не следует. А то нагадит на станок, напишет, а от этого самая ржа. И чтоб волглой тряпкой не возила. Тоже ржа пойдет.

Возьми самую что ни есть чистую и ею оботри. А лучше простыней накрыть и чтобы никто не касался. Инструмент береги, я его в исподнее завернул и в сундук положил. Ключ с собой беру, оно вернее будет.

Слушая покорно наставления, Капитолина молча вытирала тыльной стороной руки дрожащие пухлые губы и, не смея плакать, только робко просила:

— Мартын Егорыч, вы уж там поаккуратнее, себя берегите, не выказывайтесь очень. А я тут, будьте благонадежны.

Тощий, поджарый Редькин рядом со своей супругой выглядел совсем щуплым. Высокая, плечистая, могучего телосложения, Капитолина казалась величавой рядом с ним. Но круглое лицо ее — пухлые, мягкие губы, голубые, чуть выпуклые глаза, еле очерченные белесыми бровями, — носило такое испуганное, детское выражение, что сразу при взгляде на него забывалась ее могучая фигура, широкие плечи труженицы и оставалось только одно — впечатление жалкого, растерянного подростка.

Оставшись одна, без мужа, Капитолина первое время ходила на поденщину к зажиточным обывателям. Но потом, когда младший сын обварился насмерть, опрокинув самовар, она бросила поденщину, смело сняла простыню с токарного станка и начала пробовать на нем свои силы. Коноплев, зная токарные работы по металлу, помогал ей советами. И скоро Редькина стала брать заказы и выполняла их не хуже мужа.

Огромная, с толстыми, как белые окорока, руками, в кожаном фартуке, обвязав, как заправский мастеровой, ремешком волосы на лбу, она точила балясины для перил, ножки для конторских столов, верстена и спицы для прялок. Самостоятельная жизнь сделала ее совсем другим человеком.

Соседки раньше считали ее дурехой и даже жалели Редькина, который связал с ней свою судьбу, теперь они стали приходить советоваться с Капитолиной и относились к ней с большим уважением.

Она приносила с дровяного рынка на плечах тяжелые брусья лиственницы, покупала у тайговщиков глыбы березового наплыва, корневища северной сосны и точила из них стойки для купеческих буфетов и увесистые крышки для жбанов с хлебным квасом.

После того как Капитолине не нужны стали советы Коноплева и она в благодарность выточила ему ручки на инструмент, у Коноплева уже не было поводов приходить

к Редькиной. Но он искал этих поводов. Однажды, когда он принес ей в подарок набор стамесок, Редькина спросила сухо:

— Значит, сколько с меня причитается?

— Я от души,— сказал Коноплев и улыбнулся с надеждой.

Капитолина молча завернула стамески в бумагу и, протягивая их Коноплеву, произнесла сурово:

— Мне только одна душа на всю жизнь светит — Мартынова! — и, рассердившись, воскликнула: — Да как ты мог против него даже свою тень кинуть!

Коноплев смутился, потупился и сказал то, чего говорить не хотел:

— Не уважал он вас. Грубость только одна, а вы вон какая... — и смолк, сам придя в смятение от своих слов.

— А за что он меня уважать мог? — спокойно спросила Капитолина. — Нешто дур чтут? А дурее меня во всем дворе ни одной бабы не было. Только знала, что с его хлебов пухла, — и деловито добавила: — С того, что он мне самый дорогой на свете, иной я стала, а не почему-нибудь. На хлеб я бы и на постирушках заработала.

Коноплев ушел, понурившись, словно пришибленный. Потом с отчаянной решимостью сказал своему приемышу:

— Ну, Кешка, вовек у тебя мачехи не будет, вот мое слово...

Кешка, будучи не по летам смышленным, заявил рассудительно:

— Все ж за солдатками ходить — это дело неправильное. А вот Фенька — это ничего.

В первый раз за всю их совместную жизнь Коноплев оттрепал Кешку, приговаривая:

— Ежели еще раз подобное скажешь, голову оторву и в помойку брошу.

И хотя Кешка больше никогда не говорил с Коноплевым на эту беспокоящую его тему, Тиме он жаловался:

— Мой Коноплев пугает: мол, мачеха — плохо. Он мне тоже не родной, а гляди, какой ласковый. А если их двое будет, мне же лучше. Вот и женился бы на ком. — Потом спросил деловито: — Ты как думаешь, Фенька по слесарной части пошла бы? Я так думаю, мой Коноплев бабу ищет, которая мастерство знает. — И добавлял насмешливо: — Редькин с войны вернется — Капитолина ему сюрприз устроит. Станет к станку да как начнет стружку гнать, вот ему смазь против шерстки. Ведь он гордый! «Корова»!

Покажет она ему теперь корову. Будет за ней метелкой стружку выметать. Посмеемся.

Но когда Капитолина привезла Редькина из госпиталя на детских санках, завернутого в одеяла, держа под мышкой казенные костыли, и сказала соседям радостно: «Живой, слава тебе, господи», — даже Кешка и тот предложил почтительно:

— Может, тетя Капитолина, надо в аптеку сбегать? Так я в один момент.

Могучая душа оказалась у Капитолины Редькиной. Она покорно снесла все бешеное отчаяние мужа, когда, поднявшись на ноги, понял он, что невозвратно здоровье, а с ним утрачена навсегда сладость мастерского труда и властная мужская гордость быть кормильцем семьи. И чтобы успокоить, утешить мужа признанием его власти над собой, Капитолина робко, с грубоватой, простецкой улыбкой спрашивала:

— Мартын Егорович, что-то у меня стружка тугая идет, ай что не ладно? Может, глянешь?

— Дура! — радостно кричал с лежанки Редькин. — По слуху слышу, стамеску низко держишь, вот и дерет.

— А я все думаю, с чего так? — восклицала испуганно Капитолина. — Я ведь все по памяти примечала, как вы, но все разве упомнишь?

— Давай оборот шибче, а стружку снимай не толще бумажки, тогда борозды не будет. Если стружка кудрей идет, — значит, мастер, а если крошкой сыплется, — значит, тычет стамеской, и более ничего. Самое главное, искосок выбрать правильный, и почувствуй, если стамеска, как струна, поет, — значит, искосок правильный, а если бубнит, — значит, лишнее забрала, тогда ослобони, ставь косее, легче. Шаблон не в руках, а в башке держать надо. Гляди на чурку, ровно в ней готовое изделие лежит и его из чурки только вынуть надо. Шаблон на последних проходах прислоняй. Когда чистовой прогон гнать будешь, тут, Капка, ты такой манер делай... Ну, это тебе со слов не понять. Это я тебе после покажу, лично.

Во всех этих наставлениях Капитолина не нуждалась. Но для Мартына они были источником бодрящего сознания, что не такой уж он никудышный и без него Капитолина только запарывала бы настоящую работу.

Капитолина пришла в Совет и сказала Рыжикову:

— Что ж у вас на вывеске только Совет рабочих и солдатских депутатов? А мой кто? По всем статьям подходит к вывеске, а вы от инвалида нос воротите.

— Вы напрасно на меня, гражданочка, кричите,— сказал Рыжиков.— Помощь, какую можем, мы инвалидам войны оказываем.

— Дрова дали и муки мешок. За это мы всей семьей вам кланяемся. Но ведь он мужик башковитый, только что на митингах не орет, и от этого вы его не знаете, а ведь он мог бы к какому делу присунуться.

— Ладно, подумаем.

Через несколько дней к Редькиным пришли из Совета. Редькин взволновался, приказал Капитолине выйти на улицу, чтобы не мешать серьезному разговору.

А спустя неделю Редькин с красным бантом на шинели ковылял на костылях в кобринскую столярную мастерскую, где он был избран старшиной рабочего Совета.

И теперь он вновь с полным сознанием обретенной власти, упоенный ею, орал на жену:

— Ты, корова, брось меня перед людьми срамить. Выходит, у Кобриных мы мастерскую для народа забрали, а здесь я буду свое дело содержать? Свезу станок и сдам. Только мне с тобой и делов, что на себе срам носить.

Но Капитолина отказала наотрез:

— Ты меня своей властью не пугай. Я не пугливая. Никуда станок не дам. Работаю и буду на нем работать. А если с руками полезешь, то сдачи дам. Хватит мне перед тобой дуру разыгрывать.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Хотя Костя Полосухин, Гриша Редькин и коноплевский Кеша уважали Тиму за то, что он не струсил, когда жил в приюте, а даже бунтовал там, все-таки иногда Тима испытывал к своим приятелям почтительную зависть.

Пусть даже Гришка врет из самолюбия, что не мать, а отец научил его токарничать, все равно он не просто парнишка с Банного переулка, а токарь.

Когда ребята ходили на реку смотреть, как дружинники разбирали вмерзшие в лед плоты, Гришка подошел к козлам, на которых распиливали бревна, потрогал у пилы зубья и сказал насмешливо:

— На сырое дерево шибче разводы надо делать. Эй вы, лопоухие...

А Кешка молча взял пилу у дружинников, уселся на бревна и стал трехгранным напильником оттачивать зубья. Вернув пилу, сказал небрежно:

— Вот теперь пойдет.

В сомовскую баню они ходили с Костей бесплатно. И Сомов каждый раз благодушно говорил:

— Поддевку ты мне слицевал положительно, лучше, чем новая. Ничего, мойтесь.

Зато от отца, от матери, от их друзей и из книг Тима знал многое такое, чего не знали его приятели.

Глядя задумчиво в чистое, бездонное, холодное небо, Костя говорил обиженно и мечтательно:

— Вот ворона летает почему зря, а человек нет. Значит, он хуже вороны?

— Человек может летать, — заявил Тима. — Для этого нужен воздушный шар из резиновой материи и пудов десять газа под названием гелий.

— На шаре — это что, а вот так бы, с крыльями, как у птицы.

— Если невысоко, то можно. Был такой человек в древние времена. Надергал у птиц перья, слепил из них крылья воском, надел на руки и полетел. Но не рассчитал, слишком близко к солнцу поднялся, воск от тепла растаял, он вниз и грохнулся.

— А если варом скрепить?

— Вар тоже тает.

— Тогда столярным клеем.

— Клей неподходящий: он засохнет, ломаться будет. А крыло, чай, гнуться должно, — авторитетно замечал Кешка.

— Тогда садись на аэроплан и лети. Есть такой здоровый, несколько человек берет, «Илья Муромец», — пояснял Тима.

— Из сказки, что ли?

— Нет, такое название дали за величину. У французов есть тоже аэроплан, фирма «Фарман и Латтам», самый у них замечательный пилот Блерио.

— А у французов есть революция?

— У них даже две были, но их революционеров всех у стены буржуазия расстреляла.

— Что же они не дрались как следует?

— Дрались, но ошибку сделали: крестьян на помощь не позвали. А настоящая революция рабоче-крестьянская.

— Это как у нас. Значит, Маркс, выходит, француз?

— Немец.

— А что же они с нами воевали, когда у них такой человек есть?

— Он умер.

— Ну, тогда другое дело. А Ленин, говорят, от нас родом, сибирский.

— Он в Симбирске родился.

— Вот я и говорю, что наш.

— Симбирск на Волге стоит, а Волга в России. Но он в Сибирь сосланный был, значит, наш.

— А где же он теперь: в Томске, что ли?

— В Москве.

— Что ж Коноплев все: «Ленин сказал, Ленин велит...» Я думал, он не дальше, как из губернии, а он вон где. Твои-то Ленина не видели?

— Нет.

— Зря. Говорят, все знает. И чего делать наперед, тоже все знает. Рыжиков наш ему не родня, случайно?

— Нет.

— А похож. Также с бородкой и умный.

— А ты откуда знаешь?

— Рыжикова-то? А кто его не знает! На митинге он один самыми простыми словами говорит. Все от него понятно. И про то, что сейчас жрать людям нечего и что буржуи обратно власть хотят взять и от этого нельзя быть лопоухим.

— Пролетариат — это кто? — поинтересовался Кешка.

— Те, кто ничего не имеет.

— Значит, мы не подходим, — сказал Костя. — У нас всякого добра ой-ой-ой...

— Рабочий — это тоже пролетариат.

— Мы не рабочие, мы мастеровые, — с достоинством заявил Кешка.

— Какая же разница?

— Рабочий — это который при хозяине, а мы сами при себе.

— Эксплуатируемые тоже пролетариат.

— А чего это значит?

— Все, кому за труд недоплачивают, те эксплуатируемые. А кто недоплачивает за чужой труд, — эксплуататор.

— Это я подхожу, — гордо сказал Гриша Редькин. — Мать за работу ничего мне не платит.

— Так то мать, а не чужой дядя.

— А звезды с чего светятся? — спросил Костя, всегда склонный к отвлеченностям.

— И все-то ты, Сапожков, знаешь, — уважительно говорил Гриша Редькин. — Башка у тебя особенная, что ли?

Но вот его приятели начинали говорить о своей работе, что сила — это еще не главное, а главное, как ты понима-

ешь все башкой: сначала, пока не устал, делай тонкую работу, а когда устанешь, — грубую, где только сила требуется, а ежели на тонкую перевозмогать себя станешь, — запороть можно изделие; пользоваться чужим инструментом хуже, чем чужие сапоги носить, потому что рука памятливая, сама собой к инструменту приспособляется, и потому старый инструмент лучше нового; на новую стамеску надо всегда набивать ручку со старой, и это не только примета, а делу лучше, потому что в руке память на старую ручку осталась, и тогда о руке не думаешь, когда она привычку не меняет; очень полезно с ночи материал осмотреть, на котором утром работать будешь; если поначалу с утра работа легко идет — не части, подзадерживай себя, а то к концу выдохнешься, и, чего доброго, запороть недолго. Вот тут Тима вынужден был хранить молчание. Он чувствовал во время таких разговоров, что сверстники намного старше его, значительнее, умнее.

Как-то ребята нанялись сбрасывать снег с крыши пичугинского двухэтажного дома. До этого три недели дул буран и привалил к стене огромную, словно океанская волна, снежную сопку.

Стоя на самом краю крыши, Тима испытывал жуткое и вместе с тем сладостное ощущение высоты. Так зазывно сверкало пространство, и такой мягкостью манила пухлая снежная сопка, блистая глазурью, и таким упругим, как вода, казался просвеченный солнцем гляцевитый воздух! А небо, чистое, прозрачное, казалось, втягивало в себя. Тима, охваченный восторгом и отчаянной отвагой, крикнул:

— А ну, кто? — и прыгнул вниз.

Он вонзился в сопку по самые плечи. Боль от удара ослепила горькой чернотой.

— А ну, плюнь, плюнь, тебя просят, — молил Гришка, подставляя ладонь к его губам. — Нет крови? Значит, внутри ничего не оборвалось. Слышь, Тимоша! Не сорвалось внутрих ничего, говорю. Ты обопрись на нас. Раз стоямя держишься, значит, целый. Ты очнись, снега пожуй.

Потом приятели стали ругать Тиму:

— На кой прыгал, дура?

— За такое надо бы морду набить.

— Ты что, лунатик, что ли?

— Лунатик!.. Сами-то струсили, — огрызнулся Тима.

— А кому охота зря ноги ломать?

Но когда Тима взглянул на сопку, он увидел четыре глубокие вмятины.

Гриша сердито ответил за всех:

— Испугались, думали, насмерть расшибся. Но мы с разбегу, с умом: подале снегу более наметено, значит, мягче, — и сурово заметил: — Тебе что, ногу сломишь — хромай сколько хочешь. А мне, ежели охромею, к станку более не встать. Значит, погубился под корень.

Тима помнил, как горько рыдал Костя и боялся идти домой, не очень сильно порезав осколком бутылки пальцы.

Но, укушенный собакой, Костя совсем не плакал, хотя Коноплев, опасаясь, что собака бешеная, прижигал ему место укуса раскаленным железом так, что мясо шипело и шел едкий, густой дым.

Костя объяснял:

— Разве от боли плачут, да еще на людях? Я ведь с того плакал, когда порезался: испугался, пальцы искалечил. Мое дело тонкое; если сохнуть начнут или скрючатся, иглу в зубах держать, что ли, или на левую переучиваться? Какой же тогда из меня мастер?

Но особое почтение все ребята питали к Петьке Фоменко.

Долговязый, костлявый, белобрысый, неловкий в играх, где требовались сила и сноровка, Петька брал верх в другом. Он работал в затоне формовщиком. Уходил на работу с рассветом, приходил поздно вечером. Только по воскресеньям появлялся во дворе. Усевшись на завалинке с солнечной стороны, грелся, отдыхал и говорил с достоинством:

— Ежели я, скажем, пятку для подшиппника с большим люфтом сформирую, буксир не потянет. В нашем деле от каждого все зависит. Скажем, земля формовочная — тут у нас целая аптека. Смесишь кварцевый песок, глину, потом в нее конский навоз или опилки добавляешь. Для чего? Чтобы газом форму не расперло. Как металл зальешь, опилки или навоз выгорят, — газ через это наружу выходит. На стержень вместо глины для связки льняное масло, крахмал, патока, мука, канифоль идут. Если сильно землю страмбуешь, газу хода не будет, взбурлит металл, раковины пойдут, пузыри останутся — значит, брак. Слабо землю сомнешь, разопрет стенки, и получится не литье, а невесть что. У нас у каждого свое строгое дело. А в кучу сложишь, — пароход получается. От этого мы, рабочие, друг за дружку сильно держимся. У нас такого нет, чтобы урок сделал, а на другого наплевать. Дам я большой припуск, а после токарю лишний металл снимать. Или стругает, стругает, дойдет до чистовой, и вдруг — раковина. Выходит, всю работу на выброс. Столяр даст мне модель —

и гладкая, аж блестит, и покрашена где следует, а сколько после него еще я думать должен, где лучше вентиляционный канал класть, фитиль проложить — это такая веревка, воском облитая. После сушки формы воск стает, веревку спокойно вытянешь, ход останется. Все время башкой шевелить приходится. Если важное литье, тут все в компании советуемся, бывает, тысячу рублей одна деталь стоит, а я могу ее один запороть.

— Что ж, ты, выходит, там самый главный?

— Мы все друг от дружки зависимые, — уклончиво отвечал Петька. И с гордостью произносил: — С того рабочий класс самый главный теперь, что он себя понимает.

— А другие все дураки? Тоже свое дело знаем не хуже вашего, — обижался Костя.

— Дурак нынче тот, кто сам по себе жить желает.

— Обзываешься?

— Мимо махаешь!

— По линии рабочего класса теперь все мы определены к власти. Один в Совет, в ревком, другой в Красную гвардию, в дружину. Одних уполномоченных штук двадцать.

— А тебя что же обошли?

— Я, милый мой, подростковый делегат в Совете.

— До настоящего не дорос.

— Вот и видать, глупый. Из нас союз молодых рабочих сбивают, чтобы при большевиках быть.

— У Тимки отец и мать в самой партии, а он не задается, как ты: смирный.

— Оттого и смирный, что сам по себе, вроде ноль без палочки.

Петька Фоменко ловко проводил ребят «сквозь» дежурного Клуба просвещения. Он шел на него сбывившись, угрюмо цедил сквозь зубы:

— Представитель! — и, кивая на ребят: — Эти со мной.

Под высокими сводами бывшей архиерейской домово́й церкви и днем витали ночные сумерки. К огромной медной люстре, подвешенной на цепях у самого купола, была привязана веревка, и на ней висела керосинокалильная лампа с эмалированным абажуром. В нишах стояли еще четыре жестяные керосиновые семилинейные лампы. На закрашенных охрой стенах были написаны лозунги: «Кто не работает, тот не ест», «Долой мировую буржуазию!», «Наука принадлежит народу», «Экспроприируй экспроприаторов». В простенках висели нарисованные коричневой краской на беленом холсте странные картины. Люди на них были сделаны словно из квадратных ящиков: у

одних в руках, суставчатых, как паровозные шатуны, — молоты, у других — серпы, у третьих — ружья очень странной формы. В некоторых местах сквозь желтую охру проступала церковная роспись. Посетители говорили задумчиво:

— Святые лики через все взирают.

— Оттого взирают, что их купоросили слабо.

— Соскрести-то рука не поднялась.

— Их на чем писали? На чистом масле. Разве его клеевой покроешь?

— Его ничем не покроешь, упрекающий глаз апостольский.

— Ты агитацию тут не разводи.

— А ты не пугай, может, я сомневаюсь, есть он али нет.

— Ну тогда ходи в помещение, где попы облачение сменяли, там на полках банки с человечьими внутренностями и шкилет. Ты убедись, из чего состоишь. Очень вразумительно.

У стен левого притвора были сооружены деревянные настилы, на которых лежали каменные топоры, кремневые наконечники стрел, иглы из рыбьей кости, скребки из кварца и груды почерневших глиняных черепков. Солдат в бурой шинели без хлястика, в обожженной с одного бока папахе, тыча в черепки рукой, на которой было только два пальца, говорил внушительно:

— Видал, до чего народ трудящийся довели буржуи-то? На фронт все железо согнали, а мужику что? Вот и сшивай одежду рыбьей костью али руби дрова камнем, — и угрюмо сипел: — Понятно, значит, в какую жизнь нас пихали. Но ничего, шалишь, теперь мы все ученые!

На правом притворе на таких же стеллажах стояли чучела зверей и в стеклянных коробках были наколоты всякие насекомые: жуки, бабочки, гусеницы.

— Это к чему же зверюшек сюда нанесли сушеных-то?

— Для науки.

— Гляди, лягушка в банке. Тьфу, пакость!

За дощатыми перегородками, не доходящими до потолка, размещались художественные студии Клуба просвещения. Сюда Косначев привлек людей, которых раньше в городе считали чем-то вроде чудаков.

Студией живописи руководил Иннокентий Пантелеевич Апостолов, бывший учитель рисования в гимназии, уволенный в свое время за то, что на урок привел швейцара и, велев ему раздеться, предложил рисовать ученикам голую натуру. Приглашая посетителей клуба испытать свои способности в живописи, он обнадеживающе говорил:

— Мастерством рисования при настойчивости может овладеть каждый, ибо в природе каждого человека заключена склонность к воспроизведению предметов. Основа любого труда состоит в этом. Искусство требует воображения, но не фантазии. Фантазия отличается от воображения тем, что она обращена к не существующим в природе предметам. Воображение же только одухотворяет существующее.

Получив от Апостолова по куску бумаги, ребята сели рисовать стоящий на возвышении гипсовый куб. Чтобы зарекомендовать себя с лучшей стороны, они, кроме квадрата, нарисовали еще многое от себя: Тима — лошадь, Петька — пароход с дымящейся трубой, Костя — винтовку и саблю, Кешка — цветок.

Подходя к каждому, Апостолов молчаливо следил за их трудами. Потом собрал листы и сказал:

— Я вижу, вам всем очень хочется стать художниками. Но я вас просил нарисовать только куб. Вы поступили недисциплинированно. Когда человек учится, он должен уметь подчиняться, а когда он владеет искусством, он будет подчинять себе других.

Потом Апостолов пришил к стене бумагу, угольным карандашом нарисовал на ней квадрат, сделал несколько штрихов, и вдруг на бумаге появился увесистый куб.

— Вот,— сказал Апостолов,— видите? Вы думали, рисовать кубик скучно, неинтересно. Но когда вы сообщаете ему полное ощущение объема, это же чудо! Значит, давайте начнем снова.

Тима почти каждый вечер ходил в клуб просвещения на занятия в художественной студии. Но Косначев мобилизовал Апостолова рисовать плакаты и лозунги в типографии газеты «Революционное знамя». Вместо Апостолова стала вести занятия какая-то барышня в розовой кофточке, туго перетянутая в талии черным кожаным ремнем с большой медной овальной пряжкой. Она не рассказывала ничего интересного, а только все время совалась со своим карандашом и поправляла нарисованное так старательно, что получалось, что это не ты рисовал, а она. Узнав, что Тима не рабочий, она сказала обиженно:

— Вы, молодой человек, столько у меня времени отняли, а мне важно прививать эстетические вкусы самым простым рабочим. Именно об этом меня просил товарищ Косначев. И если вы даже научитесь рисовать, кто мне поставит это в заслугу?

Тима бросил ходить в студию. Выходит, он был чем-то хуже своих приятелей со двора. Конечно, теперь рабочие —

самое главное, ну, а кто же он? Вот почему еще Тима так много размышлял о своем месте в жизни и втайне завидовал Петьке Фоменко, который всегда с такой важностью говорил:

— Мы, затонские, постановили...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Вопрос о том, где и как провести общее собрание жильцов, больше всех волновал Мартына Редькина.

Вися меж костылей с высоко вздернутыми худыми плечами, он тревожно говорил жене:

— Слыхала, Асмолов квартиру свою одалживает для сбора. Поняла, куда их умысел метит?

— Значит, поглядим, как настоящие люди живут,— благодушно говорила Капитолина.

— Во-во, значит, на их удочку.

— Какую такую удочку?

— А вот. Войдем это мы, значит, перво-наперво надо ноги о коврик вытереть.

— Что ж, по-хамски весь пол обследовать?

— Тэк-с, дальше... Мягкую мебель подставят — садись, значит, пожалуйста. А потом, хозяин квартиры кто? Значит, сделай уважение хозяину. Будут спорить либо голосовать. Хозяина обозвать, обидеть нельзя, ну и того, и вскочит в комитет.

— Да ты что заранее на человека злобствуешь?

— Я не злобствую, я по политике думаю. А они там ее собьют, потому мы люди стеснительные и если буржуй к нам с уважением, то мы сразу того, вроде моськи.

— Да ты чего хочешь?

— Надоть их всех в лачуге Полосухиных собрать, чтобы они стеснялись, а не мы. И пусть в натуре глядят, в чем вопрос состоит. В самую многодетную закуску их согнать, к Полосухиным.

— Ты, Мартын, меня в свою политику не ввязывай, я всех людей уважающая, не как ты.

— Выходит, мне с тобой и думать нельзя, жиром опять заросла.

— Ты с Коноплевым думай, он в тюрьмах сидел за то самое.

— Если бы не здоровье, я Коноплеву, как с фронта вернулся, башку бы расшиб.

— Опять за старое. Сказано тебе, он на меня только глазами грустно пучился, и больше ничего.

— Вот за то самое ему и следует.

— Ты бы, Мартын, с утра щи хлебал, на сытое брюхо человек добрее.

— Мое брюхо от обиды жизни к хребту прилипло, клещами не отдерешь.

— Вот потому и злобишься на приличных людей. И ни в чем они не виноваты. Аккуратно живут, не как мы.

— Пожалела аккуратистов. Поглядим, как они нас пожалеют. — И сердито спрашивал Гришку: — Всех жильцов обошел? Повестки каждому лично вручил?

— Я уже Коноплеву сказал.

— А Коноплев тебе кто? — ярился Редькин. — Отец, да? Ты отцу докладывай.

— Ну каждому в руки дал.

— Ты мне не нукай, а то я тебе так нукну, своих не узнаешь, — и тут же, позабыв, что только что сердился на Гришку, спрашивал Тиму озабоченно: — Папаша с мамашей будут или как? Может, им на это внимания нет? Начальство!

— Я скажу.

— Ты не на словах, а бумажку напиши, они, может, к бумаге более склонны.

— Чего ты к Сапожковым цепляешься, — сердито вмешалась как-то Капитолина. — У их и так дел выше макушки. Варвара Николаевна, гляжу, совсем худышкой стала.

— Партийные пусть тоже придут, посмотрят, — настаивал Редькин.

— Это с каких пор ты партийных обожать стал? — насмешливо осведомилась Капитолина. — Сам же говорил, они вроде попов: только свой приход и хвалят.

— Я про каких? — смущенно оправдывался Редькин. — Я про тех, которые в господских партиях состоят.

— Тоже рассуждает, вроде знает чего. Коноплев небось человек, а ты на него, как пес, кидаешься.

— У меня с ним свой счет, — угрюмо заявил Редькин.

— Ну вот и выходит, оба одинаково понимающие, а ты его ни в пень не ставишь, — торжествовала Капитолина и передразнила супруга: — «По политике рассуждаю, по политике». Одна у тебя политика: как себя самого лучше выказать. Вот!

— Зови сюда Коноплева! — яростно закричал Редькин. — Зови.

— Мартын, дай сюда костыли и сядь. А ежели что, смотри! Хорошего человека задевать не позволю.

Гришка исчез и скоро явился с Коноплевым. Лицо Коноплева было встревоженно и бледно.

— Здравствуйте, Мартын Егорович. — И, потупив глаза, произнес совсем тихо: — И вам, Капитолина Евлампьевна.

— Садись! — приказал Редькин.

Коноплев покосился на Тиму и Костю и робко попросил:

— Ребятам зачем же такой разговор слушать?

— А ты знаешь, какой мой разговор будет? — сурово спросил Редькин.

— В заблуждении вы, Мартын Егорыч, — кротко сказал Коноплев и, потирая колено широкой ладонью, проговорил с трудом: — Я ведь только душой болел, и все. Пускай Капитолина Евлампьевна подтвердит.

Сворачивая дрожащими пальцами сигарку, ненавидяще глядя на Коноплева, Редькин сказал сипло:

— Ты с этим разговором зря сунулся. Тут я тебе словам недоступный. Я свой счет на тебя не закрыл. А вот об чем разговор будет. Да ты сядь ближе, не колебайся. Капка, дай костыли, а то башка виснет. На, мой кури, крепче. Разговор серьезный, долгий. И тут нам с тобой надоть руку в руку, чтобы не обошли буржуи-то. Да сядь, говорю, на постели, рядком. Оно лучше будет, довереннее...

Тима не любил Редькина: Редькин кричал на ребят, когда они играли во дворе в лапту:

— Окна, жиганы, повыбиваете! Гришка, марш домой! — И, замахиваясь на сына костылем, шипел, как гусь: — Забаловала мать. Ступай чурки стругать!

Редькин презрительно относился к Полосухину, называя его лоскутником, тряпичником, заплатных дел мастером.

Сколько раз он орал на Полосухиных, что они завоняли своим тряпьем все жилье, что от них даже из-под пола вонь идет, и издевательски спрашивал:

— Скоро свою Феньку замуж отдадите? Приданое небось богатое? Мешка два пуговиц. Вы бы показали, а то позарюсь, брошу Капку и к вам в зятя пойду. Из бархатного лоскута портки тачать. Коноплев-то не прельстился, небось в приданое жилетку просил двубортную, он же о себе много думает. Плешь завел на кумполе для красоты вида.

Но сейчас Редькин уважительно просил Коноплева:

— Нам надо кучей на них идти. Объяснить все по закону. Стеснение жизни буржуям будет оттого, что трудя-

щимся простор нынче положен. Мол, им по комнате нарыло — самая что ни на есть справедливость. А какой лишек, то революция берет аккуратно. Не кулаком в рожу, а по голосам, которые «за» и «против». Значит, надо, чтобы неимущие жильцы не сомлели от половичков, мягкой мебели и фикусов асмоловских, а твердо себя вели, самостоятельно себя чувствовали. А то мы народ мягкий, вежливый; если нам кто первый «здрассте» кинет, так мы шапку долой и уже спину гнем в дугу за уважение. Я сам мученый. Народ знаю. Ему еще непривычно себя главным считать. Все стелемся, ежимся.

— Это ты правильно рассуждаешь, — согласился Коноплев. — Домовой комитет — это тоже Советской власти палец. Дело серьезное. Политика. И то, что ты на партийных облокотиться перво-наперво решил, — это мне упрек самый что ни на есть. Я ведь тоже так, а зайти к тебе не решался. Ниже момента был. Думал, дашь костылем, и на этом весь наш разговор кончится. А ты воп как высоко мыслишь, — и совсем тихо произнес: — Я ведь о тебе только с одного боку судил. Также чуть было в человеке не просчитался. А мы должны теперь все друг дружке в глаза глядеть, а не воротить рожу за обиды и прочее.

— Капка! — восторженно крикнул Редькин. — Чего глаза тупишь? Ничего, гляди вовсю. Вижу, человек, а не паскуда, — и сокрушенно произнес: — Нам бы с тобой сейчас самогона... хлебнуть. Но Капитолина не держит: боится, сопьюсь. Инвалиды, они все от своего горя спиваются. А вот я ничего, только курю цепко.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Каждый раз, когда приходилось ночевать одному дома, Тима особенно остро испытывал тоску от своего одиночества. Слоняясь уныло по комнате, он подходил к шкафу, где висели мамины платья, отворял дверцу, разглядывал, вспоминал, какая она в них была в разное время.

Вот это, с зелененькими полосками, мама надевала на вечеринку к Савичам, и Софья Александровна, когда мама кончила петь, бросилась к ней, обняла и воскликнула:

— Ох, Варька, какой у тебя голос изумительный! Тебе бы с ним нужно не в революцию идти, а в оперу.

А вот это синенькое, с порванным рукавом, Тима тоже очень хорошо помнит. Во время учредилочки мама раздавала на улице листовки, призывая голосовать за большеви-

ков. Офицер с красным бантом на шинели хотел отнять у мамы листовки. Она прижала их к груди и пинала офицера ногами, а тот тащил ее за руку в ворота дома. И Тима тоже пинал этого офицера и кричал:

— Помогите!

Но прохожие в страхе только молча смотрели, как офицер волочит маму по тротуару. Маму спас Коноплев и еще какой-то рабочий. Они оттащили от нее офицера и увели его во двор. Когда они снова появились, рабочий, который был с Коноплевым, держал в руках саблю. Подойдя к каменной тумбе, он взял саблю одной рукой за эфес, а другой за конец и, с силой ударив ее плашмя о тумбу, переломил, как хворостинку, потом с разбегу зашвырнул обломки на крышу дома. Коноплев держал большой черный браунинг и рассматривал его с таким любопытством, будто первый раз в жизни видел револьвер. Офицер, прижимая к разбитому лицу платок, подошел к Коноплеву, попросил:

— Слушай, отдай, пожалуйста.

— Ладно, пойдем, — сказал Коноплев.

Он шел по улице, в нескольких шагах от него — офицер. Коноплев озабоченно разбирал револьвер и на ходу бросал револьверные части одну за другой на тротуар, а офицер, следуя за ним, подбирал их. Он очень походил на собаку, которой бросают кусочки хлеба, чтобы она шла, куда хочет хозяин.

Так они ушли — офицер и Коноплев.

А мама заколола порванное платье английской булавкой и снова начала раздавать прохожим листовки. Но только теперь Тима стоял у мамы за спиной и держал кусок кирпича, чтобы стукнуть им, если кто снова захочет отнять у нее листовки.

А вот это голубое мама сшила специально в честь папиного дня рождения. И шила его сама целый день. Папа пришел ночью, усталый, раздраженный, сказал сердито:

— Ты, Варвара, отвратительно небрежно шрифты вымыла: стали печатать — мазня.

— Я действительно спешила домой, — жалобно призналась мама.

— Ах, какая важная причина! — иронически сказал папа.

— Да, важная! — воскликнула мама. — Твой день рождения — это мой день.

— Сейчас нет ни твоих, ни моих дней, — сухо сказал папа. — И вообще, что это за предрассудки?

Мама стала через голову снимать платье.

— Я сейчас же пойду и вымою снова шрифты. Но помни, Петр!..

— Варенька, — сказал папа испуганно, — я сам их вымыл, потихоньку от Изаксона, а то, знаешь, какой он беспощадный. Поэтому и задержался.

— Это ты беспощадный! — гневно сказала мама. — Ты!.. — и, бросив платье на стул, крикнула угрожающе: — Чтобы я теперь когда-нибудь в жизни надела что-нибудь голубое! Никогда!

Но папа уже струсил и, взяв мамино голубое платье в руки, виновато бормотал:

— Вошел, очки запотели и не заметил. Ну, надень, Варенька. А я даже бутерброды принес твои любимые, с муксуном.

— Я люблю только ветчину, — гордо сказала мама.

— Где же ее взять? — и папа растерянно развел руками. — Нам только с муксуном выдали.

— Ты даже не можешь совершить ничего необыкновенного для меня, — упрекнула мама.

— Хватит вам ссориться, — рассердился Тима, которому давно не терпелось вручить папе свой подарок. — Вот на, бери, — и великодушно протянул папе карандаш. Главное в карандаше — наконечник из патрона, который он выпросил у Федора.

— Ах, какая прелесть! — сказала мама и поцеловала Тиму в щеку.

— Ну, брат, ты просто изобретатель, — и папа поцеловал его в другую щеку.

Тима увернулся от родительских объятий и приказал:

— А теперь вы — друг другу. И быстрее миритесь, чтобы скорее чай пить. А то мама пирог с картошкой состряпала. Холодный есть — только давиться...

Как это хорошо жить на свете, когда все вместе! А вот Тиме все время приходится жить одному.

Самое ужасное — это темнота. Тима опять почему-то стал бояться ее. Но спать при свете нельзя: керосина совсем мало. Сжечь его в одну ночь, а потом что делать? Нет, надо, ложась спать, гасить лампу.

И тогда сразу нападает мохнатая, черная, огромная темнота. Она больше, чем комната, больше двора, и кажется, что весь мир в темноте и, кроме нее, ничего нет. И она какая-то живая, полная пугающих звуков. Папа говорит, что привидения — это глупость. Если человек болен, ему еще может что-нибудь показаться, а здоровому человеку — нет. Но рассуждать так легко, а вот побудь

один в темноте — совсем другое скажешь. Тима, чтобы не так бояться, держал в пустой спичечной коробке таракана. Он кормил его хлебными крошками. А ночью клал коробочку на подушку и ложился на нее ухом. Когда становилось очень страшно, Тима поерзает ухом по коробочке и слышит, как таракан шевелится. Спрашивает:

— Не спишь? Почему не спишь? Спать надо. Ну, спи.

Так вот поговорит с тараканом и сам заснет. Но об этих своих ночных мучениях Тима никому не говорил: засмеют, скажут, маленький, темноты боится. А Тима, наверное, всю жизнь будет темноты бояться. Разве может человек к темноте привыкнуть? И взрослые — они, наверное, стесняются правду сказать, а сами небось тоже боятся.

Тима спрашивал папу:

— Когда ты в тюрьме сидел, там совсем темно было, как в погреб?

— Нет, не очень темно, — говорил папа. — Иногда, знаешь, наоборот, всю ночь лампа горит в камере, очень неудобно.

— Это зачем же они зря керосин жгут?

— Они ничего зря не делают. Надзиратель периодически заглядывает в глазок, проверяет, что делает заключенный.

— А что ночью делать заключенному? Только спать.

— Не всегда это в тюрьме хочется. Нервничают. Мысли всякие.

— Нужно сон хороший придумывать и под него спать. Вот и все, раз при свете можно.

— Вообще, конечно, — соглашался папа. — Но свет все-таки мешает. Иногда в тюрьме хочется побыть одному.

— Куда же больше одному, если в одиночке сидишь?

— Но ведь надзиратель все время заглядывает.

— Ну и пусть заглядывает, это даже хорошо, что за дверью человек есть, — не соглашался Тима. И эти разговоры с папой убеждали его, что спать одному в темноте все-таки хуже, даже чем людям в тюрьме.

Но скоро Тима нашел выход из своего тяжелого положения.

Конечно, Томка не считался его собственной собакой, но Томка сам давно избрал Тиму себе в хозяева.

Выйдет Тима во двор и даже не свистнет, а только так губами чуть-чуть чмокнет — и готово: Томка летит к нему со всех ног.

Почему он из всех ребят полюбил Тиму? И почему Тима

выбрал Томку, а не другую собаку? Ведь их много живет под сараем.

Правда, все они разные, и не только по виду, но и по характеру.

Самым сильным псом считался Мурыжий. Он даже когда-то работал в упряжке на пичугинских приисках. Потом «служил» сторожем. Но за кроткий нрав его освободили от цепи. С тех пор он стал жить под сараем. Бурая шерсть на боках свалялась, как кошма, пожалуй, ее даже не прокусить собакам. Но кто же полезет на Мурыжего, когда голова у него, как у медведя? Правда, морда у него всегда сонная, равнодушная. И когда все собаки мчатся на помойку, услышав плеск воды в ведре, Мурыжий тащится последним. У него нет самолюбия, и он никогда не дерется из-за кусков, считая, очевидно, что сытым ему все равно не бывать. Поэтому он всегда медлительный, ленивый и больше лежит, чтобы не пробуждать в себе острого чувства голода.

Главным над собаками стал Ушлый, среднего размера пес, с длинной мордой и всегда остро торчащими ушами. У него светлые, истеричные глаза, губа нервно вздрагивает. Он сразу же приходит в исступление и бросается на соперника без предупреждения. Рычать и лаять Ушлый считает ниже своего достоинства. Поступь у него крадущаяся, взгляд недоверчивый, он коварен, злопамятен, любит внезапно нападать на врага, когда тот поглощен едой.

Держит он себя с собаками спесиво, заносчиво, карает заслушание немедленно.

К его тирании привыкли, и стоит Ушлому появиться, как любая собака, кроме Мурыжего, тут же роняет из ослабевшей челюсти кость на землю. Но Ушлый не торопится брать ее. Изгибая длинное туловище, глумясь, проходит мимо кости, будто не замечая ее, куражится, зевает, показывая острые зубы, морщится, отчего нос поднимается кверху и становятся видны пятнистые десны на верхней челюсти, потом садится невдалеке от кости и ждет: а вдруг собака попробует схватить ее? Вот тут он себя и покажет.

К Тиме он относится заискивающе, притворяясь смиренным, почем зря машет хвостом, жмурит в улыбке глаза и, раболепничая, норовит лизнуть руку.

Но Тиме противны его лицемерные ужимки. Он-то знает, каков Ушлый на самом деле, его не обманешь, и Тима говорит неприступно:

— Пошел, пошел, провокатор!

Ушлый не оскорбляется, он отходит в сторону, садится на пышный хвост и, опустив насмешливо нижнюю челюсть, пристально и пытливо следит за Тимой: а вдруг он все-таки смиловится и бросит кусок хлеба?

Но уже несется во всю прыть Томка. Рыжий, голенастый, с двумя коричневыми пятнышками над бровями и карими, круглыми, сияющими восторгом глазами. Томка сразу приходит в экстаз. Он прыгает, пытаясь лизнуть Тиму в лицо, вертится, словно хочет от великой преданности хозяину откусить себе хвост. Он ложится на спину, дрыгает лапами, как щенок; лает, визжит, закрывает глаза от упоения.

Но стоит Тиме сказать: «Хватит, Томка», — как пес мгновенно преображается: вскакивает на ноги, обретает гордую осанку, весь напрягается. С удалым видом подходит к каменной тумбе и, чопорно задрав ногу, совершает собачий обряд, презрительно поглядывая на Ушлого, потом энергично шаркает задними ногами, бросает землю почти к самой морде Ушлого, независимо возвращается к Тиме и пытливо, серьезно смотрит в глаза, словно спрашивая: «Так что же мы теперь будем делать?»

Томка уступает Ушлому в силе. Но если Тима посмеет не то что погладить при Томке Ушлого, а только обратиться к нему с ласковыми словами, как Томка, ослепленный ревностью, немедленно, с таким гибельным отчаянием кидается в драку, что даже Ушлый вынужден первым покидать поле боя.

Но это только при Тиме Томка такой храбрый.

Когда его нет, Томка благоразумно избегает столкновений с Ушлым и, как все другие собаки, безропотно уступает ему кость.

Под сараем жили еще две собаки, Тузик и Нырок, но они ластились ко всем людям без разбору, и когда Томка дрался с Ушлым, с такой бесчестной подлостью присоединялись к Ушлому, что Тима не мог не презирать их.

Но когда Тима и ребята уходили в тайгу, все собаки считали своим долгом сопровождать их.

И если на улице им попадалась чужая собака, они набрасывались на нее всей стаей.

Так же они вели себя по отношению к огромному пятнистому волкодаву, которого никак не хотели признавать своим, хотя волкодав по праву мог бы считаться собакой из их двора.

Видно, то, что волкодав жил, как барин, внушало им чувство неудержимой к нему вражды.

Поодиночке волкодав мог загрызть любого из них, может, только с Мурыжим ему нелегко было бы справиться, но стаей они держали волкодава в страхе. И даже справиться нужду он решался не дальше порога, за что жена прапорщика Хопрова била его каждый раз красиво сплетенной из кожаных ремней плеткой. Но откуда она могла знать причины собачьей вражды? Достаточно и того, что ей самой доставалось от Хопрова дома, и она тоже не могла понять, за что он на нее злится. И почему он называет ее старой полтиной? Неужели за то, что ей пятьдесят лет? Но ведь все говорят, что выглядит она значительно моложе.

Хопров был умнее своей супруги и понял, почему его волкодав гадит на крыльце. Он позвал к себе скорняка Бугрова и предложил:

— Слушай, милейший, ты ведь, кажется, этим делом занимаешься. Так заberi собак во дворе на воротники!

Бугров посинел от обиды.

Прапорщик предложил:

— Я ведь с хвоста платить буду; принесешь хвосты — и расчет тут же.

— Я не живодер, а рабочий, — сипло сказал Бугров. — Эх вы, прапор! — и ушел, хлопнув дверью.

Но Хопров сыскал все же для этого дела подходящего человека. Пьяница Сычев, глухой оттого, что взялся за четверть водки разбить себе о голову кирпич, заманил собак на сеновал свиной требухой и там, привязав к стропилам веревки, хотел приступить к казни.

Тима услышал жалобный визг Томки и вместе с Костей кинулся на сеновал. Упершись спиной в крышку лаза, они отбросили ее и ворвались наверх.

Костя прыгнул на грудь Сычеву.

Сычев упал на Костю и стал бить его. Тима изо всех сил сжимал толстую, дряблую шею Сычева, но рука его соскользнула, и Сычев ухватил ее зубами.

Они катались в соломенной трухе, в клубах пыли, молча и яростно. Тима уже терял сознание. Его нос, губы, все лицо стискивали пальцы Сычева. Тима вырвался из его рук, но тут же скорчился от удара в живот. Сычев рухнул на Тиму. И вот тут уже Тиме показалось: все кончено. Но он увидел, как промелькнуло рыжее тело Томки, раздалось глухое рычание. Сычев застонал, вслед за Томкой бросился Ушлый, потом Мурыжий, и, обвешанный собаками, Сычев ринулся к лазу.

Костя правильно сказал: «После битья первое средство — баня».

Мальчики разделись в предбаннике, старик Сомов вышел из-за конторки, разглядывая их с видом знатока, и сказал восхищенно:

— Вот это да! Накидали по первое число,— и озабоченно осведомился: — Кто же вас так разделал?

— Конь,— сказал небрежно Костя и, показывая на Тимино черно-лиловое бедро, похвастался: — Видали, как приложил копытом?

— Не иначе битюг,— сказал Сомов и посоветовал: — Вы бы деревянным маслом — пользительное средство от ушиба.

Костя нашел под лавкой обтрепанный веник, обдал его кипятком и стал парить Тиму на верхней полке. В этот ранний час в бане было мало народу. Растирая Тимину спину веником, Костя говорил:

— Иисус Христос хотел, чтобы все люди равны были, и его за это к кресту приколодили. Помер он на кресте. А после все ему кланяться стали. Говорят, зря убили. А сами друг дружку до сих пор почему зря молотят, только попов развели, и больше никакого толку.

— Верно,— сказал удрученно Тима,— побили мы кровельщика, а он просто пьяница, совестно мне.

— Так ты чего в баню тогда пошел, а не в церковь?

— А ты не заедайся.

— Чего же ты злишься?

— А ты меня не задевай.

— Я ведь свою веру имею.

— Какую же?

— А вот такую: конечно, бога, как все говорят, такого нет. Если бы он силу особую имел, разве стерпел спокойно, когда его сына казнили? А если он есть, то либо силы не имеет, либо как юридический, полоумный.

— Значит, ты неверующий?

— Сказал, верующий — значит, верующий! — рассердился Костя.

— Да во что?

— А ты никому не скажешь? Обзовись.

Тима обозвался.

Костя сказал взволнованным шепотом:

— Слышал про такой случай, чтобы волки осенью на человека кидались?

— Нет.

— А почему, знаешь? Осенью все звери сыты, им

в тайге по горло всякой жратвы. А зимой — пойди-ка, он тебя с валенками сожрет с голоду и огня не побоится.

— Ну и что?

— А люди, по-твоему, все сыты? Оттого и злоба, что жрать нечего, потому друг на дружку и кидаются. Вот я придумал, только ты смотри — никому... Нужно всем людям в одну весну разом собраться, всю землю вскопать и картошкой засадить. А потом, когда она поспеет, бери кто сколько хочет, все равно пропадет, столько ее будет. Понял? И всем сразу хорошо станет. Земли, ее много, людей тоже, а картошка сам-четыре даст. И так один раз, потом другой, и еще, и еще. И у всех сколько хочешь ее будет. И никто больше друг дружку хватать не станет, потому не из-за чего, раз все сыты. Здорово придумал?

— Что же, одну только картошку всем есть? — усомнился Тима.

— Зачем, можно еще что-нибудь посадить, только обязательно нужно всем разом.

Но вдруг Тима обрадованно воскликнул:

— Это Редькин говорил, я слышал своими ушами! У них там рабочие хотят коммуны строить, только не одну картошку сажать, они на семена у Эсфири рожь и овес выпрашивали.

Костя, поняв, что попался, сердито огрызнулся:

— Тоже скажешь, выпрашивали! Что тебе, рабочий класс нищий, что ли? Велит твоей Эсфири, чтобы выда-ла без разговоров всяких, она и отвесит в кули что полагается.

— Значит, не ты выдумал, ага! — торжествовал Тима.

— Ну, ладно, — примирительно сказал Костя. — Про коммуны — это не я, а вот про всю землю — я сам. Такого еще никто не собирается сделать, но ничего, я им всем скажу. Будь покоен.

Пришел Тимин черед хлестать Костю веником. Костя сладостно корчился и вопил:

— Не жалей, жги шибче! Всю болезнь наружу оттянет. Только ты навесом бей, без оттяжки, а то кожу сvezет. Не понимаешь?

Одеваясь в предбаннике, мальчики слышали, как Сомов, беседуя с посетителем в бархатной жилетке и с большой сивой бородой, благостно рассуждал:

— Первый хлыстовский Христос еще в семнадцатом веке объявился, и все они содержали при себе богородиц, которых именовали Акулинами Ивановнами. Скопцы тоже держат богородиц, но никто сказать не может, подвергают

они хрещению большой или малой печатью. Сие есть неизреченная тайна.

Посетитель, поглаживая бороду, задумчиво произнес:

— Святая церковь тоже должна быть ныне терпима ко всякой ереси и отступничеству от канона, дабы сплотить ко главному подвигу.

— Мудро, — согласился Сомов и, взяв в обе руки глиняный жбан с квасом, налил в кружку, поднес посетителю, сказав шепотом: — А то ведь я в трепете: не сегодня завтра и мою баньку в народное имущество стянут.

— Возможно, — согласился посетитель и стал громкими глотками пить квас.

Возвращаясь из бани, мальчики увидели на заборе свеженаклеенное обращение к гражданам города.

Тима подошел и прочитал:

«Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов настоящим доводит до всеобщего сведения граждан, что он, во исполнение воли правительства Совета Народных Коммиссаров, является представителем верховной власти в городе и будет всеми имеющимися в его распоряжении средствами проводить в жизнь распоряжения Совета Народных Коммиссаров, выраженные в его декретах».

Возле объявления толпились прохожие и рассуждали:

— Большевики, говорят, думу городскую прихлопнули. Не пожелали, значит, больше власть делить с избранныками.

— Нашел избранных! Кто при Керенском туда вскочил, те и заседают — всяких господских партий ораторы.

— Все ж таки дума!

— Дума! А ты ее думы знаешь?

— Где нам с длинными ушами в чужую кормушку лезть!

— Вот то-то. Все думали, как изловчиться да на старое свернуть.

— Николашка-то дурачок, а хлеб продавал за пятачок.

— А ты этот пятак пробовал заработать хребтом, а не с бакалейной выручки из чужого кармана?

— Ты на меня, гражданин хороший, всякое не кидай. А то знаешь?

— Городового позовешь? Я те дам городского!

— А ты им не шути. Целей будешь...

Конечно, Тима хорошо придумал — приводить к себе на ночь Томку. Когда Томка спит рядом с кроватью на полу, — совсем не страшно. Правда, Томка сильно робел, и морда у него становилась застенчивой, виноватой, будто он стеснялся: придут родители Тимы и увидят в квартире собаку. Папа сколько раз говорил Тиме:

— Дело не в том, что укусы блох болезненны: блохи разносят инфекцию. А потом — глисты! — И заявлял категорически: — Я против животных в доме. Это негигиенично!

Может, папа и прав с медицинской точки зрения. Но вот он говорил, что привидений не существует. А оказывается, они есть на самом деле.

После того как Совет расклеил по городу обращение к гражданам, на кирпичной стене мужского монастыря ровно в полночь стало появляться привидение. В белом балахоне, со светящимся голубым светом мертвым лицом, оно вещало замогильным голосом, что Советская власть со своей антихристовой пятиконечной звездой скоро сгинет, а тех, кто был за нее, покарает десница огненная.

Некоторые жители Банного переулка уже не раз совершали ночью паломничество к мужскому монастырю, видели привидение своими глазами и передавали в точности его пророческие слова.

Днем, обсуждая с ребятами это событие, Тима держался бодро, но когда начинало смеркаться, испытывал щемящее чувство страха.

Ложась спать, он затаскивал Томку к себе на постель, но Томка испуганно визжал, отлично зная, что каждую собаку ждут побои, если она попытается забраться в доме на что-нибудь мягкое. Томка все время порывался прыгнуть на пол, бросался к двери, скреб ее лапами, жалобно выл, что еще больше пугало Тиму. Известно: собака воеет к покойнику.

Чтобы подкупить Томку, Тима стал кормить его под одеялом. Но, поев, Томка снова порывался удрать. Тима даже пробовал связывать ему ноги. Но, связанный, Томка начинал так биться, что пришлось от этого отказаться.

С большим трудом ему удалось приучить собаку спать у себя в ногах, и то поверх одеяла.

Но днем Тима стыдился своих ночных мучений. Поэтому на предложение ребят пойти ночью к мужскому монастырю Тима с радостью согласился. Пусть будет страшно сразу, зато потом, когда все выяснится, уже не будет страшно.

Мужской монастырь находился на окраине города. Его окружала высокая кирпичная стена, по углам возвышались круглые башни с остроконечными кровлями и шпилями, на которых были вырезаны из жести флюгера в виде крылатых ангелов.

За оградой монастыря раскинулось большое кладбище, а за ним, в старинном приземистом здании, кельи монахов.

Летом Тима ходил на кладбище смотреть мраморные купеческие склепы, богатые могилы, окруженные железными куполообразными решетками, похожими на клетки для попугаев. Здесь росло много рябины, калины, но никто не рвал ягод: ведь деревья корнями уходят прямо к покойникам.

Ходил слух, что на этом кладбище триста лет тому назад был похоронен знаменитый разбойник Ванька Каин — московский сыщик, занимавшийся грабежами и сосланный за это в Сибирь. Но сколько Тима ни искал его могилу, найти не мог. Правда, папа считал маловероятным, что Ванька Каин похоронен в городе, но признавал, что песня «Не шуми ты мати, зеленая дубравушка» сочинена именно Ванькой Каином, и даже сочувственно отозвался о Ваньке Каине, сказав: грабить богатых честнее, чем служить в полиции.

Расплющенная белая луна, на которой отчетливо был виден таинственный силуэт Каина, убивающего Авеля, то выплывала из облаков, то погружалась в них.

Сопровождаемые собаками, мальчики обошли вокруг монастырского забора и всюду натыкались на каких-то людей, которые держали в бутылках с отбитыми доньшками горящие восковые свечи.

У Кости в руках был черенок от лопаты; помахав им, он сказал:

— Как увижу его, сразу по башке двину... Если не заорет, тогда, значит, правда привидение.

Гришка показал веревку и объяснил:

— Мы его свяжем.

У Тимы оказался молоток, которым он собирался отбиваться, если привидение кинется на него.

— Раз все мы вооружены, — сказал Костя, — то надо нам его не у стены со всеми дожидаться, а прямо в монастырский двор идти и там спрятаться. Или в башню залезть и с нее смотреть, как оно по стене пойдет. А если оно на нас — сразу прыг вниз и деру... — Усмехнувшись, добавил: — А Тимка может с башенной крыши соскочить, он это любит — с крыш прыгать.

— Не надо сейчас друг дружку задевать,— серьезно сказал Кешка.

Миновав толстые сводчатые монастырские ворота, мальчики свернули с широкого санного пути на кладбищенскую тропку к большому черному гранитному склепу купца Курощупова.

Усевшись на каменную плиту, они стали слушать ночную тишину.

Гриша прошептал тоскливо:

— Если привидение настоящее, тогда, значит, всё есть: и господь, и черт, и покойники встают, тогда все на свете зря, молись за себя, и только...

— А вот мы проверим, что есть и чего нет,— мужественно объявил Костя, покосившись на плиту, и все-таки посоветовал: — Нехорошо над покойником так сидеть: он хоть и купец, но все же человек был.

Ребята встали и оглядели тяжелую плиту. Гриша спросил:

— Неужели такую тяжесть он поднять может?

— Купцы старинные очень здоровые были, даже разбоем занимались. Такой сможет,— сказал Костя.

— А ты не пугай,— жалобно попросил Гриша.

— Я не пугаю, я говорю как о бывшем живом,— оправдался Костя.

На монастырской колокольне дребезжащий колокол отбил четверть.

— Замерзнем тут,— пожаловался Кеша,— сколько еще ждать, а от камня стужа.

— Пошли лучше отсюда,— предложил Тима,— а то провороним.

— Надо бы нам всем по разным местам разбрестись, а кто увидит, тот крикнет,— не столько предложил, сколько вслух подумал Костя.

Но ему никто не ответил.

— Мы же с собаками,— сказал Тима.— Они его увидят и залают.

— Откуда они знают, на кого лаять? — усомнился Гриша.

— Собака не должна привидение видеть, оно только человеку видно,— сказал Кеша.

— Эх,— огорчился Тима,— надо было б приучить Томку кидаться, если кто в простыне покажется.

— Не всякие привидения в простыне.

— А чего же у него белое?

— Саван.

От этого жуткого слова всем стало еще больше не по себе. А тут Костя вдруг заявил:

— Ну, я пошел, разведваю, а вы тут посидите.

— Нет уж, вместе пришли, вместе и уходить.

— Да я скоро...

— Все равно одному нельзя: а вдруг оно тебя потащит?

— Ну тогда пошли все, но чтобы тихо.

Небо померкло и, казалось, еще ниже опустилось к земле. Снег уже не блестел, а стал пепельно-серым. Только стволы берез костляво белели во мраке.

Собаки жались к ногам ребят, не желая сходить с узкой тропы на рыхлую снежную целину. Но мальчики поняли это совсем иначе.

— Чуют, — глухо сказал Гриша.

— А вот я тебе дам раз, — пригрозил Костя, — так, чего не следует, примечать перестанешь.

Выбравшись из кладбищенской рощи на полянку, ребята облегченно вздохнули. А тут прорезалась луна, и все осветилось ее кротким светом, и не было больше зловещего, угрюмого мрака. Высокая кирпичная стена была по-прежнему пуста.

Тонко, пронзительно дребезжа, прозвучали на колокольне удары: раз, два, три... двенадцать.

Мальчики невольно прижались друг к другу, до слез в глазах глядя в монастырскую стену.

Но ничего не было, ничего... Только небо мерцало, и расплюснутая луна тонко прорезала рыхлые облака.

— Струсило! — воскликнул торжествующе Костя. — Струсило! Подглядело, что я с палкой, и струсило!

Тима, силясь вытащить из кармана молоток, тоже хвастал:

— Не удалось мне его пригвоздить. Эх, зря только такую тяжесть таскал!

Вдруг Гриша, судорожно дергая рукой, зашептал:

— Вот он, гляди — вон!

От левой угловой башни мерно шествовало по кирпичной стене что-то долговязое, белое, и тотчас же за стеной какие-то голоса истошно завывали псалмы.

Дойдя до середины стены, привидение остановилось и воздело вверх длинные руки.

— Бежим, — простонал Кешка, — бежим!

Но Костя схватил его:

— Стой до самой смерти, — и приказал: — Беремся за руки. Если потащит, то уж всех.

Что говорило привидение находящимся за стеной людям, ребята не могли понять: они совсем ошалели от страха. И снова, но теперь уже не Гриша, а Тима увидел новое привидение. Оно было черное. Выскочив из правой башни, оно бежало по стене к белому привидению.

Белое спрыгнуло в монастырский двор и бросилось наутек.

— Гляди, гляди, — завопил Кешка. — Оно в сапогах. — Ага, саван скинуло! Чего же мы стоим, ребята?

— Куси, куси! — кричал Тима, показывая Томке на бегущего человека. — Куси!

Собаки кинулись разом, а за ними мчался Костя, размахивая черенком от лопаты.

Под ноги белому привидению бросился Ушлый. Собаки кружились вокруг упавшего. Вдруг Ушлый жалобно завыл. Человек вскочил, Костя закричал пронзительно:

— У него ножик!

Человек, прихрамывая, снова бросился бежать, но снова упал, сшибленный теперь Мурыжим.

— Он же убьет Мурыжего! — крикнул Тима, на бегу пытаясь вытащить молоток, но молоток запутался в кармане поддевки.

Тиму обогнал какой-то человек, тяжело и быстро топая ногами.

— Эй, вы! — крикнул этот человек. — Чьи собаки — отзовите!

Тима узнал его: черное привидение оказалось Капелюхиным. Оттащить Мурыжего от бывшего белого привидения было непросто. Тима и Костя тянули его за хвост, а он все не разжимал стиснутых челюстей. Наконец, глухо ворча, сдался.

— Вы кто такие? — спросил Капелюхин мальчиков.

— А мы, — сказал Тима, — здравствуйте, товарищ Капелюхин, привидение пришли смотреть.

— Смотреть или ловить?

— Если не настоящее, тогда ловить.

— Значит, все-таки надеялись, настоящее вам покажут?

— А оно совсем неправдышное? — спросил Кеша.

Капелюхин поднял привидение за воротник и поставил его на ноги.

Мальчики взглянули привидению в лицо и отшатнулись. Лицо светилось голубым таинственным светом.

— Вы что? — спросил Капелюхин удивленно. — Обалдели? — Плюнул в ладонь, потер о лицо привидения и по-

том показал мальчикам — ладонь светилась тем же мертвенным, таинственным светом.

— Фосфор, — объяснил Капелюхин, понюхал и сказал: — Парным молоком пахнет. — Обтер ладонь о штаны, отчего на них сразу же засветилось голубое мерцающее пятно, и приказал привидению: — Ну, пошли ножками, крылышек-то у тебя нет.

Бывшее привидение вертело головой на длинной сухой шее и капризно жаловалось:

— Собаками травить — это тоже, знаете, варварство. У меня шея, может, до позвонка прокушена, меня бы на носилки...

— Ничего, ничего, пойдешь ножками! — сказал Капелюхин. — Это у вас в контрразведке после допросов на носилках выносили культурненько, а мы люди простые, — и приказал: — Рожу-то снегом потри — теперь свечение ни к чему.

Когда бывшее привидение оттерлось снегом, Тима узнал в нем кобринского племянника, юнкера, который приходил с офицерским полувзводом разгонять митинг на мельнице. Но сказать это не успел, потому что к нему подошел Костя.

— Ушлый помер, он его ножом проткнул. Надо бы домой отнести и на заднем дворе похоронить. Хоть он и Ушлый, а себя показал.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Еще при царе, а потом при Керенском в пересыльной тюрьме был отведен целый корпус для тех военнопленных, которых привозили сюда из лагерей за различные провинности, а потом за сочувствие большевикам. Большинство военнопленных были чехи, мадьяры, словаки. В первый день революции большевики освободили их из тюрьмы. Военнопленные с красными знаменами пошли на площадь Свободы и произносили речи с деревянной трибуны, каждый на своем языке. Тима думал, что это уже и есть мировая революция, о которой Косначев говорил на митингах возвышенными словами.

Для бывших военнопленных отвели помещение ресторана «Эдем». И с его балкона теперь свешивались разные флаги. По заданию ревкома работу с военнопленными вели Капелюхин, Эсфирь и мама. Каждый раз, когда они ходили в «Эдем», мама и Эсфирь старались получше одеться.

— Неудобно чумичками к ним являться, все-таки европейцы, — говорила озабоченно мама и кокетливо, набок надевала перед зеркалом шапочку из фальшивого каракуля.

А Эсфирь, поставив на табуретку ногу, начищала ваксой яловые сапоги. Эсфирь владела немецким и французским языками и деловито беседовала с военнопленными, а мама только молча ласково улыбалась им. Тиме очень нравились военнопленные, веселые, общительные и все какие-то не по-русски аккуратные, гладко выбритые. У всех прически с проборами. Показав маме на Тиму, они тыкали себя в грудь, потом растопыривали пальцы. Это означало, что у них тоже есть дети, и сколько пальцев растопырено, столько детей. Мама улыбалась им за это еще ласковее.

Ресторан «Эдем» был памятен Тиме еще с тех пор, когда папа организовал в нем солдатский госпиталь. Но сейчас тут все выглядело совсем иначе.

Военнопленные устроились здесь с женской тщательностью. Койки аккуратно застланы, подушки прикрыты белыми накидками, на стенах коврики из раскрашенной рогожи, сплетенные из разноцветной бумаги туфельки для часов, в резных рамках фотографии, открытки с видами неведомых городов, половики, сшитые из лоскутов, и на них матерчатые шлепанцы.

В углу оббитая сукном гладильная доска, большой чугунный утюг на проволочной подставке, деревянная машинка для снятия сапог, в жестяном ведре — самодельная вакса.

На керосинокалильной лампе вместо облупленного эмалированного колпака надет большой бумажный ярко раскрашенный абажур. На гвоздях, обернутых тряпочками, висят деревянные плечики, и на них распялены френчи и куртки. А посредине стола, в глиняном горшке, большой букет сделанных из бумаги цветов.

На самом видном месте висели большие портреты, выжженные на гладко обтесанных кедровых досках, — Маркса, Ленина и еще одного, в очках, незнакомого, про которого мама сказала, что это Карл Либкнехт и что он тоже революционер.

Конечно, Тима понимал: военнопленные сейчас вовсе не военнопленные, а такие же свободные люди, как и русские. Но все-таки он жалел их и одновременно испытывал чувство горделивого превосходства. Ведь революция пока только у русских, а у них еще ни у кого нет.

Среди военнопленных были мастеровые. Одни, как Бугров, занимались скорняжным ремеслом, другие, как Полосухин, портняжили, третьи сапожничали.

По-видимому, они неплохо зарабатывали, получая заказы от горожан. Возле коек почти у каждого стояли лукошки с куриными яйцами, кринки со сливочным и топленым маслом, а на палках висели связки вяленой рыбы; в аккуратно сшитых мешочках хранились мука и крупа.

Но эти пленные не вызывали у Тимы особой симпатии. Ему больше нравились те из них, кто не чувствовал себя здесь счастливым и спокойным, кто нервничал, волновался и сердился на местных русских за то, что они не могут толком сказать, началась ли уже революция в других странах, и не опоздают ли они домой, чтобы сражаться там за свою революцию.

Кто сразу не поправился Тиме, так это высокий, жилистый, всегда подтянутый, щеголяющий военной выправкой офицер Генрих Функ, заносчивый, с брезгливой гримасой на бледном костлявом лице, подчеркнуто презрительно относившийся к солдатам.

Только один Функ носил военные медали и черный крест на шелковой ленточке. Говорят, он был храбрый офицер. В плену несколько раз пытался совершить побег, за что царское правительство приговорило его к тюремному заключению. Он был сыном баварского помещика, носил на пальце перстень с изображением черепа и костей.

Когда рабочие и красногвардейцы ворвались в тюрьму и стали освобождать заключенных, Функ заявил, что не желает принимать свободу из рук мятежников и предпочитает ждать в тюрьме прихода германской армии, чтобы получить освобождение только от нее.

Просидев упрямо в пустой тюрьме двое суток, он в конце концов вынужден был уйти. Поскитавшись по городу, явился в «Эдем». Немцам, которые сказали в ревкоме, что они считают себя коммунистами, Функ пригрозил: «Мы вас будем вешать на русских березах, как только появятся первые солдаты оккупационной армии». Социал-демократам пообещал пожизненное пребывание за решетками из крупновской стали. Он нашел среди пленных покорных, запуганных солдат и, подчинив их себе, проводил с ними занятия шагистикой, учил даже штыковому бою, используя для этого палки от метел.

Больше всех Функ ненавидел солдата Германа Гольца. А пленные выбрали Гольца старшим над собой.

Был он на голову выше Капелюхина, хотя и уже

в плечах, но такой же сильный. Гольц — шахтер из Рура. Показывая Тиме тяжелые руки, с вьевшимися под кожу темными, словно пороховыми, угольными точечками, с нежностью говорил: «Немножко всегда с собой родной сторо-нушки».

Гольц объяснил Тиме: у нас тут много разных голов. Одна голова хочет просто домой ехать, другая говорит: нужно здесь русским помогать революцию доделать. Третья считает: без революции в Германии русской революции капут. Четвертая, как Функ, хочет убивать революцию и здесь и в Германии, но таких совсем мало. Показывая на портрет Маркса, он спросил Тиму:

— Ты этого человека знаешь?

Тима, радуясь, что может блеснуть своими политическими познаниями, быстро отвечал:

— Это очень большой революционер и очень умный человек. Это он придумал, чтобы пролетарии всех стран соединялись, у нас так всюду написано.

Гольц торжественным голосом обратился к своим товарищам, потом пояснил Тиме:

— Я им сказал: русский мальчик узнал Маркса. Я им сказал: если тебя убьют буржуи, твоя кровь падет и на нас.

— Меня никто не убьет,— возмутился Тима,— зачем вы неправду говорите?

— Я сказал правду,— сердито произнес Гольц.— Когда буржуазия топит в крови революцию, она зверь.

— У нас есть Красная гвардия, она сама кого хочет утопит,— заносчиво объявил Тима.

— Вот я и говорю, надо в Красную гвардию — здесь,— заключил Гольц.

Обычно пленные очень внимательно слушали Капелюхина. Плечистый, коренастый, он говорил таким гулким басом, что казалось, голос его отдается эхом откуда-то из-под мышек.

— Своя земля и в горсти мила... Так вот, деньги и еду мы вам на дорогу обеспечим. Нам, товарищи, мировая революция во как нужна, а вы народ стреляный, своим поможете, а мы тут без вас как-нибудь перебьемся.

— Что ты говоришь? — возмущался Гольц.— Если русская революция пропадет, наша тоже пропадет.

— Это правильно,— соглашался Капелюхин.

— Надо интернациональный батальон имени Карла Маркса, слышишь? — горячо настаивал Гольц.

— То, что заграничный пролетариат будет за нашу революцию как за свою стоять, большая агитация для всех.

Вот, мол, глядите, это и есть пролетарии всех стран — не на бумаге, а на деле. Но в мировом масштабе наш уезд значения не имеет, а мы при себе интернационал будем держать?! Без губернии такое решить не можем,— упорствовал Капелюхин.

— Бюрократия! — рассердился Гольц.

— Революционный порядок,— отрезал Капелюхин.

— У пролетариата нет отечества...

— Ну нет,— перебил Капелюхин,— человек без родины — все равно что соловей без песни.

— У революции есть своя большая стратегия.

— Вот, вот,— радовался Капелюхин,— потому и дисциплина нужна строже армейской, а мы, уезд, за весь мир решать не имеем права.

— А ты, мальчик, как думаешь? — спросил Тиму Гольц.

Конечно, это очень лестно, когда с тобой советуются по поводу мировой революции. Но разве легко ответить? И Тима, чтобы не осрамиться, напряженно припоминал папины слова. Помедлив, заявил:

— Нужно у Рыжикова спросить, он все знает, или, еще лучше, у Ленина. Скажите маме, она даже по телеграфу может спросить.

Гольц хлопнул Тиму по плечу, рассмеялся и сказал:

— Твой отец должен быть доволен, что у него такой сын. У меня тоже такой, даже два,— и печально добавил: — Но я их видел еще совсем маленькими, а теперь они, наверно, большие.

— Вот бы и повидал ребяток-то,— посоветовал Капелюхин.

Черный вертлявый Мориц Нуссбаум любил гулять с Тимой по городу. Он заявил:

— Я буду писать дома книгу о России, мне нужно много наблюдать.

Но Тиме не очень нравились наблюдения Нуссбаума.

Шагая по доскам тротуара на главной улице, Нуссбаум говорил:

— Россия — бедная страна. Вашему городу триста лет. А у нас уже в средние века в провинциальных городах были водопровод, канализация, роскошные замки, дороги из камня, и не было таких ужасных помоек и сортиров, и людям, у которых нет домов, не позволяли жить в земле. Вы рано сделали революцию. У вас очень бедный капитализм.

Очень плохо делать революцию, а потом доделывать за капитализм то, что он не успел сделать. Народ не будет доволен такой революцией. Народ всегда хочет много кушать, хорошо жить и меньше работать. А с вашей революцией надо еще больше работать. Я хочу, чтобы вы меня знакомили с бедными людьми, и хочу слышать от них правду.

Тима после слов Нуссбаума с тревожным беспокойством вглядывался в дома и улицы родного города. И никак не мог понять, что тут плохого.

Перед зданием городской думы почти целый квартал вымощен булыжником, конечно, под снегом сейчас его не видно. Но что от него толку? Летом поедет по нему телега и гремит ободами на весь город, а сколько было случаев, когда кони ломали ноги, попав копытом в выбоину в мостовой! Нет, грунтовая дорога лучше. Правда, после дождя можно в грязи выше колен увязнуть. Но тем, кто ходит разутый или в броднях, тем ничего. Подумаешь, Нуссбаум говорит: людям нельзя в землянках жить! Не понимает он, поэтому так и говорит. Когда вьюги начинаются, в высоких домах все тепло выдувает. А вот в землянке или в подвале тепло долго держится. Нуссбаум говорит: «Ад выдумали, не зная, что существует Сибирь. Ваше лето короткое, как вспышка спички». Ну, уж это чистая брехня! Если б лето было у нас такое же длинное, как зима, то от жары вся тайга высохла бы. Кому нужно такое лето? А когда теплая одежда есть, разве холод человека возьмет? Да никогда! Вот Тима пошел с Костей и Кешкой в тайгу, и они маленько заблудились. Устали дорогу искать, выкопали лыжами яму в снегу, застлали дно еловыми ветками, легли в яму вместе с собаками, накрылись лыжами, чтобы вроде крыша была, прижались друг к другу и спали до самого утра. Даже очень тепло было, потому что их снегом, как в норе, замело.

А дома? Что Нуссбаум, этажи считать не умеет? На главной улице штук пятнадцать трехэтажных. И из них пять или семь каменных. Торговая баня тоже каменная. Мясные ряды на базаре из кирпича сложены. Церкви тоже здорово построены: три деревянные, две каменные. Мужской монастырь весь каменный, и даже забор из кирпича сделан.

В пичугинском доме ворота железные с двумя чугунами, врытыми в землю тумбами.

Пожарная каланча, высокая, как колокольня, — такую построить тоже уметь надо.

В городском саду вокруг пруда все скамейки крашенные.

Не знает Нуссбаум также дома в резных наличниках, с высоким крыльцом и перилами на балясинах, похожих на кринки. Во дворе этого дома, говорят, люк сохранился. Лет сто тому назад разбойники в этом доме жили. Заманивали купцов, а потом как подшибут бревно, подпирающее люк, так тройка коней вместе с возком и всеми в нем сидящими в яму проваливалась. Разбойники купцов убивали, а трупы их по подземному ходу относили к реке. Не хуже, чем у них в Европе, людей грабили. Только наши разбойники на эти деньги ничего не построили. Зарыли куда-то клад, а потом друг друга поубивали, и никто не знает, где клад лежит. А то тоже можно было бы на него каменных домов понастроить.

Папа говорил:

— Сибирь моложе, чем Америка. Она еще себя покажет, какие в ней богатства есть. А раньше ее нарочно не обстраивали, чтобы ссыльным людям похуже жилось.

Не знает всего этого Нуссбаум, потому так и говорит.

Сибирь за то, наверное, больше всего и ругают, что сюда насильно людей ссылали. Вот мама сказала, когда первый раз здесь на небо взглянула:

— Боже мой! Какое низкое небо!

А сейчас что говорит? Когда возвращались с площади Свободы, с митинга, на котором Рыжиков объявил, что теперь у нас Советская власть, мама взяла папу за руки, прижала их к себе, подняла голову и сказала:

— Смотри, Петр, небо чистое, глубокое, бездонное! Как хочется сделать всем людям что-то необыкновенно хорошее, как прекрасна будет теперь жизнь на земле!

Но папа потрогал бородку и тут же по обыкновению испортил маме настроение:

— Не сразу, Варенька!

Мама рассердилась и воскликнула:

— Без тебя знаю! Но сегодня я хочу быть просто самой счастливой.

Вот когда у Нуссбаума у самого будет революция, тогда он не станет подмечать только плохое, а научится радоваться хорошему у других, решил Тима и безбоязненно повел его в свой переулок, хотя в городе были улицы и переулки получше, чем тот, где жили Сапожковы.

Тима привел Нуссбаума прямо на задний двор.

— Это очень ужасное житье, — сказал Нуссбаум, разглядывая бараки.

Самыми бедными Тима считал Полосухиных. Они встретили Нуссбаума приветливо.

Тима заявил:

— Вот германский человек хочет посмотреть, как самые бедные у нас во дворе живут. Только вы ему скажите, вас отсюда скоро переселят в хорошую квартиру, а то он совсем про революцию плохо понимает.

Полосухин убрал со стола тряпье, постлал вместо скатерти оконную занавеску. Фенечка принесла самовар от Редькиных и фарфоровую чашку для гостя.

Когда все уселись за стол, Полосухин откашлялся и кивнул головой на Тиму.

— Тимофей Петрович вам зря сказали, что мы бедные. По такому делу вам куда-нибудь в другое место шагать надо.

Нуссбаум развел руками и, уставившись на подвешеное к потолку корыто, в котором спал Ленька, сказал:

— Но я думаю, вы не очень богаты.

— Так ведь кто очень богат, сейчас тем плохо.

— Но так жить — собачий ящик.

— Конечно, тесновато, — согласился Полосухин.

— Вы революционер? — спросил строго Нуссбаум.

— Нет, я просто житель. Но с совестью. Вы не глядите, что старьем пока пробаваюсь. Оживится Россия — будем из нового пошивку делать. А пока обтрепались сильно, вот и приходится.

— Вы оптимист!

— Что это?

— Ну, все видите приятно, хорошо.

— Так ведь куда человек глаза направляет, то и видит: один себе под ноги глядит — только грязь видит, другой вверх тянется — все ему солнышко, а сам, может, по колени в навозе. А мы глядим, куда люди идут, туда и мы.

— Вы, может, большевик?

— Нет, я только при своем деле — брючник, и все.

— А что вам дала революция?

— Как сказать? — задумался Полосухин. — Вот, скажем, приди ты, немец, ко мне раньше, да я бы тебя на порог не пустил: убили вы у меня старшего, — а теперь ты чай из самовара у меня пьешь, потому не ты виноват, а твой император, кайзер. Теперь ты моей жизнью интересуешься, а я твоей. Как, мол, в Германии тоже не того, и картошки маловато, и насчет одежды слабо, — значит, жалею.

— Мы богатая страна, — гордо сказал Нуссбаум.

— Пичугин, буржуй, тоже богатый, а я им не горжусь. Я горжусь тем, что его богатство к народным рукам прибра-

ли. А чей буржуй богаче, это пустой разговор, зряшное хвастовство. Так думаю.

— Вы умный человек, — торжественно заявил Нуссбаум.

— А жена все дураком зовет, — улыбнулся Полосухин.

Когда возвращались, Нуссбаум сказал взволнованно:

— Ваш Полосухин — настоящий экземпляр человека. — Потом заявил горячо: — Я старый социал-демократ, но еще немного — и стану от таких людей большевик.

— А вы говорили, у нас раньше времени революция, — напомнил Тима.

— Это сказал сам Карл Каутский.

— Я такого не знаю, — сказал Тима. — А вот тот, который у вас в очках вместе с Марксом и Лениным на доске нарисован. Вы его слушаетесь?

— Это Либкнехт, очень горячий человек, как Ленин.

— Ленин вовсе не горячий! — рассердился Тима. — Он просто не хотел больше ни за что терпеть, чтобы люди несчастными были. Вот если бы не революция, Феня за старика скорняка замуж вышла бы из-за того, что деньги они ему должны были и есть им нечего было.

— Это кто Феня, такая, с глазами, как у наяды?

— Кто такая наядя?

— Ну, фея.

— Правильно, она очень красивая, — ответил Тима. — В самый день революции Коноплев пришел и освободил ее от свадьбы, и теперь она очень счастлива, а то наверняка бы утопилась в реке, если б замуж за скорняка вышла.

— Это великая баллада, — сказал Нуссбаум.

— Нет, это настоящая правда, — яростно возразил Тима, — и очень много разных других случаев было, когда, если бы не революция, людям было б очень плохо!

— Хорошо, — согласился Нуссбаум, — я становлюсь левым. Пусть будет тогда везде быстрее революция.

— Вот видите? — серьезно сказал Тима. — А вы наш город ругали. Он очень хороший.

— Нет, город ваш все-таки очень-очень плохой, — не согласился Нуссбаум. — Но ты не обижайся. Мы делали свои города многие сотни лет. Их еще рабы строили. Наш капитализм старый, жестокий и заставлял на себя работать не только собственный народ, но и другие народы.

— У нас купцы тоже ой-ей-ей какие! Дома настроили, только мало, — сказал горестно Тима, — всех туда не вселишь.

Нуссбаум задумался, потом проговорил:

— Ваша русская революция самая героическая и самая необходимая. Но сколько нужно ей труда — более тяжелого, чем странам европейским! Я снимаю перед ней шляпу. — Нуссбаум остановился и стащил с головы вязаный подшлемник. — Я буду просить Германа Гольца записать меня в красный батальон. Я останусь в России, чтобы узнать ее.

Отношения между пленными особенно обострились, когда германская армия начала наступление на Советскую Россию. Пленные славяне демонстративно бойкотировали немцев, многие даже вышли из красного интернационального батальона. Гольц жалобно говорил Сапожковой:

— Шовинизм — это чума, ею хворают даже приличные люди. Я не могу больше командовать батальоном, нужно славянина.

— Стыдитесь, Гольц! — горячо упрекала его Сапожкова. — Ведь вы коммунист.

— Я — да, но я знаю, что такое шовинизм. Это большая опасность, среди нас есть плохие, и не только Функ, а стало их еще больше после нового наступления Германии. — И мрачно заявил: — Таких надо сажать в тюрьму.

Некоторое успокоение внесло то, что Эсфирь начала проводить громкие читки газет, в которых печатались материалы о мирных переговорах с Германией, статьи и выступления Ленина.

Несколько раз на митингах у военнопленных выступали Рыжиков и Капелюхин.

Капелюхин долго стоял, не произнося ни слова, у стола, за которым сидели военнопленные, потом тяжелой поступью подошел к портретам, выжженным на гладко обструганных кедровых досках, остановился перед ними, долго молча смотрел, вытянулся на цыпочках, взялся руками за портрет Либкнехта и, оглянувшись, спросил:

— Может, снять его напрочь? Ведь немец, а?

Первыми вскочили и запротестовали немцы. Тогда Капелюхин протянул руки к ленинскому портрету и спросил глухо:

— Тогда, может, Ильича снять, раз вы не за интернационал, а сами по себе?

Теперь уже все пленные вскочили, кричали, а Гольц, яростно шагнув к Капелюхину, ухватил его за руку, что-то выкрикивая на своем языке.

— А ну, тихо! — приказал Капелюхин и, вырвав свою

руку, произнес глухо и раздельно: — Это, конечно, не иконы — портреты. Но ежели у вас к ним веры нет, так для красоты висеть им тут нечего. Решайте до завтраго. А сейчас тихо: буду читать речь товарища Ленина, в которой, как всегда, для всех полная ясность... — И густым, шалашинским басом, раздельно и медленно Капелюхин стал читать речь, а Нуссбаум переводил, с видом победителя оглядывая всех после каждой ленинской фразы.

На следующий день дощатые перегородки в ресторане «Эдем», за которыми по национальностям расселились военнопленные, были сломаны. Был избран совет из представителей всех национальностей, во главе которого стал Герман Гольц.

Все, кто записался в интернациональный красный батальон имени Карла Маркса, перебрались в казармы, где получили оружие. В «Эдеме» остались только больные, те, кто хотел вернуться домой, и те, кто колебался, еще не придя к определенному решению.

Среди оставшихся военнопленных было много больных и просто истощенных после пребывания в тюрьме. Чтобы подкормить их, красногвардейцы приняли решение сократить свои пайки на одну треть. Рабочие затона, пичугинского завода, пимокаты и кожевники провели сбор теплых вещей. Курсанты отдали бочку патоки, а сами стали пить чай с солью.

Тимина мама распределяла между пленными продукты, одежду, подарки и ведала их благоустройством. После ухода записавшихся в интернациональный батальон среди пленнх вновь начались ссоры. Хорваты не хотели находиться в одном помещении с австрийцами, мадьяры — с чехами и словаками, а все они вместе — с немцами. Залы «Эдема» опять перегородили дощатыми перегородками. И когда Сапожкова, руководствуясь степенью нужды, выдала австрийцам на три пары валенок больше, чем немцам, немцы обиженно отказались от своих валенок.

— Господи! — горестно воскликнула Сапожкова. — Но ведь я советовалась с вашими, они согласились.

— Они все вежливые человеки, мадам, — произнес один из немцев строго. — Они не станут спорить с русской дамой.

Тима приходил с мамой в «Эдем» по вечерам. Мама укладывала продукты в мешки для отъезжающих, готовила подарки семьям. Брала у врача-мадьяра список медикаментов, которые она должна была достать, и составляла для себя на память запись различных просьб, с которыми к ней обращались.

Мама сопровождала выздоравливающих на прогулках по городу. И делала это не потому, что они нуждались в провожатой, а потому, что в городе последние дни было неспокойно.

И хотя мама очень не хотела, чтобы Тима увязывался за ней, он не оставлял ее. Последние дни мама выглядела плохо. Стала худой и от этого менее красивой. Губы сухие, щеки запали, с беличьей шубки совсем облез мех, на ногах папины валенки.

Как-то, когда мама укладывала в мешки продукты военнопленным, лицо ее вдруг стало белым, глаза потускнели, она уронила большой кусок свиного сала, густо посыпанный крупной солью. Мама попросила Тиму принести воды. Тима принес. Мама вынула из кармана завернутый в газетную бумагу кусок черного хлеба, стала есть, отламывая по кусочкам и запивая водой. Утирая тыльной стороной руки пот со лба, она произнесла жалобно:

— Я очень неорганизованная, как сказал бы папа: забыла пообедать, совсем завертелась, — и с трудом проглотила кусок хлеба, вытягивая шею, как птица.

— А ты меня с собой всюду бери, чтобы я про обед напоминал, — посоветовал Тима.

Однажды, как всегда утром, выздоравливающие военнопленные пошли на прогулку. Мама, зябко ежась в своей облезлой шубке, устало шагала по обросшему бугристым грязным льдом тротуару. Вдруг навстречу им, когда они подходили к эсеровскому клубу, появилось человек пятьдесят демонстрантов, идущих по дороге по четыре человека в строю.

Впереди демонстрантов шагал главный среди анархистов — Николай Седой, рядом с ним — монархист Илюмский, а между ними ехал на детских саночках инвалид — прапорщик Хопров; саночки тащила жена Хопрова; поверх шубы у нее был белый фартук сестры милосердия с красным крестом.

Пленные выстроились на тротуаре и стали приветствовать демонстрантов радостными возгласами. Но когда демонстранты подошли ближе, Тима прочел на полотнище, которое они несли на березовых шестах: «Долой позорный мир! Да здравствует священная война! Победа над Германией или смерть!»

Австрийский итальянец Целлини, маленький, седой, морщинистый, сойдя с тротуара на дорогу, сняв с головы

суконную шапочку пирожком и размахивая ею, взволнованно кричал:

— Эвива! Эвива!

Мама, испуганно прижимая к груди старенький, потертый ридикюль, говорила встревоженно:

— Геноссе, шнелль шпацирен, шнелль! — и пыталась увести за собой пленных.

Но они с торжественными лицами, поднося ладони к вискам, стояли, как на параде.

Демонстранты уже прошли мимо, как вдруг из заднего ряда вперевалку вышел грузный, одетый в синюю поддевку зять Золотарева — Сорокопудов. Приблизившись к улыбающемуся Целлини, он взял его растопыренными пальцами за лицо и, раскачивая итальянца из стороны в сторону, спросил:

— Что, немчура, хорошо тебе русский хлеб жрать?

Мама подбежала к Сорокопудову и закричала на него:

— Как вы смеее, отпустите сейчас же!

Сорокопудов ухмыльнулся и ударил Целлини в живот. Мама взмахнула рукой и изо всех сил стегнула ридикюлем Сорокопудова по щеке. Ремешок оборвался; из раскрывшейся сумки, упавшей на снег, вывалились какие-то бумаги, куски черного хлеба и револьвер-«бульдог» с куцым стволом.

Мама присела на корточки, взяла револьвер и стала сгребать им в сумку все, что из нее вывалилось.

Держась за поцарапанную ридикюлем щеку, Сорокопудов шагнул к маме и взмахнул ногой.

Мама, не вставая с корточек, поднесла руку с револьвером почти вплотную к своей переносице и, скосив глаза на кончик короткого ствола, сказала Сорокопудову:

— Не смейте, а то убью, — и, не оборачиваясь к военнопленным, приказала: — Шнелль шпацирен, шнелль!

Потом мама с трудом поднялась и, болезненно морщась, потому что у нее затекли ноги от неудобного сидения на корточках, брезгливо спросила Сорокопудова:

— Так что мне с вами прикажете теперь делать?

— Отпустите, — попросил Сорокопудов.

Мама задумалась, покачала головой и заявила решительно:

— Нет!

Тима посоветовал маме:

— Ты возьми револьвер лучше в правую руку и ничего не бойся: у меня видала что?

И он показал железную свайку, которую он выменял у Кешки на шестнадцать гнезд раскрашенных бабок. Он все время держал свайку в руке, стоя позади мамы.

Мама скосила глаза на свайку, на тяжелую, кованую головку и блестящее, обтертое о землю острие и произнесла сердито:

— Выбрось сейчас же эту гадость! Чтоб я больше никогда ее у тебя не видела!

Сорокопудов, желая подольститься к маме, заступился за Тиму:

— Это же для игры. Конечно, когда на деньги, тогда нехорошо.

— Молчите! Я вас не спрашиваю! — прикрикнула мама и, переложив, как посоветовал Тима, револьвер из левой руки в правую, снова приказала Сорокопудову: — Идите вперед.

Так они и возвращались с прогулки. Впереди шел Сорокопудов, за ним мама, за мамой Тима, а за Тимой, почти в полном молчании, военнопленные. Мама сдала Сорокопудова красногвардейскому патрулю, спрятала револьвер в ридикюль и, подув на озябшие пальцы, пожаловалась:

— Такое холодное железо! У меня все руки заledenели, просто ужас!

Целлини подскочил к маме и, приложив ладонь к груди, произнес восторженно:

— О синьора, синьора!

И стал трещать итальянскими словами, ударяя себя кулаком в грудь.

Мама застенчиво улыбнулась и снова произнесла:

— Шнелль, шнелль шпацирен, шнелль...

А Тима шел рядом с мамой и, сжимая в руке тяжелую железную свайку, думал о том, что хоть мама и ругала его за свайку, но все-таки увидела: Тима не трус. И за то, что он не трус, она простила ему свайку.

Но когда подошли к ресторану «Эдем», мама повернулась к Тиме и произнесла повелительно:

— Ты не выбросил? А ну дай сейчас же!

— Чего дай? — пробовал оттянуть время Тима.

— Ну, эту ужасную штуку.

По сурово сведенным бровям мамы Тима понял: сопротивление бесполезно — и протянул маме свайку.

Мама взяла ее с брезгливой гримасой.

— Какая гадость! — И бросила свайку, смешно, по-женски замахнувшись.

Тима хорошо запомнил то место, где упала свайка, и потому не протестовал.

— Мою свайку выбросила, а сама из «бульдога» стрелять не умешь, так лучше б мне его подарила.

— Только посмей когда-нибудь прикоснуться к моему ридикюлю, — испугалась мама, — я не знаю, что с тобой тогда сделаю!

— К ридикюлю, — иронически сказал Тима. — Настоящие большевики его на поясе в кобуре носят, а ты в ридикюль засунула. Просто смешно даже.

— А мне в ридикюле удобней, — категорически заявила мама. — И вообще я больше на эту тему с тобой не разговариваю.

Когда подымались по темной лестнице ресторана «Эдем», Тима поймал мамину руку, прижался к ней лицом и сказал в ладонь одними губами:

— Мамуся, какая ты у нас с паной храбрая! Знаешь, у меня до сих пор ноги дрожат. Когда ты на земле сидела и в него целилась, у меня даже в животе что-то тряслось, я все боялся, что промахнусь в него свайкой.

Но мама расслышала только, что у Тимы дрожали ноги и тряслось что-то в животе; испуганно потрогав ладонью его лоб, спросила встревоженно:

— А у тебя нет температуры? — потом сказала решительно: — Если ты не будешь обвязывать грудь под поддевкой моим платком, я больше не стану выпускать тебя на улицу. Куда ты девал мой платок?

Не мог же Тима сказать маме, что обвязал ее платком ногу коню! И он проговорил с рассеянным видом:

— Позабыл дома на подоконнике.

— Чтобы я тебя больше не видела без платка! — приказала мама.

— Хорошо, — согласился Тима.

А где он возьмет платок, когда Васька изгрыз его зубами в ключья? «Ничего, мама, наверное, забудет, — успокаивал себя Тима. — Мало у нее дел с революцией, чтобы еще про платок помнить!»

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Среди военнопленных был чех-художник, его звали Ярослав Важек. Горбоносый, с белым, словно выточенным из кости лицом, такой бровастый, что казалось, у него от уха до уха тянется одна сплошная бровь, он плохо говорил

по-русски и, когда мама приходила, начинал так улыбаться, что бровь его заползала, как мохнатая гусеница, на лоб. Он первым приносил маме стул, вытирал сиденье платком и, щелкая каблуками, произносил шепотом:

— Пожалуйста, сидеть.

Он очень здорово рисовал картины углем и даже тайком нарисовал маму. Он изобразил ее вроде богородицы, с печальным лицом, и только на коленях у нее вместо младенца сидел Тима в поддевке и в валенках...

— Вы Мадонна, — объяснил Важек. — Мадонна русской революции.

— Ну что за глупости! — рассердилась мама. Но у нее покраснели не только щеки, а даже ее высокая шея.

— Извините, — огорчился чех. — Я — буду рвать, если вас это обидело.

— Нет, нет, что вы! — испуганно сказала мама.

Чех свернул рисунок в трубку и, протягивая его маме, попросил:

— Возьмите, пожалуйста.

Мама колебалась.

— Мама, — сказал Тима с отчаянием, — ну я же тоже нарисованный.

— Хорошо, я тебе дам тебя, — сказал Важек и хотел оторвать кусок от рисунка.

— Нет, зачем же портить? — нерешительно произнесла мама.

Тима принес домой картину и приколот кнопки над кроватью. Потом с гордостью показал ее папе:

— Гляди, как взаправду. И что валенки чиненые, все есть.

Папа долго разглядывал рисунок. Потом задумчиво пощипал бородку, искоса поглядывая на маму, наконец произнес сухо:

— Странная фантазия. Кстати, ты здесь выглядишь значительно моложе.

— Ты думаешь? — обидчиво сказала мама.

— И глаза, глаза, я бы сказал, комплиментарно сделаны. Он тебе итальянский разрез придумал.

— Ничего он мне не придумал! — Мама подошла к зеркалу, внимательно посмотревшись, заявила вызывающе: — Просто ты, Петр, привык не замечать во мне интересную женщину.

— Зато он заметил. И долго ты ему, так сказать, позировала?

— Петр, как ты смеешь!

— Но позволь, это вполне допустимый термин для натуры, которую изображает художник.

— Нет, ты не это хотел сказать! — горячо воскликнула мама. — И вообще, если тебе неприятен рисунок, я могу его спрятать.

— Я в живописи не настолько разбираюсь, чтобы судить компетентно, — сказал папа и, пожав плечами, произнес скучным голосом: — Если тебе нравится, пусть висит. — Но не сдержался и съязвил: — Хотя, может быть, достойное место для этой картины — косначевская галерея.

— Если ты будешь издеваться, я разорву ее.

— Прости, я не хотел тебя обидеть. Но рисунок...

— Я больше не хочу с тобой на эту тему разговаривать, — решительно заявила мама.

Папа молчал и только вздыхал тоскливо и протяжно, изредка виновато поглядывая то на картину, то на маму.

А через несколько дней ночью прибежал военнопленный немец и что-то быстро и взволнованно сказал маме на своем языке. Мама поняла не все, но быстро оделась и побежала с немцем в «Эдем». Тима бросился вслед за ними.

На койке лежал Важек, весь обмотанный окровавленными полотенцами. Его длинные сухие пальцы все время шевелились, будто он собирал с одеяла рассыпанную крупу. Открыв выпуклые, блекло-голубые глаза, он долго смотрел на склоненное мамино лицо, пытался сказать что-то, но у него только хрипело и хлюпало в груди.

Черный, как цыган, врач, мадьяр Рених, сказал маме шепотом:

— Плехо! Дыри живот, дыри грудь, — протянул маме часы и, показав пальцем на циферблат, произнес печально: — До этого, потом капут.

— Боже мой, но как это случилось?

Рених показал пальцем на Важека и сказал:

— Болшевик. Горячий. Ему другой, не болшевик, сказали: надо домой. Русска революция черт дери! Важек, как его это по-русски скажет, когда солдат с войны бежит? Во! Дезертир. Тот в него стрелял два раза, потом еще один раз стрелял. Митинг уже нет. Кто болшевик, тот остался з вами. Тот, кто его убил, мы его уже убил.

Мама опустила руку на табуретку рядом с койкой и положила свою руку на руку Важека. Потом вытерла кровавую пену с его губ.

Важек снова открыл глаза, и они как-то по-особому ожили, засветились, хотя все лицо его было уже почти мертвым и щеки глубоко запали.

— Мальчик, пойдем,— сказал тихо Рених, уводя Тиму.— Я тебе один красивый вещь покажу.

Рених посадил Тиму за стол пить чай, а потом принес сделанные из хлебного мякиша и раскрашенные разными красками маленькие человеческие фигурки в странной нерусской одежде и сказал:

— Ярослав Важек делал это тебе. Тут люди наших стран. Но не солдат, а так, люди. Вот это наша одежда такая. Ничего, красивая. Будет большой революция. И здесь, и там, и еще там. Посмотришь тогда, правильно лепил Важек наших человечков,— и произнес печально: — Он дома тюрьма много сидел за политик. Он большой талант: захотел бы, много денег было. Его картины много стоят. Смотри подарок, я сейчас приду.

Вернувшись, он сказал Тиме глухо:

— Ступай, скажи Важеку прощай, он уже неживой.

...Прошло много дней с тех пор, как умер Важек, а мама, встречаясь с отцом, почти с ним не разговаривала. Тима, видя, как мучает папу это молчание, притворно озабоченно говорил:

— Мама, погляди, какие у папы позади волосы, как у попа. Ты бы хоть подстригла.

Мама еще в ссылке научилась стричь папу. И папе очень нравилось, когда она его стригла. Усевшись на табуретку, обернув шею полотенцем, он снимал очки и, счастливо зажмурившись, отгибая пальцами уши, просил:

— Только ты, Варенька, не очень фантазируй.

Действительно, мама как-то выстригла у папы бородку так, что от нее остался под нижней губой только узкий куцый хвостик.

— Варюша,— встревоженно воскликнул папа,— ты, кажется, слишком увлеклась! — и недоуменно произнес: — Что-то такое странное осталось.

— Ничего,— успокаивающе заявила мама,— такую бородку я видела у Генриха Наваррского на портрете,— и тут же на всякий случай перешла в нападение: — И вообще не устраивай мне сцен. Отрастет, и можешь потом носить хотя бы лопатой.

А сейчас мама ответила равнодушно:

— Ничего. Зато не простудится.

Папа посмотрел в окно, где на голых ветвях березы сидела похожая на головешку ворона, и сказал со вздохом:

— Массовые перелеты ворон обычно вызывают эпизоотию скота. Питаясь падалью, вороны являются разносчиками бацилл.

Ярослава Важека похоронили на площади Свободы. Сотни людей со знаменами пришли проводить его в последний путь. На могиле Важека представители военнопленных принесли торжественную клятву быть верными делу пролетарского интернационала.

А спустя несколько дней в Совет явился Герман Гольц и заявил, что военнопленные приняли решение восстановить в память погибшего товарища разрушенное здание на Магистратской улице. В 1905 году это здание сожгли черносотенцы.

Городская управа неоднократно пыталась приобрести у доктора Неболюбова земельный участок, где высились развалины дома Общества. Но доктор каждый раз отвечал отказом: «Пусть эти позорные руины напоминают людям о чудовищном злодеянии». Так развалины и возвышались горьким памятником посредине города.

Здание это построило в девятьсот третьем году на собранные у народа средства Общество содействия физическому развитию.

Общество возглавлял доктор Неболюбов, энциклопедист, просветитель, патриот Сибири, объединивший вокруг себя большую группу либеральной интеллигенции.

Неболюбов утверждал:

— Сибирь по своим природным богатствам несравненно превосходит Америку. Климатическая суровость ее баснословно преувеличена. Судьба будущего экономического развития России будет решаться здесь. Но для того, чтобы избежать варварских хищений при эксплуатации богатств Сибири, мы должны содействовать ее культурному развитию. Граждане Томска на народные деньги построили университет и тем самым превратили свой город в северные Афины. Мы должны следовать их примеру и создавать очаги просвещения, которые будут призваны разрушать ложное представление о Сибири как о крае одичания.

Официально Дом общества содействия физическому развитию предназначался для обучения гимназистов и гимназисток сокольской гимнастике, а любителей — классической борьбе.

На самом деле программа Общества была значительно шире, особенно после того, как в него вошла революционно настроенная молодежь.

Деньги на постройку дома собирали путем добровольных пожертвований. Не только горожане, а и старатели, шахтеры, крестьяне, рыбаки, лесорубы, плотовщики вносили свою посильную лепту.

Неболюбов сделал эскизы будущего здания, он изобразил юношей и девушек в греческих туниках. Нарисовал Самсона, но раздирающего пасть не льву, а медведю, и Антея, держащего на своих бугристых, мускулистых плечах земной шар.

Эти картины сборщики возили по рудникам, шахтам, деревням. Особенное впечатление на всех производил Антей.

— Это правильно, — говорили люди. — На своем горбу всю тяготу выносим.

Горожане очень гордились своим Домом физического воспитания, и, хотя социал-демократические круги пользовались им для собраний, лекций и курсов, градоначальник не решался закрыть его.

В девятьсот пятом году, когда там заседал Совет народных депутатов, дом окружили переодетые жандармы, полицейские, лабазники, ассенизаторы и всякий сброд с толкучки и под охраной солдат приступили к погрому. В зажатом со всех концов здании погибло восемь членов Совета. Доктору Неболюбову, прибежавшему на место пожара, погромщики перебили обрезком водопроводной трубы ногу.

По поручению ревкома Петр Григорьевич Сапожков должен был посетить Неболюбова, и Тима увязался за ним. Опираясь на палку с резиновым накопечником, Неболюбов провел папу и Тиму к себе в кабинет, где до потолка стояли на полках книги, а все стены были увешаны картинами. Усевшись на низкую табуретку, вытянув перед собой негнущуюся ногу, Неболюбов спросил:

— Ну как, молодой человек, дела с вашей революцией?

Тима, считая, что молодой человек — это он, а вовсе не папа, ответил вежливо:

— Спасибо, ничего получается. Мне даже коня выдали. Я его Васькой назвал.

Неболюбов высоко поднял брови и, обращаясь к папе, иронически заметил:

— Значит, ваш сынок тоже революцией занимается?

Папа почтительно кашлянул и, будто не слыша этих слов, стал пространно излагать идею восстановления дома.

Не слушая папу, а только наблюдая за Неболюбовым, Тима видел, как поразительно менялся этот человек, встретивший их так неприязненно. Он пришел в страшное волнение, метался по комнате, хватал какие-то папки с бумагами, рылся в них дрожащими руками, бросался к папе, спрашивая жалостно:

— Неужели это правда? Боже мой, из какой бездны уныния вы меня спасли! Ведь этот дом был целью всей моей жизни.

Доктор никак не мог попасть в рукава шубы, и папа бережно засунул туда его руки, а Тима подставил под негнущиеся ноги большие, глубокие галоши на красной суконной подкладке.

Доктор шел по улице, опираясь одной рукой о палку, другой о плечо Тимы, и все время взволнованно спрашивал папу:

— Нет, это просто фантастично, что ваш ревком вспомнил обо мне! Вы, большевики, вспомнили обо мне, старом идеалисте? Нет, это просто фантастика!

Воспользовавшись тем, что Неболюбов опирался на него, как на вторую палку, Тима беспрепятственно прошел вместе с папой и доктором в здание Совета.

Заседание уже началось.

Во главе стола, в президиуме сидел Рыжиков и, как всегда, что-то записывал в свою разбухшую книжку в облупленном клеенчатом переплете.

Тима думал, что в Совете говорят торжественными словами, как на митинге. Но оказалось совсем не так.

Рыжиков, поднеся к глазам бумажку, провозгласил:

— Вопрос семнадцатый. О закрытии эсеров-анархистского клуба на Почтовой в связи с его явной контрреволюционной деятельностью и вопрос о передаче помещения для нужд просвещения. Докладывает товарищ Капелюхин.

Капелюхин встал и произнес гулко и коротко:

— Разогнали. Имущество конфисковали, опись составлена.

— Соппротивление было? — спросил кто-то из зала.

— Маленько стреляли, — полуобернувшись, сказал Капелюхин.

— Кто стрелял?

— Они!

— А вы что же, ладошки перед ними сложили?

— Поскольку выстрелы были произведены от нервного состояния и никто поврежден не был, ограничились поголовным изъятием пистолетов и прочего. А там дальше посмотрим.

— Вопросы еще есть? — спросил Рыжиков и, выждав, объявил: — О предоставлении жилья трудящимся за счет контрреволюционеров и саботажников. Докладывает Марфа Евдокимова.

Встала большая, грузная седая женщина с лиловыми, толстыми щеками и затараторила:

— Прошла лично по всему ревтрибунальскому списку квартир и помещений. Согласно постановления, в первый черед перевезла семьи, отцы которых погибли за дело революции. Люди хоть и довольны, но жить в хороших квартирах стесняются, и многие, когда я ушла, назад подались. Прошу выделить мне красногвардейцев, чтобы я могла спокойно производить вселение далее.

— Сопротивляется, значит, буржуазия? — спросил кто-то из зала.

Евдокимова поправила платок и сердито ответила:

— Не буржуазия сопротивляется, — и добавила грозно: — Со мной не очень посопротивляешься! Я им за мужа и сына расстрелянных все помню. Наши сопротивляются!

— Кому?

— А всем — и мне и Советской власти, — не желают въезжать в отобранные помещения. Так я прошу: дайте солдат, пусть они их покараулят, пока привыкнут.

— Тихо, товарищи, — попросил Рыжиков и, обращаясь к Евдокимовой, спросил: — Вы подумали, почему люди колеблются в новые квартиры переезжать?

— Так ведь сказала: сомневаются! — раздраженно заявила Евдокимова. — Совестно чужим для себя пользоваться.

— А может, дело в другом? Может быть, кто-нибудь их пугает, говорит: Советская власть, мол, не очень долго продержится? Вот они и боятся. Не может такого быть, а?

— Так разве всей контре на языки наступишь? Болтают, конечно, — согласилась Евдокимова.

— Вот что, товарищи, — сказал Рыжиков, — надо нам довести до всеобщего сведения, что вселение производится строго по закону, — и только в квартиры контрреволюционеров, саботажников и буржуазии, которая уклонилась от уплаты контрибуции. Что касается остальных, кто имеет излишние помещения, то те могут потесниться только по постановлению общего собрания жильцов, которое должно быть утверждено уличным комитетом. Есть возражения, дополнения? Ставлю на голосование. Идем дальше! О конфискации музыкальных инструментов и выделении средств для поддержания народных талантов — докладывает Косначев.

Косначев говорил долго, красиво и взволнованно. Но из всей его речи Тима понял одно: в городе есть люди, которые

держат у себя в доме пианино и рояли только как мебель, а сами играть не умеют; у таких пианино и рояли надо забрать и передать тем, кто хочет учиться музыке. А если будут плохо учиться, отбирать и передавать следующим. Что же касается народных талантов, то Косначев перечислил их такое количество, что кто-то с места крикнул:

— Это что же, целый полк талантов у тебя, Косначев, получился?

Но Косначев не растерялся, быстро ответил:

— Революции нужна армия талантов, и она у нее будет.

За такой ловкий ответ Косначеву даже похлопали в ладоши.

Потом Косначев сказал, что революция — это равенство и нужно воспитывать юное поколение в сознании этого равенства; что якобы мальчики, учась отдельно от девочек, когда они становятся мужьями и отцами, не видят в своих женах товарищей по труду и борьбе. Поэтому нужно сделать не одну, а все школы общими для девочек и мальчиков.

Во время голосования Тима тоже поднял руку. Но человек, считавший голоса, не нацелился на него пальцем. Тима крикнул:

— А меня чего не считаете, я же тоже за это!

Все стали смеяться. Но Рыжиков постучал по столу ладонью и объявил:

— Вопрос о восстановлении бывшего Дома физического развития. Товарищ Сапожкова!

К столу президиума вышла мама и стала взволнованно по бумажке читать совсем неинтересное: она перечисляла пуды извести, сажени бревен, листы железа и аршины стекла. Ее выступление было самое скучное. Не могла каких-нибудь слов, пусть вроде косначевских, придумать про революцию или про человечество. Но ей почему-то тоже хлопали. А доктор Неболюбов приковывал к маме и, хотя она страшно смутилась и покраснела, поцеловал ей руку, а потом стал пожимать руки всем, кто сидел в президиуме, и, повернувшись к залу, кланялся.

— Вы сами не понимаете, товарищи, все великое значение вашего решения, — торжественно заявил Неболюбов.

И кто-то сказал:

— Отчего не понимать? Если бы не понимали, так не решили бы единогласно.

Коноплев и Редькин поручили Тиме созвать жильцов на собрание, о котором с доверительной тревогой сказали, что это — очень важное дело, вроде установления Советской власти во всем дворе. И тут нужно действовать с умом, потому что не всем Советская власть друг, а есть люди, которым она вроде как враг. И со стороны этих «личностей» возможны всякие пакости. Коноплев предупредил:

— Самый ловкий говорун из всех — Залесский. Из господских партий они все говоруны. Положи перед таким таракана живого, он и его до смерти заговорит. У них в клубе эсеров круглые сутки двухведерный самовар кипит, не зря они там все чай пьют, тоже к своему маневру готовятся.

— Баню-то он уберет Пичугину от конфискации, — рассуждал Редькин. — В декрете будто бы сказано: ежели промышленник презирает рабочий контроль, тогда забирай у него предприятие, а если согласен на контроль, тогда, значит, не трогай. Вот и собрал Пичугин из банщиков рабочий совет. А банщик, он кто? Разве рабочий человек буржуйам сало мыть станет? Ни одного истопника в этот свой совет не пустил, а истопник, он вроде паровозного кочегара, самый что ни на есть чистый рабочий класс.

На большом белом листе ватманской бумаги Тима пером «рондо» написал объявление об общем собрании жильцов.

Редькин обил лист рамкой из сапожных гвоздей, сказал озабоченно:

— Чтобы какой контрик содрать не вздумал.

Отступив на шаг, он долго и придирчиво осматривал объявление, потом сказал Тиме:

— Ты бы сверху эмблемку изобразил.

— Что именно? — спросил Тима.

— Серп и молот! Чего ж тут спрашивать! Надо сразу всем понятие дать: дело государственное, а не просто дворовый митинг какой-нибудь.

То, что назначение революции — делать добро людям и все люди, которые раньше жили плохо, очень обрадовались революции, а те, кто хорошо жил, недовольны ею, — это Тиме было ясно. И если бы он такие мысли высказал вслух, папа сказал бы снисходительно: «Это же аксиома». А мама пожала бы плечами и произнесла с негодованием: «Неужели ты только сейчас это понял?» Но вся штука в том, что делать добро людям даже при революции очень не просто.

Коноплев и Редькин решили вселить в квартиру Асмоловых семейство Полосухиных. Разглаживая маленькими ловкими пальцами свои черные, как бычьи рога, усы, Коноплев говорил:

— По декрету, дома, которые сдавались в аренду, конфискуют. А то, что буржуйам будут давать по одной комнате, — это пока желанный слух. Но! — Он поднял перед лицом указательный палец и произнес значительно: — Домовый комитет, избранный волей народа, может в порядке диктатуры пролетариата потеснить излишне имущих ради тех, кто хуже скотины обитает. Но надо без анархизма, с умом, чтобы большинством голосов, а не как-нибудь, а то лишних врагов Советской власти накидаем.

— Ты у нас во дворе учредилку не разводи! — кипятился Редькин. — Как чужую свадьбу разгонять, так ты с винтовкой, а тут парламент хочешь устраивать! Перетащим мебель в одну комнату, и весь разговор.

— А я говорю, такого не будет! — гудел Коноплев сердито. — Нужно сначала власть в доме установить, а она решит, как и что.

— Что ж, по-твоему, на них власти Советской нет?

— Она-то есть, но она не через каждого, кто поретивей, а кого выберут, через того действует.

— А если Залесский в домовый комитет заскочит, тогда что?

— Тогда, выходит, мы с тобой плохо с людьми говорим, значит, нам обоим цена — копейка.

— Что же, каждому жильцу в ножки кланяться: мол, поддержите, ради господ!

— Ты без шутовства давай, умом их пройми. Вот фельдшер Сапожков как меня выпрямлял: я к нему будто за мазью для ращения волос зашел, разговорились, кто сейчас над нами главный. Он так объяснил: Советскую власть не большевики выдумали. Сначала в Парижской коммуне, а потом в девятьсот пятом форму народной власти сам народ придумал. А мы, говорит, большевики, только возглавили борьбу за то, чтобы эта власть Советов пришла к власти. Вот теперь перед нами всеми задача: с помощью этой власти научить народ управлять государством.

— Ну, это все по верхушкам, а вот домовый комитет — такого же никогда не было!

— Всего никогда не было, а потом стало.

— Выходит, надо собрать всех и объявить: так, мол, и так. А ежели не желаете подчиниться, то мы вам, сукиным сынам...

— Так не пойдет, вроде за горло брать. Надо убедительно. Мол, домком — это тоже не чего-нибудь такое, а вроде Советской власти на дому и в нее должны войти в первый черед те, которые более достойны. Когда люди с такой высоты на собрание глядеть будут, не сробеют.

Коноплев попросил Тиму оповестить о собрании жильцов из флигелей и, если по ходу дела возникнет разговор, пояснить, что домовый комитет — это не только помойку сообща чистить, а кое-что поважнее, и снова повторил:

— Вроде как Советская власть, но в самом доме. Понятно?

В квартире № 1 жил официант ресторана «Эдем» Чишихин; вертлявый, слабогрудый, с разделенной до затылка на прямой пробор чернявой узкой головой, он очень не нравился Тиме.

— Вы, вьюноша, — наставительно говорил Чишихин, — от простонародья должны подальше держаться: ничему хорошему не научат. Хотя в нашем городе настоящих образованных людей раз, два — и обчелся. Здешний барин скажет: подай антрекот — а я ему филей бараний. Сожрет и не заметит. Один Сорокопудов понимающий, и тот только на словах. «Подай бульон с кислой капустой» — это, значит, щи. Или: картофель «фри». Вот и вся образованность. «Фри» — вместо «жареный». Кричат: «Человек!» — а сами за человека не считают. А ведь я когда-то на пассажирском пароходе свой буфет содержал. Значит, настоящим человеком числился.

Когда Чишихин приходил домой из ресторана, он разувался и держал опухшие, оплетенные толстыми синими венами ноги в шайке с холодной водой.

— За день верст сорок набегашь. И на руках пальцы болят. Клиент любит, чтобы ему поднос на пальцах в растопырку и чтобы к самому столу на рысях подходил. А где ж ее, прыть-то, для вежливости брать? Старый уже стал.

Все свои доходы Чишихин тратил на единственную дочь. Это была низкорослая горбунья с удивительно красивым лицом, испорченным выражением презрительного, брезгливого отвращения и затаенной злобы. Одевалась она пестро, ярко, носила банты на золотистых вьющихся локонах. Поступив учиться в уездную женскую прогимназию, скрывала, что отец ее — половой, холуй, «человек». Но очень скоро гимназистки узнали это и обличили ее с изощренной жестокостью. Ходили слухи, что она травилась, проглотив обломанные острия тонких швейных иго-

лок. Во всяком случае, знаменитый в городе хирург Андросов любил иногда прихвастнуть:

— Приволокли ко мне однажды, знаете ли, малютку с ангельским ликом, и, доложу вам, случай, достойный медицинского журнала. Три часа, как мясник и ювелир, работал и, представьте, спас.

Она деспотически повелевала отцом, и Чишихин трепетал перед дочерью. ради нее готовый на все.

Когда Тима пришел к Чишихину, вежливо поздоровался и сказал: «Порфирий Васильевич, вас просят в субботу в шесть часов на общее собрание жильцов», — Чишихин ехидно осведомился:

— Кто просит? Если Советская власть, то она мне уже могилу вырыла. Закрыли рестораны-то. А нас всех за порог, под метелку. Разве что в казарме солдатам щи в котелках подавать.

Разглаживая перед зеркалом послонявленным пальцем брови и оглядываясь на Тиму через плечо, Чишихина угрожающе произнесла:

— Вы своим родителям, мальчик, так и передайте: голодать не намерена. А вот возьму и повешусь и в предсмертной записке укажу: большевики довели.

— Понятно, вьюноша? — спросил Чишихин. — Так что тяните дверь на себя.

Удрученный Тима пришел к Коноплеву и рассказал о первой своей неудаче.

Коноплев мрачно крутил кончики усов, сопел, задумчиво морщил лоб, потом произнес неопределенно:

— При барах он жил, а без бар, выходит, нет жизни? Такая механика. Ну, ничего, обходи флигель дальше.

Во второй квартире проживали акушерка Устинова и ее две сестры, уже немолодые женщины, вечно учившиеся на каких-то курсах. Устинова, толстая, круглая, с седоватыми усиками и добрым шишковатым носом, с полуслова поняв Тиму, загорячилась.

— Девочки, — сказала она сестрам, — гражданин Сапожков, — это она так уважительно назвала Тиму, — приглашает нас всех на общее собрание жильцов. Давно пора.

— Мы поставим ряд гигиенических требований.

— Ах, как было бы хорошо устроить на заднем дворе заливной каток! — воскликнула младшая сорокалетняя сестра. — Днем будут кататься дети, а вечером, при луне,

взрослые. Это создаст атмосферу общения между всеми жильцами, а то мы живем так разобщенно!

— Не фантазируй, Софа! — строго сказала акушерка. — У Полосухина ребенок живет в корыте, а ты каток! Можете сказать там, кому, я не знаю, — решительно заявила Устинова, — что все три сестры...

— Как у Чехова! — рассмеялась младшая.

— Не дури, Софья. Словом, мы придем все...

— И благодарим за приглашение, — басом сказала средняя сестра.

Воодушевленный успехом, Тима постучался в квартиру № 3.

Дверь ему открыл Иван Мефодьевич Воскресенский, учитель гимназии, летом работающий кассиром на пассажирской пристани.

— Тссс... — сказал он испуганно и, озираясь на дверь, добавил шепотом: — Леночка только что уснула.

Ступая в одних носках, и то на цыпочках, он провел Тиму в кладовую, где оборудовал себе кабинет для занятий. Сняв с табуретки банку с клейстером (он подрабатывал еще переплетным делом), проверил сиденье ладонью, потом сказал нерешительно:

— Кажется, чисто. Садись. — И осведомился: — Что скажешь? — Выслушав, произнес задумчиво: — Истинное народовластие должно обнимать все стороны общественной жизни и побуждать к ней человека. Еще в первобытном обществе человек осознавал себя частью целого. Но потом... — Иван Мефодьевич вдруг смолк, прислушался, спросил испуганно: — Тебе не показалось, что Леночка проснулась? Ну-ка, помолчим минутку, — приложил ладони к ушам, замер с вытянутым, напряженным лицом, потом проговорил с облегчением: — Нет, ослышался. Итак, о чем мы? Да, да. Прибуду всенепременно, — и, подняв руку, делая вращательное движение, сказал: — А знаете? В этом есть что-то такое даже значительное — домовый комитет! — склонил голову, вслушиваясь в слова, и повторил: — Домовый комитет! — Оживился, спросил радостным голосом: — Послушайте! А ведь нечто подобное было при Парижской коммуне? Не помните? Жаль. Помоему, большевики кое-что у французов позаимствовали. И правильно. Революция не может быть ограничена никакими национальными рамками. И я думаю, Ленин, — говорят, весьма и весьма образованная личность, — не мог пренебречь опытом французской революции. Интересно, каково мнение вашего отца на этот счет? Хотя он, очевидно,

партийный фанатик и мыслит только в пределах весьма ограниченных. — Тут Воскресенский доверительно сообщил: — Я, знаете, к большевикам, в общем, отношусь с симпатией. Правда, они несколько прямолинейны и грубы, но легко найти оправдание и этому недостатку. Если это можно назвать недостатком.

За стеной раздался слабый шорох. Воскресенский вздрогнул, как-то весь сжался, потом на согнутых ногах подошел к двери, осторожно приоткрыл ее, высунул в коридор голову. И так стоял в своей конуре, словно обезглавленный. Вынув наконец голову из щели, прикрыл дверь, прошептал тревожно и неуверенно:

— Нет, кажется, спит.

— Значит, вы придете? — спросил Тима.

— Всенепременно, — подтвердил Воскресенский. Потом добавил: — Естественно, только в том случае, если Леночка будет себя лучше чувствовать. Иначе ни-ни, даже если землетрясение.

Леночка, или, точнее, Елена Ивановна, жена Воскресенского, страдала тяжелой душевной болезнью. Отчего она заболела, знал весь город. Во время бала, устроенного городской управой в Общественном собрании, Сорокопудов, томясь скукой, предложил Воскресенскому сыграть с ним в «солдатики». «Солдатиками» назывались рюмки водки, которые обязан был выпить проигравший. Сорокопудов был попечителем гимназии, и Воскресенский не смел отказаться. Потом стали играть на пуговицы. Пуговицы проигравшие отрезали от своих костюмов. Золотареву, наблюдавшему за игрой, захотелось позабавиться. Отыскав Елену Ивановну, он сказал с отчаяньем в голосе:

— Елена Ивановна, беда! Ваш-то в картишки всю выручку паровой кассы спустил. И уже на мелок пятьсот записал. Спасайте супруга-то, а то ведь его старшины из клуба за банкротство публично под руки выведут!

Побледнев, Елена Ивановна стала метаться по залам Общественного собрания и, униженно моля, собирала у всех знакомых деньги. Потом на извозчике помчалась домой, разыскала серебряные и позолоченные вещички и, сложив это в платок, кинулась снова в Общественное собрание.

Ворвавшись в комнату, где шла карточная игра, она бросила узелок на ломберный стол, развязала дрожащими пальцами, высыпала собранные по рублям и гривенникам деньги и сказала странным спокойным голосом:

— Господин Сорокопудов, извольте получить проиг-

ранное. Я не позволю Ивану Мефодьевичу подвергать свою честь опасности.

И вдруг в зале раздался дикий, зверский хохот.

Сорокопудов, сохраняя вежливость перед дамой, встал, придерживая брюки руками. И то же самое сделал Воскресенский. А Золотарев, раскачиваясь, вопил, показывая толстым пальцем на горку пуговиц:

— Елена Ивановна, голубушка, они же друг перед другом в самом что ни на есть главном для чести туалета пожертвовали! Им же теперь обоим, чтобы сраму не было, надоть веревками обвязаться и таким манером шагать. А то они с себя портки бубликами на пол обронят. Вот это сыграли, как говорится, по-гусарски! Почище, чем на «солдати-ков».

С тех пор Воскресенский много лет покорно сносил издевательства гимназистов и даже привык, приходя в класс, видеть на столе кучку пуговиц.

А вот Елена Ивановна осунулась, притихла, перестала выходить из дому, и по лицу у нее все время блуждала виноватая, заискивающая улыбка. Наверное, она улыбалась так, когда бегала по залу Общественного собрания и жалким шепотом молила знакомых одолжить деньги. Она стала страдать бессонницей, и когда бы Иван Мефодьевич ни входил в спальню, он видел глаза жены открытыми. Она упорно смотрела в какую-то точку, словно стараясь что-то понять.

Когда мама Тимы просила мужа достать для Воскресенской снотворного, Петр Григорьевич приходил в ярость, и его обычно мягкое лицо обретало жесткое, мстительное выражение.

— Я знаю только одно средство исцелить Воскресенскую, — говорил он, — приволочь к ним за шиворот Золотарева, поставить его на колени и набить морду так, чтобы она потеряла сходство со свиным рылом.

Оставалось последнее и самое трудное посещение: четвертой квартиры флигеля. Здесь жил прапорщик Хопров, георгиевский кавалер всех степеней. Его портреты печатались во многих газетах и журналах России. У него были ампутированы обе ноги и по локоть руки.

У Хопрова красивое сухое лицо, тонкий нос с горбинкой, узкие губы и широкий, чуть раздвоенный подбородок. В госпитале, где он лежал около года, в него влюбилась пожилая дама — патронесса. Свадьба состоялась в Москве,

в храме Христа Спасителя. Шаферами были два генерала, которые толкали коляску с женихом вокруг аналая, а обручальное кольцо надели ему на шею на голубой ленте.

При Керенском Хопрова возили по фронту, и он, обрубок человека в отлично сшитом френче, звеня Георгиевскими крестами, после того как его поднимали вместе с коляской на трибуну, призывал солдат к войне до победного конца, требуя стрелять большевиков и дезертиров, как собак.

Этот ужасающий остаток человека яростно призывал воевать, словно одержимый мстительным желанием, чтобы как можно больше людей уподобилось ему. Когда Хопров выступал с речами в госпиталях и его возили потом вдоль рядов коек, на которых лежали искалеченные люди, он с жадным любопытством разглядывал их, но всегда в глазах его читалось презрение к ним. Закончив объезд, он заявлял с превосходством:

— Такие, как я, — редкость. Еще ни разу не видел, чтобы были потеряны все конечности, — и снисходительно откровенничал: — Правда, попадались, но так, чурки, вместе с копытами патриотизм потеряли.

Хопров выглядел всегда франтовато: до глянца выбрит, волосы слегка завиты и аккуратно подстрижены, брови подбриты, губы чуть подкрашены. Он носил портупею из светлой кожи, в кобуре наган с витым ремешком на ручке. На грудном ремне в кожаном кармашке свисток. Шашка в серебряных ножнах с алым темляком была привязана поперек ручек его коляски.

Он наловчился избивать самоотверженную супругу своими культиками. Наклоняя голову, он губами доставал свисток из кожаного карманчика в портупее и приучил ее по сигналам свистка выполнять то, в чем нуждался.

Он удрал сюда, в сибирский захолустный городок, от революции, но революция настигла его и здесь.

Увешанный Георгиевскими крестами, с золотыми погонами на плечах, он ездил в коляске по главной улице города и поносил красногвардейцев бранными словами. Но разве у кого могла подняться рука на этот остаток человека?

Хопров, лежа на подушках, сказал Тиме с ядовитой улыбкой, после того как Тима, поздоровавшись, машинально протянул руку:

— Ты, молодой человек, вместо моей руки можешь пожать ручку у двери с обратной стороны. Я ведь не люблю

посетителей, а илевком попадаю в трехкопечную монету на расстоянии двух аршин, как раз туда, где ты сейчас стоишь. Если сомневаешься, можешь убедиться.

— Сергей,— сказала супруга Хопрова,— не нужно нервничать, это приличный мальчик.

— Чего надо?

Тима для безопасности несколько отступил назад и сказал как можно беспечнее и вежливее:

— Вы не могли бы посетить собрание жильцов нашего дома? Вас все очень просят.

— Пусть все придут и попросят! — хрипло расхохотался Хопров.

Хопров наклонил голову, вытянул шею, достал зубами свисток и два раза коротко свистнул.

— Мальчик,— жеманно сказала Хопрова,— Сергея Антоновича беспокоит кишечник.

Тима, как воспитанный человек, смущенно поклонился и раскрыл дверь.

— Нет, стой! — закричал Хопров.— Пришел, так присутствуй.

— Мальчик,— сказала Хопрова,— Сергей Антонович нервничает. Покинь нас.

И Тима действительно вовремя успел закрыть за собой дверь. Хопров умел плевать и на большую, чем два аршина, дистанцию.

Когда потрясенный Тима рассказал Редькину о посещении Хопрова, тот сказал:

— Да на черта он нам нужен! Позвали — правильно. Раз собрание общее, надоть всех чистых и нечистых собирать. — Потом задумчиво произнес: — А насчет Чишихина Коноплев обещался сладить. Конечно, человек он революцией обиженный; нынче не такое время, чтобы буржуям блюда подавать. А вот дочку его мы пристроим; она же в гимназии четыре класса окончила, грамотная; приставим ее кассу держать в домовом комитете. Нынче не Пичугину за жилье платить, а в исполком, вот и пушай собирает с жильцов. Она девка злая, требует. — Сурово сообщил: — Залесский и Финогенов тоже по жильцам забегали, как про собрание прослышали, — свою политику гонят. А как же иначе-то? Дело насквозь политическое; хоть домовый, а тоже комитет называется; чего постаноят, то для всех и будет. Жизнь-то человека с дома идет, а уж потом другое всякое.

Павел Ильич Ляликов, тучный, сытый, томный, с сочными карими глазами, рассуждал:

— Всем философическим мудростям я предпочитаю сейчас одну — житейскую.

Когда-то он был тощим совестливым санитарным врачом городской управы.

Во время эпидемии сибирской язвы пытался накладывать карантин на бойни, на кожевенные фабрики Кобриных, хотел даже запретить гонять через город гурты, требовал, чтобы посыпали известью базарную площадь там, где торговали скотом, и посмел огласить ошеломляющие цифры смертности в уезде. Заявил, что в свином корме количество калорий значительно больше, чем в пище, которой питаются шахтеры на пичугинских рудниках. Обвинил во лжи «Медицинский ежегодник», напечатавший статистические данные о снижении заболеваний в уезде, и доказал, что уменьшилась не заболеваемость, а количество людей, обращающихся за медицинской помощью.

Но после того, как его вызвали для беседы в жандармское управление, Ляликов сразу притих, подал в отставку, еще более отощал, обносился, залез в долги и вдруг с отчаянной решительностью женился на дочери акцизного инспектора Грохотова.

Бойко занялся частной медицинской практикой, беззастенчиво брался лечить любую болезнь, стал толстым, степенным, благоразумным.

Сапожков говорил о нем с безгливостью:

— Врач-бакалейщик.

Встречая иногда Сапожкова, Ляликов восклицал:

— А-а, коллега! — жал руку, искательно заглядывал в глаза, спрашивал: — Все пытаетесь путем воздействия на сознание изменить бытие человечества? — игриво толкал пальцем в живот, сочувственно произносил: — Не обнаруживаю жировой прокладки. Пытаетесь вы, мой друг, неважно, — и изрекал: — Все мудрствования от несытости человеческой.

Ляликов занимал половину флигеля. На двери, обитой кошмой, а сверху клеенкой, привинчена давно не чищенная медная доска с глубоко врезанными буквами: «Доктор П. И. Ляликов. Прием с 9 до 3-х. Вечером с 5 до 9-ти». Ниже мелкими жуликоватыми буквами: «По всем болезням».

Посещение Ляликова Тима оставил напоследок.

Он пришел к Ляликову в четыре часа. Ляликов, что-то дожидывая, провел его в кабинет и, усаживаясь в кресло с очень высокой прямой спинкой, осведомился:

— Чем обязан?

Выслушав, погрузился в задумчивое молчание, толстыми, короткими пальцами забарабанил по резным ручкам кресла.

Тима с любопытством разглядывал медицинское капище Ляликова.

На огромном, таком же черном, как кресло, столе, рядом с малахитовым чернильным прибором, похожим на кладбищенский памятник, — человеческий череп, в нижней челюсти которого недоставало двух передних зубов; по бокам чернильного прибора — стеклянные банки с формалином: в одной — скорчившийся, дряблый белый зародыш человека, в другой — пара тугих синих почек. Под стеклянным колпаком, какими накрывают сыр в лавке, — блистающие медью аптекарские весы. Рядом с креслом, на котором сидел Ляликов, расположился долговязый скелет. В шкафу на эмалированных подносах сверкал никелем медицинский инструментарий. В углу на покрашенных белой краской четырех табуретках стояла какая-то странная машина.

Тима спросил, показывая рукой на машину:

— А это что такое? Чего она лечит?

Ляликов повел выпуклыми глазами, произнес рассеянно:

— А черт ее знает, купил на торгах по случаю, — ухмыльнулся: — Годится для психотерапии. На купеческое сословие особенно эффектно действует, — погладил ладонью оксисненную редкими волосами лысину, осведомился: — Тебя, что же, отец ко мне прислал?

Тима сказал уклончиво:

— Папа ведь тоже жилец.

Павел Ильич задумчиво потянулся рукой к носу, ухватил волос в ноздре, долго крутил и вдруг решительно выдернул. Разглядывая волос на свету, проговорил грустно, со слезой в глазах:

— Я, голубчик, материалист в самом подлинном смысле этого слова. Собрание совпадает с часами приема больных. Выходит, не меньше ста рублей вон из кармана, — и сердито заявил: — Меня социальные способы исцеления не интересуют! Уж я как-нибудь по-старинному, тихо, скромненько, порошочками, капельками.

— За деньги?

Лицо Ляликова набрякло. Оттягивая крахмальный воротничок на короткой, жирной шее, он сказал сипло:

— Мне следовало взять тебя за ухо и выставить за дверь. Уходи вон!

Конечно, каждому человеку становится стыдно, когда его выгоняют, но Тиме было не только стыдно, но и обидно и горько, что он не сумел сагитировать Ляликова. И чего он стал важничать перед Ляликовым? Вот Рыжиков — председатель ревкома, а он вовсе не важничал перед инженером Асмоловым. Как-то на днях Рыжиков пришел к ним во двор и сказал:

— А ну, Тимофей, покажи-ка, где тут у вас инженер Асмолов живет.

Тима привел Рыжикова к Асмоловым, и ему было очень приятно видеть, как взволнованно и тревожно встретил Асмолов Рыжикова.

Снимая в передней телячью куртку, Рыжиков говорил весело:

— Хорошо, Тимофей вызвался с вами познакомить, а то так просто явиться, знаете, как-то неловко.

В кабинете Асмолова он с удовольствием оглядел шкафы с книгами. Подойдя к висящим на стенах чертежам, спросил:

— Если не ошибаюсь, проект угольного разреза?

— Так, фантазировал на досуге, — небрежно ответил Асмолов.

— Любопытно, любопытно, — говорил Рыжиков, потом заявил: — А знаете, Юрий Николаевич, это очень увлекательно — открытая добыча угля.

— Вы горняк?

— Нет, так, несколько лет на каторжных рудниках проработал, — и снова произнес почтительно: — Великолепная идея! Снять крышку с угольных пластов — просто замечательно.

Асмолов набил гильзу табаком, предложил Рыжикову, закурил сам и, выпуская дым, сказал со вздохом:

— Через сто лет, может быть!

— Если бы я был автором подобной технической идеи, я бы черт знает что сделал, а добился ее осуществления! — сказал решительно Рыжиков. — А вы, Юрий Николаевич, таким скромником себя держите.

Асмолов смял папиросу в пепельнице, потом сказал глухо:

— За растрату средств акционерной компании на проведение без ее ведома вскрышных работ я был судим как уголовный преступник.

— Сие нам известно.

Асмолов нервно передернул плечами и вдруг сухо спросил:

— Вы, очевидно, посетили меня по какому-нибудь определенному поводу?

— Вы угадали,— с удовольствием согласился Рыжиков.— Дело в том, что паровая мельница вот-вот станет. Хотим просить вас помочь отремонтировать машину.

— Но паровая машина принадлежит Вытманам, а я, как вам известно, согласно контракту с Пичугиным, лишен возможности оказывать техническую консультацию другим компаниям.

— Сейчас, видите ли, мельница стала народной собственностью.

— Допустим, но у меня иные этические взгляды на эти акты и потому...

— Понимаю,— живо согласился Рыжиков,— не настаиваю больше. Но вот, Юрий Николаевич, позвольте обратиться к вам тогда с просьбой: разрешите нам попробовать осуществить ваш проект на одной из пичугинских угольных разработок.

— Я неоднократно обращался с этим предложением к господину Пичугину и каждый раз получал отказ.

— А мы без господина Пичугина обойдемся. Так как же?

— Право, не знаю; соблазнительно, но...

— Ну что ж, как вам угодно, извините за столь внезапное вторжение,— тихо сказал Рыжиков.

Уже в передней Асмолов спросил робко:

— Вы это серьезно предлагаете?

Рыжиков пожал плечами.

— Но, очевидно, вы ставите этот вопрос в зависимость от моего согласия консультировать ремонт паровых машин на мельнице?

— Не я, а вы так вопрос поставили,— улыбаясь, сказал Рыжиков.— И, по-моему, правильно. Отремонтировать машины, являющиеся теперь народной собственностью, или осуществить более эффективный способ добычи угля на рудниках, принадлежащих народу,— это, в сущности, одно и то же в этическом, так сказать, смысле.

— Позвольте мне еще подумать,— попросил Асмолов.

— Юрий Николаевич! Если мельница завтра остановится, город окажется без муки, значит, без хлеба. Впрочем, повторяю, я ни на чем не настаиваю, решайте, как вам будет угодно.

— Странно. Вы могли меня насильно заставить,— задумчиво произнес Асмолов.

— Могли бы,— улыбнулся Рыжиков.— Но, кроме власти силы, есть власть убеждения.

— Мне легче было бы подчиниться приказанию.

— Нет, уж извините! — рассмеялся Рыжиков.— Помочь тут вам я не хочу,— и, протягивая Асмолову руку, сказал: — Так лошадку с кучером я оставляю в вашем распоряжении.

— Зачем? Что вы!

— Не по доброте, а по корысти. Придется вам самому по городу рыскать и доставать все, что для ремонта требуется.

— Но, позвольте, как я могу брать чужое, если даже найду необходимые части?

— А вам это и не нужно. Вы просто скажете кучеру; он и заберет все, что требуется. Фамилия кучера — Богаткин, зовут Гавриил Семенович. Он уполномоченный ревкома, в технике немного разбирается, рабочий с Путиловского завода, стал сибиряком с девятьсот третьего года. Человек симпатичный, но кучер, извините, не очень опытный.

— Просто неловко даже...— сказал растерянно Асмолов.— Почему же вы его сюда не пригласили?

— Ничего, пускай привыкает к извозчицкой жизни! — усмеялся Рыжиков.— Значит, Юрий Николаевич, примерно через недельку мы вас в Совете послушаем, вы нам подробно расскажете о применении метода открытых угольных разработок. А потом, значит, с богом, на шахты.

Прощаясь с Рыжиковым, Асмолов шаркнул ногой и произнес:

— Весьма рад знакомству.

— И я тоже,— ответил Рыжиков.

Потом Рыжиков сказал Тиме наставительно:

— Видал-миндал, как мы с тобой здорово дело сделали? А говорили: откажется. К каждому человеку ключ можно найти.

— А про шахты вы ему просто так пообещали? — спросил Тима, чтобы показать свою проницательность.

Переносицу Рыжикова защемили две глубокие складки. Взяв Тиму за плечо, он произнес сурово:

— Эх ты, млекопитающийся, ничего не понял! Я ведь к нему только из-за шахты и пришел. Шахты нам важнее, а ремонт мы бы и без него сладили. А раз он теперь взялся большевикам помогать, мы ему шахты доверим спокойно. Будет главным управляющим. А ты — обмануть человека, чтобы только на ремонт сманить! А еще сапожковский! Стыдно, брат!

И Тима подумал, что если бы Рыжиков пришел к Ляликову и сказал просто: «Павел Ильич, вы, как врач, лучше других знаете: когда дети спят на полу в тесной каморке, на грязном тряпье, это очень вредно им для здоровья. Объясните это, пожалуйста, жильцам на их общем собрании», то Ляликов тогда обязательно бы пришел, потому что он очень самолюбивый и ему нравится поучать других.

Последним, к кому нужно было зайти Тиме, был Монастырев. Он снимал вторую половину флигеля, рядом с Ляликовым.

Василий Монастырев — единственный зубной техник на весь город — мог неплохо зарабатывать, если бы не характер. Раздражительный, нервный, заносчивый, он поругался со всеми зубными врачами. С пациентами был крайне несдержан и груб. Он считал себя свободным анархистом, презирал свою и чужую собственность. В квартире у него почти не было мебели, спал он на дощатом топчане, ходил в охотничьих сапогах и в коротко обрезаемой дохе, из карманов которой торчали рыбы хвосты. Монастырев был страстным любителем подледного лова. Отправляясь к клиентам, он по дороге спускался на лед реки и, если хорошо клевало, просиживал у проруби до окончания клева. Свою революционность он выражал главным образом пренебрежением к общепринятым правилам приличия, щеголял бранными словами, которыми заменял медицинские термины. Самым любимым изречением Монастырева было взятое у Канта: «Действуй так, как если бы максима твоего действия должна была по твоей воле стать всеобщим законом природы».

Он свысока относился ко всем в городе, утверждая, что вообще все города нужно сжечь вместе с клопами и обывателями, а потом на пепелище созидать новое человеческое общество.

Монастырев открыл Тиме дверь, держа в руке челюсть, полную зубов на розовой каучуковой десне. Шаркая по ней крохотным подпилком, он сказал угрюмо и иронически:

— Вот жевательный аппарат человеческой скотине приготовил. Думал, она явилась, а это ты.

— Здравствуйте, — сказал Тима вежливо.

— Глупые слова по адресу здорового человека, — буркнул Монастырев и, пропустив Тиму в комнату, сказал: — Зубы — это рудимент зверя в человеке. Человек будущего станет питаться только таблетками.

— Василий Северьянович, — сказал Тима, — вы знаете, как плохо живут Полосухины?

— Они не живут, а прозябают. Если бы они были не люди, а свиньи, они бы давно подошли из-за отсутствия атмосферы.

— Хорошо бы их переселить куда получше.

— В этом городе нет здания, достойного человека.

— У Асмоловых большая квартира. Залесский занимает три комнаты, и у Илюмского две.

— Правильно, надо взять их всех за шиворот и вышвырнуть на улицу. Такова и моя мысль.

— Значит, вы скажете об этом на собрании жильцов?

— Я не хожу по собраниям.

— Но ведь нужно, чтобы все решили, иначе нельзя.

— Уговаривать скотов не намерен. Только действием можно внушить им разумное понимание действительности. Кратчайшее расстояние от плохого к хорошему — насилие.

— Так вы сами их выгоните? — спросил Тима.

Монастырев расхохотался, швырнув челюсть на топчан, и, вытерев розовые опилки с рук, заявил:

— Вот видишь, дружок, каким магическим свойством обладает воля одного человека, когда он облакает ее в яркие слова, — подошел к двери, тщательно прикрыл и сказал Тиме уже совсем другим голосом: — Голубчик, ну чем я могу помочь твоим Полосухиным? Только раздражить, внушить ложные надежды. Людей, которые плохо живут, гораздо больше, чем людей, которые живут хорошо. Разве, утеснив Асмоловых и переселив к ним Полосухиных, человечество станет жить лучше? Нет. Надо сразу решительно изменить самое существо человеческого общежития. Полное равенство или ничего.

— Вот вы и начните с Полосухиных.

— Из мышиной норы переселить в крысиную?

— Но ведь у крысы жилье побольше, — резонно возразил Тима.

— Ты умный мальчик, — благосклонно сказал Монастырев. — Однако человеку нужно дать все или ничего.

— А если вначале хотя бы немножко?

— Революция должна быть великой или никакой. Твоя мать революционерка, она должна была бы тебе это объяснить.

— Она сейчас по городу овес ищет, чтобы коней кормить, — сказал смущенно Тима.

— Значит, она перестала быть революционеркой, а стала служащей у революции.

Ну уж этого Тима не мог стерпеть:

— А вы только чужие зубы вставляете, и больше вам ни до чего дела нет! И слова все не ваши, а из книжек!

Сказав это, Тима испугался, решив, что Монастырев выгонит его, как выгнал Ляликов. Но, странно, Монастырев не обиделся, не рассердился, а как-то весь съезжился; глаза потускнели, и он попросил:

— Да ты не кричи! Я ведь не сказал: нет. Вы, что же, думаете, что я боюсь Залесского, Илюмского или Асмолова?

— Наверно, — сказал Тима твердо.

— А вот посмотрим! — угрожающе заявил Монастырев.

— Значит, вы придете на собрание?

— Чтобы только усмехнуться им в рожи, да, — гордо заявил Василий Северьянович.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Собрание все-таки решили проводить на квартире у Асмоловых, так как жители двухэтажного дома наотрез отказались прийти в лачугу к Полосухиным.

Редькин кричал на Полосухина:

— Со своей табуреткой ступай! На своей тверже, надежнее. А то подсунут стул мягкий — и раскисешишься. Что значит простого звания? Сам говорил: брючник. Теперь рабочий класс правым плечом арш, и более никаких гвоздей!

Но сам Редькин тоже испытывал тревожное волнение. Бреясь перед зеркалом, он словно проверял для собрания разные выражения лица. Угрожающе таращил черные глаза; сунул хохлатые брови; откинувшись, держа зеркало в руке, иронически усмехался; проводя ногтем большого пальца по усам, многозначительно мычал «м-да»; сощурившись, напрягал мускулы лица, произносил яростно:

— Нас словцами не возьмешь!

Капитолина насмешливо наблюдала за супругом.

— Знаю, почему рожи тигриные корчишь, все знаю. Вот погоди, Мартын, вынесут из нашего дома станок, узнаешь, как других людей утеснять.

— Подавай костыли новые, с резинками, корова! — требовал Редькин.

— Ага! Наряжаешься, — торжествовала Капитолина, — стесняешься по барской квартире об пол палками грохать.

Жильцы с заднего двора толпились возле парадного крыльца, никто не решался войти в дом первым. Все они принарядились, как для праздника, и с достоинством разговаривали на самые отвлеченные темы.

Истощенный, с глубоко впавшими глазами и землистым цветом лица, согбенный Полосухин, одетый в новую поддевку, сшитую из разных лоскутов, шептал угрюмому литейщику Пантелею Фоменко:

— Ежели из кастора человек шубу строит, то и внукам ее не сносить. Надежное суконце, на века. А на брюки солидный заказчик диагональ брал. Эту мать сожмешь в горсти, а она потом все равно, как пружина, фукнет. Подзинский товар видом обольщает, а естество в ём слабое. Нет к нему моей рекомендации, нет...

Коноплев рассказывал, как надо усы растить. У кого волос жидкий, те припарки на губу делают или скипидаром мажут. Когда ус в моде, хошь не хошь, а уход требуется.

Поглаживая суставом указательного пальца рогообразные, плотные, тяжелые усы, произносил хвастливо:

— У меня-то волос ничего, крепкий, он сам по себе идет.

Скорняк Бугров, согласно кивая головой, вставил вежливо:

— Насчет волоса я так понимаю: в нем красота. Но одной природы недостаточно. Ежели ость нещипанная — это простая шкура, а ежели щипанная, выработанная, то мех. Я из простой собаки могу енота изготовить, дай только краситель подходящий.

Женщины, собравшись отдельной кучей, почтительно слушали прачку Наталью Егорову.

— Бабыньки, надо нам свою теплушку на реке сколотить, а то заколеем на ветру, белье полоскавши. Петухов, который свою теплушку держит, с корзины двугривенный берет. Разве такое осилишь? Кухарки с богатых домов могут поднять, а мы, значит, на коленках у открытой всем ветрам проруби стынь. А потом ревматизмом всю ночь плачу. Вот бы уговорить собранию свою теплушку на реке сколотить, нынче все всё коммунальной делают.

После того как на второй этаж пичугинского дома поднялись жильцы флигелей, жители заднего двора с озабоченными, строгими лицами чинно последовали за ними.

В прихожей их встречал инженер Асмолов. Потирая узкие белые руки, он бормотал:

— Прошу, пожалуйста,— и указывал рукой на двустворчатую дверь.

Жители заднего двора складывали верхнюю одежду в угол прихожей, на пол, и только один Редькин решительно повесил шинель на вешалку из оленьих рогов рядом с хорьковой шубой Залесского.

В гостиной, как в театре, ряды новых венских стульев и толстые, коротконогие, мягкие кресла у стены. На диване стоял прапорщик Хопров; презрительно скривив рот, он смотрел на входящих зеленоватыми, холодными, скользкими глазами. Волосы его были напояжены, расчесаны на пробор, на кителе блестели погоны и Георгиевские кресты. Обшитые желтой кожей обрубки ног опирались о диванные подушки, а кулачки рук были распростерты вдоль спинки дивана. Он курил папиросу в длинном мундштуке. Супруга, как всегда в парадные дни, одетая в форму сестры милосердия, держала большую розовую раковину, которую изредка подносила к подбородку Хопрова, чтобы тот стряхивал в нее пепел.

Финогенов сладеньким говорком вещал Асмоловой:

— Интересуясь древностями, а также путями жизни наших пращуров, могу сказать утвердительно: во все времена от черни властители испытывали одно беспокойство. Но мудростью своей старинные мужи простой народ в страхе держали. Так, колесование было весьма полезное изобретение для внушения скромности страхом. У меня, знаете, в коллекции любопытный предмет имеется: древняя воронка из крепко обожженной глины. Многозначительный предмет. Через нее совратителям умов в рот расплавленный свинец лили.

— Какие ужасы вы рассказываете!

— Не говорите, приспособление правильное и, скажу, гуманное. Лучше одному в пасть свинца налить, чем по-современному многим из пулемета в разные места.

Илюмский, чистя ногти спичкой, поглядывая исподлобья на собравшихся, шепотом говорил Асмолову:

— Галоши я свои, извините, к вам в спальню отнес. Уведут. Не успеешь опомниться. Хотя в них медными буквами и обозначены мои инициалы.

Чишихин, сидя рядом с дочерью, говорил, озираясь:

— Ты, Наташа, на офицера не оглядывайся, а то супруга его скандал сделает. Сиди себе смиреннько.

Сестры Устиновы шумно выражали свое удовольствие:

— Это так замечательно придумали — собрание! Мы все должны обязательно общаться.

— Можно даже устроить домашний концерт в пользу нуждающихся.

Воскресенский, усадив жену, бледную, тихую, с полужакрытыми глазами, суетясь возле нее, спрашивал:

— Тебе, Леночка, удобно? Ниоткуда не дует? — и, ежась, говорил со счастливой улыбкой: — У французов тоже домовые комитеты были во время их революции. Это у нас, выходит, преемственность чисто французская.

Супруги Ляликовы, оба тучные, коренастые, похожие на огромные гири, разглядывая гостиную Асмоловых, обменивались замечаниями:

— Гарнитурчик тысячи на две потянет.

— А занавесочки тюлевые, полтинник аршин, и те застиранные.

— С мягкой мебели чехлы поснимали.

— А может, они у них латаные.

Залесский о чем-то шептался с Илюмским.

Тима пристально, не моргая, глядел на Залесского и старался придать себе злое, ненавидящее выражение, чтобы тот сразу понял: Тима на стороне Коноплева, Редькина, Полосухина, и они все здесь будут бороться против «услугающих буржуазии», которыми, по выражению Редькина, являются Залесский, Илюмский и Асмолов.

Но как ни тужился Тима, настоящей злости не получалось.

Он видел только пожилого человека с подвитыми серыми, сухими волосами, его бледное лицо цвета вареного куриного мяса, мешочки под глазами, и в одном из них все время подрагивала какая-то жилка. Залесский вежливо предлагает стулья; когда улыбается, темные, аккуратно подстриженные усики, крашенные, как говорил папа, ляписом, приподымаются к узким ноздрям, и тогда ему приходится дышать через шерсть, терпко пахнущую ляписом.

Залесский угощает всех конфетами ландрин, сообщая при этом: «Сладкое успокаивает». Он протянул и Тиме круглую жестяную дореволюционную коробочку с разноцветными леденцами, но Тима гордо отказался.

Залесский сказал строго:

— Нужно говорить «благодарю вас». «Не хочу» говорят только невоспитанные люди или при желании обидеть.

Тима смутился. Залесский сел рядом на жесткий стул, и, когда Тима поглядывал на Залесского искоса, он видел его печальное лицо. Тиме думалось: действительно, зря он обидел этого человека. Он заметил, что после его решительного «не хочу» жилка под глазом Залесского начала

дергаться сильнее, и задышал он тяжело, и мелкие капельки пота выступили на впалых висках.

Но совершенно напрасно Тима приписывал тоскливую встревоженность Залесского своему отказу. Залесский действительно чувствовал себя оскорбленным, взволнованным, но совсем по другим причинам, он вовсе и не думал сейчас о Тиме.

Не так давно Залесского пригласил к себе Пичугин, на пульку, и Станислав Борисович явился тщательно одетый, опрысканный остатками отличного брокаровского одеколона, заранее продумав приличествующие для карточной игры остроты.

В доме Пичугина собралось большое общество. Но властвовал там не хозяин дома, а поджарый, с грубым лицом офицер Пепелов, одетый в штатское. Пепелов все время советовался с остроносым человеком с тонкими надменными губами, о котором было известно только одно: он прибыл из Омска.

Пепелов приказал собравшимся немедленно усаживаться за ломберные столы и начинать карточную игру, а сам вместе с приезжим и городскими богачами удалился в пичугинский кабинет. Потом в кабинет стали вызывать по очереди всех, кому было приказано заниматься карточной игрой в гостиной.

И тут Залесский получил первый язвительный укол. Себя он не считал ровней всему находящемуся в гостиной сброду. Он был не только управляющий пичугинской баней, но давно уже стал доверенным лицом Пичугина по самым щепетильным сделкам с различными иностранными фирмами. Это при его помощи Пичугин совершил продажу Дэвиссону угольных шахт и двух золотых приисков, с уговором, что на один из них сделка будет фиктивной. Американская фирма только возьмет на себя защиту пичугинской собственности от национализации.

Разве легко было уговорить Дэвиссона заключить такого рода сделку, когда промышленники сбывали ему без всяких оговорок, за полцены не только рудники, но дома, складские помещения, пароходы, баржи!

Правда, Залесский несколько успокоился, когда увидел, что присяжный поверенный Илюмский тоже не удостоился приглашения в кабинет Пичугина.

Вообще-то Илюмский — тупой, грубый человек и похож на квадратную чурку: стриженный бобриком, скуластый, с низким упрямым лбом. Илюмский ненавидел большевиков, но, выдавая себя за русского патриота, угова-

ривал промышленников во имя интересов русского капитала не продавать иностранным фирмам рудники, шахты, прииски. Уповав на областную думу и офицерские дружины, он мечтал о перевороте в пользу любого из династии Романовых или уж, в крайнем случае, надеялся на провозглашение автономной Сибири и отделение ее от Советской России.

Залесского пригласили в пичугинский кабинет одним из последних. Он вошел туда, испытывая негодование, но все же рассчитывая втайне на какое-то особое доверие.

Сидящие в кабинете уже порядком утомились переговорами. Забыв пригласить Залесского сесть, приезжий, развалившись в кресле, сказал небрежно:

— Надеюсь, почтенный, вы не очень азартно предавались карточной игре и имели время сообразить, зачем вас пригласили. — Оглянувшись на Пичугина, попросил: — Объясните, пожалуйста, вашему приказчику суть нашей просьбы.

— Я вам не приказчик, — обиделся Залесский. — Я управляющий банями господина Пичугина и его доверенное лицо.

— С чем и поздравляю, — сказал равнодушно приезжий и снова попросил Пичугина: — Так прошу, конечно, в соответствующих пределах.

Пичугин откашлялся и проговорил строго:

— Имею к вам поручение. В моем доме на Банном живет инженер Асмолов. Устрашившись большевистских угроз, он нарушил со мной контракт. Господин Дэвиссон, как вам известно, изъявил готовность приобрести еще ряд участков, но требует заключения Асмолова об истинных запасах руд, содержании в них металла и то же самое по угольным месторождениям. Но Асмолов отказался по причинам, нам непонятным. Так вот, будьте любезны повлиять на Асмолова любыми способами. Понятно?

— Что вы подразумеваете под «любыми способами»? — осведомился Залесский, не столько желая получить ответ, сколько стремясь хоть этим вопросом показать некоторую свою независимость.

— А вот когда исчерпаете красноречие и сообщите нам о бесплодности своих усилий, тогда узнаете, — угрюмо произнес Пепелов.

— Все-таки попрошу уточнить вашу мысль, — упрямо заявил Залесский.

— Вот что, почтенный, — рассердился Пепелов. — Сядьте здесь и продумайте все вам сказанное. Когда

продумаете, доложите. — И крикнул в дверь: — Давайте следующего!

Вошел Илюмский. Его сразу пригласили сесть, и приезжий вежливо сказал:

— Господин Илюмский, нам известны ваши патриотические взгляды, которые мы полностью разделяем. Словом, мы обращаемся к вам с предложением помочь нам, истинно русским людям, вновь поднять меч против Германии и выполнить долг перед союзными державами. Для этого необходимо: первое — провести демонстрацию против большевистского мира с Германией; второе — выступить решительно против демобилизации русской армии; третье — начать запись добровольцев и сбор пожертвований для воинов.

— Это что же, — осведомился Илюмский, — на большевиков работать, помогать им формировать их Красную гвардию? Заманивать солдатню в военное самоделковое училище Зубова да еще подарки для них собирать?

— Вы слишком буквально мыслите, — сказал приезжий, вставая. — Попытаюсь кое-что вам разъяснить. Большевики действуют мудро, добываясь мира с Германией. Это целиком отвечает чаяниям солдатни. Демобилизация русской армии — акт весьма внушительный. Дальновидность большевиков выражена и в формировании ими Красной гвардии на добровольных началах. Но стоит распространить версию о всеобщей мобилизации, и с большевиками произойдет весьма для них прискорбное событие. Разбушевавшаяся солдатня подымет их на штыки. Случится, собственно, то самое, что они проделывали с эмиссарами Керенского, когда те призывали к «войне до победного конца». Вот, собственно, пока все. Надеюсь, вы поняли? Кстати, из уважения и в знак полного доверия к вам сообщаю: патриотическая демонстрация назначена нами на ближайшее воскресенье.

Илюмский кивнул головой и пожал приезжему руку. Проводив Илюмского к дверям, приезжий спросил Залесского:

— Ну-с, обдумали?

Залесский встал, пригладил волосы и сказал бодро:

— В связи с возможной конфискацией приличных квартир мы с господином Илюмским предусмотрительно пустили к себе жильцов, рекомендованных нам различными лицами. Что же касается Асмолова, он отказался в силу щепетильности последовать нашему примеру, и посему его ждет возмездие. Большевики утеснят его до предела. Пола-

гаю, после этого наступит самый благоприятный момент для беседы.

— Ну и отлично, — устало сказал приезжий и, махнув рукой, дал понять Залесскому, что разговор окончен.

И вот сейчас, на собрании жильцов, Залесский снова переживал обидные подробности этой встречи у Пичугина и вместе с тем напряженно думал, как получше выполнить свое обещание. Чувствуя пристальный взгляд Тимы, Залесский старался не замечать мальчика, хотя этот пустяк странно тревожил и беспокоил его. Залесский все время пытался разыскать глазами Илюмского, с которым он договорился о том, как должно пройти это собрание, чтобы после, благодаря их совместным усилиям, всех собравшихся можно было вывести на улицу и присоединить к патриотической демонстрации. Кроме того, Залесский ни на минуту не сомневался, что Асмолов сегодня же окажется в положении жертвы большевиков.

Когда все расселись, Залесский провозгласил:

— Э... э... граждане! Поступило предложение избрать председателем нашего сегодняшнего собрания почтенного Ивана Мефодьевича Воскресенского, поскольку в каждом просвещенном государстве учитель, педагог — фигура уважаемая.

Сестры Устиновы шумно захлопали в ладоши.

Иван Мефодьевич встал, благодарно раскланялся и, поправив платок на плечах жены, склонив голову, сменяющей походкой устремился к председательскому месту.

Залесский обвел гостиную глазами, остановил взгляд на Финогенове и провозгласил:

— Секретарем собрания мы, естественно, выберем достойного гражданина Финогенова, — усмехнулся и произнес вполголоса: — Любителя древности, который имеет сегодня возможность пополнить свою коллекцию новой исторической записью.

— Иван Мефодьевич, — закричала восторженно младшая Устинова, — просим сказать речь! Просим!

Воскресенский вскинул голову, полузакрыв глаза, задумался и произнес взволнованно:

— Друзья мои, я много размышлял, получив приглашение участвовать в сегодняшнем собрании, и пришел к глубокому убеждению, что домовый комитет — это одна из самых демократических форм народовластия. Она порожд-

дена Парижской коммуной. Когда народ прекрасной Франции...

— ...которую большевики предали, — громко и отчетливо произнес Хопров.

— Позвольте, — обиделся Воскресенский, — я говорю об исторических временах, так сказать, о преемственности традиций...

— А я говорю о чести России, — заявил Хопров.

— Я бы хотел просить, чтобы меня не перебивали, — сказал Иван Мефодьевич.

— А я бы хотел, чтобы вы ответили прежде на мой вопрос. Продали союзников большевики или не продали?

Воскресенский пожал плечами и, обращаясь ко всем, жалобно проговорил:

— Я не понимаю, почему именно этот вопрос должен сейчас обсуждаться здесь?

— Позвольте, я объясню, — сказал Залесский, — почему гражданин Хопров столь решительно настаивает на ответе. — Подойдя к председательскому месту и потеснив плечом Воскресенского, он произнес с искательной улыбкой, воркующим голосом: — Граждане, мы не можем с вами столь безразлично относиться к России, как это хотелось бы уважаемому Ивану Мефодьевичу.

— Позвольте! — воскликнул Воскресенский. — Но я протестую против подобного вымысла!

— Я разделяю ваше честное возмущение, — искренним тоном заявил Залесский, — и глубоко понимаю ваш протест. Действительно! Вот мы собрались здесь, насколько я успел проинформироваться, по ничтожному и эгоистическому поводу: отобрать у кого-то там комнату и дать ее кому-то другому. Кто может возражать против помощи ближнему? Мы с гражданином Илюмским уже потеснились. И, безусловно, гражданин Асмолов, который не пожелал сделать этого добровольно, теперь потеснится по требованию властей. Будем считать этот вопрос решенным. Но сейчас откроем свои сердца главному, для чего мы все здесь собрались. Когда большевики приносят в жертву предательскому миру честь России, для истинно русского человека это равносильно тому, как если бы отрезали часть его тела. И мы должны стать выше своих домашних нужд, дрызг и потребовать у большевиков, чтобы они немедленно разорвали мир с немцами, объявили всеобщую мобилизацию военных сил в доблестную русскую армию и перешли в революционное наступление на тевтонов.

— Хлопай, дура! — приказал жене Хопров и, выпятив грудь, закричал пронзительно: — Слава русской армии!

— Граждане! — провозгласил Залесский. — Цель сегодняшнего нашего собрания должна быть единственной: потребовать, чтобы все, кто может носить оружие, пошли на фронт и разгромили врага. Долой подлый мир! Ура, товарищи!

Все это время Тима очень волновался. Ведь он обещал Редькину и Коноплеву, что мама обязательно придет на собрание. А мама опаздывала.

И когда в передней раздалось такое знакомое постукивание каблуками — это мама всегда делала, сняв галоши, — Тима очень обрадовался.

Мама вошла в гостиную, застенчиво кивнула знакомым и, поднеся платок к розовому от мороза носу, тихонько высморкалась.

Илюмский вскочил с кресла.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — шепотом попросила мама и, засунув платок в рукав кофточки, осторожно села на край стула рядом с акушеркой Устиновой, которая тотчас обняла ее за тонкую талию и стала что-то возбужденно шептать на ухо. А мама кивала головой с несколько сбитыми набок пепельными волосами и, снова вынув платок из рукава кофточки, тихонько сморкалась.

— Граждане! — провозгласил Залесский. — Может, есть вопросы к уважаемому председателю, прежде чем всем выйти организованно на улицу и присоединиться к демонстрации патриотов родины?

Мама, как школьница, подняла руку.

— Прошу, — сказал Залесский и отступил на шаг от Воскресенского, кланяясь ему, словно передавая этим поклоном вопрос.

— Нет, я хотела не Ивана Мефодьевича спросить, а вас, если вы позволите? — Мама вопросительно взглянула на Воскресенского.

— Прошу, прошу, — с готовностью согласился Иван Мефодьевич.

— Я не понимаю, — пожал плечами Залесский, — почему я должен узурпировать права председателя? Впрочем, пожалуйста. Я готов, — и настороженно уставил свои прозрачные, светлые глаза на маму.

Мама сказала тоненьким, несколько насморочным голосом:

— Вот говорят, что вы, Станислав Борисович, считаете мир подлым, позорным? Это так?

— В общем смысле, конечно, да.

— А мне кажется, подлой, позорной может быть только преступная война с Германией.

— Я немцев убивал, родину защищал, я преступник, да? — завопил Хопров.

Склонив голову, вытянув шею, он пытался зубами достать Георгиевские кресты на груди и сорвать их.

Нос у мамы побледнел, дрогнувшей рукой она поправила прядку на висках и проговорила отчетливо:

— Вы, Хопров, храбрый человек. Зачем же так нервничать, если даже в моем лице вы и увидели своего противника?

— Таких агитаторов мы на фронте стреляли без суда! — закричал Хопров.

— Я знаю, — сказала мама, — вы убивали их, а себя приносили в жертву бессмысленной войне. И если бы вам, Хопров, еще немножко больше храбрости, вы сейчас лучше, чем кто-нибудь другой, могли бы сказать, что такое война. Я уважаю вас за то мужество, с каким вы перенесли свое несчастье, и убеждена, что вы найдете в себе мужество сказать нам, какая проклятая это была война.

Мама поднесла скомканный платок к губам и произнесла совсем тихо:

— Простите меня, пожалуйста, Хопров, если я позволила себе так говорить с вами. Я понимаю, как вам тяжело и мучительно это слушать, но это так.

Потом мама выпрямилась, глаза ее зло блеснули, и она заявила звонко и неприязненно:

— А вы, Stanisław Борисович, меньше всех имеете права призывать к войне. Вы же отлично сохранили свою драгоценную жизнь в мундире земгусара.

— Земкрысы! — вдруг неистово заорал Хопров и, хлопая культиками по спинке дивана, завопил: — Сапоги на картонных подошвах, снаряды бракованные! — И, поднимая культики вверх, объявил: — Вот они, ваши снаряды, вот, по ком они били!

Мама, потупив глаза, молчала, на ее бледном лице проступили красные пятна, а когда Хопров успокоился и, расплескивая воду из стакана, стал жадно пить, мама сказала:

— Вы знаете, Залесский, не хуже других, что русской армии нет. Она развалилась еще при Керенском. Бросать сейчас сотни тысяч деморализованных русских солдат на отлично вооруженные немецкие армии — это значит пойти на сознательное истребление русских людей. И некоторые

этого хотят. Если сохранить жизнь солдатам, армию можно восстановить, но это будет Красная Армия, а ведь не все хотят, чтобы у нас была Красная Армия, так же как не все хотят, чтобы у нас была Советская власть. Вот вы, — обратилась мама к Илюмскому, блестя насмешливо глазами, — возможно, предпочли бы иное общественное устройство?

Илюмский нервно подергал плечами и сказал, озираясь:

— Я не понимаю, меня, кажется, здесь допрашивают?

Мама произнесла вежливо:

— Я вас не упрекаю в том, что у нас с вами разные политические взгляды. Я просто удивлена: почему, если вам Советская власть не очень симпатична, почему вы хотите, чтоб она разгромила немецкую армию? Если, конечно, вы честно думаете, что она может ее разгромить.

— Судьба России для меня превыше всех политических платформ! — горячо крикнул Илюмский.

— Сейчас есть только Советская Россия, — строго сказала мама, — и эта Россия дорога только тем, кто хочет, чтобы она была советской. И воевать за нее пойдут только те, кому она дорога: это рабочие, крестьяне, солдаты, большевики. И если они, как вы этого хотите, все уйдут на фронт — а именно они и будут защищать Советскую власть, а не враги ее, — кто же тогда останется в тылу? Те, кому Советская власть не дорога? Что же они тогда сделают? Воспользуются отсутствием тех, кому дорога Советская Россия, и захватят власть в свои руки! Все очень просто. Поэтому наши враги очень хотят, чтобы Советская власть покончила с собой, ринувшись на Германию. А мы не будем, как некоторым этого хочется, кончать самоубийством. Мы все очень любим жизнь, особенно теперь, когда она становится такой справедливой.

И мама с доверчивой улыбкой оглядела всех и произнесла тихо:

— Мне ведь тоже вначале было горько думать об этом мире с немцами, но потом я поняла, как нехорошо заблуждалась. Извините, пожалуйста, что я несколько нарушила ход собрания.

Оглянувшись, она села на стул, который с торжествующим видом пододвинул ей Коноплев.

Вначале Тима испытывал гордость, когда мама так здорово говорила, но последние ее слова задели его самолюбие: зачем она здесь каялась? Подумаешь, тоже нашла перед кем! Когда она с папой откровенничала, ну тогда пожалуйста, другое дело. Мама говорила папе жалобно:

— Как мучительно соглашаться на позорный мир

с Германией. Я всегда избегала испошленного черносо-тенцами слова «патриот», а теперь я сама чувствую себя патриоткой и скрыть этого не могу.

Папа задумчиво щипал бородку, и лицо у него тоже было встревоженное и печальное. Он сказал:

— Я разделяю твои чувства, Варенька. Это естественно, что мы, большевики, патриоты. Самые преданные патриоты отечества. И, конечно, трудно примирить это сознание с ужасным, унижительным, грабительским миром с Германией.

После собрания всех городских большевиков родители пришли домой ночью. Что происходило на собрании, Тима, конечно, не знал, но мама и папа долго, взволнованно шептались, хвалили Рыжикова, кого-то ругали, и Тима услышал, как мама сказала:

— Ах, Петр, какой героический ум у Ленина! Как он безбоязненно сказал партии всю жестокую правду. Каким нужно быть сильным, чтобы говорить так о нашей слабости и видеть в поражении твердую основу для победы. Какое это счастье для России, что у нас есть такой человек!

— Не только для России! — И папа строго произнес: — Теперь, Варвара, когда отношение партии к миру определено, будь любезна подчиняться решению партии.

Мама вздохнула и сказала кротко:

— Я же все поняла, и не нужно меня больше упрекать...

Но зачем мама перед жильцами сказала, что не сразу сама до всего додумалась, этого Тима понять не мог и испытывал чувство горькой обиды. Конечно, хорошо, что в партии ей все объяснили. И здорово это у них получается, когда они все правильно думают. Вот если б мама правильно не думала, небось Залесский уговорил бы жильцов, что война сейчас главное. Ведь он, наверное, для того про войну говорил, чтобы комнату Полосухиным не давать, а всем идти на войну. Вот теперь мама перед всеми Залесского и осадила.

Стуча костылями по полу, к Хопрову решительно двинулся Редькин. Вися между костылями, он уставился на офицера и крикнул яростно:

— Я солдат, ваше бывшее благородие, солдат! — Повернув искаженное гневом лицо к жене, приказал: — Капка, притащи кресты и медали и покажи ему, чтобы знал! Не в денщиках служил, холуем, а России — кровью, значит, — показав головой на Залесского и Илюмского, добавил угрожающе: — Тем тоже дай поглядеть, хомякам-тыловицам, которые здесь жиром пухли.

— Молодец, солдат! — одобрительно выкрикнул Хопров. — Дай им костью, штафиркам.

— Вы меня не науськивайте, — сурово прервал Хопрова Редькин. — Я хоть и контуженый, но башка целая, сама за себя думает, — и, снова обратив ненавидящий взгляд на Залесского, спросил: — Ты на какую такую демонстрацию скликал, а ну, повтори, чтобы снова люди услышали? — Подковыляв к Залесскому, приказал: — Ну, говори! Видал, как я уши растопырил? Говори!

Залесский попятился, заслонился рукой:

— Господа, помогите, ведь он же меня ударит!

— Ладно, я вам сейчас помощь окажу, — сказал с места Коноплев. Встал, одернул рубаху и произнес властно: — Они по городу высунув языки бегали, скликали всякую сволочь, чтоб нас, народ, значит, на войну с немцами раздразнить, а после, как товарищ Сапозжкова сказала, власть тут самим захватить. Я вам так скажу, господин хороший: мы, русские, за Россию болеем, верно. И мир этот нам боль в сердце. И не с того, что мы воевать боимся, а с того, что тяжелой ценой передых добыли, чтобы с силенками собраться. Все развалено, куда глаз ни кинь, а с голыми руками на немца не пойдешь. — Резко повернулся, спросил Асмолова: — Правду я говорю, Юрий Николаевич? Ведь всюду развал! А по вашей части как?

Лицо Асмолова вытянулось, он растерянно оглядел собравшихся, смущенный тишиной, множеством устремленных на него глаз, оглянулся на жену, встретив ее строгий взгляд, зажмурился и вдруг, дернув плечом, решительно заявил:

— Совершенно верно. Начинать войну, когда вся наша промышленность доведена до крайне бедственного состояния, — безумие. — Потом смущенно добавил: — Я не могу не сказать также о том большом впечатлении, которое произвели на меня смелость и благородство столь беспрецедентного в истории человечества акта, как акт заключения мира, вызванного исключительно гуманными побуждениями, — посмотрев на Сапозжкову, произнес горячо: — Извините меня, Варвара Николаевна, но я полагал, что вы выступите тут в роли, так сказать, грозной Немезиды. И то, что вы с таким доверием и чистосердечием признались, что вам тоже нелегко было примириться и понять необходимость заключения тяжелого для России мира, — именно это побудило меня столь же искренне высказать и свое мнение по данному вопросу.

— Вы, гражданин Асмолов, — возмущенно крикнул

Финогенов, — тут напрасно ножки лижете, чтобы квартиру не оттяпали! Не разжалобите. Будьте спокойны, оттяпаем. А вас с семейством в чулан сгоним за то, что тут еще фальшь развели. — Поглядев на Полосухина, Финогенов спросил торжествующе: — Правильно, гражданин, оттяпаем? — и, похлопав Полосухина по плечу, обнадежил: — Мы его утесним, не тревожься, голубок.

Полосухин страхнул с плеча руку Финогенова, встал и, обращаясь к побледневшему Асмолову, произнес глухо:

— Юрий Николаевич, я про вас худо думал, а теперь так не думаю. Значит, вот! — Сел и сказал Финогенову угрожающе: — Ты у меня перед рожей больше не кричи о помещении, а то хоть я и портной, а рука у меня тяжелая.

Коноплев заявил:

— Предлагаю резолюцию: осудить войну и всякую подпаляющую сволочь. Вместо провокационной демонстрации присоединиться всем жильцам к населению, которое по призыву Совета в воскресенье будет из льда баржи выколачивать. Кто «за»? Голосую. Кто «против»? — и приказал Финогенову: — Себя тоже пиши, — и добавил: — Против Советской власти, — оглянувшись на Хопрова, спросил: — А вас как писать, туда или сюда?

Хопров произнес, сощурившись:

— Подожди, пока у меня рука отрастет, тогда за что-нибудь проголосую.

Коноплев потупился и сказал укоризненно:

— Мы вас, гражданин Хопров, как жертву империализма уважаем. Зря вы кидаетесь.

После принятия резолюции Иван Мефодьевич заявил:

— Теперь, я полагаю, мы можем приступить к выборам домового комитета посредством всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. Прошу называть имена наиболее достойных.

Мама пошептала с Коноплевым и Полосухиным, подняла руку и крикнула:

— Юрия Николаевича Асмолова!

Коноплев назвал Редькина.

Иван Мефодьевич предложил Ляликова. Павел Ильич испуганно охнул и испытующе посмотрел на свою супругу, но она сохраняла на лице невозмутимое надменное выражение.

Тут к маме вихляющей походкой подошел Монастырев. Он наклонился к ней и сказал громко, так, чтобы все слышали:

— Вы что же, гражданка Сапожкова, тут двойную игру

всдете? Подсылаете своего парнишку уговаривать отнять комнату у Асмолова и сами того же Асмолова в домком предлагаете? Это как же назвать позволите?

Ляликов крикнул:

— И меня довольно нагло сей юнец убеждал по сему же поводу!

В животе у Тимы сразу стало зябко, и он с тоской почувствовал, как слабеют ноги, лицо само по себе расплывается в жалкую улыбку, а глаза трусливо шмыгают, боясь встретиться с вопрошающим взглядом мамы.

Все смотрели то на Тиму, то на маму, как Тиме казалось, сурово и осуждающе.

Тима проглотил противную, пресную слюну и проговорил, задыхаясь, глядя на пол:

— Полосухины живут плохо! Что, не правда? Да? Потому и говорил, что домком — это тоже Советская власть, а она должна о людях заботиться. Мама ничему меня не подучивала, это неправда, спросите Пыжова, как я мало маму вижу, это я сам так думаю.

— Совершенно верно, — крикнул Пыжов, — мальчик абсолютно заброшенный!

Монастырев поднял тощую, длинную руку и возгласил:

— Если по-революционному действовать, так по-революционному. Тогда с пичугинского дома жильцов на задний двор, а всех с заднего двора — сюда. Что тут в жмурки играть? Хватит! А то посылают мальчишек агитировать, а сами тут тихонь разыгрывают.

— Правильно! — злорадно вопил Залесский. — На помойку нас всех, на помойку!

Хопров, прыгая на своих культипках, кричал:

— Бей всех по мордасам, бей, чего там!

Коноплев подошел к председательскому месту и, хлопнув тяжелой ладонью по столу, сказал гулко и властно:

— А ну, тихо, граждане! — и, обратившись к Сапожковой, попросил: — Может, вы разъясните?

Сапожкова встала, одернула на груди кофточку, вытащила из рукава платок, но, раздумав, спрятала его обратно и, помолчав, спросила:

— Вы не возражаете, если я скажу здесь только как мать?

Залесский пожал плечами. Илюмский фыркнул. Монастырев презрительно сощурился. Редькин подался вперед на стуле и замер в напряженной позе. Устинова заранее поднесла платок к глазам.

Сапожкова сказала, взглянув на сына:

— Тима! Если ты так думал, ты у меня очень хороший. Вот... — И мама села и стала обмахивать разгоряченное лицо платком.

Большинство голосов получил Редькин. Воскресенский торжественно провозгласил его председателем домового комитета и уступил место для дальнейшего ведения собрания.

Как ни старался Редькин мрачно супиться, чтобы скрыть счастливую улыбку, ничего у него не получилось. И странно прозвучали слова его, произнесенные ухмыляющимся ртом:

— Я человек злой, но уж если выбрали, значит, сами на себя пеняйте, — подумал и заявил: — На этом собрание считаю законченным.

Но Залесский крикнул:

— Позвольте, а как же с выселением гражданина Асмолова? — и, обращаясь к Полосухину, произнес с негодованием: — Про вас совсем забыли, дорогой!

Редькин вопросительно уставился на Полосухина, потом перевел взгляд на Коноплева. Коноплев шагнул и, подымая руку, сказал:

— Вопрос о вселении Полосухина мы будем решать только в обоюдных интересах.

— То есть как это? — спросил громко Илюмский.

— А вот так, — сурово сказал Коноплев. — Чтобы Советской власти была польза и Полосухину тоже, — кивнув головой в сторону Асмолова, пояснил: — Юрий Николаевич, про которого мы впопыхах не так думали, оказался на нашей платформе, и спихивать его с этой платформы мы никому не позволим. А вы, Залесский, и также Илюмский оказались на другой сторонке. И вот вам-то мы скажем: извините, подвиньтесь. Домовый комитет проверит, кого это вы к себе вселили и по какому случаю. И свое решение вынесет.

— Голосовать? — спросил живо Редькин.

— Не требуется, — сухо сказал Коноплев. — Теперь это твоя служба.

Пошептавшись с Коноплевым, Редькин заявил:

— А теперь, граждане, от имени домового комитета и Совета депутатов приглашаем на реку выбивать во льду проруби, чтобы спасти народное имущество...

Уже во дворе, где собрались все жильцы, к Сапожковой подошли Асмолов с женой. Асмолов сказал взволнованно:

— Варвара Николаевна, извините, пожалуйста, но мы с супругой посоветовались, и, знаете, после всего... словом, мы готовы потесниться.

— Спасибо, большое вам спасибо! — горячо сказала Варвара Николаевна, задумалась, опустив глаза, спросила: — Но вам, наверно, еще неизвестно решение Совета, запрещающее уплотнять вас без его ведома?

Асмолова воскликнула:

— Господи, какая радость! Это было бы так ужасно — жить рядом с этими тряпичниками!

— Но почему для меня такое исключение? — изумился Асмолов.

— Совнарком дал указание особо заботиться о специалистах, которые будут работать с Советской властью.

— Позвольте, но как же тогда эти?

— Полосухины? — спросила мама.

— Да, именно.

— Если домовый комитет не найдет подходящего решения, то исполком подыщет для них другое жилье.

— Умоляю, — воскликнула Асмолова, — Варвара Николаевна, голубчик, поищите настойчивей!

— Хорошо, — покорно согласилась Сапожкова, — мы будем искать, — и, взяв под руку Асмолову, ласково спросила: — Вы тоже пойдете с нами на реку?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Еще за месяц до революции из губернского города ушел караван барж. Ставленники Керенского эвакуировали на север архивы и оборудование промышленных предприятий. По реке уже плыла сплошьяком шуга, и караван на восьмые сутки вмерз посередине реки, напротив затона.

Архивы и оборудование вернули обозами в губернию. Но в преддверии весны стиснутым в ледяной толще баржам угрожала гибель.

Правда, в запасе еще было время до начала паводка, но Совет решил приступить к спасению каравана немедленно, и не только в связи с приближением весны.

Вот почему возникло это решение.

О готовящейся контрреволюционной демонстрации с требованием отменить демобилизацию армии и прекратить переговоры о мире с Германией Ян Витол знал уже давно. Кроме того, он располагал данными, что офицерский отряд

Пепелова бродит где-то вблизи от города. Пойманный лазутчик признался, что офицерский отряд, возможно, совершит нападение на город именно в день, когда будет происходить демонстрация.

Витол попросил в ревкоме разрешения объявить мобилизацию коммунистов, красногвардейцев, курсантов военного училища, чтобы произвести аресты всех причастных к готовящейся провокации.

Но Рыжиков, несмотря на то что большинство членов ревкома согласилось с предложением Витола, сказал, что так поступать не следует, и объяснил:

— Кроме контрреволюционных главарей, которые затевают провокацию, в нее вовлечены люди заблуждающиеся. Не так просто было каждому решить вопрос о мире с немцами, даже некоторым коммунистам. И враг это учел. Со своей точки зрения, он правильно наметил, куда можно побольнее ударить Советскую власть. Поэтому, с одной стороны, ясно, что главари городской контрреволюции не дураки, с другой стороны, если насильственным путем пресечь эту демонстрацию, то часть населения может подумать, что большевики в вопросе о мире не правы и не пользуются поддержкой народа. А так как правда на нашей стороне, то в расчете на силу этой правды надо провести в намеченное заговорщиками воскресенье всенародные работы по спасению барж.

Рыжиков предложил немедленно начать разъяснительную работу среди населения.

Когда все честные, сочувствующие Советской власти люди, говорил Рыжиков, соберутся на реке, сразу станет видно, если даже и произойдет демонстрация, кто за Советскую власть, а кто против. И уж после этого пусть Витол выполнит то, к чему призывает его долг, и захватит главарей заговора.

И пусть, конечно, красногвардейцы, курсанты Зубова находятся в полной боевой готовности. Что же касается всех остальных коммунистов, то они должны быть на реке с народом.

Предложение Рыжикова прошло большинством лишь в два голоса. Многие члены ревкома сомневались, удастся ли за столь короткое время разъяснить населению этого далеко не пролетарского города всю сложность позиции партии по вопросу о мире и войне да еще уговорить население добровольно пойти на реку, чтобы долбить трехаршинный лед. На такие работы при царе гоняли только каторжников.

Но, как бы то ни было, решение ревкома состоялось, и все городские коммунисты ходили с того дня по дворам, проводили беседы и приглашали жителей прийти в следующее воскресенье на реку, чтобы спасти вмерзший в лед караван.

И вот наступило воскресенье. Жители пичугинских домов под предводительством Редькина стали снаряжаться в поход на реку.

Витол, Капелюхин, Сапожков и другие шестнадцать работников комендатуры в минувшую ночь, как и в предшествующие ей, занимались изучением подготовки демонстрации, в которой, как выяснилось, принимали самое деятельное участие члены партии эсеров.

Среди них были люди, знакомые Сапожкову по ссылке. С двумя он вместе сидел в тюрьме. И от сознания того, что эти люди теперь оказались врагами, было особенно тяжело на сердце.

Если городские коммунисты, разъясняя населению всю опасность для Советской России срыва перемирия с Германией, убеждались с радостью, как много в городе умных, хороших, преданных народной власти людей, то работники Витола узнавали и другое: как много в городе людей, ненавидящих народную власть, готовых на все, чтобы погубить ее.

В тех домах, где сквозь ставни брезжил свет, когда весь город спал, находились люди, которые не спали. Сапожков проводил проверку их документов. Но документы у всех были в порядке. Нельзя же арестовать человека только за то, что на нем офицерские сапоги, или галифе с кантом, или лицо явного прапорщика. Когда Сапожков спрашивал, почему они так поздно засиделись в гостях, ему отвечали вопросом же:

— А разве при Советской власти запрещено ходить в гости?

На Базарной площади в двух подводах с сеном Сапожков обнаружил спрятанные винтовки. Но найти хозяев подвод не удалось. Крестьяне говорили, что какие-то люди у въезда в город попросили прихватить эти подводы, объяснив, что сами они придут засветло, так как им надо вести скотину на бойню. Поехали на бойню, но там никого, кроме сторожей, не обнаружили.

На пожарной каланче в неурочное время звякнул, дребезжа, колокол. Сапожков поднялся на каланчу и нашел там пожарного с проломленной головой, а на козлах, покрытых досками, стояла пулеметная тележка. Самого

пулемета не оказалось, но все уже было подготовлено для его установки. Невеселые сведения были и у других работников комендатуры.

Обо всем этом доложили Рыжикову. Он долго и тщательно изучал донесения, сложил их в стопку, придвинул к себе другую кину бумаг с резолюциями митингов, отошел от стола, поглядел, прищурившись, и сказал твердо:

— Нет, товарищи, будем все же строить весь план на этом, — и положил руку на высокую стопку с резолюциями митингов.

Сапожков пожал плечами и сказал:

— Было б странно, если бы я стал убеждать тебя не рассчитывать на массы, но факт есть факт.

Ян добавил:

— Из двадцати четырех часов в сутки восемнадцать я только допрашиваю всякую сволочь и, кажется, научился разбираться, что это сволочь.

Капелюхин произнес глухо:

— Пулемет не переговоришь, если он с умом установлен.

— Понимаю, все понимаю, товарищи, — мягко сказал Рыжиков. — Если вы упустили хотя бы одно из намерений врага, вы понесете ответственность. Но если мы с вами потеряем веру в людей, так зачем быть коммунистами? Зачем, я вас спрашиваю?..

Медленно светало. Весенний воздух набух сырým туманом, и в сизых сумерках его багровело встающее над тайгой солнце. Город просыпался не спеша. Звякали ведра на коромыслах, глухо бряцали деревянные кружки, плавающие в ведрах. Скрипели засовы на калитках. С колоколыни Вознесенской церкви раздавались зовы колокола.

Улицы были пустынные. Потянуло стужей, и туман стал опадать мелким, похожим на перхоть снегом.

Петр Григорьевич Сапожков стоял в этот воскресный день в воротах на Почтовой улице, уныло сжимая в кармане рубчатую рукоять нагана.

Никогда за всю свою жизнь ему не приходилось испытать то, что он пережил в это утро. И дело вовсе не в том, что мог разразиться мятеж и он вместе с Яном и другими товарищами, возможно, не предусмотрел всего, что нужно было предусмотреть. В конце концов погибнуть самому не так страшно. Страшно было оттого, что вот в это серенькое утро испытывалось все то, ради чего он и тысячи других револю-

ционеров-большевиков, одухотворенных верой и любовью к народу, не щадили ни жизни, ни сил.

Конечно, в этом городишке, одичавшем, обывательском, мало рабочих. Ну, сколько их? Сотни две, да и то вместе с промысловыми кустарями, в большинстве своем темными, неграмотными. Но разве все, что сделали за эти немногие месяцы большевики, понятно только грамотному? А если нет, то почему же тогда так пуста и угрюма улица?

Сапожков вспомнил лежащие на столе Рыжикова две стопы бумаг: одна поменьше (но о какой грозной опасности она свидетельствовала!), а другая, сложенная из митинговых резолюций, высокая, гораздо выше первой. Но, может быть, эти резолюции родились только в результате пламенных речей опытных ораторов? Знали ли те, кто их подписывал, что выйти сегодня на лед реки, на каторжный труд, несатым, — это не обычная очередная трудовая повинность, а тот рубеж, которым определится вера в большевиков, в их правоту, в то еще немногое, что добыли большевики для народа в муках, поисках, в беспредельной любви к своему народу? Знали ли они, что большевикам удалось согреть город, чуть ли не на своих спинах вывозя топливо из тайги; что удалось накормить людей, теряя лучших коммунистов в борьбе с деревенскими богатеями за хлеб; что удалось пустить остановившиеся при Временном правительстве предприятия? Большевики ночами ремонтировали развалившееся оборудование предприятий. Открыли клубы, библиотеки. Справедливостью, заботой о каждом трудящемся вторглись в его жизнь, помогли увидеть в себе человека — сколько на это положено душевных сил каждым большевиком!

И всего за несколько месяцев, когда каждую ошибку злорадно подкарауливает враг и каждое дело, задуманное для блага людей, враг пытается забросать грязью, не оставиваясь ни перед поджогами, ни перед порчей народного добра. Разве всего этого не знают люди города? Не помнят? Не видят? Так почему же никого нет на улице?! Правда, сбор назначен в десять часов. А сейчас только восемь. Но как тягуче томительны эти часы ожидания! Хорошо тем большевикам, которые в эти дни среди народа, говорят с ним, убеждают его и вдохновляются сами новой верой в него.

Прошел, сутуля тяжелые плечи, проверяя посылы, Ян и даже не взглянул на Сапожкова: видно, и у него на сердце нелегко. И его тревожит в это утро одно: за кем пойдут

люди? Ведь не сахар пообещали им большевики, не хлеб, а тяжелый труд на льду реки. А что пообещали те?

И Сапожков вспомнил, как ему говорили, потупившись, разные люди, которых он спрашивал, пойдут ли они на демонстрацию:

— Был тут один до вас, но тот не спрашивал, а уговаривал, обещал: ежели война с Германией снова зачнется, американцы, англичане и французы мукой завалят, мануфактурой и прочим. У них там всего много. За каждого русского солдата на сто рублей товару. Американцы машины убийственные дают, танки называются, броней крытые, в ей ни пуля, ни снаряд не берут.

— Так вы, значит, за войну? — спрашивал Сапожков.

— Не за войну, — уклончиво произносил человек, — а вот только обещают много всего...

На пожарной каланче, где дежурил теперь работник Витола, колокол пробил восемь раз, потом, после паузы, прозвучал еще один удар. Девять часов.

Потянула вьюга, туман начал сползать вдоль дощатых глухих заборов, но стало холоднее, и от рукоятки револьвера ломило пальцы.

И вдруг раздался тяжелый топот ног. В строю по четыре прошли рабочие кирпичного завода. Вскоре появилась колонна мукомолов, за ними шли слободские пимокаты, в закопченных полущубках — смолокуры и угольщики. Прошли плотной колонной рабочие лесопилки, ревкомовцы, городской Совет, сводная колонна коммунистов города, работники и актив Клуба просвещения во главе с Егором Косначевым... Потом улица опустела. Сапожков снова долго, тревожно вглядывался в завьюженную даль. Заскрипели калитки домов. На дорогу стали выходить люди. Неумело строились в колонны мужчины, женщины, подростки. Кто-то заиграл на балалайке «Варшавянку». Зазвенел подмерзший снег под сотнями ног, и длинная, вытянувшаяся толпа тронулась вдоль улицы. Кто-то затянул простуженным голосом «Из-за острова на стрежень», но его заглушила вдруг возникающая другая многоустая песня, песня революции, которую Сапожков пел когда-то вместе с заключенными в день Первого мая в тюрьме, уцепившись за каменную плиту подоконника руками и подбородком, а его оттаскивали от окна надзиратели и били по голове. Но он пел, а может, уже не мог петь, но песня бессмертно плыла из тюремных камер, и пока сбивали с ног одного заключенного, с каменного пола подымался другой и пел. А теперь эта песня была у народа, и ничто не могло убить ее. Ничто!

И хотя ее пели обычно в майские дни, а сейчас шумела вьюга и колючий жесткий снег, словно белый песок, бил в лицо людей, как тепло было от этой песни, как тепло!

Возвращаясь с проверки патрулей, Витол, приблизившись к Сапожкову, подмигнул, надул губы и продудел мотив песни. Сапожков, ободренный, радостный, хотел сделать то же самое. Ян сурово насупился, вынул из кармана руку, показал кулак.

На реке сотни людей долбили лед пешнями, кайлами, забивали железные клинья, обвязанные веревками, чтобы, пробив лед, они не падали в воду. К полудню на реку въехали на розвальнях коммунары из Сморгчевых выселок. Здесь же работали жильцы пичугинского дома с Банного переулка.

Тима, запрягшись вместе с Костей Полосухиным, Гришкой Редькиным, коноплевским Кешкой, возил на саних глыбы льда и сваливал их на сторону. Зубов прислал двух курсантов с брезентовыми мешками, в которых лежали бруски взрывчатки, и река огласилась глухими взрывами, и лед со стеклянным дребезгом взлетал вверх искристым фонтаном, и вся толща льда вздрагивала.

К середине дня баржи освободили ото льда. На палубе одной баржи появилась улыбающаяся актриса Вероника Чарская. Егор Косначев объявил, что сейчас она выступит перед публикой с декламацией. Чарская, полузакрыв глаза, читала стихи про матросов в Петрограде. Хотя Чарская выговаривала стихи невнятно, в них было много слов про революцию, и за это ей кричали «ура» и «бис».

Потом люди забрались на баржи и, упершись в лед толстыми жердями, толкали баржи сквозь разбитый, плавающий на воде лед к затону.

Но вот на берегу, где высились лабазы, из распахнувшихся ворот вылезла орущая, воющая толпа. В руках шесты, и на них плакаты: «Долой предательский мир с кайзером!», «Смерть немецким шпионам!», «Верность союзному долгу!», «Да здравствует областная дума!»

Постояли некоторое время на берегу, размахивая полотнищами, потом, понукаемые окриками, вступили на лед. И вдруг по команде ринулись на ближайшую баржу, где находились только Косначев и Чарская. Оттолкнув Косначева, плечистый, в черном романовском полушубке человек сдернул с головы офицерскую барашковую папаху, взмахнул ею и крикнул повелительно и зычно:

— Граждане свободной России! Мы призываем вас быть свободными гражданами и раскидать тех, кто заставлял вас заниматься подневольным трудом.

Косначев, придерживая одной рукой очки, другой ухватив этого человека за плечо и силясь повернуть к себе, кричал возмущенно:

— Кто вы такой, что вам здесь надо?

Но в это время сын лабазника Ершова, стоявший за спиной человека в романовском полушубке, ударил Косначева по шее гирькой на сыромятном ремне. Косначев упал.

Человек в романовском полушубке стал торопливо задирать полу, выдергивая маузер из желтого деревянного ящика. Ершов закричал, махая рукой оставшимся на берегу:

— Давай, жги по им, ребята!

Раздалось несколько выстрелов с баржи и потом с берега. Люди ложились на лед. Вдруг сухо и четко застучал пулемет. Но теперь на снег падали только те, кто оставался в толпе провокаторов на берегу. Было видно, как редкими, неторопливыми цепочками стягивались вокруг них курсанты военного училища и красногвардейцы.

Те из провокаторов, кто забрался на баржи, метались по палубе, но их уже сволакивали вниз.

— Купай! — кричали люди. — Купай их, паразитов!

И уже скрученного веревками человека в романовском полушубке столкнули в полынью, и он барахтался там, хватаясь руками за разбитые льдины. Туда же на веревке сбросили и Ершова.

— Товарищи! — кричал Косначев силно, держась за вздувшуюся от удара шею. — Прекратите самосуд! — и, топая ногой, требовал с отчаянием: — Я вам приказываю как комиссар просвещения!

Коммунисты-рабочие пробивались сквозь сомкнувшуюся толпу к тем, кого со злым весельем окунали на веревках в полынью.

С трудом удалось вырвать их из рук рассвирепевших людей, уложить в сани и увезти туда, где были курсанты и красногвардейцы. Потом на баржу поднялся Капелюхин. Он сказал укоризненно:

— Что же это, товарищи? Нехорошо так. — И вдруг ухмыльнулся и спросил: — Зачем же воду поганить без нужды? — Потом подумал и объяснил: — Одни контры в лабазах попрятались, а других мы на улице побрали. — Спросил: — Может, кто напугался, так пускай идет спокойненько домой. Больше ничего такого не будет.

— А кто не хочет?

— Так ведь к вечеру близко, — уклончиво сказал Капелюхин.

— Мы костры запалим.

— Ну, дело хозяйское, — благосклонно согласился Капелюхин и спрыгнул с баржи на лед.

Почти всю ночь горели костры. С рассветом баржи завели по пробитому льду в самый затон.

По неспящему городу шли усталой поступью люди с реки, и, хотя колонны их были теперь совсем нестройными, многие пели ту же песню, с которой шли на ледяные работы утром.

Тима возвращался домой с мамой. Полы ее беличьей шубки были покрыты ледяной коркой. Мама ушибла ногу пешней и теперь шла, прихрамывая. Тима хвастливо говорил:

— А папа на реку не пришел и не знает, как мы здорово лед ломали. Спит небось.

Но Тимин папа не спал. Терпеливо допрашивал он угрюмых людсй. И те не знали, кто перед ними: опытный, коварный следователь, который, задавая несущественные вопросы, готовит ловушки, или не понимающий дело про-стак.

Ну, зачем, скажем, он допытывается у Ершова, сколько его отец имел барыша с военных поставок? И вовсе не интересуется, почему Ершов ударил гирькой большевистского комиссара. Потом, почему, когда Пепелов сказал, что маузер он вытащил от испуга, потому что комиссар якобы хотел столкнуть его с баржи, Сапожков не стал с ним спорить, но когда Пепелов заявил, что он только русский патриот, Сапожков больше всего интересовался не тем, почему у Пепелова оказался маузер, а от кого он получил адрес американского консула в Омске: адрес этот Сапожков обнаружил под картинкой, наклеенной на крышке портсигара Пепелова. Эту картинку очень внимательно разглядывал Ян Витол. Потом он одобрительно сказал Сапожкову:

— Молодец!

Сапожков смущенно поежился и как-то виновато объяснил:

— Я это, понимаешь, случайно обнаружил. Подумал, зачем на портсигаре этого скверного человека наклеен портрет ребенка? Неужели он любящий отец? Стал отры-

вать, наблюдая, как он будет реагировать на это, и вот обнаружил.

— Эх ты, психолог! — сказал с сожалением Ян. — А я-то полагал, ты иной логикой руководишься.

— Но ведь это тоже логика.

— Искать добродетельных отцов среди этих — не логика, а пустая интеллигентщина, — сердито заявил Ян.

Папа пришел домой только через два дня. Глаза его слипались; вяло улыбаясь, он сказал маме:

— Варенька, их всех в губернию отправили. Это очень хорошо.

— Почему же хорошо? — спросила мама.

— Так, — сказал папа загадочно. — Нам ведь до сих пор ни разу не приходилось... Так пусть это будет позже, чем раньше.

— Я не понимаю, что ты хочешь сказать! — произнесла мама строго. Потом, словно поняв, что хотел сказать папа, обняла его голову, прижала к себе и проговорила шепотом: — Ничего, Петр, ты все равно у меня будешь всегда добрый и хороший. Даже если такое нужно будет сделать. Да?

Папа ничего не ответил: он спал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Уездный комитет назначил комиссаром транспортной конной конторы Егора Хомякова.

Невысокого роста, узкоплечий, с сердитыми карими глазами, он держал себя чрезвычайно властно. А когда с ним пробовали по-приятельски спорить, раздражался, кричал, хватался за кобуру. Видно, наблевшее, изголодавшееся самолюбие этого человека искало утешения.

Он снисходительно сказал Хрулеву:

— Ты пока при мне побудь, а дальше — погляжу.

Хрулев, кивнув головой, молча согласился стать подчиненным.

В первый же день Хомяков приказал выстроить коней во дворе казармы. Обойдя конский строй, велел пронумеровать лошадей, для чего масляной краской написали на ляжке каждой лошади порядковый номер.

Затем Хомяков отдал распоряжение: «Чтобы соблюдать революционный порядок и никакой анархии. Вся конская сбруя должна храниться в амбаре под замком и будет лично выдаваться только предъявителю ордера на выезд. Коням

в ездках давать полный рацион; коням безвыездным — половинный».

Долго и недоверчиво допытывал предъявителей ордеров на подводу, для какой надобности требуются лошади. А конюхам и возчикам коротко заявил:

— Поскольку весь транспорт находится на военном положении, ввожу военную дисциплину вплоть до расстрела в случае саботажа и прочего.

Он был деспотически строг, мелочно придирчив. Увидев в конюшне Тиму, привел его как арестанта в сторожку и там обидно допрашивал. Но, выяснив, кто он, разрешил находиться при лошадях и даже выписал удостоверение. Хотя Тима был очень благодарен за удостоверение и гордился им, неприязнь к Хомякову от этого не исчезла.

Но вот странно, рабочим Хомяков почему-то нравился. Многие его даже хвалили. Хрулев говорил благодушно:

— Велел на ляжке коням масляной краской цифры намазать. Сразу видать, в конском деле несмыслящий. Но зато в главном — башковит. Строгий порядок требует, чтобы все в учете было. По-хозяйски мыслит.

Плотника Ушастикова Хомяков посадил под арест в сторожку на сутки за то, что тот плохо вычистил конюшни. Выйдя на свободу, Ушастиков заявил:

— А я думал, он на испуг только орет, а он видал, какой крутой! Не побоялся, что народ за меня шуметь будет.

И, видно, по этим же соображениям рабочие прощали Хомякову грубость, диктаторские замашки, привычку при всяком возражении хвататься за револьвер.

— Вы, ребята, не обижайтесь, когда он лишнее позволяет, — говорил Хрулев. — Всю жизнь его самого только низили, а теперь сразу как выпрямился, стал поверх голов людям смотреть. Ничего, обомнется. Папашу его, Феоктиста Хомякова, я знал. Он на Судженских коях писарем служил. Егорка тогда с политическими каторжными спознался. Отец на него донес. Сослали Егорку. Но отец все ж к нему снисхождение проявил. Выхлопотал должность в тюрьме. Стал Егор заключенным с воли записки передавать. Даже побег одному устроил. Но через нашего Георгия Семеновича Савича попался. Тот книжечку про себя написал, как за революцию боролся, и в этой книжечке про сознательного надзирателя упомянул. Не пожалел или недоумал, что с Хомяковым после этого будет. Ну, Егора на каторгу. Он здоровьем хилый, потом уголовники не любят тех, кто в тюрьме служил, били его, изгалялись до невоз-

возможности. После Февральской, кто здоровьем покрепче, с каторги ушли. Хомяков тоже через тайгу пошел. Набрел на диких старателей, те приспособили его без доли на самые тяжелые работы. Пришел в город как скелет, одежда к болячкам прилипла. Но душой не ослаб, записался в дружинну. Храбро дрался. За это его все уважали. Только он на людей стал беспощадный. Все к стенке буржуев требовал. За это, верно, его к лошадям и приставили, чтобы душой обмягчился. Кони — они душевный подход требуют, ласку.

Но к коням Хомяков относился тоже без души. В наряды посылал по номерам, без учета, на какую работу какая лошадь пригодна.

Понимая, что комиссар не разбирается в конском деле, Хрулев привел в транспортную контору ветеринара Синеокова. Синеоков был знатоком-лошадником, привык к почету и уважению. Низкорослый, плечистый, подпоясанный широким кожаным ремнем, на котором висела разная металлическая коновальская снасть, он молча обошел все стойла, тщательно осмотрел коней, потом сказал сердито:

— Испоганили — дальше некуда! На живодерню, вот куда их надо. А мне тут делать нечего.

— Силантий Порфирыч, — заискивающе попросил Хрулев, — ты уж нас прости, мы люди в этом деле темные, подсоби, чем можешь, — и, вытащив из кармана завернутые в платок часы с медной цепочкой, попросил: — Прими из уважения. А благодарность еще сама по себе будет.

Синеоков сдвинул трюх, поднес часы к большому уху, заросшему серыми волосами, осведомился:

— Они ходят, пока хозяин ходит?

— Восемь лет ни разу не соврали, — обиделся Хрулев.

— Тогда вот. Первое мое слово, — сурово приказал Синеоков, — налей в ведерко керосину и сотри с коней цифры, — и визгливо и раздраженно закричал: — Номера наставили, как на товарные вагоны! Вагон от вагона — никакой разницы. А конь? Его надо отличать пуще, чем человека от человека. Понял? Так, пока цифры не сотрешь, не будет больше нашего разговора.

После того как цифры смыли, Синеоков сказал:

— Человеку без паспорту жить даже просторней, а коню нельзя, у него приметы не для полицейского розыска, а для дела назначены, чтобы знать, на какую работу какой конь годен. Вот гляди! — Синеоков взял лошадь за погу и, держа копыто на ладони, спросил торжествующе: — Ну, что вы видите? По вашим ромам замечаю — нет у вас

никакого понятия. А что тут есть на самом деле? Роговой башмак от сырой подстилки размягчился, с этого стрелка гниет. Видал, как в путовом суставе пульсы стучат — значит, он воспаленный. Такому коню в упряжке два дня походить — и дорога на живодерню. — Вытирая руки о полущубок, заявил: — Пойдем дальше. Вот гляди, тоже конь порченный, уши холодные, глаз тусклый, шерсть топорщится. А с чего? — Он наклонился, провел рукой по спине. — Гляди, на затылке пухлина, на холке набоина, не подогнали сбрую, ироды, вот и повредили коня.

— Так ведь сбрую выдаем на выезд, а не на каждого коня, — сказал жалобно Хрулев. — Такой порядок завели.

— Эх вы, хозяева! — небрежно бросил Синеоков. — Солдатам и тем амуницию в рост подгоняют, а вы с конями так безжалостно. Надо, чтобы при каждом коне его сбруя была, подогнанная, а то сгубите коней.

Синеоков приказал сделать конскую перепись. В ней принял участие Тима. Держа в руках школьную тетрадку, он ходил за Синеоковым по конюшне и писал:

«Соловей — рыжий жеребец, постав телячий, спина седловиной, уши заячьи, шея короткая, хвост низко приставленный, локоть прижатый, конытный рог — сухой, подошва куполом, ход сваленный, в путовом суставе налив.

Чижик — конь буланый, уши коровьи, постав медвежий, копыто сухое, сводчатое, стрелка килеватая, шея ветчинная».

А про своего выдающегося коня Ваську Тима записал очень обидное:

«Саврасая кобыла, постав косолапый, роговой башмак в трещинах, локти отставленные, губа тельная, хвост высоко приставленный, на голове лысина».

Тима попробовал возразить Синеокову, что никакой лысины на голове у Васьки нет, но Синеоков ткнул в белое пятно на плоском лбу Васьки и спросил презрительно:

— А это тебе что?

— Так это ж звезда! — воскликнул Тима. — Видите, белые волосы, и никакой лысины нет!

— По-нашему, лысина — это пятно иной масти, а когда шерсть стерта, то плешина. Понимать надо. — И повелительно приказал: — Не рассуждай, пиши дальше!

И Тима писал, перечисляя потертости, наливывы, пагнеты, пухлины, набоины и другие болячки, которые называл ему Синеоков.

Хрулев созвал собрание партийной ячейки транспортной конторы, на которое привел Синеокова, и велел также

явиться Тиме с его записью. Но Хомяков запротестовал против того, чтобы на собрании присутствовали два беспартийных: Тима и Синеоков.

Хрулев объяснил, что Синеокова он позвал как специалиста по конскому делу, и сослался при этом на Ленина, который советует привлекать специалистов к народному хозяйству, и все, кроме Хомякова, подняли руки за то, чтобы Синеоков остался на собрании. А про Тиму Хрулев сказал, что он еще не шибко пишет и разобрать, чего он в тетрадке записал, чужому человеку трудно. Но почему-то про Тиму голосовать не стали. Первое слово Хрулев предоставил Тиме. И Тима торжественным голосом читал про разные конские поставки и всякие болезни и болячки. Слушали его внимательно. Когда Тима кончил читать, Хрулев сказал:

— Вот, товарищи, какое дело выходит. Конечно, то, что мы цифрами коней переписали, — это для начала ничего, но дальше втемную шли и могли коней попортить. Товарищ Синеоков нам глаза открыл. Выходит, при старом режиме коня еще до рабочего возраста заставляли непосильно работать, и от этого все поголовье сильно порченное. Выходит, нам надо это наследство капитализма сначала на ноги поставить: откормить, выходить, вылечить. Но времени у нас на это нет. Поэтому придется день и ночь коней ремонтировать, чтобы хоть кое-как в естество вернуть. А чего надо делать, об этом товарищ Синеоков доложит. Прошу поздравить его в ладоши как оказавшего помощь рабоче-крестьянскому государству в трудном народнохозяйственном деле.

И все, кроме Хомякова, стали хлопать Синеокову. А Синеоков, польщенный, кланялся, прижимая к груди толстую ладонь с засохшей под ногтями конской кровью, взволнованно бормотал:

— Спасибо, граждане, за почет, готов за это вам и вашим коням на услужение. Теперь, значит, слушайте меня беспрекослову, какой за конями настоящий уход требуется. Тут я над вами царь, поскольку в городе почитаюсь первым знатоком по конской части.

Рабочие слушали Синеокова с интересом. Но Тима испытал от этой лекции разочарование. Он думал: Васька станет другом — вроде собаки, но гораздо лучше, потому что на Ваське можно ездить куда хочешь, и все будут уважать за то, что у него завелся такой друг — конь. А оказывается, лошадь глупее и беспомощнее собаки и без присмотра жить не может, даже есть она должна по часам. Для того чтобы сжевать фунт овса или сена, лошадь тратит

четыре фунта слюны, поэтому ее обязательно перед едой надо поить. Поест, должна отдыхать час, чтобы пища переварилась, а если сразу после еды на работу, заболит животом, вроде того как если березового соку обопьешься. Ходит лошадь на пальце. Копыто — ноготь и подставка всему коню; за копытами нужно сильно ухаживать, чистить, смазывать, делать спайки. У резвой лошади глаз большой, выпуклый, уши подвижные, копыта маленькие, гладкие, блестящие, с перламутровым отливом, вогнутой подошвой и килеватой стрелкой. Есть кони близорукие, которые с маху могут сами себя расшибить. Работать на коне надо начинать исподволь, медленно, чтобы дыхание и пульс не становились сразу частыми, а то испортится у коня сердце, и тогда он пропал.

Все эти наставления Синеокова напоминали Тиме рассуждения Петьки Фоменко о литейном деле, Гришки Редькина — о токарном, Кости Полосухина — о портняжном. Значит, выходит, где бы и над чем ни трудился человек, во всем есть своя тайная и гордая наука. Можно быть кем угодно, но если ты свое дело знаешь, то тебя люди будут чтить.

Про коновалов Тима знал дразнилки: «Коновал, коновал, кошке лапы подковал». И другие, совсем срамные. А вот коновала Синеокова Хрулев позвал на собрание партийной ячейки и заискивал перед ним, совсем как папа перед доктором Дмитрием Ивановичем Неболюбовым, когда уговаривал его возглавить секцию охраны народного здоровья уездного Совета. Неболюбов, выслушав, заявил решительно:

— Не могу, ибо дорожу этикой врачебной корпорации, и не только принимать, но даже обсуждать подобное предложение с человеком, не имеющим медицинского диплома, считаю недопустимым. — Потом, видимо, пожалел папу и добавил снисходительно: — Конечно, при всем моем несомненном уважении к вам лично.

Папа сказал кротко:

— Извините, пожалуйста, я не врач, но, пользуясь случаем, не могу скрыть своего восхищения вашими методами сберегательного лечения, благодаря которым во многих случаях удается избежать ампутаций.

Неболюбов удивленно поднял брови, ткнул пальцем папу в грудь и спросил строго:

— Гнойно-фибринозный перитонит — основные симптомы?

Папа потрогал бородку, полузакрыв глаза и стал про-

износить поспешно множество медицинских слов. Неболюбов слушал, кивал, потом заметил одобрительно:

— В общем, ход мыслей правильный. — Задумался и произнес нерешительно: — Ну что ж, как медик, пожалуй, сочту своим долгом принять участие в вашем новом учреждении, — протянув папе руку, посоветовал: — Бросили бы вы, батенька, политику и занялись медициной, уверяю вас, это гораздо полезнее для народа.

С таким же высокомерием, с каким Неболюбов говорил с папой, Синеоков говорил с Хрулевым. Небрежно цедя сквозь зубы, он командовал:

— Ты, милочка, раздобудь шайки. Налей холодной водички и поставь Саврасого копытами в них на всю ночь. А если запомнил — у коня четыре ноги, — значит, сколько шаек надо? — спрашивал раздраженно: — Ну чего ты полез в конское дело? Твое занятие — кирпичи обжигать, — и сокрушался: — Морока мне одна с вами!

Хрулев, запасшись ордером, послушно поехал в сомовскую баню и конфисковал там шайки.

Не обижался он и тогда, когда в аптеке Гоца, отпуская слабительное по рецепту Синеокова, провизор говорил насмешливо:

— Очевидно, только конские дозы могут воздействовать на ваш желудок?

На собрании Хрулев не только держал себя с Синеоковым очень почтительно, но даже вопреки протестам Хомякова предложил в резолюции записать благодарность ветеринару.

Хомяков сказал ему громким зловещим шепотом:

— За сегодняшнее собрание ты мне в ревкоме ответишь.

— Ладно, — согласился Хрулев, — отвечу.

И почти тем же тоном, каким Тимин папа говорил, что он восхищен методами сберегательного лечения Неболюбова, сказал Синеокову:

— А копытца у коней после вашей мази залоснились, вроде как башмаки от ваксы, словно новыми стали.

Тиме советовали его Ваську назвать Машкой. Но он остался верным прежнему имени, и Хрулев скрепя сердце вывел над денником мелом «Васька».

На Ваську выдали набор сбруи, ведро, скребницу, щетку, зубило и молоток, чтобы выбивать лед из подошвы копыта. Тима сам проверил подгонку конского снаряжения. Сначала шлея оказалась слишком глубокой, она покрывала ляжки коня, затрудняя ход. Шорник сделал ее

мельче, но при ходьбе она сползала набок. То же самое было с хомутами: короткий хомут давил шею, длинный набивал холку и плечи.

Тима с обидой сказал шорнику:

— Небось штаны вы мои носить не станете, а коню тесную одежду даете. Разве так можно?

Когда Ваську запрягали, Тима согревал в руках удила, чтобы холодное железо не прилипало к языку и губам лошади. Хомут он протирал жгутом соломы, а все ремни шлеи, чтобы были помягче, густо смазывал дегтем. Сам весь вымажется до бровей, и конь весь в дегте.

— Ничего, — утешал Хрулев. — Я когда на завод учеником пришел, не то что руки, вся рожа в волдырях была: за каленый кирпич хватался без привычки. Деготь не грязь, он полезный. Им даже от лишаев лечатся.

К чести Хомякова нужно сказать, он все-таки признался перед Хрулевым, что был неправ, и, пригласив к себе в сторожку Синеокова, попросил его снова повторить все, что тот говорил на собрании, и записал это в тетрадку.

Теперь каждый раз, когда возвращались подводы, Хомяков, прежде чем отпустить уполномоченного, тщательно осматривал коня и, если обнаруживал потертости, сбитую холку, замерзшие комья пены на сбруе, составлял акт и в наказание заставлял чистить конюшни. В споре с одним из уполномоченных он даже схватился было за паган. Несмотря на свою хилость, Хомяков только одной яростной смелостью одолел уполномоченного и, обезоружив его, заставил выгребать навоз. А этот уполномоченный был работник трибунала, и, как ни грозил он Хомякову, тот равнодушно говорил:

— Будь моя власть, я бы весь личный состав и всех коней вывел на плац и при них тебя самолично застрелил за зловредное отношение к народной собственности.

Скручивая из табака уполномоченного сигарку, продолжал:

— Ты гляди, как наши ребята за конями ухаживают: почище, чем солдат за винтовкой. А ведь дома дети — шелудивые, немытые, голодные, разутые-раздетые. У Соркина на восемь детей одна пара валенок, и те рваные. А он для хомута где-то войлок достал и прилаживает. Сапоги дырявые, заплатки положить не из чего, а он хомутину, из которой солома во все стороны торчала, новой кожей обшил. Это как называется? А называется это саможертвование на социализм. Исходя из этого, я на тебя и погорячился.

— Я человек стреляный,— огрызнулся уполномоченный,— меня пистолетом не сконфузишь.

— Тебя товарищ Витол сконфузит,— зловеще предупредил Хомяков.— Вот я ему на тебя написал.

И, вынув из кармана бумагу, Хомяков с выражением прочел рапорт, в котором уполномоченный назывался язвой на теле революции.

— Да что я за вашим конем, как за девкой, должен ухаживать? — возмущался уполномоченный.

— Сравнил коня с бабой! Конь — это революционное имущество. Поэтому всякое нанесенное ему повреждение рассматриваю как факт контрреволюции.

Швыряя яростно вилами навоз в плетеный короб, уполномоченный сказал жалобно:

— Ты словами хуже, чем из пистолета, бьешь.— И возмущился: — Что я тебе, контрик?

— Хуже,— спокойно ответил Хомяков.— Контрик знает, почему революции вредит, а ты от одной своей глупости ей болячки делаешь.

— Так не ей — коню!

— Конь тоже революции служит,— правоучительно произнес Хомяков.

Одет Хомяков был очень плохо: от сапог остались одни голенища, под ними арестантские опорки, рыбацьи порты, стеганая кацавейка с торчащей из прорех паклей и старая солдатская папаха. Все остальное его личное имущество состояло из нагана, черемухового мундштука, толстой клеенчатой тетради, с привязанным к ней на веревочке огрызком карандаша, и стопки брошюр, завернутых в полотенце. Спал он на голом топчане, положив голову на папаху, ел черный хлеб, запивая горячей водой, а пайковый сахар копил, как он объяснил Тиме, для того, чтобы выменять у буржуазии на толкучке книги. Хомяков жаловался:

— Мне бы своими глазами Маркса прочесть, а то неловко получается: лозунги его знаю, а что он про все другие жизненные случаи советует, неизвестно.

Партийное удостоверение носил он в кожаной рукавичке, которая висела на шнурке под гимнастеркой вроде ладанки.

Кладя руку на то место, где у него висела эта рукавичка, Хомяков говорил Тиме:

— Партия, Сапожков,— это для большевика больше, чем господь бог для верующего. Мне уголовные ключицу сломали и руку из сустава вышибли, а я от обиды веру

в людей не уронил. Говорю: придет время, и вы, сволочи, поймете, с какой стороны счастье засветит.

— А почему вы такой злой всегда? — спросил Тима.

Хомяков ответил со вздохом:

— Я человек с виду неказистый и на разговор не шибко внушительный. Не умею разные слова красиво говорить. А чем людей иначе возьмешь? Оно ведь, я понимаю... надоели до смерти людям разные начальники. Все ими обижены. Но нынче как получается? Надо каждому сил не жалеть, поскольку не на буржуев, а на себя работаем. А как другой человек думает? При старом режиме работал и теперь тоже надо не меньше, а больше. Ну и бузит. Какая же это революция, если нет облегчения? А чтобы облегчение полное получилось, надо его заработать. С неба нам ничего не свалится, вот и приходится на людей жать без жалости. Пусть меня и сволочат, зато потом сразу всем легче станет. Это меньшевики и эсеры сладкую жизнь с буржуйских подачек сулят. А мы, большевики, по правде говорим: чего сами наработаете, то все ваше. Много, складно поработаем — хорошо жить будем, как и не снилось никому. Мало да вразброд — значит, жить впроголодь. А за это мы в ответе перед народом. Такая, значит, наша политика.

Хомяков взял на себя уход за двумя конями, чтобы личным примером доказать, как может выглядеть конь в хороших руках. Вернувшимся с ездки лошадям он долго тер холку и спину жгутами соломы, потом зубилом выбивал из подошвы копыт приставший лед, протирал копытной мазью, водил по плацу, чтобы кони не сразу остывали. Запотевшую сбрую отмывал в теплой воде и, смазав дегтем, вешал сушить у себя в сторожке. Его серое, морщинистое лицо с дряблыми запавшими щеками покрывалось нездоровым потом, дышал он тяжело, со свистом в груди. Часто из онемевшей руки выпадала скребница; наклоняясь, он никак не мог ее ухватить плохо повиновавшимися пальцами. Видно, со здоровьем у него было плохо. Как-то, вычистив днем конюшню и натаскав в кормушку сена, он так устал, что не смог принять с ездки своих коней. Коней за него убрал Хрулев. Но потом Хомяков кричал на Хрулева, хватаясь тощей рукой за кобуру, похожую на окорок:

— Ты мой авторитет здесь не рушь! Я таких благодетелей могу отсюда по шее! У меня мандат с полномочиями, понял? Выгоню к чертовой матери!

Всю ночь он провозился в конюшне, клал новые плахи вместо пробитых подковами и по неловкости или от слабости глубоко рассек левую руку топором.

Но на следующий день, бледный, с обмотанной влажными тряпками кистью, он ходил как ни в чем не бывало по конюшне, отдавал распоряжения, а когда вернулись его кони, преодолевая себя, вычистил их одной рукой.

Однажды Тима не пришел в контору. На следующий день Хомяков велел ему зайти в сторожку и, держась рукой за кобур, заявил:

— Ты что из себя барчонка строишь, дисциплину ломаешь? Ежели из революционного долга к коню пристал, так выполняй все, как все, а нет — катись отсюда подальше! Разложение вносить никому не позволю. Накладываю взыскание: возить воду с реки. А потом погляжу, допущу снова к коню или нет. И отцу про мое взыскание доложишь. Понятно?

Два дня Тима ездил на реку, сидя на обледенелой бочке. Саврасая слепая кобыла, у которой была старушечья осторожная поступь, при малейшем шуме останавливалась, растопылив ноги, и не хотела двигаться, пока ее не возьмешь под уздцы. Набирая черпаком воду из проруби, Тима обливал валенки, поддевку, и все на нем обледеневало.

Хомяков говорил строго:

— Поди оттай в сторожке, а то одежду поломаешь и будет вся в прорехах.

Отогревшись в сторожке, Тима тоскливо бродил возле конюшни, но «ломать дисциплину» не решался и только, заглядывая в окошко, смотрел на Ваську, мысленно обращаясь к нему со всякими ласковыми словами.

На третий день запрет Хомяковым был снят, и он разрешил Тиме поехать на Ваське по наряду детдома № 1.

Запрягать помогал Белужин. Большой, рыхлый, ленивый, с толстым веснушчатым лицом, он умудрялся потеть даже на морозе; вяло двигаясь, говорил обиженно:

— Кирпичник я, а заставили еще конюхом быть. Вот тебе и революция — восемь часов!

— Кто же вас заставил вступить в дружину? — спросил Тима.

— А совесть, — равнодушно ответил Белужин. — Говорят, за дармовщину работать — долг каждого сознательного.

— Ну и что?

— А то, что я неосознательный, а сказать об этом совестно, — и сердито прикрикнул на Тиму, стоящего на ящике перед головой Васьки: — Ты как хомут одеешь? Суешь, как раму! Надо клещами вверх, а после свороти вниз. — Расправляя сбрую, жаловался: — Нашим коням

следовало на дугу колокольцы навесить, чтобы все люди знали: на народном коне едешь, и уважали за это. — Посоветовал Тиме: — Ты бы свою кобылу отучал по-коровьи спать, копыта под себя подогнув. Коновал объявил: дрянная лошадь, которая так спать ложится.

— Это он от холода жметесь, — оправдывал Тима Ваську. — Попробовали бы вы сами в истопленном помещении поспать!

— Чудила, кто же в конюшне печи ставит?

— До революции с конями плохо обращались, а после революции должны хорошо, — авторитетно заявил Тима.

— Агитируешь, как Хомяков! — небрежно заметил Белужин. — Вот наш Хрулев словами не бренчит, но куда его повористей. А в начальники не вышел.

— Он же председатель ячейки.

— Вот я и говорю. За всех и за все в ответе. А чина ему не дали.

— Может, не хочет?

— Как так не хочет? Ты поглядел бы, какой он на заводе самовластный. А здесь перед Хомяковым, как солдат перед унтером.

— Это он для дисциплины.

— А на кой она, дисциплина? От нее при старом режиме из людей чурки делали, а теперь каждый должен быть в полном своем естестве.

— Вы зачем так много соломы кладете? — прервал его Тима. — Мне не надо, я стоя буду править.

— Я не для тебя, а для вещи, которую ты везти должен. Говорят, цены ей нет. Один ящик тысячу стоит.

— А что это за вещь?

— А вот поедешь — узнаешь. Говорят, музыка такая.

Предъявив часовому пропуск, Тима выехал из ворот транспортной конторы, стоя в санях на коленях и держа в обеих руках вожжи. Он был весь переполнен ощущением счастья от сознания своей самостоятельности, своей необходимости в каком-то важном деле. Беспокойное чувство одиночества исчезло: Тима был сейчас один, но как никогда со всеми. Он выехал со двора на Ваське, и это записано в книге у Хомякова, и там же в графе «возчик» стоит фамилия «Сапожков». И в кармане у него лежит наряд, на котором должен после расписаться какой-то Утев. Нужно только не забыть сказать, чтобы этот Утев написал также время, когда Тима кончит работу. И Тима что-то очень ценное привезет на Ваське. Это нужно для революции, так же как то, что делают папа, мама, Эсфирь, Федор, Капелю-

хин, Ян. Ведь и про все их дела записывает у себя в книжечке Рыжиков и потом, глядя в эту книжечку, ругает тех, кто делает плохо, хвалит тех, кто хорошо. А когда кто-нибудь особенно хорошо делает свое дело, Рыжиков поминает Ленина, который больше и лучше всех работает для революции.

На картинке, которую видел Тима, Ленин так себе, самый обыкновенный человек и больше похож по одежде на доктора, чем на вождя. Как ни вглядывался Тима в картинку, нигде у Ленина он не заметил пистолета. Интересно, почему же его все слушают и как он заставляет слушаться тех, кто слушаться не хочет? Хомяков — ведь тоже большевик и комиссар, но он говорит: «Если другому человеку револьвера не покажешь, то он не сразу слушается». А как же Ленин без всякого пистолета? Видать, он очень добрый. Наверное, так. А Ян говорил, что Ленин беспощаден к врагам революции, и ругал папу за то, что он интеллигент. А папа говорил, Ленин гораздо интеллигентнее всех интеллигентов — он ученый и знает много разных наук и написал много самых наиважнейших книг для революции. Когда мама и папа о чем-нибудь спорят, они говорят: Ленин сказал, Ленин писал. Папа помнит многое на память и всегда берет верх над мамой. Интересно, знает Ленин, какая у них в городе транспортная контора и кто в ней работает?.. Папа говорил, что декрет о национализации транспорта подписал Ленин. Значит, он и про золотаревских коней тоже знал, когда подписывал...

Падал косматый снег, и весь город выглядел новеньким и чистым. Васька, трясая головой, шлепал по снегу большими, широкодонными копытами, которые обличали в нем рабочую, нерезвую лошадь. И всхрапывал ноздрями, когда в них попадали снежинки.

Тима, широко расставив ноги, правил стоя, стараясь покучерски держать вожжи в одной руке. По тротуару брели прохожие, но никто не глядел на Тиму восхищенно и почтительно, не любопытствовал: «А по какому делу едет подвода транспортной конторы и кто правит конем с таким важным, насупленным лицом?» Когда Тима крикнул прохожему, собиравшемуся перейти улицу: «Эй, поберегись, раздавлю!» — человек сердито взглянул на него и сказал насмешливо:

— Чего орешь, дура? На таком одре только покойников возить.

Тима, хоть и был оскорблен за Ваську, не стал дергать вожжи, чтобы показать его ход. Он помнил слова Синеоко-

ва, что коня надо вводить в рысь исподволь, а то можно ему сердце надорвать. На подъеме Тима слез с саней и пошел рядом с Васькой, а когда ехали с горы — упал с разбега в сани и крикнул:

— А ну, милый, давай!

Васька бросился вскачь, и в передок саней полетели комья плотного снега.

Остановившись у подъезда кобринского дома, Тима увидел засыпанного снегом человека, который оказался Утевым. Он сказал Тиме:

— Ты что, милоч, молоко вез, расплескать боялся или по своим надобностям куда завернул? — и добавил огорченно: — Парнишку прислали, вот люди, а нам сила требуется. Вещь весом, пожалуй, поболее двадцати пудов...

Тима привязал вожжи к тумбе и приказал Ваське:

— Смотри тут, стой без меня как вкопанный, — и вместе с Утевым вошел в кобринскую квартиру.

Посредине гостиной стоял рояль с поднятой крышкой, похожий на гигантскую черную птицу с оттопыренным крылом. На круглой табуретке с металлической ножкой винтом сидел сам Адам Адольфович Кобрин в синем стеганом халате, расшитом белыми шнурами, и с остервенением играл на одних черненьких клавишах «Собачий вальс».

Трое рабочих, стоя возле рояля, растерянно и недоуменно переглядывались. Один из них, высокий, костлявый, держа шапку в руках, скорбно взмолился:

— Что же такое получается, товарищ Утев? Видал, играет на полный ход?! А в мандате сказано: «Изъять ввиду неиспользования владельцем по назначению».

Не поднимая глаз, Кобрин еще яростнее заиграл «Собачий вальс» и крикнул радостно:

— Говорил, музыкант, а вы не верили! — И, прижав ногой педаль, перенес руки на басы, отчего вся квартира наполнилась гудящим грохотом.

Но лицо Утева не дрогнуло, наоборот, оно стало каменно-неподвижным. Кивнув головой, он произнес равнодушно:

— Музыкант так музыкант. Значит, посидим, послушаем.

Оглянувшись, отступил к стулу, обитому цветастой материей, положил на сиденье папаху, уселся на нее и замер в спокойной позе ко всему безразличного человека.

Немного спустя он предложил рабочим:

— А вы, ребята, чего стоите? Давайте, присаживайся, кто куда, но с мебелью поаккуратнее, не замажьте.

Кобрин торжествующе спросил Утева:

— Ну что, доказал?

— Это вы про что?

— Вы говорили, не музыкант, а вот играю!

— Вы про это? — спросил беспечно Утев. — А я думал, про что другое, — пригладил на затылке ладонью волосы и сказал ухмыльнувшись: — Ну вот и играйте себе, а мы, значит, слушаем.

— Но я же не машина! — взмолился Кобрин. — Сколько можно?

— Это вы про что? — опять с простодушной улыбкой спросил Утев.

— Я говорю, устал, больше не могу.

— Чего не можете? — осведомился Утев.

— Устал, понимаете, устал! — Кобрин ударил себя кулаком по груди. — Не понимаете, человек устал!

— Это верно, — согласился Утев. — Обалдеешь одно и то же столько брэнчать! А вы другое что-нибудь. С отдыхом, конечно, нам спешить некуда.

— Хорошо, — покорно сдался Кобрин, — я вам другое сыграю, в миноре.

Он закрыл глаза и стал играть тот же «Собачий вальс», но уже не на басах.

— Уважаемый, — прервал Утев укоризненно. — Опять те же фигли-мигли. Вы же другое пообещали.

— Я и играю другое, — пожал плечами Кобрин и с презрением заявил: — Вы же ничего не понимаете в музыке! И не можете судить.

— Почему же не можем! — спокойно сказал Утев. — Можем. — Подойдя к роялю, он взял стопку нот, выбрал из них тетрадку, долго глядел в нее, шевеля губами, потом поставил на пюпитр и почтительно попросил Кобрину: — Вот, будьте любезны, сыграйте эту штуковину.

Кобрин сунулся лицом в ноты, потом откинулся на табуретке.

— Без очков не могу.

— Извините, на вас же пенсне надето. Что ж, только для модели носите?

— Нет, для дальности. А для чтения пользуюсь очками.

— Вот, будьте добреньки, попользуйтесь для нас, — осклабясь в усмешке, попросил Утев.

— Очки я потерял, — сказал Кобрин и даже похлопал ладонями по карману халата.

— Тогда вот что, — сказал Утев. — Я вам нотки называть буду, а вы уж сами в клавиши пальцы пихайте.

— Какие ноты? — выпалил Кобрин. — Откуда вы ноты знаете? Вы что, издеваться надо мной вздумали?

Утев встал, молча надел папаху и, обращаясь к рабочим, сказал сурово:

— Значит, отдохнули? Ну, теперь будем его выносить помаленьку.

— Вы не имеете права, я не позволю! — кричал Кобрин. — Я же музыкант, вы все слышали. А в мандате сказано: инструмент национализируется только у тех лиц, кто им не пользуется.

— Вот что, господин хороший, — глухо сказал Утев. — Побаловались вы с нами, и довольно. Я ведь баянист. И уроки по нотам брал, когда лежал в госпитале для раненых воинов. Так что спектакль ваш даже вовсе не получился. Вот вам ордер. На нем моя расписочка. Кладите его себе в бумажник и сохраняйте на память.

— Ладно, грабьте! — завопил Кобрин.

— Если бы мы по-вашему вас грабить стали, — спокойно сказал Утев, — так и портки с вас унесли бы. Я ведь у вас пяток лет на фабричке поработал в пимокатах. Одних штрафов, которые вы с меня брали, хватило бы, чтобы такую музыку купить.

— Не помню. Такого у себя не помню.

— А я лицом шибко с тех пор переменялся, — сказал насмешливо Утев.

— То есть как?

— А вот так. Меня ваш племянничек в чан, где шерсть парилась, сунул за упрек, что глину велют замешивать в шерсть для солдатских валенок. Ну, шкура и облезла. А теперь новая выросла. И уши новые. Тогда были бараньи, а теперь человечьи. Понятно?

Подперев могучим плечом рояль, рабочий отвернул ножку, передал ее Тиме.

— Хорошая работа! Гладкая. Ты ноги с него не как поленья клади, а, чтобы не побились, сеном проложи.

Рабочие бережно вынесли рояль на улицу и положили на розвальни. Парусиновый чехол от рояля Кобрин решительно отказался отдать. Сняв в охапку и прижимая его к груди, он заявил с отчаянием:

— Только через мой труп! — И поспешно добавил: — В ордере про чехол ничего не сказано. А вы, я знаю, на штаны себе изрежете.

— Эх ты, брюхоногая! — с сожалением сказал Утев и, сняв полушубок, накрыл им рояль, потом вопросительно посмотрел на рабочих. Те молча стали снимать с себя:

один — стеганую кацавейку, другой — поддевку, третий — татарский аязм.— Ну,— приказал Утев Тиме,— поезжай потихоньку, да смотри полегче на ухабах: вещь нежная. А мы вперед рысью, не ровен час, прохватит морозец,— и, низко натянув папаху, засунув руки в карманы штанов, зашагал по тротуару, не оглядываясь.

— Грабители! — крикнул с парадного крыльца Кобрин и с силой захлопнул за собой дверь.

Кончился теплый снегопад, и вместо него потекла с неба едкая, леденящая стужа. Васька, словно искупавшись в соленом озере, покрылся белым инеем, а на отвислой нижней губе его висели сосульки. В светло-зеленом небе торчала белесая изогнутая осьмушка луны, а багровое солнце провалилось в темно-синюю таежную чашу, и цинкового цвета тени ложились на белый, словно изнанка яичной скорлупы, снег. Чем ниже опускалось солнце, тем гуще оно краснело, и тем синее становились тени, и снег меркнул, словно покрываясь пеплом. А стужа все сильнее плескала в лицо голубым огнем и стискивала пальцы ног и рук ледяными клещами.

Васька, с трудом перебирая изношенными, широкими, как глиняные миски, копытами, вытянув шею, казалось, вот-вот от натуги вылезет через хомут, как сквозь оконную прорезь. Сани, пропахивая снежную целину, оставляли за собой широкую борозду.

Тима, проваливаясь в снег выше колен, брел рядом с конем и уговаривал жалостным голосом:

— Ничего, Васька, ничего! Дальше дорога глаже будет. Только ты дыши ровнее, не волнуйся. Я тут с тобой. Смотри только себе под ноги.

Больше всего Тима тревожился о спуске между Дворянской, теперь Красногвардейской, и Большой Ямской. Обычно возчики засовывали меж полозьев березовые кругляки, чтобы задержать сани при спуске с горы. Но Тима подумал: сейчас, после снегопада, тяжело нагруженные сани будут вязнуть в снегу и не так сильно разбегутся.

Намотав вожжи на руки, упираясь ногами в передок, Тима дрогнувшим голосом предупредил Ваську:

— Ну, теперь смотри в оба! Сейчас самое трудное нам с тобой.

Васька прижал уши и, осторожно переступая, втянув голову в хомут, оседал на задние ноги, словно вот-вот собирался съехать на задку. Но сани все сильнее и сильнее подпирали его. Несколько раз он уже проехался на раскрытых ногах, потом засеменял, споткнулся, взметнув

мордой целый сугроб. Васька уже не мог сдерживать ни себя, ни саней. Комья снега летели в лицо Тиме. Он зажмурился и, изо всех сил натягивая вожжи, закричал:

— Стой! Черт! Стой!

Комок снега попал Тиме в рот, что-то сильно подбросило его вверх, потом в бок, он скользил уже по снегу на животе рядом с санями, а руки с намотанными вожжами, казалось, вот-вот вырвет из плечей. Тима с ужасом увидел позади, на снегу, черную плоскую глыбу рояля. Некоторое время рояль полз вслед за санями. Потом Тима окунулся головой в снег, в глазах потемнело.

Когда Тима приподнялся, он увидел сначала лежащего Ваську, потом пустые сани, одна оглобля сломана, другая вывернута.

— Васька! — закричал Тима с отчаянием. — Васька!

Он решил, что Васька разбился насмерть. Но оказалось, Васька лежит подло, по-коровьи, и спокойно жует выпавшее из саней сено. Подняв на Тиму карие, всегда такие грустные глаза, Васька мотнул головой, всхрипнул и стал ворошить отвислыми губами новый клоч сена, выбирая из него синие пучки пырея.

— Подлец! — сказал Тима. — Подлец!

Но, так как он при этом кривил губы и тер рукавом глаза, неизвестно, к кому это относилось — к нему самому или к коню.

Почти на середине горы черной блестящей глыбой застыл рояль. Тима подобрал разлетевшиеся в разные стороны ножки рояля, положил их в сани, потом уперся изо всех сил руками в рояль, пытаясь сдвинуть его с места. Зачем он это делал, Тима и сам не понимал. Положив на рояль шапку, он сел на нее и откровенно, не стыдясь, заплакал. «Все пропало! Все! Погиб, погиб рояль». Ничего ужаснее нельзя представить даже во сне. Но, видно, только страдания делают человека умнее, взрослее, тверже. Несмотря на глубокое отчаяние, Тима сообразил: «Из квартиры рояль вынесли четыре человека. Если найти четверых людей, разве они не смогут снова положить его на сани? А Васька, ведь он жив. И даже ног не поломал. Если бы поломал, разве он жрал бы с таким аппетитом сено? А сани? Оглобля вывернута, так можно приставить ее обратно, а поломанную связать. Вот Белужин как-то обе оглобли поломал и связал их вожжами, а коня под уздцы привел. Значит, все можно сделать, если не приходить в отчаяние. Папа говорил, что отчаяние — признак слабости и что человек должен стыдиться не мышечной слабости, а ду-

шевной. Мышечное — это то, что у Тимы мускулов еще мало, чтоб рояль одному на сани обратно положить. Да если бы он даже был Капелюхиным, тоже одному не положить и стараться тут нечего...»

Стужа выжигала влагу, и в воздухе стоял сизый тусклый чад из тончайших ледяных пылинок, пахнущих сухо, пресно и едко. В морозной мгле матово мерцали силуэты домишек с черными окнами и стонуще потрескивали бревна в срубах.

Очень тихо. Слышно, как, громко лязгая зубами, Васька жует сено. Заиндевелившие ресницы у Тимы крепко смерзлись, он тер рукавицей то глаза, то нос, чувствуя жгучую боль в ноздрях. Уши ломило так, словно кто-то защемил их железными пальцами.

Тиме казалось, он утопленник и сидит на дне мутной реки на черном плоском камне. И Васька тоже лежит, как утопленник, и выбраться из этой студеной реки нет сил. Как во сне: все понимаешь, а сделать ничего не можешь, ни руки, ни ноги не слушаются, одеревенели, хотя чувствуешь, вот-вот проснешься и вырвешься из страшного сна. Только для этого надо сосредоточиться на одном: что хочешь проснуться.

И сейчас Тима тоже пробовал сосредоточиться и думать только о том, как втащить рояль на сани и доехать до детского дома, где все его давно ждут. Но что для этого нужно сделать, что? Позвать людей? В окнах темно, калитки, ворота на запоре. Все-таки нужно попробовать. Тима поднялся и пошел на негнущихся ногах. Добрался до калитки, стал к ней спиной и начал колотить ногами по доскам: бум-бум-бум — раздавалось на всю улицу. Никто не открывал. Только ногам стало теплее. Попробовал влезть под ворота, но подворотня была заложена тяжелой плахой. Тима стал выгребать из-под плахи снег. Выкопав лаз, прополз в него на брюхе и очутился в незнакомом дворе. Поднявшись, сделал несколько шагов к крыльцу, но внезапно огромный пес молча ударил его в спину, повалил лицом в колющий снег.

«Надо притвориться мертвым,— решил Тима,— а то, если орать или дергаться, заест до смерти». Сжавшись в комок, Тима замер. Пес стал, шумно фыркая, обнюхивать его лицо.

— Собачка! — прошептал Тима кротко. — Шарик! Тузик!

Но псу, видно, не нравились все эти имена, он глухо ворчал, и по утробному страшному голосу было понятно,

что пес суровый и никакой лести недоступный. Тима вспомнил: в кармане поддевки лежит кусок соленой щучьей икры, которую выдавали сегодня в конторе вместо сахара к чаю. Медленно, осторожно просунул руку в карман, отломил кусочек и протянул собаке. Пес нюхнул и тотчас проглотил икру, потом, фыркая, долго обнюхивал руку Тимы, изредка, но уже не так сердито, порывая. Тима, осмелев, приподнялся, не спуская глаз с собаки, и, когда верхняя губа ее вновь поднялась, обнажая клыки, он успел отломить новый кусок и бросить псу. Пес смирился. Тима даже стал говорить сердито:

— Не хватай, все дам, только помаленьку.

Так, скармливая псу кусочки икры, он поднялся на крыльцо и постучал в обитую войлоком дверь.

Дверь отворилась, Тима поспешно вступил в сени. Сначала в клубах рванувшегося с улицы морозного пара ничего нельзя было разглядеть, но потом, когда пар осел, Тима увидел: перед ним стоит хилый старичок в черной жилетке, а в руках у него колун.

— Кто такой? — испуганно вопрошал старичок. — Почему чужой? И Варнак тебя не разодрал? Ты что, наводчик? Так тебе первому башку расколю! — Приказал: — Ложись на пол, пока я соседей буду созывать, а то зарублю.

— Дяденька, — сказал Тима, послушно ложась на пол, — я просить помощи пришел. Будьте добреньки, помогите. Рояль я уронил на дороге. Помогите поднять, пожалуйста.

— Ты что, больной? — растерянно спросил старичок. — Или, может, тронутый?

— Нет, я здоровый. Только Васька у меня упал.

— Кто? Васька? Значит, ты не один? Он что, повзрослее тебя будет?

— Да он лошадь, — объяснил Тима. — Он там, на улице, один лежит.

— Ага, украл, значит, коня украл? — торжествовал старик. — А у нас спрятаться захотел? Ну, погоди, жиган!

Перебросив колун в левую руку, он правой взял метлу и черенком стал неистово барабанить в потолок. Пришел человек с дробовиком.

— Вот, — сказал радостно старичок. — Поймал грабителя. Вломился, значит, но я его... — и помахал топором.

— Вы что же, его уже оглушили?

— Дяденька, — взмолился Тима. — Я же... — И, не зная, что бы сказать о себе такое значительное, заявил: — Я же представитель.

— Представитель? — усомнился человек с дробовиком, но, видно, проникнувшись значением этого слова, приказал: — А ну, встань, я погляжу, какой ты представитель.

Выслушав Тиму, он поставил дробовик между колен и задумчиво произнес:

— Придется Захарова будить. Он власть — пусть решает.

В сопровождении человека с дробовиком и старичка Тима поднялся по шатким ступеням на второй этаж. На кровати сидел толстый бритый человек в исподнем белье. Он велел Тиме:

— Говори все начистоту, — и отрекомендовался: — Председатель домового комитета Захаров.

— Значит, так, — сказал Захаров старичку и человеку с дробовиком: — Ступайте по квартирам и подымайте всех жильцов. Понятно?

— Пяток мужчин хватит? — спросил человек с дробовиком.

— А я говорю всех. Понятно? — прикрикнул на него Захаров. — Ну, там веревки прихватить и что еще понадобится.

Человек с дробовиком пошел к дверям.

— Стой! — крикнул Захаров. — Скажешь: народное имущество спасать. Мол, музыку детям Советская власть подарила, а этот обормот ее в снег выронил.

Человек десять жильцов, возглавленных Захаровым, вышли на дорогу, подняли Ваську и запрягли его в сани. Тот, у которого был раньше дробовик, починил оглобли. Потом все жильцы дружно, под команду Захарова, подняли рояль и бережно положили его на сани.

— Спасибо, товарищи, — сказал Тима.

— Обожди, — попросил Захаров. — Зайди ко мне в квартиру. Акт подпишешь о нашей помощи. Потом его в Совет пошлю, чтобы там все знали, какой в доверенном мне доме революционный порядок среди жильцов.

Негнушмиися пальцами Тима кое-как вывел свою фамилию.

Но когда он уже отъехал с полквартиры от этого доброго дома, его вдруг догнал запыхавшийся старичок. Он сердито крикнул:

— Стой! — отдышавшись, произнес медленно и назидательно: — Захаров велел сразу в помещение не вносить, а то с морозу в тепле запотеет, струны заржавеют могут, ящик покоробится. Завтра сам придет в детский дом ранним утречком проверить, как слова его выполнили. Так

смотри, а то Захаров взыскательный, слова на ветер не пускает.

— А он кто? — спросил Тима.

— Да так,— пробормотал неохотно старичок,— обыкновенный жилец и всего-то столяр. А вот на голосовании выбрали — вознесся. У всех книги собрал и в кладовой у меня библиотеку устроил. С пяти до восьми под запись выдача,— зябко шмурыгнул носом и доверительно сообщил: — От таких одно беспокойство,— потер ногу об ногу и пожелал Тиме: — Ну, поезжай, голубчик, вези детям музыку.

Когда Тима приехал в детдом, там все уже были в тревоге и Утев хотел посылать людей на поиски.

Тима быстрее, чем папа, привык к революции и считал самым обыкновенным и естественным то, что у папы до сих пор вызывало радостное удивление.

Что тут особенного, если бедным людям при революции стало лучше, на то она и революция, и нечего беспрестанно вспоминать, как прежде людей угнетали и мучили. Но вместе с тем у Тимы были свои собственные счета со старым режимом. Разве мог он забыть о сиротском приюте, где жил, как в тюрьме?

Правда, там он узнал, что такое настоящее человеческое товарищество. Володя Рогожин, вожак сиротского бунта, коренастый суровый силач Тумба, мечтательный, гордый Стась — как много они сделали для Тимы хорошего! Ведь он стал совсем другим, чем был до приюта. На всю жизнь у Тимы ощущение революции будет связано с днем освобождения из приюта.

Снова оказавшись среди старых приятелей, но не праздным гостем, а человеком, что-то делающим для революции, Тима испытывал блаженное чувство счастья. Он жал всем руки и улыбался, чтобы не показаться своим друзьям зазнавшимся оттого, что именно он привез им музыку.

Вспомнив про наставления старика, Тима рассудительно предупредил:

— Рояль нельзя сразу вносить с холода в теплое помещение, а то он вспотеет.

— Ладно,— заявил Володя Рогожин,— без тебя понимаем,— и сказал Тумбе: — Видал? О музыке беспокоится. А что сам до самых кишок промерз, молчит,— и приказал: — А ну, разувай ноги, три снегом. А то чернуха хватит.

Тумба, Стась, Володя Рогожин помогли Тиме раздеться, растерли его, потом заставили сесть в кадку, облили теплой

водой. Завернули в одеяло и торжественно отвели в спальню.

Тумба приказал ребятам:

— Чтобы тихо было! Понятно? — и, прикрыв ламповое стекло бумагой, на цыпочках вместе со всеми вышел из спальни.

Из большой комнаты доносились приглушенные радостные голоса. Там, вопреки наставлениям старичка, ребята нетерпеливо устанавливали рояль. А потом Тима услышал музыку — могучую и упоительную. Но, может, никто вовсе и не играл на рояле: ведь в детдоме еще никто не умел играть, — и эти дивные звуки просто снились Тиме? Снились? Не так-то легко спать на отмороженных ушах. Как ни ткнешься в подушку, все больно.

Но музыка все-таки была. Пусть даже только во сне.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Что касается женской красоты, то на этот счет у Тимы существовал раз и навсегда установившийся, твердый, неизблемый взгляд: она обманчива.

Еще до революции, то есть в прошлом году, отец повел Тиму в Общественное собрание на спектакль, поставленный местной любительской труппой под руководством профессиональной актрисы Вероники Чарской.

Всю дорогу папа длинно и нудно объяснял Тиме, что Шекспир — гениальный английский писатель, а его пьеса «Ромео и Джульетта», с одной стороны, обличает средневековых феодалов и их предрассудки, а с другой, является гимном чистой любви, которая в свободном человеческом обществе, то есть после революции, никогда не будет трагически омрачаться, так как исчезнут социальные противоречия и осуществится торжество разума и духовной свободы.

Ради того, чтобы попасть на спектакль, Тима готов был выслушать любые отцовские наставления и только просил:

— Ты про Шекспира чего хочешь говори, но про представление, пожалуйста, наперед не рассказывай, а то неинтересно смотреть будет.

Папа пожал плечами:

— Я хочу, чтобы ты понял это величайшее творение.

— Ладно, — согласился Тима, — я буду понимать, но только после.

В раздевалке Тима увидел Нину Савич и Георгия Семеновича. Нина была одета в хрустящее розовое шелко-

вое платье, в пышных волосах — огромный бант, на длинных, как у цапли, ногах черненькие блестящие, как резиновые галоши, туфли. По правде сказать, она очень походила сейчас на фею или даже на цветок львиный зев, а ее бант — на бабочку. На Тиме же ничего нового не было. Мама только вычистила и выгладила ему куртку, перешитую из папиной студенческой тужурки, и велела сдать в гардероб валенки, а вместо них надеть старенькие, заско-рузные сандалии.

Не показывая, как он восхищен Ниной, Тима спросил небрежно:

— Ты чего так вырядилась? Сама в спектакле выступать будешь, что ли?

— А ты вообразил, сейчас лето? — и Нина остановила взгляд на его сандалиях.

У Тимы от обиды даже пальцы в сандалиях поджались. Но он ответил вызывающе:

— Спартанцы тоже зимой и летом в сандалиях ходили, а один даже, не дрогнув, дал лисице, которую под рубаху спрятал, весь свой живот выесть.

— Я знаю, — с торжеством заявила Нина. — Он украл лисицу и просто отпирался, когда его спрашивали, украл или нет, — и снисходительно протянула: — Тоже спарта-нец нашелся!

Тима покраснел и не придумал, что ответить. Воспользовавшись тем, что папа, холодно раскланявшись с Савичем, отошел в сторону, Тима буркнул презрительно:

— Надела на ноги галоши, будто дождя зимой боишь-ся, — и присоединился к папе.

Так как меньшевики были за войну с Германией, а большевики против войны, отношения между папой и Георгием Семеновичем в те дни очень сильно испортились. В своей статье, напечатанной в газете «Северная жизнь», Савич обозвал папу предателем отчизны, а папа в большевистской газете «Революционное знамя» написал, что Савич вроде официанта буржуазии и для него русский народ — только пушечное мясо. Зная об этой вражде папы с Савичем, Тима решил сделать папе приятное и сказал:

— Я сейчас Нинке Савич такое про ее буржуйский вид сказал, что она аж вспотела.

Лицо у папы потемнело, вытянулось, и он сказал Тиме с горечью:

— Разговаривать в неуважительном тоне с девочкой — как это низко! — и заявил решительно: — Если ты сейчас

же не извинишься, я сам буду вынужден принести за тебя извинения.

Спас Тиму третий звонок. Сидя в амфитеатре, он видел далеко впереди розовый бант Нины и черную, гладко причесанную голову Савича. Папа сердито сопел, огорченно косился на Тиму и в конце концов предупредил суровым шепотом:

— Если в антракте не попросишь у Нины извинения, уйдешь домой.

Режиссером спектакля был известный фельетонист из «Северной жизни» Николай Седой. Он внес в пьесу какие-то сокращения и отсебятину, чем папа был до крайности возмущен. В антракте, встретив Егора Косначева, папа стал изливать ему свое возмущение мистическим истолкованием пьесы. А Егор Косначев поддакивал и говорил, что нельзя позволять Седому так преступно поганить Шекспира.

Хотя Тима был глубоко взволнован тем, что происходило на сцене, и вся душа его протестовала против осуждения спектакля, он воздерживался высказывать свое мнение, чтобы не напомнить папе о себе и тем самым избежать необходимости просить извинения у Нины Савич.

Роль Джульетты исполняла сама Чарская. Ее распущенные волосы были повязаны розовой ленточкой и завязаны таким же красивым бантом, как у Нины. В легком кружевном платье и высоких, до колен, ботинках с тонкими, рюмочкой, каблуками она выглядела очень нарядной, все слова она произносила нараспев, под музыку рояля, на котором играл тапер из синемаатографа «Фурор», толстый, жирный человек, у которого щеки свисали на плечи и тряслись в такт музыке.

Ромео в офицерских сапогах со шпорами и судейской цепью на шелковой рубаше, вправленной в трико, все время испуганно косился на суфлерскую будку. Сначала зрители слышали, что говорит суфлер, а уж потом эти слова выкрикивал сам Ромео.

Стража главного феодала выходила на сцену в пожарных касках и в бумажных, ярко раскрашенных камзолах, которые актеры очень боялись порвать, вмешавшись в драку между слугами Монтекки и Капулетти.

Но Тима очень скоро перестал замечать эти детали спектакля, весь охваченный тревогой за судьбу двух влюбленных. Потрясенный их трагической гибелью, он без стеснения обливался слезами. И когда в зале зажгли свет, долго утирался папиным платком и щипал губы, которые у него прыгали сами собой.

Папа не сердился на Тиму за то, что он вдруг оказался слабодушным ревой. Он даже сказал с гордостью:

— Как ни пытался Седой омещанить Шекспира, все-таки гений непреборим, — и, погладив Тиму по голове, снисходительно заметил: — А ты, брат, оказывается, очень впечатлительный субъект.

Тима поднял опухшее лицо и произнес заплетающимся языком:

— Ты, папа, забыл про меня, а я ведь еще перед Ниной не извинился.

— Вот, вот, — обрадовался папа, — искусство облагораживает. Ну что ж, отлично, пойдем поищем Савичей.

Оказалось, что Георгий Семенович пошел с Ниной за сцену для того, чтобы поздравить Николая Седого со смелой и оригинальной трактовкой Шекспира.

Папа, узнав об этом, поморщился, поколебался, но, видя умоляющие глаза Тимы, тоже направился за сцену.

За дощатой перегородкой уборной, похожей на стойло в конюшне, сидела у зеркала женщина в платье Джульетты и размазывала по лицу вазелин, который тут же превращался в разноцветную жирную грязь. На столике перед ней лежал золотистый парик, обвязанный розовой лентой. А ее собственные черные с сединой волосы были туго затянуты на затылке жалким узелком, перевязанным шиурком от ботинка.

Приблизив к зеркалу лицо, женщина осторожно двумя пальцами отодрала с век наклеенные ресницы и, оглянувшись на папу с Тимой полысевшими глазами, вдруг широко улыбнулась и сказала протяжно в нос:

— Благодарю вас, благодарю. Я действительно сегодня играла с каким-то особым подъемом. — Кокетливо сощурившись, она спросила папу: — Значит, вы тоже, господин Сапожков, признаете власть чистого искусства? — и, не дожидаясь ответа, протянула приветливо: — Весьма польщена, весьма...

Взяв полотенце, она с силой вытерла разноцветную мазь с лица, после чего на ее лбу сразу обозначились глубокие, как на голенище сапога, морщины, и произнесла задумчиво:

— Вечная молодость подлинного искусства — это то, что не дает и во мне угаснуть пылу былой юности.

Папа сказал растерянно:

— Да, Шекспир — это гений. Несмотря, знаете, ни на что.

— А вы что, собственно, хотите этим сказать? — вызы-

вающе спросила Чарская и, повернувшись на табуретке к папе, приказала: — Ну, говорите же, говорите! Я знаю, вы готовы поносить все, в чем нет прямого вызова обществу.

Тима не слушал вежливых возражений папы. Он был в отчаянии: на его глазах только что погибла нежная, печальная красота Джульетты. Значит, то, что он только что видел и переживал с таким благоговейным восторгом, могло быть вызвано вот этой раздражительной, старой, некрасивой женщиной! И этот скрипучий, сварливый голос только что звучал так мучительно нежно? Только что эта женщина произносила слова любви, а сейчас с такой высокомерной злостью обрывает вежливые рассуждения папы и сердито машет на папу пуховкой, с которой на его вздутые на коленях брюки сыплется белая труха. А до этого в ее руке был цветок, она подносила его к своему прекрасному, тонкому лицу с изящной горбинкой на носу, которую она соскребла только что, словно оконную замазку, и под замазкой оказался короткий, с запавшей переносицей нос с сердито растопыренными ноздрями.

— Пойдем, папа, пойдем,— умолял Тима, стараясь больше не смотреть на Чарскую.

Папа, поклонившись актрисе, заявил:

— И все-таки, Вероника Витольдовна, несмотря на то что я решительно против подобной трактовки Шекспира, прошу принять мое искреннее восхищение вашим талантом.

Чарская вздохнула удовлетворенно:

— Ах, молодежь, молодежь, когда вы перестанете служить политике, а будете наконец без всяких предвзятостей поклоняться подлинному искусству?

Савичей они не нашли за кулисами и встретили их уже в раздевалке. Савич спросил папу сухо:

— Ну как, Петр, ты оцениваешь постановку Седого?

Папа ответил сдержанно:

— Так, как она того заслуживает.

— Она заслуживает самых высоких похвал со стороны истинных ценителей,— сказал выпренне Савич.

— Мещанский мистицизм,— буркнул сердито папа.— Пиршество дурного вкуса.

— Нет, нет, это голословно,— снисходительно возразил Савич.— Ты постарайся логически обосновать свою критику новаторства Седого. Мне, знаешь, это будет даже любопытно. Я за все новое в искусстве, и критика со сторо-

ны человека, проповедующего незыблемость классики, для меня весьма любопытна.

— Хорошо,— сказал угрожающе папа,— тогда я тебе все скажу...

Но Тима не слышал, что говорил папа Савичу. Подошла Нина. Она, видно, тоже, как и Тима, плакала в конце спектакля. Губы и веки ее некрасиво опухли, бант торчал набоку, из рукава свешивался мокрый носовой платок.

Нина взяла Тиму за руку холодной влажной рукой со вздрагивающими пальцами и, потянув его за колонну, раскрашенную под мрамор масляной краской, приблизила к нему свое лицо с широко открытыми глазами и слипшимися ресницами и сказала тихо:

— Тима, прости меня, пожалуйста, за сандалии. Я так мучаюсь, что сказала тебе... Я ведь знаю, почему ты их надел.

— В них ноги не преют, потому,— пробормотал Тима.

— Нет, не поэтому.— Нина еще ближе придвинула к Тиме лицо и спросила совсем тихо: — Ты не сердись больше, нет?

— Подумаешь, стану я за такое сердиться.

— Значит, не сердись?

— Сказал нет, значит, нет.

Нина вдруг решительно сдернула у себя с головы бант, развязала его и, протягивая ленту Тиме, попросила:

— Вот, возьми.

— А на кой она мне, лента?

Нина насмешливо посмотрела Тиме в глаза:

— Завяжешь ею сандалии, чтобы по дороге домой не растерять,— и, резко повернувшись, пошла к Георгию Семеновичу.

Тима остался один с лентой в руках. Шелковистая, нежная, с тонким ворсом, вяло пахнущая духами, лента покорно висела в его руке. Тима смотрел на ленту и не знал, что с ней делать. Потом нерешительно свернул ее в рулончик и спрятал в карман.

Савичи ушли. Тима подошел к папе, надел поддевку и валенки. Папа завернул в газету Тимины сандалии, потом долго шарил по карманам и заявил огорченно:

— Веребочку я где-то потерял.

— Ничего,— сказал Тима,— я крепко держать буду, не растеряю.

— Да, кстати,— спросил папа,— ты успел извиниться перед Ниной?

— Успел. Пока ты с Савичем ругался, я все время перед ней извинялся.

— Во-первых, я не ругался, а во-вторых, отстаивать свои принципиальные взгляды — это одно, а быть грубияном — это совсем другое.

— Я больше не буду, — быстро согласился Тима, чтобы не разговаривать с папой ни о чем больше.

Он боялся, как бы не исчезло из сердца то радостное смятение, которое он сейчас испытал, получив от Нины в подарок ее ленту в знак прощения, которого, говоря по правде, он ничем не заслужил. Но постепенно Тима стал испытывать щемящую тоску от догадки, что поступок Нины был вызван спектаклем, и ничем иным. Да и что, собственно, могло быть иное? Разве он мог понравиться Нине со своими грубыми словами и всем своим очень обыкновенным видом: толстым носом, курткой, перешитой из папиной студенческой тужурки, серыми, неприятными глазами под взъерошенными бровями, коротко стриженными волосами, которые даже с помощью платяной щетки он не мог пригладить.

Думая об этом, Тима всю дорогу до дому угрюмо молчал, а папа доказывал, что Шекспир — великий реалист и только реакционеры пытаются сделать из него мистика.

Чем пространнее хвалил папа Шекспира, тем мрачнее становилось на душе у Тимы, и он все больше убеждался, что сам по себе он ни при чем, а это Шекспир виноват в том, что Нина решила подарить ему свою ленту.

Но вообще говоря, Нина ему не нравилась. Она не отвечала тому возвышенному идеалу женской красоты, который он хотя и представлял себе весьма смутно, но который казался ему единственно верным, так как был почерпнут главным образом из книг, где героини проявляли неслыханную доблесть, оставаясь верными своим возлюбленным. И влюблялись герои друг в дружку в этих книгах не просто так, а после того, как совершали самоотверженные подвиги. Всякую же другую любовь Тима считал, пользуясь папиным выражением, мещанской.

Когда у Нины Савич ее гости играли в почту «флирт», посылая друг другу карточки с напечатанными типографским способом цитатами из любовных стихов и разными смешными пословицами, Тима всегда с презрением отказывался принимать участие в этой игре. Хотя однажды, когда Вовка Сухарев переслал ему карточку «флирт» якобы от Лели Ильиной, самой красивой из подруг Нины, сказав:

«На, «Лилия»! — Тима, не читая, бросил карточку на стол и высокомерно заявил, что эта игра только для глухонемых остолопов, но после того, как все ушли пить чай, он потихоньку пробрался в Нинину комнату и долго разыскивал карточку с обозначением «Лилия». Найдя ее, прочел: «Из большого осла не выйдет слона». Обидевшись, взял карточку, где за словом «Резеда» было напечатано: «Ворона в павлиньих перьях», вручил ее Леле, сказав громко:

— На, «Резеда»!

Леля прочла, пожала плечами и сказала:

— Во-первых, грубо, а во-вторых, мы с тобой не играем.

А Вовка торжествующе закричал:

— Ага, попался, лицемер! — и объявил всем: — Это я ему послал, а сказал — Леля. Как от других получать — мешанство, а от Лели — ухватил. Даже нос вспотел. Жулик ты, а вовсе не принципиальный.

Что же касается его приятелей с заднего двора, то ни Костя, ни Кешка, ни Гришка не проявляли никакого интереса к девочкам. Наоборот, они сторонились их, утверждая, что водиться с девочками могут только хромые либо золотушные. Но даже во время самых озорных сражений в «вышибалочку» или в «чух-навар» стоило появиться горбунье Чишихиной с помойным ведром на крыльце, как кто-нибудь из ребят тотчас бросал битву, брал из рук горбуни ведро и относил его на помойку. Так же было, когда появлялась с колуном Феня. Наколов дрова, Кешка или Гришка возвращались снова к игре, и никто их за это не обзывал кавалерами. Хотелось им доказать свое мужское превосходство или это было что-нибудь иное, Тима определить не мог.

Но когда однажды Толя Асмолов появился на улице, держа под руку какую-то девочку, все ребята, несмотря на то что сзади шла Толина мама, дружно свистели и кричали: «Жених и невеста, жених и невеста!»

С тех пор прошло много времени. Но вот совсем недавно Нина пришла к Саножковым, чтобы взять у Петра Григорьевича для Савича какую-то бумагу. Проводив Нину до калитки, Тима сказал:

— Ну, пока!

— До свидания, — ответила Нина.

Приятели Тимы в это время сидели на завалинке и внимательно наблюдали за ним. Подойдя к ним вразвалку, Тима, опасаясь насмешек, объяснил:

— Это она к отцу приходила.

Кешка презрительно сощурился:

— А ты что с ней говорил и на нас все озирался, будто боялся, что мы жиганы?

Костя упрекнул:

— Тоже гусь, открыл калитку — и ступай на все стороны, а если ребята с Подгорного ее со спуска нихать будут?

Гришка встал и произнес возмущенно:

— Ее матерью улица называется, а ты мимо нас провел, будто мы буржуев родственники, — и спросил решительно: — Догонишь или мы сами?

Тима сказал растерянно:

— Хорошо, я ее догоню, — и попросил: — Только, если вы сзади пойдете, не кричите чего-нибудь. Она ведь очень гордая.

— Да что мы, варнаки, что ли? — обиделся Костя. И приказал: — Ступай, нечего из нас чурки строить!

Нина совсем не удивилась и не обрадовалась, когда Тима, догнав ее, запыхавшись, молча зашагал рядом.

Уткнув лицо в меховую муфту и дыша через мех, она искоса поглядывала на Тиму усталыми голубыми глазами, и на ресницах у нее прилипла снежная звездочка. Когда Нина моргала, звездочка покачивалась, но не падала.

Однажды Тима спросил папу, как делаются снежинки. Папа очень обрадовался и начал рассказывать, какая это замечательная наука — кристаллография, и даже начертил на бумаге схемы различных кристаллов.

— Вот запомни. Двойник из двух пентагональных додекаэдров. А это гемиформный кристалл обыкновенного турмалина. А это...

— Ладно, — прервал Тима, угнетенный способностью папы на самые простые вопросы отвечать мучительно длинно и сложно. — Я лучше сам догадаюсь.

Он еще до этого был обижен тем, что папа небрежно сказал про солнце: «Это газообразная масса с очень высокой температурой». Про человеческий копчик папа говорил: «остатки хвоста». Ногти, утверждал он, остатки когтей, и будто бы у человеческих зародышей бывают жаберные щели, словно у рыбы.

— Если ты такое про людей знаешь, — сказал Тима с возмущением, — так лучше ни с кем после этого не здороваться. Раз мы, по-твоему, так сильно похожи на зверей.

Но папа тут же заступился за человека, заявив, что человек — самая высокая форма организованной материи.

Но думать, что ты только материя, хоть и здорово организованная, все-таки тоже было обидно. Ведь все, за что ни возьмись, тоже материя: и грязь, и звезды, и воздух.

После этого разговора с папой Тима уселся перед зеркалом и, глядя в него, думал: «Вот я есть я. А на самом деле выходит, я есть не я, а просто какая-то химия. И что есть в самом обыкновенном кирпиче, есть во мне. И кости во мне из известки, и волосы из того же, из чего рог у коровы, и кровь во мне не кровь, а какая-то жидкость, в которой растворено даже железо, в ней живут всякие мелкие существа, как в бочке с тухлой водой — головастики. И это не я хочу поднять руку, а нерв, который вроде струнки должен сначала раздражиться, чтобы я смог поднять руку. И думаю, значит, не я, а какая-то химия в мозгу происходит, и от нее я думаю».

Когда Тима пожаловался папе, что не хочет зависеть от своего организма, а хочет быть сам по себе, папа сказал:

— Пугаться знаний могут только люди с рабской психологией. Человек только потому стал человеком, что открыл великую преобразующую и созидующую силу труда и, титанической энергией соединив труд и знания, не только побеждал природу, но и в борьбе с ней преображал себя.

На этом Тима успокоился и кое-как примирился со столь значаще оскорбительными сведениями о человеческой природе.

Сейчас, глядя на снежную звездочку, медленно качающуюся на упругих ресницах Нины, Тима мучительно вспоминал, как папа называл такую форму кристалла. Ему очень хотелось поразить Нину загадочным, трудно выговариваемым иностранным словом.

— Ты чего на меня уставился? — спросила Нина.

— Так, — сказал Тима и, не вспомнив названия кристалла, вежливо осведомился: — Тебе доктора велют через муфту на улице дышать? Все кашляешь?

Не отнимая муфты от лица, Нина ответила сурово:

— Когда маму убили, я даже рада была, что я больная и могу вместе с мамой умереть. Ходила босая на крыльцо, чтобы простудиться. Но Пыжов сказал: когда ее убивали, она крикнула офицерам: «Застрелить нас можно, а убить — нет, мы будем жить в наших детях, в людях! Партия бессмертна!»

— Да, они ничего не боятся, — согласился Тима, — и поэтому их застрелить могут, а насовсем убить — нет.

Нина опустила муфту.

— Я теперь себя берегу от всяких болезней, хочу потом

быть, как мама. И тогда себя жалеть не стану, — сказала она тихо и похвасталась: — А меня Рыжиков назначил в библиотеку книги выдавать рабочим, и за это еда и деньги мне полагаются.

— В транспортной конторе тоже кормят сколько хочешь, там у меня свой конь. Могу даже по городу покатать.

Но Нина не заинтересовалась Тиминой деятельностью. Она сказала с достоинством:

— Мой папа теперь стал большевиком, ты это знаешь?

— Да, — сказал Тима, — знаю.

Он слышал от папы, что Савич вступил в большевистскую партию. Папа говорил маме с какой-то унылой растерянностью:

— Я голосовал за Савича по мотивам преимущественно психологическим. Вследствие героической гибели Сони его имя среди населения стало пользоваться уважением. Он искренне признал свои ошибки. Человек талантливый, образованный, энергичный. Находясь под нашим непосредственным влиянием, он может быть полезным. Вот, пожалуй, так... — Тут папа развел руками и добавил виновато: — Конечно, не исключены рецидивы всяких шатаний, — и спросил озабоченно: — Тебе не кажется, Варенька, что всяческие заскоки больше всего свойственны людям, которые приходят в партию несколько запоздало и со стороны?

— Ах, Петр, — возмутилась мама, — с каких это пор ты стал считать себя старым большевиком? В девятьсот втором ты еще среди народников болтался.

— Варенька, — возразил папа, — все-таки в четвертом я пересмотрел свои взгляды и в девятьсот седьмом уже...

— Скажите пожалуйста! — иронически протянула мама. — Какой стремительный путь! — и категорически заявила: — Что бы там ни было, а Савич сейчас очень много работает для партии. Даже бриться перестал, так занят.

— Да, — согласился папа, — растительностью он оброс, но вот в объединенный совет профсоюзов его напрасно избрали. Записочка тут одна мне попала, так сказать, тезисы с требованием, чтобы профсоюзы стали независимыми от партии. На бумаге верже написаны, и показалось мне, что такую бумагу я у Георгия видел. — И тут же добавил сконфуженно: — Впрочем, вполне возможно, все это — чисто случайное совпадение...

Слушая этот разговор родителей, Тима был на стороне мамы. Ему очень хотелось, чтобы папа Нины оказался хорошим человеком и Нина не так сильно страдала бы

оттого, что Георгий Семенович в то время, когда арестовали Софью Александровну, был против большевиков.

Тима сказал Нине:

— Мама хвалила Георгия Семеновича за то, что он здорово работает.

Нина снова спрятала лицо в муфту и проговорила в мех глухо:

— Ты стал вежливый, вот провожать меня пошел...

Тима не захотел кривить душой и признался, что сделать это велели приятели.

— Какие воспитанные мальчишки, — сказала Нина.

— Они не воспитанные, они просто хорошие, — запротестовал Тима.

Остановившись возле дома, Нина протянула Тиме руку и сказала:

— Ты мне, Тима, всегда не нравился за свою грубость. Но теперь я поняла, ты был грубый, потому что мой папа состоял совсем в другой партии, чем твои родители. Теперь мы можем с тобой дружить, как одинаковые люди, да?

— Ладно, — согласился Тима, — давай будем дружить по-настоящему, если хочешь...

Возвращаясь, Тима огорченно думал, что, хоть он и согласился дружить с Ниной, то, что она сказала, было неправдой. Он вовсе не потому иногда держал себя с ней грубо, что хотел быть грубым, а потому, что всегда испытывал застенчивое смятение, когда Нина радовалась его приходу. И хотя она говорила, что ей просто скучно одной, Тиме вдруг начинало казаться, что она вовсе не поэтому радуется, а потому, что ей хочется видеть его, именно его, а не кого-нибудь другого. А теперь получается, все это не так. Выходит, она хочет дружить с Тимой не потому, что он такой, какой есть, а потому, что считает: все, кто знал ее маму, должны быть ее, Ниниными, друзьями, и ничего другого тут нет.

Самолюбие Тимы было уязвлено, хотя Нина значительно выросла в его глазах после таких сложных размышлений.

Проводив Нину, Тима, прежде чем отправиться домой, решил зайти на базар к Якушкину: он вспомнил, что Хрулев велел ему узнать у Якушкина, нельзя ли там обменять конфискованную у купца Золотарева рессорную коляску и ковровые сани на фураж.

Пимокат Якушкин сейчас работал комиссаром базара.

Тощий, долговязый, в замазанном и лопнувшем под мышками полушубке, с красной перевязью на рукаве,

Якушкин обосновал свой штаб под большим навесом, где на скрещенных бревнах лиственницы висели на цепях брусчатые платформы огромных весов: на чашах их можно было взвесить целый воз.

Из пустых ящиков Якушкин соорудил себе нечто вроде стола, где лежали безмен, самодельная тетрадка для записей и химический карандаш на привязи. Тут же, на доске, стояли большой жестяной самовар, глиняная кружка и в банке из-под монпансье «Ландрин» серая крупная соль, считавшаяся большим лакомством.

Угощая кипятком и солью приезжих мужиков из дальних деревень и заимок, Якушкин беседовал с ними.

— Лис, он хитрый, — говорил Якушкин, с наслаждением прихлебывая кипятком. — С одной стороны, у него хвост легкий да пушистый, а с другой стороны, у него пасть острая да хапучая. Обманный зверь. И человек тоже такой бывает. Богатей, он тоже, с одной стороны, православный и деток своих любит и, когда прижмешь его, плачет, а, с другой стороны, за рупь всю кровушку выпьет. Мы, Советская власть, как говорим? Разве мы против целкового? Да ни в жизнь! Но бери честно, своим трудом с земли, с промысла всякого самолично, а ежели ты не с себя наживаешься, а через другого, кровь его доишь, тут мы железо. Вот ты, мужик, прямо скажу, не бедный. Бедному на базар везти нечего и не на чем... Да ты не бойся, чего заерзал, дай досказать! Ты вроде середки на половине, а вовсе не богатей. Богатеи на базар не едут. Почему? Скажу по цифрам: во-первых, добро прячут, второе, хотят город за горло голодом взять; третье, у них всего припасено, нужды в товаре нет; четвертое, крестьянской власти в деревне боятся, чтобы не уличили в излишках. Пятое, некогда: мутят у себя людей против народной власти.

— Это верно, — согласился мужик в огромной собачьей дохе, вытирая варежкой сизый шишковатый нос, и конфузливо сознался: — Я сам трясса, думал, отберут на заставе убоину.

— Вот! — оживился Якушкин. — А тебе что на заставе сказали? Велели у меня регистрацию сделать — и только.

— Цену-то ты мне обрезал, — вздохнул мужик.

— А кто тебя в потребилке на кредит записал? — пытливо сощурившись, спросил Якушкин.

— Ты.

— А я тебе кто?

— Начальство.

— Я перед тобой Советской власти доверенный. А раз

она велела среднему мужику уважение оказывать, так зачем же ей вас прижимать?

— Хлебушко все же с меня общипали.

— А землю?

— Землицу не тронули. Даже чуток добавили. Стали на сходе едоков считать, семейство у меня огромное.

— Значит, не сирота горемычная, а ноешь.

— А ты меня насмешкой не задевай,— обиделся мужик.

— Ты сядь, сядь, Алексеич,— продолжал Якушкин. Встал, поправил красную перевязь на рукаве и торжественно провозгласил: — За то, что цену правдышнюю на баранину держал и исподтишка не прикинул, от лица базарного совета трудящихся награждаю билетом в Клуб просвещения — на представление и доклад про то, что во всем мире делается. Вручаю также книжку члена потребительского торгового народного магазина. Ежели какой товар желашь купить, вот здесь запишешь. На следующее воскресенье, что достанем, то купишь. А вот сюда обозначь, какой от себя продукт привезешь. Товар на продукт, понял?

Мужик поднялся, распахнул доху и стал прятать книжку куда-то в недра многослойной одежды.

— Может, похлопаем, граждане? — спросил Якушкин. — Поскольку за аккуратную торговлю человек принят.

Якушкин снова сел на березовый кругляк, положил руки на ящик, накрытый льняным полотенцем, и строго уставился на другого мужика, одетого поверх азяма в городскую шубу, крытую черным касторовым сукном и подпоясанную веревкой, свитой из конского волоса.

— А тебя, Вьюрков, я на две недели базара лишаю,— и обратился ко всем: — У них там в деревне гора меловая. Так он мел натолок, в воде развел и в масло намешал. Вот глядите-ка,— и протянул сковородочку, на дне которой застыла лужица растопленного масла с белесоватой мучнистой горкой посредине.

Вьюрков побагровел, встал и, шагая к выходу, пробормотал, озираясь:

— Я сейчас, брюхо схватило.

— Нет, обожди,— сурово приказал Якушкин. — Брюхо у тех должно схватывать, кто твой мел жрал. А ты его не кушал, не с чего и брюху болеть. Но если хочешь идти, иди, только я тебе сопровождающего дам. Он с тобой маленько по базару походит и впереди тебя сковородку поносит и будет народу говорить, какой ты есть химик. — Якушкин

вручил сковородку парню в заячьей шапке и приказал: — Ступай с ним, и все чтоб было, как велено.

Вьюрков взмолился:

— Мужики, что же это такое? Харей об навоз возят! Выручайте, други! Сегодня меня, а завтра вас.

Но крестьяне угрюмо отводили от него глаза. А тот, кого звали Алексеичем, произнес угрожающе:

— Иди, иди, кайся перед народом. А то, как ехали, все пугал: масло комиссары на себя отбирают, нельзя, мол, масло везть. Хотел, значит, один своим возом торгаться.

Закончив разговор, Якушкин вручил всем, кто торговал по совести, билеты в Клуб просвещения, талоны в баню и расписку для представления в волость, что, действительно, названные граждане производили продажу на базаре открыто, желающим, а не втайне, из-под полы, спекулянтам.

Каждый раз перед началом базара Якушкин забирался на сколоченную из досок трибуну и с высоты ее произносил короткую речь, которую по материалам местной газеты обычно помогала ему составлять мама Тимы. Потом он зачитывал объявление, рекомендуя крестьянам после базара посетить различные культурные очаги. Перечислял имеющиеся в потребительской народной лавке товары и продукцию, идущую в обмен на них. Тут же избирали базарный совет. Члены совета выбирались на один день. Они обязаны были следить за порядком на базаре, для чего каждому члену совета выдавалась нарукавная повязка.

Тима нашел Якушкина в лавке потребительского общества, где тот убеждал жену ветеринарного инспектора, в этот день дежурившую здесь, торговать не только книгами, карандашами, а взять на комиссию прессованные опилки, которые пользуются хорошим спросом.

Выслушав Тиму, Якушкин ничего не ответил, а повел его за лабазы.

Усевшись на перевернутую вверх днищем старую завозню, служившую когда-то садком для стерлядей, Якушкин похлопал по ней ладонью, приглашая Тиму присесть рядом. Якушкин долго тщательно сворачивал сигарку из махорочной пыли, высек куском подпилка из прозрачного кремня на рыжий трут искру, затянулся, сплюнул и только тогда спросил сердито:

— Думаешь, базар — это вроде брюха городу, с него, мол, сытость? Нет, милок, сюда, как на таежную марь, столько гнуса слетает, — не продышишься. И каждый норovit слушок вонючий пустить. — Поковырял ногтем застыв-

ший вар на лодке, произнес со вздохом: — Тут вся утроба капитала параспашку. Ему мало надуть, еще на горло нам петлю крутит. Послушаешь, вроде как в цене рядятся, а навострил ухо — поймешь: контру разводят. Почитай у каждого воза митинг.

— Так что же вы терпите? — спросил Тима.

— Так ведь на весь базар нас, партийных, трое: я, милиционер Корыстылев да сторож — инвалид-солдат. Вот те вся ячейка. За день горло надерешь, язык пухнет. Торговец — он говорун, такую присказку завернет, да все с передомолвкой, с намеком, а ты должен поперек простым, ясным словом положение осветить, отпор ему дать. — Якушкин опять помолчал, потом, потупившись, произнес тихо: — Просил я тут мужиков, кланялся... Говорю: чего ж это вы рыбку мороженую, орешки, дровишки, зайчатинку возите, а вот фураж — никак. Жмутся, молчат, скрытничают. А знают, как нам фураж пужен. Потому и не везут. Повезли трое из Колупаевки сено, так на постоялом дворе им его сналили. Капелюхин сказывал, Золотарев велел коней в конторе вашей голодом сморить — выезжают на тракт его людишки, скупают фураж, валят в овраги, а ежели мужик одинокий, то просто грабят. — Поднял лицо с глубоко запавшими висками, поглядел на небо, заваленное бугристыми, снежными тучами, пожаловался: — Я тут приманку задумал: ребята с затона два плуга сготовили, доставил их в потребиловку, повесил на них дощечку — «Продажа за овес и сено». Мужики как мухи облепили, но фураж везти боятся, мол, пришибут на тракте бандюги, как узнают.

— Зачем же бандитам фураж? Им деньги надо.

— Бандит нынче политичный, он не от себя озорует, он под началом господской партии состоит, — Якушкин встал, отряхнул полушубок. — Так что с вашей коляской и санками коммерции не получится. Так и передай Хрулеву.

— Помирать коням, да? — возмущился Тима.

Якушкин вынул из кармана сушеного окуня, оббил об лодку и, отломив Тиме половину, неохотно признался:

— Мы тут с Корыстылевым и с солдатом, всей, значит, нашей ячейкой, каждую ночь с площади клочки соломы и сена собирали после базара. Набрали таким манером пудов восемьдесят. Ну вот и берите, раз пришла крайность. День-два перебьетесь. А мы мозгами еще раскинем, может, что и удумаем, — и произнес мечтательно: — Гвоздей бы хоть пудик, против гвоздей мужики не устоят. Гвоздь сейчас — вещь наипервейшая.

Якушкин зашагал мимо возов, зорко поглядывая по сторонам, сдержанно и степенно отвечая на лъстивые приветствия торговцев.

А лохматый снег все валил и валил, не переставая.

Довезти Тиму до дому Якушкин приказал пожилому крестьянину, расторговавшему две подводы дров.

Сидя на подводе, Тима слушал, как крестьянин хвалил Якушкина.

— Ведь вот, — говорил он с восхищенным изумлением, — торговлишка — дело темное. Как говорят в народе, не обманешь — не продашь. Всегда, значит, к березовым на низ осинку подсовываем. А тут подошел, оглядел возы, достал уголь из кармана и на торцах осины кресты написал, чтобы люди обман видели. А после, как я расторговался, он со мной в лавку уважительно пошел и следил, чтобы аршинном железным не шибко ситец тянул продавец. Все пальцем пробовал. Велел ослобонить натяжку. Вот это большевик! Строгий, хозяйственный. А говорят — пимокат. Брешут небось. Пимокаты, они все гулящие, а этот из других. Осанистый, степенный. Только по харе одного смазал, когда салом улестить хотел. Хорошее сало, кабанчик, видать, двухпудовый был. Ну, тут народ довольный остался. За такое дело не всякий в рылу даст, по голодному времени задумаешься.

Косо летел рыхлыми хлопьями серый, влажный снег. Лепился на лицо, на одежду, словно холодный пластырь. Сытые крестьянские лошади бодро шагали по дороге, обмахиваясь хвостами. Тима думал о тощих конях транспортной конторы, и ему очень хотелось рассказать крестьянину, как рабочие выхаживали больных коней. Но крестьянин вдруг остановил лошадей и спросил:

— Милой! А ежели ты дальше пехом пойдешь? Не обидишься? А то непопутно мне. Зачем же двух коней из-за одного тебя зря гонять? Не по-хозяйски это.

Тима слез с саней и пошел домой, низко склонив голову, чтобы снег не бил в лицо, но он, тая, затекал за ворот, отчего по всему телу проходила дрожь. А крестьянин поехал дальше неторопливой рысцой. Дровни были набиты синеватым пырейным сеном, о котором ветеринар Синеоков говорил восхищенно: «Пырейное сено — это самая роскошная коню пища. С него и одер рысаком станет». Но ни одна лошадь транспортной конторы не только не едала пырейного сена, даже не получала вдоволь соломы. И Тима печально проводил глазами дровни, набитые роскошным высокопитательным сеном.

В транспортной конторе пять рабочих записались в партию.

Но ни один из них не обладал хрулевской деловитостью или нетерпеливой хомяковской силой воли. Это были самые обыкновенные люди. Тима думал, что, после того как их приняли в партию, они станут какими-то особенными, чем-то сразу заметными личностями. Однако ничего подобного не случилось.

Белужин едко сказал плотнику Федюшину, угрюмому, плечистому, косолапому человеку с сизым бельмом на глазу:

— Ты, Митрий, выходит, теперь правитель! Навоз за конем сгребать не станешь: партийный! Людей поучать только будешь. А на работе пусть другие обламываются.

Федюшин вытер ладонью слезящийся слепой глаз и, растерянно улыбнувшись, ответил просто:

— Так ведь я тоже, как ты, про них думал. А вот глядел, глядел со стороны, и дошло другое-то.

— С одним глазом высмотрел, а я не углядел. Дурак, что ли?

— Зачем? Ты мужик умный, только ум-то у тебя пуганый, — спокойно произнес Федюшин.

— Это чем я пуганный? — обидчиво осведомился Белужин. — Таковыми, как ты, что ли?

— А тем, — рассудительно заявил Федюшин, — нет у тебя веры, что человек может ради совести, а не корысти лишнюю на себя тягость взять.

— Высказался, — обрадовался Белужин. — Да тебя за такое выражение могут обратно попереть! Выходит, там у вас хомут одеют — и только.

— Хомут не хомут, — задумчиво произнес Федюшин, — а встал в упряжку, держись!

— А погонялка у кого?

— Погонялка вот здесь, — и Федюшин постучал себя кулаком по груди.

— А если я сейчас конюшню чистить брошу и домой пойду? Ты меня небось за грудки — и об землю?

— По силе могу, — угрюмо сказал Федюшин, — и об землю стукнуть.

— Ну вот, гляди. — Белужин бросил вилы, вытер руки о полушубок, подошел к распахнутым воротам и остановился: — Ну, как, будем драться?

Федюшин, глядя на него растерянно, спросил:

— Ты что это, по правде такое удумал?

— Вполне.

— Ну, значит, сволочь.

— Обозвал. Сагитировал. Эх ты, сивый!

— Я еще не умею агитировать, — жалобно сказал Федюшин. — Я им тоже говорил, тугой я на слова-то.

— Так на кой они тебя взяли? Могли кого побойчее уговорить.

— Просился очень, может, потому и взяли. Говорил: совестно издаля топтаться.

— Темный ты.

— Какой есть, — покорно согласился Федюшин и потом спросил: — Так ты будешь навоз сгребать или как?

— Сказал, не буду — и весь мой разговор с тобой, — и, опершись спиной о колоду, на которой висела створка ворот, Белужин стал сворачивать цигарку.

Федюшин беспомощно огляделся, пожевал губами, в глубокой и горькой задумчивости поднял вилы, вытер жгутом соломы с черенка налипшую грязь и стал бросать тяжелые, слежавшиеся навозные пласты в плетеный короб.

Белужин молча курил, беспокойно поглядывая на Федюшина, убирающего навоз из его конюшни, потом бросил окурок, затоптал и, подойдя к Федюшину, сказал:

— Ну, будя шутики шутковать, давай вилы-то.

— Не дам, — глухо сказал Федюшин.

— Ты что, хочешь после срамить на людях, партийные крестины себе на этом сделать?

— Не дам — и все.

— Митрий, — взмолился Белужин, — я же все это для разговору только, а ты в самом деле обиделся!

Федюшин свирепо бросал огромные, спекшиеся, дымящиеся испариной навозные глыбы, и лицо его было сурово-замкнутым.

— Так я тебя совестью молю, отдай вилы!

— Уйди, сказал!

Белужин забежал перед Федюшиным, встал на навозную кучу и произнес с отчаянием:

— Не дам за себя убирать, хоть заколи, не дам, — и ухватился руками за вилы.

Федюшин легко стряхнул руки Белужина, воткнул вилы в навозную кучу, ссутулился и побрел к выходу.

Догоняя его, Белужин спрашивал жадно:

— Нет, ты скажи, обиделся, да, обиделся?

Федюшин остановился, повернул к нему темное, угрюмое лицо и произнес глухо:

— Я ведь еще только одной ногой подался в партию. А когда так вот, свой тебя подшибить хочет, насмешкой или еще чем, тут не обида, — и, постучав себя по груди, сказал: — Тут вот все болит.

— Прости ты меня, Митрий, — сказал Белужин. — Я ведь через тебя себя пытал. Ты думаешь, легко мне-то самому по себе быть, тоже ведь думаю.

Федюшин дернул плечом и сказал сипло:

— Ладно. Поговорили — и будя, — и ушел, широко загребая короткими сильными ногами.

— Вот, — расстроенно сказал Тиме Белужин. — Думал весело человека поздравить, а получилось, обидел. Выходит, строгое это дело — партия. Как Митрия-то перевернуло. До этого я его шибко всякими шутками задевал, и ничего, посонит только. А за нее, видал, как на меня взъелся? Думал, и вправду в навоз по плечи вдавит, так осердился.

Поплевав на ладони, Белужин взялся за вилы и, как никогда, аккуратно прибрал конюшню.

Коля Светличный, после того как его приняли в партию, подходил ко всем и говорил радостно:

— Слыхал? Теперь я партийный. Значит, что где понадобится, говори, я завсегда готовый.

Ему отвечали с улыбкой:

— Теперь, значит, не пропадем: Коля во всем выручит.

— Ну и что? — не обижался Коля. — До полного конца жизни, если понадобится, готов!

— Гляжу я на наших партийных ребят и задумываюсь, — глубокомысленно рассуждал Трофим Ползунков, почесывая шилом кустистую бровь. — Народ у нас несмирный, задиристый, лукавый. От этого любит из себя Иванушку-дурака строить, а в натуре мудер, хитер до невозможности. Состоял я при втором батальоне, который тогда не сразу за Советскую власть вступился: пришел к нам на митинг большевичок Капелюхин и сразу глушит басом: «Чья власть в городе?» Все шуметь: «Известно, ваша, большевистская». А он с размаху как саданет: «Врете!» Ну, тут все осеклись, даже присмирели от интересу, чего дальше скажет. Он тем же голосом глушит: «Большевиков — во, горстка, от силы сорок человек. Перебить нас в два счета можно, а отчего не получается? Оттого не получается, что власть теперь принадлежит народу, а народ — силища. Он за нами, большевиками, пошел. И не за пряники, которых у нас нет. И вообще никакой сладости не обещаем, программа наша короткая: все, что ни на есть главного на земле, то народное. Ваше дело хозяйское:

управитесь — хорошо, не управитесь — и нам и вам плохо будет».

Мы как думали: крутить-финтить начнет, ракеты всякие пускать, а он запросто да за самую душу всей горстью сгреб. Но ребята еще похитрить маленько захотели. «Если, говорят, к вам беспрекословно подадимся, хоть новую обмундировку дадите?..» — «Нет, говорит, не дадим, не из чего. И так народ босый и голый ходит». Рубит на каждый вопрос чистой правдой. Ну и подались.

— Я тебе так скажу, — хитро сощурившись, объяснил Ползунков Тиме, — строптивее нашего народа русского нет на земле. Я ведь его насквозь знаю. Потому я образованный: в плену у германца сидел, приглядывался. Ведь до чего наш народ сволочной! Чуть немец караульный заведется, за горло его, а сам в бега. Ну, куда, спрашивается, беget, когда еле на карачках стоит! И опять же все равно словят, потому у них страна культурная, все бритые, аккуратные ходят, нашего сразу за пять верст видно. И сам я от этой дурости три раза из лагерей бегал. Пороли, до костей мясо прошибали. К столбику привязывали, так что землю только на цыпочках доставал — поучали. А ты все равно в бега — и только.

А они как в плену у нас сидели? Аккуратно, тихонько. Всякими ремеслами занимались. Одна радость начальству. Таким народом управлять удовольствие, а от нашего только горе власти.

Вот в Клубе просвещения я лекцию слушал комиссара Косначева. Профессор! Как начал перечислять с самого начала историю, какие безобразия, бунты да мятежи русский народ против князей, царей да императоров чинил, ну, думаю, в самую точку моего мнения попал. Нет народа самостоятельнее, строптивее, необузданнее нашего. Разве с таким буйным совладаешь? Ведь он с себя кого хошь страхнет. И когда народ начал с себя то царя, то временных швырять, разве его удержишь? Безудержно разошелся, беда!

И тут я тебе сейчас главное скажу. Тебе, Тима, после меня жить, и понятие ты иметь должен твердое. Ленин! Ум у него огромный. Вся историю насквозь знает. Человек русский и хитер до беспредела.

Думал он думал и правильно решил. Никакая власть, сверху посаженная, даже самая умная, с таким народом норовистым, как наш, не сладит. Народ — силища, его на правильный путь поставить надо. Так вот он силу на силу и пустил. Сказал народу: «Вот, братцы, рабочие и трудя-

щиеся мужики! Вас обоих миллионы получается. А тех, кто эксплуататоры, не велика куча, но вонюча».

Во-первых, вот вам Советы, это власть ваша, рабоче-крестьянская. Советуйтесь в них и управляйте, как лучше жить на свете. И хоть народ во всем буйный, размашистый, но не беспамятный. Скажите, вам большевики когда-нибудь соврали или дрейфили, когда туго приходилось? Стали вспоминать: нет, такого не было. Значит, всегда за всех вперед шли без трепета? Что было, то было. Значит, оправдали доверие? А знаете, в чем большевиков сила? В том, что всегда артелью, тесной ватагой за власть трудящихся боролись, вместе с народом. Если бы большевики не артельно действовали, народ только б врассыпную буйствовал против извергов — более ничего.

Значит, партия в нашем деле главная, и пусть, кто из вас потверже, понадежнее, идут в партию. И обоймут людей, как корни дерева землю рыхлую. Тогда будет наше государство на все века стоять, как кедр могучий, и только ветвями разлапыми помахивать на всякие бури и ненастья.

И Ползунков закончил торжествующе:

— Выходит, угадал Ленин душу народа. И на все времена такую механику открыл всему роду человеческому.

— Когда же так Ленин говорил? — не скрывая своего изумления, спросил Тима. — Он ведь ученый, у него даже слова другие. Папа всегда его статьи вслух маме читает.

— Чудак ты, — снисходительно сказал Ползунков. — Разве слово само по себе чего значит? Ну вот «эксплуатор». Пока выговоришь, подавишься. Может, немец или француз его выдумал. Я его совсем недавно, это слово, выговаривать без передышки наловчился. А что оно обозначает, я и без француза знал.

Был у нас хозяин в мастерской — Матвей Федотович Белоусов. Тихий, кроткий, хиленький, богомольный. Слова матерного не скажет, все ласково: ах ты, светец мой, говорит. А дверцы на печи мастерской на замок запирали, чтобы лишнего полена без него не сунули. В углах лед, на потолке иней, спали на нарах, рогожкой укрывались, утром проснемся, портянки не согнешь, такие замерзшие. Сядем обедать, на стол высокую кадку с баландой ставят, а при пей черпачок с короткой ручкой. Ну и хватаем одну воду. А он после свиньям в кормушку вываливал всю гущу, которая на дне кадки оставалась. Понял, какой мозговитый?

За любую промашку в работе штраф, но с каждого

штрафного рубля он копейку на свечку откладывал. И после ее к иконе лепил. Ребята ему: «Ты кровосос», — а он сладенько: «Я же не себе, а богу за ваши грехи подношение делаю».

У него дочь в гимназии обучалась. Чулок варом в мастерской замарала, так он ее за это в кладовой сутки продержал на запоре без воды и хлеба. А у самого тысячи в банке, коляска лаковая для выезда на рессорах. Вот и выходит, мне это французское или немецкое слово «эксплуататор» лучше известно, чем тому, кто его выдумал.

— Нет, вы мне скажите, откуда вы такой разговор Ленина знаете? — упорствовал Тима.

— Ты об этом Рыжикова лучше спроси, — ехидно ответил Ползунков. — Это он все его слова пересказывает. Вот и цепляйся к нему. А мое дело стороннее, от кого чего слышал, своими словами для разговора и обсказываю.

И, обминая сильными, короткими пальцами кожу на хомутине, объявил с удовольствием:

— Хоть и не шорник, а зашил крепко. А то неловко народному коню в рванье на людях ходить. — Воткнул на острие шила пробку и спрятал шило в карман. — Весь мой разговор к тому был, что ребята, которые здесь у нас в партию подались, должны крепко себя выказать, больно мерка на них высокая народом определена, не всякий до нее дотянется.

И Тима замечал, как каждый из них тянулся до этой мерки по-своему.

Бутурлин, владелец собственной халупы на окраине города, угрюмый, неразговорчивый человек, привез вечером на подводе выломанные вместе со столбами щиты забора и починил прогнившую кровлю на конюшне.

Когда Белужин спросил его: «У кого забор похитил? Смотри, как бы мороки не вышло. Буржуазию трепать самовольно запрещается», — Бутурлин сказал ему кратко: «Со своего двора свалил».

Супреев, молодой и озорной парень, любитель ходить по воскресеньям в Заозерье и драться там с татарами-пимокатами стенка на стенку, пришел однажды с разбитым до неузнаваемости лицом. Долго пытали, кто его так разукрасил. Супреев молчал, терпеливо снося насмешки, но под конец не выдержал и признался:

— Это меня мясники в переулке били. Пришел я на мост, где всегда бои у нас, — ребята уже помаленьку разминаются. Я тоже полущубочек скинул — любителю из публики, старичку, на хранение сдал. Помял снег в горсти,

чтобы кулак побесчувственнее стал, и вышел наперед, как всегда. А на меня Гранитулин. Ах ты, думаю, татарская лопата! Я тебе сейчас вмажу за прошлое воскресенье. И только так подумал, вдруг что-то ровно меня самого изнутри поддало. Даже руки свисли. Как же я Гранитулина ударить теперь могу, если он — интернационал? Против партии поступок. Хрулев нас всех строго предупреждал: мол, пролетариат всех наций с одной стороны, напротив только буржуазия. А тут русский кирпичник татарского пимоката бить станет!

— А может, Гранитулин тебя с копыт собьет? — спросил ехидно Белужин. — Он боец крепкий, я знаю.

— Ты обожди, — поморщился Супреев. — Кто кого, — это дело пятое. Я про совесть, а ты про силу. Так вот, защемило во мне это самое. Разжал я кулак и ладошкой вверх руку поднял. И стал говорить всем бойцам про то, что на сердце. Любители из публики закричали: «Струсил Супреев! Кишка у него тонка против Гранитулина. Бей скопом оратора, тоже нашел, где митинговать!»

Ну тогда я на крайность пошел. Рванул себе руку зубами до крови, подошел к Гранитулину: на, говорю, хошь побратимом стать? Тот заколебался, но потом ничего, обнялись, шапками сменялись. А я говорю: «Пошли, ребята, на реку! Плоты изо льда выдирать. Если наша стенка больше вынет, вы нас на себе везете с пристани, если ваша — вы на нас едете».

Ну, все посмеялись и пошли. До вечера целую грудку бревен на берег выкатили. Сам Рыжиков пришел спасибо сказать. А татарам — даже на их языке. Пошел я до дому, а в переулке меня мясники накрыли. Думал сначала, бьют за то, что любительскую публику удовольствия лишил. А когда свалили да ногами пинали, из приговорок понял: не столько за это бьют, сколько за то, что вместо драки ребят на реку созвал.

Выслушав Супреева, Ползунков посоветовал:

— Ты все же сырое мясо на ночь приложи: оно здорово кровоподтеки на себя оттягивает. А то смотреть на тебя прямо-таки отвратно. Раздуло, как утопленника.

Когда Хрулев оповестил о предстоящем собрании ячеек, Тима заметил, как все пять новых партийцев стали загодя готовиться к собранию.

Федюшин умылся снегом, расчесал всклокоченные седые волосы на прямой пробор; потом, усевшись на чурбан,

положил тяжелые руки на колени и, уставившись в угол забора, нахмурившись, что-то озабоченно зашептал, видно вспоминая какие-то нужные ему слова, и не замечал, как на мокрой бороде и усах оседал сухими блестками иней.

Коля Светличный бродил по двору с мечтательным выражением лица и все нетерпеливо поглядывал на двери сторожки, где должно было происходить собрание.

Бутурлин сбегал домой и явился, несмотря на мороз, в фуражке с клеенчатым козырьком и в каком-то странном узком полосатом пальто с бархатным засаленным воротником. На ногах у него были новые галоши, которые он надел на ноги, обернутые чистыми портянками.

Супреев, выпросив у Ползункова тетрадку папиросной бумаги, тщательно заклеил ушибы и синяки и сидел на бревнах с заплатанным лицом, низко склонившись над толстым томом Элизе Реклю, который принес ему Тима, после того как Супреев сказал таинственным шепотом:

— Будь другом, Сапожков, у меня теперь до всех народов интерес, какой их обычай и как живут. Приволоки такую книгу, а я за это могу чего хочешь отдать — западенку или силки, — словом, бери чего душа пожелает. Или хочешь, поденно платить буду.

Западенку Тиме давно хотелось иметь. Но как ни велико было искушение, он отверг все посулы Супреева и только попросил аккуратно сберегать книгу.

— Да если хоть одно пятнышко, я при всех его языком слижу, — пообещал Супреев.

С крыльца сторожки Хрулев объявил торжественно:

— Товарищи члены партии, прошу на собрание.

Все пятеро новичков разом вскочили и быстро устремились к сторожке. Но вдруг смутились, стали топтаться на месте, никто не решался войти первым. Подымаясь на крыльцо, они поспешно сдергивали с себя шапки.

Ползунков провожал их сочувственным взглядом.

— Видали? Чуют, куда их приняли. Вроде каждый себе команду «смирно» объявляет, — и задумчиво произнес: — А как же иначе? Дело строгое, не временно, на всю жизнь в той команде ради народа служить.

Остальные рабочие, не члены партии, хоть время их дежурства в конюшнях истекло, тоже не расходились по домам. Усевшись на бревна, они курили, разговаривали о самых пустячных домашних делах, но все поглядывали на дощатую дверь сторожки.

Палал мягкий, косматый снег. Из конюшен доносилось мерное похрапывание коней, жующих прелую солому.

Синеватые сумерки сочились на город из таежной чащи. Возле ворот ходил в обнимку с винтовкой дежурный.

Тима тоже — как беспартийный — сидел со всеми на бревнах. До сих пор он считал: партия — это вроде службы, сначала против царя, потом против буржуазии. И поступают на эту службу люди, потому что начитались всяких правильных ученых книг, из которых выходит, что без революции никак не обойтись. И, служа в партии, они по книгам знают наперед, как надо поступать. Ведь вот папа всегда сразу маме говорит, если что-нибудь не так, где, в какой книге, правильно про это написано. А оказывается, партия — это вовсе не служба, а что-то такое неизмеримо большее и гордое. Хотя в ней все люди разные, но все они одинаковы в одном: и папа, и мама, и Рыжиков, и Федор, и Эсфирь, и Капелюхин, и Хрулев, и эти, теперь пять новых большевиков: если партия им скажет: «Так надо!» — они все будут выполнять волю партии.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Как-то вечером мама пришла с папой домой и сказала Тиме как будто веселым голосом:

— Ну, Тимофей, кончилось твое вольное житье, будешь жить с папой.

— А ты? — спросил Тима испуганно.

— Я поеду с обозом за хлебом.

Потом мама пошла на задний двор и вернулась оттуда с Полосухиной.

— В ближайшие дни вы можете перебираться сюда, — сказала ей мама. — У нас тут в окно дует — подоконник сгнил — и печь не в порядке, но уж это вы сами поправьте, — и сухо добавила: — А теперь извините, мне пужно укладываться.

Когда партия что-нибудь приказывала папе или маме, Тима никогда не слышал, чтобы они обсуждали друг с другом, нравится им это или не нравится.

И хотя по встревоженному, опечаленному лицу папы легко можно было понять: ему не нравится, что партия посылает маму с обозом в деревню, он старался скрыть это и только озабоченно советовал:

— Варенька, пожалуйста, надень под кофточку мою жилетку и положи в карман камфору или нафталин — от насекомых отличное средство. Сейчас самая эпидемия сыпняка. И валенки мои тоже возьми.

— Ну вот еще, не хватало, чтобы я как кикимора выглядела, а ты себе ноги отморозил в ботинках, — упрямылась мама.

— Мне просто будет приятно, что на твоих ногах мои валенки, — хитрил папа.

— Ты знаешь, я не люблю филантропов.

— Однако, вместо того чтобы разрешить жилищную проблему на собрании жильцов, ты стала на путь, я бы сказал, личной добродетели.

— Коммунисты должны подавать пример первыми, — весело заявила мама и спросила ехидно: — Тебе жалко нашей квартиры?

— Вообще, конечно, я привык, у нас тут так уютно.

— Ну тогда скажи Полосухиным, что ты раздумал, — разгорячилась мама.

— Видишь ли, Варенька, — сказал глубокомысленно папа, — самое трудное — это во имя добра применять насилие. Тебе не кажется, что ты пошла наиболее легким путем, избежав радикального решения с переселением жильцов заднего двора в лучшие жилища?

— Я, Петр, очень много думала там, на собрании, — сказала твердо мама. — И решила: нам сейчас важнее всего уголь. А уголь — это Асмолов.

— Не слишком ли много практицизма? — усомнился папа.

— У меня — нет, — сердито сказала мама. — Это Коноплев и Редькин сразу поняли. Когда я им сообщила, что Асмолов дал согласие ремонтировать машины на мельнице, они мне сказали: значит, утеснить его ни в коем случае нельзя, раз он к нам подался. А Полосухин, тот даже заявил, что за такое он готов и в собачьей конуре жить, потому что, если мельница остановится, без хлеба всем будет худо.

— Варенька, ты просто большой политик, — неуверенно сказал папа. — Ведь это до некоторой степени дальновидно.

— После наставлений Рыжикова будешь дальновидной, — призналась мама.

Но тут сердце Тимы не выдержало, и он воскликнул обиженно:

— Выходит, я зря жильцов уговаривал? Нужно было им свою квартиру уступить, и все.

— Извините, — сказала мама, — в следующий раз, Тимофей Петрович, мы будем с вами советоваться, — и чмокнула Тиму в лоб.

«Эх, — обиженно подумал Тима, — маленьким считают! А у меня своя лошадь есть. Вот приеду на ней в ревком, будут приставать: съезди куда-нибудь, за чем-нибудь, а я сначала подумаю, поеду или нет. Или вот возьму и поскачу вместе с мамой в деревню, с обозом. Если, конечно, Хрулев отпустит. Уговорить бы его как-нибудь! И папе спокойней, когда я буду с мамой. В тайге, говорят, бандиты бродят. А я шкворень от телеги к себе в голенище валенка спрячу и в случае чего — раз по голове, и все...»

Папа тщательно и бережно укладывал в большую ивовую корзину книги, исписанные тетрадки, стопки газетных вырезок, перевязанные бечевкой, и пожелтевшие комплекты газет. Мама, следя за ним, произнесла насмешливо:

— Ну что ты за Плюшкин! Когда ты перестанешь таскать за собой этот бумажный мусор?

Папа только вздохнул и ничего не ответил.

Отца Тимы в шутку называли «ходячей энциклопедией». Царское тюремное начальство не накладывало запрета на чисто научную литературу. Просидев несколько лет в одиночке, Петр Григорьевич довольно основательно изучил высшую математику, органическую химию, древних философов, историю христианства и ботанику. По самоучителю Туссэна овладел немецким и греческим языками. Куда бы его ни забросила жизнь, он всюду возил с собой большую ивовую корзину, в которой хранились записи, вырезки, конспекты прочитанных книг. И всегда, куда бы он ни шел, прихватывал с собой на всякий случай книгу. Читая, он любил подчеркивать, закладывая страницы листками бумаги и делать выписки.

Как-то мама сердито сказала:

— После тебя, Петр, противно брать книгу в руки. Как ты не понимаешь, что это просто нескромно — насильно мое внимание на каждой страничке восклицательными или ироническими вопросительными знаками!

— Почему же ироническими?

— Да, ироническими! — воскликнула мама. — А если я не согласна?

— Ну, тогда зачеркни знак вопросительный и поставь восклицательный.

— Не смей портить книги!

— Хорошо, — кротко согласился папа. — Я сотру резинкой. Только ты предупреди заранее, какую книгу хочешь взять.

— Я никогда заранее не знаю. Захочу читать и читаю.

— Неправильно. Нужна строгая система чтения. Я тебе рекомендую хотя бы на год составить список.

— Я тебя прошу не вмешиваться в мою духовную жизнь! — горячилась мама. — Пойми, мы с тобой совершенно разные люди. Я вот безумно люблю Надсона, а ты его презираешь.

— Я не презираю, а считаю, как медик, что многие его скорбные стихи порождены чисто субъективным фактором — его болезненным состоянием.

— Так читай своего Некрасова.

— Некрасов — величайший поэт русского народа. Истинная поэзия — это когда субъективное сливается с объективным в гармоническом единстве.

— А если я страдаю, зачем мне твое гармоническое единство?

— Отчего же ты страдаешь? — озабоченно осведомился отец.

— Потому что ты вот такой, поэтому я и страдаю, — с отчаянием заявила мама.

— Скажи мне, что ты обнаружила во мне плохого, я постараюсь понять твою критику и попытаюсь преодолеть со временем некоторые свои отрицательные качества.

— Ты меня не любишь.

— Варенька, что ты! Ну разве можно так? Даже если у нас возникла полемика...

— Да, не любишь, — упрямо настаивала мама. — Любящий человек всегда очень чуток.

— Но скажи, в чем я обнаружил свое невнимание?

— Если женщина ищет слова о любви в книге, значит, она не слышит их от того, кому следует их произносить. Вот!

— Так я же люблю тебя.

— Тогда не смей больше черкать книги.

— Хорошо, пожалуйста, — покорно согласился папа. — Только я не понимаю, почему этой моей, ну, скажем, дурной привычке ты придаешь такое большое значение.

— Я хочу, — гордо заявила мама, — чтобы ты ради меня шел на жертвы.

— Ну, пожалуйста, — сказал папа.

— Я знаю, что ты очень хороший, — певучим и нежным голосом торжествующе произнесла мама, — и мне очень приятно убеждаться в этом, и как можно чаще.

— На таких пустяках?

— Нет, это не пустяки, — горячо сказала мама. — Я знаю, ты очень любишь делать пометки на полях, и отка-

заться от этого тебе нелегко. Но раз ты согласился, то вот. — Она протянула руку, сняла с папы очки, поцеловала его в висок, снова надела на него очки и сказала радостно: — Я тоже великодушна и тоже готова ради тебя на жертвы. Можешь подчеркивать сколько хочешь! И знаешь, — произнесла мама шепотом, — когда тебя нет, я беру твою книгу, смотрю на твои пометки, и будто ты рядом со мной, — и деловито осведомилась: — Ты не знаешь, привидения в очках являются?

— Не знаю, не видел, — растерянно сказал папа.

— А я тебя видела вон там, возле шкафа. Ты стоял такой, весь будто из тумана, и глядел на меня так нежно-нежно. Это когда я волновалась, что ты пошел разоружать сводный батальон.

— Варенька, — встревожился отец, — это серьезный симптом нервного переутомления, тебе нужно принимать микстуру Бехтерева.

— У тебя, Петр, очень последовательное материалистическое мышление, — насмешливо сказала мама.

Но Ян Витол был совсем другого мнения о Сапожкове.

— Ты, Петр, — говорил он, — интеллигент, и психология у тебя интеллигентская, и повадки у тебя интеллигента. Когда тебя подшибли во время обыска, ты очень точно поставил медицинский диагноз своему ранению. А политический?

— Не понимаю!

— Тебя когда ранили?

— Ну, три недели назад.

— Тебя ранили тогда, когда немцы начали свое новое наступление. В эти же дни было покушение на Федора и убили подполковника Купресова, которого Федор привлек в военное училище преподавателем. В эти же дни сгорели фуражные склады Золотарева. Да, все это произошло приблизительно в одно время. Теперь скажи, ты когда-нибудь сидел в тюрьме вместе с таким — Вазузиным?

— С Иннокентием Павловичем, а как же! Очень нервный субъект, с несколько повышенным воображением. Все сочинял планы фантастического побега.

— Так вот, — сказал Ян, — я хочу, чтобы ты допросил Вазузину.

— Вазузин у нас в тюрьме?

— Он агент подпольного контрреволюционного «Сибирского временного правительства».

— Но почему ты его не допрашиваешь?

— А что я могу сделать, если он молчит?

— Еще раз допроси.

— Да что я, гений, — рассердился Ян, — или гипнотизер! А ты вот тряпка.

— Если разговор будет продолжаться в таком тоне, — Сапожков гордо выпрямился, — то я вынужден буду...

— Ну, стукни меня по голове чернильницей, — жалобно попросил Ян, — но что же делать, если он молчит?

— Хорошо, — решительно заявил Сапожков, — вызови, я с ним поговорю. Что нужно узнать?

— Кто стоит за ним, — сказал Ян. — А то я от него совсем нервный стал.

Красногвардейцы ввели в комнату Вазузина. Высокий, жилистый, с крупным хрящеватым носом и черными длинными глазами, он держал себя вызывающе спокойно.

Небрежно кивнув Сапожкову, сказал:

— Здравствуй, Петр. И, кажется, прощай. Очевидно, сегодня вы меня кокнете?

Сел, забарабанил длинными, сильными пальцами по краю стола, спросил:

— Что же молчишь, давай допрашивай.

— Это правда? — спросил Сапожков.

— Что правда? Правда бывает разная.

— Ты стал контрреволюционером?

— Знаешь, иди-ка ты к черту со своими идиотскими вопросами! — оглянулся, подмигнул: — Ну, по старой дружбе, когда шлепнете?

— Ты боишься? Почему паясничает? — спросил Сапожков.

— А что, я должен перед тобой благородного героя корчить? Может, традиционной следовательской папирсой угостишь?

— Я не курю.

— Знаю. Скажи, чтобы принесли.

Закурив, развалившись на стуле, Вазузин предложил:

— Хочешь анекдотец? Но для того, чтобы его понять, нужно иметь сильно развитое чувство юмора. У тебя как по этой линии, есть способности? Или сие тебе недоступно?

— Зачем тебе с таким излишним усердием унижаться передо мной? Не надо, Вазузин.

— Я перед тобой унижаюсь?! — Вазузин вскочил. На скулах его проступили красные пятна. — Я никогда ни перед кем...

— А вот сейчас унижался. Потому что другого ничего не остается. И молчал ты на допросе не потому, что храбр

и не боишься смерти, а потому, что стыдно говорить о мерзостях, убийствах, заговоре, предательстве. Пытаешься умереть не жалким, а ты жалок до отвращения.

— Это все? — яростно спросил Вазузин.

— Все,— сказал Сапожков.

— Будешь меня допрашивать?

— Нет.

— Могу уйти?

— Можешь.

— Позволишь еще одну выкурить?

— Кури.

Вазузин закурил, вытянул ноги и произнес облегченно:

— Эх ты, следовательно! Выходит, от меня ничего не добился. Не можешь.

— Нет, могу.

— Э, брось!

Вазузин небрежно махнул рукой.

— Ты знаешь, при каких обстоятельствах погибла твоя жена?

Вазузин побледнел, но, преодолевая себя, произнес безразлично:

— Так, в общих чертах. Она, кажется, умерла в одиночке от истощения.

— Я был в тюремной больнице, когда это случилось.

— А что именно случилось?

— Случилось сначала не с ней, а с тобой.

— Что же случилось со мной?

— Ты написал прошение на высочайшее имя о помиловании, когда был приговорен к казни.

— Но я это сделал, чтобы спасти свою жизнь для революции.

— Это твои собственные измышления, и о них я судить не могу. Ей сообщили о твоём прошении. Ночью она вытащила лампу из железной сетки, вылила из нее керосин на матрац, подожгла его и легла на горящий матрац. Она долго горела заживо, пока надзиратель не услышал запах дыма.

— Петр, это ложь!

— Ты знаешь Эсфирь? Она может подтвердить. Твоя жена, умирая, сказала ей все про тебя.

— Какой ты подлец! — простонал Вазузин, закрыв лицо руками. — Зачем, зачем так жестоко?..

— Но ты все это знал, брось притворяться.

— Я еще надеялся, что это не так.

Бледный, с дрожащими губами, Сапожков произнес, задыхаясь:

— Я бы никогда не стал говорить тебе это, если бы не знал, что ты негодяй. А теперь вот что... — Сапожков взял папиросу и, неловко, неумело закуривая, произнес повелительно: — Теперь я уйду, а ты все скажешь Витола, слышишь, все!

— Подожди, не уходи, Петр! Хорошо, зови Витола. Нет, подожди! А потом вы меня расстреляете?

— Не надо, Вазузин. Ты же знаешь, что ты сделал.

— Тогда последнее, Петр! — Вазузин поднял темное лицо с глубоко запавшими глазами и попросил со слабой надеждой: — А если я все скажу, вы можете?..

— Ну не мучай меня, Вазузин! — с отчаянием произнес Сапожков. — Зачем ты со мной торгуешься?

— Ладно, зови Витола. Но ты все-таки побудь здесь.

— Хорошо, я останусь.

Закончив показания, Вазузин устало и уже равнодушно спросил Витола:

— Так вы как, сегодня со мной кончать будете? Хорошо бы дольше не тянуть.

Ян задумался. Его круглое, с детскими, пухлыми щеками лицо было мрачно.

— Вы считаете, что заслуживаете расстрела?

— Да.

— Мы вас не будем слушать в этом. Мы не мстители. Вы сами себе уже отомстили. Я за то, чтоб вы жили и думали. Вы будете сидеть в тюрьме долго. Вы помогли революции своим признанием. Революция убивает тех, кто ей опасен. Вы — уже нет. Я буду говорить это на суде.

— К черту! — закричал Вазузин. — К черту, все к черту!

Ян опустил на стул, стиснул голову сильными, мускулистыми руками.

— Так болит, так болит! — Он приложил широкую ладонь к сердцу. — И здесь тоже. — Стукнул кулаком по столу и крикнул: — Ты понимаешь хоть, что ты делал? Пони-ма-ешь, Вазузин, понимаешь?

Егор Косначев писал в газете «Революционное знамя»: «Народ-богатырь снесет ныне с лица земли каменное позорище тюрем, а на их месте воздвигнет дворцы науки». Но никто не собирался ломать городскую тюрьму. Наоборот. С утра до ночи курсанты Федора Зубова ремонтировали

главный корпус, приспособивая его себе под общежитие. Каторжную тюрьму забрал продовольственный отдел под склады. Только вросший в землю старый каменный флигель, где последнее время жили солдаты конвойной команды, отвели под тюремное помещение. Хотя у папы на солдатском ремне висел большой револьвер в засаленной кобуре, он совсем не походил на настоящего начальника. Опускаясь на табуретку, он каждый раз тревожно вскакивал, забывая, что у него сзади висит наган.

Бывший фронтовик Зеленцов, снисходительно усмехавшись, советовал:

— Вы, Петр Григорьевич, потуже поясок затяните, тогда пушка не будет беспокоить.

Сапожков послушно начинал ковырять ремень зубом вилки, чтобы сделать дырку и потуже затянуть пояс.

— Полковник жалуется, требует отдельную камеру, не желает с ротмистром сидеть: храпит во сне очень, — рассказывал Зеленцов.

— Очевидно, носоглотка не в порядке, — оживился Сапожков. Потом рассердился: — Не понимаю полковника! Интеллигентный человек, я же объяснял ему: нет у нас одиночных камер, — и, заискивающе обращаясь к Зеленцову: — Нельзя ли ночлег у нас обеспечить трем товарищам? Прибыли из волости, а ночевать негде.

— Да что здесь, постоянный двор?

— Надо же им где-нибудь ночевать, но, с другой стороны, я не знаю, имеем ли мы право ставить своих заключенных в более стеснительные условия.

— К стенке их надо ставить, — уныло заметил Зеленцов. — Они из-за угла нам в спину стреляют.

Сапожков снял очки, протер стекла пальцами, снова надел и заявил решительно:

— Мы не должны руководствоваться даже естественным в таких случаях чувством мести. В классовой борьбе нередки случаи, когда преступником является не тот, кто совершил преступление, а тот, кто побудил совершить его.

Кабинетом начальника тюрьмы и его заместителя был самый обычный каземат. В глубокой амбразуре под потолком — зарешеченное окно. Керосиновая лампа — в нише над дверью — в сетке из толстой проволоки под замком. Наглухо приделанные к полу железные койки, откидной столик, в углу параша с тяжелой деревянной заслонкой.

Зеленцов тоскливо жаловался:

— Не могу здесь спать. Будто сам посаженный.

— Ну что вы! — удивился Сапожков. — Камера отлич-

ная, почти нет сырости. — Проведя ладонью по кирпичной стене, показал: — Видите, чуть влажная. Обычно, знаете, грибковая плесень чуть не до потолка. Сырость — источник ревматических заболеваний.

И со странным удовольствием стал предаваться воспоминаниям о тюрьмах, в которых ему приходилось сидеть.

— Старинные казематы имеют свое преимущество, — разглагольствовал Сапожков. — Слышимость менее значительная. В Крестах у меня сосед был, опустил, кричал по ночам, а оказался отличным шахматистом. Мы с ним целые ночи напролет играли.

— Вас, что же, с ним в одну камеру свели?

— Нет, зачем, стучали через стенку. Применяли самый элементарный азбучный код, ну и перестукивались.

— Вот что значит культурные люди! — со вздохом произнес Зеленцов и, небрежно ткнув рукой в стенку, заметил: — А эти наши, дал газету, а они, извините, для параша только пользуются. Вот Голованов, сколько он на своем прокурорском веку хороших людей пересажал, а ничему у них не научился. Постучите ему — не поймет.

Ян Витол часто поручал Сапожкову производить обыски.

Деликатный и застенчивый, Петр Григорьевич, предъявив ордер на обыск, тщательно вытирал в передней ноги о половичок, потом сконфуженно, с извинением просил ключи от ящиков стола, шкафов, долго, бережно и неловко укладывал обратно вещи. Как-то, свалив с подставки красного дерева вазочку, он так смутился, так извинялся, так неловко совал деньги владельцу за разбитую вазочку, что красногвардейцам, сопровождавшим Сапожкова, стало за него совестно. Обнаружив в томе собрания сочинений Жуковского лежавший внутри вырезанных квадратом страниц маузер, Сапожков, негодуя всплеснув руками, воскликнул:

— Какое кощунство!

На квартире прокурора Голованова под полом нашли японские карабины, густо покрытые заводской смазкой, и список участников террористической подпольной контрреволюционной организации. Когда обыск был закончен и арестованного усаживали в сани, к Сапожкову подошел дворник Голованова.

— Будьте так снисходительны, ребенок помирует. Вы же фельдшер, может, взглянете.

— Одну минутку, товарищи, — сказал Сапожков красногвардейцам и, разведя руками, объяснил: — Пренебрегать медицинским долгом не имею права.

В дворницкой сторожке было темно. Сапожков сказал сердито:

— Что же вы больного ребенка в темноте держите!

Полез в карман за спичками; очевидно, шаря в карманах, он машинально склонил голову, при выстреле обернулся и второй пулей был ранен. Но у него хватило сил обезоружить дворника.

Дворником оказался переодетый жандармский ротмистр Курослепов.

Осмотрев с помощью ручного зеркала выходное отверстие пули, Сапожков успокоительно сказал красноармейцам:

— Только травматическое повреждение мышечных тканей. — Попробовал было поднять руку, но на лбу выступили капельки пота. Пересилил боль, поднял руку и констатировал: — Функции плечевого сустава не нарушены, — скосив глаза на сырое от крови полотенце, добавил: — Кровоизлияние не очень значительное, — и, подняв палец, сообщил: — Вот если бы была задета артерия, тогда возможен даже летальный исход.

В больнице он пролежал меньше недели, заявив, что он медик и будет продолжать лечение амбулаторным путем, с помощью собственных знаний. От жены он попытался скрыть, что ранен.

Когда она спросила, почему он так плохо выглядит и что у него с рукой, сказал:

— Понимаешь, ревматизм: очевидно, выбрал для кабинета сырую камеру.

— А почему от тебя так несет йодоформом?

Сапожков пожал плечами, рассудительно объяснил:

— Ну, я же все-таки медик и мне приходится иметь дело с самыми различными медикаментами.

Сапожков любил медицину, благоговейно уважал врачей и каждый раз говорил:

— Черт возьми, когда же я в университетский город попаду! Два года — и я врач с дипломом.

Ян Витол утешал его:

— А вот когда будет здесь университет, тогда и кончишь.

Но Сапожков переоценил свои медицинские познания: рана загноилась. Павел Андреевич Андросов оперировал Сапожкова без хлороформа, так как выяснилось, что у него

больное сердце. Во время операции Сапожков стонущим голосом беседовал с хирургом, а тот, чтобы отвлечь, вовлек его в медицинскую дискуссию, в ходе которой Сапожков, к удивлению Андросова, обнаружил обширные знания.

Когда Рыжиков пришел проводить Сапожкова, Андросов сказал с возмущением:

— Это варварство — так недооценивать медицинские способности человека! Вы могли бы приобрести очень дельного врача.

Сапожков смутился, бледные щеки его порозовели.

— Ну что вы, Павел Андреевич, я ведь, в сущности, дилетант.

Когда Варвара Николаевна пришла в больницу, она очень рассердилась на мужа:

— Как ты смел от меня скрывать, что тебя ранили?

— Варенька, — тихо сказал Сапожков, — ты ведь у меня фантазерка, зачем же волновать тебя!

— Ох, Петька, какой ты глупый! — И, прижавшись щекой к лицу мужа, она произнесла совсем тихо: — Ты мой и самый лучший на свете.

— Варенька, не нужно меня переоценивать, — рассудительно сказал Сапожков. — Ты должна лучше других видеть мои недостатки.

— Ну ладно, вижу, вижу...

— Тогда хорошо, — с облегчением вздохнул Сапожков и добавил поучающе: — Если человека идеализировать, всегда возможна угроза разочарования.

— Ах, Петр, — устало произнесла Сапожкова, — ну что ты все философствуешь!

— Варенька, — наставительно произнес Сапожков. — Человек — существо мыслящее.

Варвара Николаевна взяла мужа за уши и, приближая к его лицу свое лицо, произнесла самым нежным, самым своим певучим голосом:

— А ты — мое самое дорогое существо.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Папа пришел в транспортную контору проводить маму, уезжавшую с обозом за хлебом. Вместе с мамой ехали шестнадцать рабочих. Они везли подарки: пять тысяч штук кирпичей, полные сани красиво обожженных Хрулевым глиняных горшков, завернутые в рогожи тюки книг, ящик железных зубьев для борон, два ящика гвоздей, тяже-

лые лемехи, связанные в стопу ржавой железной проволокой.

На сани, в которых должна была ехать мама, был водружен большой, плетенный из черемуховых ветвей короб с овальным лазом. Внутри этого короба будет сидеть мама, и никакая пурга ей не страшна.

В провиантских саниах стояла кадка с тестом и колонкой белых кругов мороженого молока. Сушеные окуни свалены в угол кучей, как щепки. Хомяков с озабоченным лицом проверял сбрую, тщательно осматривал коней и давал суровые, короткие приказания. Он очень беспокоился, чтобы народнохозяйственные кони выглядели не хуже, чем крестьянские, поэтому велел еще раз вычесать всем хвосты и гривы, «пройтись скребницей и щеткой по всем статям». Тайком от всех он помазал копыта коней черной краской, выпросив ее у шорника.

Тима помогал запрягать коней и говорил громко, чтобы мама слышала, каким он стал образованным в конском деле:

— Вы Серко коленом в брюхо поддайте. Он нарочно тужится, когда подпругу затягивают. А то сползет потом седелка или начнет на ходу прыгать и сделает набоины.

Белужин принес охапку березовых поленьев и, свалив в провиантские сани, сказал:

— Если во вьюгу заплутаются, костер сложат, обогрются. — Отряхивая с груди тонкие белые лоскутки бересты, признался с огорчением: — Опять меня Хомяков презирает. Привязал я колокольцы, а он говорит: «Скидывай обратно!» Мол, звоном бандитов созывать только. А я для торжественности хотел.

— Разве в тайге есть сейчас бандиты? — встревожился Тима.

— Они теперь везде, — махнул рукой Белужин. — Только раньше одни от горя и бедности за ножи да за винтовки брались, а теперь другие — от богатства. Добром землю разве отдадут те, кто ее запахал и на кого переселенцы батрачили? Сейчас в деревне такое землетрясение происходит, — только держись!

Мама в длинном до пят тулупе, подпоясанная веревкой, в заячьей ушанке, пушистой, словно огромный одуванчик, говорила Тиме уважительно:

— Ты как заправский извозчик с лошадьми научился обращаться, — обернувшись к папе, похвасталась: — Заметил, как он все понимает?

Но что ответил папа, Тима не расслышал.

— Сапожков! — сердито кричал Белужин. — Ты куда с упряжки гнедого череседельник подевал? Сказано же, на деревянном гвозде всё в порядке вешать!

Тима бросился в конюшню, нашел упавший в сено череседельник, а когда снова вернулся, увидел, как мама, сняв рукавицы, протянула папе руки и папа, взяв их в свои, говорил маме:

— Ты знаешь, Варенька, еще за сто восемьдесят лет до рождества Христова братья Гракхи предлагали устроить справедливый передел земли, и оба в разное время за это были убиты патрициями.

— Пожалуйста, не беспокойся, — сказала мама. — Как тебе известно, сейчас совсем другое время. А у товарища Козырева есть даже в деревянной коробке скорострельный мозер.

— Не мозер, а маузер, — поправил Тима. — А твой револьвер называют «бульдог».

— Смешно, — улыбнулась мама, — револьвер с собачьим названием.

— Смит-вессон лучше, а самый замечательный — это браунинг, — задумчиво сказал Тима. — Я его у Яна видел, плоский, синый, и только один раз нажмешь, остальное сам стреляет.

Мама взяла Тиму за плечо и, тревожно заглядывая в лицо, взмолилась:

— Дай мне сейчас же честное слово, что ты без меня не будешь даже близко подходить к оружию, — и, повернувшись к папе, произнесла с отчаянием: — Ты слышал? Откуда он, по-твоему, про револьверы узнал? Ему кто-нибудь дает их трогать, да?

— Варенька, — сказал папа твердо. — Тима уже не маленький ребенок. В его возрасте я тоже интересовался всякими машинами.

Мама стала взволнованно развязывать уши заячьей шапки, обернутые вокруг ее шеи.

— Боже мой, — огорченно твердила она, — боже мой! Ну как я вас могу оставлять одних вдвоем, когда ты потворствуешь всяким глупостям?

— А ты возьми меня с собой, — быстро посоветовал Тима.

— Еще чего не хватало! — испугалась мама. — Нет, нет, оставайся со своими конями и с папой.

— Папа все равно со мной редко встречается, — пожаловался Тима.

— Петр, — сказала мама. — Я прошу тебя...

— Хорошо, — пообещал папа. — Я буду обязательно каждую ночь навещать Тиму.

— Да, да, непременно! Тима не должен оставаться один.

— Только ты скажи, чтобы он будил меня, — деловито попросил Тима. — А то придет на цыпочках, поглядит, как я сплю, и снова уйдет, а я и не узнаю, что он приходил.

Мама задумалась:

— Будить ни в коем случае. Нарушать сон вредно.

— По коням! — зычно закричал Козырев, и головные подводы выехали из ворот.

Мама вскочила в свои сани и стала махать папе и Тиме рукой.

А папа и Тима еще долго бежали рядом с санями и кричали маме:

Па п а. Варенька, умоляю — не простудись!

Ти м а. Кедровых шишек привези!

Па п а. Будь осторожна: сейчас в деревне ожесточенная классовая борьба!

Ти м а. Приезжай скорей обратно!

Па п а. Помни, ты — мое самое главное на свете.

Ти м а. Мамусечка, ты обо мне думай, когда спать ложишься, ладно?

Мама махала им обоим рукой, глаза ее синели и влажно блестели, и последнее, что увидел Тима, — это белую заячью шапку и в ней лицо мамы, такое ласковое, печальное, дорогое.

Обоз скрылся за поворотом, на дороге остались только гладко отшлифованные следы от полозьев, но и их скоро запорошило густым, кудлатым снегом.

Остановившись возле ворот транспортной конторы, папа сказал Тиме, вздохнув:

— Вот, брат, мы с тобой вдвоем остались. Плохо нам будет теперь без мамы.

— Ничего, — утешил Тима, — она скоро вернется. И даже хорошо, что поехала. Видел, какая она худая, а в деревне, говорят, еды много. Поест там как следует и вернется даже толстой.

— Ну что ж, — согласился папа. — Будем ждать. — Потом добавил сконфуженно: — Ты извини, Тима, мне надо идти.

— Мне тоже, — сказал Тима.

— Тебе куда? — спросил папа.

— К Ваське. Может, поеду, если вызов будет. А тебе куда?

— Витол вызывает.

— Контриков за шкурку хватать, да?

Папа обиделся, покраснел и сказал Тиме назидательно:

— Пользоваться жаргонными выражениями — значит, пренебрегать чистотой и ясностью русского языка. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не смел этого делать!

— Ладно, не буду, — покорно согласился Тима. Потом нерешительно спросил: — А ты все-таки зайдешь почью?

— Постараюсь, обязательно постараюсь.

— Ну, я пошел, — объявил Тима, но, сделав несколько шагов, оглянулся, увидел спину отца, сутулую, с уныло опущенными плечами, и, проникаясь к нему жалостью, крикнул: — Папа, обожди!

— Ну, что скажешь? — спросил папа, стараясь спрятать от Тимы свои грустные глаза.

— Папа, — сказал Тима громким шепотом и предложил: — Давай я тебя поцелую.

Он обнял отца за обросшую жилистую, худую шею и изо всех сил поцеловал его в колючую щеку.

— Тима, — сипло сказал папа, — ты знаешь, что... — и протирая очки дрожащими пальцами, добавил: — Ты хороший человек, вот, — и, надевая снова очки, попросил: — Люби маму, она у нас, знаешь, необыкновенно хорошая.

И, бережно поцеловав Тиму в лоб, глубоко засунув руки в карманы, ушел, а из его правого, протоптанного валенка волочился по снегу вылезший кусок портянки.

В конюшне Тима обнял за шею Ваську и, прижимаясь лицом к его шерсти, тепло пахнувшей потом, шептал дрожащими губами:

— Уехала мама. Уехала... А там, в деревне, говорят, коммунистов бандиты убивают. Ты слышишь? Зачем папа отпустил маму? Зачем?..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

После отъезда мамы Тима действительно стал жить вместе с папой и Витолом.

Ян теперь был не только председателем трибунала, а еще вдобавок начальником военно-революционного штаба Совета. Штаб помещался в старинной грапильне — низкие мрачные комнаты, узкие окна в аршинной толщины стенах, каменные плиты пола, до такой степени истертые ногами, что каждая квадратная плита походила на блюдо; оттого,

что во всех углах стояли пирамидками винтовки и на салазках возвышался привязанный за деревянные колеса пулемет, все здесь казалось мужественным, суровым и строгим.

Ян Витол и папа устроили себе спальню в кладовой, где не было окна. И днем и ночью здесь горела семилинейная керосиновая лампа. Тима спал с папой на топчане. Вообще жить тут было неплохо. Папа и Ян отдавали Тиме всю патоку, которую они получали в пайке вместо сахара. Дежурные красногвардейцы учили разбирать и собирать винтовку. А один из них, по фамилии Солодовников, обшил валенки Тимы кожей, и теперь их можно было чистить ваксой, как сапоги. Тима обзавелся настоящим солдатским ремнем. Ложась спать, свертывал ремень в круг и клал под подушку, совсем как папа и Витол свои револьверы. По утрам Ян обтирался снегом, делал гимнастику по Мюллеру и, поглаживая выпуклый мощный шар на согнутой руке, хвастал: «Ничего себе, я еще здоровый, могу в цирке выступать». И он заставлял бледного, тощего папу тоже делать гимнастику, неизменно повторяя то же: «В здоровом теле — здоровый дух».

А папа произносил, задыхаясь, эти же слова только полатыни: «Мэнс сана ин корпорэ сано».

Тиме тоже приходилось подчиняться Яну и тоже делать гимнастику. После завтрака его выгоняли гулять, и Тима шел в транспортную контору ухаживать за своим Васькой.

Когда папа и Ян ложились спать, а это случалось далеко не каждую ночь, Тима сквозь сон слышал их разговоры.

— Я понимаю, — шептал папа взволнованно, — революция родилась в войне, в разрухе. Без мучений, терзаний, ужасов, без тяжелой длительной и кровавой борьбы народу не удержать свою власть. Но как тяжело знать, что некоторые люди, называвшие себя революционерами, тоже стали нашими врагами!

Ян, тщательно укладывая галифе под матрац, чтобы утром они выглядели словно отглаженные, сказал:

— Революционер — это не звание, а призвание. А вот такие, как твой Вазузин, шли в революцию не для того, чтобы поднять народ к народовластию, а чтобы с помощью народа стать самим у власти и над народом.

Папа объявил горячо:

— Вазузин — порождение анархического индивидуализма.

— Возможно, — не совсем уверенно отвечал Ян. — Боязнь народа, презрение к народу вызывают у иных субъ-

ектов позывы к личному диктаторству, вот и устраивают заговоры. Хотя Вазузин сознался и кое-что рассказал, самое важное показание он дал после того, как я ознакомил его со списком их временного правительства. Его фамилии там не было. И представь: обиделся, рассердился и все выложил. И даже своих предателями назвал. В психологии у них сидит это стремление к личной власти. Поэтому с такой подлой жестокостью и действуют и зверски убивают.

Папа сказал задумчиво:

— Две тысячи четыреста лет назад Протагор писал: «Человек — мера всех вещей».

— А что является мерой человека, он не сказал?

— Не помню.

— Где ж помнить! Сам говоришь: две тысячи четыреста лет назад. Так я тебе скажу: мерой человека может быть только человек.

— Именно так, — согласился папа. — Вот слушай, это, так сказать, почти гимн. — Он порылся в своей пухлой, поношенной записной книжке и торжественно прочитал: — «Будущее светло и прекрасно, любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее сколько можете перенести», — и пояснил благоговейно: — Чернышевский.

— А ну, скажи еще раз, — жадно попросил Ян. — Обожди, я запишу. Ой, как хорошо сказано!..

И присев у табуретки, низко склонившись, Ян начал писать.

Однажды ночью Ян пришел, вынул из кобуры наган, выбил из барабана шомполом пустые гильзы и стал сердито чистить револьвер тряпочкой, намоченной керосином. Заложив новые патроны, засунул наган в кобуру, потом очень долго мыл руки под умывальником.

Папа спросил шепотом:

— Ну, как?

Ян нервно передернул сильным плечом:

— Силантьева и Чистякова пулеметом с чердака прямо во дворе положил, сволочь.

— А его поймали?

— Застрелил на чердаке, — глухо сказал Ян. Лег на койку и приказал: — Молчи, спать буду.

Но он не спал и не давал уснуть Тиме: ворочался, вздыхал.

На следующий день Тима не мог преодолеть чувства испуганного отчуждения к Яну, убившему вчера какого-то человека. Ян заметил это и не заговаривал с Тимой, а толь-

ко иногда тревожно и вопросительно подымал на него светлые узкие глаза и тер ладонью наголо стриженную круглую голову с маленькими, по-мальчишески оттопыренными ушами.

Вечером Ян спросил Тиму:

— При тебе мальчика с вашего двора укусила бешеная собака?

— Да,— сказал Тима.

— А кто убил ее?

Тима очень струсил, когда собака бросилась на Костю, но успел вскочить на крыльцо, а то бы она и его тоже покусала.

— Убила собаку Феня Полосухина кочергой. Я не успел,— соврал Тима.

— А если бы успел, убил бы?

Догадавшись, что хочет объяснить Ян, Тима признался честно:

— Я тогда очень испугался.

— А вот я не испугался,— сказал Ян сухо.— А если бы испугался, тот успел бы убить еще кого-нибудь. Теперь ты понимаешь?

Тима хотел подойти, прижаться к Яну, сказать, что он слышал, как Ян вздыхал ночью. Но Ян отстранился от него:

— Не надо, Тима. У меня это тоже еще не прошло. Я только хотел тебе объяснить. Революция — это очень много добра людям, очень. Но нужно очень ненавидеть зло, чтобы быть добрым. Ты знаешь, что мы тут делаем? Защищаем людей от зла, которое хотят им причинить, поэтому мы не должны быть просто добрыми, и это самое трудное, что может поручить человеку революция.

— Но ведь вы же добрый! — воскликнул горячо Тима. Ян задумался.

— Если б я был злым человеком, меня бы партия сюда никогда не поставила.

— Папа тоже добрый,— сказал Тима.

— Твой папа очень добрый, такой добрый, что я по-доброму отпускаю его, чтоб больше не быть злым на него.

— Что же вы на папу злитесь? — обиделся Тима.— Он же вас слушается.

— Он не меня должен слушаться, он должен слушаться революции.

Конечно, Тима понимал, каким тревожно-страшным делом занимался Ян. Он видел, как арестованные боятся Яна, заискивают перед ним или, притворясь возмущенны-

ми, держатся вызывающе и оскорбляют Яна всякими словами.

А Ян с ними говорит спокойно, как папа с больными. Наверное, Ян от него и научился.

— Позвольте,— говорит Ян человеку в офицерских брюках и в замасленной кацавейке. — Вы утверждаете, что держали мышьяк от крыс. И что в конюшню его притащили крысы. Но ведь в хлебных катышках дозы были не крысиные и даже не лошадиные, а на слонов рассчитаны.

— Я не аптекарь, знаете ли,— усмехается допрашиваемый.

— Вот и переложили потому, что не аптекарь,— соглашается Ян.

— Если бы вы были культурным человеком,— иронизирует допрашиваемый,— вы бы могли судить по Брэму о коварстве крыс: там подробно описаны случаи, когда они перетаскивали отраву к другим животным.

— Поразительно умные существа,— подтверждает Ян.— Вот куриные яйца, знаете, как они воруют? Крыса берет яйцо в лапы и ложится на спину, другие тянут ее за хвост до самой норы и потом уже вкатывают яйцо в нору. А молоко? Представьте себе, крыса забирается на кринку, опускает внутрь хвост, потом снова вынимает и дает его лизать другим крысам. Все это есть у Брэма, очень любопытно!

Ян наклонился, выдвинул ящик стола, достал толстую книгу в черном переплете и, показав ее допрашиваемому, сказал:

— Видите, здесь все написано. Но вы не учли следующего обстоятельства: крысиная отравка готовится не только на тесте, туда прибавляют сало. А ваши катышки приготовлены на чистых отрубях — значит, они рассчитаны не на крысиный вкус, а на лошадиный.

— Таких рецептов у Брэма нет.

— У Брэма нет, а в словаре, который мы у вас обнаружили, рецептик подобный имеется. И на соответствующем месте ваша отметка ногтем. Именно вашим ногтем. Посмотрите: они у вас, как у дамы, для красоты — длиннейшие. Маникюром сами занимаетесь или приглашаете на дом?

— Ну, знаете, на такие издевательские вопросы я отвечать не собираюсь.

— И не надо,— соглашается Ян.— Вы только, пожалуйста, скажите, кто вам дал указание отравить лошадей, и мы больше не будем вас затруднять...

Папа потом с удивлением говорил Яну:

— Черт знает, откуда у тебя берется эта железная логика, ты ведь даже в шашки играешь как сапожник.

— А я и есть сапожник, — не обижаясь, согласился Ян и приложил ладонь к выпуклому лбу: — Ты думаешь, все отсюда? Нет, оттуда, — и показал рукой на окно.

Папа недоуменно пожал плечами.

Ян объяснил:

— Хожу к людям, спрашиваю. Каждый человек что-нибудь знает. Про крыс мне лабазные сидельцы рассказали. Вот этот здесь уверял, что для крыс отраву готовил. Но это не он готовил, ее ему прислали. На мельнице мне сказали, что отруби не нашего помола. Они пшеничные, а пшеницу у нас не сеют. Значит, издалека готовые катышки привезли.

— Поразительно, — сказал папа.

— Нужно долго думать и много людей спрашивать, тогда все просто, — назидательно произнес Ян и добавил: — Тех, кто против нас, не так много, а тех, кто с нами, очень много. И когда многие думают против немногих, они всегда будут умнее их. — Притрагиваясь пальцем к серому страшному шарiku, слепленному из отрубей, сказал: — Это из Омска отруби. И Вазузин тоже из Омска приехал. Эсеры организовали тут у нас в городе демонстрацию с требованием начать «революционную» войну с немцами, а контрреволюционеры их поддержали. И между всем этим я вижу такую же связь, как между омскими отравленными отрубями и омским подпольным временным сибирским правительством, эмиссаром которого является Вазузин.

— Да, — сказал папа, — страшновато получается!

— Немножко страшно, да, — согласился Ян. — А если б они потравили коней, мы не смогли бы послать обозы за хлебом в деревню. Им нужен союзник — голод. Тот, кого я застрелил на чердаке, понимал это.

Тут Тима не вытерпел, бросился к Яну, обнял его.

Ян, глядя Тиму по спине широкой ладонью, бормотал:

— Теперь, когда ты понимаешь, ничего, можно, теперь Ян не противный, как собака...

Но иногда бывало совсем наоборот: папа упрекал Яна в мягкотелости и сердито говорил:

— Ведь признался Липатов в поджоге — передавай в трибунал. И что это за бесконечные душеспасительные беседы, когда ясно: он преступник?!

Ян лениво жмурился и, добродушно поглядывая на папу, рассуждал:

— Правильно, душеспасительные. А почему не попытаться спасти человека? Он ведь в денщиках у Пепелова лет восемь служил и в силу холуйской привычки бездумно выполнял все, что офицер прикажет. Приказал поджечь — поджег.

— Приказал бы убить, убил бы, — зло заявил папа.

— Верно, — согласился Ян. — Убил бы. Но, может, у него под скорлупой солдатского мундира что-нибудь хорошее уцелело?

— Не знаю, — пожимал плечами папа. — Пока он только выгораживает Пепелова.

— Значит, хочет взять вину на одного себя, а этого мы ему не позволим, — упрямо заявил Ян. — У меня терпения хватит, все равно ему в мозги залезу, будь спокоен, я его выдержкой переборю, подыму человека с колен.

Но он сказал неправду о своем железном спокойствии. В тот же день Тима убедился в этом. Он пошел звать Яна и папу пить чай.

Войдя в дежурку, Тима увидел, как Ян, ухватив такого же, как он сам, плечистого, рослого человека за ворот кожаной куртки, мотал его туда-сюда и хрипел:

— Ты подлец, ложный донос написал! Ты гадина, ты мстить хотел, отродье... Нашими чистыми руками счета сводить! Убью, своими руками убью!

Папа схватил Тиму за плечо.

— Пошел отсюда, — а сам бросился к Яну.

Тима только к обеду вернулся обратно, ожидая увидеть нечто ужасное. Но он увидел Яна, который ел овсяную кашу, поставив себе миску на колени, а папа, бледный, с дрожащей щекой, стоял рядом и говорил:

— Так нельзя. Так нельзя, Ян. Это недопустимо. Я понимаю: мерзавец заслуживал наказания, но зачем же самому...

Ян облизал ложку, тщательно осмотрел ее, потом взглянул на папу, вытер платком губы и произнес спокойно и раздельно:

— Ленин приказал расстреливать за ложные доносы, — наклонился, вынул из-под подушки кожаную сумку, раскрыл ее, достал бумагу и, протягивая папе, приказал: — Читай.

Папа прочел, бережно сложил бумагу и, возвращая ее Яну, заметил:

— Но ты об этой директиве не знал, она получена только сейчас.

— Да, иначе я не ел бы здесь сейчас кашу, а принес бы

свой партийный билет Рыжикову и сказал: «Слушай, Рыжиков, я сделал так и так. Созывай партийный суд... Но с теми, кто пишет ложные доносы и хочет замарать чистые руки партии, я все равно буду так поступать».

— Ян! — сказал встревоженно папа. — У тебя все-таки нервная система совершенно расшатана.

— Да, есть немножко, — согласился Ян и поднял опухшую лиловую ладонь, пересеченную кровавым рубцом: погги черные, и под ними запеклась кровь, — усмехнулся и объяснил: — Вгорячах с первого раза промазал и ударил об стену.

Окунув опухшую руку в шайку с водой и снегом, Ян поморщился и спросил:

— Как это твой Протагор говорил про человека?

— «Человек — мера всех вещей».

Ян задумался и спросил:

— А меру подлости человека он знал, твой Протагор?

Папа пожал плечами.

Ян вынул руку из шайки и, сжимая кулак так, что из-под ногтей снова выступила кровь, гневно проговорил:

— А мы ее должны знать, и чтобы все об этом знали, все! Революция не волшебная фея. Она мать измученного человечества. Мать. Понял? Мать! И люби ее, как мать, и говори ей, как матери, всю правду. И она, как мать, все поймет.

Снова сунул руку в шайку и, вытерев кровь о комья снега, сказал решительно:

— А к Рыжикову я все равно пойду. Нужно, чтобы партия мой поступок обсудила...

— Да, — сказал папа и обнял за плечи Яна. — Я тоже с тобой пойду. Ты знаешь, я как-то стеснялся тебе посоветовать, а теперь очень рад, что ты сам решил.

Ян, прищурившись, посмотрел на папу.

— А я все ждал, когда ты мне скажешь. И черт тебя знает, Петр, — вздохнул он, — как я тебе эту твою глупую деликатность прощаю, понять не могу!

Папа поежился:

— Но я бы потом все равно настоял. Я просто обдумывал, как лучше тебе сказать, принимая во внимание твоё состояние.

— Ладно, — сказал Ян, вытащил из кармана гимнастерки бумажку, где были записаны слова Чернышевского, перечел вслух и повторил задумчиво: — «Переноси из будущего в настоящее сколько можешь перенести». Хорошо чувствовать себя носильщиком будущего, хорошо, даже

если чувствуешь, как у тебя твои позвонки хрустят и от тяжести глаза на лоб вылезают. Ведь вытащим мы это будущее в сегодня, а? Сквозь грязь и кровь, а вытащим. — Спрятал бережно бумажку в карман, снова сунул поврежденную руку в шайку со снегом и водой и, взяв другой рукой деревянную ложку, стал черпать овсяную кашу. Сказал с набитым ртом: — Вот вдвоем и пойдем к Рыжикову. А ты пока напиши свое мнение. Когда ты один на один с бумагой, ты хорошо думаешь.

Папа озабоченно предупредил:

— Но, если оценивать твой поступок обобщающе, это очень серьезно.

— А вот ты так и оценивай, — сказал Ян и ядовито осведомился: — А ты что думал, это не серьезное дело — доносчика лживого убрать? Очень даже серьезное дело. — И попросил: — Только ты стунай в другое помещение и там пиши. А то я тебя отвлекать буду. Так сказать, субъективный момент примешается.

— Да, психологически это так, — согласился папа и вышел.

Тима предложил:

— Давайте я йодом вам руку помажу, а то папа позабыл.

— Валяй. — Ян насухо вытер руку о простыню.

— Жжет?

— А как же, что же у меня, вместо руки копыто?

— А почему вы не стонете?

— Можно и постонать, — покорно согласился Ян. — Ой, ой, как больно!

Папа вошел с встревоженным лицом:

— Что случилось?

— Лечусь, — сказал Ян. — Ты вот медик, а пренебрег. А Тимофей более здраво ко мне отнесся. Видал, как сам перемазался: неаккуратно работает. — Потом привлек к себе Тиму и ласково, щекоча ухо сухими, горячими губами, произнес: — Ты, Тима, учись понимать, как человеку не-легко человеком быть.

Тима отлично понимал, что папе совсем не нравились его должность помощника начальника тюрьмы и работа у Яна Витола. По разговорам родителей Тима догадывался, что папа ходил в ревком проситься на другую работу, но из этого ничего не получилось.

Действительно, Тимин папа жаловался Рыжикову «на некоторые психологические трудности», которые он испытывает, но Рыжиков сказал:

— Неужели ты думаешь, что в партии найдется хотя бы один человек, у которого было бы призвание к такой работе?

— Но посуди сам,— уныло заметил Сапожков,— у меня совершенно отсутствуют для нее какие-либо данные.

— Вот потому мы тебя и назначили.

— Но, прости, это нелепо!

— Не думаю. Классовые враги ведут сейчас с нами жестокую борьбу, коварную и мстительную.

— Я понимаю, приходится на жестокость отвечать жестокостью.

— Нет,— не согласился Рыжиков.— Мы беспощадны с врагами, но не жестоки. Так же, как наказание, это не месть, а справедливое возмездие.

— Софистика, игра слов. Тюрьма остается тюрьмой.

— Нет, не игра в слова,— рассердился Рыжиков.— Ленин дал указание усилить репрессии и одновременно улучшить содержание заключенных. Противоречие? Нет. Трибунал руководствуется только законом и наказывает преступника, а ты обязан вернуть преступника в общество не врагом — не подавлять человека, а исправлять. Мы дали в твое распоряжение токарный станок, три верстака, больше сорока различных инструментов, выделили двух рабочих для обучения заключенных. Как ты думаешь, для чего? А ты — «тюрьма остается тюрьмой». Неправильно, Петр.

Но восемнадцать заключенных вели себя далеко не как заключенные.

Они не хотели слушать наставлений Сапожкова о личной гигиене, нарочно ломали инструмент в мастерских и грубо отвергали все попытки бесед по душам. По-видимому, они рассчитывали на какие-то силы, которые принесут им освобождение, и откровенно намекали на это. По малейшему поводу писали жалобы в уездный и губернский Советы, откуда приходили строгие запросы с требованием Зеленцову и Сапожкову дать объяснения.

Сапожков принес заключенному Горбачеву стихи Некрасова и посоветовал их почитать.

— А я неграмотный,— радостно объявил Горбачев. На следующий день Сапожков дал ему букварь.

— Да что я вам, пригодишка? — возмутился Горбачев и бросил букварь в парашу.

Заключенный Бамбуров засунул в станок стамеску и сломал шестерню.

— Зачем вы это сделали? — спросил Сапожков.

— А вы зачем у меня крупоруху конфисковали, позвольте узнать,— осведомился Бамбуров и, приблизив

к Сапожкову свое тугое сизое лицо, сказал злобно: — Думаєте, когда-нибудь прощу? До последнего дыхания помнить буду.

Во время прогулки в тюремном дворе племянник Кобрин остановился перед Тимой и спросил участливо:

— Хочешь, гимнастом научу быть? Вот, гляди. — Кобрин сел на землю и, быстро заложив обе ноги себе за шею, встал на руки и прошелся на них, как на ногах.

— Здорово, — восхитился Тима.

— Желаете сам попробовать?

Но как Тима ни старался, у него ничего не получалось.

Тогда Кобрин снизошел к нему и сам заложил обе Тимины ноги ему за шею и приказал:

— Ну, теперь ходи на руках, как я.

Но Тима не только не мог поднять на руках свое туловище, но даже вздохнуть как следует. Лицо его налилось кровью, глаза изнутри страшно давило, а ноги невыносимо болели, словно вывихнутые. Тима просил с отчаянием:

— Отпустите мои ноги, пожалуйста, я больше не могу.

— Давай, давай сам. Что я тебе, нянька? — весело проговорил Кобрин и побежал вслед за возвращающимися в здание тюрьмы заключенными.

Опрокинувшись грудью и лицом на землю, Тима силился освободить ноги, но боль судорогой свела все тело и шею, и затылок жгло словно раскаленным железом.

Тима не мог даже крикнуть дежурному красногвардейцу, чтобы тот спас его.

Потом, когда обеспамятевшего Тиму нашли во дворе и отец приводил его в чувство, массируя сведенное судорогой тело, Зеленцов допросил Кобрин, почему он истязал мальчика. Кобрин обиженно заявил:

— Вы такое слово бросьте! Это он сам, а я здесь ни при чем.

— А все-таки Тимофея без присмотра оставлять нельзя, — пожурил Зеленцов папу, — а то и придушить могут.

— Совершенно верно, мальчику здесь не место, — вздохнул папа.

— Нет, почему же? — заступился за Тиму Зеленцов. — Пускай видит, какие они, враги: хуже зверей в клетках. Ведь ему в жизни и не такое придется увидеть, правильная злость сердцу не повредит.

— Возможно, — с колебанием согласился папа. — Но это удел только нашего поколения — вынести на себе всю мерзость человечества.

— Верно, — живо подтвердил Зеленцов. — Для такого

дела себя не жалко. Только хватит ли нам жизни для всего этого? Вот вопрос.

— Нужнo постараться, чтоб хватило.

Потом папа и Зеленцов долго говорили о буржуазии, о мировом капитализме, о страшном инстинкте частной собственности, который делает из человека зверя, а Тима, лежа на койке с согревающим компрессом на шее, вдруг вспомнил о том, что сам он тоже недавно стал вроде буржуа и наслаждался капиталом, который добыл, как и все буржуи, нечестным путем.

Все ребята не только из Банного переулка, но и с соседних улиц играли на очищенных от снега досках тротуара в чеканчик на царские медные и серебряные деньги. Тима тоже играл, но больше проигрывал, чем выигрывал.

Помня слова Яна Витола о том, что настойчивостью, упорством, упражнениями и сноровкой даже слабый борец может победить сильного, Тима долго играл в чеканчик сам с собой, изучая разные приемы, чтобы потом поразить всех ребят своим умением.

Однажды ему довелось видеть, как играли в эту игру торговцы на базаре. Чаше других выигрывал рябой, узкоплечий паренек. Внимательно приглядываясь, Тима заметил, что рябой, когда разыгрывал кон, бросал свой пятак не перед чертой, а за черту, так что биток, ударяясь ребром, отскакивал от доски и падал у самой черты. А когда рябой бил по стопке монет, он норовил ударить ее не плашмя сверху, а вниз с подрезом, тогда стопка переворачивалась при падении с решки на орла. Испробовав эти способы, Тима паловчился класть пятак почти всегда у самой черты и подрезать всю стопку с одного легкого удара наискосок.

В первую же игру он выиграл восемьдесят копеек, обобрав всех ребят из своего дома. Тогда Тима стал ходить играть по другим дворам и столь же успешно обыграл всех других ребят.

Медяки он носил в отцовской старой варежке, серебро держал в карманах. Несколько раз Тиме приходилось обыгрывать и взрослых, что давало, кроме прироста к капиталу, еще приятное сознание превосходства над ними.

Мало-помалу у Тимы скопилось больше двадцати пяти рублей. Капитал значительный: в то время на базаре брали и бумажные царские деньги, а за медь и серебро платили не только сполна, но даже давали втрое.

Отношение к своему капиталу у Тимы было двой-

ственное. С одной стороны, ему нравились монеты, как вещи. Среди них было много старинных, с затейливым гербом и грубой насечкой по ребру. Перебирая их, он думал о том, что вот этот тоненький, словно рыба чешуйка, старинный гривенник, наверно, сто лет лежал в глиняном горшке под землей, куда его зарыли разбойники, пряча свой тайный клад. Самые красивые монеты Тима вычистил золой, и они блестели, как медали. Он держал их отдельно в коробке от гильз «Катык» уложенными в вату.

Но монеты эти волновали его воображение не только как красивые, примечательные своим древним прошлым вещи: это были деньги. Деньги, которые принимали на базаре, на толкучке и на которые можно было что-нибудь купить.

Родители никогда не давали Тиме денег: мама из боязни, чтобы Тима не купил в лавке опасных для здоровья, обсиженных мухами конфет или крашенных чуть не масляной краской солодовых пряников, отец — принципиально. Он говорил сурово:

— Пока деньги для тебя не будут овеществленным выражением лично твоего общественно-полезного труда, ты не имеешь на них никакого права. — И пояснял брезгливо: — Приобретение же денег всяким иным путем, помимо личного труда, безнравственно и чревато всякими дурными последствиями.

Обращаясь к маме, мечтательно добавлял:

— При социализме, я полагаю, деньги обретут абсолютную нравственную и материальную ценность, ибо будут служить только чистым обозначением условных единиц труда.

— А у нас сейчас что? Не социализм, что ли?! Сам же хвастал: Российская Социалистическая Федеративная Республика! Так чего же денег дать боишься? Если социализм, значит, они не вредные, — заявил Тима, гордясь своей хитроумной логикой.

Мама рассмеялась, довольная тем, как Тима сразил папу, но папа возмущенно пожал плечами.

— Это нехорошо, поощрять у мальчика склонность к софистике.

— А ты не философствуй, как Косначев, — обиделась мама. И заявила с поразительной пронизательностью: — Ты лучше посмотри на его руки, видишь, ногти все черные. Убеждена, играет на улице в чеканчик.

— Только понарошке, — поспешно заверил Тима.

Но папа вступился за него.

— В сущности, это народная игра, и если, как говорит

Тима, деньги в ней не рассматриваются как ценности, то в известной степени эта игра даже полезна: она развивает глазомер, — и, уже совсем успокоившись, посоветовал Тиме: — Но я бы рекомендовал городки: они требуют мускульного напряжения, — и похвастал: — Я, знаешь ли, в ссылке стражника Бурмачева обыгрывал. Я на кон двугривенный ставил, а он — разрешение отпустить в соседнее село кого-нибудь по моему усмотрению, если, конечно, выиграю. Весьма азартный человек этот Бурмачев был, вспыльчивый, один раз меня битой по ногам ударил, когда три кона подряд мои оказались.

— Значит, на интерес играли? — с притворным равнодушием спросил Тима.

— Да, — беззаботно согласился папа, — и весьма существенный, во всяком случае с моей стороны.

— Так, — задумчиво протянул Тима и больше не разговаривал с папой на эту тему, чтобы тот не догадался, какие выгодные для себя выводы Тима сделал из его ответа.

А выводы эти были такие: если ради хорошей цели, так играть на интерес можно.

На толкучке, в железном ряду, он высмотрел ружье монтекристо, и хотя патронов к нему не было и курок болтался, словно крючок на гвозде, потому что пружина была сломана, Тима весь был охвачен томительным желанием стать владельцем этого ружья.

Тима перестал любоваться деньгами как вещами и даже сменял свои самые интересные старинные монеты на николаевские, боясь, что торговец старинные деньги не возьмет или будет считать по меньшей цене, чем на них написано.

Чтобы папа и мама не обнаружили случайно его капиталов, он сложил деньги в глиняную кринку и закопал ее под сараем, как делали, говорят, разбойники со своимикладами. Монеты для игры он по-прежнему носил в варежке, засунув туда еще клочок ваты, чтобы они не брнчали.

Но случилось неожиданное.

Собаки, привлеченные сальным запахом кринки, выкопали ее, прогрызли тряпицу, которой она была завязана, и деньги просыпались. Кринку с рассыпавшимися деньгами нашел Мартын Редькин. Обошел всех жильцов, спрашивая сурово, чей клад. Потом в присутствии понятых пересчитал, ссыпал обратно в кринку и сдал ее в Совет.

На собрании жильцов он сурово заявил:

— Граждане, есть среди нас такие, которые деньги царской чеканки прячут. Спрашивается, зачем? Может,

какого царя ждут? Но этого не будет, — и, подозрительно посмотрев на Финогенова, сказал, сощурившись: — Если б старинные монеты оказались, так я бы на вас подумал, поскольку вы любитель. Но установлено: последнего Николашки чеканка. Значит, кроме политики, тут ничего иного нет. На кого думать, не знаю. Но мы все равно докопаемся, кто таит сейчас от народа всякие клады, и в домовом комитете засудим.

Тима, холодея от стыда, слушал слова Редькина. Потом не спал две ночи, мучительно размышляя, как ему поступить. Наконец решился, пришел и сознался Редькину во всем.

Редькин выслушал. Спросил:

— Тебе где всего хуже будет, если про это все узнают?

— Папа с мамой... — с мукой пролепетал Тима, — и потом...

— Ну, а потом? — повелительно понуждал его Редькин.

— В конной конторе, — прошептал Тима, — где меня приняли за конем ухаживать.

— Ну вот, — твердо заявил Редькин, — с нее и начнешь. Пусть тебя там обсудят, — и начальственно объяснил: — Сейчас человека должны очищать на том месте, где он при деле состоит, — и предупредил: — А родителей пока не трогай, им и без тебя забот хватает.

Хомяков был очень огорчен рассказом Тимы о злополучных монетах.

— Вот ведь какая в капитале сила! — говорил он печально. — Мы же его, считай, похоронили, а он, как сорная трава, корнями самыми мелкими в души впутался. Снаружи человек гладкий, чистый, а невидимые глазу ниточки остались, назад его дергают, стяжать зовут, толкают, — помолчал и добавил: — Но обсудить тебя на людях не выйдет: смех один получится.

— Я больше никогда не буду, — искренне пообещал Тима, — никогда!

— Что не будешь? — сурово спросил Хомяков. — В чеканчик играть? Это — дело мусорное. А вот меня ты в самое сердце огорчил. Я ведь как мечтал: ну мы-то ровно из помойки, из старого мира вылезли, ко всякий дряни приюхались. И на себе ее не всегда сам учуешь. Но вы-то как новенькие на новый свет вылупливаетесь, чистенькие, а ма-раетесь об то, от чего мы кровью отмываемся. Монтекристо захотел, барскую вещичку! — И вынес приговор: — Значит, так. Сейчас две подводы надо послать под мусор.

К этому тебя и приставим. Будешь возить на свалку через весь город.

— Ладно, — согласился Тима и жалобно попросил: — Только не на Ваське, можно?

— Ага, — торжествующе сказал Хомяков, — своей кобылы стесняешься!

И хотя Белужин, жалея Тиму, предлагал возить мусор вместо него, уверяя, что он ко всему равнодушен, Тима наотрез отказался от такой замены. Два дня он ездил через весь город на свалку, испытывая тоскливый страх при мысли о встрече с кем-нибудь из знакомых.

Но на саних, в смерзшихся глыбах, Тима случайно обнаружил две странные плоские железные штуки, оказавшиеся замками от пулеметов. За этими замками приехал сам комиссар Косначев, объявив, что им место в музее. Замки эти бросил в помойку казармы солдат Пихтин в день восстания, и за это юнкера закололи его штыками, но пулеметы не были обращены против народа.

И теперь Тима с гордостью рассказывал ребятам во дворе, как он возил мусор и как заметил железные штуки в ледяной глыбе. И всем было интересно его слушать, потому что Пихтина хорошо знали в городе: он не раз выступал на митингах от большевистской фракции и вдохновенно говорил о том, что революция не может не победить, потому что она за мир. А социализм — это мир. И всем нравилось, что это говорил солдат, у которого на груди три Георгиевских креста и четыре медали. Значит, он хочет мира не потому, что боится воевать с немцами, а потому, что жалеет людей, которых убивают на войне.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

После того как Сапожкова уехала в деревню, Хомяков стал проявлять к Тиме особое внимание. Садясь пить чай, каждый раз зазывал к себе в сторожку и спрашивал, дуя в блюдце:

— Кто есть большевик? Большевик есть самый доверенный от народа представитель. Какие бы мучения на долю большевика ни достались, обязан он держать до конца свой курс по линии партии. В этом наша непобедимая твердость. Хотя, конечно, среди нас одни образованные, вроде твоего папаша, другие потемнее, вроде меня. Но если на зуб взять, мы все одинаковые в главном. И ты должен такой линии тоже держаться.

— Я стараюсь, — сказал Тима.

— Тогда я тебе доверенно сообщу, — произнес Хомяков тихо. — Деньков через пять нечем будет коней кормить. Одна надежда — обоз за хлебом и фуражом послали. Но пурга весенняя началась, замело все, и нет им пока пути обратно. Придется на крайние меры пойти.

— Какие?

— Если обоз скоро не придет, слабых коней прирезать, а то и здоровые с ног падать будут. Не можем мы лишних коней прокормить.

— А какие слабые?

Хомяков сгреб в ладонь крошки со стола, стряхнул их в рот и, медленно разжевывая, произнес строго:

— Значит, твой Васька. У него наливывы в путовых суставах; Саврасый — у того надкостница воспалена; потом Гречик — совсем старый конь. Я бы мог тебе, конечно, не сказать про такое, но на ячейке решили сказать. Хрулев говорит, ты парень с сознанием. Так что вот. Сегодня я уже приказал этим коням корму не выдавать.

— Значит, Васька уже голодает, да? — ужаснулся Тима.

— Голодать ему до завтра только... Придет Синегов — и того...

— Нет, — сказал с отчаянием Тима. — Я Ваську убивать не позволю!

— Некрасиво говоришь, Сапожков, некрасиво. Что значит не позволишь, если ячейка постановила?

— Я достану корма, достану.

— Так ведь откуда? Где можно взять, взяли.

— Я найду, обязательно найду!

— Если найдешь, значит, Ваське еще жить. Ну, а Саврасый?

— Я на обоих.

— Ну. давай, давай! Может, тебе какое содействие оказать? Ты требуй. Выдадим, чего в наших масштабах.

— Я один. Я знаю, где сено достать. Только его там немного.

Тима вышел из сторожки и побежал в конюшню, к Ваське. Васька стоял в деннике перед пустой кормушкой, глаза его были тусклые, шерсть взъерошена, брюхо подтянуто.

— Белужин! — закричал Тима. — Запрягай Ваську, Хомяков велел.

— Так на ней ехать нельзя, — сказал равнодушно Белу-

жин. — Она еле самое себя на подставках держит: ослабела кобыла.

— Запрягай, слышишь! — грозно крикнул Тима.

— А мне что, раз приказано, значит, запрягу. — И Белужин, могучими руками взяв сани за оглобли, подвез их к конюшне, не очень веря, что Ваське удастся доплестись до саней.

Но все-таки у Васьки хватило сил выйти со двора конторы и шатающейся трусцой добрести до Сенной площади.

По белой пустыне Сенной площади катились снежные космы пурги. Уже несколько лет здесь не было базаров. Обезлошадела сибирская деревня, разоренная войной. Сгнивали некошенные травы на сотнях тысяч десятин заливных лугов. Овес ели не кони, а люди, перемалывая его на самодельных мельницах. Конопляные и подсолнечные жмыхи, некогда возвышавшиеся здесь серыми маслянисто-пахучими пирамидами, выдавались теперь только в продуктовой пайке. Возле пустых фуражных амбаров, занесенных снегом, поземка намела высокие белопенные, рыхлые сугробы.

Овраг за Сенной площадью служил местом свалки.

Взяв с саней лопату, Тима стал отбрасывать снег с крутого откоса оврага. Из слипшихся, затхлых мороженных глыб навоза торчали жалкие клочки сена. Тима выдирали их и складывал в кучу. Надергав первую охапку, он снес ее в сани и накрыл доской, чтобы не разнесла поземка.

С пегого неба сыпалась колючая снежная труха. Было тускло и серо; от разрытой навозной свалки воняло мертвой плесенью и остро — нашатырем. До самых сумерек ковырялся Тима на отвале, но набрал почти полные сани полусгнившего сена и соломы.

Вернувшись в транспортную контору, он засыпал Ваське полную кормушку и почти столько же дал Саврасому и Гречуку. Потом сказал Белужину, который старательно развешивал Васькину сбрую на деревянных гвоздях:

— Вот, спас я коней от смерти! — и похвастал: — Человек, если захочет, все может.

— Это правильно, согласился Белужин, — вот Хомяков повадился каждый вечер политические беседы проводить, все будущее обрисовывает, а я ему каждый раз, как гвоздь, вопрос вбиваю: «Будет завтра полегче, чем сегодня, или не будет?» Не может прямо сказать, ежится.

— А вам сейчас очень плохо?

— Мне что? Я к несытой жизни привычный. Коней жалею. Кони отощали, как и мы, обезживотели.

— Но ведь скоро обозом хлеб привезут.

— Прототрядские хлеб в деревне не только для города берут. Надо еще слабосильной бедноте на семена выдать. Если не посеются, беда: голод начнет всех валить.

— Значит, не верите, что все хорошо получится?

— Да ведь как не верить? — развел руками Белужин. — Разве кто думал, что ты для этих одров корма достанешь, а достал. Теперь люди шибко горячие на всякие неожиданные дела. Во всем городе кровельного железа листа лишнего нет, а надо кровлю возводить под физическое здание, которое иноземцы наши ремонтируют, так Хрулев с германцем одним ходил-ходил и удумал: на кирпичном заводе глиняные черепки обжигать и этими черепками крышу выложить. Попробовали — красиво получается, и даже выгода: не ржавеют, как железо, или, как доска, не гниют. Когда люди так мозгами шевелят, все может быть.

Военнопленные, дав клятву восстановить сожженный черносотенцами в девятьсот пятом году Дом общества содействия физическому развитию, не рассчитали своих сил.

Мела пурга. За ночь стройку заваливало снегом. Полдня уходило на то, чтобы очистить рабочие места, сбросить снег с лесов и уж потом в сумрачной мгле пурги трудиться на ощупь под непрерывной осыпью колючего, как кварцевый песок, сухого снега. Хотя среди военнопленных было несколько опытных строительных рабочих, они изнемогли в этой непрерывной борьбе с медленно катящимся через город снеговым океаном.

Пурга продувала насквозь стоящих на строительных лесах людей, и, чтобы сберечь носы, уши, щеки, военнопленные сделали себе из тряпок маски. Они не успевали размешать в творялах известковый раствор, как он смерзался. От тяжести выпавшего ночью снега два раза обрушивались леса. Не хватало строительных материалов. Кирпич выламывали из стен старинного соляного склада и возили его на самодельных санях к месту стройки через весь город. Разбирали полуобгоревшие развалины золотаревских амбаров и конюшен и волокли на себе бревна, стропила, брусья и балки.

Несколько человек поранились, отморозили руки. Люди так ослабевали после рабочего дня, что, не имея сил дойти

до казармы, долго сидели у костра, разложенного во дворе стройки, и иногда засыпали на корточках у огня.

Герман Гольц несколько раз заходил почью в ревком с твердым намерением сказать Рыжикову о том, как трудно и медленно движется восстановление здания, и попросить помощи. Но, побыв в ревкоме, он узнавал, что даже на более важные и жизненно необходимые нужды не хватает ни людей, ни средств, и уходил, ничего не попросив. А на вопрос Рыжикова: «Ну, как там у вас?» — отвечал с деланным оживлением: «Ничего, зимно немножко, но ничего, — и, отводя взгляд от изможденного лица Рыжикова с розовыми от постоянной бессонницы глазами, произносил тихо, уклончиво: — Я просто так пришел. Новости знать».

А тут еще с лесов сорвался и разбился насмерть чех Густав Плучек. Гольц подозревал, что Плучек упал не сам, не по неосторожности, а столкнул его фельдфебель Адольф Кешке, несколько раз застигнутый Гольцем в укромных углах во время бесед с Функом, повадившимся ходить на стройку. И особенно неприятно было слышать, как какие-то хорошо одетые русские люди насмешливо покрикивали, стоя на тротуаре:

— Что, немчура, жжет морозец? Напялили тряпичные намордники, все равно до костей проймет! — Язвительно советовали: — Да кто же зимой что-нибудь строит? Это у вас она хлипкая. Подождали бы, куда торопитесь? Видать, домой поспеть к своей революции охота. Нагляделись ее у нас, одумались бы.

В довершение всех бед среди пленных разнесся слух, что бывшие союзники России начали через своих агентов формировать в Сибири иностранный легион для борьбы с большевиками и что в первую очередь легионеры расправятся с теми военнопленными, которые откажутся примкнуть к ним.

Приходя на работу, пленные оставляли шинели в сарайчике и надевали самодельные куртки из мешковины на толстой стеганой подкладке. Но однажды кто-то сломал замок на сарае и украл шинели. Идти через весь город в уродливой, будто арестантской одежде, подвергаться насмешкам прохожих, потерять воинский вид — с этим не могли примириться даже те, кто отличался наибольшей выдержкой. Но когда по заданию Витола на стройку пришел Петр Григорьевич Сапожков, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах произошла пропажа, пленные на все его вопросы отвечали уклончиво. По их словам выходило, что тут просто какое-то недоразумение.

Так и не удалось Сапожкову набрести на след преступников. Пришлось Федору Зубову забрать для военнопленных шинели у своих курсантов, а тем сшить взамен кургузые ватники.

Каждый вечер перед началом спектакля в Клубе просвещения кто-нибудь из ревкомовских работников выступал с кратким обзором политических событий.

Пришел черед Сапожкова. Он вышел на сцену, держа в руке стопку исписанных бумажек. Подняв очки на лоб и близоруко поднеся листок к самому лицу, он стал монотонно читать обзор переговоров о мире в Брест-Литовске. Слушали его невнимательно, так как в этот день вход в клуб был без билетов: скамеек всем не хватало, происходили ссоры из-за мест. Люди толкались в проходах и даже усаживались друг к другу на колени. Но вот Сапожков с той же невыразительной, унылой интонацией произнес:

— Условия мирного договора, как я сказал, тяжелые. — Тут он возвысил голос. — Но против грабительских требований германских империалистов в защиту Советской республики выступил международный пролетариат. Рабочие Будапешта и других городов Венгрии начали политическую забастовку. Руководство Венгерской социал-демократической рабочей партии объявило, что русская революция — общее дело демократии и социализма всего мира, и призвало бороться за всеобщий демократический мир и этим поддержать революцию в России. Создан Венский Совет рабочих, который также ведет борьбу за мир. Рабочие и солдаты, чехи и словаки, словенцы и сербы взяли за оружие, требуя мира.

Сапожков поднес руку ко рту и откашлялся; его кашель, усиленный эхом, прозвучал под сводами бывшей архиерейской домово́й церкви неожиданно громко. Сапожков удивленно поглядел вверх, потом в зал. Успев привыкнуть к шуму возни и голосам, доносящимся из зала, он поразился напряженной тишине и даже несколько смутился. Решив, что тишина вызвана тем, что голос его слаб, Сапожков шагнул ближе к рампе:

— В Германии создан Совет рабочих депутатов, и он руководит миллионной забастовкой в защиту Советской республики. В порту Катарро бастуют рабочие арсенала, на кораблях подняты красные флаги. Рабочие Софии борются за справедливый мир, в Варшаве всеобщая забастовка.

Но эти последние слова Сапожкова были заглушены

глухим шорохом. Люди поднялись с мест. Те, кто сидел впереди, подошли к рампе, остальные, перешагивая через скамьи, двинулись за ними. Люди стояли плотно, жадно глядя на растерянное лицо Сапожкова. Он спросил встревоженно:

— Товарищи, неужели так плохо слышно? — и пообещал: — Я постараюсь говорить еще громче, — и снова, приблизив бумажку к лицу, провозгласил, вытягивая худую шею с набухшими венами: — Во Франции, Италии, Швейцарии сотни тысяч людей требуют мира. Английские рабочие обратились с призывом... Вот подлинный его текст:

«Мужчины и женщины всех стран зывают о мире. Солдаты в окопах ждут не дождутся мира. А нам все еще говорят: «Будем воевать до конца!» Неужели мы должны обречь молодежь всех стран на смерть в окопах? Будем говорить о мире, думать о мире, работать в пользу мира».

Опустив руку с листком и вглядываясь в притихший зал, Сапожков проговорил задушевно, словно обращаясь к самому близкому человеку:

— Вот, товарищи, понимаете, какая история? Выходит, мы вовсе не одни.

Люди, тесно прижавшись друг к другу, тяжело дышали. Привязанная на веревке к свисающему на цепях паникадилу керосиновая лампа чадно мерцала. Пахло копотью, овчиной, сырыми валенками. Снаружи о стрельчатые окна терлась пурга. И весь этот деревянный городишко сейчас лежал словно на дне снежного океана, вздыбленного белой мглой. Он даже пятнышком, величиной с пылинку, не был обозначен на общей географической карте. Миллионы людей Европы, борющихся сейчас за мир, не подозревали о существовании такого городка в России. И не все люди, находящиеся в этом зале, знали о гордых европейских городах, которые называл им Сапожков. Даже собственный губернский город казался им лежащим где-то там, за тридевять земель. Но сейчас все они находились под властью сблизившегося с ними человечества, жаждущего, как и они, мира, человечества, вставшего на защиту Советской страны, потому что русский народ сломил тюремные стены капитализма и первым вышел на свободу.

Стесняясь этой напряженной тишины и сотен устремленных на него глаз, Сапожков сказал:

— Теперь, как работник трибунала, я должен сообщить вам: зачинщики военной демонстрации в позапрошлом воскресенье признаны на суде опасными для революции и для всего международного пролетариата преступниками,

и двое из них расстреляны,— надел очки и спросил: — Есть вопросы?

Несколько раз Чарская, раздвинув занавес, недовольно поглядывала на Сапожкова, но ей кричали:

— Обожди со своим спектаклем, тут человек не для удовольствия стоит, а смысл в главный вопрос жизни вносит. Задерни занавеску!

Как-то само по себе получилось, что многие жители города после этого собрания стали ходить на стройку. И хотя по-прежнему мела пурга, военнопленным, прежде чем начать работать, уже не нужно было выгребать материалы из-под снежных завалов и освобождать леса от наметенных сугробов. Все это делали в сумерках рассвета жильцы Магистратской улицы до того, как заняться своими делами. А женщины соседних домов готовили военнопленным обед из их пайков и брали стирать белье.

Забор возле стройки заботами Косначева украсили лозунгами на разных языках. Большими, аршинными буквами было написано по-русски: «Товарищи! Здесь работает интернационал!»

Но на стройке снова произошел несчастный случай. Теперь на фельдфебеля Адольфа Кешке упал с верхних лесов тяжелый брус. И как сурово ни допрашивал Герман Гольц работавших в это время на верхних лесах словака Водичку и чеха Мацкова, они упорно отрицали какую-либо возможность злого умысла. Но то, что в кармане у Кешке Гольц обнаружил вербовочные легионерские анкеты, навело на мысль, что падение бруса было вовсе не случайным. И среди военнопленных нашлось три человека, которые заполнили эти анкеты.

Тима вместе с Белужиным возил на стройку кирпич, доски, песок и глину. На стройке он встречал Гришу Редькина, его отца и мать. Капитолина привезла на санках выточенные балясины для перил. А Мартын сердито и громко объяснял Капитолине, как надо их прилаживать.

Здесь же Коноплев с Кешкой работали по слесарной части, а сестры Устиновы таскали на носилках кирпичи, и младшая, сорокалетняя, кокетливая, повизгивала: «Данке шён, геноссен!» — когда кто-нибудь из военнопленных, бережно поддерживая ее за локоть, помогал спуститься по настилу.

В дощатом сарайчике рудознатец Пыжов копался в мешках, в которых лежал бурый охристый железняк; он

перетирал его в чугунной краскотерке для желтой краски. Зеленую готовил из малахитовой крошки, а белую — из известняка. Здесь же лежали прозрачные кристаллы горной сини, и он безжалостно измалывал их. Выпачканный в разноцветной пыли, Пыжов говорил Тиме:

— Косначев обещал устроить здесь минералогический музей, но я хочу поразить всех. Супруги Редькины взялись сделать деревянную решетку. В этой решетке я размещу образцы руд, минералов, в полном соответствии с таблицей Менделеева, и клянусь, вся таблица будет заполнена и все сибиряки поймут, какие сокровища лежат у нас под ногами.

Почти целые дни просиживал во дворе стройки на раздвижном стуле доктор Неболюбов. Потирая зябнувшие руки, он говорил жене, которая держала у себя в муфте термос с чаем:

— Ты понимаешь? Может, во всей России это сейчас единственное здание, которое строят в такое бурное время.

Отвезя кирпич на стройку, Тима каждый раз ехал на свалку и там ковырялся на откосе, выдергивая из слипшихся навозных глыб клочки соломы и сена. Но, видно, этот полуистлевший корм не шел впрок. Васька все тощал. А Саврасый стал страдать кровавым поносом, ослаб и уже не поднимался с пола конюшни. Однажды, когда Тима вернулся со свалки, Саврасого в стойле не оказалось, а Синеоков тщательно мыл руки в кадке с водой. Он сказал Тиме:

— Твоя кобыла, знаешь, почему еще ногами двигает?

— Не знаю, — ответил печально Тима.

— Она при тебе издохнуть стесняется, вот и ходит. А жизни в ней нет. Видал, глаз, как пылью присыпанный. С таким глазом на живодерню довести не успеешь. Понял?

— Понял, — грустно сказал Тима и пошел к Хомякову вымалывать для Васьки хоть немножко свежего сена.

Но Хомяков решительно отказал:

— Завтра сам не знаю, чем рабочих коней кормить. А на конскую больницу у нас никаких возможностей нет.

Тима скормил Ваське весь свой хлебный паек и дал слизать с ладони свою трехдневную солевую норму. Да разве фунтом хлеба лошадь прокормишь? Правда, Белужин сжалился и дал Ваське охапку сена от своего коня.

Вечером Хомяков собрал рабочих:

— Есть желающие на Плетневскую займку ехать?

Фураж там взаймы просить или сменять на сбруи или еще на что-нибудь. А не дадут — так забрать. Кто «за», пусть подымет руку.

Коркинский замо́к, или, как его теперь называли, Плетневская заимка, находился в двадцати верстах от города. В конце XIX века, когда в этом крае обнаружили золотоносные земли, неводчик Вавила Абрамович Коркин успел захватить самые богатые участки. Поговаривали, что он вооружил беглых каторжников и с ними нападал на старателей, сыскавших жилу или россыпи, а потом записывал деланки убитых на себя.

До того как он стал неводчиком, Коркин плавал на баркасе в океане, промышляя котиковыми шкурами. Однажды в открытой воде его настигла паровая американская шхуна. Коркина с двумя охотниками высадили на льдину, добычу забрали, баркас потопили. Никогда никому Коркин не говорил, почему он один выжил на льдине. Никому он не рассказывал и про то, на какие капиталы стал неводчиком. Ходили упорные слухи, что Коркин, поселившись в Нерчинске, подговаривал каторжан бежать, а потом выдавал их начальству, получая с головы каждого положенную премию. Как бы там ни было, на золоте Коркин сразу баснословно разбогател и прослыл одним из «отцов города». Он построил деревянный театр, ложи в нем раскупили местные купцы. Они украсили ложи коврами и во время представлений пили чай из больших самоваров. В театре выступали фокусники, цыгане, а также любительская труппа общества приказчиков.

Однажды в город прибыла очередная партия заключенных, и обыватели узнали, что одного из них добровольно сопровождает жена — артистка Петербургского театра Нежинская.

Коркин явился на постоянный двор, где остановилась Нежинская, и предложил ей выступить в его театре.

Это была маленькая, хрупкая женщина с гордым лицом и приятным грудным голосом. И хотя местная публика отличалась грубым и неприятзательным вкусом, Нежинская потрясла всех, выступив в роли Катерины в «Грозе» Островского.

Муж Нежинской за покушение на жизнь жандармского полковника был приговорен к каторге. Но благодаря стара-

ниям Коркина его содержали в городской тюрьме в довольно сносных условиях.

И вот Коркин, чтобы покорить сердце Нежинской, построил для нее в белой березовой тайге на берегу тихого озера, прозванного в народе «Машкины слезки», деревянный замок со множеством шпилей и башенок, флюгеров и балкончиков.

Но Нежинская отвергла и дар Коркина, и его самого. Тогда он сочинил план побега ее мужа. Тут был и подкоп, и убийство часового и перекладные тройки по всему тракту. Каждый день он таинственным шепотом докладывал Нежинской, как идет подготовка к побегу.

Но на самом деле все было значительно проще. Коркин дал начальнику тюрьмы пять тысяч рублей и сказал: «Твое дело его только до стены выпроводить».

— Маловато за пять тысяч свой формуляр пятнать.

— До формуляра дело не дойдет, а то бы добавил, — загадочно усмехнулся Коркин.

Муж Нежинской благополучно вышел из камеры, миновал все коридоры, решетчатые двери оказались не запертыми, с помощью веревочной лестницы забрался на стену, но солдат, посаженный на крышу тюрьмы, застрелил его.

Через год Нежинская вышла замуж за Коркина, который уговорил местного прокурора предать его суду за организацию побега мужа Нежинской. Коркина лишили почетных званий, но приговорили всего лишь к поселению в собственном имении. Когда к нему после приговора приезжали с визитом прокурор, присяжные и городские тузы, он говорил:

— Что же с пустыми руками прибыли? Хоть калачик подали бы поселенцу на бедность.

Но вскоре из тюрьмы совершили побег четверо уголовных. Спустя два дня коркинский замок горел, как костер. Уголовники отомстили Коркину за то, что он некогда обманул их, взяв деньги за организацию побега, а потом предал стражникам.

Развалины коркинского имения купил дворянин Алексей Плетнев. Сначала он варил мыло — прогорел. Приобрел пресс, стал жать кедровое масло — тоже прогорел. Но потом на остаток капитала построил винокурню и начал продавать желтую, плохо очищенную сивуху рудокопам и шахтерам.

На заимке он держал человек пять уголовных, выпущенных из тюрьмы еще во время февральской амнистии.

При Керенском Плетнев попал в члены областной думы,

потом вступил в партию эсеров, обещая создать у себя на заимке общество вольных землеробов. За это его избрали членом бюро местной организации.

Ян Витол давно вел наблюдение за Плетневской заимкой и, получая тревожные сведения, готовил, не торопясь, операцию: он хотел захватить скрывающихся агентов подпольного контрреволюционного «сибирского правительства», когда те соберутся у Плетнева.

Хомяков всего этого, конечно, не знал, хотя в том, что общество вольных землеробов на Плетневской заимке — мошенничество, устроенное с единственной целью — убежать от конфискации земли и усадьбы, он не сомневался.

Но ради спасения коней он пошел на крайность и без позволения ревкома решил попытаться обменять лучшую конскую упряжь на фураж или просто реквизировать его. И хотя подобные сделки были противны его совести, он решился на этот шаг, не подозревая, какой опасности подвергнет людей, отправляющихся без оружия в самое логово врага.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Верстах в пяти от Плетневской заимки находились Сморчковы выселки, где обосновалась первая в уезде сельскохозяйственная коммуна.

Председатель коммуны политкаторжанин Ухов, высокий, сутулый, лысый, с морщинистым, землистого цвета лицом и глубоко ввалившимися голубыми глазами, тяжело болел туберкулезом горла. Жилистая тонкая шея его всегда была замотана полотенцем, голос тихий, скрипучий, на впавших висках — капельки пота. Разговаривая, он поплевывал в стеклянную баночку, которую носил при себе в кармане. Бывший типографский рабочий, он плохо разбирался в сельском хозяйстве, но снискал любовь и безграничное доверие крестьян своей убежденностью в том, что человек есть самое прекрасное существо на земле и что в справедливом распределении жизненных благ рождается всечеловеческое счастье.

Но все горе было в том, что никаких благ между коммунарами он распределить не мог. Большинство членов коммуны состояло из крестьян-переселенцев, бывших батраков. Поселились они в хатах-развалюшках, зимней одежды не хватало, и даже в тайгу за дровами выехать им было не в чем.

Транспортная контора дала коммунарам шесть коней, рабочие кирпичного завода прислали кирпич — сложить печи. От Красной гвардии получили изношенные полушубки. Косначев прислал библиотечку и плакаты. Вот, пожалуй, и все.

Завтракали, обедали и ужинали коммунары все вместе за большими столами в клубной хате. Хлебали три раза в день овсяную баланду. Здесь же помещалась кладовая, где хранилась зимняя одежда и другое имущество, которое каждый вступивший в коммуну обязан был сдавать в общее пользование. Тут же после завтрака, не выходя из-за стола, коммунары получали наряды на работу. Тем, кому пришлось работать на холоде, выдавалась теплая одежда. Обсуждали нужды и решали всё сообща. В клубе же были устроены ясли. Мясную пищу получали только дети и кормящие матери.

По вечерам Ухов проводил с коммунарами политические беседы и при свете сальной коптилки читал дребезжающим голосом газеты, книги. Прочитанное обсуждали, и каждый при этом высказывал свои самые заветные мысли.

Все вопросы, которые задавали коммунары, Ухов записывал в тетрадочку, потом говорил:

— Обдумаю, погляжу в книги, на что завтра отвечу, а о чем сперва в городе посоветуюсь. Поспешными словами вам мозги засорять не намерен.

Кроме замученных скитаниями, нищетой, батрацким трудом переселенцев, в коммуну вступили три семьи городских жителей: пимокат Полугров, кровельщик Морщихин и счетовод, бывший ссыльный поселенец, Гурмыжский.

Всех троих объединяло сурово-фанатическое стремление скорее стать людьми коммунизма, ибо в коммуне они видели прообраз будущего светлого устройства человеческого общества.

Полугров отдал в общее пользование два хороших тулупа, шесть пар новых валенок, две перины, кухонную посуду, а сам с женой, облачившись в крестьянские обноски, спал на соломенном тюфяке, ел из глиняной миски и, так как жена была беременна, работал за двоих. Но каждый раз, взглядывая на супругу, говорил радостно:

— Пуцдай сынок у нас в коммуне родится. Коммунаром будет, а не как отец, который обманом из гнилой шерсти людям пимы валял, а потом его за это всенародно на базаре били. Человеком, значит, вырастет.

Морщихин так объяснял свое вступление в коммуну:

— За работу мне всегда недоплачивали, обманывали.

Ну и пил с огорчения. А тут одна честность, все поровну. Отдохну душой от обид.

Гурмыжский, невысокого роста, нервный, болезненный, говорил:

— Я еще юношей о фаланстере мечтал, даже деньги копил. Но все это была фантазия. И деньги и фаланстера. А коммуна — вот она, существует, — и разводил руками.

Рыжиков в свое время советовал Ухову подождать с организацией коммуны до весны, так как зимой там людям делать нечего и с устройством их будет труднее. Ухов настоял на своем:

— Я бы с тобой согласился, но люди без нас в кучу собрались, и не мы им это слово «коммуна» придумали, а они сами.

— Ну что ж, — решил Рыжиков, — пробуйте. Но помочь мы вам сразу мало чем сможем.

— А мы и не рассчитываем, — твердо заявил Ухов.

Несмотря на все трудности, которые испытывали коммунары, они стойко переносили лишения.

Коммунары создали отряд по борьбе с бандитами и самогонщиками, за что исполкомом Совета было вручено коммуне красное знамя. Оно стояло в клубе коммуны, в клеенчатом чехле, рядом с пирамидой из четырех винтовок.

Тима, которому давно хотелось побывать в коммуне, упросил Хомякова разрешить ему отвезти туда по наряду политпросвета школьную черную доску, свернутые в длинные свитки карты обоих полушарий и уложенные в паклю образцы минералов и руд, а также инструкцию. Ее рассылали теперь по настоянию Пыжова по всем уездным организациям Советской власти: «Каждый сознательный гражданин должен изучить, запомнить образцы и разыскивать подобные в земных недрах для пользы Российской Советской Федеративной Социалистической Республики».

Хомяков велел Тиме передать Ухову, что он собирается на Плетневскую заимку за фуражом и на обратном пути, может, сам заедет в коммуну.

В то утро, когда Тима выехал в коммуну, небо было полетнему глубокое, синее, а снег, сухой, рассыпчатый, нестерпимо блестел. От яркого солнечного света ломило глаза. В морозном воздухе звонко пели железные полозья саней, легко скользивших по крепкому насту.

На заставе патруль проверил у Тимы мандат на выезд

из города, и Тима съехал с крутого берега на лед. Сильный ветер мчался вдоль реки, пронизывая тело леденящим холодом. Возле лунок сидели, скорчившись, рыбаки. Сейчас подледным ловом промышляло большинство жителей.

Дорога шла через тальниковые заросли, дальше через заливные луга, сверкавшие снежной скорлупой, будто потускневшее зеркало. Потом началось редколесье, за ним сосновый бор, перемежающийся с кедрачами. Дородные деревья стояли, как мохнатые башни. В лесной чаще было сумрачно, тихо, и только изредка, испуганно вереща, белка птицей перемахивала с ветки на ветку и забиралась на самое острое вершины кедра, окунувшись в небесную голубизну.

Переезжая елань, Тима увидел на снегу след волчицы. Было видно по следу, как она шла, глубоко проваливаясь, волоча плоское вымя и кровавая его об острый стеклянный наст. И оттого, что задняя ее нога пробивала наст, словно палкой, торчком, было понятно, что у нее отшиблена лапа либо выстрелом, либо капканом.

Тиме было жалко голодную волчицу, которая почему-то ходит одна, не в стае. Одна она даже напасть ни на кого не может, а если наткнется на голодную стаю, волки задерут ее, потому что она им чужая. Как плохо быть одному — и человеку и зверю.

Но потом Тима увидел на снегу силки, сплетенные из конского волоса, и возле них кровь. Потом еще пустые силки. Ага, оказывается, вот что: волчица бежит одна, потому что она, коварная и хитрая, додумалась ходить по тропе охотника и грабить силки. И проваливалась она в снег так глубоко из-за того, что сильно отяжелела, нажравшись зайчатины. А если бы она повела по тропе охотника всю стаю, ей бы совсем мало перепало. Какая, оказывается, подлая волчица! А он ее пожалел. Нет, надо сначала все как следует обдумать, а потом уже жалеть кого-нибудь.

Перебравшись через распадок, Тима поднялся на Кузьмин бугор. Из слоистых откосов сочилась незамерзающая желтая, ржавая вода, железная на вкус. Пыжов говорил: Кузьмин бугор состоит целиком из бурого железняка, и если бы где-нибудь в Европе стояла такая железная гора, то вокруг нее давно построили бы много всяких заводов. Верно, камни здесь очень тяжелые, и их рыбаки берут на грузила, а никакой другой пользы людям от этой горы не было и нет. А вот бурые теплые ключи, бьющие из Кузьмина бугра, говорят, полезные, даже звери этой водой в ямах

лечатся, если их охотник подранит. Может, это и есть та самая живая вода, о которой в сказках говорится. Может, она по правде существует? Звери понимают, лечатся, а люди — нет. Нужно в следующий раз взять с собой бутылку, набрать этой воды и в случае чего попробовать вылечить. А вдруг выйдет? Тогда Тима, как волшебник, будет всех людей исцелять этой водой, и никаких других лекарств не нужно, ни больниц, ничего. Только давать ее тем, кто за революцию. И здесь, у горы, красногвардейский патруль поставить, пусть выдает воду только по запискам от Рыжикова или от Тимы.

С такими мыслями Тима въехал в Сморчковы выселки и подкатил к хате, на которой висел на черенке от лопаты вылинявший рваный красный флаг.

В Сморчковых выселках всего лишь одна рубленая изба, в ней помещалось правление коммуны. Вокруг — копанки с остроконечными кровлями из плотно сложенных жердей. Вместо стекол в оконных рамах — желтые пленки из бычьих и свиных пузырей. Нигде ни забора, ни плетня, ни скворечника на шесте.

Это унылое зрелище вызвало у Тимы чувство горького, щемящего разочарования. Коммуна! Она у него всегда связывалась со словом «Парижская». Тима помнил картинку, на которой были изображены французские коммунары, среди дворцов валившие на землю Вандомскую колонну. Как там все было красиво и как величественно! А тут?

С крыльца сошел председатель коммуны Ухов. Тощий, сутулый, в плохо выдубленном, корябщемся полушубке, из прорех которого всюду торчала шерсть. Зябко поеживаясь, спросил:

— Сольцы не привез, малый? А то люди, как сохатые, солонцовую глину лизут. Стосковались по соленью.

Войдя в правление, Тима натолкнулся в сенях на большие кадки, набитые картофельными очистками. В углу — огромная куча говяжьих костей. А в мучном ларе доверху насыпана зола.

«В избе помойку устроили, — с обидой и огорчением подумал Тима. — Вот тебе и коммунары».

Но Ухов, очевидно заметив недоуменный, разочарованный взгляд Тимы, запустил тощую руку в картофельные очистки и, бережно перебирая их желтыми узкими, распухшими в суставах пальцами, объяснил:

— Это, мил человек, наши семена. В Нерчинской тюрьме посчастливилось мне сидеть с одним ученым чело-

веком, так он среди прочего поведал: главное в картофеле — глазок. Он и есть самое животворящее. А остальное в картошке — крахмал для питания растения, ну и, понятно, человека. Значит, выходит, можно при нужде картошку не цельными клубнями сажать, а очистками. Лишь бы глазки в них были неповрежденные. Вот проверил и вырастил из очисток картошку в ящике. Гляди, на подоконниках в горшках картошка растет, тоже из очисток. Это я коммунарам доказывал. Нам теперь картофельные очистки со всего города собирают и сюда везут.

Потом, указав на гору костей и на ларь с золой, пояснил:

— Кости нам тоже собирают. Мы их в печах обожжем, растолчем и в землю высыпем. Зола — это тоже на удобрение. Раз питание в картофельной почке ослабло — очистки ведь, — должны мы его химией восполнить. Вот и мудрствуем. Ежели мы коммуна, то обязательно должны наукой пользоваться. Она не для спасения души, а ради лучшей жизни человека на земле.

— Товарищ Ухов, — сказал взволнованно Тима, — вы обязательно про очистки напишите телеграмму. Я отдам ее маме, — и произнес с тоской: — Она уж теперь, наверное, скоро вернется с хлебом — и пошлет ее в Россию. Пусть и там будет много картошки.

Ухов похлопал Тиму костлявой ладошкой по плечу, посоветовал:

— Ты обожди, приглядишь сперва, как живем. Мы тут по самые уши в нужде. Когда из нее наружу вылезем, тогда и пошлем телеграмму-то. Нам, милой, кроме сытости, надо еще коммунарами себя показать. Вот, скажем, зима нынче суровая, реки на мелях до дна промерзли. От замора рыба в омутах пластами друг на дружке лежит и засыпает без доступа воздуха, нужно ее спасать, лунки долбить. Мужики вокруг только смеются: невиданное, говорят, дело — трехаршинный лед долбить не для лова, а для спасения рыб, которых невесть кто после тебя выловит. Ну и пришлось нам одним из-за слепоты их лед долбить кайлами да пешнями — дело каторжное. А не встать на него нельзя, раз мы коммунары. Должны политику не языком, а собственно-ручно делать, поскольку земля и вода — по декрету достояние всенародное. И пошли люди на это, пошли! А ежели по выгоде, так надо было бы силенки, какие есть, на себя потратить. Видал, в каких копанках живем? Корьем бы их покрыть для тепла, а все некогда. В прошлый месяц лес валили для шпал на железную дорогу. Сгнили шпалы за

войну без смены. Идет по ним состав, как по болотной гати. Шатается, того и гляди рухнет. А нам в Россию хлеб возить надо. Пролетариат самый главный там находится. А хлеба ему — по полфунта на день. Не подвезешь — задавят революцию голодом. Вот коммунары, вместо того чтобы лес на избы себе рубить, шпалы для транспорта рубили. А из коммунаров по железке двое только и ездили, да и то когда их под конвоем везли. И может, до конца жизни не поедут. А вот нарубили за зиму две тысячи штук задаром.

За одно название «коммуна» люди сюда охотой пришли. — Ухов помолчал и добавил строго: — В Сморчковых выселках, если хочешь знать, до самого последнего времени торговля людьми шла. Сюда зимой пичугинский приказчик Ефрем Суков обездоленных со всего уезда собирал. Селил в шалашах, кормил отбросами, обноски выдавал и за все квитки брал. А по весне сюда съезжались приказчики с приисков, шахт, управляющие кабинетских земель, помещики и кулаки, кто побогаче. И вот здесь, перед конторой, устраивали смотр. Выберут каких покрепче и после торгуются с Ефремом Суковым. Он им квитки и долговые обязательства вместе с человеком продавал.

Мы это место под коммуны с большим смыслом выбрали. Ты потом сходи на погост, погляди, там памятник мы поставили и слова на каменной глыбе вырезали: «Здесь покоятся зверски умерщвленные капитализмом русские люди, которые не пожелали стать рабами». Приказчики тех, кто не хотел продаваться или жалобу в уезд писал, тайно ночью давили. Повалят на землю, на горло кусок жерди положат, станут на жердь ногами и давят человека.

Сморчковы выселки люди за десять верст объезжали — стращали ими, как каторгой. Недаром прозывали не Сморчковы выселки, а Смертяшкины Висельники. А теперь к нам по воскресеньям с окрестных деревень мужики семьями ездят. Волшебный фонарь глядят, который нам товарищ Косначев прислал.

Сгрузив кладь с саней, Тима поужинал в столовой вместе с коммунарами. Ночевать его взял к себе в копанку коммунар Гаврила Двухвостов.

Низкорослый, коренастый, весь заросший плотной, словно из рыжей кошмы, бородой, блистая узкими, поразительно яркими голубыми глазами, Двухвостов сказал хвастливо:

— У меня копанка теплая, даже клоп и тот, как в рубленой купечской избе, разморенный, не шибко жалит.

Спустившись вниз по земляным ступеням, Тима очутился словно в пещере: так здесь было темно и душно. На самодельном столе слабо мерцал в плоске с салом тряпичный фитилек. Показывая рукой куда-то во мрак, Двухвостов заявил гостеприимно:

— На полатях положу вместе со своими парнишками. Грамотные, арифметику в уме считают. А я, хошь и в ликбез хожу, а всё пальцы по привычке жму: задубели мозги, не поддаются. Ухов велит, когда задачки решаешь, руки перед ним на стол класть, в кулак зажатые. Так я и тут наловчился, давлю в ладошку ногтями и считаю умственно, но все равно через пальцы. Ухов у нас строгий. К чести коммунарской все приучивает, грозит: при социализме без грамоты, как при царе без паспорта, жить будет не дозволено. Вот и обламывает людей книгами. Ничего, есть подходящие. На неделе «Овода» читали. Только это не слепень таежный, а человек такое себе название выбрал. Иностранец. Русский разве себя так обидно прозывать стал бы? В остальном человек подходящий, храбро за революцию дрался. Но попался, казнили палачи. Ухов пояснил: словили его потому, что на пролетариат не оперся и на трудовое крестьянство. Конечно, не большевик, откуда ему знать, на кого облокачиваться? А так бил буржуазию по совести. Бабы даже плакали при описании казни. Я-то ничего, стерпел. Как людей казнят, сам видал. Когда мы силком кабинетские земли захватывали, так нас казакишки и конвойные по-простому, без барабана и причастия, уложили в ряд на гумне брюхом на землю, чтобы, значит, глаз человеческих не видеть, и в спину штыками закалывали. Возьмет винтовку в обе руки — и, словно пешней, с размаху. Меня тоже закалывали, но, видать, солдат замаялся, пихнул в бок, а обратно не идет. Качал-качал, я уж ему совет — ногой, мол, упрись, тогда выдернешь. Нету ведь терпения, когда штык в тебе ворочают. Он молчит, а совету вял. Но второй раз не стал штык совать. Не то совсем из сил вышел, не то жалость проняла, я и сполз в солому, укрылся. Тем и выжил.

По случаю гостя жена Двухвостова напекла из гороховой муки шанежки с толченой черемухой. Поставив на стол миску с шанежками, она поклонилась Тиме и сказала нараспев:

— Кушайте на здоровье.

Но когда к столу подошли двухвостовские ребята Васятка и Лешка, такие же плечистые, как отец, и с такими же смеющимися голубыми глазами, и внимательно устави-

лись на миску, Тима заметил, как сурово сузились брови у Двухвостова, и он сердито прикрикнул:

— Чего зенками заерзали, не сытые?

Тима решительно заявил:

— Я один не буду.

Двухвостов замахал руками, заволновался:

— Нельзя нам. Гостю шаньги можно, а нам нельзя. Ну понимаешь, нельзя!

— Почему нельзя? Тут же на всех хватит.

— Не хватит,— твердо сказал Двухвостов.— На всех коммунарских не хватит. А нам отдельно от всех жрать совесть не позволяет. Ну, понял? Совесть!

— Значит, вы мне из последнего изготовили, да?

— Да не потому,— еще больше рассердился Двухвостов и спросил сурово: — Ты куда приехал? В коммуну, где все общее. Общее, понятно? Значит, если жрать отдельно,— нарушение законов. А ты не коммунар, ты гость — тебе можно.

— Тогда я тоже один не стану есть,— твердо сказал Тима, отодвигая от себя глиняную миску с шаньгами.

— Козел с ушами,— с отчаянием воскликнул Двухвостов.— Ему про Якова, а он про всякого.— Обернувшись к жене, спросил: — Мука у тебя еще есть?

— Так ведь к пасхе берегу.

— Ладно, к пасхе. Значит, давай ставь квашню, заново будешь печь — ребята снесут по копанкам всем горяченьких,— и, повеселев, заявил бодро: — Вот! А то надевал хомут с хвоста и все думал: чего кобыла брыкает.— Скомандовал: — Садись, ребята, а ты, Мотря, потчуй гостя! — добавил счастливым голосом: — Горячие шаньги — генеральская, самая сладкая пища!

В закопченном ведре заварили вместо чая семена конского щавеля и пили густой бурый горячий настой из берестяных кружек.

Двухвостов говорил, держа кружку в руке:

— Обожаю чаек: с него тепло во всем теле, ровно как от баньки. Самовар, конечно,— машина, великое дело. У нас в деревне до японской войны три самовара было, богато жили: один у попа, другой у учителя, а третий у лесника. Но он его не столько для себя держал, сколько для людей. За полтинник одалживал тем, у кого свадьба, похороны или еще по какому случаю большие гости. Конечно, залог оставлять приходилось, овцу или телушку. Машина дорогая,— если спьяну помнут или еще какое-нибудь повреждение, залог ему оставался. В ведре, конечно, чай тоже ничего, но

все-таки железом пахнет, а настоящий должен дух иметь свободный. На заварку для грудной пользы фиалковый корень идет, староверы больше баданом пользуются, а я клонюсь к березовой почке, когда она еще только проклеивается. Большой я любитель. Всякие чаи пробовал в жизни, только вот правдашнего не доводилось. Ребята, которые в городе делегатами побывали на уездном съезде, рассказывали: там им из настоящего заварку подали. — И пожаловался: — А меня вот не избрали. Но дойдет и до меня черед, попаду в делегаты, со своей посудой поеду и домой еще привезу. Ребятам дам испытать. Они у меня тоже вдохлебы, часвники.

— Да что ты все про чай разговор ведешь! — упрекнула жена Двухвостова. — Гость подумает, одним брюхом живем.

— А это я для вежливости, — кротко сказал Двухвостов, — про серьезное при еде не говорят. Я порядки городские знаю.

Перед тем как укладываться спать, Двухвостов посоветовал Тиме сбегать до ветру и вышел проводить его. Тима увидел гигантское светлое небо, полное трепещущих звезд, которые не просто звезды, а далекие сияющие миры, возможно обитаемые существами, подобными людям и, может быть, даже лучше, прекраснее их и счастливее. И он смотрел в небо, кишашее иными мирами, дивно светящимися сквозь океан пространства. И, верно, существа, живущие на этих планетах, свысока смотрят на землю, — ведь она лежит под ними, густо и дико заросшая тайгой, с обледевшими мертвыми реками и озерами, засыпанная снегом. Холодная земля. И на ней в ямах, в духоте, в сырости, впроголодь живут люди, которые мечтают вырастить из очисток картошку, и не только для себя, а для других. А революция на земле издали не видима, и, верно, сверху тем существам из далеких миров земля кажется тусклой и незначительной звездочкой, вроде вот той, справа, которая висит над самым кедровником, как светящаяся пылинка.

— Обожди, — сказал Двухвостов. — Я ведь с тобой для разговора вышел. Оправиться ты и без меня мог, — поглядел на небо, пожаловался сердито: — Рассветилось к морозу, нет чтоб облаками закрыться. Завтра нам снова на реку лунки долбить, а одежда на всех слабая, прожжет насквозь, значит. — Попинал ногой рассыпчатый снег и проговорил раздельно и тихо: — Я с тобой желаю одно дельце обсудить, как ты человек чужой, сторонний, значит, можешь

прикинуть без всякого, чего к чему быть. Вот какой фитиль меня жжет... Да высушь руки из карманов, не бойся, не отморозишь, я только подержать дам!

Двухвостов положил Тиме в руки туго набитый мешочек, похожий на колбаску.

Она неожиданно оказалась настолько тяжелой, что Тима выронил ее в снег.

Двухвостов испуганно кинулся к ногам Тимы, разбросал снег руками, схватил колбаску, сунул ее себе за пазуху и, будто успокоившись, спросил:

— Понял, что в руках держал?

— Нет,— сказал Тима, испытывая странную тревогу от взволнованного голоса Двухвостова.

— Золото,— глухо сказал Двухвостов.— Оно в кишке оленьей засыпано. По-старательски, такой кошель — наилучший.

— Золото в кишке? — удивился Тима.

— Городской и глупый... — обиделся Двухвостов.— Да не в том суть, что оно в кишке, а в том, что оно — золото, сила. Понял? Золото! Ты вот чего поймай, если не пенек на плечах имеешь.

— Ну, золото, ну и что же?

— А то, что оно мое. Понятно? Мое! Я в тайге зимовал. Разожгу костер, согрею землю и после кайлом долблю, а мыл в проруби.

— Зимой, в мороз? Да как же вы э о могли? — удивился Тима.

— Как — дело минувшее. Не про то разговор, ты в главное вникни. Золото — на него и теперь коней, корову и еще по мелочи всякого дадут. — И, снова вытащив колбаску, поднес ее к глазам Тимы. — За него же души вынимают без оглядки. Оно же сила!

— Да, наверное, золото дорого стоит,— сказал Тима.

— Эх, и глупый ты, видать, еще человек! — с сожалением произнес Двухвостов и, засунув небрежно за пазуху золотую колбаску, сказал сухо: — Не получилось умного разговору. Значит, придется мне сызнова самому думать: сойти с коммуны, хозяйством обзавестись или объявиться Ухову. А сердце-то все свое ворочает: не прогадай, мол, жизнь. Пока при тебе оно, жизнь можно обладать. А сдашь — во что коммуна обернется, кто ее знает? Может, в ней одна мечта и все разбегутся с голодухи. Томлюсь я шибко. В какую сторону кинуться, не знаю... — и вдруг заявил с угрозой: — Только ты про наш разговор молчок.

Вернувшись в конанку, Тима залез на полати, где лежали под войлоком Васятка и Лешка.

И хотя ребята по-братски пустили его в середину, а Васятка из вежливости к гостю стал говорить старушечьим голосом сказку про какого-то разбойника, который рассекал топором скалы, чтобы пить из них чистую водичку, Тима был в смятении от разговора с Двухвостовым. Он все время ощущал на ладони зловещую тяжесть мешочка с золотом и, слыша, как ворочается на соломе и вздыхает Двухвостов, жалел его, но вместе с состраданием испытывал гнетущее чувство, столкнувшись с таким жестоким человеческим раздумьем, от которого тоскливо становилось на сердце.

Когда Тима уже засыпал, Васятка внезапно принал к его уху теплыми губами и спросил:

— Отец тебя про золото пытал?

Тима даже не пошевелился, боясь выдать Двухвостова.

Но Васятка сказал:

— Чего врешь, что спишь? А сам носом шмурыгаешь... — и снова зашептал: — Это он нарочно перед приежими ломается. В кишке-то у него не золото, а свинцовые дробинки насыпаны. Придумал людей этим пытать: верное дело коммуна или нет? На золото у него никогда форта не было, хоть в тайге до полусмерти замерзал. И перед коммунарами он форсит золотишком этим из дробин. Вот, мол, могу в люди выйти, а коммуны держусь, потому дело совестьливое. Это он так по-своему за коммуну стоит, — и снисходительно заявил: — Папаша у нас теплый, за людей тревожится, чтобы коммуны не кинули. Вот и напускает на себя форс.

От этих слов Васятки стало на сердце Тимы сразу спокойно, тепло.

Наутро, когда Тима собрался ехать обратно в город, Двухвостов сказал:

— Ухов твоего коня мобилизовал дровишки возить, так что ежели есть интерес, ступай пока с моими ребятами на реку: рыбу из проруби можно прямо руками таскать.

На этот раз Тиме не очень понравилось это слово — «мобилизовал». Какое имеет право Ухов командовать городским конем? Обрадовался, что Тима не совсем взрослый, и захватил, как налетчик!

Но Двухвостов утешил:

— Председатель велел сказать: сена выдадим с полвоза, только, мол, пусть сначала отработает конем.

Сразу повеселев, Тима согласился идти на реку. Пошли

на широких, коротких, подбитых лосевыми шкурами охотничьих лыжах, так как путь лежал через увалы и сопки.

Ночью прошел снегопад.

Деревья на опушке белой березовой тайги светились меловой берестяной кожей. Под тяжестью сизого снега, повисшего на ветвях сырыми сугробами, многие из них согнулись, как луки, и сунулись кронами в землю. У некоторых стволы от непосильного напряжения лопнули, и из них торчала взъерошенная желтая щепка.

Только дородные кедровые деревья молодцевато и осанисто держали в своих могучих ветвях тысячепудовую снежную тяжесть, не обронив с себя ни одной ветви.

На крутых сопках стояли краснокожие сосны. Высоко, как остроконечные башни, вонзаясь в небо, они проткнули снегопад своими зелеными лезвиями и были слегка запущены только на нижних, крылатых ветвях.

Зато снегопад безжалостно раздавил в падах черемуховые рощи. На снегу валялись обломки ветвей и поверженные вершины старых деревьев, которые не могли уже покорно сгибаться до земли под снежной тяжестью.

Тима жалел и березы и черемухи, которые гибли сегодня ночью в тайге, когда снегопад, будто седой медведь, обламывал им ветви, пригибал к земле. И Тима словно слышал их стоны, когда лопалась кожа стволов, обтянутых гладкой, белой у березы и смуглой у черемухи корой. Конечно, зимой они несчастные, облезлые, голые, полумертвые от стужи. И как завидуют они, наверное, кедровым, соснам, елям — вечнозеленым, с незамерзающей желтой смолистой кровью, обогретым зеленым иглистым мехом хвоя. Но зато как прекрасны они весной и летом, как дивно пахнут, словно сады. И если хвойная тайга мертва, не слышно в ней птичьих голосов, то лиственная полна щебета, розовоперого сверканья, и пахнет от нее, как в шкафу с маминими платьями: тонко, тепло и нежно. А в сосновом бору, как в сумрачной церкви, уныло и строго пахнет ладаном, и на земле лежит бурой кошмой опавшая хвоя, сквозь которую с трудом пробивается трава.

В березняках и черемушниках растут всегда самые дивные цветы, и в пахучем легком воздухе, как крохотные солнечные слитки, мелькают пчелы.

Пробираясь наискосок в мохнатом рыхлом снегу к вершинам таящей сопки, мальчишки молчали, стараясь каждый первым добраться до вспученной макушки горы, откуда можно съехать вниз по обратному скату почти к самому берегу реки.

На вершине сонки лежала большая колода с выжженным крестом и прибитым к ней железными костылями куском цепи от ножных кандалов.

Подойдя к колоде, Васятка перекрестился, положил шапку на землю, произнес молитвенно:

— Ничего не прошу, все обожду. К топорищу топор, к кошельку деньги, к уздечке коня. Пусть мягка тебе будет земля. — Обернувшись к изумленному Тиме, шепотом деловито посоветовал: — Ты у него тоже чего-нибудь выпроси: если с чистой слезой, то даст.

— А он кто? — спросил Тима.

— Каторжный варнак Устинов, не знаешь, что ли? — удивился Васятка и, надев шапку, кивая на колоду, пояснил: — Святой мученик, но не церковный, а так от народа прозванный. Даже от зубной боли исцеляет, если щепку с колоды на мяте настоять. Видал — вся пошкрябана: сюда много людей кланяться ходит.

Тима слышал от отца о народовольце Устинове, сосланном в Сибирь на каторгу. Убежав с каторги, Устинов два года скитался в тайге, его застрелил в спину деревенский стражник «за подстрекательство крестьян к бунту».

У отца даже хранилась небольшая брошюрка Устинова, где он популярно излагал устройство вселенной. А оказалось, Устинов — святой.

— Устинов кто? Революционер, да? — не совсем уверенно осведомился Тима.

— Говорят тебе, мученик! — рассердился Васятка. — Ухов — тот революционер, а этот сам от себя ходил. А цепь вместо вериг таскал. Он против попов был, так они ему за это настоящих вериг не продали, — и, натянув поглубже шапку, приседая, лихо крикнул: — А ну, други, напрямки, кто за мной?

Почти сидя на лыжах, Тима катился вслед Васятке в облаке сухой снежной колючей пыли. Было такое ощущение, словно мчится он по вспененной белой стремнине бешеной горной реки, проскакивая рядом с твердыми, как скалы, стволами лиственниц. Ослепленный снегом, задыхаясь от тугих струй ледящего ветра, ужасаясь от мгновенной близости деревьев и бездонной крутизны падения, подбрасываемый на ухабах, Тима катился вниз, обессилев от скорости и страха, но все же сохраняя в сознании единственное: «Нет, ни за что не раздвину ноги, чтобы задом зарыться в снег и этим остановить падение. Лучше разбиться о дерево, чем это».

И все-таки в самом конце спуска ноги его разъехались. Несколько мгновений он чувствовал, как колко шуршит под ним снег, потом Тиму с силой что-то поддало снизу — он ткнулся головой в сугроб и, утопая в нем, перекувырнулся, словно затянутый в водоворот. Выброшенный наружу, боком съехал по снежному насту и застрял в прибрежном кустарнике. Тима не ушибся при падении, но во всем теле чувствовал опустошающую слабость, как это бывало во сне, когда снилось, что летишь и потом вдруг низвергаешься вниз и просыпаешься.

Тима не спешил встать и терпеливо ждал, пока небо и снег перестанут тошнотно вращаться, а руки и ноги снова сделаются своими.

Река лежала в берегах, как бесконечная гладкая дорога. Каждая выдолбленная во льду лунка была накрыта от снега шалашом из еловых ветвей. Отдышавшись, Тима подобрался к одной из лунок и, просунув голову в шалаш, заглянул в прорубь. В зеленоватой воде кишели рыбы, и у всех у них жадно шевелились жабры. «Дышат», — подумал Тима и вспомнил, как однажды он и его друг Яша Чуркин освободили задыхающихся рыб из затхлой воды садка и как потом гордились этим, считая себя самыми добрыми людьми на свете, хотя прокопать к реке канаву было значительно легче, чем коммунарам долбить твердый, словно литой из стекла, трехаршинный лед, тупя о него железные кайла и пещни. Значит, добрых людей после революции стало на свете очень много. Тима сказал Васятке:

— Хочешь, я тебе свои варежки подарю? А то ты с голыми руками — простудишься.

— На кой! — беспечно ответил Васятка. — Медведь всю зиму босой ходит, а не простужается. А заставь его месяцок в валенках походить, враз осопливает. Голой рукой в лесу работать сподручнее, а я в коммунном отряде за дровами числюсь, — и похвастал: — За мной даже топор записан, который прежде Прохорова был. Так он каждый раз теперь тревожится: приду из леса, а он по лезвию ногтем — не ступил ли. Ухов объяснял: это у него от непривычки понимать общую собственность.

Тут же на берегу были сложены в поленницу мороженные щуки, таймени, сомы, муксуны. Разинутые щучьи пасти были так густо усеяны зубами, что напоминали надорванную подошву, утыканную гвоздями. А белые пасти сомов походили на ледяные гроты.

Взяв в руки по рыбе и постучав ими друг о друга, Васятка сказал печально:

— Крепко сморозились, а нам не еда. Нет соли, без нее ухи не похлебаешь. В город подарим, для Красной гвардии: ей соль, говорят, дают... Вот подрасту еще маленько и наймусь в Красную гвардию за винтовку, буду самогонщиков ловить, чтоб хлеб на вино не переводили. Мы в коммуне одного самогонщика поймали. Судили своим судом. У нас казнь на все нарушения придумана. Видал, на конторе черная доска висит? Чуть что — враз Ухов на ней мелом напишет. А после ходи, жмурься.

— А про тебя чего-нибудь писали? — спросил Тима.

— Нет, — сконфуженно ответил Васятка, — писать не писали, а на обчестве один раз говорили, это когда я коню хвост на леску обдергал.

— Ну и что потом сделали?

— Леску реквизировали — и точка. Но отец отстегал крепко, хоть в коммуне запрещено ребят бить. Но я смолчал. Зачем на обчество отца тягать? Все равно его верх надо мной будет, — и похвастался: — Мы, коммунарские, на все новые правила жизни заводим.

И эти слова Васятки вызвали в памяти Тимы властную фразу Петьки Фоменко: «Мы, затонские, постановили». И Тима с тревожной завистью подумал: «Когда же я буду, как они? У всех есть это — мы. Только я один, выходит, сбоку припека».

В бездонной небесной высоте висело медного цвета солнце. Блистал голубой скорлупой снег. Тайга простиралась беспредельной чащобой. И каким крохотным казался в этом гигантском пространстве человек!

А вот Ухов, тощий, лысый, кашляющий в стеклянную баночку, сказал вчера, небрежно махнув костлявой рукой на березовую рощу:

— К весне вырубим и посеем по целине, лесная земля плодородная.

Значит, Ухов уже видел вместо рощи поле ржи, вместо очисток, золы, говяжьих костей — поле картофеля.

А у Тимы, как он ни пытался представить свое собственное место в будущей жизни, все получается что-то вроде выдумки. Не может он сказать о себе, как Васятка, — «коммунар», или, как Петька, — «мы рабочий класс». И Тима крикнул Васятке, удрученный такими мыслями:

— Ну, пошли обратно! — и пояснил сердито: — Не один я, а с конем, я за него перед конторой отвечаю. — Этим он хотел дать понять, что все-таки и у него тоже своя должность имеется.

Возвращаясь с реки, мальчики встретили на дороге подводу. В дровнях спиной к лошади сидел человек, закутанный в войлочную полость. На голове татарская шапка, сшитая из кошмы. На остроносом сизом лице с тонкими, сурово сжатыми губами поблескивали очки, которые он поспешно снял, увидев ребят.

Это движение человека заметил Тима.

Таежники относились к людям в очках с уважением, считая, что порча глаз происходит от чтения книг, и уж если человек в очках, значит, он либо учитель, либо землемер, либо фельдшер — люди нужные, образованные. А этот, словно испугавшись чего-то, поспешно снял очки.

Выждав, когда мальчики подошли ближе, остроносый спросил скрипучим голосом:

— Далеко до Плетневской заимки?

— Вы не на тот путь заехали, — с готовностью стал объяснять Васятка. — Надо на речку, зимой по ней дорога, потом на Черемушки, а как пересечете бугор — дальше белой тайгой, и тут сами увидите крыши, тесом крытые. Это заимка и будет.

— Может, проводишь? — спросил остроносый.

— Могу, — обрадовался Васятка возможности прокатиться на лошади. Залезая в дровни, scomандовал Тиме и Лешке: — Садись! На рысях быстро доедем.

— Я всех не звал, — сухо сказал остроносый.

— Без них не поеду, — с достоинством заявил Васятка.

Человек поколебался, потом согласился:

— Ладно, садитесь, — кутаясь в полость, спросил: — Дома-то вас не хватятся?

— Нет, — сказал Васятка, — мы народ свободный.

Всю дорогу остроносый молчал и только изредка запрещал Васятке громко понукать лошадь.

И хоть ехать по тайге рысью на чужом коне было весело, Тиму не покидало чувство какого-то странного беспокойства.

Ему казалось, он где-то уже видел это лицо с тонкими, жестко сжатыми губами и острым носом.

В городе поселилось много приезжих, главным образом беженцев из России, удравших в Сибирь от революции. Вели они себя вначале робко, нищенски, продавали на толкучке красивые, но никчемные для жизни вещи: картины, вазы, брошки, женские накидки с шелковым верхом,

ботинки с высокими и узкими, как рюмочки, каблуками, веера из страусовых перьев, мужские и дамские корсеты, фарфоровые статуэтки. Но постепенно почти для каждого нашлась служба в учреждениях города, и по вечерам они уже с чванливым видом гуляли по Почтовой улице, изумляя сибиряков нарядами и важной поступью. При Советской власти они снова стали кроткими, искательными.

Некоторых из них привлек на работу Косначев, который энергично и без разбора собирал людей, способных, по его мнению, принести хоть какую-нибудь пользу на ниве народного просвещения.

Так, однажды он торжественно привез в кошевке к таежным смолокурам изыбшего старичка в фуражке министерства юстиции. Обвязанный бабьим платком старичок насморочным голосом прочитал смолокурам лекцию о римском праве.

А когда он кончил, Косначев победоносно заявил:

— Вот, товарищи, представитель старого мира убедительно доказал, как при помощи несправедливых законов буржуазия столько веков крепко держала в угнетении трудящийся народ. Но, кроме чувства возмущения этим фактом, мы должны проникнуться сознанием, что закон есть великая сила в руках господствующего класса. Сейчас господствующий класс — пролетариат, и он свято выполняет законы, утвержденные пролетарским государством!

Тот же старичок из министерства юстиции по рекомендации Косначева вечерами обучал судопроизводству выбранных недавно на собраниях трудящихся членов коллегии правозаступников. На запрос Яна Витола в губернию по поводу гражданского и уголовного законодательства был получен ответ: «Руководствуйтесь на первое время правилами судебных уставов 1864 года, делая соответствующие поправки в интересах революционного народа».

Рыжиков, узнав об этой рекомендации из губернии, сказал:

— Что ж, на первые дни сойдет. Но члены ревкома должны обязательно по очереди присутствовать на каждом заседании народного суда, чтобы потом совместно обсудить, насколько этот старый устав пригоден.

Папа несколько раз брал с собой Тиму на заседания суда.

Тима не понимал, почему папа сидит на суде как зритель и ни во что не вмешивается. Отец объяснил строго:

Суд должен быть совершенно независимым, руководствоваться только законами и неоспоримыми фактами. Приговор объективен и подобен врачебному диагнозу.

— А если жулик вас хитрее, тогда как?

— Опытный врач всегда определит симуляцию, — уклончиво ответил папа и, вздохнув, подумал вслух: — К сожалению, старый мир хорошо вооружен многосотлетним опытом коварства, — и бодро обнадежил: — Но как бы там ни было, справедливость на нашей стороне, и поэтому мы сильнее их, хотя еще и не столь сильны в науке судопроизводства. Как всякая наука, она требует опыта, знаний, ее нужно изучать.

Теперь на доске Клуба просвещения, где вывешивались афиши о спектаклях, всегда рядом висели объявления народного суда: перечень дел, которые будут слушаться.

В тот день, когда Тима пришел с папой в суд, обвинялся бакалейщик Усихин. И вот за что.

Получив решение о том, что его дом на Соляной площади, который он сдавал в аренду, подлежит конфискации, Усихин нанял кровельщика и содрал с крыши все железо; с помощью приказчиков вынул все рамы со стеклами, снял двери с петель, выломал из печей дверцы, вьюшки и свалил все это у себя в амбаре.

И когда люди с ордерами, выданными в Совете, приехали вселяться в дом Усихина, они вынуждены были вернуться обратно в свои землянки.

Тучный, с висящим между расставленных колен рыхлым брюхом, одетый в старенькую, лопнувшую под мышками поддевку, Усихин сидел на двух табуретках, так как его зад не помещался на одной. Когда ему задавали вопросы, он каждый раз с трудом поворачивал голову к человеку, сидевшему за его спиной, приложив к уху ладонь, выслушивал, что тот ему шептал, и только после этого, встав, отвечал, стараясь не перепутать то, что ему подсказывали сзади.

По словам Усихина получалось, что он, как благородный человек, исключительно из уважения к новой власти решил произвести в доме ремонт, и все свидетели, которых он выставил, с готовностью это подтверждали.

Свидетелей обвинения он отводил одного за другим по причине якобы сведения с ним личных счетов.

— Этот, — говорил Усихин, показывая коротким пальцем с глубоко въевшимся в толстый жир обручальным кольцом, — не может в счет идти. Он мне должен еще с минувшей осени два мешка муки. Ему меня в тюрьму посадить прямой расчет. А другой, рядом, тот на меня злость

имеет за то, что я на масленой года два назад на тройке гостей катал, так на его парнишку наехал, и хоть не на- смерть, только зашиб маленько, а все равно зуб точит. И в середке который, тоже с зубом: он в каталажке сидел — царя при мне обозвал, а я всякой власти слуга безропотный. И теперь, если кто срамные слова про совдепову власть скажет, донесу немедля куда следует, — и решительно под- вел итог: — Так что все свидетели ненастоящие, поскольку личный счет.

Все улики Усихин отвергал показаниями своих свиде- телей. И даже торжественно предъявил суду смету на ремонт дома, которую передал ему сидевший сзади него человек.

А когда суд вынес легкий приговор, по которому Усихину надо было все похищенное возвратить на свое место, только Тима услышал, как сидевший позади Усихи- на человек злорадно прошептал тонкими губами соседу:

— Вот вам советские соломоны, я же говорил, — не- вежды. Смету составил я, а цены с потолка брал. Любой судейский мышонок это бы понял. — Спросил ехидно: — А почему легкий приговор, поняли? — и тут же торжеству- юще пояснил: — Хотят показать, что их суд будто бы законам следует. — И человек скривил сухие губы в пре- зрительной усмешке.

Тима потом выговаривал папе сердито:

— Что же это получается? Лавочник довольный ока- зался. Значит, не умеете вы судить как следует?

Папа долго задумчиво теребил бородку.

— Пожалуй, ты прав, судебное дело против лавочника проиграно. Но выиграли мы вот в чем. Видишь, большин- ство людей уходит с суда недовольными. Значит, они против лавочника, и это очень важно. Значит, они согласны с нами в главном — что закон национализации домов, сдаваемых в аренду, правильный и в пользу народа. Выхо- дит, в главном мы выиграли.

Но Тима не мог примириться с таким объяснением. Обидное воспоминание о торжествующем лице остроносого человека с тонкими, злыми губами еще долго обжигало его.

И сейчас Тиме казалось, что он снова видит эти же губы, только посиневшие от холода и еще более жестко сжатые.

Въехали во двор развалившейся усадьбы Плетневской заимки. Из дома с заколоченными серыми досками окнами вышел сам Плетнев в высоких, до паха, унтах из собачьего меха. Человек надел очки, не здороваясь, сказал раздра- женно:

— Говорили, рукой подать, а я чуть было не заехал черт знает куда, если б не эти мальчишки.

Плетнев, нахмурившись, разглядывал мальчиков, потом спросил:

— Вы откуда?

— С коммуны, — с гордостью заявил Васятка.

Плетнев дернул плечом и, обратясь к человеку, произнес значительно:

— С коммуны. Слыхали?

— Ну и черт с ними! — раздраженно воскликнул человек. — Дайте что-нибудь, и пусть проваливаются.

— Нет, зачем же так? — задумчиво произнес Плетнев. — Пусть обогреются сначала, потом мы их накормим, потом побеседуем.

— Спасибо, мы сыты и не замерзли, — поспешно сказал Тима. — И нас дома ждут.

Пристально разглядывая Тиму, Плетнев спросил:

— А ты, паренек, городской с виду, откуда взялся?

— Я в гости к знакомым приехал, — заявил Тима, твердо глядя в бегающие глаза Плетнева.

— В гости? — протяжно переспросил Плетнев и потом сурово приказал: — Ну, значит, будешь у меня гостем, — обернувшись, крикнул проходившему мимо человеку: — Смирин! Отведи-ка ребят и накорми их, что ли. Смотри не растеряй по дороге. — Нахмурившись, приказал: — Ну, живо, пареньки! У нас тут тоже вроде коммуны: дисциплина. Так что слушай команду!

Взяв приезжего под руку, он повел его в дом. А мальчики в сопровождении Смирин пошли по покрытому навозом двору к покосившемуся строению с балконами, примыкавшему крылом к главному зданию усадьбы. Смирин ввел мальчиков в дом по скрипучей лестнице, провел их на второй этаж и зажег стоявшую на круглом столике плошку с топленным салом: в комнате было темно, так как окна были наглухо забиты досками. Со стен клочьями свисали заплесневевшие обои, в углу кучей свалена поломанная мебель, а посредине — гора проса, от которой во все стороны брызнули мыши. Под потолком висели сушеные связки осетровых хребтов для визиги, и в рогожном мешке — большая люстра.

— Значит, вот вам гостиная, располагайтесь, — сказал Смирин, перевернул лежащий на полу диванчик, выкрашенный белой краской, с золотыми разводами, и, похлопав по шелковому сиденью, предложил: — Садитесь, как бары, а я на кухню за угощением.

Уходя, закрыл за собой дверь и, судя по скрежещущему звуку, запер ее на задвижку.

— Дяденька,— крикнул, встревожившись, Васятка,— зачем же ты запер нас? Мы же честные, ничего не возьмем,— но Смирин ничего не ответил.

Лешка сел на диван, подпрыгнул на сиденье, но, взглянув на брата, понял по его лицу, что он в тревоге, и вдруг заревел пронзительно и отчаянно.

— Молчи,— приказал Васятка,— молчи, а то вот дам! — и, обратившись к Тиме, сказал виновато: — Моя промашка. В коммуне говорят: на заимке нечистое дело. А вот я сел и приехал. И тебя завез.

Стараясь не выдавать своего смутения, Тима произнес с надеждой:

— Может, они действительно обогреться привели, а потом выпустят?

Оглядевшись, Васятка сказал с досадой:

— Убечь даже не через что, окна досками приколочены.

Но прошло не так много времени, дверь отворилась, и в комнату вошел тот же Смирин. Он принес под мышкой каравай хлеба, а в ведерке щи со свиной. Вынув из кармана ложки, он роздал их ребятам и спросил:

— Ну, не наложили тут в штаны с испуга-то?

— А чего нам пугаться? — угрюмо буркнул Васятка. — Раз сами в гости зазвали.

— Мы гостей любим,— протяжно произнес Смирин и как-то особо, многозначительно прибавил: — Которые, конечно, нас любят.

— Дяденька,— спросил Тима с деланной застенчивостью,— где у вас тут отхожее место?

— А вот,— и Смирин махнул рукой по направлению к двери. Но вдруг посуровел и объявил: — Если приспичило, валяй здесь,— и, словно утешая, объяснил: — Тут все и так мышами загажено.

Смирин ушел, снова закрыв за собой дверь на задвижку.

— Ну, понял?

И Тима стал изо всех сил дергать дверь.

— А чего тут не понять? Заперли — и все,— сказал уныло Васятка и посоветовал: — Давай хоть пожрем пока. Щи-то со свиной.

— А вдруг они отраву насыпали? — спросил Тима. — Раз заперли, то и отравить могут.

Васятка задумался, потом сказал решительно:

— А чего им на нас отраву переводить? Могли бы и просто так пришибить,— и, нагнувшись над ведром, стал

хлебать щи; не торопясь говорил: — Отрава денег стоит. А человека и поленом пришибить можно, даром.

— А чего же они нас тогда заперли?

— А кто их знает? — беспечно отмахнулся Васятка. — Пока кормят, значит, ничего такого нет. Видал, сколько мяса навалили? Понимать надо — со зла мясом не накормят.

Убежденный такими доводами, Тима тоже присел перед ведерком со щами.

Хотя после еды на сердце было не так тоскливо, все-таки томительное пребывание взаперти пугало. Ребята напряженно прислушивались к каждому шороху в доме, ожидая, что вот-вот заскрипят ступени, дверь отворится и Смирин скажет им добродушно: «Ну, погостили, а теперь катитесь отсюда ко всем чертям. Дорогу до дому небось знаете».

Но, кроме мышинной возни и шороха свисающих обоев, ничего не было слышно.

А в это время прибывший к Плетневу человек, отобедав и развалившись в огромном кресле, вытянув грязные голые ноги перед открытой дверцей печи, говорил снисходительно:

— Я, голубчик, дворянин по происхождению и циник по складу ума. Все эти лидеры меньшевиков, эсеров и подобные им сивые мерины, давшие согласие войти в состав доморощенного Омского автономного временного сибирского правительства, отнюдь не личности, а пешки, которые хотят пролезть в дамки.

— Совершенно верно, — угодливо согласился Плетнев. — Личностей среди них нет.

— Если вы, дорогуша, это понимаете, то поймете и следующую мою мысль. Недавно я присутствовал на большевистском суде и, должен вам сказать, испытал серьезное беспокойство. Они овладевают Россией государственно, то есть воздвигают систему, основанную на законах, и стараются блюсти их со всей строгостью. И это даже у колеблющихся вызывает симпатии, ибо порядок успокаивает и внушает веру.

— Истину говорите, — поддакнул Плетнев.

— Так вот, мой друг, наш вам совет: совершать грабежи и убийства в деревнях надо с умом. Действуйте теперь от имени Советской власти — хлеб, скот изымайте ее именем. А кто возражать станет, публично расстреливайте за саботаж. Это-то и послужит причиной к возмущению.

— Умненько придумано,— почтительно вздохнул Плетнев.

— Советские мандаты я привез самые свеженькие, так что пользуйтесь с полным к ним благоговением.

— Так-с,— протянул Плетнев. Потом спросил обеспокоенно: — А вот мы засаду поставили — большевистский обоз в город хлеб и фураж везет. Отменить засаду в связи с новыми действиями или как?

Приезжий, махнув пренебрежительно рукой, сказал:

— Нет, зачем же так ревностно, сразу? Разумное сочетание не повредит. Кстати, это даст вам повод потом покарать мужичков от имени власти за нападение на сей обоз.

— Умненько,— снова сказал Плетнев. Потом осведомился: — Прошу прощения, но если вы, так сказать, не почитаете «автономных», то на кого главную надежду кладете?

Приезжий взял из портсигара Плетнева папиросу, помял ее в пальцах и произнес строго:

— Очевидно, вы недостаточно образованны, господин Плетнев, и плохо знаете историю. Европейские государства не однажды оказывали друг другу услуги при подавлении революций. Естественно, такую же услугу окажут и нам, но бескорыстных услуг не бывает. Напомню несколько фактов: например, еще в шестнадцатом году американо-английская комиссия обследовала здешнюю губернию и убедилась в богатстве ее недр. Из этого следует, что Россия не пустыня Сахара. Так что вот, милейший: союзные державы имеют весьма серьезный опыт колониального владычества и, несомненно, наших доморощенных автономистов терпеть будут только временно, особенно этих, из сивых меринков.

— Выходит, Сибирь вроде Китая будет? — вздохнул Плетнев.

Приезжий ничего не ответил. Плетнев помолчал, потом спросил:

— Парнишек как прикажете? Отпустить или, может, свезти куда подальше?

— Ну, зачем же крайности? — возразил приезжий. — Дайте им на дорогу чего-нибудь съестного, и пусть уходят. А про меня скажите, допустим, скупщик из города.

— Отлично,— обрадовался Плетнев. — А то неохота о ребят мараться,— и признался: — У меня, знаете ли, после каждого покойника бессонница.

— Ну вот, сегодня есть повод отлично выспаться,— сострил приезжий.

Погас фитиль в плошке, но никто не приходил к ребятам. Ощупав доски, которыми были забиты снаружи окна, Васятка сказал:

— Одна послабже будет.

Найдя обломанную резную ножку от стула, он подсунул ее под доску и, навалившись вместе с Тимой, отодрал. Ребята вылезли из окна на балкон, а оттуда спрыгнули на кровлю крыльца. Спустившись на землю по оштукатуренной колонне, Тима хотел броситься к воротам, но Васятка, схватив его за рукав, кивнул на сарай, двери которого были открыты. В сарае ребята поднялись по лестнице на сеновал, из сеновала через слуховое окно вылезли на крышу, с крыши забрались на дерево, растущее по другую сторону утыканного гвоздями забора. Слезли с дерева и, проваливаясь по пояс в снег, вышли на дорогу. Но Васятка велел идти не к коммуне, а в сторону, где виднелась брошенная охотничья зимовка. Объяснил:

— Кинутся ловить — враз на конях по дороге поймают.

Давно уже исподволь начинала задувать серая, влажная предвесенняя пурга. Жесткие тонкие ледяные чешуйки косо летели в воздухе; сталкиваясь, тяжелея, они падали взъерошенными комками.

Все сумрачнее становилось вокруг. Небо сомкнулось тучами, погасло. Потом пошел обильный снег. Но от его белизны не стало светлее. Даже деревья в трех шагах от зимовки скрылись в рыхлом сплошном снегопаде.

— Теперь пошли, — решил Васятка.

— Не заблудимся? — встревожился Тима.

— Так ведь пурга ровно всегда дует.

— Дует, а все ничего не видно.

— Надо так идти, чтобы в левую скулу все время пуржило, тогда не заплутаемся, — уверенно сказал Васятка.

Лешка всхлипнул и пожаловался:

— Вот съедят нас волки, тогда узнаем.

— Волки не станут в пургу из логова вылазить. Снег сейчас зыбкий, они по самое брюхо завязнут.

— А мы?

— Мы палками дорогу щупать будем. Нам брести легче.

Выдрав длинную хворостину из плетня, Васятка приказал:

— Я вперед пойду дорогу прокладывать.

Лешка совсем изнемог от усталости и все время

поровил сесть в снег; Тиме приходилось тащить его за руку.

Идти в белом шевелящемся снежном мраке было тяжело. Ногами двигаешь, а идешь ли ты, неизвестно, перед глазами одна и та же кишащая белая мгла. И ноги вязнут в снегу по колено, будто их при каждом шаге кто-то дергает обратно. А если устанешь и присядешь, снег сразу завалит и замерзнешь под снегом насмерть.

Смерть — это когда все пропадет вокруг тебя. Словно во сне без снов, и нельзя проснуться. Ничего не увидишь, ничего.

А все будут жить как ни в чем не бывало, только ты один останешься лежать ледяной чуркой в снегу, и никто тебя уже спасти не сможет. Правда, папа говорил, можно оживить застывшую в льдине лягушку. Но Тима-то — человек, а не лягушка, и он помрет в снегу насовсем. К весне он протухнет, и если даже найдут, каким он, наверное, станет противным, хуже утопленника. И как будет страшно маме видеть его таким мертвым. Нет, нельзя садиться, хотя нет сил идти и так хочется присесть, немножко отдохнуть. А Васятка еще издевается, хвалит мокрую пургу и говорит:

— Отец не шибко выстегает нас за то, что плутали в тайге, потому что в хорошем духе будет от влажной пурги, — она всегда к урожаю.

И почему люди так много говорят о хлебе, когда столько пустой земли? Почему не засеют ее всю хлебом? Бросили бы все дела на свете, взяли лопаты, вскопали землю и всю ее засеяли.

Почему вообще люди так бестолково живут и не могут договориться друг с другом, чтобы разом сделать то, от чего все станут счастливыми? А кто такой этот остроносый? Почему он так ухмыльнулся, когда Васятка сказал, что они коммунарские? Ведь коммунаров даже в городе все уважают, а он так с ними поступил. Нет, он, верно, против коммуны. Тогда он враг? И если Тима помрет в снегу, то оттого, что он с врагами встретился? Значит, Тима — жертва, как и те люди, которых похоронили торжественно на площади Свободы?

Эти размышления Тимы были прерваны придуренным шепотом Васятки:

— Тихо! Кажись, кони едут.

Ребята остановились, замерли. Действительно, вскоре послышалось мерное буханье копыт по рыхлому снегу и громкое позвякивание медных блях на сбруе.

Васятка приказал:

— Давай с дороги в сторону, а то враз изловят.

Проваливаясь в сугробах, разгребая снег, словно воду реки, ребята пробрались в таежную чащу и стали за толстыми стволами мохнатых кедров.

Мерной трусцой по дороге сквозь белый мрак снегопада прошли четыре подводы. И вдруг Тима, пораженный догадкой, воскликнул:

— Они же не с той стороны едут. Это другие. Может, Хомяков, а?..

— Тихо,— прошипел Васятка,— а то в снег зарюю! — выждав, объяснил: — А то, что обратно с погони едут, это ты понять можешь?

— Правильно,— разочарованно согласился Тима. Но все-таки усомнился: — Почему четыре подводы, ведь могли на одной?

Этот довод показался Васятке убедительным, и он даже вздохнул огорченно, но, чтобы сразу не признаться в промашке, съязвил:

— А вот поди спроси. Если схватят — значит, они, а нет — значит, другие,— и скомандовал: — Давай веселей, теперь версты три осталось! По кедрачам опознал место. Аккурат к рассвету дома будем.

И верно, к рассвету ребята приплелись в Сморчковы выселки. Подняв на руки вконец обессиленного Лешку, Васятка, прежде чем войти в землянку, заботливо набил ему в штаны сена; затем, поколебавшись, сказал Тиме:

— Ну, тебя отец драть, пожалуй, не будет. Гость все же.

И робко толкнул дверь, висевшую на петлях из сыромятной кожи.

Появление ребят не произвело на Двухвостова особого впечатления. Он только сказал, прозорливо глядя на Васятку и Лешку:

— У печи сено из портков вытрясите-ка!

Васятка деловито и откровенно рассказал отцу о приключении в Плетневской заимке.

Против ожидания Двухвостов, который сначала слушал Васятку с насмешливой ухмылкой, стал серьезным. Несколько раз переспросил о подробностях «ареста», потом вдруг торопливо подпоясаясь и, подойдя к двери, приказал:

— Погодите на печь лезть, я к Ухову схожу. Ему все толком скажете.

Выслушав ребят, Ухов приказал Двухвостову:

— Подымай коммунаров, кто к боевому отряду приписан. И пусть запрягают. Видать по всему, это Хомяков, как обещал, без заезда в коммуны поехал на заимку реквизиру-

вать фураж. Я людей на дорогу выставил его упредить. А он, значит, стороной проехал. Вот и сунется с размаху головой в пекло. А нам товарищ Витол предупреждение давал: до поры плетневских не вспугивать, — и досадливо мотнул головой: — Эх, разворошит Хомяков кучу вонючу своевольством своим!

Забравшись на полати, ребята залезли под большую кошму. Но поспать долго им не пришлось. В землянку вошли с винтовками за плечами запорошенные снегом только что приехавшие из города Капелюхин и Хрулев. И снова заставили Васятку и Тиму повторить историю их приключений.

Выслушав, Капелюхин зло произнес:

— Хомяков самовольное безобразие допустил. Мало того, что констрикторов спугнет, но и своих людей погубит. Он же понятия не имеет, куда полез, — и упрекнул Хрулева: — Хоть бы ты на час раньше к Витолу пришел.

Хрулев тревожно сказал:

— Как бы они обоз Сапожковой не того... Ведь он по той же дороге пойдет.

— Какой обоз? Мамин? — воскликнул Тима и стал молить Капелюхина: — Возьмите меня с собой, возьмите, я хочу маму встретить.

— Слушай, Сапожков, — сурово упрекнул Капелюхин. — Мы тут по-серьезному разговор вели. Понятно? — и, повернувшись к Хрулеву, приказал: — Пошли бегом.

И почти тотчас с улицы раздалось глухое топанье коней и певучий скрежет полозьев.

Тима, не одеваясь, выскочил на улицу. Но силуэты подвод призрачно растаяли в снежном мраке, и, кроме шелеста снега, ничего уже не было слышно. Вернувшись в землянку, он сел на лавку и опустил на руки мокрую от растаявших снежинок голову.

— Ты чего там дрожишь? — спросил Лешка. — Полежай в середку, мы тебя согреем.

Но Васятка сказал ему сурово:

— Это он не со стужи — с испугу, что мать его с обозом идет. Обоз-то хлебный. Видал, как даже городские взметнулись: опасаются, чтобы не пропал, — и, обратившись к Тиме, посоветовал: — Ты не бойся, они всю тайгу обскочут, а найдут. Это не то что в городе, там все дома одинаковые, а тайга, она приметливая. В ней не наплутаешь, если глаз есть.

— Но мама тайги не знает, — с отчаянием произнес Тима.

— Так с ней ямщики, а они, как колдуны, дорогу чувят.

— Нет с ней ямщиков — одни рабочие!..

— Ну, тогда худо, — согласился Васятка. — Рабочие тайгу не понимают, — но тут же утешил: — Зато у них, верно, машинка есть, вроде как часы, только стрелка не время кажет, а куда путь держать. Мудрейшая вещь, выведет, — и рассудительно произнес: — Рабочие, они народ хитрый, без инструмента никуда. К нам тут прислали одного митинг делать, а он после из валенка прут с медной балдабашкой вынул, погрел ее в печи, посовал в белый порошок, потер о брусок оловянный и начал всем посуду дырявую почем зря запаивать. Очень его все сразу зауважали. А поначалу думали: только оратор — и более ничего за ним нету.

В середине дня в коммуну прискакал верховой. В избе правления женщины начали поспешно стлать на полу сено, накрывать его холстинами, подушками и сложили на столе целую стопку из чистых полотенец.

Спустя некоторое время на дороге показались медленной, осторожной рысью идущие упряжки. Все коммунары высыпали навстречу. В обшитой рогожами кошеве лежали раненые. Их вносили на руках в избу и бережно клали на разостланное сено. Последним вынесли Супреева. Лицо его было желтое и запорошено натающим снегом, глаза открыты и неподвижны, словно у птицы. Супреева снесли под навес и накрыли красным флагом, снятым с крыши правления.

Тима молча отталкивал людей, лез к кошеве, страхась увидеть там белую, как одуванчик, заячью шапку, которая была на маме, когда она уезжала с обозом.

Наклоняясь над обескровленным лицом раненого, молил:

— Дяденька, вы мою маму не видели? В белой шапочке. Ну скажите, пересильтесь, скажите?

Но Тиму отталкивали от саней. И никому он был сейчас не нужен, никому...

На дороге показался хлебный обоз, Тима бросился навстречу. Кони медленно тащили по глубокому снегу тяжело нагруженные розвальни. Цепляясь за передки, Тима жадно спрашивал:

— Мама с вами?

Оступившись, завяз в снегу почти по плечи, но тут же выкаббался, ухватился за облучок саней и волочился за ними до тех пор, пока ему не сказали:

— Нет здесь никакой мамы.

Третьи, четвертые, пятые сани, и к каждым бросался Тима, не страшась надвигающихся полозьев и тяжелых копыт коней. Где-то в снегу он потерял валенок, и нога совсем онемела и плохо гнулась. Вот последняя кошева. Тима упал под ноги коню, конь бережно перенес над его головой копыто и остановился. Кто-то выволок Тиму из-под коня, втащил в кошеву, несколько раз тяжелой рукой больно и сильно провел по лицу.

— Ну куда лезешь, куда? — сказал человек простуженно и хрипло.

И вдруг Тима услышал нежный, будто из-под земли, — такой слабый был этот голос, — такой любимый и такой странно стонущий:

— Что случилось, товарищ Григорьев? — сказал этот голос, мамин и не мамин.

Тима яростно рванулся во тьму кошевы. Хватаясь за сено, за какие-то мешки, он зацепился рукой за что-то взъерошенное, шершавое, под чем оказалось мамино теплое лицо. Но когда прильнул к нему своим лицом, мама судорожно вздрогнула, рванулась в сторону:

— Больно, осторожней! — и, словно преодолев себя, спросила медленно своим обычным, строгим голосом: — А тебе папа разрешил меня здесь встречать? — и произнесла сокрушенно, будто с ней ничего не случилось: — Ты меня огорчил, Тима, таким своеволием.

Тима понял: мама говорит все это нарочно, а с ней произошло что-то ужасное, но она не хочет подавать виду, ведь она такая гордая: когда ей плохо, она никогда не говорит об этом.

Тима прижался к стенке кошевы, чтобы снова не сделать больно маме, и оттуда осторожно тянулся рукой, чтобы прикоснуться хотя бы к ее шапке.

Мама не смогла сама вылезти из возка. Григорьев и Тима, поддерживая под руки, поставили ее на снег.

И когда Тима взглянул при свете на лицо мамы, он чуть не закричал. Оно было костлявым и желтым, как у мертвого Супреева. Под глазами огромные черные синяки, губы опухли, потрескались. А ее белая пушистая заячья шапка с длинными ушами, которыми можно было обвязывать шею, как теплым шарфом, была вовсе не белой и не пушистой. Она стала бурой, склеилась, и в этой бурой корке заячья шерсть торчала, как сухие рыжие щепки. Голова мамы перевязана грязной тряпкой с рыжими подтеками.

— Это я немножко ушиблась, — объяснила мама и, осторожно засовывая выпавшую из-под тряпки прядку

волос, сказала тревожно: — Представляю, какой у меня сейчас вид! Хорошо, что папа встречать не приехал, успею хоть привести себя в порядок.

Опираясь на плечи Григорьева и Тимы, волоча ноги, мама вошла в избу правления и опустилась на лавку.

— Ах, как хорошо посидеть в тепле, — сказала она. Но потом, зажмурив глаза, произнесла как-то виновато: — Тимочка, я, пожалуй, даже лягу.

Но когда мама легла на сено, она не закрыла глаза и не уснула, а все время смотрела куда-то в одну точку не мигая, и одна щека у нее дергалась. Потом она попросила совсем уже слабым голосом, будто засыпая, хотя глаза оставались открытыми:

— Тима, дай мне руку, а то все кружится, кружится... — и стала быстро каким-то девчачьим голосом жаловаться: — Я не хочу кружиться, оставьте меня, пожалуйста. — И вдруг проговорила очень отчетливо и сердито: — Тима, застегнись, а то простудишься, на улице сегодня холодно.

Тима испуганно поджал под себя ногу без валенка, обшарил пуговицы на поддевке — они были все застегнуты.

Он понял: мама бредит, ей очень плохо, и надо ее спасти — ведь она ранена. Да, ранена, а вовсе не ушиблась.

Он одел чей-то валенок и бросился разыскивать Капелюхина. Капелюхин сидел за столом в землянке, а перед ним на лавке — остроносый человек и со связанными за спиной руками Плетнев.

— Так вот, господин Дукельский, — сурово говорил Капелюхин остроносому. — Давайте скоренько выкладывайте, что вам еще поручили?

— Во-первых, я ранен, — и остроносый приподнял руку, обвязанную тряпицей. — Не гуманно допрашивать раненого, не оказав ему медицинской помощи.

Капелюхин, не торопясь, распахнул куртку, показал окровавленное полотенце, которым была обвязана грудь. Пообещал:

— Вместе потом медициной попользуемся, — и продолжал деловито: — Так, значит, слушаю. Кстати, пистолетики от кого получили?

— Только для самозащиты, — поспешно заверил остроносый.

— Стреляли в безоружных?

— Знаете, — поморщился остроносый, — не будем о деталях спорить.

— Не будем,— согласился Капелюхин. И, выкладывая на стол стопку бумаг, спросил жестко: — А вот с какой целью вы фальшивые мандаты привезли? Попрошу подробнее.

— По законам юриспруденции, я не обязан отвечать на все вопросы.

— Заставлю,— глухо сказал Капелюхин.

— Каким образом?

— А вот,— Капелюхин кивнул головой на дверь, где гудели голоса коммунаров: — Выведу к ним и скажу: сами спрашивайте, а то мне отвечать не хочет.

Спустя минуту Капелюхин, опершись локтем о стол, поспешно писал под диктовку остроносого. И уже казалось, что оба они заняты каким-то увлекательным делом.

Но Тима не успел и слова сказать Капелюхину, как в землянку вбежал Хрулев:

— Хомяков сейчас при всех людях сначала себе приговор объявил, а потом не успели за руку схватить, как он из нагана... — И, поперхнувшись, Хрулев добавил тихо: — Может, зря я у него партийный документ сразу тогда забрал вгорячах.

Капелюхин потер раненую грудь ладонью, обтер кровь с нее о штаны и проговорил устало:

— Значит, партийная честь его такая была, вроде ножа острого,— и проговорил строго: — Ты пойді к людям, разъясни.

— Скажу,— глухо произнес Хрулев.

— Ну вот и валяй,— приказал Капелюхин. Потом уставился едкими, страшными глазами на остроносого и спросил глухо: — Ну вот вы, господин дворянин, за свою-то честь, может, пожелаете так же вступить? — и протянул револьвер, держа его за ствол.

Остроносый отшатнулся и, отталкивая револьвер обеими руками, взмолился:

— Что вы, что вы, с ума сошли? Я жить хочу. Умоляю — жить! Вы меня еще, пожалуйста, терпеливо послушайте, ведь я очень осведомлен, очень. И опять молю и повторяю: по всем юридическим законам, за добровольное, с готовностью сделанное признание заслуживаю снисхождения. Только сохраните жизнь. Хотя бы до конца дней в заключении. Но — жить!

— Как клопу в печной щели, что ли? — зло спросил Капелюхин.

— Как угодно, только жить!

Капелюхин подошел к кадке с водой, зачерпнул ковшом

и стал пить жадно, как лошадь. Обернувшись к Тиме, сказал:

— Ты за мать не бойся. Ее только вскользь топором задело. Ослабла она, конечно. Отдохнет и встанет. Она у тебя смелая. Из «бульдожки» такую пальбу подняла, только держись. Людьми командовала, как королева. А уж до топоров дошло, когда мы подскочили, — и с доброй улыбкой добавил: — И мамаша-то она заботливая, лисенка живого тебе в подарок везла, да задавили его в рукопашной свалке. Я уж не сказал ей про лисенка, говорят, тетешкалась с ним, за паузой везла, все руки он ей исцарапал. А она упрямая, говорит: довезу. И вот не довезла...

К вечеру из города приехал отец, с ним Андросов и Ляликов. Двоих раненых Андросов оперировал прямо на столе в избе правления, остальным отец и Ляликов сделали перевязки. Мама только раз улыбнулась отцу. Это когда он пинцетом укладывал на ее голове сорванную кожу, после того как срезал осторожно ее чудные волосы вместе с полуразрушенной косой. Мама спросила отца с печальной улыбкой:

— Я очень некрасивая стала, да?

— Ты самая прекрасная на свете, — строго, без улыбки сказал отец.

Но мама проговорила устало:

— Я сейчас на мартышку похожа, — и жалобно попросила: — Ты не смотри на меня.

— Хорошо, — сказал отец, — не буду.

Но не отводил от лица мамы тоскливых глаз, а мама снова начала жаловаться, что ее кружит, и звала Тиму, чтобы он взял ее за руку и не давал ей кружиться.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Везли маму в город в кошеве на сене. Вместе с мамой прибыло десять саней с хлебом и сеном. Теперь кони транспортной конторы не помрут с голоду. А на дровнях, с которых сняли мешки с зерном, лежали мертвые Супреев и Хомяков, накрытые красным флагом.

В андросовской больнице с мамой остались папа и Ляликов. Тиму Андросов увел к себе домой, обещая завтра с рассветом пустить к маме. Еще перед уходом Тимы Ляликов, сопровождавший раненых, взволнованно сказал отцу:

— Петр Григорьевич, считаю долгом сообщить, что я испытываю сейчас угрызения совести за свое бытие суслика.

— Поздравляю вас, — рассеянно произнес папа и пожал Ляликову руку.

Ляликов попросил:

— Разрешите дежурить у вашей супруги.

— Пожалуйста, — сказал папа. Но, видно по всему, это согласие он дал скрепя сердце.

Тима возмутился, что папа доверил маму Ляликову. Но папа произнес шепотом:

— Не беспокойся. Я буду рядом, и если мама проснется, я услышу.

— Смотри же, — попросил Тима, — не засни.

— Нет, Тима, — твердо пообещал папа, — я думаю, что и ты не сможешь сегодня уснуть.

Папа был прав. Тима не спал всю эту ночь. Сначала сквозь полуоткрытую дверь он слышал, как Павел Андреевич и Фекла Ивановна Андросовы разговаривали о его маме. Павел Андреевич, произнося загадочные медицинские слова, уверял, что состояние мамы не внушает опасения. Потом сказал, что будто бы мама Тимы — типичный «экземпляр» большевички, помыслы которой отрешены от всего, что существует вне пределов ее партийно-профессиональной деятельности. И шепотом сообщил Фекле Ивановне:

— Представь, на ней было грубое солдатское бязевое белье. Это же чудовищно. Напяливать на себя подобное — значит, утратить самое элементарное чувство женственности, безгливости.

— Это ты у меня вызываешь безгливость! — вспыхнула Фекла Ивановна. — Ты со своим мещанским умишком сейчас мне гадок.

— Фиалка, — растерянно произнес Павел Андреевич, — ты слишком впечатлительна. Твой цыганский темперамент рисует эдакую доморощенную советскую Жанну д'Арк. Я же преисполнен лишь чистосердечного сострадания, и ты превратно истолковываешь мои мысли.

— Врешь, — крикнула Фекла Ивановна, — ты не жалеешь, ты боишься!

— Чего именно? — с достоинством осведомился Андросов.

— Ты потерял совесть в сытости и благополучии.

— А ты ее нашла?

— Павел, — горячо сказала Фекла Ивановна, — ты по-

добрал меня в таборе, помог стать человеком. Терпеливо ждал, пока я кончу университет. Моей жизни не хватит, чтобы стблагодарить тебя. Но я не могу так жить больше, не могу!

— Чего же ты от меня хочешь?

— Я сама не знаю. Я не могу забыть ту слепую девочку — Зину Чуркину. Она смотрела на меня своими мертвыми глазами и все спрашивала: «Тетя, почему ваши лекарства стоят?» И умоляла: «Вы подешевле что-нибудь дайте, а то отец у меня пьющий, ему и так на водку денег не хватает. Он добрый, когда пьяный, балуется, как маленький, песни поет. Он на меня никогда денег не пожалеет, но я не хочу, не надо, чтобы он на меня тратился».

— Зачем эти мучительные воспоминания? — сказал Павел Андреевич. — Я же хотел усыновить ее брата. Но он был слишком привязан к отцу-пьянице.

— Отец его погиб как герой.

— Ты, может быть, желаешь, чтобы тоже я стал героем и влез со всеми потрохами в эту катавасию, которая неизвестно чем завершится?

— Значит, ты предпочитаешь выжидать в сторонке, кто кого, — так?

— Фенечка, милая, пойми меня, — почти простонал Андросов с отчаянием. — Я барин и привык пользоваться услугами созданной до меня удобной, многовековой культуры, в пределах ее мыслю, в пределах моих средств ею пользуюсь. Не собираюсь защищать ее, но не намерен и отречься от нее. Но вот взгляни глазами врача. — Щелкнул замок, раздался скрип выдвигаемого ящика. — Отличный рентгеновский снимок, — глухо, но каким-то нарочито шутовским шепотом сказал Андросов. — Ярко выраженная злокачественная опухоль — за пределами хирургического вмешательства.

— Да, — согласилась Фекла Ивановна, — случай безнадежный. Но я что-то не помню пациента с такой опухолью. Кто это?

— Это я, — тихо сказал Андросов. — Вот откуда у меня острое эгоистическое желание дожить оставшиеся дни с максимальными житейскими удобствами.

— Павел, — с отчаянием воскликнула Фекла Ивановна, — почему ты молчал?! Ведь это так страшно!

— А мне уже теперь не страшно, и я становлюсь храбрецом, даже решил предложить свои услуги этим, как их, большевикам. За посмертный гонорар хотя бы в виде больницы имени Андросова или чего-нибудь подобного

я даже стану покорным слугой медицинского комиссара Сапожкова, чтобы почтительно выслушивать все его фельдшерские наставления и политические мудрствования, — и сухо добавил: — Реветь же по сему случаю тебе, Фекла, не подобает. Бери пример с большевистской Жанны д'Арк. Если бы она узнала нечто подобное о своем супруге, то, наверно, руководствуясь материалистическим разумом, посоветовала бы ему до рокового исхода еще более полно принести себя в жертву революции. И, так сказать, почить от руки врага с почетом, а не конфузливо — от собственно недуга.

— Зачем ты так говоришь? — упрекнула Фекла Иванова. — Почему ты стыдишься себя, такого мужественного сейчас и сильного?

— Нет, — с горечью сказал Андросов. — Я вовсе не мужественный и не сильный. Я просто пыжусь, пыжусь перед тобой, топорщу пестрые перья, облезлый, старый павлин...

Сначала Тима злился на Андросова за то, что тот такую неправду говорит о маме, и решил даже встать с кровати, уйти из андросовского дома, но потом, услышав о страшной, смертельной болезни Павла Андреевича и о том, что он хочет перед смертью принести пользу революции, которую не очень любит, остался. «Оказывается, — думал Тима, — взрослые часто прячут друг от друга свои страдания, словно стыдясь их».

«Ну, почему, — думал взволнованно Тима, мучимый бессонницей, — все люди не могут поверить, что большевики хотят только хорошего. Кто тот человек, который ударил маму топором по голове? Он что, голодный? Но ведь хлеб и везли для голодных людей. А когда Капелюхин допрашивал остроносого, он даже не поинтересовался, почему остроносый хотел его убить. Будто само собой разумеется, что такие люди должны убивать коммунистов и об этом разговаривать нечего. Этот остроносый сказал, что он хочет жить. А если бы Хомяков попал к нему в руки, то вовсе бы не унижался и не стал молить не убивать его. И Капелюхин не просил бы и, пожалуй, папа и мама тоже. Они ведь все гордые. Но мама-то, вместо того чтобы погордиться перед Тимой, что из «бульдожки» стреляла и топором ее ударили, сказала виновато: «Ушиблась». Почему же стеснялась сказать правду? И папа стеснялся сказать, что его во время обыска у буржуев ранили. И сам Капелюхин, более тяжело раненный, чем остроносый, только кричал от боли и вытирал о штанину мокрую от крови руку».

Вот когда мама, раненная, лежала на полу в правлении коммуны, Двухвостов спросил ее:

— Мужики добром хлеб отдавали?

— Нет,— сказала мама.

— Значит, насильно брали?

— Да,— сказала мама.

— Разбередали богатеев, теперь нас, коммунарских, спалят,— угрюмо проворчал Двухвостов.— Вы, городские, от них далеко, а мы им под самой рукой. Вас они насмерть не зарубят, а нас порубают в тайге. Ради хлебушка городским обольемся кровью. Об этом подумали, когда хлеб брали?

— Вы, товарищи,— мама закрыла глаза от мучающей ее боли,— поймите. Хлеб мы брали и для города и для того, чтобы раздавать крестьянам, у которых даже на семена нет. Больше сорока тысяч пудов роздали.

— Ну...— удивился Двухвостов.— И все в народ?

— Да,— сонным, слабеющим голосом произнесла мама.— Бедняки помогали нам отнимать у кулаков хлеб. Не побоялись отнимать. А вы не отнимали — и боитесь.— Приподымаясь на локте, спросила: — Почему боитесь?

Двухвостов ухмыльнулся:

— Я, товарищ комиссар, про страх так запустил,— мол, резанете правду или замнете перед неведомым мужиком. Топор стерпеть — это вы на мучку способность выказали, а вот не утаить правду про хлебец, за это в ножки вам кланяюсь. Да вы, никак, вздремнули со слабости?

— Да,— сказала мама,— извините, голова все кружится.

Укрыв маму принесенной из копанки кошмой, Двухвостов сказал Ухову:

— Слыхал, как резанула про хлебушек-то? В народ верит. Не по случаю, видать, партийная, а по совести.

Тима устал думать. И теперь только, словно в тумане, то тускло, то ясно видел сочащийся рыжей ржавчиной бугор, будто торчком поставленный земляной мешок, внутри которого как попало сложены куски железа, такого нужного людям. На вершине бугра он видел зеленоперую, гордую своим одиночеством сосну, зажавшую в красных клещах корней гранитный валун. На взбаламученные вьюгой снега с откоса горного кряжа шла, словно в бой, статная рать бора, и снег, сбитый твердыми рогатыми ветвями, падал замертво к подножиям могучих деревьев. А из пади женскими голосами стонала белая тайга.

Береза, с телом белее снега, мучительно изогнутая в дугу, с жалобным треском ломалась под серомохнатыми рыхлыми снежными глыбами, жестко падавшими на нее с серо-пятнистого неба. Скользящая луна сквозь провалы в облаках спокойно светила на борющуюся с пургой тайгу.

Озаренный светом луны, стоял посередине овьюженной елани Двуххвостов и, угрюмо хмуря волосатое лицо, взвешивал на ладони тяжелый мешочек из оленьей кишки.

Потом Тима увидел мертвого Супреева, а перед ним на корточках сидел, как лягушка, остроносый, пытаясь закрыть глаза трупом ладонью.

А позади остроносого хмуро стоял Капелюхин. Засунул руки в карманы и внимательно глядел в мертвые глаза Супреева, где, как на фотографической пластинке, отчетливо было видно уродливое лицо остроносого с тонкими, сухими, твердыми, как хребтовое сухожилие осетра, губами, растянутыми до ушей.

И Капелюхин ржавым, скрипучим, спокойным голосом говорил остроносому:

— Напрасно стараетесь, ваша личность в его очах для нас навечно запечатлена. Разве такую улику скроешь? — и просил вежливо: — Пойдем-ка лучше, я вас у забора из пистолета успокою.

И вдруг вместо Супреева Тима увидел Хомякова с виновато закрытыми глазами. Над ним стоял Хрулев и сурово осуждающе говорил:

— Ты мертвый, тебе хорошо. Отдыхаешь, лежишь, молчишь и глаза прикрыл. А мы объясняй людям, почему коммунист дезертиром от жизни оказался. Где такие слова сыщешь, где?

Потом Тима видел себя в сумрачных, затхлых комнатах барской усадьбы на Плетневской заимке. За ним на перепончатых лягушачьих лапах мягко прыгал остроносый человек, мохнатый, как паук, и только очки его холодно блестели. Глядя на Тиму неподвижными, как у птицы, мертвыми глазами, он говорил свистящим шепотом:

— Я еще долго буду жить, долго.

Измученный уродливыми снами, Тима, проснувшись, тихонько оделся и, выйдя из андреевского флигеля, прошел в больничное здание, которое находилось в глубине двора.

В палате у мамы были уже папа, Фекла Ивановна и Павел Андреевич. Павел Андреевич говорил маме строго:

— Вы обязаны хотя бы на недельку стать, как вы выразились, идиоткой и ни о чем возбуждающем не думать. Симптомов сотрясения мозга пока нет, но травматическое повреждение верхних покровов значительно. Словом, полный покой,— обернувшись к Сапожкову, сказал: — А вас, милейший, я рассматриваю сейчас только как возможный источник внешнего раздражения. Посему прошу и требую от всяких политических разговоров воздерживаться,— и проницательно добавил: — То есть обрекаю на немоту, зная, что все иное человеческое лежит за пределами ваших обоюдных интересов.

— Варенька,— сказала маме Фекла Ивановна,— я убеждена, что, стриженная под польку, вы будете еще прелестнее выглядеть.

— Вот-вот,— снисходительно поощрил Павел Андреевич,— обсудите фасон большевистской дамской прически. Полезно для выздоровления,— и взяв папу под руку, вывел его из палаты.

В коридоре к Андросову подошел Рыжиков. Узнав, что состояние Сапожковой «удовлетворительное», попросил:

— Уж вы постарайтесь, Павел Андреевич, ее побыстрее на ноги поставить: она как статистик сейчас позарез нужна в уездном совете народного хозяйства. Без полной статистической картины разве спланируешь как следует? Сами посудите.

— Помочь вам ничем не могу,— сухо сказал Андросов,— потому что сам в вопросах статистики не разбираюсь,— и спросил ядовито: — Что, у вас грамотных людей не хватает?

— Да, не хватает,— признался Рыжиков,— и поэтому я повторяю свою просьбу. Сделайте все, что возможно.

— Оскорбительная для врача просьба.

— Павел Андреевич, вы меня превратно поняли. Если я или еще кто-нибудь скажет Сапожковой, что мы сейчас остро нуждаемся в ней, она уйдет из больницы. Так?

— Вполне возможно. Она дама с общественным темпераментом.

— Но если вы ей не позволите, она вынуждена будет находиться в больнице.

— Значит, все же признаете над собой верховную власть медицины,— усмехнулся Андросов.

— И вот что, Павел Андреевич,— словно не замечая насмешки, продолжал Рыжиков,— вы там письмецо в ревком прислали, что отдаете принадлежащую вам больницу городу. Мы обсудили ваше письмо и, извините, заглазно

проголосовали вас в председатели медицинской секции Совета. Так записано в вашем мандате. Вот поглядите, пожалуйста.

— Вы, может, меня еще и в большевики заглазно запишете? — нервно покашливая, спросил Андросов.

— Так как же, Павел Андреевич? Возьмете у меня мандат или отвергнете по каким-либо особым побуждениям?

Андросов долго сердито сопел, потом спросил отрывисто:

— А что в нем написано о моей персоне?

— Прочтите, пожалуйста.

— Черт его знает, свет от этих трехлинейных ламп какой-то нищенский, — пожаловался Андросов. — Знаете, я лучше дома ознакомлюсь внимательно.

— Пожалуйста, — согласился Рыжиков и деловито сообщил: — Прошу вас зайти в медицинскую секцию Совета. Вы ведь отличный организатор, если судить по вашей больнице. Поделитесь опытом. Думаем построить новую больницу на две сотни коек. Теперь, знаете, в связи с декретом о бесплатном лечении просто с ног сбились: из волостей больных везут, несмотря на бездорожье и прочее.

— Ну, конечно, — хмуро сказал Андросов, — на дармовщину кому не лень полезут. Тем более питание тоже бесплатное, — и сердито посоветовал: — Вы бы волостным властям дали указание отправлять больных с наличием запаса недельного провианта или хотя бы заменой его дровами. Нужно же чем-нибудь больничные помещения отапливать, — и вдруг угрожающе предупредил: — Но еще не исключено, что мандат ваш после всех размышлений верну. Я ведь, знаете, сангвиник, и всякие неожиданности у меня возможны.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Мама, увидев Тиму, сказала счастливым голосом:

— Теперь, Тимочка, мы с тобой будем видеться очень часто. Я так сильно по тебе соскучилась.

Но Тиме не довелось насладиться своим счастьем. Спустя несколько дней, мучимый угрызениями совести, он зашел в транспортную контору, чтобы объяснить Хрулеву причину своего «прогула».

В конторе за эти дни произошли разные события: Белужин и Коля Светличный, стараясь наперегонки вы-

везти как можно больше дров из тайги, где их заготовили курсанты военного училища, загнали насмерть двух коней.

На собрании ячейки Хрулев говорил спокойно и обстоятельно:

— На кирпичном заводе у нас теперь сдельно платят, и на круг на шесть тысяч штук кирпичей стали больше давать, а тем, кто лучше всех работал, из буржуйского конфиската премии: кому ложка серебряная, кому стул венский, кому горжетка.

Решил я и в нашей конской конторе сдельщину попробовать, чтобы людям за хороший труд награда была. Сначала по верстам расчет сделал. А ребята после этого стали коней вскачь гонять с грузом, вот и загнали коней насмерть. Ругать-то я их ругал крепко, но судить там или что другое рука не поднялась. Когда же такое было, чтоб люди друг перед дружкой трудом хвастали? Не было никогда такого. Думал, такой рабочей гордостью можно какие хочешь дела своротить. И хоть за коней горько было, а на душе за ребят чисто. Вот, мол, что началось в пароде впервые!

Пришел в Совет с такими мыслями и еще больше разгорелся, слушая, как другие про свое докладывают. Пыжов карту нашего уезда, всю в разные краски раскрашенную, повесил. И в какую сторону пальцем ни ткнет — то железо, то уголь, то еще какой металл или минерал бесценный. А после него инженер Асмолов, очень такой с виду важный, чертежик на стенку повесил. И выходит по нему, что уголь можно брать прямо снаружи, ежели землю над ним пораскидать, и даже преёскурант зачитал, по которому выходит, что на круг пуд угля, таким манером добытого, больше чем наполовину дешевле станет и за год полное оправдание капитальных затрат даст.

Потом меня объявили. Решил я не с радости начинать — с горя. Говорю: «Вот, товарищи, допустил, двух коней погубили». Тут сразу Косначев вопрос врезал: «Значит, это твои павшие кони больше двух суток валялись на главной улице?» Я ему: «Все подводы в разгоне, не на чем было на свалку свезти». А он встал, обернулся и прямо в меня руку простер и говорит: «Массы населения, видя этих павших лошадей, сделали естественный вывод далеко не в пользу Советской власти».

А тут еще Капелюхин меня ударил фактами. Говорит: «Располагаем сведениями, что действительно контрреволюционные агитаторы воспользовались павшими коня-

ми, нарочно собирая возле них народ. И трибунальским работникам пришлось самим тащить тех коней на свалку».

Ну что же, поперек правды ничего не скажешь. Заявил: признаю все на себя. Вот и обсудили меня без жалости, а потом приговор дали. Строгий гражданский выговор от Совета, а по партийной линии получить, что причитается, от своей ячейки.

Хрулев смолк, потрогал усы смуглой от печного жара рукой:

— За то, что кони пали и убраны не были, через что были распущены всякие нехорошие слухи про народную власть, винюсь и все, что вы на меня наложите за это, приму с покорностью. Но, товарищи! — Тут голос Хрулева окреп, возвысился: — Если вы за всеми этими моими промашками и дуростью не заметите, что люди коней загнали оттого, что трудом загордились друг перед другом, тут я перед всеми встану. Тут я скала. Хоть до губернии дойду, а их унизить не дам.

Николай Светличный заявил:

— Коня я загнал, верно. И за это вы меня бейте, как хотите. Но как дело было? В печь восемь часов кирпичи клал: остынуть ей не даем, чтобы жар экономить. Потом два часа на курсах товарища Федора Зубова по военному обучению на плацу с винтовкой побегал. А после сюда, не емши. Товарищ Хрулев объявил: «Тому, кто больше свезет, рабочая честь будет объявлена». Ну, я и зашелся. Гонял коня, верно, рысью, и то, что на шлее пена намерзла, не скрою, видел. А то, что я сам голодный, натруженный, да вся одежда, запотевшая на заводе, к бокам примерзла, я об этом думал? Нет, не думал. Понимал так: «Я терплю, а коню почему не стерпеть?» А выходит, конь человека слабже. Вот и погубил его насмерть. И тут я прямо скажу товарищу Хрулеву: мне заступники не требуются! У меня такой же партийный документ, как у него, только у его номер пораньше моего стоит. Но партия не по номерам людей перед собой ставит. В ответе все одинаковы. А мой ответ больше: я ведь самолично коня сгубил, а не он. Значит, требуйте с меня целиком всю повинность.

На собрание пригласили Белужина. Степенно поклонившись, он опасливо заявил:

— Я, почтенные, для партии неподсудимый. Это вы друг дружку казнить можете, а меня нельзя. Я тут сторонний. А за коня, что ж, в рассрочку выплачу, чего он там стоит. Но только поимейте в виду, конь Синеоковым брако-

ванный, так что с пуда, как на мясо, заплачу. А за остальное с меня спроса нет.

— Сквалыга, — сказал Светличный.

— Какой есть, — спокойно согласился Белужин и с удовольствием заявил: — Потому в сторонке и держусь, в партию к вам не иду, чтобы после за себя не каяться, как ты, например. — Поднял глаза в потолок, задумчиво пожевал губами: — Я ведь почему к вам на собрание зайти просился? Человек-то я равнодушный, не люблю наспех думать, а тут вот решил без оглядки правду сказать. Значит, какая моя правда? Хомякова забыть не могу, как он сам себя сжег, хоть и грубый человек был, без жалости, — очень он хотел, чтобы быстрее социализм наладили. С того, я полагаю, и людей вокруг погонял без всякого терпения.

— Ты про себя говори!

— А ты мне не приказывай, — огрызнулся Белужин, — я среди вас человек вольный, захочу — скажу, а захочу — шапку на голову и пойду в конюшню, а то домой. По доброй воле я здесь, никто не заставит за одну честь за конями ходить. Так вот. — Опустил глаза, пошаркал ногой. — Я ведь на Советскую власть все вприщурку глядел. Попереть буржуев — это дело вполне возможное: злости народной и на большее хватит. А вот жизнь обладать обещанную, прекрасную — в этом сомневался. Прямо говорю: не верил. Где же резон работать, если на получку ничего путного не купишь? Не пойдет у них дело, не пойдет, раз главная пружина — «целковый» — под человеком ослабела! Когда мне Хрулев сказал: «Желаешь из чести грузов больше свезть, чем возчики прежде возили, так записывай в каждую езду, сколько пудов и на сколько верст свозил. У кого больше будет, тот среди нас, выходит, наилучший. Мы его почтим на собрании всенародно». Ах ты, думаю, соловей-соловушка, тоже придумал игру веселую! Не дал я ему согласия. Но после того, как Федюшина почествовали и домой на дровнях с почетом после работы свезли, заело меня. Ну и стал жать. Раньше, как приеду за грузом, сижу на санях, зябну, а чтобы людям помочь кладь таскать, такого не было. А теперь стал сам хватать да накладывать, даже одежду не щадил. Ну и достиг, сами знаете, тоже почествовали. А вот когда захотел наипервейшим стать, тут, сознаюсь, коня не пожалел, — полагал, сдюжит. И вот погубил казенного коня из-за одного своего самолюбия... — Белужин вытер вспотевшие от волнения руки и заявил твердо: — Я, конечно, худо поступил, каюсь, но кто же когда

казенную вещь жалел? Да ни в жизнь! Вот и сморил коня. Сегодня, думаю, я на нем, а завтра другой, кто поленивее, — вот конь и отдохнет с ним. Надо было каждого приставить навсегда к коню: хоть он и не свой, а вроде как свой, ну и берег бы. А то Хомяков, царство ему небесное, хоть и партийный, говорил: «Нельзя коней по людям распределять, нужно сразу отучать от вредного инстинкта частной собственности». А если я к ней непривычный, что ж тут плохого, если я, как парнишка Сапожков, коня своим считать стану, хоть он вовсе не мой, а народный? Может, по закону вашему это не ладно, а коням от этого лучше будет. Я для этого сюда и пришел, чтобы за коней слово сказать. А так я вам не подсудимый. Опять же конь бракованный, это и коновал Синеоков подтвердит, я к нему на квартиру ходил и бумажку взял... Вот она, бумага-то.

И Белужин торжествующе помахал бережно завернутым в платок листком бумаги...

Встретив Тиму в конюшне, Белужин рассказал ему о собрании:

— Хрулеву за коней простили, а вот за Хомякова надавали как следует. Выходит, не было у него права самолично партийный документ у Хомякова отбирать. Партия его выдает, партия и забирает. А он себя вроде партией посчитал. Вот и сгубил человека, — и произнес сокрушенно: — Эх, Хомяков, Хомяков, до чего же жгучей души человек был, сам себя спалил! Ведь в займку очертя голову полез он ради коней, — и заявил сердито: — Мы бы Хомякова собой заслонили в случае чего. Трибунал-то народный... Поперек народа и ему встать невмочь. И в партию Хомякова отпросили бы обратно.

— Но ведь вы не любили Хомякова? — напомнил Тима. — Он вас даже в погреб сажал за то, что навоз не выгребли.

— А что он мне, сродственник, что я его любить обязанный? — рассердился Белужин. — Кидался всегда, как пес, и все за наган хватался, словно стражник какой. Но ведь нужно понятие иметь. Вот коновал говорил, у коня унылого сердце совсем мало весит, а у скакового, быстрого, в четыре или пять раз больше против обыкновенной лошади. Так и у людей. Я, скажем, человек тихий, наблюдательный, позади других лезу. А Хомяков — тот скачет на самый перед, его куда ни пихни, всюду, значит, за сердце заденешь, чувствительный. С того и сам себя зашиб, — вспомнил одобрительно: — Хомяков все хвастал: социализм, мол, не вообще когда-нибудь, а уже зачался. И на факты

указывал: мол, кони народные — это тоже момент. И что даром в конюшнях работаем после завода — тоже факт. Видал, как рассуждал? И хотя без него теперь в конторе так нахально никто в погреб тебя сажать не станет, печаль по нем останется.

Повидать Хрулева Тиме не удалось, так же как и своего коня Ваську.

Дело в том, что накануне утром в контору явился человек и предъявил Хрулеву мандат губернского чрезвычайного уполномоченного по всем видам транспорта.

Он потребовал выдать в его распоряжение двадцать подвод, а от возчиков отказался, заявив, что у него имеются свои люди.

Пока запрягали копей, в том числе и Ваську, уполномоченный беседовал с Хрулевым. Положив ногу на ногу, а сверху на колено маузер в деревянной коробке, он убеждал Хрулева:

— Ты должен понять: государство как система вступает в стадию отмирания уже на следующий день после революции. А вы назвали свою контору «государственной», значит — цепляетесь за прошлое. После победы революции все формы государственности устарели, на смену им приходят свободные объединения тружеников, которые самостоятельно и самостоятельно отстаивают свои хозяйственные интересы. Значит, должны вы брать процент с грузов натурой и всё справедливо делить между собой. А если доходы станет брать себе государство, то, значит, оно будет тем же капиталистом, против которого мы боролись, — откинувшись на скамье, спросил: — Ну как, понял?

— Мандатик еще раз разрешите взглянуть, — неприязненно попросил Хрулев и стал переписывать мандат уполномоченного на бумажку.

— Это зачем еще? — строго спросил уполномоченный.

— А так, на память, — объяснил Хрулев и спрятал бумажку в карман. — Партийного документа у вас не найдется? Может, в другой партии числитесь? По вашим словам похоже, — объявил решительно: — Поскольку у вас мандат из губернии, отказать в подводах не могу, но захватить вместе в ревком будет желательно.

— Значит, не доверяете? — спросил уполномоченный, но тут же согласился: — Что ж, давай заедем, у меня там тоже дело есть.

Хрулев вместе с уполномоченным и его людьми уехал на подводах конторы и до сих пор не вернулся.

Тима прибрал стойло Васьки и, взяв у Белужина слово,

что он обязательно объяснит Хрулеву, почему Тима все эти дни не приходил в контору, ушел.

В больничном коридоре на белой скамье сидели Рыжиков, Ян Витол и между ними папа.

Папа внимательно и напряженно смотрел на дверь палаты, где лежала мама, а Рыжиков и Ян, наклонившись друг к другу, беседовали шепотом.

Папа сказал Тиме:

— Только тихо.

Тима сел рядом с Яном. Ян, не обращая на Тиму внимания, продолжал сердито говорить Рыжикову:

— Пока амбары были пустые, их не поджигали.

— Ну и что? — перебил его Рыжиков. — Вполне естественно. Сначала враг рассчитывал, что мы не справимся. А теперь старается бить по тому, что мы сделали.

— Я не про то, — досадливо поморщился Ян. — Дел прибавилось, а вы забираете у меня Сапожкова.

Рыжиков сказал примирительно:

— Давай больше не спорить. Ревком решил — и точка.

— Нет, будем, — упрямо заявил Ян.

— Ты пойми, — повысил голос Рыжиков, — Советская власть должна дать людям то, чего они были лишены при капитализме. Это и есть главный удар по контрреволюции. И новая больница — это тоже удар. Двести коек — значит, двести человек получают помощь от Советской власти!

— Ты со мной не митингуй, — обиженно попросил Ян. — Я о Сапожкове говорю.

— Ну, а ты, Петр, как считаешь? — спросил Рыжиков.

Папа, не спуская взгляда с двери палаты, произнес вопросительно:

— Кажется, спит? Это очень хорошо... — И разрешил: — Ничего, пожалуйста, беседуйте, только не очень громко, — и снова уставился на дверь.

Ян махнул на папу рукой и, еще ближе склонившись к Рыжикову, продолжал говорить, только уже совсем тихо, лицо его оставалось по-прежнему обиженным.

Тима подошел к двери, прислушался. Увидев испуганный взгляд папы, побрел на цыпочках в докторский кабинет.

Здесь, склонившись над микроскопом, сидел Андросов. Обернувшись, предложил Тиме:

— Хочешь поглядеть? — и объяснил: — Гнилостные бактерии — коварные, живучие, прожорливые твари. — Тима припал к стеклышку глазом и увидел небесного цвета круг, в нем двигались противные сероватые тельца, при-

ближаясь к красным прозрачным кружкам, прилипали к ним, и те начинали блекнуть и словно растворяться.

— Вот,— сказал Андросов.— Видишь? Всюду борьба насмерть.

Тима спросил:

— А вы за кого-нибудь из них заступиться можете?

Андросов капнул из пипетки на стеклышко, лежащее под микроскопом, и Тима увидел, как серые тельца стали вдруг сжиматься, меркнуть, теряя подвижность.

— Вот это правильно! — обрадовался Тима. И похвалил Андросова: — Я так и знал, что вы этих серых, а не других погубите.

Андросов улыбнулся.

— Почему ты так думал?

— Так,— сказал Тима.— Думал — и все,— и спросил: — А если внутрь больного человека так накапать?

— Нельзя. Для человека это пока яд.

— Жалко,— сказал Тима.

— Да,— согласился Андросов. И, похлопав Тиму по плечу, утешил: — О маме не беспокойся: скоро выздоровест.

— А я не только о ней,— сказал Тима и посмотрел в глаза Андросову.

Андросов нахмурился сердито:

— Ладно, тоже философ нашелся! — И, открыв дверь, пропустил Тиму вперед.

Так как маме стало значительно лучше, Тима на следующий день с утра отправился в контору. Но тут всем было не до него. В конторе произошла новая беда. Губернский уполномоченный оказался вовсе не уполномоченным. Хрулева нашли на дороге тяжело раненным, а коней бандиты угнали неизвестно куда, в том числе и Тиминого Ваську.

Капелюхин, собрав во дворе рабочих, объявил:

— Могу выдать четыре винтовки. Что же касается того гада, докладываю: мандат у него фальшивый. Мы таких целую пачку на Плетневской заимке захватили, но, видать, кое-кому они уже выдать успели. Так что, кто хочет ловить бандитов,— пожалуйста. Старшим поедет от нас товарищ Давыд Синцов.

Тима подошел к Синцову и спросил:

— А мне можно?

Синцов, глядя поверх его головы, крикнул:

— А ну, быстрее там, товарищи! — и, ничего не ответив, побежал к головной упряжке.

Тима истолковал молчание Синцова в свою пользу. Когда сани выехали на улицу, он молча втиснулся на задние розвальни между Белужиным и Колей Светличным.

Белужин спросил:

— Подвезти, что ли?

Тима промолчал.

Дула предвесенняя вьюга, сырой, сизый снег бил в лицо, словно мокрыми тряпками.

Белужин уныло жаловался Светличному:

— Умный я человек, а ввязался. Партийным рассуждать не приходится: велено — значит, иди, а я-то вольный, вполне мог остаться.

— Чего же не остался? — сердито спросил Светличный. — Никто не неволил.

— Вот и думаю: чего? — с хитроватым простодушием пожал плечами Белужин.

— Полез, а теперь ноешь.

— Не ною, а рассуждаю, — с достоинством поправил Белужин. — Тебе, Коля, помереть легко, беспечно, а у меня ребят трое. Если я в такое дело влез, то не от отваги, как ты, а оттого, что в сторонке стоять да моргать неловко, пока другие жизнь наладят.

— Ты что, легкой ждешь?

— Жду, малый, как все ждут, — вздохнул Белужин. — Вот по субботам трудящимся подводы наряжаем за водой, в тайгу за дровами, на реку бабам белье полоскать. И называется это коммунальная услуга. Значит, облегчение жизни. Мне вот за полсотни, а я до революции копейкой только два раза пользовался: один раз, когда брат помер, на кладбище его свез, другой случай — в больницу самого доставили. Целковый ломовик взял. А в конторе две подводы под красным крестом. Кто захворает, везем даром. И еще полостями накрываем, чтобы в дороге не застудился. — Оглядев высокомерно Светличного, сказал: — Тебе только бандитов ловить — и все, а у меня душа болит. Не доставим завтра воду людям — значит, обидим. Раньше за два ведра воды — копейка, и могли платить только бары, а мы ее даром возим. По бедности с воды начали, а большое с того уважение получилось. Поэтому контры на наш двор покушение сделали не столько чтоб коней украсть, сколько чтобы осрамить перед народом, будто мы в хозяйстве слабы.

— Видать, и ты стал партии сочувственный, раз поехал бандитов ловить, — одобрил Светличный.

— Не я ей, а она мне сочувствует,— с достоинством поправил Белужин.

Тима не очень внимательно прислушивался к рассуждениям Белужина: он был весь захвачен заботой, как бы заслужить доверие Светличного, обнимавшего обеими руками винтовку, затвор которой он бережно обвязал шейным платком, а дуло заткнул паклей. И хотя нехорошо было так думать, но Тима думал о том, как было бы здорово, если бы Колю ранили во время боя с бандитами: тогда он обязательно взял бы его винтовку и сам стал стрелять по бандитам. Важно только заслужить доверие и быть все время рядом с ним. И чтобы добиться расположения Светличного, Тима насмешливо и лъстиво подмигивал ему, когда Белужин рассуждал, почему он за большевиков и революцию.

И только когда выехали далеко за город, Белужин спохватился. Остановив коня, сердито спросил Тиму:

— Ты что же это? Просился подвезти, а выходит, увязался?

— Это вы сказали — подвезти, а я вам ничего не говорил,— попробовал оправдаться Тима.

— Нет, какой смысленый! — возмутился Белужин.— А ну слезай!

— Завезли, чего уж там,— заступился за Тиму Светличный.

— Тебе чего! — гневно сказал Белужин.— Сам давно ли из-под родительской воли выскочил? А у него мать в больнице, понимать надо.

— А может, ты сам домой захотел? — спросил Светличный и ехидно посоветовал: — Ухи-то зачем ватой заложил — боишься от срьелбы оглохнуть?

— От простуды,— деловито разъяснил Белужин. И вдруг, осердившись, крикнул: — Ну так я тоже ему не дядька! — и, дернув вожжи, погнал коня вскачь догонять остальных.

А вьюга волокла навстречу сырые космы липкого снега, и если не отворачивать лицо, то можно было даже захлебнуться этими влажными густыми хлопьями, залепляющими глаза, ноздри, рот. Поддевка на плечах отсырела, и штаны на коленях тоже.

Скорчившись на дровнях, Тима старался не шевелиться, чтобы тающий снег не попадал за ворот. Светличный запахнул винтовку шинелью, ствол ее торчал у самого лица, отчего ему приходилось все время держать голову откинутой.

Но когда Тима предложил ему передохнуть и дать поддержать винтовку, Коля сказал сухо:

— Это тебе не лопата, а оружие, его в чужие руки давать не положено.

И хотя Тиме было обидно, что Светличный говорил с ним так недружелюбно, все-таки от этих слов уважение к Коле возросло, и Тима только сказал покорно:

— Я ведь не насовсем, а так только, чтобы помочь.

— Не нуждаюсь! — ответил Светличный и еще крепче обнял винтовку.

Когда переезжали Соловинкину падь, всем пришлось слезть с саней: здесь так высоко намело снег, что лошади брели в нем по брюхо. И хотя Тима ступал в протоптанные следы, но все-таки набрал полные валенки, и снег в них таял. Шагая, Тима все время шевелил пальцами ног, и ему казалось, что он слышит, как чмокает в валенках.

Стало смеркаться, снег пошел гуще, потянуло стужей, отсыревшая одежда смерзлась, похрустывала и сжимала тело.

Давыд Синцов, пропуская мимо подводы, спрашивал:

— Что, замерзли, чижики? Ничего, хлопчите ножками, погрейтесь.

Тима давно уже испытывал томительное и тоскливое разочарование. Он думал: будет бешено стремительная погоня, потом короткая схватка и торжественное возвращение в город с взятыми в плен врагами. Но ничего этого не было. Дружинники из транспортной конторы большую часть дороги шли пешком, и не столько, чтобы согреться, сколько для того, чтобы сберечь силы коням. Никто не говорил о предстоящем бое, о бандитах, а мирно и скучно рассуждали о своих повседневных делах. Тиму стало терзать раскаяние: вот он увязался с дружинниками, а мама беспокоится, не зная, где он. А ведь ее нельзя сейчас ничем волновать. Это ей очень вредно, и Тима будет виноват, если мама еще сильнее заболест. Ему нужно вернуться, но тогда его сочтут трусом. Как же быть? Честно признаться дружинникам или не думать о маме и ехать, ехать без конца по завьюженной, угрюмой тайге?

Как-то Георгий Семенович Савич сказал Тиме, открыв дверцы книжного шкафа:

— Вот истинные сокровища, которые обогащают разум, формируют духовную культуру человека, — и продолжал, очевидно больше для себя, чем для Тимы: — Плодом социализма будет социальное равенство, но не духовное, ибо человек, овладевший вершинами культуры, будет всегда

отличаться от простого обывателя, так же как отличается глаз человека от глаза животного. Отсюда явствует, что простой человек никогда не сможет столь тонко и глубоко наслаждаться творениями гения Толстого и Достоевского, как это доступно психике интеллигента, — потом посоветовал Тиме: — Читай больше, и ты поймешь природу этого духовного неравенства, ибо в нем заложена причина многих трагических конфликтов.

Конечно, никто на конном дворе не читал тех книг, какие прочел Георгий Семенович, да и, пожалуй, тех, которые уже прочел Тима. Обращались люди здесь друг с другом сурово; кроме революции, много говорили лишь о еде, одежде, дровах. А если кто-нибудь проявлял какую-нибудь слабость, его безжалостно и жестоко высмеивали. Больше всего уважали тех, кто никогда ни на что не жаловался. Поэтому признаться сейчас, что он замерз, когда все они сами намучились, озябли, стали злыми, Тиме было невозможно. Скажут: парнишка струсил и захотел вернуться к мамаше. Да и как он вернется один, пешком? Вот если бы здесь были Эсфирь, Федор, Витол или даже Савич, они бы давно спросили Тиму, почему он такой грустный, и, узнав, наверняка пожалели бы, заволновались и что-нибудь придумали.

Сидя в санях, Тима печально слушал, как Белужин объяснял Светличному значение разных примет.

— Так, если у человека волос на переносице растет... это означает — с характером. А если ладони потеют, то, значит, вор либо просто жулик. У кого подбородок с ямкой, тот обязательно простак добродушный, у кого клином — хитрец, такого берегись, — продаст, — и, тыкая варежкой себе в бороду, заявил гордо: — А у меня, гляди, какая кость широкая. Значит, я человек упрямый и недоверчивый.

— А у меня какой подбородок? — спросил Тима.

Белужин оглядел Тимино лицо, потом заявил:

— У тебя, милоч, еще круглота одна, шарик, — словом, куда пихнут люди, туда и покатишься, — и вдруг спросил: — А ты что такой понурый, озяб шибко? — и, внимательно присмотревшись к Тиме, проговорил прстяжно: — Нет, брат, тут не с ознобу, тут что-то другое. А ну, выкладывай! Видал, как его всего перекосило? — обратился он к Светличному. — Не с холоду, нет, — и проговорил сокрушенно: — Эх ты, пичужка! Говорил, нельзя с нами, а ты полез и о матери заботу из башки вытряхнул! Вот беда... — Соскочив с саней, побрел по глубокому снегу к головным саням.

Тима крикнул:

— Вы не так про меня подумали. Я не боюсь, это неправда!

Но Белужин махнул рукой и скрылся в снежном мраке.

Немного погодя подводы остановились. К саням, где сидел Тима, подошел Синцов в сопровождении Белужина и дружинников. Тима вскочил, бросился к ним навстречу, чтобы объяснить, что это все неправда и он вовсе не трусит. Но Синцов сердито приказал ему молчать и, обращаясь к рабочим, проговорил озабоченно:

— Вот, ребята, какая история. Что делать будем?

— Чего ж тут обсуждать? — угрюмо сказал Белужин. — Дело понятное, вернуть его надо.

— Одного нельзя.

— Дадим сопровождающего.

— Пешком не дойти.

— Ну с подводой.

— Если с подводой, то надо кого с винтовкой отрядить, в тайге могут на коня польститься.

— Правильно, бандюгов на всех хватает.

— Винтовки у нас четыре.

— Ничего, с тремя обойдемся.

— Надрать бы ему уши, подлецу... Зачем увязался?

— Буде митинговать, — повысил голос Синцов. — Значит, такая команда: с кем он на подводе сидел, те пусть в свое наказание и везут его обратно в город.

Светличный даже побледнел от огорчения:

— А меня за что ж обратно?

— За то самое, — сурово сказал Синцов. — Видишь, человек не в себе, так спросить языка нет; загордился — винтовку дали, выше лба людям глядеть стал. — И приказал: — Разговорам конец. Возвращайтесь!

Упряжки тронулись вперед, а сани, в которых сидели Тима, Светличный и Белужин, повернули назад. Теперь выюга дула в спину, и хоть от этого не так зябли щеки, Тима отвернул лицо и спрятал его в поднятом барашковом воротнике поддевки.

Ехали молча, Белужин дремал, а Светличный угрюмо и неприязненно поглядывал на Тиму темными, как спелые ягоды черемухи, глазами.

В лесных проплешинах выюга крутилась, взбаламучивая снежные рыхлые сопки, расшибаясь о стволы пихт и кедров, падала к их подножиям и снова неслась в кружении, сухо шурша снежным подолом по обледеневшему насту.

Тима думал, каким жалким он кажется сейчас, как все

должны презирать его. Особенно Светличный, ему доверили оружие, а Тиме теперь никто ничего не доверит.

И вдруг Светличный, словно угадав мысль Тимы, сказал хрипло:

— Возьми винтовку, небось всю дорогу глаза на нее пялил,— и, видя, что Тима колеблется, проговорил с усмешкой: — Я ведь почему не давал, самому впервые довелось дорваться до винтовки. Но в бою один раз тебе выпалить дал бы. Ты не думай, что я шкура какая-нибудь.

Тима, приняв из рук Светличного винтовку, поставил ее перед собой, и хотя она оказалась тяжелой и от холода металла ломило руку даже в варежках, держать ее было очень приятно.

В город приехали глубокой ночью. Тима сказал Белужину:

— Спасибо вам.

Белужин, не поднимая глаз, проворчал:

— Ладно там, ступай.

— До свидания,— сказал Тима Светличному.

— Валяй, валяй,— расстроено махнул рукой Коля.— Ты приехал, тебе хорошо. А мне завтра перед всеми моргать. Пошел бандитов ловить, а выходит, прокатиться ездил,— и добавил, поеживаясь: — Засмеют, черти.

Возле маминой палаты дремал на стуле папа. Увидев Тиму, он сказал:

— Мама спит, пульс нормальный,— потянулся, хрустнул суставами пальцев: — Волноваться нам уже не следует, никакой опасности нет.

— Зачем же ты тогда тут сидишь?

— Думаю... Все спят. Тихо. Очень хорошо, когда тихо...

— А о чем думаешь? Про маму?

— И про маму, и про тебя, и про все...— Папа вынул часы и сказал сердито: — Однако ты, брат, совсем от рук отбился. Разве можно до сих пор не спать? — встал и строго приказал: — Пойдем, я тебя устрою в дежурке.

Папа накрыл Тиму одеялом, подоткнул со всех сторон, ткнулся в лицо бородой, пахнувшей карболкой, и вышел на цыпочках.

Лежа под одеялом, Тима наслаждался сладкой теплотой. Ему казалось сейчас, что ничего не было: ни погони за бандитами, ни вьюги, ни мрачной тайги,— ничего. А есть только эта уютная теплота, белесый свет луны в окошке. Если бы только не мучила совесть. А она все-таки мучает. Ведь из-за него, Тимы, у дружинников теперь вместо четырех винтовок только три.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Мама не умела болеть.

Она капризничала, жаловалась, что ее зря держат в больнице, когда она уже совсем здорова. Папа умолял:

— Ну потерпи еще немного,— и упрекнул Тиму: — Ты, наверно, не читаешь ей вслух.

— Она газеты просит.

— Газеты нельзя. Газеты вредно...

Прежде чем разрешить посетителю войти, мама кусала себе губы и терла жестким полотенцем щеки, чтобы становились красными.

— Через два дня буду на ногах,— обещала она всем.

Герман Гольц принес маме букет цветов, сделанных из раскрашенной папиросной бумаги. Мама взяла букет, поднесла к носу, вдохнула неприятный химический запах и сказала растроганно:

— Спасибо за цветы, Гольц.

Гольц сидел на табуретке, положив на колени тяжелые широкие ладони.

— Ну, как дела? — спросила мама.

— Ничего, хорошо.

— А что именно?

Гольц задумался и заявил:

— Все хорошо и совсем немножко плохо.

— Вам что, запретили со мной разговаривать? — оби-
девшись, спросила мама.

Гольц покосился на дверь и сказал:

— Зимно на улице,— и успокоил: — Но в казарме ничего, тепло топят.

Когда Тима вышел проводить Гольца, он встретил в коридоре папу и Витола.

Прежде чем войти в палату, Ян спросил папу:

— Ты что про мышьяк знаешь? — и нетерпеливо потребовал: — Только коротко, как узнать, что он мышьяк?

Папа задумался, пощипал бородку и обрадованно при-
помнил:

— Во-первых, мышьяк при нагревании издает запах чеснока,— взглянув в лицо Яна, встревоженно спросил: — А что, собственно, случилось?

Ян посмотрел себе в ноги, сказал:

— Наши ребята — чехи и словаки — чуть не отравились хлебом, выпеченным из белой муки. Сюда приезжали офицеры-вербовщики, предлагали чехам и словакам всту-

пить в легион, а когда те отказались, им оставили, несмотря на это, в подарок муку. И мука была отравлена.

— Но это чудовищно!

Ян поднял голову:

— Они отказались вступить в легион. И за это их хотели отравить, — прищурив один глаз, заявил: — Да, я теперь помню, в пекарне пахло чесноком. Но я подумал, это национальный обычай — класть в тесто чеснок. — Одернув гимнастерку, Ян вошел к маме в палату. Увидев ее, вдруг восхищенно произнес: — А знаешь, тебе прическа под мальчика к лицу. Ты стала похожа... — Ян пощелкал пальцами и, не найдя слова, объяснил: — Ну, ничего себе...

Тима, видя, что Витол весело беседует с мамой, не мог понять, как это он забыл обо всем страшном.

Лишь железная воля заставляла Яна делать только то, что именно в данный момент полагается. Но морщины, которые рассекли переносицу Яна во время разговора с мамой, так и не исчезали с его круглого и твердого лица.

Только Рыжиков был всегда такой, каким он был со всеми. Справившись у мамы, как она себя чувствует, сказал деловито:

— Ты, Варенька, пока лежишь, должна продумать свой доклад на ревкоме о положении в деревне. Хлеб — это сейчас фронт. — Потом сказал одобрительно о Федоре: — Как мы его со снабжением курсантов урежем, бунтует. И правильно: опытные командиры нам не сегодня завтра понадобятся. С твоего обоза постановили им пару подвод муки выдать, — оглянувшись на Тиму, предложил: — Сбежал бы ты в казарму к Федору и сказал, что решили паек курсантам увеличить, — а маме объяснил: — Скандальный мужик Федор, а ссориться с ним нельзя. Все коммунисты должны сейчас проходить военную подготовку, без помощи его курсантов нам не обойтись.

Тима был очень доволен и горд этим поручением Рыжикова, тем более что ему давно хотелось повидать Федора, которого он очень любил.

В первые дни Советской власти заседания в уездном комитете велись почти беспрерывно. Нужно было решить тысячи неотложных дел, чтобы плоды революции стали скорее достоянием повседневной жизни.

И вот после речи комиссара просвещения Егора Косначева, призвавшего создать в бывшем архиерейском доме

«Народную академию», встал Федор Zubов и потребовал, чтобы пустующее здание пересыльной тюрьмы отдали под военное училище. И это тогда, когда одним из первых декретов был декрет о мире, когда на фронте происходило братание и миллионы русских солдат, измученных войной, рвались домой.

Низкорослый, коренастый, в опаленной шинели, с глубоко вдавленным в лицо бурым рубцом, положив руки на спинку скамьи, Федор стоял не шевелясь и только поводил ледяного цвета глазами на тех, кто негодуя кричал на него.

Приговоренный в конце 1916 года военно-полевым судом к расстрелу за антивоенную пропаганду, прапорщик Федор Zubов стоял перед взводом солдат без погон, без ремня и сапог. Дважды офицер контрразведки отдавал команду. Дважды раздавался залп, а Федор все стоял, задумчиво глядя на свои босые ноги. Офицер не решился скомандовать в третий раз. Приказав убрать «труп казненного», он поспешно удалился, опасаясь выстрела в спину, шел, словно пьяный — зигзагами.

В этот день немцы прорвали фронт. И только одна батарея, которой командовал председатель подпольного солдатского большевистского комитета Федор Zubов, прикрывала на переправе отступление разгромленной дивизии. Раненого в голову Zubова солдаты вынесли на руках и сдали в госпиталь. Здесь его обнаружили контрразведчики. Старый русский офицер, командир артиллерийского дивизиона, узнав о подвиге батареи Zubова, исходатайствовал замену смертной казни разжалованием в солдаты. В команде смертников Федор отличился, захватив немецкий штаб, но снова попал в контрразведку за то, что и в расположении врага разбрасывал листовки с призывами к миру. Его спасла от казни Февральская революция. В памяти Федора остались поля, заваленные истерзанными трупами, подобные язвам, воронки в земле, обезглавленные рощи, опаленные тротилом травы, лужи с коричневой от крови студенистой водой.

Федор знал, что такое война, чьи руки управляют ее машиной, и был убежден в том, что разбить эту машину можно только такой же машиной, но подчиненной народу. В чемодане у него хранились книги, все, что он смог собрать по вопросам военной истории и военной науки. Он изучал войну, как врага. Во время революционного восстания в городе Федор командовал небольшим отрядом красногвардейцев так, что в бою со сводным батальоном и офицер-

ской дружиной красногвардейцы вышли победителями с самыми незначительными потерями.

И это знали сидящие здесь, на заседании укома. Многим из них Федор спас жизнь своим воинским умением, дальновидным расчетом.

Федор дождался тишины, поднял голову и твердо заявил:

— В военном училище мы будем готовить по ускоренной программе из солдат, рабочих и крестьян грамотных командиров не для войны, а против войны. — Не обращая внимания на иронические возгласы, он повторил решительно: — Да, против войны! — и спросил сурово: — С такой формулировкой вы как, согласны?

— Софистика!

— Призыв к милитаризму!

Встал Рыжиков и, неприязненно глядя в сторону тех, кто возмущался словами Федора, сказал:

— Да, мы против войны. Но не против военной науки. Как, Егор, — обратился он к Косначеву, — военная наука у тебя уже за науку не считается? На ниве просвещения только одни цветочки собираетесь выращивать? Смотри, как бы чужими солдатскими сапогами не потоптали эти цветочки-то!

Незначительным большинством голосов предложение Зубова было принято. И то потому, что первым за него поднял руку Рыжиков, председатель ревкома.

С десятком выписавшихся из госпиталя фронтовиков (одним некуда было деваться, другие, обезображенные ранением, не хотели возвращаться домой) Федор Зубов стал приспособлять под казарму угрюмое старинное здание тюрьмы.

С помощью взрывчатки они развалили внутренние стены, отделяющие камеру от камеры, настелили на каменные плиты сосновые доски, сколотили нары, произвели побелку. Продали на барахолке арестантские халаты, шестьдесят пудов ручных и ножных кандалов, которые с охотой брали крестьяне, чтобы переделать их на путы для коней. Купили школьные принадлежности и два пуда керосина.

Первые месяцы курсанты Зубова часто работали по трудовой мобилизации, и Федор скаречно требовал за это у продкомиссара дополнительные пайки. Снарядил охотничий отряд и привез из тайги больше двухсот пудов мяса. Постепенно в военном училище образовался запас продовольствия. Соблазнив продуктами, Федор привлек на пе-

дагогическую работу словесника Ивана Мефодьевича Воскресенского, математика Олекменского, топографа Верзилина и подполковника в отставке Купресо́ва. Для того чтобы обеспечить училище арсеналом, он с курсантами отправлялся за сотню верст на узловую станцию и там либо отнимал оружие у демобилизованных, либо выменивал его на хлеб и мясо.

После того как первого января в Петрограде группа правых эсеров по заданию Антанты совершила покушение на жизнь Ленина, Федор категорически заявил Рыжикову:

— Больше ни одного курсанта не дам на трудовые работы. Это война стреляла в нашу партию, как в своего главного противника. Враги хотят снова втянуть Россию в войну, а нет — идти на нас войной. — И повторил: — Больше ни одного человека отрывать от военной учебы не позволяю...

В буран и стужу, в слепящие снегопады курсанты проводили строевые занятия на площади Свободы или уходили в тайгу, где разыгрывались учебные бои.

Вечерами окна бывшей пересыльной тюрьмы всегда были освещены: только вечернее время Зубов отводил курсантам для занятий общеобразовательными предметами.

Будущие красные командиры были одеты в серые хлопчатобумажные гимнастерки и такие же галифе; вместо сапог — полотняные обмотки и чуни из сыромятины; вместо шинелей — стеганые ватные кацавейки, крытые ситцем с какими-то обидными голубыми и розовыми цветочками. Из такого же материала ватные шапки-ушанки. Все это сшили Полосухины, для которых здесь была оборудована мастерская. Полосухин назывался теперь гарнизонным портным, и Федор разрешил ему ходить в таком же обмундировании, как и курсанты, только не позволил носить на шапке красную звезду.

Бандитов, угнавших коней из транспортной конторы, поймали именно курсанты военного училища, или, как их уважительно называли в городе, «красноофицерские солдаты».

Однако Федор Зубов считал, что для его курсантов это только обычное военное занятие, и был недоволен результатами. Операция планировалась им так: прижать противника к Максимкину яру, лишить маневра, принудить к сдаче. Вопреки задаче, курсанты перешли в штыковой бой.

Но рабочие транспортной конторы не понимали всех

этих тонкостей. На митинге они постановили наградить военное училище.

В сторожке конторы висела дуга знаменитой рысистой упряжки миллионщика-золотопромышленника Громова. Дуга была сделана из коричневого орехового дерева, обита серебряными бляшками, обшита на концах красной сафьяновой кожей. Громов некогда выписал ее из Лондона вместе с лакированной сбруей.

Полуграмотный купец разорился на биржевых махинациях, прииски перешли в собственность американской компании, а его долговые обязательства, составлявшие восемьдесят четыре тома, были свезены в губернский суд на трех подводах.

Отделанную серебром дугу купил на распродаже ветеринар Синеоков. Он преподнес ее в дар транспортной конторе после того, как убедился, что рабочие, следуя его советам, подняли на ноги даже самых безнадежных коней.

Вот эту дугу с надписью белилами «Красным командирам от рабочих-дружинников первой городской транспортной конторы» и решили с согласия Синеокова торжественно вручить военному училищу.

Во дворе пересыльной тюрьмы, где находилась казарма училища, состоялся митинг. И после митинга дугу водрузили на деревянном возвышении рядом со знаменем.

Когда Тима пришел в училище, часовой не захотел ни разговаривать с ним, ни пропускать его. Держа в одной руке винтовку, он вынул из кожаного карманчика в португее свисток, сделанный из коровьего рога, коротко свистнул два раза.

Вышел курсант с красной повязкой на рукаве и спросил строго:

— Что надо?

Тима имел уже достаточный опыт, как лучше рекомендовать себя, и заявил:

— Сапожков — представитель конной конторы, к товарищу Зубову.

Оглядев Тиму с головы до ног, курсант спросил снисходительно:

— Не ты, случаем, на дуге надпись делал? — и, усмехнувшись, добавил: — А я думал, ты: больно криво буквы намазаны. У нас за такое чистописание — наряд вне очереди.

Он велел Тиме подождать в коридоре и ушел.

Вернувшись, объявил:

— Товарищ Зубов ведет занятие. Приказал тебя, как представителя, ознакомить с училищем, — подмигнув, сказал: — Может, понравится, подрастешь — и сам захочешь.

В камере, которая называлась «классом», на деревянных, пропитанных оружейным маслом стеллажах лежали винтовки, револьверы, разобранные на составные части гранаты.

Курсант Губарев объяснял устройство оружия и каждый раз, пока собирал или разбираал механизм, приказывал Тиме считать вслух. Он пожаловался Тиме, что из-за мировой войны оружие у них в училище всех стран и наций и от этого учиться очень тяжело. Но поскольку мировая буржуазия против Советского государства, надо изучать всякое оружие, какое только есть на свете, потому что в будущих боях его придется отнимать у всех тех, кто полезет против Советской власти.

У Губарева было твердое скуластое лицо с маленьким, мягким, расплюснутым носом, глаза быстрые, коричневые и добрые, как у медвежонка, а руки с короткими толстыми пальцами действовали с поразительным проворством, когда он безошибочно точными движениями собирал механизм оружия.

Он говорил Тиме обиженно:

— Оратор один в Клубе просвещения хотел мозги нам набекрень свернуть, будто Маркс велел при социализме армию не содержать, а вместо нее раздать оружие по домам. Считаю, врет он на Маркса... На фронте как было? Пришлют пополнение, введут в бой, потери страшные, и до тех пор бьет наших германец почему зря, пока чему положено солдат не научится. Война — занятие тяжелое. Без обучения со всей строгостью только людей терять и калечить. А нас в городе дармоедами считают. Вот, мол, декрет о мире Совнарком подписал, а мы тут поперек всех воевать учимся, — и произнес с гордостью: — Товарищ Зубов — человек-скала. Из Совета придут, требуют курсантов либо на дрова, либо еще куда, а он ни в какую. Придет после заседания измочаленный, выпьет из бачка без передыха воды, скамандует: «Сборы на заготовку дров отставить, под мою ответственность» — и все.

Пайки срезали. Вместо сукна ситец, словно в насмешку, выдали. Но ничего, терпим. Вот товарищу Зубову всем там в продотделе и надо в башку вколачивать о том, как товарищ Ленин говорит, что на нас мировой империализм не сегодня завтра полезть может. Засели штатские, не пони-

мающие Маркса, он ведь как, я думаю, полагал, народу раздать оружие, которого излишки, а армия сама по себе — она главная...

Тиме не очень интересно было слушать рассуждения Губарева, его влекло выставленное на стеллажах оружие, и он спрашивал:

— А это что? А это?

Губарев объяснял отрывисто и важно преимущества одного оружия перед другим и называл страну, где оно сделано. Одно обстоятельство поразило Тиму. Он слышал от Савича, будто бы Америка до этой войны почти никогда не воевала против других народов, а вот это пятнадцатизарядное ружье — системы американца Генри Винчестера, револьвер тоже американца Кольта, скорострельная пушка — американца Гочкиса, и даже наша берданка названа по имени американца Бердана. И все это оружие сделано задолго до войны с Германией, тогда, когда Тимы и на свете не было. Он хотел спросить об этом Губарева, но лекция была прервана Федором:

— Пойдем, я тебя чаем с патокой угощу.

И тут Тима был прямо ошеломлен и даже глубочайшим образом оскорблен: при появлении Зубова Губарев вытянулся, щелкнул каблуками, выкатил глаза и отрывисто отапортовал:

— По вашему приказанию, знакомлю делегата из конной конторы с оружием всех образцов.

— Вольно! — сказал Федор и движением руки отпустил Губарева.

Шагая по коридору рядом с Федором, Тима, с трудом сдерживая негодование, спросил:

— Зачем же вы тут старый режим сделали? Разве можно, как при старом режиме, так людей перед собой унижать?

Федор остановился, внимательно поглядел в огорченное лицо Тимы и, поняв, что тот искренне возмущен и растерян, произнес задушевно:

— Эх, Тимофей-воробей, до чего же ты шибко революционером стал! — и сказал уже серьезно, без всякой улыбки: — Армия без дисциплины — только толпа с винтовками. Самое трудное для нас — преобороть законную ненависть ко всяким внешним формам субординации, принятым в русской армии, — помолчав, объяснил: — Выражение уважения к командиру — это не заискивание перед начальником, а словно мгновенная присяга готовности выполнить любое его приказание. Понял?

В комнате Федора железная откидная койка застлана тощим одеялом. На столе — кружка и чайник. Деревянный сундучок, выкрашенный зеленой масляной краской. На стене — винтовка и сабля в обшарпанных ножнах. И больше никаких вещей.

Тима торжественно объявил:

— Рыжиков велел сказать, что дарит вам от маминого обожа две подводы муки.

Федор пренебрежительно махнул рукой.

— Спихватились! Я им сам могу такое одолжение сделать, — и произнес самодовольно: — Марш проводили по пересеченной местности. Стали на постой в деревне — строго на своем сухарном пайке. А мужички с перепугу всю скотину в тайгу погнали. На обратном марше догоняет верховой: «Обождите, вам пять возов за аккуратность собрали». — Усевшись на койку, Федор похвалил Тимину маму: — Варя меня против Савича поддержала. Он оратор, кого хочет до обалдения заговорит. Назвал меня уездным донкихотом.

— Я знаю, — сказал Тима, накладывая из котелка побольше патоки. — Это сумасшедший рыцарь, который на мельницу с копьём бросился.

— Вот-вот, — почему-то обрадовался Федор. — Кричит: «Эти уездные мальбруки!..»

— Этих я не знаю, — сознался Тима.

— И черт с ними, — горячо произнес Федор. — Так вот, говорит, будто наше училище противоречит своим существованием декрету о мире. И я будто бы играю на руку буржуям — эсерам и меньшевикам, которые требуют немедленно начать «революционную» войну против Германии. Савич пугает: без мировой революции в случае нападения империалистов мы не сможем одни просуществовать и недели. Как тебе это нравится?

— А может, она действительно получится? — с надеждой сказал Тима.

— Эх ты, политик! — усмехнулся Федор. И, вытирая ладонью патоку со стола, объяснил строго: — Ленин сказал: мир есть средство для накопления сил, — значит, силы надо видеть, понимать и накапливать, пользуясь передышкой. Вот в феврале под Петроградом те же солдаты, которых немцы били, побили немцев.

— Я это помню, — солидно сказал Тима. — На улице люди целовались, когда мама повесила на стенке об этом объявление.

— Правильно, — обрадовался Федор, — целовались!

А Савич голосовал, чтобы нам пайки урезали и чтобы курсанты три раза в неделю несли трудовую повинность, как и все. Это будто бы, видишь ли, демократично! Нельзя, мол, в социалистическом государстве создавать привилегированную военную касту.

— А чего вы стали таким нервным? — перебил Тима. — Вот даже тогда, после контузии, не были нервным, а сейчас стали.

— Будешь нервным, — сердито отозвался Федор. — Витол тоже, как бандитов ловить, сейчас курсантов вызывает. А в военном отношении операции против бандитов ведутся наспех, безграмотно, непродуманно. Ничего полезного курсанты тут приобрести не могут. Только потери могут быть. А я собрал самых способных людей. Что ни человек — талант.

Ну уж этого Тима никак не мог понять. Допустим, храбрые, смелые, но как это может быть у военного — талант? Вот еще выдумал Федор! Просто он хочет, чтобы курсантов не трогали, и потому выдумывает про таланты. Все равно как Косначев. Но Косначев имеет право так говорить: рисовать, играть на музыкальных инструментах — для этого талант нужен. Но чтобы воевать? Нет, здесь, кроме смелости, ничего не надо. Неправду сказал Федор.

Конечно, Тима не знал всех обстоятельств, при каких Федор Зубов проводил набор курсантов в свое военное училище. По целым неделям Федор не уходил с узловой станции, мимо которой с короткой остановкой катились эшелоны теплушек с демобилизованными солдатами. Покрытые окопной глиной, заросшие, злые до остервенения от всякой задержки, солдаты рвались домой. Они избивали железнодорожников, когда слишком долго не прицепляли паровоз, били стекла в вокзальных помещениях.

Все они испытывали жесточайшую тоску по дому. Измученные, голодные, с красными от бессонницы глазами, они наводили страх на всех своей свирепостью. И могли убить каждого, кто попытался бы задержать их на пути к дому.

Федор бродил по вокзалу в бурой фронтовой шинели, опираясь на черемуховую палочку, и цепко вглядывался в лица солдат, искаженные яростным нетерпением. Сколько нужно было такта, силы воли и непреодолимой убежденности, чтобы солдата, который четыре года не был дома, уговорить остаться в городе и снова стать военным, снова

переносить все то, от чего душа его стала черной: страдания, лишения и тоску перед постоянно витающей над ним смертью!

Когда же такой солдат после тяжелых раздумий, колебаний, сомнений соглашался пойти в курсанты, для Федора наступал второй и не менее трудный этап: проверить, не оттого ли дал согласие солдат, что война опустошила душу и ему все равно, кем быть, где жить? Это был тонкий, тайный, неторопливый экзамен. Внешне он напоминал обычную беседу двух фронтовиков, рассказывающих друг другу о том, что каждому из них довелось испытать на войне.

Но Федор с поразительным чутьем умел угадывать в этих беседах, понимает ли солдат пережитый им бой, заметил ли в ходе его такое, что обнаруживало в солдате военную жилку, соображение. Способен ли он самостоятельно продумать, куда лучше было вынести пулемет, чтобы вести не только заградительный огонь, а бить по врагу в тот момент и туда, где это было важнее всего по ходу дела.

В сомовской бане он потребовал выделить для своих завербованных специальное место в раздевалке, и случилось, Федору приходилось по два раза в день париться со своими кандидатами, продолжая разговор в парной, дабы окончательно убедиться: человек этот подходит.

Обнаружив такого крепкого солдата, Федор буквально не отпускал его от себя. Недаром в Совете Федора прозвали «главным просителем». То он выхлопатывал для будущего кандидата в курсанты подводу — съездить навестить родных дома, то приводил его к Андросову в больницу и умолял подлечить, отдавая свой паек, чтобы не было слишком обременительно кормить солдата в больнице.

А разве легко солдату дать согласие снова стать военным, когда самым сокровенным, самым радостным для него был этот большевистский декрет о мире, освобождавший его от ада войны? А тут такой же большевик, как и те, кто подписывал этот декрет, убеждал его отказаться от мирной жизни, от земли, которую дала ему Советская власть, — а ведь о земле он и мечтать не смел, всю жизнь батрача на деревенского богатея! Разве для этого не требовалось совершить большой подвиг, чем подняться с земли, когда кинжальным огнем бьют десятки пулеметов, и, поднявшись, бежать в штыковую атаку, и не ложиться снова на землю, а бежать навстречу пулям, когда, кажется, любая летит в тебя.

Вот почему Федор с такой любовью относился к своим

курсантам и с таким упорством оберегал их от посягательств Витола или попыток Совета посылать на трудовую повинность.

Когда Эсфирь, перенеся тиф, с опухшим лицом, морщинистыми веками, страдающая тяжелой одышкой, отчего ее землистого цвета лицо все время было покрыто мелкими капельками пота, подписала приказ урезать пайки для военного училища, Федор разорвал этот приказ у нее на глазах:

— Таких, как ты, надо гнать из партии, — и пригрозил: — И я добьюсь этого... Слышишь? Добьюсь.

Эсфирь слабо стукнула рыхлым кулаком по столу и крикнула:

— Это тебя мы выгоним из партии, и немедленно!

Подобрав с пола клочки изодранного приказа, она отнесла их к Рыжикову и потребовала созыва чрезвычайного заседания ревкома для обсуждения одного лишь вопроса: «Об исключении Федора Зубова из партии за проявление мелкобуржуазного стяжательства и политического хулиганства, выразившихся в публичном уничтожении ревкомовского приказа».

Рыжиков не стал созывать чрезвычайного заседания, но на очередном Федору дали выговор.

Георгий Семенович Савич произнес на этом заседании речь, обвинив Федора в разжигании военной истерии.

— Сейчас, — заявил Савич, — только безумец может думать, что мы способны оказать хотя бы слабое сопротивление любой европейской армии, попытавшейся напасть на нас.

— Врешь! — крикнул Федор. — Солдаты, которых вчера били немцы, побили их под Петроградом. А ты был чижиком, чижиком и остался.

Савич потребовал, чтобы Федора немедленно призвали к порядку.

Рыжиков, стуча крышкой от чернильницы по столу, заявил:

— Слово «чижик» отнесем за счет разболтанной нервной системы товарища Зубова. Но исторический факт остается фактом, — и, обернувшись к Савичу, спокойно сказал: — А ты, Георгий, в своей прокурорской речи стал обвинять уже не Федора, а всех нас. А этого мы тебе не позволим. Случись сегодня война, мы все подыдемся. И без всяких рассуждений о мировой революции. Мировая еще когда наступит, а русская уже есть. И ее мы будем защищать до последней капли крови.

Все зааплодировали.

Савич обиженно буркнул:

— Эффектные фразочки.

А Федор вскочил и закричал:

— Замечание я принимаю. Но прошу и требую пайка курсантам не урезать. А ей, — Федор ткнул в Эсфирь пальцем, — я теперь политически не доверяю, раз она такой приказ подписала.

И хотя все закричали: «Позор!» — Федор сел, понурился и, дернув плечом, сбросил со своего плеча руку соседа, который пытался его успокоить, упрямо повторил:

— Не доверяю — и все тут!

Со дня заседания Федор ни разу не встречался с Эсфирью. И никакие попытки Сапожковых помирить их не помогли.

Тима знал об этом и сейчас, прихлебывая сладкий чай из алюминиевой кружки, ждал, что Федор обязательно спросит про Эсфирь. Но Федор не спрашивал, лицо его было усталым, скулы костляво торчали под гладко выбритой, сухой, воспаленной кожей, глаза глубоко запали.

Чтобы как-нибудь вывести Федора из состояния угрюмой озабоченности, Тима сказал:

— Вот, говорят, пролетариат роет могилу капитализму. А он вовсе еще не помер, капитализм. И сами вы говорите, войну против нас готовит.

— Готовит, — уныло согласился Федор, — чего ему не готовить? Погонит на нас солдат — и все, — и снова стал жаловаться: — Отец твой тоже тип оказался. Назначили его комиссаром охраны народного здоровья, пришел к нему, прошу: дай медикаментов — отказал. Ну, говорю, черт с тобой, сквалыга! Выдели хоть двух врачей, я при училище курсы сестер милосердия организую. Отказал. Говорит, среди медицинской интеллигенции очень сильны пацифистские настроения, никто не пойдет. А ты, говорю, мобилизуй, заставь. Тогда стал турусы на колесах разводить. Мол, привлекая на сторону Советской власти специалистов, надо действовать только путем убеждения. Интеллигент твой отец — вот кто! — и сознался: — С ним я тоже поссорился.

Тима обиделся за папу:

— Вот с вами скоро никто здороваться не будет. Со всеми подряд ругаетесь, — подумал и добавил не без ехидства: — Только курсанты, как при старом режиме, честь отдавать будут.

— Ладно, не пугай, — добродушно улыбнулся Федор, — и, наклонившись, спросил с горькой озабоченностью: — Ну как, поправляется она, не заметил, а?

Понимая, о ком идет речь, Тима обстоятельно рассказывал:

— Папа ей клюквенный экстракт дал для аппетита и рыбьего жира целую бутылку для питания организма, — засмеялся: — Не умеет она его пить, как Рыжиков велит: нос щепотью зажать и, зажмурившись, одним духом, сразу.

— Ничего, научится.

— Я ей показывал, — сказал Тима с достоинством, — а она жалуется: все равно тошнит.

— А ты ей скажи, пусть солит: соленый не так противно.

— Верно, — равнодушно согласился Тима. И вдруг поняв, что за этим советом кроется, спросил горячо: — Можно мне ей сказать, вы про соль советовали?

Федор смутился, заморгал, стал зачем-то расстегивать пояс, потом произнес неуверенно:

— Скажи... — и с сомнением заявил: — Что зря человеку мучиться, верно? — и вдруг стукнул рукой по столу: — Ладно, чего тут влиять. Скажешь, беспокоюсь и даже во сне вижу, какие у нее веки стали — все в морщинках. Ну, понимаешь, как у старухи, а она ведь еще молодая, — смущенно добавил: — Только если спросит, скажешь: Федор свою принципиальную позицию насчет приказа не меняет, тут он железный. — Дернул ремень, затягивая гимнастерку так, что она растопырилась, словно туго перевязанный веник: — Ну, ступай, а то через десять минут вечерняя поверка.

Тима после некоторого колебания стыдливо попросил:

— А вы мне на память пули не подарите? — и объяснил сладеньким голосом: — У вас же их много. А если мировая революция будет, они все равно никому не нужны станут.

— Ладно, ладно, ступай, — проговорил Федор с улыбкой, — бог подаст, — и с досадой добавил: — И ты туда же, с мировой революцией пристаешь. Ну, будет — и хорошо, а нет — так подрастешь, придешь в курсанты проситься, а я еще подумаю, возьму или нет.

— Это почему же еще подумаете? — обиделся Тима. — Я ведь на бандитов ездил.

— Ездил! Знаю, как ездил, — подмигнул Федор. Но, увидев, что лицо Тимы покрылось красными пятнами, успокоил: — Я еще ничего не сказал, а ты уже в амбицию. Молодец! И что обратно вернулся, тоже молодец. Мать

оставлять в больнице одну может только жестокосердный человек. А таких я на курсы не беру. Запомнил? Ну, вали, вали, а то вот-вот сигнал будет.

Тима вышел из казармы, отдав часовому пропуск. Часовой наколол пропуск на штык, воровато оглянулся и вдруг, сделав Тиме на караул, скорчил рожу, подмигнул, брякнул прикладом о землю и замер с равнодушным каменным лицом.

— Здорово! — сказал восхищенно Тима.

Но часовой даже глазом не повел. Подождав, не повторит ли часовой своего упражнения, и убедившись, что ждать бесполезно, Тима пошел к маме в больницу.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Тима был далеко не высокого мнения о хозяйственных способностях своих родителей. Суматошно готовя обед, мама всегда забывала положить в суп что-нибудь нужное. На сырое мясо глядела с отвращением.

Папа откровенно признавался, что он абсолютно лишен хозяйственного таланта. Пошлет мама его на базар за продуктами, а он завернет на толкучку, накупит книг, потом извиняется: увлекся. И приходилось вместо обеда есть один жаренный на сале хлеб.

Мама упрекала папу:

— Сидя в тюрьме, Петр, ты приучился к казенному обслуживанию и стал эгоистом.

Папа не терпел лишних вещей в доме. Однажды мама купила платяной шкаф. Папа говорил, досадливо морщась:

— Во-первых, громоздкие вещи вытесняют столь необходимый для организма воздух. Во-вторых, поверхность их служит местом скопления пыли. В-третьих, их чем-то нужно заполнять.

— Может быть, ты хочешь, чтобы я ходила всю жизнь в одном платье? — обидчиво спросила мама.

— Зачем крайности? Я за гигиену, но против излишеств.

— А я не монахиня! — рассердилась мама. — Хочу иметь четыре или пять платьев и буду иметь. Потому что я женщина. Понял? Женщина!

— Пожалуйста, — согласился папа, словно он разрешал маме быть женщиной, но не заводить при этом много платьев.

Зато с тех пор как маму назначили работать в продотде-

ле, она стала очень хозяйственной. Лежа в больнице, разговаривала с Эсфирью, когда та навещала ее, только о продуктах и с таким увлечением, словно для нее это — самое главное на свете.

Сидя в подушках, бледная, худая, в белой чалме из бинтов, мама рассуждала:

— Оттого, что в уезде одна бойня, скот очень много теряет в весе во время перегонов. Сейчас, благодаря тому что у нас есть транспортная контора, мы можем до весны вывезти из деревни несколько тысяч пудов мяса в обмен на веревки, кирпич, кошму, валенки, колеса, дуги. Гораздо выгоднее возить в деревню товары и там их обменивать. Кроме того, здесь момент политический. Безлошадные бедняки лишены возможности ездить в город, ездят только те, у кого есть кони. Если в каждой волости мы заведем потребительские лавки, то сможем оказывать влияние на экономический уклад в селе, а значит, проводить свою политику.

Озабоченно слушая маму, Эсфирь кивала головой.

Папа, приблизившись на цыпочках, подавал маме в кружке лекарство. Пока она с отвращением глотала, он говорил почтительно:

— Какая ты у меня умница, Варенька! Поразительно экономически мыслишь!

— Не у тебя, а у нас, — сухо поправляла Эсфирь и добавляла с насмешкой: — Вот поглядим, как ты со своим больничным делом справишься. Имей в виду, если через три дня не представишь полной сметы, мы тебя на свой баланс не возьмем, выкручивайся тогда сам, как знаешь.

Папа ежился, моргал и ничего не отвечал.

Действительно, положение у него было чрезвычайно тяжелое.

Все годы, пока шла мировая война, из Сибири вывозили на фронт людей, хлеб, мясо, масло, уголь, лес, а взамен ввозили только искалеченных, раненых. Почти все общественные здания в городе были заняты под госпитали. Теперь Совет постановил открыть больницу для населения. Это дело было поручено Сапожкову.

Выполняя трудовую повинность, горожане ремонтировали помещения, предназначенные под больницу. Это были полуземляночного типа бараки, наспех построенные квадратом возле лесной биржи еще в 1914 году.

Все дни, пока мама лежала в больнице Андросова, папа метался по городу.

Транспортная контора выдала ему подводу, но от возчика папа отказался, сославшись на то, что Тима постиг технику управления конем, да и сам он рассчитывает вскоре овладеть этим искусством. Тима был очень счастлив, став возчиком у папы, и сопровождал его почти во всех поездках.

Как бы папа ни торопился, он не позволял Тиме даже слегка хлестнуть Ваську кнутом, а когда Тима дергал вожжи, морщился и просил:

— Пожалуйста, осторожней!

Но как только папа начинал отвоевывать то, что ему было нужно для больницы, он становился суровым и непреклонным. И Тима даже начинал испытывать перед ним уважительный страх.

Папа уговорил жену Ивана Мефодьевича Воскресенского Елену Ивановну поступить к нему в больницу кастеляншей, утверждая, что социальные причины, вызвавшие ее душевную болезнь, уничтожены и, следовательно, она выздоровеет, когда полностью убедится в этом.

Папа с таким увлечением расписывал ей новую больницу, что Елена Ивановна в конце концов согласилась и лишь попросила:

— Вы только, пожалуйста, на меня громко не кричите, если я сделаю что-нибудь не так. А то, когда на меня кричат, я сразу очень теряюсь и потом только плачу.

— Хорошо,— согласился папа,— я буду вас шепотом бранить, если возникнет необходимость.

И вот, произошло это случайно или по умыслу, но, получив ордер в ревкоме на конфискацию белья для больницы у купца Золотарева, папа захватил с собой туда и Елену Ивановну.

Золотарев жил в одноэтажном каменном доме с огромным резным деревянным крыльцом.

Когда папа, красногвардеец, Елена Ивановна, двое понятых из соседнего дома и Тима, не пожелавший в качестве кучера мерзнуть на улице, вошли в дом, все семейство Золотаревых обедало. Предъявив ордер, папа сказал вежливо:

— Пожалуйста, не беспокойтесь, мы подождем.

Усевшись в гостиной, папа вынул из кармана книгу и стал читать, загибая углы страниц, которые больше всего ему нравились. В гостиной стояли диваны и стулья с плюшевой обивкой. В кадках множество фикусов, а на круглом столе два альбома в зеленых бархатных переплетах. На полу лежал ковер, на котором были вытканы купающиеся

в пруду женщины и жирные белые лебеди, похожие на гусей.

Золотарев вышел в гостиную, ковыряя в зубах спичкой, вынув, понюхал ее и, брезгливо поморщившись, спросил Елену Ивановну:

— Значит, бельишком стали интересоваться? Супруг пуговичками, а вы, так сказать, невыразимыми предметами?

Кухарка Золотаревых внесла грудку грязного белья и, швырнув на ковер, ушла.

Папа поднялся со стула, лицо его стало сухим, жестким. Указав на кучу белья пальцем, приказал Золотареву:

— Собрать!

Золотарев присел на корточки и стал сгребать белье в охапку, не спуская с отца потускневших, испуганных глаз.

— Марш на кухню! — крикнул отец и, обернувшись к красногвардейцу, распорядился: — Пусть сам выстирает, выгладит и тогда сдаст. Проследите!

Красногвардеец радостно ухмыльнулся и толкнул дверь ногой, пропуская вперед Золотарева.

— Господи! Разве так можно? — охнула Елена Ивановна.

— Я ему покажу пуговицы! — сказал папа тонким голосом. — Я его научу уважать людей!

Потом папа с понятыми, в присутствии родичей Золотарева, вытаскивал во дворе заложенные дровами тюки мануфактуры и тревожно спрашивал Елену Ивановну:

— А эта ткань как называется? А эта? — и просил: — Так, пожалуйста, и пишите: мадаполам, сарпинка, шевииот, байка, диагональ.

Подписав акт и дав расписаться понятым, он пошел на кухню, оглядел Золотарева, согбенного у корыта, возле которого, опираясь на винтовку, стоял красногвардеец, и сказал:

— К сожалению, не располагаю временем, чтобы ждать, пока белье высохнет. Но завтра вы его доставите сами. Желаю здравствовать.

И ушел, кивнув золотаревским домочадцам. Он очень долго тряс руку кухарке, которая во время обыска украдкой подмигивала, показывая, что искать мануфактуру нужно не в комнатах, а во дворе, в поленнице.

Тима был необычайно горд папиным поступком. Но уже на обратном пути папа сказал, сконфуженно поеживаясь:

— Кажется, я несколько увлекся, — и пожаловался: — У меня, очевидно, стали пошаливать нервы. Унижать человека, даже сугубо враждебного, это за пределами этически дозволенного, — но тут же признался: — А все-таки я испытал некоторое моральное удовлетворение. Пусть знает, что нельзя безнаказанно оскорблять человека.

Не все поездки по городу были такими интересными, как обыск у Золотарева. На лесопилке Кобрин папа долго уговаривал уполномоченного профсоюза Гусякова дать тонких досок на топчаны и жалобно извинялся за то, что забыл включить их в наряд.

— Голубчик, — говорил папа, — ну, я совершил промах. Браните меня, пожалуйста! Но ведь больные должны же на чем-нибудь лежать!

— Если вы непонимающий, должны были бы кого из плотников позвать, он бы вам все высчитал. А то пишете — пять сажен досок, — а каких? Наше дело серьезное. Дюймовка — одно, трехдюймовка — другое. Теперь будем снова пилами шуровать. Нам ведь легче толстую доску давать, вот и дали, а она на мебель не годится. Эх вы, неосведомленный товарищ!

— Совершенно верно, — соглашался папа, — впредь буду знать.

Но вместе с тем в иных случаях он обнаруживал решительность и непреклонность.

Папа, например, приказал штукатурить барак внутри чистой глиной, без примеси навоза, утверждая, что навоз может послужить источником инфекции, хотя все уверяли его, что с навозом будет теплее.

И когда десятник отказался переделывать, папа твердо сказал:

— Я вас не отпущу отсюда, пока не сделаете, как я говорю.

— То есть как это? — побагровел десятник.

— А вот так. Сяду напротив вас и буду объяснять, пока вы не поймете, — задумался, задрал полу пальто, долго шарил рукой по боку, вытащил наган и, держа его на ладони, заявил отшатнувшемуся десятнику: — Вот перед вами огнестрельное оружие. Оптимальные его возможности в смысле уничтожения человека ограничены пятью выстрелами, — потом нагнул, поднял с земли замерзший катышек навоза и произнес торжествующе: — А здесь находятся миллиарды бактерий, и среди них могут быть миллионы смертоносных. Понятно?

— Ну вот так бы сразу толком и объяснили, — сказал с облегчением десятник, не спуская глаз с нагана. И крикнул рабочим: — Промашку, ребята, сделали, снаружи, с навозом можно, а изнутри нельзя! Промашку дали, верно!

Но чаще всего то, что ему нужно было для больницы, папа выпрашивал на митингах.

Сначала он говорил о том, что почти все смертельные болезни порождены несправедливым общественным устройством. И получалось, что главным исцелителем народа, во-первых, является революция, и только во-вторых — доктора и что некоторые болезни после революции будут уничтожены так же, как класс эксплуататоров, и здесь все большевики — врачи.

Потом он яростно, как про контрреволюционеров, говорил про всяких микробов и призывал бороться с ними всем народом.

После таких выступлений папы люди собирали у себя по домам нижнее и постельное белье, пузырьки, порошки, баночки с мазями, лекарства, которые у них оставались после того, когда они сами чем-нибудь болели.

Рабочие бойни, выслушав папу, объявили, что они обязуются давать в больницу через два дня на третий по пуду неучтенных отходов, из которых можно варить студень хворающим.

Ремонтники затона выделили шесть пудов олифы, а слесари в простоте души вызвались даже изготовить «инструмент». Но папа, поблагодарив их, сказал, что инструмент он попросит у докторов, а вот всякие необходимые железные, скобяные изделия он твердо рассчитывает от них получить.

Курсанты военного училища Федора Зубова после речи папы выломали у себя в плите два больших чугунных котла и отдали их для больницы, сказав, что обойдутся одной походной кухней.

Дали свое согласие работать в новой больнице доктора Неболюбов и Андросов. Оба они были хирургами и ревниво относились друг к другу: поэтому ни один из них не хотел брать на себя обязанности заведующего хирургическим отделением, каждый стремился уступить эту честь другому. Но папа знал: если один станет заведующим, то другой ни за что не захочет быть его подчиненным.

Поэтому папа придумал для Неболюбова титул «главный хирург», а для Андросова — «начальник хирургического отделения».

Павла Ильича Ляликова папа соблазнил тем, что пообещал создать условия, чтобы тот, работая в больнице, написал диссертацию и, защитив ее в секции народного здравия в Совете, получил звание приват-доцента.

Ляликов передал Сапожкову свои статистические таблицы, и, руководствуясь ими, они сделали предварительные расчеты предполагаемого количества коек по различным, наиболее распространенным болезням. Но, как потом выяснилось, все эти статистические данные были такими же неправильными, как и первая статистическая выкладка Варвары Николаевны, основанная на официальных сведениях городской управы.

Людей, больных тяжелыми и опасными болезнями, оказалось гораздо больше, чем обозначено было в подсчетах Ляликова, вызвавших некогда негодование газеты «Северная жизнь». «Только враг России, немецкий шпион может так возмутительно клеветать на народ, в чьих жилах течет богатырская кровь Ильи Муромца, Алеши Поповича, Микулы Селяниновича», — писал журналист Николай Седой.

Сапожков был очень доволен Ляликовым. Восруженный мандатом Совета, Ляликов раздобыл у слободских кустарей табуретки, тумбочки. Расплачиваясь за работу просяной мукой, он так яростно торговался, что ему могла бы позавидовать любая базарная торговка. Он оборудовал в больнице кладовку, где все лари запирались на замки. На прилавке кладовой стояли весы, а двери он велел остеклить, чтобы кладовщик всегда чувствовал на себе «недреманное око».

Папа сказал маме с гордостью:

— Ляликов не первый пациент, излеченный от мелкобуржуазного индивидуализма великой целительницей человечества — революцией.

Но мама не очень любила, когда папа говорил так красиво, и сказала равнодушно:

— Вот подожди, навезут вам больных со всего уезда — даже на полу места не хватит, и удерет твой Ляликов.

— Нет, — заявил папа твердо, — он не станет пренебрегать священным долгом врача.

Даже горбатую дочку официанта Чишихина папе удалось привлечь к работе в больнице.

Он сказал, восхищенно глядя в ее красивое, злое, надменное лицо:

— Вы, Наташа, не представляете, как полезно для

больного, когда за ним будет ходить девушка с таким ангельским ликом.

— Да вы, никак, за мной ухаживать собрались? — фыркнула Чишихина.

Папа смутился, но все же продолжал:

— Вы извините, я коснусь того, о чем, может быть, мне не следовало бы вам говорить. Искривление позвоночника вызывается обычно костным туберкулезом, а туберкулез — болезнь социальная. Большевики хотят, чтобы люди больше никогда не делились на бедных и богатых. То, что мы делаем, — первые шаги, а впереди тысячи исторических верст не хоженного человечеством пути. Помогите нам...

— Гулять, что ли, по этим верстам? — дерзко осведомилась Чишихина. Но потом вдруг сердечно сказала: — Зачем я вам сдалась, уродка? Но хоть и с горбом, а полы мыть могу не хуже другой бабы.

— Вот и отлично! — обрадовался папа. И тут же начальнически предупредил: — Рекомендую при мытье полов добавлять в воду слабый раствор карболки. Отличное дезинфицирующее средство.

Придя на следующее утро в больницу, Чишихина быстро там освоилась и через несколько дней уже громко, визгливо кричала на санитаров, когда они, входя с улицы, плохо вытирали ноги о мешковину, посыпанную для дезинфекции известью.

Последнее, что оставалось добыть для больницы, — это колосниковые решетки для печей и стекла для окон. Колосниковые решетки сделали отец и сын Фоменко. Доставив на салазках решетки, Петька сказал Тиме свысока:

— Задарма вам сделали, — и добавил важно: — Тридцать пудов чистого веса.

Потом Тима водил Петьку по больнице, и Петька пытливо спрашивал:

— А здесь что? А здесь? А это что?

Когда Тима не смог ему объяснить назначение никелированной машины, которую приволок сюда из своего кабинета Ляликов, Петька упрекнул:

— Что ж ты, при больнице, а не знаешь! Я у себя в цеху все знаю.

— А я вовсе не при больнице, — обиделся Тима.

— Кто же ты тогда будешь, если неизвестно при ком? — удивился Петька. — Нынче людям не при месте быть не полагается, если они люди, а не буржуазия какая-

нибудь, — и потребовал: — Ладно. Давай показывай дальше! Мне профсоюз велел все как следует высмотреть, а после рассказать, чтобы наш рабочий класс знал, для чего скобяные изделия, замки и прочее вам сделал. Мы тоже здесь хозяева. Если что не так, можем велеть по-правильному сделать.

И Тима снова позавидовал этой властной Петькиной манере говорить «мы» от имени того самого рабочего класса, о котором папа и мама говорили, что он гегемон и авангард.

Стекла для окон достать было невозможно. Со складов оно давно исчезло. Тогда партийные ячейки города обратились к коммунистам. И многие члены партии сдавали стекла, вынув их из вторых рам в своих жилищах. Взамен же стекла они натянули желтые пленки из бычьих пузырей, а то и просто промасленную бумагу.

В те дни за квадратный аршин стекла на базаре давали по два пуда муки, баранью тушу, пять пудов картошки. Стекло считалось большой драгоценностью. И когда собранные коммунистами стекла доставили в больницу, все, кто там в это время находился, потребовали созвать митинг. Торжественно прислонить к раме первый кусок стекла Сапожков поручил Ляликову. И тот, взяв стекло в руки, все время испуганно восклицал:

— Я же волнуюсь, я же его уронить могу; пожалуйста, не шумите!

Наконец стали поступать в больницу первые больные.

Раненые солдаты, которые некогда лежали в госпитале, устроенном в ресторане «Эдем», со спокойным мужеством переносили страдания. Они не стыдились своих ран, а, напротив, гордились ими.

А тут все было иначе.

В приемной сидит человек. Лицо его изъедено волчанкой так, что видны кости. Он говорит гнусаво:

— Погнал в больницу Елисеев, председатель от бедноты, — говорит, вылечат. А это на мне божья печать за грех. В великий пост с голодухи в тайге белкой оскормился. За то и наказание. Лекарств на это нет. Душу спасать надо, а вовсе не телу. Сбегу я с больницы-то.

Поселившись у папы в больнице, предоставленный самому себе, Тима испытал при знакомстве с первыми больными большое разочарование: ведь он предполагал, что здесь будут такие же интересные люди, как те раненые солдаты в «Эдеме».

Скрюченный, желтый человек долго не хотел снять шапку, утверждая, что боится простудить голову, а оказалось, что у него в шапке защиты царские деньги.

Пораненный рабочий бойни упрекнул его:

— Ты что ж, голубок сизый, царской деньгой темя греешь, а дармовой народный хлеб трескаешь?

Закатив желтые белки, тот ответил:

— Хлеб, он хлеб. А лекарство их — отравы. Его я тихо сливаю на пол и тебе говорю: не касайся губами.

Прислушивавшийся к их разговору пожилой больной, скаречно собиравший себе под подушку все пустые пузырьки и банки, тоже поддержал скрюченного.

— Верно, — сказал он решительным тоном, — в их лекарстве даже муха мрет.

Кочегар с мельницы, обваренный паром, потихоньку мазался керосином, отливая его из лампы. А потом объявил с сердито:

— С мази ихней только хуже становится. Вот если мазутом, сразу бы все присохло.

Тиме было очень обидно слышать такие разговоры, а еще обиднее видеть, как обыватели обходили больницу стороной и говорили, что в больнице всех, кто не в партии, морят голодом, а верующих заставляют нарочно в постные дни есть мясо.

Тима с досадой рассказывал папе, что многие не хотят лечиться в его больнице и жульнически выливают лекарство на пол.

Но папа не удивился, не расстроился. Он сказал, потирая руки:

— Ну что ж, это уже хорошо, раз такие люди вопреки предрассудкам все-таки пошли в нашу больницу, — и озабоченно произнес: — Это подтверждает правильность мысли о том, что наша советская медицина должна сочетать медицинскую помощь с медицинским просвещением.

— Желтушный икону повесил, — сказал Тима грустно. — И молится он нарочно громко, чтобы Потрохову спать не давать, и все уговаривает его не верить в Советскую власть.

Папа задумался.

— Надо будет к ним в палату какого-нибудь крепкого человека положить — вот, скажем, Сорокина.

— Но ты же говорил, он тяжело болен, — удивился Тима, — какой же он крепкий?

— Душой, Тима, — и сказал строго: — Такими людьми, как Сорокин, можно гордиться.

Ляликов рассуждал так: есть надо не для удовольствия, а для поддержания жизни. Он приносил с собой в круглой жестяной коробке из-под халвы уложенные в вату сырые яйца и варил их на спиртовке, положив перед собой на стол часы. Отвисшая нижняя губа придавала лицу его озабоченное выражение.

Разбив чайной ложечкой яйцо, тщательно выбирая скорлупу, Ляликов говорил:

— Как известно, смертность населения в Российской империи была в два раза выше, чем в Америке, Англии, Франции. А у нас в губернии она превышает рождаемость. Средняя продолжительность жизни русского человека — тридцать два года. Одни эти цифры могли послужить вам, большевикам, поводом для свершения социальной революции.

— Согласен, — сказал папа.

— Но! — Ляликов предупреждающе поднял палец. — Если ваша революция с течением времени сумеет положительно изменить соотношение таких цифр, для человечества это будет иметь большее значение, чем все философствования, ибо только такие изменения истинно доказательны.

— А вы становитесь почти марксистом, — обрадовался папа.

Ляликов вытер усы салфеткой и произнес печально:

— Впрочем, в подобную чудесную метаморфозу наша русская интеллигенция, к коей и я имею честь принадлежать, не верит.

Папа спросил поспешно:

— Павел Ильич, если это не очень бесцеремонно, почему вы решили расстаться с частной практикой?

Ляликов опустил глаза, бережно сложил салфетку, спрятал в коробку, положив на ее крышку ладонь с коротко остриженными ногтями, произнес со вздохом:

— Надоело жить себялюбивым скотом. На старости лет захотел иллюзий. Поверил, что когда-нибудь соотношение вышеупомянутых трагических цифр будет изменено в вашей новой России, — и признался: — Я ведь при всем своем цинизме и известном вам корыстолюбию человек, в сущности, сентиментальный. Благоговею перед нашим многострадальным и баснословно одаренным русским народом.

Это заявление Павла Ильича показалось Тиме не очень правдивым.

Принимая больных, Ляликов держал себя высокомерно,

как начальник. Говорил отрывисто, резко, командовал, словно офицер:

— Встать! Сесть! Дышать! Больно? Хорошо, что больно: значит, знаем, где болит.

Входя в палату, он не конфузился, как папа, когда больные вставали с коек при его появлении, а тяжелобольные вытягивали поверх одеяла руки и откидывались на подушки, будто солдаты по команде «смирно».

За ширмой, где лежал один особенно тяжело больной, часто раздавался повелительный, грубый голос Ляликова:

— А я говорю, от такого не умирают. Лекарство мы даем тебе надежное. Но действует оно, если человек сам выздороветь хочет. Без твоей помощи нам с болезнью не справиться.

— Я стараюсь, — слабым голосом шептал больной. — Но сил нет терпеть больше.

— А ты терпи! — приказывал Ляликов. — Выздоравливай — это тоже работа. Понатужься и терпи.

Этого больного привезли ночью в санях из деревни, живот его был порезан, и в рану насыпано зерно.

Оперировать раненого приехал Андросов. Сняв в кабинете пиджак и жилет, повесив их на спинку стула, Павел Андреевич ходил некоторое время по комнате, засунув большие пальцы за подтяжки; оттягивая, щелкал ими; надув щеки, одновременно со щелчком произносил губами: «Бум-бум!» Потом остановился, вынул из манжет запонки, сунул в брючный кармашек для часов, закатал рукава выше локтя. Обнаженные белые руки его оказались неожиданно такими же мускулистыми, как у Яна Витола. Это были руки атлета или молотобойца.

Андросов, наклонившись над умывальником, тер руки с такой ожесточенностью, словно хотел содрать с них кожу, потом плеснул пахучую жидкость из большой стеклянной бутылки, поднял руки вверх и стал шевелить пальцами, будто кого-то подзывая к себе. Пока сестра надевала на него халат и завязывала на спине тесемки, он все шевелил пальцами и так и вошел в операционную, держа руки вверх, а пальцы его двигались, словно он завязывал невидимые нити.

После операции Сапожков спросил Андросова с надеждой:

— Ну, как, Павел Андреевич, выживет?

Андросов выпил из пузатенькой банки разведенного спирту, поморщился, жадно закурил и только тогда ответил:

— Напрасно ушли, милейший, в медицину от прежней вашей деятельности,— и вдруг визгливо крикнул: — За подобные зверства нужно расправляться самым решительным образом! Ведь ему семнадцать нет. А как себя держал! Как себя держал! Молодец! — Присел на выкрашенную белой краской табуретку, задумался и проговорил грустно: — Воспалительный процесс неизбежен. Зерна пришлось, как петуху, выклевывать. Непонятно, почему он не умер от шока, пока везли сюда.— Встал, прошелся, пощелкал подтяжками, спросил хвастливо: — Заметили, как я сегодня дерзнул? — И заговорил медицинскими словами.

Большинство больных, которые поступали в больницу, заболели от плохой жизни. Брюшной тиф свирепствовал оттого, что в городе не было канализации; оспа — оттого, что при царе и Керенском в деревнях не делали прививок. Чудовищные многолетние опухоли, давно гноящиеся раны — потому, что за лечение их надо было дорого платить. Тяжелые желудочные болезни были нажиты во время голода, потому что ели толченую сосновую кору и какие-то ядовитые корни. Люди калечились от тяжкого, непомерного труда. Десятки рабочих лежали с застарелой грыжей, с растяжением связок, с неправильно сросшимися переломами костей.

Курочкин — так звали истерзанного кулаками парня, которого оперировал Ан드로sov,— лежит на спине, выпростав поверх одеяла тощие, слабые руки с большими темными кистями. Лицо его серое, щеки и виски запали. Только узкие глаза василькового цвета оживленно блестят. С трудом шевеля сухими губами, он рассказывает:

— Всё понукал меня не помирать брюхатый доктор. С того и выжил, что он на меня ругался. С таким не пропадешь. Сердитый. Когда я дышать переставал, в руку колот иголкой, чтобы, значит, в самые нутренности лекарство налить.

Тима спросил с благоговением:

— За что вас кулаки резали?

Паренек снисходительно усмехнулся и сказал загадочно:

— Так ведь хлеб — всему голова,— и добавил, будто от этого станет понятнее: — Ежели хлеб на стол, то и стол — престол, а как хлеба ни куска,— так и стол — доска.

Папа тоже как-то сказал маме многозначительно и не совсем понятно:

— В дни Великой французской революции Сен-Жюст заявил: «Хлеб — право народа». Я думаю, этот лозунг полностью применим и в наши дни.

Тима, решив, что раненому не хочется вспоминать, как его резали кулаки, посоветовал:

— Вы старайтесь спать больше, во сне организм отдыхает.

Парень улыбнулся и снова сказал, складно, поговоркой:

— Болезнь не беда, коли есть хлеб да вода. Хлеб выкормит, вода выпоит.

Тима, решив, что раненый начинает бредить, поднялся тревожно с табуретки. Но паренек вдруг подмигнул ему:

— Ежели даже у щенка корку хлебную из пасти потянуть, так и он на человека кинется. А тут хлеб... — и промолвил со вздохом: — Серчают богатеи. Ничего, теперь за все и за то, что меня порезали, народ с ними и вовсе стесняться не станет.

— Вы давно в партии?

— С месяц, — сказал парень. — Меня в нее всей деревней выбрали.

— Как это так выбрали? — удивился Тима и добавил назидательно: — В партию не выбирают.

— Это где как. А у нас на все село ни одного партийного. В волость ехать приниматься — далеко. Ну вот и выбрали сначала меня, а потом уж я стал других без выборов записывать, кто подходящий, конечно. Теперь нас восемь. А без меня, значит, семь.

— А почему вас, а не другого кого? Вы что, самый лучший?

— Не, — сказал парень, — не лучший. Отец, тот первейший человек был, а я перед ним так, вошка.

— А где ваш отец?

— За народ казнили еще при царе. Он исправника вместе с конем с яра в реку свалил. Подкараулил и свалил. Сила у него страшная была. Но тихий человек был, все при лампадке ночью тайные листовки читал людям. Он еще с японской прилачился. Там ногу оторвало, стал с палочкой ходить, важно, словно писарь. Но хотя и без ноги, а пахал. Наденет на культяпку деревяшку, приколотит к ней кругляшок березовый, чтоб в земле не вязнуть, и пашет все равно как на двух.

— А вы очень боялись умереть?

— Так как же не бояться? Мне помирать нельзя, на мне семейство.

— Сильно больно было?

— В саях растрясло. А как начали во мне доктора шуровать, тут терпел. Чего же людям орать под руку! Гляжу, инструмент всякий, и лекарств, бинтов не жалеют. Ну, думаю, спасибо нашей власти, в беде не выдаст. А как очкастый сказал, что он сюда от партии поставлен, тут совсем успокоился. Значит, свой имеется, вызволит.

— В ечках ходит мой папа,— сообщил Тима.

Парень не выразил никакого особого удовольствия, даже упрекнул:

— Только он чего-то у тебя робкий. Брюхатый сам все действовал, а он ему, как служающий, только инструмент подавал. Раз партийный, должен свой фасон не уступать.

— Он фельдшер, а тот доктор.

— Мне чин ни к чему,— и попросил Тиму: — Ты отцу скажи, ежели он партийный, пусть строже за всеми поглядывает. А то как начнут перевязку делать, симут с меня бинты и в помойное ведро бросают. Не такое теперь время, чтобы мануфактурой кидаться. Их постирать да снова в дело. Больницу, говорят, народ строил, и даже стекла для окошек с партийных собрали. Надо, значит, здесь ко всему с умом, с бережливостью, а то гляжу сквозь щелки в ширму, один тут на койке косоротый лежит, ему наказали десять капель в ложку лекарство капать, а он полную хлебает. Нешто ему одному охота здоровым быть? Так на всех лекарства не напасешься. Обрадовался, что даром,— лакает, словно воду.

Действительно, Тима заметил, что при обходе врача некоторые больные, до этого бодро игравшие в шашки, поспешно залезали под одеяла, притворялись слабыми и начинали умильно вымаливать, чтобы им давали побольше лекарств. Провизор предупреждал больных:

— Лекарство надо принимать только строго по рецепту. Одна лишняя доза делает вещество не лекарством, а ядом.

Но некоторые больные не только выпивали свое лекарство, но выпрашивали его у других и даже меняли на сахар.

Папа по этому случаю изрек:

— В подобном явлении есть две стороны: одна представляет несомненную опасность для организма, и надо принять соответствующие меры; другая сторона приятная и ободряющая: значит, люди стали верить в целебную силу медикаментов. До революции я больше сталкивался с другим: люди считали лекарства ядом и предпочитали лечиться собственными, часто крайне вредными средствами.

С каждым днем в больницу прибывало все больше

больных, и папа ходил печальный, потому что в Совете ему сказали: обходитесь своими силами.

Узнав, почему комиссар стал такой понурый, ходячие выздоравливающие провели собрание и постановили помочь народной больнице.

На следующий день больной язвой желудка жестянщик вместе с двумя туберкулезными каменщиками полезли на крышу больницы и содрали шесть листов кровельного железа, а вместо него обшили кровлю плахами с забора. Из этого железа жестянщик сделал бадейки для еды и бачки для кипяченой воды. Плотник поручил родственникам в следующую передачу принести ему инструменты и из заборных досок с помощью других больных сколотил дополнительные толчаны и табуретки, а болеющий тяжелой грыжей маляр выкрасил их, сидя на постели, краской.

В каждой палате больные выбирали старост, которые следили за порядком, за сбережением больничного имущества.

Возникла даже «временная партийная ячейка» из находящихся на излечении коммунистов, и члены этой ячейки по очереди проводили громкие читки газет. Они же посылали письма в партийные ячейки своих предприятий, ремесленных артелей с просьбой помочь больнице.

Ляликов бранил папу:

— Петр Григорьевич, вы с этими вашими партийными мероприятиями превратили больницу черт знает во что! Вы как медик обязаны ограждать больных от всяких внешних раздражителей — это является неукоснительным законом для всякого врача. Собрания в больнице — это же недопустимо и чудовищно! Всякое нарушение режима подобно преступлению.

И начинал сыпать изречениями из трудов великих медиков, произнося имена Бехтерева, Пирогова, Боткина, Мечникова с таким же благоговением, с каким папа упоминал имена Маркса, Энгельса, Ленина.

Папа, виновато моргая, оправдывался:

— Павел Ильич, я разделяю ваши медицинские воззрения полностью. Но поймите, дорогой, социальный уклад нашего общества и его новые обычаи проникают и в больничные условия. Этого нельзя не приветствовать, не говоря уж о тех практических результатах, которых мы благодаря этому достигли.

— А я не желаю, — раздраженно кричал Ляликов, — быть объектом издевательств всех городских эскулапов! Довольно я уже пострадал от них в свое время!

— Но сейчас другое время, — возражал папа. — И это та реальность, с которой они будут вынуждены считаться, уверяю вас.

И хотя Ляликов несколько раз клялся, что ноги его больше не будет в этом «политическом балагане», папа ходил счастливый и спокойный. А когда проверял пульс у какого-нибудь больного, вдруг начинал жать и трясти ему руку, повторяя взволнованно:

— Вы просто замечательный человек!.. Представьте, печь так дымила, и вдруг чудо — перестала! Весьма благодарен! — Потом, приложив ухо к впалой груди печника, говорил с огорчением: — Однако, голубчик, у вас шумков прибавилось. Я вам запрещаю заниматься здесь каким-либо физическим трудом. Пожалуйста, проследите за ним, — просил он старосту палаты.

Папа говорил, что в самостоятельности больных он видит нечто новое, замечательное. Тима же относился к этим вещам гораздо проще. Ему казалось, что иначе и не могло быть. Раз больница народная, то сам народ должен о ней заботиться. Но только есть люди хорошие и плохие.

Вот Курочкину, который уговорил провести первое собрание больных, смолочур, хворающий водянкой, сказал угрожающе:

— Пуцай бары-врачи сами топчаны сколачивают. Теперь наш черед за них отдыхать. А ежели у тебя штопки на брюхе, так ты лучше лежи в спокойствии. Будешь на народ кричать, смотри, как бы кишка не лопнула. Отнял у людей хлеб, а тут спокойствие у других отнимаешь.

Среди городских обывателей, лежавших в больнице, было немало таких, которые тайком отливали в пузырьки про запас лекарства, а навещавшим их родственникам совали больничные ложки, полотенца, миски, а потом жаловались сестре, будто их украл кто-то в палате.

Пойманный на краже простыни с постели тяжелобольного сиделец из торговой бани, хворающий острым ревматизмом, по приговору общего собрания палаты был выписан из больницы. Ляликов возмутился этим, утверждая, что больной человек даже при царе не мог быть предаваем суду и подвергаться наказаниям. Но папа сказал ему твердо:

— Здесь вы, Павел Ильич, ошибаетесь. Меня забрали в тюрьму на второй день после операции гнойного аппендицита. И в камере у меня разошлись швы.

В палате говорили про банного сидельца:

— Если б он один такой, а то их много, которые с народного урвать хотят. Он что, думаешь, вор? Нет, он себя

чистым считает. Казенное — значит, тани, если глаза на него нет. Разве сразу на общую вещь понятие приспособишь? Казенное, и все!

Тиме казалось странным, что эти люди только сегодня утром чуть было не избили сидельца за простыню, а вот прошло несколько часов, и они толкуют о нем без злобы, словно пытаясь найти ему оправдание. А когда Тима сказал об этом ремонтнику с затона Завалишину, тот заметил, подумав:

— Так ведь хорошие, крепкие люди пока по самому краешку сбились, а копнешь вглубь — тина. Время надо, чтобы она на свету пообсохла. Я, скажем, в больницу от самой крайности попал. Идет кровь горлом и идет. Шаркну подпилком — и слабну. А вот в палате личности есть, которые только из-за того сюда подались, что еда дармовая. Но я их не трогаю, — ничего, потерпим их. Все ж домой придут, скажут, что революция к ним заботу проявила.

— Вы очень добрый? — спросил Тима.

— Нет, зачем? — нахмурился Завалишин. — С того кровь горлом и течет, что легкие мне отбили. Это когда я офицеришку убил, который карателями командовал. Меня за это солдаты топтали, пока наши ребята не подросли, — и прибавил сухо: — К настоящему злодею я беспощадный. Оттого и в трибунал избрали, что нет во мне ничего сладкого да мягкого.

Слушая, как Андросов снисходительно наставлял папу, что физическая слабость влечет за собой душевную, Тима испытывал раздражение против Павла Андреевича. Если бы он не знал, что Андросов сам тяжело и неизлечимо болен, Тима обязательно сказал бы ему грубо и резко: «Неправду вы говорите. Все болезни сами по себе, а люди, хоть и больные, сами по себе и остаются такими, какие они есть. Тех, кто настоящие, никакой болезнью не испортишь».

Андросов шутиливо, с нарочитой бодростью беседовал с дружинником Челноковым, обожженным при тушении пожара на складе шерсти. И Челноков, хотя половина его тела была сплошная рана, улыбался синими губами Андросову, из последних сил стараясь ответить на шутку шуткой:

— Опалили меня, как борова на пасху, но ничего, другая шкура нарастет.

Он понимал, что умирает, но не сказал об этом Андросову, а сказал Завалишину. Умер он ночью, изжевав весь угол одеяла, чтобы никто не слышал, как он страдает.

А еще утром Андросов самодовольно говорил папе:

— Челноков выживет. Я его своим юмором расшевелил. Раз человек способен воспринимать юмор, значит, состояние его вполне удовлетворительное.

Наиболее выносливыми, стойкими, спокойными и дисциплинированными больными были рабочие, и лечились они, словно это был труд серьезный и необходимый.

Папа всегда обращался с просьбой к больным рабочим, когда надо было позлеть на тех, кто, проявляя слабость духа, капризничал, преувеличивал свои страдания с целью привлечь к себе побольше внимания. С жадностью выпрашивая лекарства и подозревая, что врачи скупятся выписывать их, такие больные стонали по ночам не потому, что не хватало сил терпеть, а потому, что им казалось: сиделка спит от равнодушия, а не от усталости.

Эти не стыдились брать у тяжелобольных еду, заискивали перед фельдшерами и врачами, как перед начальниками.

Тима считал своего папу очень образованным человеком и гордился: о чем ни спросишь, всегда отвечает обстоятельно и длинно. А вот врачи в больнице почему-то часто разговаривали с папой с едва прикрытой насмешливой снисходительностью.

Неболюбов всегда изумленно приподымал брови, когда папа говорил по-латыни, и, словно сдерживая зевоту, лениво поучал:

— Диагностика, голубчик, — это не интуиция. Надо не угадывать болезни, а научиться распознавать их.

Андросов, разглядывая свои большие белые, холеные руки, сердито жаловался:

— Хирург должен быть виртуозом, подобно Паганини, а мне приходится в вашем заведении из-за отсутствия обученного персонала заниматься всякой чепухой. И вообще, — брезгливо морщился он, — ланцеты тупые, иглы толстые, шприцы протекают!

Врачи словно не хотели замечать, как трудно было доставать и этот плохонький инструментарий. На толкучке папа купил тяжелый свиток граммофонной пружины, поехал в Затон, и там слесарь по его чертежам изготовил ланцеты, пинцеты, зажимы, чтобы останавливать кровь. По ночам папа сам точил иглы для шприцев и протравливал поршни кислотой, чтобы они стали шершавыми и не протекали. Намочив веревочку керосином, обвязывал бутылку, зажигал веревочку спичкой, потом окунал бутылку в ведро с холодной водой. Бутылка лопалась поперек, и из нее получался стакан.

Папа смастерил проволочные шины для тех, у кого был перелом. А один маляр подарил папе краскостерку, и теперь на ней в больнице терли гипс, для того чтобы делать из него повязки, как папа говорил уважительно, по методу Николая Ивановича Пирогова.

Папа так же часто поминал теперь Пирогова, как прежде Маркса.

И Андросов любил повторять слова Пирогова: «Я бескорыстно посвятил всю свою жизнь служению истине и отечеству». Но почему-то сам не очень-то хотел отдавать всего себя служению отечеству. Глядя на похудевшего и всегда озабоченного папу темными, глубоко запавшими глазами, он произносил с ироническим сочувствием:

— Кажется, еще Платон утверждал необходимость поглощения личности государством. И вы, уважаемый Петр Григорьевич, своим образом жизни и мышлением могли бы вполне отвечать идеалам гражданина Спарты. — Бережно массируя толстые, длинные пальцы с коротко обрезанными ногтями, добавлял: — Что же касается меня, то я никак не могу испытывать восторга от своей деятельности. Я предпочел бы оставить человечеству после себя хотя бы одну дерзновенную и эффектную операцию, скажем — в области сердца, что является целью моей жизни, а вынужден на склоне лет превратиться в ремонтника — умножать статистику самых вульгарных операций, достойных рядового земского эскулапа, — и тут же обидно усмехался: — Впрочем, вам сия жажда медицинского открытия непонятна.

— Почему они с тобой так разговаривают? — спрашивал оскорбленно Тима. — Ты же им начальник?

— Видишь ли, — папа щипал бородку и осторожно пояснял: — я только фельдшер, и мои знания недостаточны.

— Но ты знаешь другое, чего они вовсе не знают.

— Если ты имеешь в виду политические знания, то именно в силу их я и обязан относиться к врачам с величайшим тактом и уважением. Если же ты заметил, что я при некоторых обстоятельствах теряю чувство собственного достоинства, я постараюсь учесть это, — спокойно отвечал папа. Но тут же твердо заявил: — То, что мне удастся сделать хорошо, встречает поддержку у моих товарищей. А врачам приходится испытывать враждебное отношение своих коллег, с мнением которых они не могут не считаться, и именно за то, что они делают сейчас хорошего для нового общества. Значит, им труднее, а мне легче.

Действительно, Андросов с печальным недоумением жаловался Ляликову:

— Представьте, шлют подметные оскорбительные письма, угрожают остракизмом. С этим еще можно было бы мириться, но то, что доктор Заиграев отказался недавно сесть за один стол со мной сыграть пульту и при всех заявил, что я заискиваю перед большевиками, занимаюсь медицинским шарлатанством, позволяя себе якобы оперировать в антисанитарных условиях, — это, знаете ли, уже публичная пощечина.

Ляликов сказал угрюмо:

— Слух по городу пустили, будто у нас за теми, у кого на лбу звезда химическим карандашом начертана, уход, а остальные на полу в нетопленном помещении, — усмехнувшись, добавил: — Именно химическим: простым, мол, на коже не нарисуешь.

Когда папа вошел в комнату, оба замолчали, Андросов сердито, сквозь зубы сказал:

— Послушайте, милейший, ставлю вас в известность: кетгута остался один моток.

Тима знал, что такое кетгут. Это тонюсенькие нитки из бараньих кишок, ими зашивают раны, и после эти нитки рассасываются, и их не надо вынимать, как шелковые или металлические скрепки. Это сказал папа, когда Тима с вожделением разглядывал в стеклянном шкафу полупрозрачные мотки, вслух мечтая о том, какие из них могут получиться замечательные лески.

Папа молча вынул из кармана большую плоскую коробку с иностранными надписями на крышке и положил на стол. Откинувшись на стуле, Андросов мельком взглянул на коробку и сказал:

— А вы, оказывается, более расторопный, чем я полагал.

Десять таких коробок принес папе ночью в больницу Капельюхин и сказал виновато:

— Извините, из одной коробки струны на землю просыпались, когда брали.

— Из какой? Покажите сейчас же, из какой? — встревожился папа. Потом, отложив коробку в сторону, упрекнул: — Почему так неаккуратно с медикаментом обращаетесь?

Капельюхин нахмурился и сказал сухо:

— Послали на склад Гоца с обыском. Новенький оплошал, подранили его там. Одна коробочка, значит, раскрылась, и все из нее вывалилось. Гоц, оказывается, всякой медици-

ной офицерский союз снабжал и через своих бывших аптекарских служащих на толкучке торговлю затеял. — Потом устало ссутулился, положил сложенные ладони меж колен, задумался и вдруг добродушно улыбнулся: — Про больницу-то вашу ничего в народе отзываются. Я вчера одного ловил: ну, думаю, уйдет, — а ему гражданин какой-то ногу подставил, потом сам сверху на него лег. Я гражданина: спасибо, выручили. Только, говорю, как это вы решились? У него под пальто обрез, мог бы шлепнуть... А гражданин сказал: «Обрез этот еще вынуть надо, а я только из больницы вышел, слаб, думал, не слажу».

— С каким диагнозом к нам прибыл, не осведомились? — быстро спросил папа.

— Некогда было разговоры лишние вести. Прохожих-то человек десять навстречу шли, пока бандит бег, и все от него в сторону шарахались, хоть я и кричал «держи». А вот один нашелся, — и пояснил глубокомысленно: — Выходит, больница-политпросвет получается. Не даром здесь лекарства жрут.

Недавно Сапожкова вызвал к себе Рыжиков и сказал озабоченно:

— Слушай, Петр, чего ты там, в больнице, как крот, зарылся? Надо твою медицину на улицу выносить, с людьми разговаривать, от эпидемий больницей не защитите. Может, митинг общегородской на площади Свободы устроить? И ты бы там выступил?

Папа сказал обиженно:

— Что я, Косначев, что ли? Не умею я краснوباить, — и добавил сердито: — Нам пока хвастать нечем! В смысле медицины наша деятельность еще весьма и весьма ничтожна.

— А я не профессор, — сказал Рыжиков. — И судить с этой стороны не я вас буду. Но вот самостоятельность народа тут крепко проявилась, и наша прямая обязанность воспользоваться этим для примера другим. — И вдруг, мечтательно улыбаясь, сказал: — Надо бы название митингу придумать какое-нибудь увлекательное. Эх, жаль, нет Косначева под рукой! Он бы сразу сфантазировал что-нибудь такое, — пошевелил в воздухе пальцами и вздохнул: — Нет у меня поэтического воображения!

Действительно, название для митинга придумал Косначев: «День здоровья». Рыжиков несколько раз просил повторить эти слова, потом заявил торжественно:

— День здоровья — это правильно.

День здоровья совпал с первой весенней оттепелью. Снег отяжелел и стал зернистым. Желтое солнце уже грело. На Почтовой улице выставили столы, накрытые красным кумачом, и возле них персонал народной больницы давал всем желающим медицинские советы.

Из дворов доносился хруст льда с помоек, которые чистили жильцы. Ими командовали люди с красными повязками на рукавах. На заборах, покрашенных известью, были написаны лозунги: «Чистота — залог здоровья», «В здоровом теле здоровый дух». Женщины ходили по улице с плакатами. На них был изображен человек, лежащий в грязи в обнимку со свиньей. Внизу надпись: «Сколько водки выпьет муж, столько слез прольют жена и дети».

Молодые рабочие с Затона — среди них Тима увидел Петьку Фоменко — тоже ходили по главной улице. На Петьке был надет котелок, на груди дощечка с надписью: «Буржуй», а два других паренька держали его за руки, и у одного висела дощечка с надписью: «Вошь», а у другого — «Клоп». Позади шагал рабочий, держа на плече большой черный, сколоченный из досок молоток, и на молотке было написано: «Смерть паразитам», и этот паренек, когда собиралось много публики, начинал размахивать молотком над головой Петьки Фоменко и держащих его за руки ребят.

Но митинг устроили не на площади Свободы, так как повалил сбилый мокрый, словно вымоченная в воде вата, снег, а в Клубе просвещения.

Народу пришло так много, что больше половины стояло в проходах и у стен. Было душно, воняло сырой одеждой; керосиновые лампы меркли, чадили от недостатка воздуха. Папа очень сильно волновался, и от него пахло валерьянкой.

Косначев хотел сам открыть митинг, но папа с поразившей Тиму грубостью сказал:

— Не лезь, будет открывать Андросов.

— А ты со мной советовался? — обиделся Косначев. И сказал с угрозой: — Понесешь ответственность, если он тут начнет нести черт знает что!

Папа кивнул головой, но ничего не ответил.

По правде сказать, папа струсил вначале, когда Андросов, поднявшись на трибуну в черном сюртуке и в крахмальном воротничке с отогнутыми углами, откашлявшись, произнес профессорским голосом:

— Медицина — наука, ее состояние, как и всякой

науки, не определяется политическими факторами, — по-медлил, выпил воды, громкие глотки его были слышны в притихшем зале, потом заявил: — Я, собственно, не буду занимать ваше внимание изложением общих мест. Позвольте приступить сразу к демонстрации, — поднял руку, поманил согнутым пальцем.

К трибуне подошел, застенчиво усмехаясь, Курочкин и стал снимать с себя рубаху. Обнажив живот с розовым выпуклым, словно изжеванным, рубцом, потупившись, опустил руки и стал покорно ждать, полуголый.

Андросов, вынув из верхнего кармана сюртука восковой карандаш, нарисовал на животе Курочкина вокруг шва контур внутренностей и стал говорить медицинскими словами. Кончив говорить, он махнул рукой, разрешая Курочкину одеться. Зал недоуменно молчал. А вскоре раздались даже ядовитые смешки. Андросов растерянно оглянулся по сторонам. Но тут Курочкин, не заправив рубаху в штаны, сердито шагнул к рампе и крикнул обидчиво и громко:

— Чего гогочете? Кулаки брюхо мне порезали, зерна туда насыпали. А он, — показал большим пальцем на Андросова, — без отдыха часа два во мне ковырялся, зашивал. Вы думаете, легко было? Двое с него пот вытирали все время. Понятно?

Тут все, кто сидел, вскочили со своих мест и стали хлопать. А кто стоял в тесноте, те стучали ногами об пол и кричали «ура!».

Андросов кланялся, прижимая руку к груди, пил воду, потом снова кланялся.

А папа, схватив Косначева за плечо и повернув его к себе, шептал взволнованно:

— Что, Егор, здорово? Это тебе не общие слова, а факты. Видал? Все поняли. Конечно, то, что Андросов применил новый метод резекции, осталось для них втуне; жаль, а то бы это еще больше усилило впечатление.

Ляликов говорил вяло, читал статистические данные, по которым выходило, что врачи вроде пожарников, так как эпидемия — это пожар. Но если все будут соблюдать гигиену, санитарные правила, эпидемий совсем не будет. И стал перечислять случаи, когда люди болеют оттого, что они неряхи и не хотят быть чистоплотными. Хотя то, что он говорил, было обидно для всех, ему тоже одобрительно похлопали. Выкрикивали извиняющимися голосами:

— Кто ж знал, что микроб — такая сволочь! Да еще глазу невидимая.

Косначев все-таки не выдержал и в заключение произнес пламенную речь, в которой объявил все болезни наследием и порождением капиталистического строя. «Здоровье народа ныне находится в руках народа», — бросил он лозунг и этими эффектными словами хотел закончить митинг. Но в публике стали кричать:

— Сапожкова, давай Сапожкова! Чего он за других прычется? Пусть выйдет!

Папа поднялся на трибуну, снял очки, положил их рядом с собой, потом снова надел и сказал грустно:

— Я, собственно, не совсем медик, — оглянулся на Андросова, Неболюбова, Ляликова и вдруг стал хлопать им в ладоши. Когда зал утих, проговорил торжественно: — Товарищи! Знание, наука прежде были монополией буржуазии. Мы уничтожили эту монополию. Теперь остановка за нами, мы должны овладеть знаниями и наукой, сделать их достоянием народа. — Смутился, потупился и произнес вполголоса: — Собственно, это не моя мысль, а товарища Ленина. Я только, так сказать, повторил своими словами.

И все вновь вскочили, хлопали в ладоши и кричали «ура!».

Это было очень приятно, но Тима испытывал некоторое тщеславное беспокойство, потому что трудно было точно сказать, папе это хлопали или тому, что так сказал Ленин.

После Дня здоровья дела в больнице пошли лучше, и папа перестал метаться по городу в поисках того, что нужно было для больницы.

Рыжиков после отчета папы в секции охраны народного здоровья сказал удовлетворенно:

— Ну, Петр, раз ты там все наладил и дело идет, надо будет тебя снова в ревком забрать. Людей нам очень не хватает. Кого вместо себя предлагаешь?

Сапожков задумался, пощипал бородку и заявил:

— Павла Андреевича Андросова.

— Отлично, — мгновенно согласился Рыжиков и, потирая руки, объявил: — Выдающийся врач.

Но Сапожков не обрадовался, как Рыжиков. Помедлив, он сказал:

— Есть очень серьезное обстоятельство, которое может помешать: он болен, и весьма опасно.

— Врач — и болен? — пошутил Рыжиков. — Это вроде сапожник без сапог.

— Я не шучу, — сухо сказал Петр Григорьевич. — И прошу отнести к моим словам с чрезвычайной серьезностью...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Последние дни Андросов выглядел очень плохо. Лицо обрело землистый оттенок, щеки дряблыми, сизыми складками сползали к плечам. На похудевшей, жилистой шее обозначились синие вены, и когда он сердился, вены надувались, словно резиновые трубки.

Замурованный в тяжелую, плотную шубу, в черных войлочных ботиках на металлических застёжках, в бобровой шапке с бархатным верхом, он входил в комнату, где жили при больнице Сапожковы, опускался на табуретку и, глядя на Тиму глубоко впавшими глазами с отечными, опухшими веками, говорил, с трудом преодолевая одышку:

— Голубчик, будь гостеприимным хозяином, — кивал на белый аптечный шкафчик.

Хотя Тима знал, что этого не следует делать, он, не вынося скорбного взгляда Павла Андреевича, доставал из шкафа толстую бутылку со спиртом и пузатенькую кровососную банку.

Андросов выпивал с отвращением, потом его лицо вдруг светлело, и он говорил извиняющимся шепотом:

— Сие и монаси приемлют, — добавлял строго: — Ты, Тимофей, не думай, что я пьяницей стал. Не для душевного успокоения, а для того, чтобы бодренько людей оперировать. А то вчера стоя не мог докончить, пришлось сесть. А в сидячку какая же это работа?

— Почему не хотите шишку у себя в животе срезать? — спросил возмущенно Тима. — Оттого, что она болит очень, вы столько водки стали пить, просто нехорошо даже.

— Нехорошо, верно, — равнодушно согласился Андросов. Поглядел в окошко, залепленное тусклым, влажным весенним снегом, и сказал тихо, будто для себя одного: — Когда человек просыпается — это все равно что его рождение. День от утра до ночи — маленькая жизнь, сон — маленькая смерть.

Тиме не понравилось это размышление Павла Андреевича, и он сказал наставительно:

— Папа говорит: сон — это необходимый отдых организму, а вовсе никакая не смерть. А если бы было, как вы говорите, то никаких снов нельзя было бы видеть, потому что покойники ничего не видят.

— Не видят, верно, — снова покорно согласился Андросов. И, вдруг оживившись, сказал насмешливо: — Твой папа считает человека высокоорганизованной материей,

а мысль — продуктом биохимической реакции в сером веществе мозга.

— Папа тоже, как и вы, медик! — сказал вызывающе Тима. — И хоть он и фельдшер, а книг читал не меньше вашего.

— Даже, возможно, больше, — равнодушно сознался Андросов и, притянув к себе бутылку, спросил: — Не возражаешь, я еще некоторую дозу позволю?

— Возражаю! — сердито буркнул Тима. — У вас силы воли вовсе нет.

— Зато у Неболюбова ее с избытком! — вдруг злобно сказал Павел Андреевич. И едко изрек: — Скажет глупость и не смущается наступившим после этого тягостным молчанием коллег. Я сам набожно отношусь к медицинским корифеям. Но ползать перед их именами на брюхе не желаю.

— Неправда, он хороший, — заступился за Неболюбова Тима.

— Чем же именно, позвольте узнать?

— А Общество кто придумал, не он разве? — спросил Тима.

— Основателем Общества физического воспитания был профессор Петербургского университета Петр Францевич Лесгафт, выдающийся анатом и русский патриот, а Неболюбов хотел на сем только обрести популярность либерала и демократа, — сухо пояснил Андросов.

— Почему вы его не любите? — жалобно спросил Тима. — Ведь он же ваш товарищ.

Андросов выпил, затряс головой, выдохнул, сложив губы дудочкой, и заявил:

— Вот сделали из Роберта Коха святого: открыл бациллу туберкулеза, это все помнят, а то, что он препарат «туберкулин» сочинил и выдал в качестве панацеи, а от этой панацеи туберкулез не только не излечивался, а, напротив, люди опасно заболели, об этом все забыли. А вот про один прискорбный случай из моей практики господин Неболюбов не утомляется поминать уже многие годы.

Тиме не нравились эти рассуждения Андросова о докторе Неболюбове, которого папа очень ценил. Но Тима думал: Павел Андреевич говорит так оттого, что болен, раздражен и ищет, на ком сорвать свою боль.

Но вот странно: войдя в палату, Андросов мгновенно преображался, обретал самоуверенный и спокойный вид. Снисходительно шутил, утверждая, что нет на свете таких болезней, от которых человек мог бы умереть, если он

умирать не желает. Он говорил умирающему большевику Сорокину:

— Сильного душой человека болезнь не возьмет. Это, батенька, уступка контрреволюции, если вы позволите себе капитулировать перед чахоткой. Ваш комиссар утверждает: туберкулез — порождение капитализма. Так уж вы, голубчик, не разочаровывайте меня. Победите болезнь самолично. А на пожки мы вас с вашей помощью поставим, будьте благонадежны.

С трудом улыбаясь, Сорокин произносил синими, сухими губами:

— Спасибо, доктор.

Старик бакалейщик, хворающий расширением желудка, пожаловался, что боится помереть. Андросов сказал ему насмешливо:

— Я знал человека, который с таким усердием чихнул, что умер от разрыва сердца, а вы, мой друг, человек флегматичный, вам угрожает только чрезмерное долголетие.

Несмотря на свой запрет Сорокину разговаривать, Павел Андреевич часто присаживался у его койки и вел с ним вполголоса беседу. О чем, Тима не знал, но один раз он увидел, как Андросов, пожав руку Сорокину, сказал с волнением:

— Спасибо вам, голубчик! — и произнес горячо: — Да, при рождении человек плачет, а все его близкие радуются; и нужно прожить жизнь так, чтобы, когда покидаешь свет, все плакали, а ты один улыбался, зная, что не зря прожил жизнь. Теперь я понимаю, почему вы такой. Понимаю. — И еще раз пожал тощую, потную, слабую руку Сорокина.

После этого Андросов сказал Сапожкову:

— Петр Григорьевич, я всегда полагал, что люди делятся по своему психологическому складу на тех, кто убежден, что с ними никогда ничего плохого не случится, и на тех, кто, напротив, убежден, что именно они-то обречены на самые ужасные несчастья. А сейчас я убедился, как неумна подобная классификация.

Прибирая инструмент, папа укололся о иглу шприца, охнул, замотал кистью, как балалаечник, и потом сунул палец в рот.

— Голубчик, — укоризненно сказал Павел Андреевич, — ну разве можно будущему врачу применять подобные методы? — Прижигая палочкой ляписа место укола, спросил ласково: — Душонка небось тоскует? Не дает ей хозяин в докторском халате щеголять.

— Да, — признался Сапожков, — тянет, как больной

зуб, — и тут же твердо заявил: — Мне, в сущности, повезло. Арестовали, когда уже на третьем курсе был, а могли бы посадить и раньше, — и пожаловался: — А вот Варенька даже гимназии не окончила, с семнадцати лет начала посещать. А у нее, знаете ли, талант — голос исключительный. Колоратура!

В палате лежали разные люди, доктора различали их по степени сложности заболеваний, и самые тяжелобольные пользовались наибольшим вниманием и даже, пожалуй, уважением.

Но вот Сорокина больные уважали совсем не за то, что он неизлечимо болен. Когда он поступил в больницу, он вовсе не лежал, как теперь, все время на койке, а присаживался к другим, беседовал, выспрашивал про жизнь и даже помогал сестре и няне ухаживать за больными. Часто уходил в аптеку за дощатую перегородку и там помогал аптекарю поляку Сборовскому тереть мази в ступке, развешивать порошки на весах.

Когда папа осведомлялся о его самочувствии, Сорокин только нетерпеливо отмахивался и начинал советовать папе, где можно достать березовые дрова для больницы, олово, чтобы запаять проржавевшие грелки, называл фамилию гончара, который мог бы сделать подсоны для больных, и даже написал письмо этому гончару, с которым он когда-то был на каторге еще после девятьсот пятого года.

— Он хоть и беспартийный, — говорил папе Сорокин про гончара, — но человек настоящий. Сделает из глины подсоны не хуже фаянсовых. Я ему так и пишу: выполни, мол, свой пролетарский долг. Напоминаю, как из крепко обожженной глины оболочки для бомб готовил. Отлично действовали, не хуже чугуновых.

Многие больные в палате советовались сначала с Сорокиным, а уж потом с врачами. Получив от врача совет, спрашивали Сорокина, как: врач правильно говорит или нет, словно Сорокин был здесь самый главный начальник.

Петра Григорьевича Сапожкова с каждым днем все больше беспокоило состояние здоровья Павла Андреевича Андросова. Наблюдая за ним, он находил все новые подтверждения своим тягостным опасениям. Всякие же попытки Петра Григорьевича поговорить об операции пресекались Андросовым грубо и категорически.

В свое время, достигнув материальной независимости, Андросов не раз заявлял во всеуслышание:

— Я никогда не был служащим ни государству, ни обществу, ни ближним.

О профессии врача говорил пренебрежительно:

— Когда наипочтеннейшие державы озабочены обоюдным истреблением людей, врачи и попы выступают рука об руку в качестве шарлатанов-утешителей.

Подобные мысли не помешали ему подписаться на крупную сумму на военный заем при Временном правительстве. Он сказал цинично:

— Даже наимудрейшие граждане были не в состоянии оценить всего курьеза: медик, вносящий дары на приобретение средств умерщвления. Более гнусного анекдота не придумаешь.

Хотя Андросов с презрением относился к именитым гражданам, это не мешало ему разделять их общество и дорожить в нем своим положением независимого человека, пренебрегающего всем, кроме собственного благополучия.

В первые годы практики Андросов дерзнул оперировать больного ребенка, тогда как все городские врачи считали случай безнадежным.

Эта была редкая по смелости операция. Ребенок был спасен, хотя и остался калекой.

Но после операции Андросов допустил неосторожность, упрекнув докторов в том, что они больше дорожили своей репутацией, чем жизнью ребенка, и запустили его болезнь до предела. В ответ на это они сразу же объявили Андросова виновным в искалечении ребенка. А доктор Неболюбов даже назвал его компрачикосом.

Замечательная операция была забыта. Многие годы Андросова преследовала злая молва: «Бездушный фокусник» — так озаглавил свой фельетон об Андросове Николай Седой.

В своей больнице на шесть коек Андросов самоотверженно трудился, сделал немало смелых, интересных операций. Но, глубоко оскорбленный всем, что с ним случилось, не хотел предавать работы огласке.

Да и, пожалуй, пойти в первую советскую больницу его побудило скорее желание выказать свое пренебрежение к мнению коллег, чем нечто большее.

Но когда пришло это большее и он постепенно начинал верить, что действительно возможно иное устройство общества ради лучшей жизни человека на земле, — оказалось, что дни его собственной жизни сочтены.

Андросов аккуратно заполнял заведенную им на самого себя историю болезни. Фекле Ивановне он сказал:

— Если бы я мог сам себя оперировать, эта опера-

ция, возможно, прославила бы хирурга, но не спасла больного.

Наиболее опытным врачом в городе считался Неболюбов. Он мог бы, пожалуй, рискнуть оперировать Андросова. Но Андросов считал Неболюбова посредственным лекарем, который стяжал себе популярность всякими либеральными затеями, вроде создания Общества содействия физическому развитию, в то время как тысячи людей ежегодно гибли от эпидемий, голода и нищеты. Как хирург Неболюбов, по мнению Андросова, находился на уровне рядового земского врача, но не больше. И он был почти прав.

После девятьсот пятого года Неболюбов, потрясенный жесточайшими репрессиями, отшатнулся даже от своей просветительской деятельности и весь ушел в медицину. Но и тут он не мог отделаться от гнетущего страха за свое существование. Чтобы не навлечь на себя подозрений в либерализме, не привлекать к своей персоне внимания, Неболюбов тщательно избегал тех случаев, когда врачебное вмешательство было связано с риском. Он прослыл осторожным врачом, лишенным какого-либо медицинского тщеславия. И поэтому в известной мере презрительное недоверие к медицинским способностям Неболюбова со стороны Андросова было обоснованно.

Трудно точно сказать, пошел ли Неболюбов работать в первую советскую больницу только из признательности к народной власти за то, что она восстановила дом Общества содействия физическому развитию, или, может быть, им руководило нечто другое. Возможно, он хотел попытаться перебороть столь тяготившую его долгие годы боязнь вмешиваться в те случаи, когда жизнь человека висит на волоске, то есть пойти против себя такого, каким он был многие годы.

Петр Григорьевич Сапожков знал о неприязни, какую испытывает Андросов к Неболюбову. Все его попытки сблизить этих двух людей были безуспешны.

Да и оба врача не хотели откровенничать с фельдшером. Достаточно и того, что они мирились с его комиссарством над ними... Они почти с одинаковой категоричностью требовали от комиссара только медикаментов, инструментария, не желая считаться ни с какими трудностями.

Как-то из губернии привезли пакеты с вакцинами, и несмотря на то что доставившие их красногвардейцы утверждали, что всю дорогу, оберегая, держали пакеты под полущубками, врачи отнеслись к их словам с недоверием и заявили, что без длительной проверки на морских сви-

ках и кроликах пользоваться вакцинами нельзя. Но кроликов, а тем более морских свинок в городе не было.

Сапожков после длительных поисков вернулся ни с чем. Не видя иного выхода, сделал сам себе несколько прививок, успокаивая себя тем, что среди красногвардейцев был один член партии, который не мог солгать и признался бы, если бы медикаменты промерзли в пути.

К вечеру у Сапожкова поднялась температура. Всю ночь он провалялся в жару. Утром, бледный, истомленный, пришел во врачебный кабинет и заявил докторам, что вакцины вполне пригодны, а высокая температура вызвана тем, что организм его был ослаблен, так как в последние дни в силу крайней занятости он, попросту говоря, не обедал, а только ужинал холодной пшенной кашей, что для его организма, очевидно, недостаточно.

Когда Сапожков при общем равнодушном молчании ушел из кабинета, Ляликов произнес громко:

— За этот подвиг наш комиссар, вероятно, рассчитывал получить памятник не на кладбище, а на площади.

Сказал он так не потому, что хотел посмеяться над Сапожковым, а просто соблазнился каламбуром.

Но разве Неболюбов не любил сам подшучивать над комиссарской латынью, а Андросов — над тем усердием, с каким комиссар assisteрует ему во время операции?

Но вот сейчас, глядя в ноги Ляликову, Неболюбов проговорил хмуро:

— Считаю вашу остроту недостойной и в некоторой мере пошлой.

И впервые за все время совместной работы в больнице Андросов, сочувственно обратившись к Неболюбову, согласился с ним:

— Вы абсолютно правы, коллега! — и, повернув к Ляликову багровое лицо, сказал брезгливо: — После подобной вашей юмористики хочется вымыть уши.

Впервые Неболюбов и Андросов вышли из больницы вместе. Семнадцать лет они избегали друг друга. Семнадцать лет при встречах только чопорно и холодно раскланивались, а в больнице обменивались лишь самыми необходимыми словами, ни разу не взглянув друг другу в глаза...

В том, что вакцины оказались пригодными для прививок, Сапожков убедился на собственном организме. Но то, что это не вызвало особого удовольствия у врачей, сильно огорчило Петра Григорьевича. Неужели ему не удастся преодолеть их отчужденность, высокомерное отношение к нему, как к фельдшеру, который вдруг посмел стать их

начальником? Всегда с неудовольствием, скрытым снисходительными улыбками, они встречали его скромные попытки выказать свои скромные медицинские познания или наблюдения о состоянии больного...

Ну, ладно, с этим еще можно мириться. Но знать, что Андросов словно сам себя приговорил к смерти, и не протестовать против этого Сапожков не мог. Петр Григорьевич решил прибегнуть к тому, что, по его убеждению, могло оказать влияние на судьбу каждого, кто не утратил чувства уважения к народу.

Придя к Андросову, Сапожков застал его лежащим на диване. Бледный, обложенный подушками, с засученной до локтя рукой после укола морфия, Павел Андреевич встретил его неприветливо. Недовольно сдвинув брови, признался:

— Злоупотребляю болеуспокаивающими. Так сказать, первый симптом капитуляции.

— Павел Андреевич, согласитесь, пожалуйста, на операцию, — сказал Сапожков с той решительностью, какую он внушал себе всю дорогу сюда.

Андросов поднял тяжелые, набрякшие веки, спросил:

— Вы что, пришли предложить свои услуги в качестве хирурга?

Сапожков снял очки, протер тщательно, заложил дужки за уши и делал это так медленно не для того, чтобы обдумать ответ, а чтобы забыть оскорбительный вопрос.

Петр Григорьевич расстегнул куртку, вынул из бокового кармана аккуратно сложенную бумажку и попросил:

— Вот, взгляните, Павел Андреевич, резолюция общепольничного митинга.

— Какого митинга? В чем дело?

Сапожков с достоинством объяснил:

— Больные и персонал больницы, обеспокоенные состоянием вашего здоровья, потребовали от уездного совдепа принять самые решительные меры, вплоть до того, чтобы в порядке революционной необходимости привезти из губернии профессора Киша.

Андросов приподнялся и сел на диване.

— Вы, что же, позволили сделать меня объектом площадных пересудов? — Откинулся на подушки, отмахнулся рукой. — Нет, это чудовищно! Подобное лежит за пределами всего допустимого! — и, снова откинувшись на подушки, крикнул: — это террор!

Вошла Фекла Ивановна. Андросов негодуя протянул к ней руки.

— Ты знаешь, какую они травлю затеяли? На митингах мой образ жизни обсуждают, — и, повернувшись к Сапожкову, сказал злобно: — Для вас личности не существует, ибо вы сами не личность, а так, — выдохнул злобно, — недоучка!

Фекла Ивановна тревожно взяла Андросова за руку и, не то щупая пульс, не то лаская, вопросительно и строго посмотрела на Сапожкова.

Петр Григорьевич твердо и обстоятельно повторил все то, что говорил Андросову.

Фекла Ивановна взяла резолюцию митинга с неприязненным видом, но по мере чтения лицо ее обретало иное выражение, и она сказала со вздохом облегчения:

— Павел, ты все-таки посмотри. Очень трогательно тебе пишут, и с таким уважением!

— На черта мне их уважение! — сердито буркнул Андросов.

Но взял у Феклы Ивановны бумажку, стал читать, держа ее в вытянутой руке. Потом, словно покорившись, согласился:

— Действительно, довольно участливо.

— Вот именно! — оживился Сапожков.

Не выпуская из рук резолюции митинга, Андросов попросил Сапожкова:

— Извините меня, Петр Григорьевич, но я сейчас чувствую себя неважно. Если не возражаете, прекратим на этом нашу беседу.

Сапожков поднялся, пожал потную, горячую руку Андросова, слабо, но все-таки ответившую на его пожатие, и вышел на цыпочках в сопровождении Феклы Ивановны.

В передней Фекла Ивановна сказала с отчаянием:

— Я так беспокоюсь за него, так беспокоюсь! Он очень плох. Не знаю, откуда у него силы брались последние дни работать! На морфии одном держался. А сейчас и морфий не помогает. Боли ужасные, — задумалась и шепнула тоскливо: — Одна надежда на Дмитрия Ивановича.

— Но позвольте, — не мог скрыть своего удивления Сапожков, — он ведь, кажется, с Неболюбовым довольно-таки...

Фекла Ивановна прижала ладони к впалым щекам:

— Да, да, совершенно верно. Но Неболюбов зашел к нам, и, насколько я поняла, Павел примирился с ним на почве их общего возмущения доктором Ляликовым, который позволил какую-то резкость по отношению к человеку, решившему проверить на себе пригодность вакцин, полученных из губернии, — и добавила: — Правда, этот чело-

век, кажется, очень жесток к людям и работает в самом ужасном советском учреждении. Но, представьте, в этом случае проявил такое благородство. Не правда ли, это так странно?

Петр Григорьевич горячо пожал руку Фекле Ивановне и проговорил:

— Я очень рад, что Дмитрий Иванович и Павел Андреевич теперь вместе! — и повторил горячо: — Весьма рад!

— И я тоже, — тихо произнесла Фекла Ивановна. — Павел Андреевич согласился, чтобы Неболюбов оперировал его.

Почти все городские врачи дежурили по очереди в палате, где лежал после операции Андросов. Но болезнь оказалась слишком запущенной, организм истощенным, сердце изношенным.

Неболюбов, дав согласие оперировать Андросова, знал, как мало шансов на спасение больного. Но Павел Андреевич сказал ему с доверчивой улыбкой, твердо глядя в глаза:

— Дмитрий Иванович, я понимаю, как ничтожны шансы, но помогите мне завершить жизнь, борясь за нее и веря в медицину. В случае летального исхода будьте мужественны, дорогой, и постарайтесь перенести все, не теряя веры в себя, — и спросил: — Вы обещаете?

Хоронить Андросова пришел весь город. Гроб с телом его везли на орудийном лафете.

В эти дни к Тиме пришел его старый приятель Яша Чуркин. Он работал теперь вместе с Колей Светличным у Яна Витола.

В коротко обрезанной шинели, подпоясанный солдатским ремнем, на котором висела брезентовая кобура с револьвером, он выглядел суровым и мужественным. Но угловатое лицо его с опухшими веками было растерянno и печально.

Тима стал угощать приятеля больничным киселем. Но тот, сердито оттолкнув от себя миску, сказал зло:

— Кисели сладкие жрете, а сами Павла Андреевича зарезали! Когда он Зинку от смерти спасал, из жилы кровь свою не пожалел, — всхлипнул: — А я его одного оставил, когда кругом одна сволочь!

Тима оскорбился:

— Это ты оттого так говоришь, что у Яна все вы плохих людей ловите, а хорошие вам не интересны. И ты их не знаешь. И Неболюбова не знаешь. А папа его знает и теперь

дома у него ночует, боится, как бы он что-нибудь с собой не сделал.

— Может, боится, чтобы не удрал? — злорадно осведомился Чуркин, потом сообщил: — Мне Витол самому велел в деревянном сарайчике сидеть и его дом караулить.

— Дмитрия Ивановича? — изумился Тима.

— Ну, не его самого, — неохотно признался Чуркин. — А от всяких, которые к нему лезли оскорблять.

— Но ты про него тоже плохо думаешь?

Яков пошаркал по полу разбитыми сапогами.

— А зачем брался резать, ежели выручить не мог? Другого, половчее, не могли сыскать, что ли?

Тима папиными словами стал объяснять Якову, почему не удалось спасти Павла Андреевича.

Яков молча, недоверчиво слушал, потом сказал жалобно:

— Это верно. Мы там у Витола в глаза всяким гадам глядим. Даже от своих отвыкнул, — и сказал шепотом: — Я целый месяц в банде служил, — потупился. — Думаешь, это так... руки в карманы сунул и гляди, как партийцев при тебе связанных в проруби топят или еще чего хуже с ними делают?!

Тима отшатнулся, с ужасом глядя на Якова. А тот, словно не замечая, объяснил равнодушно:

— Такое называется у нас агентурной работой. Прикинешься, что ты ихний, и делаешь, что они велят, а главное — навести на них свой отряд.

— Как же ты можешь так притворяться?

— Значит, могу, ежели еще целый, — сухо сказал Яков и предупредил: — Только ты никому, смотри! — и угрожающе свел темные брови на переносице.

Спустя два дня уездный совдеп вынес постановление назначить доктора Д. И. Неболюбова заведующим первой народной больницей имени П. А. Андросова.

Рыжиков вызвал Сапожкова и сказал:

— Ты, конечно, понимаешь, Петр, мы назначили Неболюбова начальником больницы, чтобы сразу отсечь мерзостные обывательские сплетни, которые распустила всякая сволочь по городу насчет старика, основываясь на его неприязненном отношении к Андросову. И его самого и трибунал буквально завалили подлыми анонимками. Дабы у Дмитрия Ивановича не возникло никаких сомнений в том, доверяем ли мы ему, комиссара при нем держать нечего. А для тебя есть новое поручение: поедешь в рудный

район. Надо помочь наладить там для горняков медицинское обслуживание, — помедлил и сказал, хитро сощурившись: — Твою Варвару тоже туда посылаем. Поможет в работе тарифно-расценочной комиссии.

— Спасибо... — сказал Петр Григорьевич.

— И Асмолов с вами поедет. Так ты смотри. А то вот тоже травят человека. — Рыжиков вынул из стола бумагу и прочел: — «Всероссийский союз инженеров призывает бросать работу, если большевики будут вторгаться во внутренний распорядок деятельности предприятий и учреждений. Инженеры не должны принимать никаких полномочий и поручений от Советской власти», — и добавил: — Асмолова они уже из своего союза исключили. — Устало откинувшись на стуле, сказал участливо: — Так что, Петр, там тебе придется весьма решительно действовать, — ласково улыбнулся. — Вареньку тоже береги, мы ее очень ценим. Все ее статистические данные по уезду в губсовнархоз отправили.

— Ей бы, знаешь, на аттестат зрелости подготовиться и сдать, а то не успела гимназии закончить. Посадили ужасно не вовремя, — пожаловался Сапожков.

— Аттестат политической зрелости там оба будете сдавать, на рудниках, — сказал Рыжиков. — Это вам не в нашем мещанском городишке. Там, брат, настоящий пролетариат, гордость рабочего класса — горняки, — и, уже провожая, в коридоре шепнул: — Я тебе, конечно, по секрету от Вари, но ты против Тимки не возражай. Стоско-валась мать все-таки, пусть он с вами едет. Завидую, всем семейством покатишь!

Вынул из кармана перочинный нож, мастерски сделанный из полотнища пилы, протянул Сапожкову:

— Дашь Тимофею. Вспомнил, понимаешь, как он на него глазами блеснул, да все некогда подарить было. И чехольчик возьми тоже, с чехольчиком наряднее.

Отдавая Тиме перочинный ножик Рыжикова, папа упрекнул:

— Человек должен уметь владеть собой и подавлять чувство, когда оно побуждается жаждой приобретения того, что ему не принадлежит.

Тима не понял так сложно выраженную мысль папы, а может, не хотел понять. Чувство радостного обладания овладело им: ведь он стал собственником такого замечательного ножа — с двумя лезвиями, со штопором, шилом и ручкой, сделанной из коровьего рога с перламутровым оттенком, словно копыто у настоящей скаковой лошади!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Уже по одному тому, как откровенно папа и мама радовались поездке всем семейством на новую работу, Тима понимал, как тоскливо им было последнее время друг без друга, и чувствовал, что не меньше его они любят жить все вместе.

Тима посоветовал папе попросить у Хрулева кошевку, обшитую ковром, — он ее видел в сарае транспортной конторы.

Папа ответил иронически:

— Может, тройку с бубенцами?

— Хрулев добрый, он даст, — настаивал Тима.

Папа оглянулся на маму, сказал негодующе:

— Странно, Варвара, неужели ты до сих пор не могла разъяснить Тимофею...

— А ты? — возмутилась, в свою очередь, мама. — Я во все не считаю, что это только моя обязанность.

— Ладно, — сказал примирительно Тима. — Не ссорьтесь. Не хотите в хорошей кошевке ехать, не надо. На дровнях тоже ничего. Только в кошевке важности у нас было бы больше.

— Откуда у тебя такое? — с отчаянием воскликнул папа.

— Что же, ты хуже Георгия Семеновича? — искренне удивился Тима. — Он теперь на ковровых санках по городу ездит.

Папа выразительно взглянул на маму и сказал, понизив голос:

— Действительно, зачем Георгий завел себе такой выезд?.. Образованный человек — и совсем лишен такта.

— Если б только такта! — сердито отозвалась мама.

Папа почему-то виновато поморгал глазами, вздохнул, прошелся по комнате, остановился и сказал:

— Меня тоже стало многое беспокоить в Савиче, —

порылся в карманах, достал какой-то журнал и, подняв очки на лоб, объявил: — Вот статья в «Сибирском горнорабочем», писал не Савич, а мысли его, — и стал читать с негодованием: — «Вообще в период развала промышленности неокрепшему демократическому государству не дело брать на себя обузу ответственности за судьбу всей промышленности, не дело пролетариату становиться пока всюду на хозяйское место, делать своими руками то, что должна сделать сама буржуазия под его контролем. Совершая это самоубийственное дело, пролетариат рискует потерять самое дорогое, что у него есть, — свою классовую самостоятельность, свою марксистскую социал-демократическую идеологию, свою самостоятельную политику». Какое негодяйство! — возмутился папа и стукнул тыльной стороной ладони по растрепанному журналу так, что посыпались страницы. — И это они пишут тогда, когда горняки, взяв в свои руки управление шахтами, перейдя на восьмичасовой рабочий день, почти вдвое увеличили добычу угля.

Мама подняла на папу свои серебристо-серые глаза и заявила, гордо откинув голову:

— Позвольте вам напомнить, уважаемый товарищ Сапожков, следующее: перед победившим пролетариатом открылась земля, ныне ставшая общенародным достоянием, и он сумеет организовать новое производство и потребление на социалистических принципах.

Папа, прищурившись, слушал, потом воскликнул обрадованно:

— Ленин на Третьем съезде Советов...

— Не перебивай, — рассердилась мама и продолжала тем же торжественным голосом: — Раньше весь человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним все блага техники и культуры, а других лишить самого необходимого — просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием, и отныне никогда человеческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, в средства эксплуатации.

Тима похвалил маму:

— Здорово, совсем как стихи прочла! — и порекомендовал: — Вот бы в Клубе просвещения выступила.

Мама вздохнула и сказала с сожалением:

— Не понимаешь ты еще всего, Тима.

— А чего тут не понять? — обиделся Тима. — Раньше богатым все, а остальным ничего, а теперь наоборот.

Папа поощрительно улыбнулся. Но мама, сделав строгое лицо, напонила:

— Почему ты до сих пор дома, когда тебе было сказано взять брошюры у Осипа Давыдовича?

— Ладно, — сказал Тима, — привезу, не беспокойтесь, я свои дела помню.

Осип Давыдович Изаксон теперь назывался комиссаром печати. Но у него не было никакого кабинета, почти всегда он находился в типографии и, если не имел поручений от ревкома, надевал синий фартук и становился к наборной кассе или, сидя на высокой трехногой табуретке, что-нибудь делал для цинкографии.

— Вот, — сказал Тиме Осип Давыдович, ткнув пальцем в угол, где стояли стопки книг, туго перевязанные бечевкой. — Классиков издаем, конфисковали для этого у лабазников всю оберточную бумагу, — и, вытянув тощую шею, продекламировал высоким голосом:

Эх! эх! придет ли времечко,
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого —
Белинского и Гоголя
С базара понесет? —

И заявил торжественно: — Пришло это времечко.

— Косначев стихи сочинил? — степенно осведомился Тима.

Осип Давыдович развел руками:

— Боже мой, ты стал совсем невежественным человеком! — и, с ожесточением царапая грабштихелем сизую пластинку, брезгливо забормотал: — Если в подпольных изданиях некоторые отпечатки клише походили на оттиски грязных пальцев, то теперь клише должно быть, как гравюра. Иначе нужно снять шпигель «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и поставить «Позор, товарищи печатники!». Подняв пластинку и любуясь ею, сказал одобрително: — Теперь, кажется, ничего.

— Осип Давыдович, — напомнил о себе Тима, — я же за брошюрами пришел.

— Ах, ты еще здесь, темный человек! — притворился удивленным Изаксон и спросил высокомерно: — Позвольте узнать, зачем вам литература, когда вы так далеки от нее?

— Это не мне, а рабочим, — объяснил Тима.

— Рабочим, да? Им это интересно. А тебе больше нравится играть в чух-навар на улице, чем читать книги? — иронизировал Осип Давыдович, вытаскивая из-под верстака зашитые в рогожу тючки.

Уложив брошюры в санки и обвязав их толстой веревкой, чтобы по дороге не вывалились, Тима вернулся в типографию и сказал:

— Осип Давыдович, я же уезжаю, — и прибавил трагическим голосом: — Насовсем.

Осип Давыдович встал, вытер руки о халат, взял Тиму за щеки, долго смотрел ему в лицо добрыми усталыми глазами, наклонился, поцеловал в лоб. Потом вдруг ни с того ни сего рассердился, замахал руками и закричал:

— Ну и ступай, ступай! Мне пельзя сейчас расстраиваться. Надо работать, а когда дрожат руки, какая это работа!

Когда Тима уже был в дверях, Осип Давыдович снова крикнул:

— Завидую! Вместо городишки, набитого мещанами, ты увидишь настоящий пролетариат, гордость рабочего класса — шахтеров, — и еще раз произнес дребезжащим голосом: — Завидую!

Тима вез санки, нагруженные тючками с брошюрками, и размышлял над словами Изаксона. Почему Осип Давыдович так нехорошо отзывался о городе, который Тима любил и которым гордился? Ну, пускай нет водопровода и канализации. Ну и что ж? Зато есть пожарная каланча. Нет каменного театра? Зато построили Народный из досок. Правда, папа говорил, что этот театр похож на сарай, а ложи в нем — как стойла. Но зато много места, и когда устраивают сеансы синематографа, то в середине картины пускают всех, у кого нет билетов. Раньше, при царе, в синематографе «Фурор» специальный человек читал публике надписи. А теперь все сами их вслух читают, — значит, выучились и обходятся без специального человека. И Клуб просвещения есть. В отстроенном военнопленными Доме общества содействия физическому воспитанию Косначев открыл Народную художественную академию.

Возле всех советских учреждений заборы побелили известью, и каждое воскресенье студенты Художественной академии рисуют на заборах карикатуры на мировую буржуазию.

Да мало ли хорошего, замечательного в его городе! Разве всё перечислишь? А вот на шахтах, там, наверное, ничего нет. Живут в землянках, хуже чем на заднем дворе

в Банном переулке. И весь день сидят под землей и только откалывают уголь кирками. А когда вылезут наружу, уже ночь.

«И потом, что значит: мещанский город? Конечно, не всем тут Советская власть нравится, особенно тем, кто при царе хорошо жил. Потом понаехали всякие, кто из России от революции бежал. Но у нас тоже свой пролетариат есть, и не хуже их, шахтерского, — обиженно думал Тима. — Рабочие с затона — раз, кирпичники — два, с лесопилки — три, пимокаты да всякие промысловые — четыре... Да мало ли! Революцию-то они в городе делали. И не хуже, чем у других, получилось». Нечего завидовать, что Тима уезжает на рудники, пожалеть его надо! Сколько у него тут товарищей всяких, друзей, и никогда он их больше не увидит, никогда!

И Тима так расстроился, что стал шмурыгать носом от волнения.

Дыхание весны ощущалось уже во всем. Снег потемнел, запекся стеклянной коркой. С крыш свисали остроконечные сосульки. Отваливаясь, они вонзались в сугробы прозрачными клиньями. Небо было чистое, глубокое, и когда подымешь лицо, солнце слепило. На завалинках обнажилась сухая глина, и в канавах вкрадчиво журчала мутная вода. Только ночью весь город застывал в стуже и хрустел льдом. Утром его снова заливало теплыми желтыми солнечными лучами, будто потоками нагретого постного масла, а сугробы с протеками выглядели словно мешки с водой.

В конном дворе готовили подводы для обоза Сапожковых.

На сани поставили телеги со снятыми колесами. Соорудили из бересты будки, чтобы в дороге, если пойдет снег с дождем, было где прятаться. С полозьев саней содрали железные полосы, потому что сани придется бросить посреди дороги и дальше ехать в телегах, а железа в городе не хватает и из него можно сделать что-нибудь нужное.

Хрулев озабоченно говорил Тиме:

— В самый распуток едете. В такое время ямщики и те дома сидели. Каждая падь — море-океан. Искупаться вместе с конями можно.

Лошадей, предназначенных для обоза, Хрулев велел освободить от работы и даже приказал, кроме сена, выдавать им овес.

Теперь Хрулев был самым главным в транспортной конторе.

За то, что контора свезла хлеб для четырех железнодорожных составов, отправленных в Россию, Совет дал ей красное знамя. Оно стояло у Хрулева в сторожке.

Ветеринар Синеоков работал в конторе, но получал в четыре раза больше жалованья, чем Хрулев, потому что он беспартийный, а если бы был партийный, то получал столько же, сколько папа, мама, Рыжиков, Витол и все другие коммунисты. Тиме очень хотелось, чтобы Хрулев дал для обоза Ваську, но Хрулев сказал:

— Кони должны быть как звери и хоть вплавь, а обязаны вынести возки из затопленных падей, а у Васьки и характера нет, да и слабый он.

Всю упряжь Хрулев проверял сам, дергая изо всех сил в разные стороны сыромятные ремни.

В конторе рабочие тоже с большим уважением отзывались о шахтерах, к которым поедет Тима.

— Стойче шахтерского народа на свете нет. Самая кость рабочего класса,— говорили они.

А Коля Светличный рассказал:

— На них в девятьсот пятом казаки с пиками бросились, а те обушками как начали махать, так пики, словно жерди, во все стороны полетели. Побили казаков... А казнили шахтеров после так: поставят спиной к стволу шахты и со штыком на них. Шахтер зажмурится, закричит: «Да здравствует революция!» — и прыгает, как в пропасть, в ствол... Не желали, значит, позволить себя заколоть.

Перед самым отъездом выяснилось, что у мамы совсем изодралась беличья шубка, и Тима вызвался снести ее к скорняку Мустафе Мурзаеву, которому когда-то Витол отдавал Тиму «на сохранение».

Мурзаевы встретили Тиму радостно. Зиха не спускала с него глаз, но Тима был озабочен маминой шубой и вовсе не думал о Зихе. Дернув его за рукав, она спросила сердито:

— У тебя не болит больше палец?

— Какой палец? — удивился Тима.

Зиха грустно посмотрела Тиме в глаза, и вдруг он почувствовал, что у него горят уши. Он вспомнил, как Зиха надрезала себе и ему палец, и когда они помазались каплями крови, шепнула дрожащим голосом:

— Теперь мы с тобой навсегда кунаки, да?

А он про это забыл, совсем забыл. Вот тебе и кунак! Ах, как нехорошо получилось!

Бабка развернула мамину шубу и, морщась, сокрушенно покачала головой:

— Плохой, старый вещь.

— Пожалуйста,— попросил Тима,— будьте добреньки, а то мы уезжаем насовсем, и маме будет холодно ехать. Попросите Мустафу.

Бабка посмотрела на Тиму ореховыми глазами и произнесла важно:

— Мустафа теперь мехом не занимается.

— А что же он делает?

— Он большой начальник,— сказала бабка.— Ездит по деревням, овчины покупает в России: красных солдат одевать.

— Так как же быть?

Бабка снова тщательно осмотрела мамину шубу, растопырила ее на руках, сказала еще раз:

— Плохой вещь,— потом, бросив в угол, заявила, отряхивая с себя линяющую беличью шерсть: — Ничего, сделаем,— и, подав Тиме сухую сильную, оплетенную тонкими желтыми ремешками мускулов руку, успокоила: — Ступай, все будет как надо.

Но Тиме не хотелось уходить, и он все искал глазами Зиху, надеясь, что она проводит его до калитки и тогда он все объяснит ей.

Тима сказал громко, глядя на занавеску, отделяющую женскую половину комнаты:

— Насовсем уезжаю,— подумал и добавил: — Я ведь не только шубу починить, я проститься тоже пришел.

— Ну и хорошо,— равнодушно сказала бабка.— Прощай, пожалуйста.

Тима постоял посреди комнаты, вздохнул, понурился и побрел к выходу. У двери оглянулся на занавеску. Занавеска колыхнулась, и Тима заметил, как в складках материи исчезла маленькая рука с тоненькими пальцами, такими сильными и проворными,— они когда-то ловко хватали для Тимы с большого горячего медного подноса самые вкусные, обжигающие куски маханины. И опять в сердце Тимы вкралась жгучая тоска расставания, расставания с прежней жизнью, в которой было столько хорошего. Видно, Тима как-то не совсем сумел еще понять и оценить это хорошее. Вот он, по правде говоря, совсем позабыл про Зиху. А с какой радостью он принял когда-то заботли-

вую дружбу Мурзаевых и как легко позабыл об этом! И если бы не мамина шуба, он даже не пришел бы к ним. Ах, как нехорошо, как стыдно!

Тима уходил из Заозерья, где жила татарская беднота, негодуя на себя. Перед его глазами все время стояло смуглое, словно кедровый орешек, лицо Зихи с длинными печально вопрошающими глазами. Какой палец он тогда надрезал? Тима снял рукавицу и стал рассматривать кончики пальцев. Но ни на одном не осталось даже следа от шрама, даже самой незаметной белой полоски. Значит, нет ничего на память о Зихе, ничего...

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

И вот наступил этот и горестный и радостный день отъезда.

Ямщик Карталов, коротконогий, короткорукый, с толстой шеей, повязанной чистым полотенцем, и широченной выпуклой спиной, упираясь ладонями в бок коня, вдруг почти без усилия пошатнул его и сказал небрежно:

— Хлипкий. А с чего? Солому жрал — с этого. — Задирая губу коню, поглядел в пасть. Определил: — Четырехлеток. А глаз у него унылый. Печальный конь. А конь без стати — корова. — Серdito потолкал носком валенка в брюхо: — Распузился, — и пообещал: — Ничего, я ему жизни дам.

— В транспортной конторе лошадей бить запрещено, — сказал Тима начальническим тоном.

Карталов поглядел на Тиму через плечо и ничего не ответил. Тяжело ступая, он подошел к пристяжному коню, долго озабоченно осматривал его, потом задрал поддевку, вынул из кармана складной нож, собрал в складку кожу на плече коня и проткнул ее ножом.

— Вы что делаете? — закричал отчаянным голосом Тима.

Карталов набрал в горсть снега, вымыл им руки, вытер о подол поддевки, потом отрезал прядь конского хвоста, быстро сплел из нее косичку, продел сквозь разрез в коже, завязал узлом и затянул узел зубами. Оглядев с удовольствием свою работу, снова вымыл снегом руки. Затем пояснил:

— А это, милок, называется «заволока». Ею, значит, оттягивают боль и кровь с другого поврежденного, хворого места.

— Папа, — взмолился Тима, — смотри, что он с конем сделал!

Папа подошел, взглянул, задумался и произнес неуверенно:

— Я не сведущ в ветеринарии, но, в сущности, такой способ лечения возможен. Нечто подобное применяется в китайской медицине путем уколов и прижиганий трупом. — Он спросил Карталова: — Вы обнаружили у лошади заболевание?

Карталов громко высморкался и сказал смущенно:

— Пухлец. — И ткнул пальцем в холку коню.

Папа снял очки, наклонился и заявил:

— Явная опухоль вследствие воспалительного процесса. Но не могу судить о методе лечения, — потрогал осторожно пальцем волосяную петлю, продетую под кожу коню, и посочувствовал: — Все-таки это очень болезненно.

— Ничего, — почему-то обрадовался Карталов и успокоил: — А так конь надежный. Видали, грудка-то!

Когда папа отошел, Карталов спросил Тиму:

— Твой? — и тут же одобрил: — Уважительно с человеком разговаривает.

Тиме казалось, что папа поступает неправильно, одинаково разговаривая со всеми людьми, словно все они знают то, что знает и папа. Например, услышав от кого-то, что Хрулев — мастер по обжигу кирпичей, папа стал длинно рассказывать ему, что древние русские мастера добавляли в кирпич белок, а египтяне — творог, и от этого стены из такого кирпича сохранялись многие сотни лет.

Хрулев слушал, насупившись, и, казалось, только из вежливости кивал головой. Но потом, когда папа пошел посмотреть, как увязали его корзину с книгами, Хрулев оглядел рабочих, с недоумением слушавших папу, и спросил высокомерно:

— Слыхали? Наш, партийный. Сколько всего знает, а? Не при себе держит, для людей книжки-то читал, не для себя, — и пригрозил Карталову: — Какого человека тебе доверяем! Смотри! В случае чего, башку отверну.

— Понятно, — без всякой обиды согласился Карталов и добавил задумчиво, оглянувшись на Тиму: — Умственный.

Тиме было очень приятно слышать такое про папу. Выходит, то, что папа всегда одинаковый со всеми, — очень хорошо и вызывает не насмешку, а одобрение. А вот сам Тима, помогая запрягать коней, старался говорить натушливым, низким голосом и грубо, по-извозчиьи ругал

коня, когда тот пучил брюхо, не давая затягивать подпругу. Только вчера Белужин, услышав это, сказал презрительно:

— Ты чего тут пыжишься? Кого из себя строишь? По губам за срамные слова дать надо. При таком родителе состоишь, а с чужих людей навоз на себя огребаешь. Выходит, глупый, не в отца пошел. — И прогнал от упряжки.

Но сегодня папа разговаривал со всеми так много оттого, что был счастливо взволнован, что едет вместе с мамой и Тимой. И, словно стыдясь своего счастья, избегал смотреть на маму.

Ян Витол говорил папе наставительно:

— Ты, Петр, сам должен проявить твердость характера. А он у тебя... — И Ян сделал враждебное движение рукой.

Папа обиделся:

— Характер человека создается помимо его воли, в зависимости от обстоятельств.

— Вот, вот, — пригрозил Ян, — горняки из тебя всю мягкотелость вышибут. Они — не я.

Эсфирь говорила маме:

— Как проведешь тарифно-расценочные работы, сейчас же пришли все статистические данные. Мы без них как без рук.

Мама сказала:

— Слышала уже десять раз. После тифа тебе вредно так долго на ногах быть, дай я тебя поцелую, и уходи, — добавила капризно: — Не люблю я все эти прощальные церемонии.

Папа оглянулся на Эсфирь и сказал ей, наверное только для того, чтобы она не уходила:

— Случаи летального исхода при заболевании тифом сейчас сократились в силу того, что при новом эпидемическом цикле значительно ослабели ядовитые силы возбудителей болезней.

— Скажите пожалуйста! — иронически усмехнулась Эсфирь. — А я-то думала — потому, что ты стал комиссаром охраны народного здоровья.

Подошел Федор. Поздоровавшись со всеми, он вдруг ни с того ни с сего торжественно сказал, скашивая глаза на Эсфирь:

— Наш лозунг должен быть один: учиться военному делу! Это сказал Ленин неделю назад на Седьмом съезде. Так как теперь, — повернулся он к Эсфире, — будешь урезать пайки курсантам?

Эсфирь только плечами пожала.

— Во-первых, я теперь не штатская гражданка: как тебе известно, все коммунисты записались в Красную Армию. Во-вторых, пайки еще больше урежем, чтобы у тебя был фонд на случай чрезвычайной надобности.

Федор покраснел от удовольствия и примирительно спросил:

— Ну как, по моему способу пить рыбий жир легче?

— Я все делаю только по-своему, — непримиримо отрезала Эсфирь.

Федор печально съежился, потом, увидев Тиму, позвал его и дал ему обойму тонких японских патронов, только вместо пуль в них воткнуты были очиненные цветные карандаши.

Тима протянул разочарованно:

— А я думал, они настоящие...

Пыжов одобрительно посмотрел на карандаши.

— Мы ими на карте пометать будем, где какие минералы размещаются. Отличные карандаши — Фабер.

Все ждали Рыжикова. Асмолов в дохе, ушанке и в длинных чесаных валенках, стоя в стороне, целовал молча руку жене, припадая губами, словно к флейте.

Все подводы были уже готовы. А Рыжиков все не появлялся. Не пришел и Савич.

Эсфирь сказала:

— Ну что ж, присядем, по обычаю.

И все стали рассказывать кто на бревна, а кто на сани.

Вдруг Тима увидел Нину Савич. Она робко подошла к маме и сказала смущенно:

— Папа просит извинить и сказать, что он болен, — смутилась, покраснела, подошла к Тиме и произнесла строго: — Пойдем, я тебе что-то скажу.

Тима остановился возле конюшни.

— Нет, туда.

Вошла в конюшню, повернулась, подняла на Тиму глаза.

Из прорези окна конюшню пересекал столб света, и в нем роились тончайшие, словно из голубого стекла, пылинки. Нина закрыла глаза, веки ее вздрагивали.

Тима вытянулся и бережно поцеловал ее в дрожащее веко. Нина на мгновение сжалась, сказала, не открывая глаз, повелительно и сердито:

— Уходи! Ты меня поцеловал просто так, для памяти, — и сказала твердо: — Иди.

Тима покорно ушел, подавленный и печально-счастливый. Во дворе он остановился, ослепленный светом, от

которого ломило глаза, и казалось, что от него нельзя никуда уйти.

Мама сердито закричала на Тиму, что он всех задерживает. Тима подбежал к саням, влез на них и уселся между папой и мамой. Ворота распахнулись, сани одни за другими потянулись на улицу.

Еще до отъезда Тима обещал себе: как будет проезжать в последний раз через город, обязательно постарается запомнить на всю жизнь дома, улицы, переулки, высокую деревянную каланчу с деревянным шпилем на крыше, где на железном коромысле вывешивали шары, когда бывал сильный мороз.

Но сейчас, как он ни старался держать глаза широко открытыми, он ничего не видел: перед ним стояло только печально склоненное лицо Нины с вздрагивающими веками и токлись блещущие пылинки в косом голубом луче.

У самой заставы обоз нагнал Рыжиков. Он стоял на дровнях, держась рукой за плечо возчика, и кричал:

— Стой! Подождите!

Обоз остановился.

Рыжиков соскочил с дровней, спотыкаясь подбежал к саням, где сидел Тима с папой и мамой, вытер смятой варежкой пот со лба.

— Вот что, Варвара, — еще задыхаясь от быстрого бега, заговорил он. — Савич отказался возглавить статистическую группу уездного совнархоза. Обиделся, видишь ли, что пост мал. Не по самолюбию. Так что слезай, ты остаешься.

Лицо папы побледнело, некрасиво вытянулось, и он произнес растерянно:

— Постой, как же это так?

— Ничего, мы еще с ним поговорим в укоме, — утешил папу Рыжиков.

— Но, Варенька, собственно... — бестолково забормотал папа. — Собственно, она... Она же должна там руководить тарифно-калькуляционной комиссией. Это, знаешь, такое дело...

— Знаю, — нетерпеливо сказал Рыжиков. Потом стал упрашивать: — Ну, Петр! Мы же не насовсем ее забираем; закончит работу — доставим по сухому на колесах. — Топнул по ледяной корке: — Видишь, тает? Намучаешься только по таежной дороге в ростепель. А у ней еще голова как следует не зажила.

— Ну что ж, — сказал папа грустно. — Аргумент существенный.

Мама скороговоркой начала объяснять, что где лежит в их уздах, вытащила свою корзинку, наклонилась, поцеловала папу в усы, потом Тиму в обе щеки и, приказав ни в коем случае не ходить в сырых валенках, а если промокнут, то запасные шерстяные носки засунуты у папы в карман полушубка, села рядом с Рыжиковым в дровни, повернулась, сняла варежку и долго махала рукой.

За городом началась широкая пустынная елань. Занесенные снегом пни торчали, словно кочки в белом болоте. Дула весенняя сырая пурга. Небо погасло, в тусклом воздухе летали влажные ошметки снега. Мерно шлепали копыта коней по бугристой дороге, и колея за ними текла, словно два печальных тихих ручья.

Папа вздохнул, поежился сиротливо:

— Вот, Тимофей, опять остались мы с тобой одни.

Тима шмурыгнул носом и сказал сердито:

— Ты сам маму отпустил, ты! — и неожиданно для самого себя заплакал, уткнулся лицом папе в колени и, вдыхая кислый запах карболки, признался с глубоким раскаянием: — А я еще Нинку Савич в глаз поцеловал, а это из-за ее отца маму забрал Рыжиков. Небось Георгий Семенович Рыжикова не боится, а ты испугался и отпустил маму.

Папа отстранился от Тимы, поднял его лицо за подбородок, повернул к себе.

— Запомни навсегда, — сказал он, сурово глядя Тиме в глаза. — Партии не боятся, в ней не служат. Ей отдают свою жизнь, не щадя себя, для того чтобы жизнь всех людей стала хорошей.

— Но Рыжиков вовсе не партия, — попробовал защититься Тима. — Партия — это же много людей.

— Много людей... Нет, много людей — это еще не партия. Вот когда много людей, одинаково убежденных, действуют как одно целое и в большом и в малом, тогда это партия, — и добавил уже не так сердито: — Вот мама и поступила как полагается коммунистке, хотя ей очень хотелось ехать с нами, — и, погладив Тиму по плечу, пообещал: — Потому, что все большевики действуют, как один, у нас очень сильная партия, и ты увидишь потом настоящий социализм, — и сухо произнес: — А то, что сделал Савич, бесчестно по отношению к партии.

— А зачем вы его туда брали?

— Ну, это не твоего ума дело, — и пообещал угрюмо: — Партия такого не прощает.

Лицо у папы снова стало суровым, но теперь не из-за Тимы, а из-за Савича. Тима, уважительно глядя на папу, спросил озабоченно:

— А револьвер ты не забыл?

Папа осторожно похлопал себя по карманам и сказал:

— Нет, здесь. А что?

— Просто так,— сказал Тима.— В волков пострелять или еще в кого-нибудь.

И Тима стал глядеть вперед, туда, где темным зубренным хребтом вставала за сланью тайга.

Скоро они въехали в тайгу, и к вечерним сумеркам прибавилась угрюмая тень деревьев. Обоз шел лесной дорогой, словно по дну глубокого ущелья, и вершины черных бесхвойных лиственниц глухо скрежетали, будто кованными из железа ветвями.

Мрак становился все более мохнатым, густым, и Тиме казалось, что это не деревья шумят, а угрюмо сопит темнота. Он то засыпал, то просыпался, положив голову папе на колени, и видел белую луну, которая то висела над его лицом, то вползала в толстые тучи, словно для того, чтобы погреться в них.

Потом он обнаружил себя лежащим на полатах, и рядом с ним спал папа, скорчившись, прижав к губам руку, сжатую в кулак. Было еще совсем темно, когда запрягли коней и снова поехали таежной дорогой.

Рядом с санями по снегу бежал на лыжах лесник и весело кричал Карталову:

— У Кривой пади гляди в оба: топко! Там ключи горячче и зимой болотит, а сейчас еще шибче развезло. Если гатить будете, так молодняк не трогайте,— пригрозил: — У меня декрет из волости: кто народный лес губить станет — хватать и, значит, к Советской власти представлять. Вертаться обратно будешь, проверю.

Карталов сердито бормотал:

— Наплодили проверятелей, каждый сучок теперь себя властью почитает.— И свирепо закричал на коней, чтобы обогнать невзлюбившегося ему молодого, недавно назначенного лесника.

Снова тянулась таежная многоверстная чаща бора. Когда обоз ехал горными невысокими кряжами с обнаженными от весеннего солнца и ветра обрывами, Пыжов порой соскакивал с саней и с молотком и берестяной кошелкой бежал к каменной осыпи, торопливо рылся в ней, хватал камни с такой жадностью, как будто это были грибы. Усаживаясь в сани, он раскладывал камни и начинал раз-

бивать их молотком, словно надеялся найти внутри что-то очень нужное и дорогое.

Асмолов перешел в розвальни к папе и сказал, как бы извиняясь:

— Тоскливо, знаете, в одиночестве ехать.

Тима спросил удивленно:

— Так с вами же возчик и Коля Светличный?

Асмолов, не отвечая Тиме, объяснил папе:

— Приятно все-таки: есть возможность поговорить с интеллигентным человеком.

Папа вопросительно поднял брови, но ничего не ответил.

Понуднее усаживаясь в саних и даже несколько потеснив папу, Асмолов произнес благодушно:

— Если позволите, Петр Григорьевич, один откровенный вопрос в расчете на столь же откровенный ответ: вы мне верите?

— Безусловно!

— Но почему?

— Потому что вы талантливый человек, а истинные таланты не могут не быть с революцией.

— Допустим,— полусогласился Асмолов и, сморщив красивое, холеное лицо, сказал: — Еще один, возможно обидный, вопрос. А если бы я оказался вашим политическим врагом?

Папа внимательно, словно незнакомого пациента, оглядел Асмолова и сказал, прищурившись:

— В таком случае инженерное творчество будет столь же враждебно вам, как и вы революции, а это серьезные противники, и они вас не пощадят.

— Благодарю за откровенность,— поклонился Асмолов.

Папа повторил горячо:

— Ведь вы действительно талантливый человек!

— А вы беспощадный!

— Не я, логика,— сказал папа.

Асмолов помолчал, потом заговорил раздраженно:

— Во время русско-японской войны не хватило угля для нашего флота. Во Владивостокском порту запросили Петербург и получили предписание: «Пополнить все недостающее количество кардифским углем». Чудовищно покупать уголь у англичан, когда Сибирь столь им богата. И в эту войну Россия закупала уголь у англичан. Возили через океан, а? А мы тут имеем бассейн в миллиарды тонн, богатейший в мире,— и, сердито глядя на папу, заявил: —

Только побуждаемый любовью к отечеству, я пренебрег некоторыми своими убеждениями и поверил вам, большевикам, что вы подобного не допустите. Вот, собственно, и все мое политическое кредо, — закончил он со вздохом.

Тиме надоело слушать этот совершенно неинтересный разговор, и он перебрался в сани к Пыжову.

Пыжов приказал сердито:

— Сиди смирно, а то образцы уронишь. — И жадно придвинул к себе груды грязных камней.

Сидя спиной к лошади, Тима смотрел, как медленно отползает назад таежная чаща, и тоскливо думал, что никому до него нет дела и папа, выходит, не очень уж сильно любит маму, раз с таким увлечением разговаривает с Асмоловым, вместо того чтобы разговаривать с Тимой о маме, которая осталась теперь совершенно одна.

Печальные версты пути все больше и больше отдаляли Тиму от мамы.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

На третий день обоз остановился на прииске, расположенном на дне глубокой болотистой пади.

Железное сооружение драги плавало посреди болота, и канаты с ее бортов были прикручены к стволам деревьев.

Вопреки тому, что обычно в это время года большие промыслы не работали и только старатели, разведя огромные костры, нетерпеливо отогревали каменисто застывшую землю, прииск оказался действующим.

Долговязый сутулый человек с черными точками вокруг глаз и у крыльев носа отрекомендовался:

— Говоруха, — и извиняющимся тоном объяснил: — Не золотишник, по углю забойщик, — разведя руками, пожаловался: — Разбеались хозяева, оставили всё без призора. Ну, меня ребята и послали сюда комиссаром. Собрал маленько людишек, вот и колуемся.

— А как добыча? — строго спросил Асмолов.

Говоруха пожал плечами и пригласил:

— Поглядите, если понимаете.

Перебрались по гати на драгу, вошли в дощатую будку; в углу стоял деревянный, крашенный охрой сундучок. Говоруха с усилием выдвинул сундучок на середину пола, раскрыл, вытащил оттуда скомканное белье, портянки. На дне сундука, в большом железном тазу, была насыпана куча грязного песка.

Асмолов запустил в нее руку и, просматривая на ладони песок, произнес удивленно и почему-то укоризненно:

— Золото! — и тут же поспешно спросил: — Сколько весом?

— Не знаю, — сконфуженно признался Говоруха. — Гири спер кто-то до нас. И хоть бы одну, подлец, оставил: мы бы по ней весь разновесок сделали. А то вот, глядите, чем отмериваем, — и показал рукой на гайки, болты, скобы, валявшиеся на полу. — Вот чем меряем. А сколько в них весу, в точности не знаем.

— Но ведь это же безграничные возможности для хищений!

— Зачем хитить, — сурово возразил Говоруха. — Нам хитить ни к чему. Захотели б, и так набрали. Но за такую хотелку мы вон какую памятку ставим, — и показал рукой в окошко на глиняный бугор, где торчал белый, сколоченный из березы крест. — Хоть и вор оказался, но похоронили после уважительно, по-православному.

— Что это значит «после»?..

— Ну, чего не понимаете? — угрюмо сказал Говоруха. — Вы не думайте, что мы просто так. Избрали, кто судить его желает. Ну, те и порешили. Люди обыкновенные: раз честь и доверие им оказали — значит, засудили по совести, по-шахтерски.

Тима испуганно смотрел на этого человека, спокойно и почти равнодушно рассуждающего о таком ужасном случае.

Говоруха услышал сопение Тимы, оглянулся, присел на корточки, хотя Тима вовсе не был таким маленьким, и сказал добрым голосом:

— Гляди, ребята, паренек! — и поспешно стал рыться в сундуке, выбрасывая из него еще какие-то тряпки; потом достал бумажный сверточек, подал Тиме: — Вот, милоч, тебе угощение, самое сладкое.

Тима развернул сверточек. В нем оказался солодовый пряник, мохнатый от плесени. Говоруха, восторженно глядя на Тиму, похвалил:

— Хороший парнишечка, крепкий, — потупился и произнес тихо: — А мой помер. С воды гнилой помер. Такая беда... — помолчал, потряхнул головой, подошел к Асмолову. — Гляжу, на вас шуба богатая, подумал, из этих самых, из инженерии, а как вы стали сердито спрашивать, не ворует ли золотишко, которое, значит, теперь народное, — догадался. Ага, думаю, шуба-то это не его, а казенная, на дорогу выдана. А человек наш, строгий.

— Вы ошибаетесь,— сказал Асмолов.— Это моя собственная шуба, а по профессии я инженер.

— Да ну? — растерянно не то переспросил, не то удивился Говоруха и, оглянувшись на папу, словно ища у него помощи, сказал: — Значит, того, обмисурился.

— Товарищ Асмолов,— сказал папа строго,— предложил нам новый способ добычи угля.

— Вот это хорошо! — обрадовался Говоруха.— Это, как говорится, весьма приятно,— и, сняв шапку, вытер с табуретки пыль. Предложил Асмолову: — Пожалуйста, садитесь. Будьте, так сказать, любезны.

Нырнул под койку, долго оставался там, а появился снова с начатой бутылкой водки, заткнутой сосновым сучком. Налил в кружку, подал Асмолову и, кланяясь, сказал:

— Со счастливым приездом! Будьте в полном здравии!

— А вы? — спросил Асмолов.

— Благодарствую. Не принимаю, поскольку закон сам установил. Держал для случаев каких торжественных или захворает кто, так лекарство.

Асмолов поставил кружку на стол.

— Нет, уж будьте любезны,— повелительно сказал Говоруха.— А то обидите.

Асмолов, зажмурившись, выпил и замахал рукой.

— Значит, прошло.— Говоруха, заткнув бутылку сучком, спрятал ее снова под койку. Надевая шапку, предложил: — А теперь поглядите, как мы тут справляемся. Только уж вы не при людях лайте, если чего не так,— и напомнил: — Я ведь не золотишник, шахтер обыкновенный. Полного соображения не имею.

Тиме велели оставаться в будке. А чтоб ему не было скучно одному, Говоруха приказал старику с хитрыми маслянистыми глазами, молчаливо просидевшему все это время в углу:

— Ты, Никита, побудь, расскажи городскому всякие байки, ты на них мастак.

— Могу,— сказал Никита,— только ты табачку для разговору оставь. Свой я для своего дела держу.

— На, сквалыга! — Говоруха бросил на стол большой ситцевый кисет, туго перетянутый оленьей жилкой.

— Лапушкин,— отрекомендовался старик торжественно и протянул Тиме бугристую от мозолей руку.

Тима пожал эту руку со скрюченными, видно уже не выпрямляющимися пальцами, подумал и сообщил:

— Сапожков.

Лапушкин присел на корточки, хлопнул по коленям и громко захохотал, вытирая тыльной стороной ладони глаза. Откашлявшись, спросил:

— А ты чего не хохочешь?

— А зачем?

— Да как ловко мы с тобой ручки друг другу подали, все равно как баре. — Предупредил строго: — Ты меня, конечно, слушай, но в случае чего брехать не мешай.

— А вы правду рассказываете, — посоветовал Тима.

— Ишь чего захотел, правду! — Лапушкин поднял на Тиму глаза, вдруг оказавшиеся поразительной голубизны и такие чистые, какие бывают только у детей. Но глаза эти глядели словно из ран. Веки были воспаленные, красные и гноились.

— Ты правды не проси. Она, брат, хуже волка, правда эта самая. Но ты не бойся. Как правда шибко заскребет, я ее по шее да обратно, в мешок, — и пояснил добродушно: — Она чем дерет? Тем, что ничего особенного, жизнь обыкновенная, а от непривычки слушать про такое, может, и того... — наклонившись к Тиме, сказал: — Ты, верно, думаешь, про то буду сказывать, как людишек земля пришибает или как наши золотишники да старатели убиваются? Об этом разговору не будет, потому обыкновенное дело. Кого обвалом придавит, кто песком или пливуном захлебнется — у каждого своя способность смерть принять. А она одна на всех, матушка-избавительница. Хоть тебя в лепешку глыбой враз расшибет али в забое засыпанном долго, медленным часом ее ждешь — тут все едино. У каждого свой манер к ней, — подмигнув, спросил: — Это что же: выходит, твой папашка комиссаром по здоровью для людей назначен? Целый ящик лекарств всяких Говорухе за так отдал. — Лапушкин потер воспаленное веко согнутым пальцем, заявил: — Говоруха не наш, не сибирский. С Донбассу по девятьсот пятому. До сих пор ноги в ростопырку ставит. Привык к цепям-то.

— Он каторжником был?

— У нас каторжных золотишников не так чтобы много, а вот кто уголь рубает, те почти все перед царем виноватые.

— А вы что, за царя были?

— Это я-то? — удивился Лапушкин. — До него, как до бога, а вот исправника зарезал, было такое дело, — сказал он просто. — А на царя нешто с ножом пойдешь? Его из пушки и то не пробил. Матросы, говорят, палили, и ничего. — Задумался, пожевал губу. — Золотишко, оно всему богатству начало. Наше дело хошь и тяжелое, зато душу

гreet. Вдруг на жилу напорешься, ай самородок с пуд, тут, милоч, мечта. Сразу в баре скок.

— Кто-нибудь находил?

— Так про то и разговор. Было. Но ежели ты на кабинетских приисках — значит, царю принадлежащий или промышленнику. Тут прибыль короткий. Получай с тысячи пудов породы полтора целковых, либо поденно за сорок копеек, либо по семишнику, или там по пятаку за сажень, смотря какая порода. Золотишникам, тем с чистой добычи платили, те всегда в артели. А старатели — дикие, на себя. Но ежели пофартит, тут их сейчас законом по шее. Из богатой породы на скудную. А как же иначе? Земля-то либо царская, либо у купца в откупе.

— А вы?

— Чего я?

— Вы-то сами золото находили?

— Так пайти — что! Ты его унеси потаенно, да еще через всю тайгу. Присковая полиция тебя всего оглядит. Стражники на конях нагонят, и тоже, хоть зима, а раззуют, разденут, да еще нагнуться заставят.

— Это зачем?

— В кишку себе тоже прятали. В карман-то его не положишь. Потом опять же кабаки. В них во всех от промышленника сыщики. Выпьешь, сколько возможность позволяет, а он тебя всего оглядит, ощупает и, где надо, ножичком одежду подпорет. Умственный народ, понимал, где искать.

— Ну, а если тайгой идти?

— Ходили. Напрямки. Но ведь исть, пить надо! Зимой по снегу долго не пройдешь, а летом с прииска не уйдешь: стражники на конях или опять же с ружьем да с собаками.

— Зачем же вы тогда на прииски нанимались?

— А обман для чего был? — удивился снова Лапушкин. — Начнет тебя приказчик окучивать, развесит уши, ну и ставишь крестик на бумажке. А после так получалось: сведут тебя с другими такими же под стражей на прииск, а он, видал, в самой глухомани. Выкопаешь нору в земле и спишь в ней, а остальная жизнь тоже в земле, в забое. Харч в приисковой лавке по ярлыкам берешь, а он, скажем, так: ежели в жилом месте, то крупа — фунт гривенник, а тут три. И все прочее так же. Опять же водка, ее тоже по ярлыкам давали. А нам без ее нельзя. В мокром забое зимой работаешь, а после по морозцу до балагана пробежишь, все на тебе корой ледяной застынет. Примешь косушку, вот на душе и полегчает маленько.

А как зачнут расчет делать, глядишь — не тебе, а с тебя причитается. Контора не на приiske была, в селе богатом. Придешь в контору за получкой, ну, тут, я тебе скажу, словно на пасху, все наряжалось. На избах флаги висят, на оконцах плошки с огнями выставлены. Зазывают. Потому каждая изба в этом селе — тайный кабак.

Гуляли. Народ мы бессемейный, оберегать себя незачем, чуть что, пошли в пожики. Я-то, конечно, смирной, только шкворень при себе железный держал, чтобы уговорить кого, если, значит, полезет. Погуляешь как следует быть... очнешься,— рыло в крови, одежи нет, ноги босы; пойдешь в одном исподнем до приказчика на новую кабалу крест ставить, чтобы, значит, до нового светлого воскресенья породу долбить.

— Зачем же вы пропивали все? — возмутился Тима. — Значит, сами виноваты, что денег не было.

— Ишь ты какой старого времени заступник! — сощурился Лапушкин. — Зачем? А ежели душа горит, что из кабалы да обману ходу нет, все равно как из штольни обрушенной? Царскими законами нас так укоротили: в бега уйдешь — по всем волостям стражники рыщут и все равно вернут, только не вольным, а уж каторжным.

— А вы бы бунтовали,— посоветовал Тима.

Лапушкин задумался.

— На моем веку много всякого было. Но по-сурьезному началось с тех годов, когда к нам стали с Донбасса да с Урала в рудники горняков ссылат. До этого тоже политические были, но так, образованные, хлипкие. Не успеешь с ними по душам поговорить, уж вверх ногами его из ствола на-гора качают. Мерли шибко. А донбасские да уральские, хошь и политические, а свой брат, горняк трехжильный. И уголек рубали крепко, и мозги нам переворачивали как следует быть. Уголовных они, хошь тех и больше было, в узде держали. Образованные политики по рылу дать стеснялись, а донбассовский для начала накомстыляет, потом свою же шапку утереться даст и разъяснит: мол, мы хоть и каторжные, а братья, с одного рабочего класса,— похвастался: — Шахтеры у нас еще до губернских революцию сделали, вроде как наравне с Питером, а уж после них мы, золотишники, за хозяев взялись.

— Вы же про страшное рассказывать хотели,— напомнил Тима.

— Про страшное? — спросил удивленно Лапушкин. — Ты про это у пугливого спрашивай, а среди горняцкого народа таких нет. — Хитро сощурился и осведомился: — Го-

ворят, большевики богатство всякое осуждают. Куда же золотишко теперь, раз оно богатству первое начало? В отвал свалить?

Вспомнив презрительные слова Пыжова о золоте, Тима сказал глубокомысленно:

— Есть и подороже золота кое-что.

— Правильно, — вдруг с готовностью согласился Лапушкин. — Человек в цене поднялся. Не велит Советская власть больше восьми часов упряжку тащить.

— В упряжке только лошади ходят, — солидно заметил Тима.

— Верно, — снова согласился Лапушкин. — Слово это на труд легло, когда человек скотиной у хозяев считался. Привыкли к слову-то, хоть и обидное. — Зевнул, потянулся и спросил снисходительно: — Ну, а в городе, там как у вас, тоже все по-нашему? Там рабочих раз, два — и обчелся, а богатеев хошь пруд пруди. Небось зубы на нашу власть точат?

Покрытые болотной грязью, на драгу вернулись папа, Асмолов, Пыжов и Говоруха. Рассевшись на койке Говорухи, стали обсуждать, что надо делать на приiske.

Асмолов ругал Говоруху за то, что неправильно ведется забой, и сердито чертил на бумаге карандашом, как надо проходить россыпь. Говоруха кряхтел и оправдывался:

— К угольку я привычный. А тут путаюсь, — потом осведомился: — Как золотишко, ничего, которое намыли? Чистое?

Асмолов развел руками:

— Без анализа определить не берусь, нужно взять образцы.

— Так возьмите, — обрадовался Говоруха. — Сколько вам отсыпать?

— Ну, скажем, золотишков пять-шесть.

— Так хоть фунт берите.

— Да вы понимаете, что такое фунт золота? — сердито спросил Асмолов. — Это ж целое богатство.

— А чего ж тут такого? — обиделся Говоруха. — Вы нам доверились, а мы вам. Что же, фунта золотишки поверить не можем?

— А пуд? — криво усмехнувшись, спросил Асмолов.

Говоруха задумался. Потом стукнул кулаком по столу:

— И пуд можем.

— Ну, ну, — строго сказал папа. — Вы эти купеческие замашки бросьте.

Говоруха сконфузился, но тут же справился со смущением.

— Я ведь к тому, что свой инженер для нашей власти сейчас дороже золота, — примирительно сказал он. — Так, значит, отвечу?

— Да, — кивнул Асмолов и придвинул к себе бумагу: — Значит, пишу расписку на пять золотников, взятых для произведения анализа.

— Вот это не получится, — растерянно объявил Говоруха, — разновесу-то нет.

— Так как же быть?

— А вот, значит, таким манером напишите: «Получено золотишка весом гайки с болта семь восьмых», — и объяснил: — Мы на них счет ведем.

Асмолов стал писать, пробормотав:

— Анекдот! И это в двадцатом веке! Абсолютный анекдот.

Говоруха достал из-под койки самодельные весы и, держа их на вытянутой руке, стал сыпать деревянной ложкой на оловянную тарелку золотой песок. На другой тарелке лежала ржавая гайка.

Папа говорил, продолжая записывать что-то в тетрадку:

— Значит, товарищ Говоруха, я вам оставлю краткую запись, нечто вроде домашнего лечебника; будете пользоваться им до открытия здесь фельдшерского пункта. В ближайшее время проведете День здоровья, о чем я сегодня сделаю доклад после собрания коммунистов. На этом же собрании выступит Юрий Николаевич и поделится замечаниями чисто технического порядка.

Сдерживая дыхание, Говоруха держал на вытянутой руке весы, потом заявил:

— Ну, кажется, в тютельку. Куда ссыпать? — Не дожидаясь ответа, взял свой кисет, вытряхнул из него махорку на стол, накренил над ним тарелку с золотым песком, потом туго завязал оленьей жилой и протянул кисет Асмолову: — Извините, махрой вонять будет, но зато не просыплется, — и грустно сообщил: — Жинка шила. Но как парнишка помер, она все не в себе была, оступилась в старую выработку и утонула. Вот и осиротел разом.

Асмолов ничего не ответил, а папа сказал расстроенно:

— Нужно было бы вам желоб с ключевой водой провести.

— А когда? — вздохнул Говоруха. — Вы думаете, так сразу народ и понял, что теперь всё его? Нас сначала только трое партийцев было, сами желоб и сколачивали. А уж

когда народ маленько прояснился, тогда только разом все навалились. А так гнилую воду хлебали, брюхом мучились...

Тиму и Асмолова оставили спать в сторожке. А папа, Говоруха и Коля Светличный после собрания отправились ночевать в приисковый балаган к рабочим.

Утром Лапушкин пришел за Тимой, заявил весело:

— Хошь я и старый, а ты молодой, поводырем к тебе Говоруха меня назначил.

Пока Тима ел картошку, Лапушкин рассуждал:

— Налазался вчера твой папаша по забоям, выше бровей глиной измазюкался. После умылся из ковшика и, не жрамши, на митинг. Там я ему вопрос свой и загвоздил: как, мол, товарищ партийный, в смысле золотишка, ежели, мол, всему оно богатству начало, а вы, значит, против богатства? А он даже не поморгал, будто сам давно за пазухой ответ держал: «Мы, говорит, большевики, желаем освободить человека от грубого животного труда посредством машин. И покуда свои не наладили, будем на стороне за золото покупать. А раз вместо человека машина будет самое тяжелое за него делать, то у человека досуг обнаружится, станет он умнее, сердцем помягче, душой светлее», — и с уважением сообщил: — Баринок этот, инженер, тоже его одобрил, хошь и сказал обидное: «Россея позади всех стран на сто лет отстает, и поскольку на войну царю да Керенскому золотишко шибко надо было, хищно его брали, без науки, а все оборудование обносилось. Значит, еще на пятьдесят отстаем. Надоть, говорит, драгу на ремонт ставить. А золотишко вручную брать». Вот те и освободил! Но ничего. Ребята пошумели, а на голоса решили ставить драгу на ремонт.

Потом Лапушкин вытащил из-за пазухи тряпочку, развернул ее и с гордостью показал Тиме маленькую, тощую, из оберточной серой бумаги книжечку. На книжечке было напечатано размазанными, пахнущими керосином буквами: «Пролетарии тайги, соединяйтесь!» Ниже: «Профессиональный союз горноприисковых рабочих».

Лапушкин сказал торжественно:

— Видал? Выходит, я вроде полупартийный.

В котловане, изрытом гигантскими уступами, по колено в размокшем, вязком грунте работали приисковые рабочие. Шел дождь со снегом, и талая вода стекала туда грязными водопадами. На дне котлована плавали бревна, доски и пенистые кучи снега.

По прыгающим плахам вез тачку с песком старик

китаец, тонкий, с седой головой, обвязанной полотенцем, в широких стеганых штанах, стянутых на щиколотках.

— Здорово, Вася! — сказал Лапушкин.

— Здорово, земляк! — сказал китаец и, присев на тачку, спросил вежливо: — Как здоровье? — и, не дожидаясь ответа, сообщил: — Плохая порода пошла, надо много возить, тысяча пудов — два золотника добыча, — и, задрав тачку, покатыл ее дальше.

— Старательный! — с уважением сказал Лапушкин.

— Почему он вас земляком назвал, ведь он же китаец? — спросил Тима.

— А я и есть ему земляк, — сказал равнодушно Лапушкин. — Годов тому тридцать пять мы с ним на их китайской земле сошлись. Золотишко там на речке Желтуге обнаружилось. Набралось нас там, самовольных русских старателей, немало. И из китайских мужиков, самых что ни на есть бедных, тоже порядком. Сначала, значит, всякое было. Ножижки-то и у них и у нас водились. Но с нами беглые, ссыльные за политику, имелись. Те мирить начали... Собрали всех в одну кучу, избрали из себя совместную власть и суд и даже республикой вольной решились прозваться. Скажу тебе, совсем аккуратная жизнь была, по совести. Но ненадолго свободы этой попробовали. Трех годиков не прожили. Не понравилась наша республика ихним правителям. Подались мы к себе обратно, а на своей земле стали хватать нас казакишки да полиция, кого на каторгу, кого куда. Это за самовольный бег в чужую державу и за то, что там у нас народ собой сам правил. И китайцам нашим тоже за самовольство ихнее попало. Кого насмерть солдаты забили, а кому деревянную колодку либо на шею, либо на поги — и в рудник до конца жизни. А кого не словили, те к нам в Россию побегли. Ну и встречались мы с ним в тайге. Совестно людей не погостевать. Кормили чем могли. А потом дальше повели. Разделились на артели, лет двадцать старательствовали. Не кидать же друг дружку, раз земляками побывали. Вот с Васей мы с тех пор неразлучные, — и похвастался: — Я по-ихнему говорить насобачился. Только при чужих стесняюсь. Больно у них слова на русские непохожие. А так мужики они, как мы, — стожилые и добропамятные. Меня вот с Васей в забое породой завалило, четыре дня нас ребята откапывали. С голодухи я сначала масло из своей лампы выпил, а потом ремень жевал. А Васька понял, что я больше его слабну, из своей лампы мне масло отдал... — Задумался и угрюмо вспоминал вслух: — Хозяева приисков так делали: нам,

русским, рупь за упряжку, а китайцам двадцать либо тридцать копеек. Мы — бастовать, а в России неурожаи раз за разом, голодных тысяча тысяч, только свистни — сразу на работу кинутся как псы. Скитались мы с нашими китайцами по всей Сибири. Но уступки хозяева нам не делали.

Тима спросил взволнованно:

— Значит, вы словно интернационал были!

— «Интернационал» — это песня, — обиделся Лапушкин, — а нам не до песен было. Китаец, он что? Ест самую малость — и сытый. А русский человек без хлеба слабеет. Нас только на самые тяжелые прииски брали, где беглые да каторжные. А вольных охотников не находилось. И на своем харче. На хлеб не хватало и тем, кто полную получку брал, а нам и вовсе.

Глядя, как Вася быстро и ловко семенит с пустой тачкой и улыбается своему земляку, Тима спросил:

— Значит, Вася ваш самый большой друг?

Лапушкин нахмурился и вдруг заявил сердито:

— Друг-то он друг, а вчера меня из-за него на смех подняли. Он у своих китайцев старший. Пришел я к ним в профсоюз записывать, говорю по-ихнему, но вовсе понятно: пишите каждый себя в отдельности, кто вступить желает. А они лопочут: каждому в отдельности нельзя, всех вместе надо. Уперлись, как идолы. Ну и записал я их всем гуртом, в одну книжку: мол, «китайцев тридцать два». И отдал Васе билет. А они что удумали: кто больше тачек свезет, тому в карман билет этот общий. И на тачку фонарь со свечкой...

В котловане медленно шевелилась сырая серая мгла, чавкали лопаты, звякали кайла, скрипели колеса тачек, из щели дощатого сарая мойки текла бурая вода. Жирная глина расползалась под ногами. Огромные серые валуны торчали из земли, словно кости гигантских ископаемых. Солнце казалось лепешкой из сырой глины и совсем не грело. В обрывистых откосах котлована чернели сколоченные из горбылей двери в копанки старателей. У входа в них лежали вязанки хвороста, чтобы обтирать ноги. Тима заметил, как рабочий остановился, зачерпнул горстью из лужи, отхлебнул и побежал дальше, шлепая лаптями по болотистой хляби. А другой, сидя на тачке, переобувался, и ноги у него были распухшие, синие.

Заметив взгляд Тимы, Лапушкин объяснил:

— Цинга, — открыл рот, потолкал пальцем в опухшие десны. — Шатаются. Вот обожди, стает снежок, черемшу будем искать. Папаша твой ругал нас за цингу, велел кору

сосновую в воде настаивать и тот отвар пить. Пусть, мол, все члены профсоюза пример подадут. «Я, говорит, когда в ссылке был, этим настоем только и спасался». И огороды велел завести. Сроду такого не было, чтобы золотишники на приисках огородничали. В деревне и то одни бабы этим делом занимаются.

— Разве огород разводить стыдно?

— А как же! — удивился Лапушкин. — Народ нас за отчаянность почитает; а узнает, что мы снаружи землю колупать стали, засмеют! Про машины мы с ним согласные, а про огород зря закинул. На это нашего согласия не будет.

До мойки, куда очень захотелось попасть Тиме, чтобы посмотреть на золото, дойти не удалось. Он провалился в яму с жидким снегом и промок. Пришлось возвращаться обратно в будку на драгу.

Пока Тима, закутанный в полушубок Говорухи, ожидал, когда просохнет его одежда, начало смеркаться.

Потом опять Говоруха, папа, Асмолов, Пыжов и Коля Светличный вместе с приисковыми рабочими совещались, как бы не снижать добычу золота оттого, что драга станет на ремонт.

Решили: на прииске останется Пыжов и будет производить разведку богатой руды для ручной добычи.

На рассвете обоз снова тронулся в путь. Папа всю дорогу молчал и делал какие-то записи. Асмолов курил, зябко ежился, подол его дохи затвердел от глины. Карталов показал Коле Светличному завернутую в тряпицу горсть песка, которую он намыл в овраге.

— Юрий Николаевич, — сказал тревожно Светличный, — глядите, Карталов золото украл. Надо вернуться.

— Ты какое слово про меня сказал, какое слово? — закричал взбешенный Карталов, пытаясь вырвать у Светличного тряпицу с песком.

Асмолов повел глазом и пробормотал равнодушно:

— Это не золото. Это медный колчедан.

— На вот тебе, самоварное золото! — обрадовался Светличный.

Лицо Карталова стало огорченным. Наклонившись над тряпицей, он долго внимательно ковырял в ней пальцем и даже пробовал отдельные крупички на зуб. Потом потряхнул песок на дорогу и злобно закричал на коней:

— А ну, заснули, шкуры! — и вытянул коренного кнутом.

Папа сказал:

— Это не коня, а вас бить надо: осрамили вы нас.

Но Карталов, притворившись, будто не слышит, продолжал кричать на коней и погонять их.

Скоро подводы снова въехали в таежную чащу. Пахло смолой, и под стволами деревьев виднелась земля. Было похоже, что деревья стоят в чашах. На буграх снег тоже растаял, и сквозь бурую, мертвую, сухую траву проклевывались тонкие зеленые лучики новорожденных стебельков.

Для охраны обоза Говоруха выделил двух горняков. Один — в рваном зипуне, в высоких, до паха, броднях, мордастый, густо заросший курчавой светлой бородой сибиряк-золотишник; звали его Вавилой. Другой, по фамилии Поднебеско, — пожилой, с седыми усами на гладко выбритом суровом угловатом лице, шахтер из Донбасса, бывший политкаторжанин.

Вавила положил с собой в сани обушок на длинной рукоятке и плотницкий топор. У Поднебеско в брезентовой сумке запальщика лежали две самодельные гранаты с короткими белыми хвостиками от бикфордова шнура.

Вавила, снисходительно поглядывая на таежную чащу, сказал Тиме:

— Тут места для добычи самые что ни на есть легкие. — Он простер руку в сторону многоствольного бора. — Видал, крепежного лесу сколько? Бери — не хочу. А в наших дальних местах не набалуешься. Одни болота да тундра, и та до самой середины промерзла. Да это ничего, что промерзлая, без крепи проходку делаем и шпурить не надо. На ночь в забое прожог разложишь, утречком рубай, сколько сила позволит. Тепло, как в печи. Конечно, угарно в шахте от прожога: ежели наружи стужа не сильная, угар сразу не вытянет. Бывало, ребят насмерть придушало. Но ты на свечку не скупись, прошарь его: ежели горит — значит, душа цела будет; погаснет — скинь одежду, омахай забой, сгони угар в дудку, а после рубай. Был у нас один подлюга, додумался пса в шахту спускать. Скулит — значит, угар, а нет — рубает спокойно. Да разве можно животную так мучить? Шерсть у нее вся повылазила: всё под землей да под землей. Выгнали мы подлюгу этого. А то в других артелях узнали б — засмеяли. У нас ребята на смех злые, — признался с удовольствием: — Меня тоже клевали в самую серединку. Пришел в забой после ночного прожога, стал помаленьку подбойку рубать на своем паю и чую, чего-то меня в грудь пихает. Поднял лампу, гляжу: глыба пудов на двести ползет по слизуну — ну такой, почти что глазу

незаметный, пропластик из жирной глины, ползет и ползет. Оробел, уперся об ее руками и заорал на всю проходку, как на коня. — Надув толстые губы, парень издал звук, какой издают извозчики, осаживая лошадь. — С того дня ребята и прозвали меня «Тпру». А Вавилой только здесь стал, когда из своей артели ушел.

— Вы ушли оттого, что обиделись? — спросил Тима.

— Да разве за такое на людей обижаются? — удивился парень. — Артель у нас важная была, староста — Евтихий Кондратьевич Выжиган, на всю Сибирь известный. Строгой души человек. При нем хозяева рудника никаких служащих по горному надзору не держали. Один за всех надзирал. Великий с этого барыш был хозяину. В артели, милок, круговая порука: чуть кто финтить начнет — свой суд, своя тайная расправа. Хозяева артель уважали.

— Но почему вы тогда ушли?

— Почему да почему! — рассердился Вавила. — На временной революции обман вышел, с того и ушел. Думал, облегчение с нее получится, а на деле — ничего. Мы ведь как на хозяина работали? Инструмент свой, лампа, масло, свечи свои. Весь продукт в лавке по ярлыкам втридорога бери. Чтобы хлеб не пекли в балагане, подрядчик печи порушил, а ведь зима. Стали в дудку двух ребят спускать, канат за ночь застыл и переломился на валке. Зашиблись насмерть. Из ствола пар идет, и в забое пар, и ничем его не просветишь. Отсыреешь за упряжку, а посушить одежду негде. Говорим старшему: «Евтихий Кондратьевич, ступай до конторы, по случаю революции стребуй, чтоб хоть за инструмент да за свет артельных денег не платить». А он ни в какую. Говорит: «Хоть и революция, а договоренного слова ломать не буду. Подряжались на своем свету и инструменте работать — и будем так работать. А что печи в балагане подрядчик поломал, так насчет печей тоже уговора не было». Нашлись ребята позлее, ну, их из конторы сначала в тюрьму, а после в солдаты. Притихли мы после этого, но в артели началась свара. Одни за Выжигана стоят: чего было заведено дедами, то рушить нельзя. А другие, которые помоложе, говорят: «Зачем своими руками хомут на себя пялить?» Пожаловался на них Выжиган, и их тоже в солдаты Керенский побрал. Обиделись мы, молодые, на Евтихия Кондратьевича. А после, как похоронили его, разбрелись кто куда.

— Вы что, убили его? — испуганно спросил Тима.

— Зачем? — обиделся Вавила. — Мы убийством не занимаемся. Только никто с ним в забое напарником не хотел

быть. Сам утоп в пливуне, — кивнул головой на угрюмо молчащего Поднебеско: — Презирает. Я ведь после у деревенского богатея в шахтенке уголек рубал вместе с двумя мужиками из России, переселенцами. Стал над ними старшой. Не хуже Выжигана их в строгости содержал. Тут другая революция объявилась, настоящая. Мужичишки шахтенку завалили, ну а я на рудник забрел. Там с меня дурь повыколачивали. Когда в России генерал Корнилов на революцию кинулся, меня с рудника в ревбатальон в Питер определили: шахтеры — народ быстрый.

Солнце светило жарко, на склонах увалов в земляных щелях бурлили ручьи. Зима скоростижно гибла, серые рыхлые туши снега разваливались, сползали по слякотной слизи; таяли, угрожающе разбухали водой низины. В середине пути пришлось поставить тележные короба на колеса: талая вода доходила до осей. Карталов отпряг пристяжную и верхом уезжал вперед, держа поперек спины коня жердь, которой он мерил глубину промоин на дороге.

Поверх льда на таежных реках стояла вода. Лед сделался чистым, скользким. Шахтерам и Карталову приходилось подпирать плечами коней, чтобы они не падали. В раскисшей глине увязали телеги, и, чтобы вытащить их, надо было подкладывать под оси стволы деревьев.

Тима, как и все, промок, озяб. У него текло из носа, болела голова, глаза были красные. Но то, что он вместе со всеми наваливался животом на вагу или, выполняя приказ Карталова, тянул за узду коня, внушало Тиме уважение к себе, сознание своего равенства в беде со всеми.

Только Асмолов не принимал в работе никакого участия. Сняв варежку, он прижимал к бледному лбу ладонь, и красивое лицо его приобретало задумчивое, сосредоточенное выражение. Он сказал папе с достоинством:

— У меня, кажется, температура.

Папа встревожился, вынул часы, проверил у Асмолова пульс, потом у себя и заявил:

— А у меня, знаете ли, даже более учащенный.

— Это оттого, что вы только что совершили чрезмерное физическое усилие.

— Совершенно верно, — согласился папа и посоветовал: — Усиленная работа сердца повышает деятельность всего организма, а значит, и сопротивляемость возможному заболеванию. Вы бы все-таки не пренебрегали этим, — и кивнул туда, где копошились в грязи у застрявших телег их спутники.

— Нет, я и так измучен, — жалобно простонал Асмолов.

— Ну, как угодно, — пожал плечами папа и поволок поваленную бурей пихту к телегам.

ГЛАВА Сороковая

За весь этот день проехали только верст двадцать. Решили отдохнуть в брошенной зимовке и продолжать путь уже среди ночи, когда прихваченная ночным заморозком дорога будет не такой топкой.

Еще на прииске Карталов замесил в туесе тесто и сейчас, обвязав живот полотенцем, лепил пельмени, начиняя их рубленой вяленой рыбой. Пельмени сварили в ведре, и каждый по очереди окунал в него свою ложку. Хотя папа сказал, что есть всем из одной посуды негигиенично, но сам с наслаждением ел пельмени и очень хвалил за них Карталова.

Зимовка — шалаш из жердей, покрытых сверху дерном. В лужу на земляном полу падали сверху увесистые грязные капли. Жерди обросли сизой плесенью. В углах истлевшая, воняющая цвелью рухлядь. В железной, мохнатой от ржавчины держалке горела лучина, и угольки от нее, падая, гасли с чадным шипением.

Все радовались и этому жилью, и только Юрий Николаевич, зябко ежась, говорил папе:

— Наши сибирские джунгли и для первобытного человека были бы невыносимы. А я где-то прочел, что только за последнее десятилетие прошлого века сюда за различные преступления сослали свыше полутора миллионов человек.

Папа сказал:

— А в двадцатом веке в связи с ростом революционного движения эта цифра возросла колоссально. В нашем уезде, например, на каждые восемь человек — один ссыльный.

— Вот видите! — почему-то обрадовался Асмолов. — А вы полагаете, что эти изгнанники, обретя свободу, захотят добровольно и честно трудиться здесь?

— Не полагаю, а уверен. Именно сейчас все мы обрели отечество, и это сознание стало всеобъемлющим.

— Слова!

— Давайте проверим, — решительно заявил папа и, обратившись к угрюмому Поднебеско, спросил: — Простите, вы, кажется, украинец?

— Эге, — буркнул Поднебеско.

— Не предполагаете вернуться домой?

— Ни.

— Позвольте, — горячо вмешался Асмолов, — насколько я знаю Украину, это цветущая земля, солнце и, наконец, Днепр.

— Днипро, — поправил Поднебеско.

— И вы не хотите быть там вместе со своим родным по языку и крови народом?

Поднебеско поднял глаза и спросил строго:

— А тут шо, мне не браты?

Асмолов пожал плечами и, отворачиваясь от Поднебеско, сказал папе:

— Что же касается создания сибирского Донбасса — это иллюзия. Любой мало-мальски образованный европеец может подтвердить, что без сотнями лет накопленной технической культуры нам не выйти из варварского одичания и беспредельной технической отсталости.

— Вы как полагаете, Жорес — европеец? — осведомился Сапожков. — Так вот, в девятьсот пятом году, в связи с революцией в России, он писал, — папа порылся в своей записной книжке и прочел вполголоса: — «Россия благодаря гигантской силе ее трудящихся станет державой цивилизации и справедливости. Она скоро будет в результате героических усилий своего пролетариата одним из самых чудесных источников для человечества, великой силой цивилизации и справедливости...»

Папа вздохнул, бережно закрыл книжку и, спрятав ее во внутренний карман куртки, наклонился над ведром и снова стал черпать ложкой склизкие пельмени из черной муки. Но никто, кроме папы, больше не склонялся над закопченным ведром.

Светличный в напряженной позе сидел на обрубке дерева. На скулах его проступили красные пятна. Поднебеско стоял у столба, подпирающего кровлю шалаша. И Тима впервые увидел, как улыбается этот суровый, жесткий человек.

Вавила приставил к ушам ладони. Нижняя губа его вздрагивала, словно он ждал еще таких слов.

Карталов не замечал, как воняет паленым от уголька, который он вытащил пальцами из костра для прикура.

А там снаружи хрустела обледепевающими ветвями тайга. Гудела и лязгала белоснежная выюга. Копошилась сизая, туманная, беспросветная мгла.

— Кто ж он, который про нас так сказал? — спросил Вавила.

Дожевывая пельмени, папа ответил:

— Француз, социалист.

— Это значит, он нам еще тогда поверил, когда моего отца солдаты в землю втоптывали... — задумчиво произнес Светличный.

— Так что ж, товарищи, в путь? — предложил папа.

Но никто не пошевелился, все еще находились под властью прочитанных Сапожковым слов и глядели на него с жадным ожиданием, не скажет ли он еще чего-нибудь такого. Но папа озабоченно приказал:

— Времени терять нельзя, подмораживает. Ехать так ехать!

Отсыревшая за влажный и теплый день и застывшая к ночи тайга блестела волшебным голубым узором. Лунный свет трепетал, лучился, озаряя землю.

Лед под копытами коней и под колесами телег звонко, серебряно звенел, и даже Асмолов, глядя на тайгу, застывшую в стеклянной корке, задумчиво произнес вполголоса:

— Как волшебный хрустальный замок, — потом сказал уже не Сапожкову, а себе: — Нужно чему-нибудь верить! Обязательно верить! Иначе тяжело быть на земле человеком.

Тима чувствовал жар, его знобило. Но он бодрился и старался не дрожать, не лязгать зубами, чтобы папа не подумал, что он простудился, заболел, что ему плохо и нужно что-то для него делать. Все равно сделать здесь для больного ничего нельзя. Значит, надо ехать дальше и терпеть. И Тима терпел. Светло-зеленое небо, сверкание льда, стоцветные вспышки ледяных блесков погружали в видения почти сказочные. И когда сверкнула на бугре вся в ледяных сосульках одинокая березка, Тима вспомнил о маме и Нине Савич. Впервые в жизни, думая о маме, он подумал еще о ком-то другом. Но он не мог сейчас решить, можно ли ему думать о них вместе, или это нехорошо...

На рассвете обоз прибыл в селение Большие Выползки.

Вокруг деревянного сруба старинного этапного острога разбросаны как попало крытые жердями дворы с высокими, из заостренных кольев, заборами. Под косогором — полуразвалившиеся амбары, принадлежавшие Пичугину, отсюда он вывозил знаменитое сибирское сливочное масло. Возле застывшего черным льдом пруда возвышались ветхие сараи кожевенной фабрики. На бревенчатом двухэтажном доме висела ржавая вывеска американского общества швейных машин «Зингер и компания». Ниже другая: «Американская международная компания жатвенных машин». Эта имела в Сибири больше двухсот торговых отделений и складов.

Но уже давно оба торговых заведения пустовали, и только доверенные лица занимались тайной скупкой приисков у промышленников. Они же меняли у старателей на самогонный спирт золото и платину.

Сапожковых и Асмолова пригласил к себе отдохнуть фельдшер Фирин. Он жил один в покосившейся избе. Принимая гостей, взволнованно суетился, смущенно запихивал ногой под койку большую деревянную шайку, в которой лежали куски лосевого мяса, посыпанные солью. Шкура животного, пахнувшая прогорклым салом и кровью, висела тут же на веревке.

Фирин метался по избе, не зная, как получше усадить гостей, растерянно бормотал:

— Ох, какая приятность! — и все пытался прибрать помещение. Но хотя он, накренив стол, свалил на пол кучу непонятного хлама и деревянной лопатой пытался сгрести его к стене, навести хоть какой-нибудь порядок было невозможно.

Так же, как и Фирин, взволнованно метался по избе бурый сеттер с прилипшим к бокам, наверное еще с прошлого лета, репейником. Пес, умильно заглядывая в лица гостей, кружился, взвизгивал, лизал руки.

— Чистопородный! — похвалился Фирин в надежде, что заинтересуются собакой, пока он покончит с уборкой. Хватаясь то за грязный закопченный котелок, то за пыльную кошму, покрывавшую лавку, на которой он, по видимому, спал, Фирин торопливо рассказывал: — Гектор зовут. За версту дичь чует.

Поставив на стол кринку, заткнутую пучком соломы, спросил:

— Позвольте угостить первачом. Очищаю посредством угольного фильтра от сивушного масла. Так что напиток безвредный.

На Фирине были болотные сапоги, густо смазанные дегтем, грязная ситцевая косоворотка, подпоясанная сырыматным ремешком. Седоватые волосы падали на его одутловатое малинового цвета лицо. Он колол лучину для самовара охотничьим ножом и то и дело смахивал со лба волосы, но вдруг, рассердившись, ухватил целую прядь, полоснул ножом и бросил отрезанный клочок под печь.

— Вы что ж, тут один и живете? — спросил участливо Асмолов.

Фирин поднялся с корточек, вытер руки о штаны, подошел к стене, где висела в фанерной узорной рамочке фотография женщины в белом платье.

— Вот...

— Красивая, — одобрительно заметил Асмолов.

— Супруга? — спросил папа.

Фирин вытащил из кринки клоч сена, налил в жестяную кружку, выпил, с омерзением сморщился, затряс головой, вытер рукавом губы, и почти мгновенно его лицо начало беспомощно раскисать, глаза помутнели, губы отвисли. Усевшись на поленицу, он положил ногу на ногу и вызывающе осведомился:

— А вы, собственно, почему интересуетесь? Понравилась? — Непослушными, дрожащими пальцами он стал сворачивать сигарку и добавил тихо: — Далеко я ее похоронил. Версты две отсюда будет, — и зло крикнул: — Без расчета, так сказать, на посетителей! — Снова налил из кринки, выпил. Но теперь лицо стало суровым, жестким, глаза посветлели. — Простите, я, кажется, охмелел, — сказал он отчетливо. Потом встал, снял со стены двустволку и вышел. Собака выбежала за ним. Не сходя с крыльца, Фирин застрелил копавшихся в навозе двух голенастых петушков. Сеттер принес и положил их к его ногам.

Вернувшись в избу, Фирин стал ощипывать петушка, хотя птица еще трепетала в его руках. Заметив, как Асмолов, брезгливо поморщившись, отвернулся, Фирин проговорил насмешливо:

— Господин Дэвиссон, мой хозяин, любил заниматься довольно своеобразной охотой на лебедей. Брал перемет, насаживал на крючки куски коровьего легкого, обладающего великолепным свойством не тонуть в воде, забрасывал перемет в таежное озеро. Потом вытягивал перемет на берег с бьющимися на крючках птицами. Привязывал конец к колышку и, будучи осведомленным, что эти крылатые твари, не в пример другим, отличаются супружеской верностью, усаживался на сухом месте и из отличного пятнадцатизарядного «ремингтона» стрелял влёт по самцам и самкам, не желающим расстаться со своими спутниками и спутницами, попавшими на крючки.

— Вы знакомы с Дэвиссоном? — спросил Асмолов.

— А как же — мой благодетель.

Лицо Фирина вдруг как-то посерело, стало землистого цвета. Он сказал, кивнув головой на фотографию:

— Лиза относилась к нему неприязненно, но тут она ошибалась. В сущности, его попытки ухаживать были всего-навсего проявлением почтительности перед женщиной. У них там, в Америке, это принято.

— Он австралиец, — поправил Сапожков.

— Все равно иностранец. Когда у Лизы началась чахотка и я хотел бросить все к чертям и уехать с ней в Россию, Дэвиссон уговорил нас остаться, опасаясь, что переезд осенью по тайге может только осложнить ее состояние. И, знаете, даже будучи человеком весьма прижимистым, все-таки дал мне под вексель значительную сумму, чтобы я мог через его компанию приобрести в Берлине для Лизы чрезвычайно дорогое, редкостное лекарство. Я слышал об этом чудодейственном препарате Коха, когда еще был студентом. Но, очевидно, привезли его поздно. Сначала Лизе стало даже лучше... Но потом... — Фирин махнул рукой и произнес шепотом: — Словом, опоздали.

— Вы не помните название этого препарата? — спросил Сапожков.

— Туберкулин, — сказал Фирин. — Туберкулин, — и добавил почтительно: — Поразительное средство! Но вот... — Издав какой-то странный звук горлом, он толкнул сколоченную из расщепленных сырых досок дверь и вышел, ссутулясь.

Сапожков долго смотрел на дверь, потом откашлялся и сказал вполголоса Асмолову:

— Коховский препарат туберкулина уже много лет запрещен фармакологией к употреблению не только как несостоятельное средство лечения, но и как приносящее вред.

После обеда, за которым Фирин допил кринку самогона и, бормоча извинения, улегся спать на валявшейся на полу кошме, Тима вышел на улицу.

Под голубым небом Большие Выползки лежали грязной, серой кучей в топкой, болотистой почве. А кругом на буграх, устлав землю сухой бурой хвоей, стояли во весь богатырский рост вечнозеленые сосны и кедры, и пахло от них смолой. Такой чистой, красивой была тайга, а люди выбрали для жилья, будто нарочно, днище сырой впадины, и, тоже будто назло себе, выбрасывали у порогов жилищ всякий хлам, гниль, нечистоты.

Тима вспомнил, как в Колупаевке сын Анакудинова показал ему логово волчицы. Оно было выкопано под стволом гигантского, поверженного бурей дерева. Стены узкой пещеры гладко обтерты, внутри сухая чистая трава, а по когтистым длинным бороздам возле порога было видно, что зверь выбрасывал из норы кости и помет.

И потом вот лебеди — это правда, они самые красивые и гордые птицы на земле. Зачем же их убивают люди, когда мясо лебедя считается несъедобным? Зачем убивал лебедей Дэвиссон, да еще так подло?

Тима тоже знал Дэвиссона. Он хорошо помнил, как Дэвиссон хвастливо показывал на вокзале действие американской паровой вошебойки, присланной американским президентом для русских солдат, чтобы они не умирали зря от тифа и их побольше можно было бы отправлять на фронт.

Мать Нины сказала как-то:

— Дэвиссон ведет себя в уезде как колонизатор.

Колонизатор, а хотел вылечить жену Фирина и даже одолжил много денег, чтобы купить дорогое лекарство. Правда, папа сказал, что это лекарство плохое, но разве Дэвиссон — доктор? Откуда он мог знать, хорошее это лекарство или плохое? Асмолов и папа знали, а Дэвиссон — нет. Нина Савич тоже больна чахоткой, и если бы было на свете такое лекарство, которое сразу вылечивает, Тима тоже ничего не пожалел бы, чтобы купить его в аптеке. Но если Савич повезет Нину в Крым, где, говорят, вылечивают от чахотки воздухом, разве Тима станет уговаривать Нину остаться? Нет, конечно, пускай едет, хоть насовсем, лишь бы была здорова. А вот Дэвиссон отговаривал жену Фирина уехать в Россию. Ведь Дэвиссон — капиталист, а все капиталисты хотят плохого людям.

Потом Тима подумал, что, если б мама узнала его мысли, она, наверное, рассмеялась бы и сказала папе: «Смотри, Тимофей стал у нас попугаем. Повторяет слова взрослых, а сам их не понимает». Ну как же не понимает, когда все говорят сейчас об одном и том же: все плохое досталось от капитализма, а все хорошее будет от пролетариата, и пролетариат сейчас — самое главное. Но почему же тогда шахтеры не поймали Дэвиссона и не посадили в тюрьму? Вот Тима приедет на шахты и расскажет сам все про лекарство. Тогда наверняка Дэвиссона схватят и засудят в трибунале. Успокоившись на этом мстительном решении, Тима побрел к сараю, где на груде досок сидели Поднебеско, Вавила, Коля Светличный и еще какие-то люди.

Белобрысый парень в брезентовой куртке, распахнутой на голой груди, жмурясь от солнца, горячо говорил, обращаясь только к Поднебеско, должно быть, оттого, что тот был самый молчаливый:

— Пойми, угольная твоя душа, нам, сибирским, обидно. Сколько лет кедры валили на фирму Джердессона, а опосля на Оскара Чевинни. Летом шли на прииски к Робертсону или к Пайперу. Про Кинга не говорю, он еще в одиннадцатом году купил у наших купчишек рудники на

круг. Да и все остальное тоже американцы либо англичане себе прибрали. А какой порядок на приисках завели: после упряжки всех в барак — и на замок. Возле дверей стража. Ни в отхожее место, никуда. Опасались, чтобы ночью золотишко в забоях не своровывали. После упряжки надсмотрщик, бывало, велит ногами стать на весовую платформу. Ежели больше вешишь, чем когда на работу шел, — в закуток нагишом, шарят, не спрятал ли где самородка. Лекарство давали, чтобы, значит, прочистило. Думали, что золото заглатывать решатся. И по номерам обозначали. Туземцем обзывали, — пожаловался парень, — а я им не тузем, я самых сибирских кровей.

Вавила произнес задумчиво:

— Свои тоже не сахарные.

— А те всё ж ловчее, — упрямо заявил парень. — Вот этот вот Дэвиссон, чего он у министра выпросил? Объяснил цифрами: каторжные, мол, дорого обходятся, караулить их надо, кормить, одежда. А работа силком — одна видимость. Ну и дали ему под расписку две сотни. Привез без конвоя на рудники, каждому толково объяснил, сколько за что платить станет, но только расчет за год, а кто будет стараться, за тех попросит, чтобы им послабление сделали и в переселенцы зачислили. Ну, те и старались. А через год, под самое рождество, когда самая ни на есть стужа, прибыли казаки и с ними кассир. Но только он в железном сундуке не деньги привез, а книжки, в которых про каждого было записано, что он Дэвиссону стоил. И как начали расчет вести, — получилось, не было человека, которому чего-нибудь следовало, а за каждым еще долг числился. Ну, те в бунт. Казачишки по ним палить. Позабирали тех, кто выжил, снова в тюрьмы да на каторгу. А Дэвиссон на этот барыш рудник купил, брошенный в давние времена. Оказалось, в отвалах там — платина. Старые люди не знали, что платина в цену войдет, золотишко брали, а ее — в отвал.

— Значит, верно, ловкий, — согласился Вавила.

— Хоть и ушлый, да не со всех сторон, — сказал парень и пояснил: — Начал он тут было за женой фельдшера ударять, а она, как муж на охоту, — двери на замок. И все ж настиг он ее тут, возле бакалейной лавки, стал даже при людях чего-то про свое говорить. А она как хлестнет его по роже. Шапка на нем была хорошая, из бобра, и та свалилась под ноги. Но он за шапкой не нагнулся. Только пригрозил: плохо, мол, теперь ей будет. А она плечи вздернула и ушла. И он в другую сторону. Шапку после люди принесли.

Подошел Карталов и сердито спросил парня:

— Что это у вас, как ветер с болота, пропастиной смердит?

— А это еще с третьешнего года, люди Дэвиссона лосей забивали по весне на шкуры, а мясо солить нечем, пу и валяли в болота. С тех пор и воняет.

— Да разве лосей весной бьют?! — изумился Вавила.

— Иностранные, те казнили, — разъяснил парень. — Говорят, кожа лосевая в большой цене в их странах. Ну и поспешали. На плотах свозили. Навалят вышиной с избу и волокут до самой губы, а там на шкуны перегружали. — Потянул носом и согласился: — Воняет, верно. Голов тысячу покидали, а то и поболее.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Верстах в тридцати от рудного поселка тайга кончилась. И началась пустыня лесной вырубки. Из талого снега торчали толстые кульяпки гниющих пней и, словно обхлестанные веники, пучки низкорослых берез, осин.

Скоро и их не стало. Потянулась плоская равнина с провалами оврагов, изломанная балками. Все это покрыто ледяной коркой черного цвета. С ветвей редкого кустарника свешивались сосульки, но если взять такую сосульку в руки и поглядеть, внутри она тоже вся в точечках угольной пыли. Влажный сизый воздух пахнул погребом.

Подводы съехали на дно балки, застланной хлюпающими в болоте бревнами. В глиняных откосах зияли пещеры, похожие на звериные логова. Но к ним вели обваленные ступени, — значит, здесь жили не звери.

Тима вопросительно поглядел на Вавилу, тот сказал равнодушно:

— Как недород, мужики с голодухи сюда сбредались. На рудник заходить опасно, шахтеры побить могут. А так выкопает пещеру, живут и ждут: либо у шахтеров забастовка, либо обвал, подрядчик придет и наймет тех, кто покрепче.

Показав рукой на растущие по откосам балки чахлые деревья с запекшимися шершавыми ранами на стволах, объяснил:

— Драли кору, толкли на камне и жрали... Бывало, прибегут сюда сгоряча шахтеры мужиков побить, чтобы, значит, заработок через них не снижали, поглядят на лес обглоданный, и только что обзовут последними словами: разве на голодных рука поднимется?

Асмолов сказал:

— Во времена фараонов на рудниках работали только рабы и преступники. С изобретением паровой машины нужда в каменном угле баснословно выросла, и миллионы людей стали заниматься подземным промыслом. Но современная цивилизация не внесла существенных изменений в приемы их труда.

Папа сердито заметил:

— Слово «цивилизация» звучит кощунственно применительно к обществу, где кража труда узаконена.

— Я только инженер,— напомнил Асмолов,— и для меня цивилизация — это прежде всего техника.

Папа положил руку на плечо Асмолова и попросил:

— Извините, Юрий Николаевич, но меня так взволновало зрелище этих пещер.

— Меня тоже,— согласился Асмолов и, словно для того, чтобы не думать о пещерах, стал поучительно рассуждать: — Преимущество каменного угля как топлива заключено не только в его химических свойствах, но и в дешевизне добычи. Самое дорогое — транспортировка. Поэтому оплата труда сибирских горняков значительно ниже всех других. Иначе брать здесь уголь нерентабельно. Вот если бы построить металлургические и химические предприятия,— он постучал пяткой валенка по телеге,— под нами угольный океан! Рурский бассейн по сравнению с ним — озеро... Но на его поверхности десятки первоклассных заводов. А здесь,— он махнул рукой,— пустыня,— и добавил грустно: — И через сто лет тоже будет пустыня.

— Не будет здесь пустыни! — решительно возразил папа и стал рассказывать Асмолову о том, что из губернии выехал уже делегат в Москву на съезд совнархозов и повез туда проект строительства металлургического завода на базе сибирского угля.

Асмолов слушал Сапожкова, расспрашивал о деталях, высказывал соображения. Но, выслушав до конца, недоверчиво покачал головой:

— И все-таки это фантастические планы. Вот Говоруха жаловался: топоры, лопаты, кайла с прииска воруют, а золото, говорит, не воруют. Не верят, очевидно, что на золото купить что-нибудь теперь можно. Разве страна, где железо стало дороже золота, может строить заводы?

Обоз остановился у переправы через реку. Поверх льда бурно текла талая вода.

Карталов сокрушенно вздыхал:

— Беда, коней утопишь!

Поднебеско угрюмо взглянул на него. Стал разуваться, скинул штаны и, зажав подбородком закатанную рубашу, держа жердь в руке, вошел в реку, неторопливо побрел в воде, тыча впереди себя жердью. Перебравшись на тот берег, снял шапку, покопался в ней, свернул сигарку, закурил и стал не спеша одеваться.

За ним, стоя в обнимку на телегах, переправились через реку остальные. Поднебеско охлопал себя руками и сказал хрипло:

— Добре доехали, — но не сел в телегу, а бежал за ней, стараясь согреться.

Карталов то и дело оглядывался и говорил одобрительно:

— Железный, черт! У них в Донбассе теплынь, — обратился он к Тиме, — и в шахтах даже в самую лютую стужу тоже не дует. А он, гляди, обмахнулся руками и идет, словно солдат. А я всегда думал, что мы одни, сибиряки, от простуды заговоренные.

— Сибиряк, — сказал Тима с упреком, — а вот в реку не полезли.

— А если я человек холоднокровный, тогда как?

— Это только лягушки, змеи да черви холоднокровные, — пояснил Тима, — а человек не бывает.

— Значит, бывает, коли я такой. Мы люди поверстные — свезти куда, и только. А зачем это — наше дело сорона.

И снова бесконечная вырубка, гигантские гнилые пни, сочащиеся рыжей жижей. Топорщится обледеневшими ветвями кустарник, словно куча пауков, оплетших себя намертво сверкающей паутиной. В оврагах бельмами лежал талый снег. На буграх, обдутых ветром, словно пресмыкаясь перед кем-то, склонялись к земле скрюченные березы.

Тима напряженно вглядывался в это унылое пространство. Почему близость человеческого жилья всегда начинается с лесного кладбища, с могильных пней на месте когда-то могучих деревьев? словно люди нарочно окружают себя пустынями.

И вдруг он увидел вправо от дороги огромную впадину. Треснувшая почва рухнула вниз бурыми глыбами. Со дна впадины торчали растопыренные корневища. Из стенок провала высывались гигантские серые плиты породы и на них, словно на полках, лежали облитые водой круглые валуны. Между серыми каменными плитами — черные угольные пласты толщиной в полсажени: они блестели, словно черное стекло.

Асмолов бегло взглянул на зияющий провал в земле.

— Старые, брошенные выработки, погребенные обвалом. — И тут же стал объяснять Сапожкову: — Смотрите, какое близкое залегание угольного пласта к поверхности. Вот, собственно, наглядное свидетельство возможности открытых разработок.

Папа попросил Карталова остановить лошадей, слез с телеги и вместе с Асмоловым отправился осматривать провал. Тима побежал за отцом. Асмолов, взяв жердь, спустился в провал и стал мерить, на сколько аршин от земли выдвигаются из почвы обломки черного угольного пласта.

— Совсем пустяки! — радостно воскликнул он. — Это же, знаете, просто сюрприз.

Асмолов несколько раз чуть было не свалился на дно впадины, залитое водой.

Сапожков просил его:

— Юрий Николаевич, умоляю, осторожнее! — и полез туда, где был Асмолов.

Теперь уже Тима тревожно кричал:

— Папа, смотри, там глубоко, утонете!

Уже сидя в телеге, Асмолов сказал озабоченно, соскребая веткой с сапог густую глину:

— Разработки пластов неглубокого залегания сибирские промышленники избегали по весьма убедительным причинам. Основным потребителем является Транссибирская магистраль. Министерство, узнав, что уголь добывается открытым способом, естественно, еще больше снизило бы цены против российских. Да и вообще, если бы не труд каторжников, добыча местного угля была бы делом совсем не доходным ввиду дороговизны транспортировки.

— Но все-таки сбросить лопатами землю да еще преодолеть твердые пласты породы, это, я полагаю, не так просто, — неуверенно промолвил Сапожков.

— Совершенно правильно, — со вздохом согласился Асмолов и продолжал: — Мировая война внесла много нового в технику уничтожения людей, люди научились разрушать самые неприступные крепости. Новые взрывчатые вещества обладают огромной разрушительной силой, и я полагал возможным применить некоторые из них для сброса почвы. Вот, собственно, вся моя инженерная идея.

— Но это замечательно! — воскликнул папа. — И диалектично. Именно в новом обществе, где все должно служить интересам человека, средства разрушения и уничтожения должны превратиться в орудия созидания и об-

легчения труда. Да, это просто замечательно, — повторил он и стал трясти руку Асмолова, желтую от глины.

Впереди показались деревянные вышки надшахтных строений и бурые дымящиеся горы каменистой породы. Потянулись бараки со стенами из жердей, обмазанных глиной. Такие же жерди лежали деревянной тропой, идущей к шахте, плавали узкими полосками на поверхности луж с черной тусклой водой. Часть бараков была окружена кольями с колючей проволокой. Многие колья лежали на земле и гнили в ней. А по углам колючей ограды стояли сколоченные из досок четырехугольные башенки, похожие на маленькие пожарные каланчи. Вавила объяснил:

— Ране тут военнопленных держали. А как Февральская революция началась — высвободили. Но не окончательно: Временные их с каторги не отпускали. Тогда мы ограду сломали и всех в профсоюз приняли. Приезжал тут от Временного делегат срамить нас за то, что русские супостатов в общий рабочий союз зачислили, позабыли, мол, отечество. Но мы этого делегата к канату привязали и в затопленной шахте раза два искупали, чтобы остынул и не обзывал шахтерский народ.

— А сейчас пленные здесь есть? — спросил Тима.

— Которые есть, а которые уехали до дому по случаю Советской власти: ведь она их не пленными считает, а обыкновенными людьми, как и всех.

— А почему другие остались?

— Кто их знает! Видать, привыкли, сдружились. Должность им тут назначили. Кто мастер, кто десятник, а кто даже штейгером стал, — и одобрил: — Ничего, народ знающий, полезный!

На пустыре перед шахтой стояла плотная толпа горняков, но никто даже не оглянулся на остановившиеся подводы. Взгляды всех были устремлены на трибуну, добротню сколоченную из крепежных стоек, с белыми перилами из березового кругляка. С железного угольника, прибитого к толстому брусу, свисал вагонный буфер, и на нем, словно на тарелке, лежал длинный болт.

В глубине трибуны — стол, на котором, как на прилавке, уставлены ярко начищенные шахтерские медные лампы с предохранительными колпачками, и подле них — револьверы, военные металлические каски и тюк брезентовых курток.

За столом сидел коренастый, широкоплечий человек и что-то писал, изредка подымая голову и отсутствующим взглядом обводя толпу, а другой, долговязый, узкоплечий,

с покрытым коростой, будто обжаренным лицом, наваясь на перила трибуны и почти наполовину свесившись вниз, негромко, словно уговаривая кого-то одного из толпы, говорил виновато:

— Мне, ребята, не по дурости зарядом фукнуло, а оттого, что шнур сэкономил. Запалы стал делать из камышины с начинкой из пороховой мякоти, ну и пересушил маленько. А так я аккуратный, — задумался и добавил: — Ну, быстрый тоже. Вот завалило в Наклонной, я кинулся выручать. На руках по канату спускался, а он сырой и склизлый, потому и оборвался, и хоть ногу перешиб, а все же ребят угоревших выволок, — и сердито выкрикнул: — А кровью я харкаю вовсе не от болезни, а с того, что табак курю крепкий, он, значит, и дерет!

Сидящий за столом поднял голову и спросил:

— Есть вопросы? Нет? — Поглядел строго на должговзого и заявил: — Все же, Лепехин, мы тебя на милиционера голосовать будем. В спасатели не годишься. Про табак ты тут зря. Болееешь, ну и болеей себе потихоньку. Будешь снаружи порядок держать. С вольного воздуха, может, и поправишься, — и, обратившись к толпе, спросил: — Ну как, правильно я говорю? Так кто за Лепехина на милиционера, тяни вверх руки.

После голосования председатель митинга встал из-за стола, обвязал руку Лепехина у локтя красной повязкой, потом подал, держа за ствол, револьвер. Лепехин бережно принял оружие. Поклонился коренастому, потом толпе, положил револьвер почему-то в шапку и сошел с трибуны, держа шапку перед собой обеими руками.

— Давай следующего, — приказал председатель.

На трибуну взошел рослый парень, с плеча у него свешивалась шахтерская кацавейка. Легким движением снял картуз, тряхнул кудрявыми белесыми волосами и, выпятив грудь, замер в молодцеватой позе, вызывающе поглядывая на всех синевато-серыми красивыми девичьими глазами.

— Чего красуешься, Степка? — сказал с упреком кто-то из толпы. — Перед народом стоишь. Не фасонься. Мы тебя насквозь знаем. А ну, встань как следует быть!

Парень смутился, сдвинул ноги, виновато опустил руки.

— Вот это другой разговор, а то выпендрился, словно сохатый по весне.

Председатель сказал парню строго:

— Слышишь, Степан, правильно люди говорят. Озоро-

ватый ты, много про себя думаешь. А спасатель должен про себя забыть — ему чужая душа главное.

— Верно, неподходящий!

— Давай его в милиционеры, — здоровый, черт, любого жигана обломает.

Председатель, внимательно, словно впервые видел, разглядывая парня, вполголоса, как бы рассуждая с самим собой, произнес тихо:

— А все ж ты, Степан, недавно себя хорошо выказал, хоть дело было отчаянное. — Обращаясь к толпе, объяснил: — Решили мы в старых выработках крепление и дверные оклады снимать и в дело пустить. А кровля там, сами знаете, трещиноватая. Взойдешь, похрустывает. Охотников не нашлось. А он вызвался. И не только чего следовало взял, но и лишнее прихватил. А как обрушилась кровля, его воздухом так шибануло — сажень десять по штреку проскочил. И собой еще две стойки сбил. Но крепежа набрал много.

— Правильно. Давай его в спасатели! Холостой к тому же. Ему себя жалеть нечего.

— А в милиционеры нельзя. Неловко ему будет хватать за картеж, коли сам догола проигрывался.

— Парень верный. Когда в забой плывун пополз, он собой затычку сделал, нахлебался песку с водой, до кишок застыл. А пока ребята не прибегли, не дрогнул. А то бы всем хана.

— А кто в лавке погром устроил?

— Факт дореволюционный! Он за что лавку разбил? Торговец в муку китайцу крысу бросил, говорит: «Тебе все едино — съешь». А Степан обиделся и давай крушить.

— Так его ж за это стражники взяли.

— А бастовать нам пришлось, чтобы выпустили.

— Врешь, не за то, а за китайцев бастовали. За то, что им расценки снизили. Отшибло память-то!

Председатель, словно не слыша этих возгласов, сказал, положив руку на плечо парня:

— В тебе, Степан, конской силы много. Ты скажи людям, почему, когда стойки у ворот разошлись, ты канат на себя накинул и бадью удержал, хоть самого в шахту чуть не свалило; а когда вытянул бадью на-гора и увидел в ней Селезнева — раз его по роже. Разве так человека спасают?

Парень потупился, вздохнул и ничего не ответил. Из толпы закричали:

— Запрещено в бадье на ручном вороте людей качать, а Селезнев полез. Что ж, его по головке гладить?

— А если он опять кого спасет, а потом — в зубы? Нет, не годящийся.

— Доверьтесь, ребята, — потупив красивые глаза, искренне попросил парень. — Уж очень охота в спасатели зачислиться. Подайте голос, я заслужу.

— Ну что ж, — заявил председатель митинга, — кто желает Степану довериться?

И сам первый поднял руку.

Подсчитав голоса, председатель накиннул на плечи парня поверх кацавейки брезентовую куртку, подал ему медную лампу, накрыл шапку каской, надел на лицо маску респиратора.

Осторожно, на шаривая ногами ступени, парень спускался с трибуны, держа в вытянутой руке лампу так, словно освещал ею путь себе, хотя фитиль в лампе не был зажжен.

— Следующий! — крикнул председатель.

Вавила посоветовал Сапожкову:

— Вы бы в клуб пошли, отдохнули, тут делов еще много. Обстоятельно обсуждают — не наспех. Парамонов — это он и председательствует — каждого проветривает. На голоса считает — арифметика!

Огромный дощатый барак с красным флагом на крыше назывался Партийным клубом. Одна половина его была целиком отведена под ясли. В другой — библиотека-читальня, комната ревкома, комната штаба Красной гвардии, культотдел, страховая касса, различные комиссии совдепа и редакция рукописной газеты «Красный горняк». В ревкомовской комнате на стенах висели какие-то чертежи и между ними картина, на которой были изображены Ленин и Маркс в шахтерской одежде.

Дежурной по ревкому оказалась жена Парамонова, пожилая рябая женщина в короткой цветастой юбке поверх брезентовых шахтерских штанов, заправленных в яловые сапоги. Несмотря на то что Вавила и Поднебеско отрекомендовали приезжих, Парамонова потребовала документы и, подойдя к окну, внимательно рассмотрела мандаты; только после этого она приветливо улыбнулась Сапожкову:

— Товарищ комиссар по здоровью, в самую тютельку прибыли. У нас женщины очень бунтуют о больнице и за другое всякое, а доктор наш совсем разболелся и ничего не может. Вот вы его тоже полечите.

Обратившись к Асмолову, протягивая ладонь дощечкой, сказала почтительно:

— А уж про вас-то и слов таких для удовольствия нет.

Наши-то инженеры побросали все, обиделись за хозяев, сидят по домам, шушукаются да в карты играют. Время хотят скоротать. Надеются на пришествие старого режима. Вот и саботируют.

Погладив Тиму по голове, сказала одобрительно:

— А что с парнишкой к нам прибыли, товарищ Сапожков, тоже хорошо. А то из губернии комиссар приезжал, так и коней не выпряг. Побыл на шахте полдня и в другие рудники ускакал. «У вас, говорит, здесь революционный порядок, мне здесь делать нечего». — Заявила сердито: — А вы поглядите, чего меньшевики в «Сибирском горнорабочем» напакостили. — И, взяв со стола журнал, прочла, тщательно выговаривая слова: — «Чем меньше слепого идолопоклонства перед Смольным и чем больше здоровой критики обнаружит рабочий класс, тем лучше». — Пояснила: — Это они науськивают. Хотят душу раздвоить...

— Ты что же не даешь передохнуть товарищам, а сразу углей за пазуху, — прервал жену подошедший в этот момент Парамонов. Он поздоровался с Асмоловым и Сапожковым, а Поднебеско и Вавиле сказал: — Спасибо, аккуратно доставили, — и, кивнув головой, отпустил их.

Хотя узкие светлые глазки Парамонова сияли удовольствием при виде приезжих, он выразил его только тем, что произнес со вздохом:

— В самый аккурат, значит, прибыли, — и тут же сказал строго: — Я на вас без передышки с дороги всеми нашими делами навалюсь. — Разложив на столе чертежи и разглаживая листы ладонями, говорил сердито: — Перво-наперво так. Рудник наш разоренный. Оборудование сносилось. Машины — железные обноски. Насосы еле чавкают. Котлы заплатанные, хозяева в годы войны хищничали, вели только камерные системы разработок. Две трети угля пропадало. Подготовительные работы не вели, разведку тоже. Выгребали, что поближе. При Керенском рудник выработанным зачислили. Всех шахтеров уволили. Но мы маленько вперед забежали. Забрали себе рудник. Ну и стали уголек рубать сами по себе. Это все так, самоделка. Теперь у нас Совет, управление копиями избрали, а при совдепе — техническая комиссия. Решили перейти на систему сплошной очистки — выработки по всему пласту, с закладкой выработанного пространства породой. Для подземных назначили шестичасовой день. И давали на-гора больше, чем при хозяевах. Но пришлось прибавить два часа, когда контр-ра начала мятеж против Советской власти устраивать. Мы

на них из горняков ревбатальоны посылали. Разработали производственную техническую и финансовую приходо-расходную смету, послали в ВСНХ. От железной дороги кредит получили. Расплатились с рабочими, кое-что из самого главного оборудования купили. Теперь задача — утроить добычу. Покрыть должок и новые подготовительные работы начать к пластам, которые разведкой нащупали.

Потирая широкие, словно лопаты, ладони, сказал деловито:

— Только вот что получается. Уголек этот почти наружу огромным полем залег. Пластом твердой породы прикрыт, лежит себе, словно под каменным одеялом; а как брать его ловчее — заминка.

Сапожков оглянулся на Асмолова.

Асмолов спросил:

— Вы, кажется, запалку шурфов порохом производите, по-дедовски?

— Совершенно верно, — согласился Парамонов. — Как получили уведомление от товарища Рыжикова о вашем будущем приезде, велел я всю взрывчатку в камеры под замок запереть и по старинке запальные работы на одном порохе только производить. Когда снаряжали ребят иркутянам в помощь — восстание юнкеров под командованием эсера Краковецкого надо было расшибить, — так я наказывал: добыть, сколько смогут, взрывчатки бризантного действия, как вам требуется. Они еще, когда выкидали из эшелонов офицеров да казаков, едущих в Забайкалье, пудиков двадцать взрывчатки насобирали и прислали с дороги.

— Спасибо, — краснея скулами, сказал Асмолов. И тут же строго предупредил: — Но это пока только эксперимент...

— Ничего, лишь бы получилось!

Разложив на столе новый чертеж, Парамонов поманил к себе пальцем Асмолова:

— Вот, смотрите, чего мы тут, как куры лапой, наскребли, набуровили. Поскольку на разведку денег отпущено не было, мы разведку коммунистической мобилизацией вели с участием беспартийного профсоюзного актива.

— А маркшейдер есть на руднике? — озабоченно спросил Асмолов.

— А как же. Мы ему двенадцать тысяч в год положили. Только служи честно.

— Можно узнать, какое вы сами получаете жалованье?

Парамонов сощурился и заявил:

— Сдельно получаю, с кубической сажени.

— Но позвольте, вы же...

— Начальство, — рассмеялся Парамонов, — верно. Днем начальство, а в ночную смену в забое кайлом помахиваю. За партийную работу не платим. А я человек семейный, раньше сынок в шахте работал, — значит, прибыль был, а теперь уволили сына-то...

— За что?..

— А так, уволили, и все, — сказал Парамонов почему-то весело и пояснил уже без улыбки: — За то, что четырнадцать годков тока. Закон вышел: ребят до шестнадцати лет на работу в шахту не пускать. Вот и стал безработный, — и произнес насмешливо: — Обижает Советская власть рабочего человека, не дает ему по малолетству калечиться. Бунтует сынок против власти, недоволен, что уволили. Прямо беда.

Тима, сидя на лавке, уныло слушал эти разговоры, чувствуя, как в тепле озноб и жар все сильнее завладевают им. И если он почти всю дорогу от Больших Выползков превозмогал хворь, то теперь у него не оставалось для этого сил, да, пожалуй, и не было больше нужды скрывать, раз они приехали и ехать больше уже никуда не нужно. Теперь он может спокойно заболеть, не пугая папу и не мешая его работе. Но только где тут можно болеть, раз нет больницы?

Жена Парамонова, участливо поглядев на Тиму, сказала:

— Совсем парнишка умаялся. А дел у вас тут на полночи. Можно, я его до своего дому отдохнуть сведу?

Папа очень обрадовался:

— Да, будьте любезны.

И Тима на подгибающихся ногах побрел вслед за Парамоновой. На улице он вяло сказал:

— Вы только учтите, я, кажется, больной, еще неизвестно чем. У меня, видите ли, жар.

— То-то гляжу, с чего ты такой красный, — озабоченно произнесла Парамонова. — Отец в очках, а не видит. Я ведь давно на тебя целилась домой свести.

— А если я заражу вас?

Парамонова успокоила:

— А ты углядел, что я конопатая? Все конопатые живучие. Их после оспы никакая зараза не берет. И Анисим мой тоже конопатый. Лучше моего дома в поселке не сыскать. Нас и холера не взяла, когда все вокруг валились. Мы заговоренные. Не тревожься, малый.

— Ну, все-таки я вас предупреждаю, — с трудом подыскивая слова, произнес Тима опухшими губами. Дорога под ногами колыхалась, будто огромный мягкий живот, а в глазах кололо, словно под веки насыпали песок. Зажмурившись, он хотел попросить: «Давайте отдохнем немножко», — а вместо этого сказал: — Такой живот под ногами... — Ему стало очень стыдно этих глупых слов. И чтобы поправиться, он спросил сердито: — Вы меня под землю ведете спать, там тепло, да?

И последнее, что он чувствовал, — это как ноги его скользят о земляные ступени и он спускается по ним, а потом, вдруг поскользнувшись, падает во что-то мягкое. И падал он в это мягкое бесконечно долго, испытывая тошноту, тяжесть в голове, опустошающую легкость во всем теле и колющую боль в глазах.

Тима тоскливо думал, что это очень стыдно — прийти в чужой дом только для того, чтобы там хворать. Но вот странно: хотя несколько дней ему было плохо, он ни разу не ощутил себя в семье Парамоновых обузой, и вместе с тем никто из Парамоновых не проявлял к нему того суетливого сострадания, каким сопровождается уход за больным да еще чужим человеком.

Анисим радовался Тиме:

— Ловко мать тебя к нам в гости уволокла. Спасибо, что пришел, а то я теперь безработный — скучно.

Дуся, сестра Анисима, вертясь перед запотевшим от сырости зеркалом, говорила кокетливо:

— Я девочкам про тебя хвастала: городской, а такой уважительный.

Дуся работала на сортировке угля шесть часов в день, по новому закону для подростков. Железной кочергой она выбирала породу. А Анисим, обидевшись, что его сняли с забоя, не захотел пойти на сортировку, и поэтому ему теперь приходилось заниматься домашними делами.

Высокий, жилистый, с глубоко запавшими темными глазами и гладкой челкой на лбу, стараясь по-шахтерски сутулиться, он сообщил Тиме обиженно:

— На тощем пласту дуболом разве может зарубку весть? А я в любую щель влезу и отмахая не хуже кого другого на богатом. — Сказал строго: — Отец мне наказывал шахтером быть. Его все раньше слушались, а теперь, когда осиротел, заступиться за меня некому.

— А Парамонов тебе разве не отец?

— Отчим. Он отцу приятель был. Отец у меня уральский. Народ бунтовал. Его тут солдаты в шахту сбросили. И Парамонова тоже, но он прыгнул в ствол и только ноги обломал. Помирающему отцу зарок дал за нашим семейством приглядывать. Получку всю матери сдавал. Землянку эту самую, наилучшую в поселке, собственноручно выкопал. А после взял и на матери женился. А она старая и конопатая.

— Значит, он хороший?

— Ничего. Сознательный. Но до отца ему далеко. Парамонов перед ним все равно как дворовой перед забойщиком. Вот он из уважения к отцу на матери и женился. Мы его сначала не признавали. Так он шалашик сложил рядышком и всю зиму, как пес в конуре, жил, пока мы с Дуськой не сжалились. И то спервоначалу только харчиться пускали. Он тоже, как отец, наловчился за едой книги читать. Только громко, чтобы мать слушала. Потом мы с Дуськой всё думали, думали, пошли к Сухожилину и спросили: «Как, мол, не будет сраму отцовскому имени, ежели они женятся?»

— А кто Сухожилин?

— Он в партии главный. Тоже отцов приятель. Сухожилин сказал: «Правильно, что за отца беспокоитесь; но ничего, пускай женятся. Парамонов Марфу выше себя ставит. А это и есть любовь, а вовсе не один дождик перед другом». Ну, мы и приняли Парамонова. Да и мать жалко. Она гордая, самовластная, выжиганская порода. Наш дед — староста артельный Евтихий Кондратьевич Выжиган. Его вся Сибирь знала. Первый золотишник.

Часто в землянку наведывался старый шахтер Тихоп Болотный, невысокий, с килеватой, словно у горбуна, грудью и торчащими лопатками, будто у него под рубахой спрятаны толстые, короткие крылья. Ноги всегда полусогнуты, скрючены, отчего руки кажутся необычайно длинными. Лицо обросло седой патлатой пыльной бородой. Переносица косо вдавлена синим, морщинистым по краям шрамом, верхнее веко надорвано, глаза карие, сердитые и дергаются сами по себе — шахтерская болезнь: отвыкли от дневного света. Говорит сиплым, злым голосом даже тогда, когда радуется.

В первую же ночь, когда Тима, изнемогая от озноба и жара, лежал на топчане, прикрытый душным одеялом из заячьих шкурок, и тоскливо глядел на оставленную на табуретке горящую лампу с треснутым стеклом, дверь в землянку неслышно отворилась, и на скрюченных ногах

осторожно вошел Болотный, волосатым лицом, горбатой грудью и длинными руками похожий на лешего. Усевшись на топчан, он подмигнул Тиме рваным веком, вынул из-за пазухи берестяную коробочку и выпустил из нее на ладонь мышонка с выпуклыми круглыми бисерными глазками.

— А ну, Яшка, встань, как солдат перед генералом,— и прощекотал мышиное брюшко соломинкой. Мышь села на задние лапки, поджала передние и, опираясь на хвост, вытянулась столбиком.— А ну, сполняй вальс!

И Болотный стал хрипло, но довольно верно напевать «На сопках Маньчжурии» и водить у носа мыши соломинкой. Мышь, изогнувшись, кружилась на его ладони.

— Вот,— шепотом сказал Болотный,— видал, какой ученый? Но это так, людям для смеха и удовольствия. А мне служит он ангелом-хранителем. Я за полсотни лет к газу приняхался, не чую вони. И с этого могу незаметно сомлеть насмерть. Но за меня Яшка чувствует. Как зачнет по бересте лапками тюкать, ровно барабанщик,— значит, сигнал: бросай забой. Дышать не дыхай, беги до ствола и качай на-гора, пока цел.— Погладив кончиком пальца головку мышонка, сказал нежно: — Вот он, мой главный выручатель.— Снова усадив мышь в берестяную коробочку, вдруг спросил: — Желаешь, подарю?

— Ну что вы,— сказал Тима,— вы же его любите.

— Верно, зверек душевный,— согласился Болотный и вздохнул.— Остался я с мышом вдвоем на старости лет. А ведь не сиротой был. Всё как у людей — и сынки имелись и жена. Старшего глыбой замяло; от среднего только похоронная бумага с фронта; младшенького в петле казнили за бунт. Нас тут по случаю германской войны всех на строгое правило перевели — упряжка двенадцать часов. Воскресенье — раз в месяц. Но и то с него беда. В бараках местов только на одну смену. Придешь и на теплое после другого ляжешь. А ежели все наружи, то деваться людям некуда. Одежда-то на всех слабая: вода в шахтах минеральная, едкая, тлеет от нее одежда, ровно ее кислотой ошпарили. Про тело не говорю,— в подмышках, в пахах мокрец все разъел. А подсушить обноски в воскресный день негде. Был у нас тут беглый с каторги, так такого порядка не снес, объявился начальству: вертайте, мол, назад, в форменной каторге обращение лучше. Там хоть еда казенная, одежда и на всех помещение, а тут ничего нет. Невылазные забастовки в рудниках ребята учиняли. Но это так — полдела: поголодуют, сидя в шахте, а после зачинщиков — кого на фронт, кого в тюрьму. Только и делов. Я тоже в шахте

отсиживался, жена еду в вентиляционный штрек в узелке кидала, кормилась; а она тощала, тощала и померла. Кричал я ей из ствола: «Не носи боле», — все горло содрал с крику; не послушалась. — Печально улыбнулся и заявил: — Вот и остался вдвоем с мышом.

— Зачем же вы его мне тогда подарить хотели?

Болотный забрал пыльную бороду в кулак, подергал и произнес безразличным тоном:

— А так, для смеха тока. У нас тут в Партийном клубе громко для людей книги читают. В одной сказано было: заболел парнишка сильно, а ему белую собачонку подарили, он и выздоровел. Прикинул: может, мышь сойдет — тоже зверек заметный.

— Но ведь вы же меня не знаете?

— А чего мне тебя знать? Что ты за фигура такая? — почему-то рассердился Болотный. — Я из сочувствия к Парамонову. Неловко получается: гость, а хворает. Человека нужно удовольствием лечить. Болезнь — она всегда с горя. Кто веселый, тот не хворает. Я вот никогда не хворал, только увечился когда в шахте.

И, притопнув скрюченной ногой, пропел задорно:

Мы, ребята-сжики, в голенищах ножки.

Ох, смерть одна, а болезней тьма:

Лихорадка, трясучка, тифозная сынушка,

Я парень-жиган, на всех их чихал, —

закашлявшись, махнул рукой и пожаловался:

— Внутри шибко пропылился угольком: как зачну веселым быть, покалывает в грудях, ровно песку стеклянного нажрался. — Спросил деловито: — Ну, так не хочешь брать мыша-то? Ну, тогда спи тихо. На завтра еще чего-нибудь принесу, — и ушел, тихо ступая на скрюченных ногах.

Тима уже выздоравливал, когда Болотный вновь пришел как-то в землянку к Парамоновым.

— Видали? До сих пор живой? — начал он еще с порога. — Значит, у меня кумпол с мозгой, — придвинул табуретку, сел, начал неторопливо: — Скольких вокруг меня смертяшка петлей оплела. А я ей все не покорствовал. Если б ребят-товарищей, с кем когда уголек брал, на одно кладбище сложить, много могилоч получилось бы. — Пожаловался: — Сократили часы упряжки, а у меня с денного света глаза с непривычки ломит. Хожу и плачу. Дуроломы смеются: по царю, мол. А ему бы после девятьсот пятого в монахи пойти, грехи свои замаливать, а он по дурости на немцев народ кинул. Расчет делал, — отведем на немце

душу, кровью изойдем, ослабнем. Еще годков с полсотни он себе и выхлопочет тиранствовать. А народ, как за ружьишки ухватился, сообразил, кого вперед штыком коли, кого назад прикладом бей. Осолдатился, теперь его ничем не своротишь.

— А вы были за революцию? — спросил Тима.

— Я против артели никогда не шел, — уклончиво ответил Болотный.

— Но сейчас лучше, чем раньше?

— Надрали глотки на митинге, пообещали новой власти миллион пудиков, а рубать-то его мне.

— Но теперь легче стало в шахте работать?

— Пускай годков десяток с меня скинут, тогда легче пойдет.

— Анисим говорил, вы больше других даете.

— С привычки.

— А он сказал, вы чего-то такое придумали.

— Не я — старость схитрилась. Махать без передыха обушком сподручней, когда за тобой один крепит, другой огребает.

— Но ведь многие после вас так стали.

— Верно, собезьянничали, словчили.

— А вы бы один только так хотели?

— Не пес я, от ребят таиться.

— Вот спасательную станцию устроили, теперь шахтеры не будут калечиться и гибнуть.

— Баловство это, — сердито сказал Болотный. — Не обстучишь кровлю, не растопыришь ухо — никакой спасатель тебя от глупости не оборонит. Я почему живой? Не верю ей, шахте. Полсотни годков под землей воюю со всей вражьей силой, которая горняка удавить хочет, и пока, значит, мой над ней верх, а не ее. — Обратившись к Анисиму, сказал строго: — Слышал? Постановление сделали: во всех семействах, у которых отцы за революцию погибли, или просто так в шахте сгинули, или поувечились, ребят содержать до полного возраста по всем статьям довольства. Вам тоже пенсии положили. Значит, Дуська приданое скопнит.

— Вы бы лучше меня к себе в забой взяли, — попросил Анисим.

— А что? — оживился Болотный. — Я бы из тебя шахтера выстрогал. В старое время как хорошо было! Мне девяти годков не было, а уже в саночниках на карачках по штреку ползал. В двенадцать водку самостоятельно со всеми пил и кайлой помахивал до полного обалдения. А вот

новая власть не желает сызмальства к углю приучивать. Жиганов плодить будет, дармоедов.

Усаживаясь на табуретку, заявил сурово:

— Вот дождусь Парамонова, ругаться с ним буду. Запретил газ выжигать на месте открытой лавы, поставил меня вентиляционный штрек новый рубать. А мне это скука — добычу давать желаю. И этот комиссар приезжий — тоже человек чудной. Полез в шахту, обтер ее всю насквозь пиджачком, покрутил носом: «Пыли много». Собрал шахтеров, показал в банке человечьи легкие, ворошит их палочкой: вот, мол, глядите, сколько в них пыли набито, мол, для здоровья вред. Самого Парамонова прижал и крепежный лес у него отнял на баню и на сушилку. Я баню-то настоящую плохо помню. Годов тридцать назад гулял в селе большом, ну и для куража велел себя в баню свести. И там совместно с четвертной бутылью парился. — Вздыхнул мечтательно: — Баня — это как царство небесное. Всех болезней избавительница. А комиссар еще про больницу стал толковать. Вот чудило, да кто ж в нее пойдет, если баня есть!

— А если кто в шахте искалечится?

— Если не совсем — опять баня. Сделай припарку дегтем — как на собаке присохнет.

Пришел Парамонов. Выслушав жалобу Болотного, сказал кратко:

— Тихон Иванович, ты пойми, прорубим вентиляционный ходок, люди чистым воздухом дышать будут, а то ведь отравы.

— Газок-то, он тоже свою пользу имеет, — не сдавался Болотный. — Провоняешься им, ни блоха, ни клоп не жалят. А по весне гнус не тревожит, это я давно по себе приметил. Но я вам поперец становиться не стану. Только гляди, от сильной тяги сквозняка гулять будут, а с их простуда.

— Ничего, мы дверки вентиляционные навесим.

— Ну, разве что тесу вам не жалко, тогда валите, — милостиво согласился Болотный. И спросил жадно: — Ну, чего нового еще постановили?

Парамонов выложил на стол бумажки, разгладил их ладонями.

— Значит, такая резолюция: облегчить вес тачек — раз. Заменить ручной и конный подъем паровым. Каждый месяц от каната подъемного один аршин отрубать и расследовать, сколько волокон на нем порвалось, чтобы, значит, обрыва клетки или бадьи больше не было. На лампы нагото-

вить предохранительные сетки. Ну, тут еще всякая сигнализация, питьевые бачки, жаровни в вентиляционных шахтах, чтобы тяга наружу лучше была. Построить три барака: два бревенчатых — под жилье, один, из досок, для больницы; лесопилку перевести на круглые сутки, чтобы шахтерам тес выдавать на обшивку землянок, а то сырость — болеют люди.

— Это кто же нагородил столько? — озабоченно спросил Болотный.

— Техническая комиссия при Совете нашем депутатском.

— А кто исполнять будет?

— Все.

Болотный, насупившись, теребил бороду, потом попросил:

— А ну, еще раз перечисли. — Снова задумался и только после этого одобрил: — А ведь ничего не скажешь, дело! — и, вставая, заявил: — Ну, пойду людям скажу. Не все еще, видать, знают.

— Валяй, валяй, агитируй, — одобрил Парамонов. — Только смотри не привирай чего лишнего.

— Разве я брехун?

— А вот когда постановили на сдельщину работать, ты что говорил? Будто, кто норму не выдаст, из шахты не выпустят.

— Так это я от себя придумал.

— Нельзя самовольствовать. Пришел бы в Совет, обсудили.

— Разговорщики вы, вот кто! — рассердился Болотный и ушел, с силой хлопнув сколоченной из горбылей дверью.

Парамонов сказал про Болотного:

— У Тихона в костях больше мозга, чем у другого в башке, — и стал горячо объяснять: — Не хватало породы для закладки пространства, а маркшейдер запретил на старых выработках стойки выбивать в целях обрушения породы — горной мельницей такое дело называется. Говорил: трещиноватая кровля, не успеют люди повыскакивать. Тихон полез в выработки, поснимал дверные оклады и часть крепи, после бревна поперек штрека положил, обвязал с краев двумя канатами, притащил концы в укрытие и оттуда велел ребятам канаты дергать. Ну и свалили стойки и даже успели бревном их сгрести до того, как обвал породы начался. Пустил, выходит, горную мельницу на полный ход. А то пришлось бы, как маркшейдер приказывал, с террикона обратно в шахту породу качать или снова

по-камерному пласт разрабатывать. Тысячи пудов уголька в целиках губить. Выходит, сэкономил Тихон силы, здоровье и деньги.

Когда Болотный заставлял в землянке Парамонова, он забывал о Тиме и начинал сердито, громко ругаться. И Тиме было непонятно, как в этом потоке ругательских слов Парамонов находил что-то важное для себя и почтительно говорил Болотному:

— Вы, Тихон Иванович, не надрывайтесь. Верно, можно откатку на канате наладить. Поставим шкивок на паровичке, и пускай тягает. И камеронщика сменим. Надо на это место партийного поставить. Если насосы кто повредит, захлебнется шахта по весне грунтовой водой. Это ты в точку бьешь.

Словно два человека жили в Болотном: один — добрый, неспешный, заботливый, хоть и говорит всегда злым голосом; другой — бешено нетерпеливый, с жгучими бранными словами кидающийся на людей. И казалось, он ненавидит и презирует их за непонятливость, нерадивость. А когда с ним соглашались и благодарили за совет, только небрежно махал рукой.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

Пока Тима болел, Анисим ухаживал за ним с угрюмой старательностью. Поил малиновым отваром, растирал плечи и грудь ветошкой, окуная ее в горячий рассол. Закутав одеялом из заячьих шкур, садился возле топчана и, нахмурившись, озабоченно сообщал:

— Как на ноги вскочишь, в шахту поведу. У нас шахта богатая. Потолочными уступами разрабатывают. Уголек, как чугун, твердый. Дашь кайлом, искрит аж. — Сердился: — Ты слушай, слушай, а на пот тужься, через пот вся простуда наружу выпаривается. — Спрашивал деловито: — Ты в городе при молодежи состоял? У нас социалистический союз для подростков при Партийном клубе открыли. Алеша Супырин — председатель. Он мне отпуск ради гостя дал. Выхожу тебя, доложусь и снова к своей команде пристану. Мы все, кто обиженные по увольнению, собрались гуртом и шахтенку старую, выработанную, прошарили всю насквозь, пропластики угольные нашли, будем, значит, рубать потихоньку. Такое постановление. А Дуська от нас читалкой и библиотекой заведующая. Мы газетки, книги только про одну политику вслух читаем. — Произнес важ-

но: — Считаемся подручными большевиков. Поэтому и дали нам закуток в самом Партийном клубе. Хочешь, я тебя со знаменитейшим у нас человеком познакомлю? Его вся Россия почитает. Хозяин писателя Горького, понял — кто?

— Горького я знаю, — похвастался Тима. — Хочешь, наизусть скажу песню про Сокола?

— Это и Дуська может. А вот хозяина над ним знаешь?

— Нет, — честно сознался Тима.

— Деренков его фамилия. Ты смотри шапку перед ним скинь, ежели встретишь. Мы все скидаем. Он здесь лавку мелочную содержит. Важный старик.

— А за что я шапку буду перед лавочником вашим снимать? — удивился Тима.

— Он не простой лавочник. Он особый. В Казани крендельным заведением владел. У него сам Максим Горький как простой рабочий человек хлебопеком служил.

— Мало ли что ваш Деренков Горького знал! Все-таки он лавочник, — задиристо сказал Тима.

— В том, что Горький на него работал, Деренков вовсе не виноват, — горячо заявил Аписим. — Он же не знал про то, что он не пекарь, а Горький — писатель всех книг. Дивился уму, и все. А после, когда узнал, что за пекарь у него служил, стал все книги его собирать и еще другие. У него в помещении за лавкой книги на полках, а вот как в полугодовщину революции его почествовали, в Партийный клуб все книги пожертвовал. Вот те и лавочник! Забежишь в лавку к нему, станешь где в сторонке, глядишь на него, а глаза у Деренкова, как у коня шахтерского, уже с сизой поволокой, плохо видят, лицо ровно из рыбьего мяса — бескровное, руки водянкой набухшие, шея обмотана теплым платком. Сидит у печки с дверкой раскрытой и дремлет. А ты на него глядишь и думаешь, как он, значит, самолично Горького видел. А он спит у печки и ничего о себе не воображает. Ребята, которые в ревбательонах уходили Корнилова бить, или в Иркутск юнкеров крушить, или банду Семенова в Забайкалье трепать, — все, идя на смертный бой, к Деренкову заходили прощаться. А ты его эксплуататором обозвал. Сразу видать — с уезда, не понимаешь шахтерской гордости.

Вот Сухойжилин из Москвы недавно вернулся, где на большевистском съезде вместе с Лениным голос подавал за всякие постановления и по записке Ленина с учеными беседовал. Зазывал их тут разведку вести новых залежей угля, чтобы нам завод поставили. И Ленин его за такое

одобрил. И всем он на митинге руку свою показывал, которую ему Ленин за это пожал. А ты про шахтеров такие слова сказал: «Лавочнику кланяются!» Эх ты, уездный.

Слушая Анисима, Тима чувствовал себя неловко. Не зная, как оправдаться, взволнованный и несчастный, он бормотал:

— Ну что ты злишься! Я же не знал. Это совсем другое дело.

Заметив, что крупный пот заливает глаза Тимы, Анисим, остыв сердцем, сказал уже добродушно:

— Ага, прошибло! Значит, выходит простуда, — и, подтыкая заячье одеяло, посоветовал: — Только ты посвободнее тело развали, чтобы кожа в натяжке не была. Выпарись как следует, а завтра, глядишь, полегчает.

Действительно, на следующий день Тима чувствовал себя лучше. Но Парамонов запретил ему вставать до времени с постели и укоризненно сказал Анисиму:

— Ты гостя зря не тормози, полегче с припарками, а то обратно болезнь вгонишь.

Парамонов обычно приходил домой поздно. Неслышно раздевшись, усаживался за стол, подперев щеки кулаками, принимался за чтение, часто вздыхая над непонятными местами. Утром жалобно говорил Марфе, указывая на книгу с торчащими из страниц закладками:

— Видала, вон сколько мест, где понять не мог! — Потом шепотом спрашивал: — Как гость у нас, ничего? Ты корми его лучше.

— Болотный ему карасишек в ведерке принес. В тайгу он после упряжки бегал и из тины пагреб бреднем. Не любит он холодной воды, а полез. Понравился ему комиссар по здоровью — за баню. Силки на куропаток поставил на елани: говорит, вместо курятины сойдут больному.

Папа приходил в самое неожиданное время. И каждый раз виновато говорил:

— Ты уж извини, Тимофей, просто вздохнуть некогда. Ну, как тебе тут? — и, не дожидаясь ответа, клал ему под мышку термометр. Предупреждал строго: — Пожалуйста, не вырони. А то на весь поселок единственный. Недели через две откроем больницу на двадцать коек. Фельдшер Фирин приехал. Вот и персонал. А доктор Знаменский — отличный медик. Поправится, возглавит больницу.

— Ты где живешь? — спрашивал Тима.

Папа сконфуженно шутил:

— Пользуюсь амбулаторно ночлегом — иногда в Партийном клубе, иногда в бараке у шахтеров. Без тебя,

знаешь, не стоит место постоянного жительства выбирать. Вот приедет мама, тогда все и обсудим.

— А она скоро приедет?

— В самое ближайшее время, — решительно заявил папа, но отвернулся и, сняв очки, стал протирать их куском бумаги, оторванным от газеты.

— У тебя что, платка нету?..

— Видишь ли, — смущенно сказал папа, — я тут стиркой занялся в одном месте. Повесил сушить, а вернуться туда все некогда. — И, словно оправдываясь, сказал: — Японцы пользуются бумагой вместо носовых платков, салфеток и даже оконных стекол.

— Но ты же не японец!

Папа поднял голову, поморгал и произнес задумчиво:

— Вообще-то о японцах следует знать значительно больше. Возможно, мне удастся ознакомиться с их жизнью обстоятельно. Я попросил ревком разрешить мне сопровождать отряд в качестве медика. Дело в том, что седьмого апреля японцы высадили десант во Владивостоке, и сейчас здесь формируется отряд в помощь дальневосточникам.

— А как же я? — тревожно спросил Тима.

— Ты останешься с мамой, — твердо заявил папа.

В эту ночь Тима не спал. Да и во всем поселке тоже, пожалуй, никто не спал. На площади, при свете шахтерских ламп, происходил митинг. Около ста человек добровольцев записались в горяцкий отряд, комиссаром которого избрали Поднебеско.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

Совет управления копиями постановил, чтобы отряду выдали двадцать нудов взрывчатки для производства самодельных гранат. И в шахтерских лачугах всю ночь набивали деревянными толкушками в жестяные и чугунные оболочки гранат раскатанную в колбаски взрывчатку.

Парамонов, не дожидаясь конца митинга, пришел домой и тотчас улегся на нары, сладко позевывая.

— Ох, и отосплюсь я сегодня за весь год вперед!

— Ты почему с митинга ушел? — спросил Анисим.

— А чего там делать? Избрали командиром, ну и пошел домой отсыпаться.

Дуся опустила глаза и упрекнула:

— Что ж вы сразу не сказали, что воевать уходите? Разве отцы так делают?

Парамонов быстро сел на нары, улыбаясь растерянно, жалобно.

— Это ты меня отцом провеличала? — спросил он.

Анисим поддержал сестру:

— А как тебя звать? Ты нам хоть и не родитель, а все ж отец.

Бледная, встревоженная, вошла в землянку Марфа. Парамонов громко, радостно говорил:

— Ну, спасибо, детки мои хорошие. Значит, дождался я, — и, обращаясь к Марфе, строго заявил: — Смотри береги ребяток.

— А чего их беречь? — стараясь спрятать свое счастье и затаить горечь разлуки, грубовато сказала Марфа. — Вымахали с каланчу. Скоро отцу-матери тока поперек говорить будут. Беда с ними.

Но с такой благодарной нежностью метнула взгляд на Анисима с Дусей, что сразу было понятно: она безмерно благодарна детям за то, что сняли они с ее души горечь их упорной отчужденности к отчиму. Обычно Парамонов держал себя с Дусей и Анисимом настороженно. Обращался при них к жене не иначе, как по имени-отчеству, говорил лишь о делах и не садился во главе стола.

А сейчас, словно хмельной, с радостной откровенностью рассказывал о том, как мучился и страдал от всего этого, как Марфа приходила к нему в забой и плакала там, уговаривая перенести шалаш подальше от их землянки, как срамил его Болотный на людях за то, что полез в родовитую шахтерскую семью, будто покровитель какой.

— Так и ходил ровно напополам разодранный, — признался Парамонов. — И вот только сегодня сросся. Человеком стал.

На следующий день Тима пошел с Парамоновыми на проводы шахтерского отряда, чтобы проститься с папой.

Папа заходил утром в землянку, измерил температуру, посчитал пульс, поглядел на язык Тимы и сказал, потирая руки:

— А ты выглядишь вполне приемлемо. Маме я послал письмишко; убежден, скоро приедет. Доктор Знаменский дал согласие приютить тебя до ее приезда. — Утешил: — Скучать не будешь, у него отличная библиотека.

— А если тебя убьют? — угрюмо спросил Тима.

— Не говори глупости, — строго сказал папа. Потом попросил: — Я тут маме письмо написал, но скажи, пусть

сразу не читает. Это только так, знаешь, на всякий случай.— Взял Тиму теплыми, мягкими ладонями за щеки, приблизил его лицо к своему лицу.

— Дай я тоже так...— сказал Тима и, прижавшись к отцу, полузакрыв глаза, вдыхал знакомый кислый запах карболки, к которому теперь примешалась еще терпкая угольная пыль.

— Ну вот, я тебя всего понюхал,— сказал Тима и попросил:— А что, если я у Парамоновых до мамы побуду? Анисим тоже без отца — значит, мы с ним теперь одинаковые.

— Ну что ж,— не очень уверенно согласился папа.— Посоветуюсь с Марфой Евтихиевной; если она не будет возражать — пожалуйста. Но в этом случае она должна взять в продотделе ордер на питание, полагающееся всем детям красноармейцев, находящихся на фронте.

— Значит, ты уже красноармеец?— с гордостью воскликнул Тима.

— Ну, не совсем, я ведь не обученный.

— И всегда ты какой-то не совсем,— с досадой сказал Тима.— И не совсем доктор, и не совсем начальник, а вот если убьют совсем, так никто и не узнает, какой ты хороший.

— Не очень-то я хороший,— вздохнул папа.— Мама, наверное, очень рассердится, что я уехал, не устроив тебя как следует. Она ведь у нас человек организованный.

— Ну да,— возразил Тима.— Также меня бросала сколько раз.

— Мама у нас замечательная!— категорически заявил папа и предупредил:— Так ты не забудь про письмо, скажешь именно так, как я велел...

Тима шел на площадь, убежденный, что увидит нечто вроде торжественного военного парада. Ведь папа с такой гордостью говорил о шахтерах: «авангард», «гегемон», «железная дисциплина».

Но никакого гегемона, авангарда, железной дисциплины Тима на площади не увидел.

Возле трибуны бушевала толпа горняков. Люди яростно кричали, бранились, лезли, толкаясь, на ступени, цепляясь друг за друга заплетенными мешками, деревянными сундуками, и обзывали ревкомовцев очень обидно. Три пожарника, оплетенные медными трубами, и один с барабаном, прижатые к трибуне, кричали истошно:

— Легче! Музыку помпете, легче!— и пытались засунуть свои инструменты под трибуну.

— Они что, не хотят идти воевать? — возмущенно спросил Тима.

Анисим нахмурился, дернул плечом и сказал твердо:

— Такого у нас не было. Обида какая-то вышла, вот и орут...

Расталкивая шахтеров, к трибуне приближался низкорослый, коренастый человек с венчиком волос свинцового цвета на лысеющей голове. На буром мускулистом лице двигались злые желваки. Вскочив на трибуну, стиснув толстыми сильными пальцами березовые кругляки перил, он в упор уставился на людей светлыми, пронзительными глазами. Молча стоял так: напряженный, словно каменная глыба, и будто под тяжестью его взгляда стали гаснуть крики. Человек дождался полной тишины. Прислушался, как взволнованно дышат люди, провел ладонью по белому высокому лбу и произнес неожиданно мягким, бархатистым голосом:

— Партия большевиков вырвала Россию из мировой войны. Партия спасла изувеченный, измученный, истерзанный народ, дорогой ценой добыла передышку, чтобы народ воспрянул, подлатался, наладил жизнь по совести и человеческой потребности. Советская власть у нас на веки вечные. Поэтому никакой суматохи ни по какому случаю быть не должно, решительно!

И человек резко рассек воздух перед собой тяжелой ладонью. Но вдруг, душевно улыбнувшись, спросил:

— Как, согласны, товарищи? — Выждал и властно продолжал: — Пока псы империализма грызлись между собой, мы, выйдя из войны, смогли накоротке кое-что наладить, с силами собраться и угольку дать семьдесят миллионов пудов, который светит, греет и машины крутит. Но теперь псы империализма между собой поладили и ищут новую добычу, чтобы их войска в простое не были и барыши новые не пропадали. Целят они на короткую, быструю войну, правильно считая, что армия у нас не велика: мол, разобьем ее, а там все само в руки свалится. Но вся штука в том, что армия у нас теперь — весь народ. Поскольку мы будем воевать всем народом, — а сила его неисчислима, — значит, и время, потребное на войну, будет исчисляться нами, а не ими. А война — это дело для народа труженическое. Рабочий человек с винтовкой — тот же рабочий, что и с обушком. Значит, нечего тут всем свою нетерпеливую лихость выказывать, в суматоху кидаться. А кто уж очень боевой, тем скажу: держав, которые нам войной грозят со всех сторон, предостаточно, и опоздать никто не опоздает.

А вот уголек стране дать мы уже опаздываем. А Россия ждет угля от нас, как хлеба. Мало его нарубать, надо до места под охраной доставить... Тут шумели, почему в отряд пулеметы не дали. А потому, что они здесь нужнее. На железной дороге саботаж, с угольных эшелонов паровозы снимают, в тупики ставят. Каждый перегон с боя брать приходится. Товарищ Ленин нас спрашивал: вы знаете, сколько подкупа, обмана, спекуляции около каждой узловой станции? Вы знаете, что эксплуататоры бросают миллионы для того, чтобы попортить транспорт, чтобы загнать вагоны туда, где их не найдешь? Это все делается для того, чтобы усилить голод и натравить народ на Советскую власть. А мы отвечаем: знаем, товарищ Ленин. И как буржуазия народ на Советскую власть натравливает, тоже знаем. Вчера, в ночную смену, на седьмой Наклонной кто-то подорвал в камерах движки насосов, нижний горизонт водой залило. А сволочь распространила слух, будто оттого насосы стали, что в Партийный клуб керосин забрали — при свете спектакль ставить. Теперь снова о суматохе скажу. Ревком правильно сделал, сократив список добровольцев на одну треть. Товарищи, оставшиеся в списке, знайте: вы-то уходите, а нам с восьми часов опять придется на десять перейти. Хотите сверх списка уходить — ну что ж, валяйте, но тогда шахтеры из-за вас еще два часа на себя взять должны. Поэтому ставлю на голосование. Кто за то, чтобы выполнить шахтерское слово и дать обещанные два миллиона кубиков? Так. Единогласно. Теперь, товарищи, кто за то, чтобы отменить для подземных восемь часов и перейти на десять? Тоже единогласно. Ну, а теперь, у кого рука подымется за двенадцать голосовать, а самим сверх списка на фронт уходить? Трое! И пять воздержались.

Человек облегченно провел ладонью по лбу, вздохнул и зычно крикнул:

— Товарищи горняки, идущие воевать, построиться!

Сто человек шахтеров с мешками за плечами выдвинулись из толпы и замерли в плотной шеренге. Почти столько, тоже с мешками за плечами, уныло отступили и смешались с толпой. И среди них был сконфуженный Тимин папа.

Оркестр из пожарников заиграл марш и двинулся вперед. Шахтерский отряд, мерно топая, пошел по дороге, сопровождаемый с обеих сторон горняками, жителями поселка.

Когда Тима подошел к папе, тот полез в карман, вынул

кусок бумаги, протер очки, потом высморкался в нее, как японец, и сказал виновато:

— Видишь, напрасно ты волновался, Тима.

Человек, который говорил с трибуны, проходя мимо, обернулся к папе и сказал укоризненно:

— А вы тоже, товарищ комиссар, поддались. Вас сюда прислали шахтерское здоровье налаживать, а вы легкомысленно себя повели. Нехорошо.

— Кто это? — спросил Тима.

— Председатель ревкома Павел Сухожилин. Старый революционер, приятель томича Кострикова. Тоже, знаешь, замечательный большевик, я с ним немного в тюрьме сидел в одной камере. — Пощипал бородку и, поежившись, спросил:

— При тебе письмо к маме? — разорвал письмо на клочки, произнес со вздохом: — Ты извини, Тима, мне надо идти. Сегодня буду ругаться с Сухожилиным. Если не дадут леса, заберу крепежный. У меня директива — всех многодетных рабочих в самый короткий срок переселить из землянок в рубленые бараки. — Решительно дернув плечом, заявил: — Ни одного ребенка в землянке! Вот увидишь.

Светило желтое солнце. В черной топкой грязи остались отпечатки сотен ног, и в них затекала талая вода. Откуда-то издалека доносились вздохи оркестра, крики. В синем небе торчали серые вышки шахтных копров. В окнах рубленых двухэтажных домов, где жили служащие рудника, висели тюлевые занавески, и на подоконниках, в горшках, стояли какие-то цветы с жирнозелеными толстыми листьями. Дул ветер, пахнувший талой водой.

Тима присел на ступени трибуны отдохнуть после долгого стояния на митинге. Потянулись от шахтных копров идущие с работы горняки. Лица их были в тусклой угольной пыли, плечи устало опущены. А навстречу им торопливо шагали, с чистыми лицами, одетые по-походному, другие горняки, с деревянными сундучками и мешками за спиной.

К трибуне подошел Сухожилин. Поднялся на нее, осмотрел, сказал со вздохом:

— Эх, потерял зажигалку; думал, здесь обронил.

Он сел на ступени и задумался, свесив между колен тяжелые руки.

— А ты чего тут? Отец воевать ушел или братишка?

— Нет, я просто так.

— Да ты не сапожковский ли? — Положив Тиме на

колени большую, тяжелую руку, сказал мягко:— Видал, как шахтеры на смертный бой уходили? На всю жизнь запомни.

Сухожилин с досадой похлопал себя по карманам и повторил:

— Потерял зажигалку. Обидно, память это мне была. Дружок у меня в Томске был.

— Костриков?— спросил Тима.

— Ух ты, какой резвый! Все про всех знаешь,— улыбнулся Сухожилин. И пояснил:— Нет, от другого товарища. Их два брата, Куйбышевых. Старшего Валерьяном звали, мы с ним в Нарыме стерлядок ловили. Большой душевной силы человек. В Москве на съезде партии встретились, ну, я у него зажигалку и того... Пообещал за нее угольком расплатиться. А вот потерял.— Подал Тиме тяжелую, твердую ладонь и пригласил:— Ты ко мне зайди утром раненько в ревком с Анисимом Парамоновым. Ты ведь у них живешь? Скажешь, дело у меня к нему есть.

Начал накрапывать дождь. Вода шлепала по жирным глянцеvitым лужам. Смеркалось. И будто сумерки эти выползали из стволов шахт: так сильно пахло от водянистой мглы угольным чадом.

Пока Тима добрел до землянки Парамоновых, он весь вымок. Анисим сказал строго:

— Ты что, опять осопливиться хочешь?

Прислушиваясь, как хлопает за дверью дождь, Анисим добавил озабоченно:

— Отряд-то на угольные платформы погрузился. Не дала дорога вагонов с крышами. Правильно говорил Сухожилин — саботажники.

А про своего отчима, уехавшего на войну, и слова не промолвил. Только когда пришла с работы Дуся, спросил:

— Ты отцу все в дорогу собрала?

— Беспамятная я, что ли?— рассердилась Дуся.

— Ну и ладно,— хмуро произнес Анисим. Обратился к Тиме:— Хорошо, что выздоровел. Теперь болеть нам некогда. Сухожилину молодежный союз протест послал. Требуем вернуть подростков в шахты, согласно военному положению. И за отца должок выдавать на-гора мне, а не кому-нибудь.

— За обоих отцов,— поправила Дуся.

— За обоих буду!

Председатель ячейки Союза социалистической молодежи Алексей Супырин, белесый, курчавый, с толстыми, светлыми, как у телка, ресницами, работал откатчиком на Капитальной.

На рудник он пришел три года назад с годовалым братом на руках, из тайги, где его отца и мать в старательской будке завалило обвалившейся породой. Выкопал землянку, продал на скупке золотишко, поднес десятнику подарок, поставил угощение артели и пошел в забой.

И хотя ему тогда еще не было четырнадцати лет, он почти сразу приобрел уважение самых отчаянных шахтеров невозмутимой уверенностью в себе, степенностью, сочетающейся с грозным бесстрашием: он никому не прощал обиды. Из голенища сапога у него всегда торчала черемуховая ручка четырехгранного шкворня, кованного из болотного самородкового железа. Внеся залог Деренкову, он стал брать у него книги и аккуратно посещал воскресную школу для рабочих, созданную рудничным врачом Знаменским.

После неудавшегося шахтерского восстания в сентябре семнадцатого года Алексей по вентиляционному штреку пробрался в заброшенную шахту, в ствол которой бросали казненных, отыскал там Парамонова с переломанными ногами и Сухожилина с двумя штыковыми ранами и спас обоих.

Шахты бастовали. Люди жили впроголодь. В эти дни Супырин попался на краже солонины. Он решился на этот поступок, чтобы прокормить раненых, но люди не знали этого, и Супырин, еще недавно пользовавшийся всеобщим уважением, сразу потерял его. Поэтому, когда его жестоко избили солдаты, — чтобы неповадно было воровать, — никто не пожалел Алексея.

В тот же вечер, весь в синяках, с пальцами, оттоптанymi солдатскими каблуками, Супырин пришел в казарму, сплясал там под губную гармошку и выпросил у солдат остатки от ужина. За необходимость и веселость права ему навалили целый туес каши.

И с того дня Супырин каждый вечер являлся в казармы веселить солдат. Но за это весь поселок окончательно отвернулся от Супырина, как от вора и прихлебателя палачей.

Когда кончилась забастовка, положение его стало еще нестерпимее. Из мрака забоев в него бросали кусками угля. Если забуривалась вагонетка, никто не хотел помочь ему.

Пользуясь ненавистью шахтеров к Супырину, десятник нагло обшчитывал его при получке, и никому не приходило в голову заступиться. Дело дошло до того, что, когда обрушивали с потолочной толщи присуху — остатки угольного пласта, — никто не предупредил его об этом, и ему тяжелым куском угля рассекло голову.

Обвязав голову тряпкой, смоченной ламповым маслом, Алексей, вопреки шахтерскому обычаю, один, без товарищей, еле доковылял до землянки.

Но пришла революция, и шахтеры узнали всю правду об Алексее.

Единственную награду попросил Супырин: чтобы его приняли в партию. И хотя трудно было отказать подростку, спасшему тебе жизнь и добровольно принявшему на себя тяжелую муку шахтерского презрения, непереносимую даже для очень сильного душой человека, Сухожилин отказал Супырину. Но посоветовал собрать ребят и создать ячейку вроде как бы помощников партии. Так при Партийном клубе возникла первая молодежная ячейка, и председателем ее стал Алексей Супырин.

В тот вечер, когда шахтерский отряд отправился на помощь дальневосточникам, Супырин пришел к Парамоновым сообщить, что Сухожилин разрешил членам молодежного союза работать на Капитальной шахте своей артелью с шестичасовой упряжкой и старшим над ними поставил Тихона Болотного.

Тима стал просить, чтобы его зачислили в коногоны, ссылаясь на свое умение управляться с лошадьми. Супырин сказал уклончиво:

— Ладно, поглядим. Пока вот желаешь в читалке ярлыки на книгах клеить и подчитчиком быть?

Должность подчитчика, как убедился потом Тима, заключалась в следующем: читчики читали вслух газеты и книги для всех, потом беседовали о прочитанном. Подчитчики обслуживали одного или двух слушателей и выбирали для них книги. Читать нужно было шепотом, чтобы не мешать грамотным посетителям читальни.

Самое трудное было найти для слушателя книгу точно по его желанию.

Вот пожилой сердитый шахтер просит:

— Давай такое, чтобы, значит, вранья меньше и где люди складно, доверчиво про себя обсказывают.

Начнет читать Тима, а слушатель прерывает:

— Ты мне не про то, как раньше, ты про то, как сейчас.

— Ну, нет таких, про сейчас, — обижался Тима.

— Как так нет? Раньше записывали про себя, а теперь перестали? Чего ты мне про Пугача с офицериком суешь? — и уходил с этим же требованием к другому подчитчику.

Но были и доверчивые слушатели. Они не только покорялись Тимину выбору книг, но слепо верили в прочитанное. Эти сидели на лавке недвижимо и, будто грезя, шептали жалостливо:

— Ты скажи ему от себя, что он сволочь; пускай бабу простит, она ж не виноватая. Вот беда, обалдел, не верит.

Из-за таких слушателей Тима даже жульнически переименовал Тараса Бульбу. Дойдя до смерти Тараса, он скороговоркой «прочитал»:

— Тогда казаки, услыша голос Бульбы, повернули коней, наскочили на ляхов и стали рубить их, как капусту. Дрова в костре раскидали, веревки, которыми Тарас был связан, ножами перерезали и ускакали вместе с Тарасом. Только курительную его люльку оставили.

— Это правильно, — говорил одобрительно слушатель, — разве можно атамана в беде оставлять? А до тебя тут один брехал, будто бросили Тараса. Сам, видать, человек ненадежный, вот и кладет слова по-своему.

К удивлению Тимы, «Робинзон Крузо», его любимая книга, не пользовалась успехом.

Коногон Петухов сказал пренебрежительно:

— Что ж он, Робинзон этот, обозвал другого человека днем постным, придумал собачью кличку и забатрачил на себя; видать по хозяйской хватке — живоглот.

— Но ведь Робинзон добрый, — заступился Тима.

— На острове-то будешь добрым. Ни стражников, ни полиции, с того и добрый. Дальше увидишь, как он этого черного оборотит.

Больше всего Тиме нравилось читать двум забойщикам, братьям Хабабулиным. Они слушали его напряженно, молча, почти не дыша. Уходили на цыпочках и только в дверях останавливались и молча кланялись Тиме на прощание.

Все проходящие в читальню были обязаны, прежде чем подойти к прилавку, где выдавались книги, мыть руки в углу под жестяным умывальником. Кто засыпал во время чтения, тех с позором изгоняли на улицу. Оставаться в шапках также было запрещено. А кто забывал снять при входе, на тех грозно кричали.

Постоянным слушателем Тимы был слепой десятник. Он так рассказывал о своем несчастье:

— Стал кровлю доглядывать, поднял свечу, а газ как фукнет, ну и опалило.

Десятник сам назначал книги для чтения и приводил с собой еще двух слепых шахтеров — запальщика Снурова, которому выбило глаза, когда он отламывал смерзшиеся динамитные патроны, и стволового Хлебного. Тот потерял глаза, когда застряла бадья, зацепившись о ледяную настыль в стволе; чтобы освободить ее, он стал спускаться по канату, сорвался и ударился о край бадьи лицом.

Но через неделю эти слепые шахтеры перестали приходить в читальню. Тима забеспокоился — почему? Дуся Парамонова объяснила: десятник собрал митинг изувеченных шахтеров, которым Советская власть определила пенсию, и предложил, поскольку людей в шахтах не хватает, стать кому — дворовыми, кому — на ручные вентиляторы и на охрану насосов.

Здесь, в читальне, Тима слышал разговоры и о своем отце. Говорили больше уважительно:

— Комиссар здоровья велел всюду сушилки для одежды сколотить. Дождики поставить. Теперь с шахты уходишь сухой и мытый, как купец.

Открытие бани состоялось в воскресенье. Папа выступал с трибуны. Шахтеры потом качали его и одетым внесли в парную.

Но были шахтеры, которые говорили про отца, что он человек вредный и напрасно Сухожилин его слушается. Этих шахтеров папа снял с подземных работ, когда доктор Знаменский установил у них заболевание туберкулезом. Пришлось им теперь вместе с ребятишками и женщинами работать на терриконах, на отсортировке угля.

Дело со строительством рубленых бараков для многодетных шахтеров подвигалось плохо. Сухожилин не давал больше крепежного леса, а другого не было.

Тима слышал от людей, что папа на заседании ревкома очень сильно поругался с Сухожилиным. Одни члены ревкома были за папу, другие за Сухожилина. Одни предлагали выбрать для стройки барака крепь из всех старых выработок; другие говорили, что и так все, что можно там снять, снято, а если дальше выбирать, произойдут опасные обвалы. Одни предлагали взять коней из шахт, чтобы привезти из тайги бревна, другие говорили, что и так коней в шахтах не хватает. Кроме того, сейчас наступила оттепель, и все дороги заболотило.

Запальщик Лепехин каждый день после работы три часа дежурил на милицейском посту возле Партийного

клуба. Если дождило, он залезал под трибуну, стоявшую посредине площади, и сидел там на деревянном чурбачке. Отбыв дежурство, заходил в читальню, и Тима доставал с полки сочинения Конан Дойля, считая, что Шерлок Холмс — самое подходящее чтение для милиционера.

Действительно, Лепехин одобрял, как ловко иностранный сыщик жуликов ловит. Но тут же вступал в спор с книгой.

— У нас уголовных хватает, на то мы и Сибирь, чтобы их к нам со всех сторон сгоняли. Но после девятьсот пятого, когда сюда политики поднаперли, уголовный другим человеком стал. Я ведь с отцом, как погорели в деревне, на большом сибирском тракте чайные обозы облегчал. Не от себя, а по найму, на хозяина. Выйдем, бывало, на резвых, проскочим в голову обоза, ямщика в снег скинем, постромки срубим, крючки на кошевки накинem и пошли чесать... А как напоролись на стражников, тут папашу убили, а меня, по малолетству, в тюрьме содержали до возраста законного. Потом судили — и сюда, на каторгу. Там тоже вроде Шерлока Холмса один допрашивал: как да как грабили. А почему грабили, к этому интереса нет. И в книжке одна забота: лишь бы возвратить буржую краденое. А почему человек в воровство кинулся — с голода, с беды какой, — на это наплевать.

— Вас в милиционеры выбрали, а вы за жуликов заступаетесь, — упрекнул его Тима.

Лепехин обиженно поморгал и, обратив к Тиме спекшееся шрамами лицо, сказал насмешливо:

— Жулик, он нынче особенный, его понимать надо, — и, поманив пальцем, зашептал на ухо: — Отряд на углярках уехал, не подала им дорога теплушек. А почему? В России заводы без Донбасса голодают, а наш уголь подать не на чем. Вот какое жулье ловить надо!

— А что же вы их не ловите?

Лепехин, вздохнув, закрыл книжку.

— Вот если б писатель этот показывал, как такое жулье ловить, ну, цены бы ей не было, книжке твоей.

Комнатенка Союза социалистической молодежи была маленькая, узкая, вроде кладовки. Вместо табуретки — чурбачок, вместо стола — ящик из-под мыла. Под ним старательский сундук-скрытень, обитый кровельным железом, — хранилище бумажного хозяйства союза.

Во время заседаний комитета дверь оставляли откры-

той, чтобы те, кому не удавалось протиснуться в комнату, могли слушать из коридора. Ребята усаживались там вдоль стен на корточках, оставляя проход для посетителей клуба.

Тиму зачислили в члены союза после того, как два его слушателя сказали Алеше Супырину, что подчитчик — паренек старательный и, когда читает про то, как плохо раньше жили люди, правильно осуждает за то буржуазию своими словами.

Словесную рекомендацию Тима получил также от Анисима и Дуси Парамоновых. Но приняли его на заседании бюро совсем не торжественно. Четырнадцатилетний ламповщик Аким Кривоногов, весь пропахший керосином, с черными от копоти ушами, строго предупредил:

— Ты паренек городской, хлипкий и не годами зелен, а тем, что на хлеб ни себе, ни отцу с матерью не зарабатывал. А что книги шибко читаешь, это еще полдела.

— Ладно, острастку принимаем, — сказал Супырин. — У кого еще чего есть к зачислению Сапожкова в подростковую группу? Ставлю на голосование. — Крикнул в коридор: — Там как у вас, есть против? Воздержавшихся? Значит, записываем. — И тут же перешел к другому вопросу: — Получен наряд от товарища Опреснухина избрать восемь человек в охрану угольного эшелона. Сначала — кто сам желает, а после по отдельности обсуждать будем.

Тима поднял руку. Кривоногов сказал возмущенно:

— Не успели тебя в список недовозрастных зачислить, а уж сразу поперек других выскакиваешь! Не совестно тебе соваться?

Алеша Супырин записал имена желающих.

— Тут такое положение, товарищи, — коротко сказал он, зачитав список. — На Урале и в России теперь пуд угля что пуд хлеба. Без хлеба люди слабнут, а без угля заводы становятся, — так что умри, а до места доставь.

Каждую кандидатуру обсуждали долго, тщательно, припоминая беспощадно только все худое, что за кем числилось. Про сына запальщика Лепехина говорили:

— Васька с получки деньги утаивал, на сапоги копил. А как купил, стал их прятать у Болотного, перед отцом с матерью в лаптях ходил, чтоб те его жалели.

— Это он перед Дуськой сапогами короновался.

— Вы мне его не клейте! — обидчиво крикнула Дуся. — Я на его сапоги и не глянула ни разу.

— Только в глаза друг дружке смотрели, что ли?

— Когда комиссар приезжий День здоровья объявил, Васька, вместо того чтобы со всеми сортиры и помойки

чистить, в тайгу ушел подснежные цветы Дуське собирать. Ненадежный он человек.

— Правильно. Мы его в читалке проверяли: стишки списывает, а ни одной настоящей книги не берет.

— Какие еще отводы?— спросил Супырин.

— Да мы его вовсе не отваживаем!— зло крикнул Кривоногов, первый начавший говорить про сапоги.— Мы его просто осаживаем, чтобы про себя много не думал.

Тима, считая себя обиженным Кривоноговым, заметил ехидно:

— А ты что болтаешься туда-сюда, то «против», то «за»!

Кривоногов поглядел Тиме пристально в глаза и спросил шепотом:

— А кто запалки горящие из бурок выбирать стал голыми руками, когда Болотный в забое сомлевший от угара лежал?— И, подняв разом обе руки, провозгласил:— Я за Ваську.

В этом же духе проходило избрание и остальных ребят в охрану эшелона. Потом Алексей Супырин докладывал, как справляются ребята с остальными «нарядами», полученными от ревкома.

Слушая его, Тима уважительно вглядывался в лица тех, о ком говорил Супырин, и поражался, с каким безразличием выслушивали они слова Алексея.

Вот рядом с Тимой сидит на корточках хилый паренек с перевязанной тряпицей опухшей щекой. Супырин, кивая на него, сообщает:

— Королек вчера вместе с Лешкой Пазухиным спустились, согласно наряду, в нижний горизонт и там ныряли с полка в затопленный штрек. Собрали весь брошенный инструмент, лампы и ящик с лауэровскими запалками. Так что ничего не пропало.— И, обведя глазами всех, спросил:— Значит, можем записать Корольку выполнение?

— А Лешка где?— спросил Кривоногов.

— Простыл,— сипло сообщил Королек и жалобно пояснил:— Вода, знаешь, какая холодная, прямо душа стыла.

— Теперь по охранным делам,— продолжал неторопливо Супырин.— Тут, ребята, у нас промашка вышла. Опре-снухин винтовку у Кривоногова осматривал, а на ней ржа.

— Дай я объясню,— крикнул Кривоногов и сказал, поеживаясь:— Меня ведь на рудном дворе, у склада, Пазухин должен был сменить, а он не вышел. Так я в шахте без смены у склада и просидел. А там, сами знаете, порода обводненная, повсюду каплет. Как я винтовку одежей ни прикрывал, вода подземная едкая — просочилась. А когда

Опреснухин пришел посты смотреть и начал винтовку при лампе расследовать, ржавчину увидал, ну и осердился; а я, как он ушел, всю ее обчистил и мазутом смазал.

— Мазутом нельзя.

— Нельзя, так вытру.

— Теперь, ребята, такое дело,— объявил Супырин.— Наряд пришел. Четырех коней с шахты надо продотрядовать. Придется вместо коней самим на откатку впрягаться по четыре на вагонетку. Значит, шестнадцать человек найти надо, которые недельку побегали бы за коней, убывших в командировку. Нету несогласных? Пошли дальше...

Тима знал, насколько опасен и тяжел труд шахтера. Но и поднявшись на-гора, они, усталые, измученные, идут не в дома, а в лачуги, вырытые в земле, где только нары да самодельный стол. Кроме необходимой посуды и смены одежды, там нет почти никаких вещей, и, как и в шахте, пахнет сыростью, плесенью.

И так много сил забирает у человека шахта, что нет у него после работы воли приладить хлюпающую перекошенную дверь у землянки, поправить обвалившиеся глиняные ступени, вскопать огород, и даже принести воду с реки нет сил. Сколько раз Тима видел, как на рассвете, выходя из землянок, горняки умываются прямо из лужи и вместо воды сгребают котелком нарастаящий снег в овраге, чтобы выпить чаю с заваркой из березовых почек или смородинового листа. Возвращаясь с шахты, идут к жилищам напрямик, не обходя луж, перебираясь по трясучим жердочкам через глубокие впадины опустившейся почвы над местом заброшенных выработок. И эти же люди, у которых нет сил сделать что-нибудь по дому после работы, шли на площадь на красногвардейскую учебу, чтобы бегать с винтовкой по грязи, колоть штыком мешок с опилками, подвязанный на бревенчатой перекладине, и тяжело маршировать перед суровым Опреснухиным. Шли на общественную стройку барачников для многодетных, на ночную погрузку угля в эшелоны или забирались на оттаявшие вершины сопки и там выдирали рыжую, прилипшую к почве прошлогоднюю траву, чтобы был корм для подземных коней.

На угольном терриконе работали подростки; они не только выбирали пустую породу — комитет вменил им в обязанность также отсортировывать уголь по маркам.

Приемщик от железной дороги, Дробилин, хилый, всегда страдающий от простуды, сердился, когда его вызывали на погрузку, и равнодушно проверял количество груженых вагонов, совсем не интересуясь, что там: штыб

или полноценный кусковатый антрацит, лишь бы по весу сходилось с ведомостью.

Другой приемщик, Николаев, старик рабочий из Москвы, с мандатом ВСНХ, вел себя совсем иначе: сколотил из досок будку рядом с терриконом, поселился в ней и неустанно следил, какой уголь отгружают по его нарядам. Сухонький, седой, в железных очках, он озабоченно поучал:

— Вы, ребятки, прикиньте. Здесь пуду цена копейки, а как его на колеса сложат, с каждой сотней верст цена вскакивает. Довезу до России, копейки в рубли обернутся.

Николаев говорил, что он своими глазами видел Ленина в Москве на митинге. Но ему не очень верили:

— Ладно, ты нас не агитируй, что ты такой особенный, мы и так стараемся.

И под дождем, смешанным со снегом, ребята до ночи шуровали железными кочережками, отбирая кусковатый уголь и выбрасывая каменную породу. Это был тоже очень тяжелый труд, хотя здесь, на шахтах, его считали самым легким.

Худенькая, рыженькая, запятнанная ржавыми веснушками не только на лице, но и на шее и на руках, Дуся на первый взгляд могла показаться дурпушкой. Глаза узкие, светлые, вокруг зрачка коричневато-зеленые крапинки, носик острый, голосок хриплый, надорванный.

Она была старшей в «девчачьей артели» по сортировке угля и, отличаясь властным характером, неутомимо командовала. Здесь же шуровала «инвалидная команда» из стариков и покалеченных на работе шахтеров. Старшим над ними считался Безухов. Он называл себя снисходительно — «меченый».

Когда Безухов еще был ствольным, ему после сигнала к подъему зажало кисть железной скобой. Восемьдесят сажень ствола он прошел на такой подвеске.

После этого работал рукоятчиком, но как-то притянул к себе железным крюком вышедшую из шахты бадью, чтобы поставить ее на приемный полог, бадья перетянула и он сверзился в шахту.

Калеку наняли за полцены выжигать газ в шахте. Для этого дела только и нужно, что ползать на карачках с открытой лампой на шесте. Так Безухов и ползал по шахте восемь лет. А когда выходил на-гора, садился летом в тележку, зимой в санки и, отталкиваясь чурками, «на своем ходу» добирался до балагана.

Он говорил о Дусе одобрительно:

— Крепка девка, своими владычит, и откуда чего берется!

Обмотал рукоять ее кочерги веревкой, чтобы зря не отшибала руки, и сказал заботливо:

— Вы с Аниськой теперь без обоих отцов; ежели кто обидит, скажи.

Безухов, несмотря на инвалидность, отличался поразительной силой, и его побаивались даже самые отчаянные. На митинге его, как и Лепехина, избрали милиционером, и после работы на терриконе он ночью охранял котельную, сидя в своей тележке и положив поперех култышек тяжелый железный лом.

Тима приходил на террикон выбирать из угля пустую породу. Старался держаться поближе к Дусе не потому, что она ему нравилась, а потому, что охраняла его от насмешек подруг. Тима никак не мог отвыкнуть, найдя сомнительную глыбу, советоваться с кем-нибудь: уголь это или порода? Он очень боялся спутать и выбросить кусок угля, который добывается с таким неимоверным трудом.

Хотя Дуся была гораздо старше Тимы, ложась спать, она клала с собой в постель тряпичную куклу, купленную очень давно, еще при жизни отца, в лавке Деренкова. Уходя на работу, она каждый раз прятала куклу в сундук. Но в доме властвовала не Марфа, а Дуся.

За годы работы с золотишниками Марфа огрубела и, как говорила о себе, «омужичилась». Уже с семи лет Дуся взяла на себя все заботы о брате и наказывала его, если не мыл ноги, ложась спать, или сильно баловался на улице. В девять лет готовила еду, стирала, убирала землянку и командовала Анисимом как хотела. Анисим, как и Марфа, как и Парамонов, отдавал ей получку, и она вела хозяйство. И как-то так получилось, что эта девушка, неприглядная, тощая, злоязыкая, завоевала уважение всех жителей Псово-й Балки, на откосах которой были выкопаны шахтерские землянки.

Жиган Чермаков держал в страхе весь поселок. Как-то, хмельной, он стал ломиться в землянку, где жила солдатка Горшкова. Жилистый, долговязый, с подвязанной к кисти руки гирькой на сыромятном ремешке, он стяжал славу отпетого. Никто не решился заступиться за солдатку. Но из своей землянки выскочила Дуся. Держа ухватом корчажку с кипятком, она подошла к Чермакову, сказала, сощурясь:

— А ну пошел, а то харю обварю!

Ссутулившись, широко расставив ноги, она с такой лютой злобой глядела на Чермакова, что тот попятился,

а Дуся, отведя ухват с корчажкой, с перекошенными плечами, до тех пор шла на него, пока он не попросил:

— Ты не махай так, гадючка, а то вправду ошпаришь.

Прогнав Чермакова, Дуся прикрикнула на Горшкову:

— А вы, тетенька, чего его сами не смазали чем попало? Он почему резвый? Потому что все его терпят. А осадить раз как следует, и присмирееет.

Став членом бюро молодежного союза, Дуся потребовала, чтобы вызвали на заседание Чермакова. Он явился, держа на плече шахтерку, и, помахивая гирькой, осведомился:

— На вечерку звали — так вот он я, самый веселый.

Дуся сказала, пристально глядя в его худое лицо с глубоко запавшими, шалыми смоляными глазами:

— Мы тебе свой надзор объявляем. И если ты после этого кого покалечишь или снова столбы с фонарями уносить будешь, то мы над тобой смертный приговор произнесем. И в лотерею сыграем, кому тебя укокошить. Потому что ты — гад.

— Обожди, Дуся, — сказал Алеша Супырин, вставая. — Ты, Чермаков, у нас в хулиганском списке числишься. Сухожилин нам доверил до Первого мая со всеми, кто в списке, поговорить, а если уговор не поможет, отдать список безнадежных в трибунал. А там из поселка выгонят или расстреляют — дело трибунальское.

И, отвернувшись от Чермакова, провозгласил:

— Вопрос пятый. О сборе харчей для отъезжающих в охране эшелона.

— Ладно, — пригрозил Чермаков Супырину. — Я те приложу печатку, попомнишь.

Он просидел на пороге клуба, пока не кончилось собрание, а когда на улицу вышел Супырин, подошел к нему вплотную и спросил свистящим шепотом:

— Ну как, здесь тебя зашибить или маленько подале?

Возможно, он убил бы Супырина, если бы не Дуся и Вася Лепехин.

Сидя на земле и стряхивая с головы темные капли крови, Чермаков спросил:

— Что ж, значит, в трибунал поволокете?

— Сказано, до Первого мая, — отвечали ему. — Значит, иди.

Пока Дуся дежурила в читалке, Вася Лепехин, сидя за столом, не сводил с нее своих ярко-голубых восторженных глаз. Он шептал Тиме, кивая головой на Дусю:

— Видал, как всеми командует? Вот те и рыжая!

Провожая Дусю, Вася говорил, глядя на усыпанное звездами небо:

— Все в золотинках, с того и красивое. Ты погляди, Дуся, до чего нарядное! А ты зря голову всю в платок укутываешь, словно уши застудить боишься. Волосы-то у тебя золотого цвета.

Дуся отвечала сердито:

— Ну что ты каждый раз про звезды со мной канючишь и сапогами новыми срамишь! Я на все это безжалостная. Не люблю я смирных.

— Так я разве смиренный? — искренне огорчился Вася.

— А что ты все про небо да про небо, словно я ворона. Сказал бы про что интересное.

Поглядев на запачканные грязью сапоги, Вася проговорил напряженно:

— Вчера Красной гвардии всем новые лапти выдали и ремешки кожаные. Значит, скоро уходить отряд будет, — задумался и добавил: — Я как после эшелона вернусь, запишусь в Красную гвардию навечно.

— Если примут, — поддразнила Дуся. Но тут же, сжавшись над Лепехиным, прижалась к нему: — Ой, соскучусь! — Потом, оттолкнув от себя, упрекнула: — А ты уж сразу губами полез, — и, вытирая щеку, пожаловалась капризно: — Мокрогубый ты, Васька, — и тихонько шепнула: — Ты как с углем поедешь, каждый день мне письма пиши и складывай в сундучок, а вернешься — отдашь. Я их все разом прочту. Согласный?

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Доктор Серафим Игнатьевич Знаменский знал: болезнь его неизлечима. Склеротическое обызвествление мышечных тканей превратило его, как он выражался о себе, «в гипсового болвана». Вот уже много месяцев Знаменский не вставал с постели, испытывая мучительную боль в позвоночнике. Неподвижно лежа в постели, весь обложенный подушками, он держал на груди деревянный пюпитр, для того чтобы долгими бессонными ночами читать книги.

Семнадцать лет назад он оставил место земского врача и перебрался на рудники, надеясь организовать здесь больницу, но больница так и не была построена.

Однажды Густав Федорович Штоккер, управляющий рудником, сказал ему раздраженно:

— Мне надоели ваши прошения. Вы хотите иметь

склад больных, а мы не хотим иметь больных. Мы платим жалованье, чтоб был врач, но не было больных.

— Позвольте,— возмутился Знаменский,— в шахтах почти каждую неделю происходят несчастные случаи с тяжелыми травматическими повреждениями...

Штоккер сердито откинулся в кресле:

— Теперь у нас нет ни одного несчастного случая, можете спросить горного инспектора, он вам скажет... — Возвращая бумагу, пригрозил: — Я тоже по-русски грамотный. Ваш сын слишком много разговаривает с шахтерами. Совсем маленькая записка в полицию — и вы будете несчастный отец.

Ради сына Знаменский покорился. Ходил в гости к Штоккеру, где собиралось рудничное начальство; после ужина, беседуя за картами, они изошрялись друг перед другом в похвальбе жестоким умением избегать затрат, связанных с безопасностью работ, хвалились несчастными случаями, словно прапорщики — потерями солдат во время боя.

Горный инспектор Холодилин получал из округа жалованья меньше, чем штейгер на шахте, но каждый год на его текущий счет компания переводила значительную сумму. Когда во время взрыва рудничного газа погибло шесть шахтеров, Холодилин сокрушенно сказал Штоккеру:

— Вынужден доложить в Петербург: дело судебное. — Наклонился и произнес строго: — Но если при трупах погибших будут обнаружены спички, табак или, допустим, у одной из ламп окажется вывернутым стекло — свидетельство того, что рабочий пытался прикурить от фитиля, — в этом случае даже вопрос о воспомоществовании семьям погибших не может возникнуть, ибо вина падает целиком на шахтеров, допустивших нарушение правил безопасности на руднике.

Совет Холодилина был выполнен в точности.

Почти все служащие рудника наживались на жульнических махинациях. На одной откачке воды из шахт крали тысячи, во много раз преувеличивая объем затопления. Слабое крепление ставилось не только для экономии леса: каждый обвал влек за собой фиктивные счета на восстановление якобы погибшего оборудования. Частые обрывы клетки происходили потому, что канаты, вопреки правилам, оставляли без смены на тройные сроки. Проходка новых вентиляционных штреков существовала только в планах.

К пасхе и рождеству добытые таким путем деньги раздавались, в зависимости от должности, в качестве наградных.

Во время мировой войны, когда в шахтах был введен военный режим и за малейшую провинность шахтеров можно было отдавать в солдаты, доходы рудничного начальства возросли баснословно. Добыча велась хищнически, никто не помышлял не только о замене изношенного оборудования, но даже о мелком ремонте. К обвалам, взрывам газа, к тому, что садились штольни и гнили крепи и вентиляционные двери, что вместо конной откатки перешли всюду к ручной, что на нижних горизонтах высокая вода, — относились с полным равнодушием. Добыча, несмотря на шестнадцатичасовой рабочий день, упала больше чем наполовину.

Англо-американские акционеры стремились вытеснить русских промышленников, чтобы забрать рудники в полную свою собственность. В 1916 году американские и английские капиталисты, обследовав рудные богатства Сибири, подписали с «кабинетом его величества» концессионный договор. А в апреле 1917 года Американо-английское общество заключило с Временным правительством договор, согласно которому огромные площади богатейших сибирских недр переходили в собственность общества «впредь до выработки», то есть навечно.

Пролетарская революция спасла Россию от колониализма. Пока американские и английские капиталисты, готовя интервенцию, вели тяжбу с Советским правительством по поводу своих «владений», народ стал хозяином богатейших земных недр.

В 1915 году доктора Знаменского постигло несчастье: его сын, студент Томского университета, был приговорен к смертной казни за организацию побега заключенных из тюрьмы.

Пришла старость, с одиночеством, неизлечимой болезнью, тоскливым сознанием, что жизнь прожита бесполезно, бессмысленно...

Еще когда был жив сын, доктор Знаменский вместе с ним задался большой и благородной целью: найти способ для борьбы с самой распространенной шахтерской болезнью — силикозом. Источник этой болезни — кремневая пыль; проникая в легкие горняков, с годами она покрывает их словно каменным чехлом.

Знаменский вместе с сыном проводил исследование воздуха в забоях. Наибольшее количество пыли выделялось

при буровых работах. Он уговорил штейгера разрешить ему на собственные деньги протянуть в забой шланг с водой. При поступлении в шпур воды количество пыли сократилось, но незначительно. Тот же результат был, когда при зарубке пласта попробовали смачивать пыль, разбрызгивая воду из шланга.

Целыми ночами Знаменские взвешивали, подсчитывали количество твердых частиц в одном кубическом аршине воздуха, взятого в забое, и с горечью убеждались, как ничтожны их усилия в борьбе с запыленностью.

Спустя много месяцев, после безуспешных попыток, Сергей Знаменский пришел к выводу, что, по всей вероятности, им пришлось столкнуться с непреодолимым действием физического закона поверхностного натяжения. Подчиняясь действию этого закона, самые мельчайшие, а значит, и самые вредные для организма частицы пыли не вступали в соприкосновение с водой, не смачивались ею. Тончайшим порошком они ложились на упругую водяную поверхность, оставаясь сухими, необезвреженными, и при малейшем движении воздуха снова витали черным сухим облаком, осаждаясь в легких горняков колючей, нерастворимой россыпью. Чтобы уменьшить силу поверхностного натяжения воды, Серафим Игнатьевич решил испробовать мыльные растворы.

И снова потянулись месяцы работы. И хотя метод этот оказался более удачным, применить его не удалось: Сергея арестовали.

А потом, год спустя, после гибели сына, Знаменскому в руки попала записка на лоскутке от нижней рубахи, прокрахмаленном картошкой: «Если в сосуд с паром бросить мельчайшую частицу твердого вещества, оно мгновенно оказывается ядром, вокруг которого образуется водяная капля. Пар, вступая в контакт с микроскопическими частицами твердых тел, обволакивая их, конденсируется на них, превращается в каплю, цепко держащую внутри себя твердую частицу. И капля низвергает ее вниз. Значит, к шлангу, подведенному к буру, надо подавать не воду, а пар. Да! Пар! Пар!»

Это посмертное письмо из тюрьмы сына к отцу походило на выписку из учебника физики.

С унылым равнодушием встретил Знаменский комиссара народного здоровья Сапожкова:

— Ну что ж, стройте больницу. И если окажется лишняя койка для меня, буду только признателен.

Знаменский, узнав от старухи, няньки сына, которая

вела его хозяйство, что Сапожков добился постройки бани и сушилки для одежды, похвалил снисходительно:

— Молодец фельдшер! Баня нужнее. Ибо здоровых людей все же пока больше, чем больных.

Но в день открытия больницы Знаменский не выдержал: встал с постели, прямой и негнувшийся, словно ожившая статуя, добрал до барака. Обошел все помещение и, не имея возможности повернуть голову, нагнуться, преодолевая мучительную боль в позвоночнике, сказал:

— Семнадцать лет я мечтал о больнице, а вот оказалось, что для этого сначала необходима революция, — потоптавшись, повернулся всем корпусом к Сапожкову: — Молодой человек, если я не развалюсь в ближайшие дни, как глиняный болван, прошу обещанную мне койку передать кому-нибудь другому, а я, с вашего разрешения, еще полекарствую, — и протянул руку с выпуклыми твердыми венами.

Сапожков каждый день наведывался к доктору Знаменскому, и однажды тот сказал ему доверительно:

— Вы, юноша, напоминаете мне моего Сергея, может быть, этой своей непоколебимой, рыцарской верой в будущее. Словом, вот прочтите, — и подал Сапожкову лоскут от рубахи сына, испещренный ржавыми буквами...

Начальником шахты Капитальная был избран Харитон Опреснухин. Участник восстания 1905 года в Красноярске, он бежал из Акатуйской тюрьмы на Чукотку, плавал на китобойной шхуне, несколько лет работал в рудниках Новой Зеландии, Австралии, на японском острове Хоккайдо. Нигде Опреснухин не скрывал, что он участник первой русской революции, и как-то так само собой получалось, что он всегда становился вожаком рабочих. Его подвергали наказанию плетью именем Соединенного английского королевства. Дважды во время десятидневной стачки в Австралии пытались убить его надсмотрщики. Японский полицейский разрезал ему сухожилие под коленом за попытку убежать после допроса. Опреснухина бросили с разбитыми пятками в ограждение из стальной провололочной сетки. Полиция нескольких держав объявила его опасным политическим преступником. В Гонконге, работая грузчиком, Опреснухин заступился за товарища и убил ударом кулака в печень боцмана американского корабля. Два месяца кули прятали его в угольном бункере, а потом в тюке джута отнесли в трюм русского парохода, следующего во Владивосток.

Сухой, жилистый, молчаливый, он пришел на рудник

в шестнадцатом году, и так как опытных горняков не хватало, его сразу зачислили в шахту без проверки, кто он и откуда взялся.

Опреснухин заслужил уважение горняков точным, расчетливым мастерством; он всегда вырубал свою пайку в самых трудных забоях, но никогда ни на пуд больше. Понравилось также горнякам, что этот бывалый человек похвалил их шахту, сказав:

— Таких богатых угольных полей не встречал.

И на вопрос: как там, за океаном, небось лучше нашего живут, ответил:

— Рабочий человек — всюду самый дешевый товар.

Став членом ревкома, а потом председателем технической комиссии и рудничного совдепа, Опреснухин потребовал от Совета управления копиями, чтобы очистные работы вели сплошными длинными забоями, и впервые здесь услышали слово «лава». Некогда он работал в новозеландской шахте — в забое длиной до двадцати метров — и убедился, что такой способ добычи превосходит все остальные.

Сейчас Опреснухин почти не вылезал из шахты Капитальная, где организовал добычу угля по новому способу.

Во время войны, чтобы уклониться от мобилизации, в рудники шли сынки деревенских богатеев. Немало было среди шахтеров и отпетых, отчаянных голов, для которых шахтерский труд оставался той же каторгой.

Еще во время Февральской революции эсеры и меньшевики проникли в бюро профессионального союза сибирских горнорабочих. Они расчетливо опирались на самые темные слои рабочих, призывали проводить «самостоятельную рабочую политику», писали статьи в журнале «Сибирский горнорабочий», что «не дело брать на себя обузу ответственности за судьбу всей промышленности, не дело пролетариата становиться пока всюду на хозяйское место».

После Октября, когда шахтеры самоотверженно, несмотря на саботаж штейгеров, десятников, вопреки тому, что шахтное оборудование пришло почти в полную негодность, подняли добычу в два раза, чтобы дать остывающим заводам России топливо, эти профсоюзные деятели провозгласили: «Чем меньше слепого идолопоклонства перед Смольным и чем больше здоровой критики обнаружит рабочий класс, тем лучше».

Выискивая среди шахтеров закоренелых уголовников и кулацких сынков, они обучали их методам защиты «своих исконных пролетарских интересов». Переход на сдельщину они объявили «отказом от социалистического равен-

ства» и предложили уравнивать оплату подземным и наземным рабочим; запрещение митингов во время рабочего дня называли отречением от демократии, а борьбу за трудовую дисциплину — возвратом к царизму.

Когда подняли из шахт коней, чтобы привезти из тайги крепежный лес, и временно пришлось перейти на ручную откатку, эти деятели подговорили часть коногонов объявить забастовку. Даже закон, по которому было запрещено допускать на подземные работы малолетних, они использовали для того, чтобы пустить слух, будто это — начало предстоящего массового увольнения горняков перед закрытием шахты.

Заготовку хлеба проводил рудничный совдеп. Профсоюзные деятели потребовали права самостоятельных хлебозаготовок для каждой горняцкой профессии в отдельности, добивались, чтобы коногоны, крепильщики, откатчики, забойщики сами для себя снаряжали продовольственные отряды. Каждую ошибку, промах, который совершали новые рабочие руководители, они использовали, организуя по этому поводу митинги на площади рудничного поселка, вывешивали плакаты с карикатурным изображением виновников этих ошибок.

Но можно ли было назвать это ошибками? Механик Максимов, чтобы заменить изношенный канат, снял противовесный канат с клетки, а старый использовал как противовес. Из-за этого подъем пришлось остановить на целую смену. Сейчас же появился плакат с изображением Максимова и подписью: «Тришкин кафтан». На рисунке горбун с сизым носом пьяницы, скрестив ноги, как портной, штопал клеть лохматым канатом.

Поглядев на этот рисунок, Максимов ничего не сказал, а потом, отдав шалманщику новую шахтерку, напился до бесчувствия и на следующий день не вышел на работу.

Шахтеры пробили ходок для спуска угля и под ним сделали бункер с люком-заслонкой, чтобы самотеком загружать уголь в вагонетки. Но не рассчитали уклона, и уголь часто застревал в ходке. Павальщик, пробивая скопившийся уголь, провалился в ходок. Снова появился плакат под названием «Западенка». Когда цифры добычи каждой артели стали вывешивать на стенах клуба, под ними возникла подпись: «Новые эксплуататоры разжигают конкуренцию в пролетарской среде. Позор!»

Представитель профсоюза, конторщик Лупанов, выступил с протестом против того, чтобы уголь отгружали отсортированным по маркам, считая, что это лишняя обуза

для рабочего класса, тем более что заказчик не оговорил сортовой уголь в договоре.

— Значит, вы защитник рабочего класса? — спросил его Опреснухин.

— Именно, — согласился Лупанов.

— И поэтому призываете пылью дорогу посыпать, так, что ли?

— Пыль не уголь, — усмехнулся Лупанов.

Полнотелый, с багровым, всегда потным лицом, страдающий одышкой Лупанов и при Временном правительстве отличался воинственной способностью отстаивать мелкие нужды горняков, но ловко уступать компании там, где споры касались серьезных вопросов. Он умел красноречиво убедить рабочих, что замена старых десятипудовых тачек более легкими неразумна: увеличится откатка угля, и этим самым они будут содействовать обогащению капиталистов.

По тем же причинам он отклонил требование заменить слабые поршневые насосы центробежными, говоря, что, хотя горнякам приходится рубать уголек по колено в воде, зато, когда весной шахту затопляет, от этого одни убытки компании.

Больше всех он хлопотал о суде над рудничным начальством после того, как от взрыва газа погибло пять горняков. Вернувшись после суда, Лупанов сказал огорченно:

— Пронграли мы дело, ребята. Все улики против нас оказались.

Но кто мог знать, что эти «улики» Лупанов сам отнес в забой после взрыва. Это он засунул в обгоревшую одежду погибших шахтеров спички, табак и положил рядом лампу с отвернутым стеклом.

После суда Штоккер задолго до рождества передал Лупанову праздничные награды.

На общем рудничном митинге, после того как коногоны признались, кто подговорил их на забастовку, Сухожилину и Опреснухину с трудом удалось утихомирить разбушевавшихся шахтеров, порывавшихся избить Лупанова. И здесь Опреснухин был единодушно избран председателем трудового трибунала, созданного как карающий орган против прогульщиков, лодырей, волынщиков и хулиганов.

После нескольких заседаний этого трибунала, проводимых на площади с голосованием приговора всеми присутствующими, из шахтных бараков вывезли на тачках за околицу поселка и свалили в ров восемь наиболее злостных хулиганов и лодырей, из которых пятеро были родичами

местных кулаков. Одиннадцать человек получили условный приговор — до первого проступка.

Трудно было Опреснухину организовать работу поновому, когда десятичники, штейгеры всячески уклонялись от выполнения своих обязанностей. Они потворствовали лодырям, волынщикам, поощряя их, приписывая выработку, и когда видели, что работы ведутся неправильно, закрывали на это глаза.

Трудно было ломать и укоренившийся среди шахтеров обычай круговой поруки, при котором считалось позором выдавать начальству виновного.

Опреснухин поочередно работал во всех артелях и на вырубке угля. И никогда не спешил начинать разговоры до тех пор, пока сами шахтеры не начинали его.

Сжимая в горсти колкие куски угля, Опреснухин говорил:

— Камень — и все. А без него металл не выплавить. Вынь у тебя кости — кто ты? Кучка мяса. Так и страна без железа. Примерно на сто пудов уголька — пуд металла можно выплавить. Вот и прикиньте сами, чего стоит уголек. В каждой вещи он: и в рельсах, и в винтовке, и в паровозе, и во всем прочем. Будете таким глазом на уголек глядеть — выдюжит Советская власть, а если с пуда уголька только ломать хлеба для своего брюха урывать — то ни хлеба, ни Советской власти с этого не получите. Пошмать надо; дело простое: либо нам самим над собой хозяевами быть, либо суй банку в старую упряжку.

— Да кто ж такое захочет?

— А ты знаешь, — сурово спросил Опреснухин забойщика Краснушкина, — сколько у нас угля требуется?

— Я свой пай даю.

— А кто не вырубает?

— Я над ним не десятичник.

— А если сейчас паровоз на путях с хлебным грузом без топлива встанет, тебе это не в упрек?

— Не четверорукий — за других рубать.

— Значит, пусть встанет и люди голодают, так, что ли?

— Ну ладно, я еще пол-упряжки помахая.

— Вот что, — предложил Опреснухин, — давай так сделаем. Ваш уголек мы отдельной горкой сегодня насыпем. А рядом — Петуховской артели, она меньше всех дает. Пойдете со смены, ты на свою горку ногами встань и спроси петуховских, где у них рабочая совесть.

— Не разговорщик я.

— Ты только спроси.

— Ладно, уговорил, — согласился Краснушкин. — Но прикинь, сколько железа с моего уголька получится. Я их железом прижму.

— Это можно, подсчитаем, — пообещал Опреснухин.

Вместе с Сухожилиным Опреснухин просиживал целыми ночами в ревкоме, ломая голову над тем, где достать крепежный материал, как отремонтировать оборудование без остановки шахты, как вести подготовительные работы, не сокращая добычи, как усилить вентиляцию и на прогоревших котлах дать больше пара, чтобы можно было обеспечить откачку воды из нижних горизонтов, затопляемых каждую весну, не переходя на ручную откачку.

А тут еще приезжий комиссар Сапожков потребовал выстроить баню, сушилки, больницу. И когда все это с величайшим напряжением было выстроено, да еще из крепежного материала, Сапожков вдруг объявил на заседании Совета управления конями, что надо бесплатно выдавать шахтерам мыло и начать борьбу с рудничной пылью, чрезвычайно вредной для здоровья, а к Первому мая закончить строительство рубленых бараков для многодетных.

— Опять из крепежного леса? — возмутился Опреснухин. И ядовито спросил: — А если проходка без крепежа сядет, ты, что ли, воскрешать покойников будешь? — И, обращаясь к членам ревкома, сказал с насмешкой: — Комиссар по здоровью будто не из узда прибыл, а с неба свалился.

Растопырив пальцы на левой руке, он стал по очереди загигать их:

— На фронт восемьсот горняков ушло. В деревню помогать мужикам землю делить — двести. В милиции и чрезвычайной комиссии — сорок, на пенсию отпустили полсотни. По малому возрасту — с подземных работ сняли сорок. И еще в разные места и должности — семьдесят четыре. Как же мы будем уголь рубать? Да его мало на-гора выдать, — нужно еще отряд снаряжать, чтобы к месту доставить. Грабят эшелоны. А у Сапожкова не об угольке душа болит, а пыль, видите ли, не поправилась. Пыль выгребать требует, а не уголь.

Собственно, зол Опреснухин по-настоящему был не на Сапожкова, а на Сухожилина, который, по его мнению, потворствовал комиссаровой блажи.

Сухожилин предложил доставлять лес из тайги для строительства бараков следующим способом: со дня на день должен начаться паводок, и если свалить на лед обычно мелководной тихой речки Чернухи стволы двести, то по

самой весенней воде во время ледохода их удастся сплавить к поселку. Значит, надо посылать шахтеров и в тайгу и во время ледохода вылавливать бревна, да и на самую стройку понадобится немало людей.

Никто пока, кроме членов ревкома, не знал, что после высадки англо-японского десанта в Приморье начал активно действовать в Новониколаевске подпольный военный белогвардейский штаб. А в Томске тайно сформирована из более чем тысячи офицеров дружина, и не сегодня завтра понадобятся новые отряды шахтеров на борьбу с контрреволюцией. Вместе с тем добычу угля нужно увеличивать со дня на день. Россия осталась без Донбасса, и пуд угля равен там пуду хлеба.

Нападая на Сапожкова, Опреснухин все время поглядывал на Сухожилина. Но Сухожилин не подавал вида, что ему нравится предложение Сапожкова, и даже несколько раз грубо прерывал Петра Григорьевича.

— А мыло ты что, собираешься в лавке у Деренкова выпросить?

Сапожков, порывшись в записной книжке, вытащил оттуда какую-то бумажку и заявил:

— Вот рецепт домашнего способа мыловарения, — и произнес убежденно: — практично и дешево.

— А ну прочти!.. Значит, щелочь из золы, сало из отходов. А кто варить будет?

— На женском митинге избрали десять уполномоченных по охране здоровья. Они согласны варить.

— Ты что же это, с женщинами митингуешь? Смотри, Петр, придет жена, она тебе покажет! — усмехнулся Сухожилин. — Так вот что, товарищи! — сказал он уже серьезно. — С мылом Сапожков нам подсказал, и обсуждать нечего. — Поглядев в нахмуренное лицо Опреснухина, пожурил: — Вот учись, Харитон, как надо комиссарить.

— Не комиссарить, а пыль в глаза пускать, — огрызнулся Опреснухин.

Сапожков выпрямился и заявил взволнованно:

— Я вас, товарищ Опреснухин, заставлю сейчас не только взять эти слова обратно, но и приести извинения.

Петр Григорьевич поднял со стола книгу, завернутую в платок, вынул из нее лоскут ткани со ризавыми строками письма Сергея Знаменского и прочел высоким, торжественным голосом. Оглядев всех, сказал:

— Считаю необходимым напомнить: это — завещание погибшего революционера, память которого прошу почтить вставанием.

Когда все снова сели, Сапожков объявил:

— Надо продолжить опыты по борьбе с рудничной пылью по способу, предложенному нашим товарищем Сергеем Знаменским. Кто за это, прошу поднять руку.— Окинул взглядом собравшихся:— Единогласно. Включая товарища Опреснухина.

Опреснухин потер подбородок и сказал нехотя Сапожкову:

— Ну что ж, беру свое выражение обратно — про пыль — и извиняюсь.— Подумал и напомнил:— Согласно решениям Седьмого съезда партии, вводится всеобщее военное обучение. Без различия пола. Так что уголек придется давать с большим напряжением.

— Не бойся, мы тебя одного не оставим,— пообещал Сухожилин.— Товарищи,— повысил он голос,— ставлю вопрос о вступлении всех членов партии с сегодняшнего дня в ряды Красной Армии в связи с полученной нами информацией о мятежах контрреволюции в ряде мест. Что же касается беспартийных — при записи в Красную Армию спрашивать рекомендацию партийных или других организаций. При коллективном вступлении требовать объявления круговой поруки и поименного голосования.

После того как это предложение было принято, Сухожилин обратился к Опреснухину:

— А насчет мыльца и пыли ты, Харитон, еще подумай как следует. Это тоже против контрреволюции колотушка.

— Да разве я возражаю!— усмехнулся добродушно Опреснухин. Подошел к Сапожкову, протянул руку с каменными мозолями на ладонях.— Ну, давай, что ли, дружить, комиссар по здоровью?— И, словно оправдываясь, пожаловался:— Я ведь на Капитальной уголек рубал. Красивая шахта. А меня из нее хотели вытащить в ревкоме сидеть, когда самый разворот дела начался.— Потом поднес ладонь ко рту, плюнул, показал:— Видал, черная? С этой самой пылюки.— Вытер ладонь о шахтерку, признался:— А то я думал, ты только на митингах. А ты, выходит, вон с какой стороны действуешь! — и, подмигнув, сообщил:— Самые жиганы и те признали. Вчера один приходит и часы мне сдает. Говорит: «Когда комиссар грудь через трубку слушал, я у него для смеха и вынул. А отдать позабыл». На вот, возьми.

Сапожков, положив часы в карман, сказал Опреснухину:

— Вот если бы еще трубы для паропровода!

— Поищем,— пообещал Опреснухин.

То, что доктор Знаменский и папа затеяли уничтожить пыль в шахте, Тиме казалось делом малопочтенным.

Болотный спросил насмешливо:

— Папаша твой к пасхе, что ли, шахтенки хочет почистить?

Действительно, все думают только о том, как больше дать угля, а папа — об угольной пыли. Даже неловко получается. Столько сидел в тюрьме, чтобы царя не было, стал комиссаром, приехал сюда, и нате — пыль паром убирать. Ради этой пыли папа перебрался жить к Знаменскому и взял Тиму от Парамоновых, пообещав, что Тима будет при нем вроде лаборанта.

Доктор посылал Тиму то на чердак, то в кладовку, то просто на улицу набирать в стеклянные посудины воздух. Учил взвешивать на весах, стоящих в стеклянном ящике, волос, еле видимый сор и даже крыло мухи. При этом нельзя было дышать в ящик. Дохнешь — и стрелка на весах начинала колебаться.

Трубы, которые были так необходимы папе, рабочие забрали из оранжереи горного инспектора, а также из квартиры бывшего управляющего рудником Ирисова, оборудованной домашним водопроводом. Но этих труб все равно было мало, и даже Знаменский сказал папе, болезненно морщась:

— Все-таки губить оранжерею — варварство.

— Варварство — устраивать ватерклозеты и разводить тропические растения, когда кругом люди живут в земле! — рассердился папа.

Знаменский пожевал губами и сухо заметил:

— Не убежден, что метод экспроприации решит все наши задачи.

Папа снял очки, протер и уселся на табуретку около постели Знаменского.

— ВСНХ объявил конкурс на разработку проекта создания единой хозяйственной организации, охватывающей Урал и Кузнецкий бассейн. — Выждал, пытливо взглянул в лицо Знаменского, отдельно проговорил: — В плане Урала — Кузбасса намечается строительство горно-металлургических предприятий в виде единого взаимодействующего комплекса. Социализм начал борьбу с извечным железным голодом в России. — Обнаружив, что эти слова не произвели на Знаменского особого впечатления, папа сказал раздраженно: — Изволите ли знать, бачок в сортире Ирисова изготовлен в Германии, трубы — шведские, котел — Шеффилд? — Пожав плечами, добавил: —

И ничего удивительного. В нашей губернии, на территории которой можно целиком уместить Германию, к началу войны с немцами имелось всего шесть металлообрабатывающих предприятий с общим числом рабочих сто семь человек. И ни одного завода с электрическим двигателем.

То, что железо — штука очень ценная, Тима знал и без папы. За ржавый, истертый железный обод от колеса телеги на базаре давали два медвежьих окорока, а когда строили Дом общества содействия физическому развитию, на улице перед стройкой стояла табуретка, застланная чистым полотенцем, и на ней — ведро для сбора пожертвований гвоздями.

Тима видел, как в кузнице изготавливают обушки, кайла из кусков рельса; ремонтируя машины, слесари возятся в куче железного хлама, совсем как Полосухин в тряпичном старье.

Знаменский лежал прямой, плоский, невозмутимый, на груди его стояла деревянная подставка с книгой, и он, глядя куда-то мимо папы, сказал:

— В моем сознании, Петр Григорьевич, эти грандиозные планы не увязываются с тем, что сейчас угрожает России.

— Вы имеете в виду телеграмму Ленина ЦИКу Советов Сибири в связи с высадкой японского и английского десантов, где Ленин указывает, что сейчас единственной серьезной гарантией является солидная военная подготовка с нашей стороны? — деловито спросил папа.

— Да, это, — сказал Знаменский.

Папа задумался, пощипал бородку, потом произнес решительно:

— Если война неизбежна, то, какие бы новые бедствия она ни принесла, они не смогут стать непреодолимыми для дальнейшего созидания социалистической цивилизации, — и, оглянувшись на Тиму, словно ища у него поддержки, сказал: — Видеть будущее — это значит побуждать человека перенести из будущего в настоящее все, что он сможет и успеет перенести.

Нечто похожее Тима слышал уже от папы. Кажется, он такие слова читал по бумажке Яну. Но это было так давно!

Тима тосковал о маме, беспокоился, а папа не хотел даже разговаривать о ней. Он стал каким-то суровым и часто говорил Тиме:

— Здесь все работают, и ты должен научиться самостоятельно вести лабораторные анализы; это может тебе

пригодиться в жизни. Не вечно же тебе быть хвостиком при родителях.

Приходил Юрий Николаевич Асмолов. Выглядел он последнее время неважно: глаза опухшие, небритый, пахнет от него винным перегаром. Когда папа попробовал было посоветоваться с ним о паропроводе, Асмолов только рукой махнул:

— В Англии запыленность шахт не меньше, но и там не тратят бесплодно времени и средств на подобные затеи.

Папа спросил, как идут дела с разведкой пластов неглубокого залегания.

— Вы что, не знаете? — рассердился Асмолов. — Бурки заналивают по-прадедовски — порохом, а для вскрышных работ нужны сотни пудов динамита.

Папа сказал сухо:

— Работают по старинке — отчего увеличилось количество несчастных случаев, — потому что динамит решили сохранить для вас.

Асмолов помолчал, потом заявил грустно:

— Собственно, вся эта затея преждевременна для русской горной промышленности... разве что лет через сто...

— Вы слишком переоцениваете свою техническую идею. Есть в этой области кое-что более значительное и, если хотите знать, поистине революционное.

— Чем же это вы собираетесь поразить цивилизованный мир? — осведомился Асмолов и, положив ногу на ногу, поглядел на папу сощурившись.

Папа достал записную книжку и стал читать вклееную в нее вырезку из газеты о том, что какой-то англичанин придумал способ превращать уголь в шахтах в газ; этот газ, уходя по трубам, может служить вместо топлива всяким машинам.

— «При социализме, — громко читал папа, — применение способа Рамсея, «освобождая» труд миллионов горнорабочих и т. д., позволит сразу сократить для всех рабочий день с 8 часов, к примеру, до 7, а то и меньше. «Электрификация» всех фабрик и железных дорог сделает условия труда более гигиеничными, избавит миллионы рабочих от дыма, пыли и грязи, ускорит превращение грязных отвратительных мастерских в чистые, светлые, достойные человека лаборатории. Электрическое освещение и электрическое отопление каждого дома избавят миллионы «домашних рабынь» от необходимости убивать три четверти жизни в смрадной кухне».

Папа закрыл книжку, сдвинул очки и, пристально глядя на Асмолова, сообщил строго:

— Это писал Ленин в большевистской «Правде» в тринадцатом году.

Асмолов молча смотрел в окно, где шагали по дороге в весенней грязи шахтеры и тяжелый серый дождь шлепал толстыми струями по черным лужам. Отвернувшись, произнес:

— Насколько я знаю, соплеменники Рамсея не собираются осуществлять этого революционного способа улучшения жизни, а с оружием в руках высадились на нашей земле, чтобы стрелять в поклонников своего соотечественника. Так ведь?— и сказал с отчаянием:— Вообще у меня не ваши железные нервы. И я решил уехать. Я не могу оставаться здесь, когда в нашем городе, как мне удалось узнать, три дня шли бои с офицерской дружиной.

— Во-первых,— начал папа, но, оглянувшись на Тиму, приказал:— А пу-ка пойди, братец, погуляй!

— Нет,— твердо заявил Тима,— я хочу узнать про маму.

— Вот, вот! — негодуя воскликнул Асмолов.— От меня тоже, как от мальчишки, скрывали, но я вам не мальчишка.

Папа повернулся к Тиме и произнес доверчиво и просительно:

— Давай о маме потом, вдвоем поговорим, согласен?

Тима кивнул головой, но это стоило ему мучительных усилий. На душе стало так пусто, словно все на свете перестало существовать. Все!..

Проводив Асмолова, папа вернулся в комнату, сел напротив Тимы, взял его руки в свои, сказал твердо:

— Мы получили список коммунистов, погибших в бою с офицерами. Мамы среди них нет,— и добавил сурово:— Ты знаешь, я никогда не говорю неправды.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

Иннокентий Трофимович Ирисов принял должность управляющего копиями от Густава Федоровича Штоккера в сентябре семнадцатого года вместе с приказом компании, полученным через американского консула в Томске, остановить работу в рудниках.

Прекратить добычу Ирисову не удалось. Рабочие избрали Совет управления копиями, куда ввели и его в качестве

наблюдающего представителя компании. Ирисов, сказавшись больным, прочно засел дома, но все бумаги с постановлениями Совета управления копиями покорно подписывал, правда измененным почерком, чтобы потом, если понадобится, можно было отречься от своей подписи.

Штоккер управлял копиями долго. В начале войны с Германией англо-американские и русские промышленники, входящие в компанию, несмотря на то что Штоккер был немец, полностью доверяли ему, тем более что немецкие капиталы также были вложены в рудники. В случае победы Германии Штоккер мог оградить компаньонов от возможных потерь. Но уже к началу шестнадцатого года, когда стало ясно, что Германия потерпела поражение, англо-американские промышленники увеличили свои капиталовложения, и по их настоянию Штоккер был в конце концов устранен.

Отец Ирисова работал десятником на золотых приисках, принадлежавших американцу Китингу, который купил в томском горном округе в 1911 году богатейшие золотоносные участки и огромные земельные площади с залежами других полезных ископаемых.

Трофим Ирисов имел недалеко от прииска заимку, на которой в годы войны батрачили военнопленные. Занимаясь тайной торговлей спиртом и скупкой краденого золота, он быстро разбогател. Но сына содержал в строгости, и хотя Иннокентий был уже студентом Технологического института, отец понуждал его во время каникул работать простым забойщиком.

После революционных волнений в Томском технологическом институте несколько студентов были арестованы, многих исключили с волчьим билетом, а знаменитый сибирский геолог, профессор В. А. Обручев, вынужден был уйти в отставку. Накануне своего ареста студенческий староста Мартынов передал Иннокентию на сохранение материалы геологических изысканий, которые студенты проводили под руководством своего любимого профессора. Разбирая материалы экспедиции, Ирисов обнаружил среди них сведения о нескольких новых крупных месторождениях руды и продал карты с обозначением залегания руд англичанину Пайлеру, который недавно подал двадцать пять заявок об отводе ему для разведки и разработки золотоносных участков.

Бросив институт, Ирисов вернулся к отцу, предложил объединить капиталы и начать самостоятельное приискковое дело. Но отец обманул сына, записав приобретенный

участок на свое имя, а сыну пригрозил: если тот начнет протестовать, то он скажет на суде, каким способом сынок добыл деньги.

Ночью Иннокентий взломал отцовский старинный скрытень. Но отец прятал деньги в другом месте, а в сундуке держал только меха.

Иннокентий уехал на угольный рудник и поступил работать штейгером с твердым намерением разбогатеть.

Ведя проходку, он приказывал брать полусгнившие крепления из старых выработок, а средства, отпускаемые на крепежный материал, присваивал. После обвала, при котором погибло двое рабочих, он хладнокровно повторил этот же «способ крепления». И снова произошел обвал с жертвами.

Управляющий рудником предупредил:

— Если Ирисов не будет разнообразить свой метод проходки, то в следующий раз его не пощадят.

Полгода Ирисов пользовался скромными доходами, собирая с артелей «с рыла по гривеннику», а с десятников — по целковому за то, что те брали рабочих из шахт на время пахоты или уборки в свои усадьбы.

Получив потом под начало шахту и подметив, как легко можно наживаться на фиктивных нарядах за откачку воды, Ирисов весной поставил насосы на ремонт и с дальновидным расчетом затопил шахту. Когда объем затопления был установлен и на откачку были выделены средства, Ирисов нанял несколько уголовных. Те пробили из нижнего горизонта Пичугинской шахты ходок к затопленной шахте Ирисова. Пичугинскую шахту затопило вместе с уголовными, которые не успели выбраться. А Ирисов спокойно присвоил все деньги, ассигнованные на откачку воды из его копи.

Даже выдавший виды Штоккер пришел в изумление от лихости Ирисова. Но так как затопленная шахта принадлежала конкуренту, Штоккер только сказал с милостивой улыбкой:

— При такой храбрости пирата вы можете стать со временем человеком, — но, сурово меняясь в лице, предупредил: — Больше ничего не смей без моего слова.

С тех пор Штоккер стал благосклонно относиться к Ирисову и, многозначительно подняв брови, поучал:

— Эдвард Гарриман вел длительные переговоры с русским правительством о приобретении Америкой великой Транссибирской магистрали. Десятки крупнейших компаний Америки вложили свои капиталы в Сибирь, в шестна-

дцатом году они провели здесь тщательные исследования огромных пространств, содержащих полезные ископаемые. Наконец приобрели их в собственность путем договора с Временным правительством. Как вы думаете, для чего?

— Чтобы хапать, — весело ответил Ирисов.

— Вы совсем не политик, — пожурил Штоккер. — Америка нуждается в большой колонии. Она немножко опоздала брать колонии. Теперь она очень спешит. У Англии есть Индия и многие другие. Америке хочется иметь свою Северную Индию. — Одобрил: — Это правильно. Русский мужик дешевый. — Сказал грустно: — Германия могла тоже иметь здесь свою Индию. — Посоветовал: — Вы должны много думать как политик. Маленькому жулику тоже нужна большая политика.

И вот, когда после отставки Штоккера перед Ирисовым открылась возможность стать почти что хозяином рудника, все рухнуло. Но Ирисов не смирился. Штейгеры, десятники, значительная часть служащих, лишившись прежних доходов и неограниченных прав, испытывали ненависть к народной власти. Собираясь по вечерам у Ирисова, они докладывали ему о том, что происходит на шахтах, советовались, соперничая друг с другом в сметливости, о способах саботажа, рассчитывая на благодарность от компании.

Ирисова встревожил приезд Асмолова. Но когда он узнал, что Асмолов пока будет руководить лишь разведкой пластов неглубокого залегания, успокоился. Сейчас он боялся только одного: студент Мартынов, чье доверие он так подло обманул, отбыв ссылку, стал большевиком и недавно объявился в соседнем руднике, где его избрали членом ревкома. Встреча с Мартыновым не сулила Ирисову ничего хорошего.

Юрий Николаевич Асмолов поселился в доме маркшейдера Алексина. Низкорослый, тучный, с выпученными от астмы бурыми глазами, с отечным лицом, Алексин суетливо и бестолково ухаживал за Асмоловым. Было видно по всему, что он искренне обрадован гостю.

Еще до революции, когда завершилось строительство Транссибирской магистрали, возникла острая потребность в сибирском угле. Несколько лет Алексин возглавлял геологическую экспедицию, скудно снаряженную на средства Российской Академии наук. Самоотверженно, ценой невероятных лишений, он обследовал огромные районы. Но ассигнования кончились, работа экспедиции не была завершена. Штоккер от имени компании предложил Алек-

сину средства на продолжение работ. Все материалы экспедиции стали собственностью компании, и даже реферат Алексина, предназначенный для Академии наук, оказался в сейфе Штоккера.

Алексин утешился, получив должность маркшейдера.

Хотя по договору с русским правительством компания была обязана проводить разведывательные работы, никто не был в них заинтересован, и суммы, отпускаемые на разведку, делились между администрацией рудника.

Жалованье Алексина было невелико. Но в компании существовала система тайных денежных поощрений для тех, чье служебное рвение выходило за пределы дозволенного даже законами, принятыми в русской империи.

Тайные вознаграждения получали чиновники горного надзора полиции, офицеры конвоя, в ведении которых находились шахтеры-каторжники.

Алексин копил нечистым путем приобретенные деньги, чтобы раз в году иметь возможность съездить за границу и там, как он выражался, кутнуть так, чтобы небу стало жарко. За границей Алексин стыдливо скрывал, что он русский, и на родину возвращался с отвращением.

В зимнее время «шахтерам честного звания» оплата за труд снижалась в два-три раза. Ссылным поселенцам вообще всегда платили половину цены вольных. А за каторжных компания платила только конвойным офицерам.

Артелям вменялось в обязанность пороть провинившихся шахтеров по приговору «артельной расправы». Стоимость ничтожного продуктового пайка, состоявшего из гнилой муки и лежалой крупы, была настолько высока, что в дни расчета шахтеры почти ничего не получали на руки. И только после Февральской революции горнякам стали выдавать по пять фунтов муки на неделю.

Вначале Алексину казалось, что он не сможет примириться с хищениями и всевозможными мерзостями, творящимися на руднике: с жесточайшей системой штрафов, когда десятнику достаточно было обнаружить в вагонетке кусок породы, чтобы не только лишить шахтера оплаты за добытый уголь, но еще и наложить на него штраф; за грубый ответ десятнику шахтер штрафовался тремя рабочими днями.

Десятилетние ребяташки работали на сортировке угля, а с двенадцати лет их брали в саночники или на откатку. Изувеченных во время работы обвиняли в нарушении правил безопасности и выселяли из балаганов и землянок даже зимой.

Когда Алексин попросил Штоккера дать пособие семьям двух горняков, заваленных породой в шахте, Штоккер сказал строго:

— Мои военнопленные соотечественники работают в шахте, но я не питаю к ним жалости. Рабочий не имеет нации. Я могу хотеть победы Германии над Россией, но русской революции я предпочитаю победу России над Германией, — и, усмехнувшись, заявил: — Ваше национальное чувство ограничено, чтобы понять это.

Постепенно Алексин выработал для себя весьма удобную жизненную позицию. Он стал добряком. Это была тихая, безропотная, уступчивая и безразличная ко всему доброта. Она служила защитой от укоров совести, душевных тревог. Он уступал всем, покорно подписывал замеры проходок, существующих только на бумаге. Знал, что проходку через плывун надо вести при помощи сплошного крепления, но не запрещал обычный способ, будучи уверен, что Ирисов сорвет на этом немалые деньги. А когда однажды плывун удушил забойщика, Алексин тайком через кухарку передал жене погибшего четвертной билет.

Асмолов доверчиво рассказал Алексину о причинах, побудивших его поехать на рудник. Руководствуясь своей привычной добротой, Алексин согласился, что открытые разработки действительно облегчат каторжный труд шахтеров, и горячо поздравил Асмолова, хотя был глубоко убежден в несбыточности этих планов.

После Штоккера власть над Алексиным перешла к Ирисову, и тот строжайше предупредил его, что компания сейчас ведет через посольство переговоры с Советским правительством о возврате рудников хотя бы в порядке концессии. И поэтому ни одного лишнего пуда угля из копей большевики забрать не должны.

Покорно следуя этому указанию, Алексин намечал новые проходки, минуя самые богатые пласты, или создавал трудные условия для их разработки.

Когда предложенное им направление проходки утверждалось, штейгеры, десятники, рукозодя работами, еще усугубляли трудности работ. Но теперь шахтеры прорубали пустую породу вдвое быстрее, чем рассчитывал Алексин, и иногда, совсем неожиданно для него, натыкались на мощный угольный пласт.

На заседании Совета управления копиями было решено начать в шахте Капитальной проходческие работы, ведущие к мощному угольному пласту.

Сухожилин объявил, что все коммунисты и активисты профсоюза мобилизуются на подземные работы, которые будут идти круглосуточно. А разработка, направление проходческих работ поручается не маркшейдеру, а инженеру Асмолову.

Правда, еще до заседания Асмолов принес свои извинения Алексину и сказал, если тот считает себя обиженным, то он готов немедленно отказаться от этого предложения самым решительным образом. Но Алексин с таким чистосердечием убеждал не беспокоиться и вел себя так, будто это решение было подсказано Сухожилину чуть ли не им самим. Асмолов успокоился и только попросил познакомиться его с материалами, необходимыми для работы.

Во всей этой истории Алексина больше всего волновало, не располагает ли Сухожилин какими-нибудь данными, руководствуясь которыми он сначала отстранит его от маркшейдерской работы, а потом, пожалуй, сможет поступить и покруче.

Навестив Ирисова, Алексин высказал ему свои опасения. Но Ирисов не придал им никакого значения. Его заботило только одно: если на Капитальной увеличится добыча, в случае возвращения рудника компании ему не усидеть на месте управляющего.

Разложив на полу планы рудника, чертежи шахт, Ирисов часами ползал на четвереньках, пытаясь угадать, в каком направлении начнет новую проходку Асмолов. Развернув план рудника тридцатилетней давности, Ирисов увидел на нем обозначение старой шахты, почти примыкавшей своими штольнями к Капитальной. Эта шахта принадлежала купцу Мачухину, но после одной особенно снежной зимы ее затопило паводком. У Мачухина не оказалось свободных денег, чтобы начать дорогостоящую откачку воды. Устье стволов закрыли бревенчатыми настилами, они поросли бурьяном, и на поверхности почти не осталось следов от бывшей шахты.

И вот, разглядывая порыжевший от давности план этой заброшенной шахты, Ирисов вспомнил о своей лихой выходке, когда он затопил Пичугинскую шахту и сорвал на этом богатейший куш. Ведь достаточно Алексину наметить на плане угольного поля богатый пласт, лежащий в направлении заброшенной шахты, и передать его Асмолову, как тот, руководствуясь этим, поведет проходку к затопленной шахте.

Алексин согласился это сделать, тем более что тут имелись залегания угля, правда не очень значительные, но

преувеличить их было не сложно. В главный же свой замысел Ирисов Алексина не посвятил.

Получив от маркшейдера чертежи и планы шахт, Асмолов приступил к разработке направления новой проходки.

Обычно только после раскомандировки шахтер узнавал, на какой участок поставит его десятник. К концу смены очистные работы велись без крешежа, лишь бы не рухнула в упряжку кровля. Вступая в незнакомый забой, шахтер долго, с опаской принаравливался, приспосабливался и, вырубив свой пай, уходил, не думая о том, как можно было бы завтра ловчее здесь брать уголь.

Из попытки Опреснухина закрепить забой за каждой артелью ничего не получилось: слишком различны были условия труда. Никто не захотел добровольно брать трудные участки.

Самым тяжелым считался западный тупиковый забой на нижнем, мокром горизонте. Сухожилин убедил Краснушкина подобрать артель из шахтеров-партийцев, чтобы стать в этот забой. Воздух здесь был стоялый, вязкий, теплый, как над гниющим болотом. Илистая студеная вода хлюпала под ногами, сочилась со стен. Осклизлые от сырости крепления обросли серой мертвой плесенью. Угольный пласт был стеклянно-жестким, и с первого взмаха обушка забой заполнялся сухим дымом непромокаемой угольной пыли. Щелочная вода разъедала одежду и тело, старые поршневые насосы часто портились, трубы забивало, и тогда вода угрожающе подымалась.

Раньше десятник посылал сюда только самых строптивых или проштрафившихся горняков.

Первые дни «партийная команда» (так прозвали артель Краснушкина) давала на обушок меньше ста пудов. Но все эти дни, собираясь после смены в рудничном дворе, краснушкинцы обсуждали, как лучше принаровиться к тяжелому забою.

Шахтеры всегда опасались вести очистные работы длинными забоями: достаточно не уследить за каким-нибудь угрожающим участком кровли, и из такого забоя не выскочить.

Но краснушкинская артель стала хозяином забоя. Бояться, что кто-то до тебя поставил крепь «на соплях», заметил трещину в кровле, видел, как сжимается ходок под оседающей породой, но не сказал об этом сменщику, теперь не было причин.

Краснушкин смело приступил к очистке и нарезке длинного забоя и скоро в каждую смену стал давать с обушка по полтысячи пудов.

Спустя некоторое время на шахтном дворе тянули жребий. Из шапки Опреснухина, поплевав на стороны и выругавшись на счастье, забойщики вытаскивали скрученные бумажки с обозначением номеров забоев, которые закреплялись за артелями до выработки. Краснушкину пришлось расформировать «партийную команду», чтобы распределить людей, имеющих опыт работы на длинных забоях, по другим артелям. Но каждый раз, когда надо было показать пример самоотверженности, воли, бесстрашия и бескорыстия, коммунисты-шахтеры снова собирали свою старую команду.

Совет управления копиями не располагал средствами на производство капитального ремонта в шахтах. Каждый день коммунисты после работы в забое на три часа оставались в шахте, меняли сгнившую крепь в откаточных штреках, перекладывали пути, очищали вентиляционные штреки, качали воду из зумифа бадьей, останавливая насосы для неотложного ремонта, выжигали скопившийся газ с помощью жерди с подвешенной к ней открытой шахтерской лампой.

Однажды во время работы от давления породы стало сдавливать откаточную штольню, и стойки повыскакивали из своих мест, словно городошные чурки от удара битой. Артель Говорова забилась в забой, с секунды на секунду ожидая обвала. «Партийная команда», работавшая после смены на очистке водосточной канавки, бросилась через штольню к старым выработкам. Шахтеры успели выбить крепь в старых выработках, и, когда там произошло обрушение, разрядившее общее давление породы над штольней, многих из них ударом воздуха сильно побило о стены.

Но и после этого коммунисты не ушли из шахты, а несколько часов устанавливали взамен выбитой воздухом новую крепь.

Все это не могло не вызвать уважения. На примере коммунистов горняки узнали, что такое истинное товарищество, поняли, каким должен быть настоящий шахтер. Они проникались теперь презрением к тем, кто раньше почитался «заводилой» за свое дерзостное и лукавое умение взять легкий уголек с чужого пая и потом, отославшись в вентиляционном ходке в теплых и гнилых струях исходящего воздуха, удрать до конца смены, поднявшись

по канату на руках через шурф, по которому спускали в шахту крепежный материал.

Мысль о создании трибунала труда родилась в самой шахтерской среде. Племянник прасола из села Большие Выползки Егошин повадился качать вагонетки с пустой породой, сверху для видимости присыпанные углем. Когда Тихон Болотный уличил Егошина, тот набросился на старика и стал избивать его лопатой. Шахтеры сбежались к стволу на крик Болотного и сбросили Егошина в зумпф. Незадолго до этого шахтеры поймали коногона, который ночью вывозил похищенные из склада бунты нового каната, и они повесили бы его на этом канате, если бы не помешал милиционер Лепехин.

Слишком еще памятны были дни бесправной шахтерской жизни, полной гиблой нищеты и каторжного труда. Даже самые темные поняли, как за малое время народной власти изменилось к лучшему их существование. Самые простые новшества, такие, как баня и сушилка для одежды или читалка в Партийном клубе, порождали уверенность, что их власть и дальше станет заботливо служить человеку всем, что в ее силах и возможностях.

Когда команда коммунистов вела на гиблом западном участке работы длинным забоем, загорелся деревянный копер над шахтой, по которой постунал воздух. Пожар охватил деревянный сруб шахты, и горняки в забое стали задыхаться. Сбежавшиеся со всего поселка люди растаскали пожарище руками. Потом в овраге нашли труп неизвестного в поселке человека; несмотря на все попытки Сухожилина узнать, «как произошло дело», шахтеры только советовали ему: «А ты бы понюхал, чем с него пахнет, — керосином. Значит, приняхались, когда жив был, вот и пришибли».

Помня недавнюю тяжелую жизнь, горняки отвечали народной расправой тем, кто пытался нанести ущерб народной власти.

Так покончили с хулиганами, организуя ночные облавы, разнесли тайные шалманы и с помощью трудового трибунала стали держать в страхе тех, кто не хотел честно работать.

Когда Опреснухин сказал после приговора трибунала словами Ленина, что диктатура есть железная власть, революционно смелая и быстрая, беспощадная в подавлении как эксплуататоров, так и хулиганов, Болотный выкрикнул за всех:

— Верно! Мы народ строгий.

В прошлые времена шахтеры тоже не покорствовали злодейству.

И сейчас еще распевали в поселке жестокую, грозную горящую песню:

Штейгер отставки добился,
Но от мщения не укрылся
Общего судьи.
Ему молотком врасквас
По затылку до трех раз
Ссылный отхватил.
А Терентью той порой
Продолбили лоб кайлой,
Выдрали зубки.

Народный карающий гнев поднимал революционные отряды на помощь Петрограду во время корниловского мятежа, вел эти отряды на Дальний Восток против банд Семенова, в Иркутск против мятежа юнкеров, против японских и английских интервентов.

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

Засевшие в управлении железной дороги меньшевики и эсеры пытались сорвать поставки угля в Россию. И вот, для того чтобы порожняк не простаивал под погрузкой, ревком каждый раз объявлял коммунистическую мобилизацию для погрузочных работ. Стало обычаем на эту работу приходиться целыми шахтерскими семьями.

Тима с отцом тоже приходили сюда. Прежде вагоны грузили прямо с угольного штабеля. По деревянным желобам в них спускали уголь навалом, сначала заполняли мелким штыбом и только сверху заваливали кусковатым, хорошей марки. Но сейчас люди знали, как трудно пробиться эшелонам в Россию, как бедствуют там без топлива, знали, что на тех узловых станциях, где начальствуют преданные революции комиссары, угольные эшелоны пропускаются впереди хлебных. Так разве можно давать штыб, хотя грузить его легче и хотя, слежавшись, штыб самовозгорался. Поселок заволакивало едким, удушливым сизо-коричневым дымом, от которого желтела трава и прокисало парное молоко в кринках. Гасить этот уголь, разрывать тлеющую гору, засыпать места пожарища песком, прокладывать вентиляционные трубы — труд каторжный, тяжкий и неоплачиваемый. Но на него нужно было идти ради того, чтобы блестящие чистосортные глыбы плавил руду в остывающих печах заводов Урала, Москвы, Питера.

Вот почему по деревянным желобам с грохотом катились только крупные угольные глыбы, которые приходилось выбирать руками. А стоящие в вагонах горняки укладывали эти глыбы, словно каменную кладку, чтобы заполнить всю емкость вагона до предела.

Лучшие забойщики, знаменитые своим бесстрашием запальщики, отгребщики, привыкшие валить в ящики саночников весь без разбора уголь, привередливо отбирали его на погрузку, не думая о том, какого труда стоило рубать эту гору угля, вытащить его, свалить на черном хребте штабеля. Замеряя в шахте свой труд на пуды угля, здесь они словно забывали об этом и только зорко следили друг за другом, чтобы кто-нибудь не свалил в желоб удобный для гребка лопатой штыб.

Стоя на хрустящей черной угольной горе, отбирая увесистые куски, Тима думал, что вот сейчас под этой угольной горой в узких щелях забоев сотни людей, лежа или сидя на корточках, рубят уголь, истекая потом, задыхаясь в перегоревшем, почти недвижимом, теплом, прокисшем воздухе. Саночники волокут его на четвереньках к откачному штреку, коногоны гонят партии вагонеток к стволу. Сколько рук прикасается к каждому черному обломку и сколько еще прикоснется, прежде чем уголь станет огнем!

А вверху — спокойное звездное небо сверкает трепетной, словно самосветящейся голубизной, но никто не подымает головы, чтобы посмотреть на небо, передохнуть.

Сосредоточенно и торопливо люди отбирают крупные куски угля, сваливают их в желоба, будто сейчас это для них самое главное в жизни. Потом, когда погрузка закончится и над углярками будут возвышаться остроконечные бугры угольных куч, шахтеры останутся ждать, пока эшелон не тронется, чтобы крикнуть своим товарищам, стоящим на подножках хвостовика с винтовками за плечами:

— Смотри, ребята, берегите в пути уголек, а то лучше в поселок не возвращайтесь!

Эти слова они обращают к братьям, сыновьям, зная, что кое-где эшелону придется прорываться с боем, и, может быть, не одна углярка будет залита их кровью.

Расходились с зарей, а некоторые, выбрав на штабеле место, где навалена угольная мелочь, укладывались на нее, как на постель, чтобы вздремнуть до гудка.

Тима спросил Болотного:

— А раньше вы тоже так уголь сваливали?

Болотный усмехнулся:

— Да пронади он пропадом опосля, как упряжку

выполнил, или сгори в штабеле полностью! В восьмом году самовозгорелся штабель, а в нем миллион пудов, не меньше. Так с войском не могли согнать народ тушить, сам по себе и сгорел, — и упрекнул Тиму: — По-глупому спрашиваешь. Теперь народ круговой ход своей работенке соображать стал. — Заявил с веселой усмешкой: — Видал, идут нос задрав, словно после получки.

Даже в транспортной конторе рабочие говорили больше о еде, о дровах, о всяких городских происшествиях, чем о своей работе на кирпичном заводе. А здесь шахтер, встречая шахтера, прежде всего осведомлялся:

— Ну, как уголек? — и потом уже толковали обо всем остальном.

Никогда Тима не думал, что труд может так поглощать человека. Вспоминая, как однажды Витол спросил папу, что же является мерой человека, и папа не нашелся что ответить, Тима начинал думать, что ответ этот есть, — вот горняки меряют человека его трудом. Когда Краснушкин из упряжки в упряжку стал давать по полтысячи пудов, Степка Бугаев сказал о нем восхищенно:

— Силен!

А Краснушкин, лысый, сутулый, с запавшей грудью, едва ли доставал Степану до плеча. И, конечно, никогда не мог поднять, как Степка, рельсу с сидящими на ее концах ребятишками. И все почитали шахтера Болотного не потому, что он старый, а потому, что Болотный мог из самого тонкого пласта вырубить столько же, сколько молодой на самом мощном.

Рабочие транспортной конторы простили Белужина за то, что он отвез кому-то за буханку хлеба воз дров с базара, и даже не сказали об этом Хомякову.

А когда запальщик Лудилин попался на хищении динамита — он глушил им на реке рыбу, которую его жена тайком продавала на базаре, — и после приговора над ним трудового трибунала снова украл пол-ящика динамитных патронов, в то время как запальщики, подвергая свою жизнь опасности, забивали, за неимением динамита, бурки порохом, — ревтрибунал приговорил Лудилина к расстрелу. Его расстреляли днем на площади, при всех жителях поселка, хотя Лудилин целовал землю и ползал на коленях, умоляя простить его. Никто из горняков его не пожалел.

И эти же шахтеры трое суток не вылезали из шахты, чтобы пробить ходок к заваленному забою, где после сигнала о готовящемся обрушении заснул коногон Крошкин, презираемый всеми запойный пьяница, не раз битый шах-

терами за жестокое обращение с конем. Когда прорубились к нему и выволокли обеспамятевшего на-гора, никто особенно не радовался его спасению. Но все с гордостью смотрели на бурильщика, который трое суток бурил твердую породу и точно направленными взрывами не обвалил нависшей кровли в забое, где лежал Крошкин.

Здесь, на руднике, Тима понял, что такое рабочее товарищество — суровое, карающее отщепенцев, но и отважное, не останавливающееся ни перед чем, когда надо помочь товарищу в беде.

Харитон Опреснухин не забыл своего обещания Сапожкову: недостающие трубы он привез с соседнего рудника, и через несколько дней слесари смонтировали паропровод, ведущий к месту очистных работ в шахте. А на случай, если не хватит пара для подъемника, поставили дополнительно ручной ворот.

Теперь Тима на рассвете, с первым гудком шахтного копра, вместе с отцом отправлялся на Капитальную. Папа нес деревянный ящик, в котором лежали стеклянные сосуды для проб воздуха. Тима нес свою и папину настоящие шахтерские лампы. Теперь Тима уже не хватался за папину руку, когда клеть, словно оборвавшись с каната, падала вниз и осклизлые стены ствола, обмываемые водяными потоками, будто вставшая на дыбы река, проносились у самого лица, обдавая его холодными брызгами.

Шахтеры знали Сапожковых и старались потесниться, прижимаясь к решеткам клетки, чтобы уступить им место в середине. Всегда находился какой-нибудь шахтер, который, кивнув на папин ящик, строго предупреждал рукоятчика: «Давай полегче, видал, с какой посудой», — и предлагал поддержать ящик.

Тима научился светить лампой не у лица, а свесив ее у самых ног, чтобы не спотыкаться и не ослеплять идущих навстречу. Нагибать голову в откаточном штреке ему нужды не было. И только папа шел согнувшись, спрятав очки в карман, прижимаясь лицом к ящику.

Чтобы не бояться обвисающей кровли, Тима придумал для себя следующее: вот когда он жил в землянке у Пармоновых, он же не смотрел все время в потолок, который тоже мог обвалиться, значит, про шахту нужно думать так: это просто длинный подземный дом, где вместо комнат — одни длинные коридоры, и тогда все станет просто и не страшно. Кроме того, папа сказал, что более ста тысяч людей в Сибири находятся на подземных работах. Что же,

Тима самый трусливый из всех ста тысяч, что ли? Федор говорил как-то: храбрость — это умение беречь свое человеческое достоинство.

Вчера, когда они шли с папой по штольне, кто-то закричал: «Стой, кумпол рушится!» Папа остановился, передал Тиме ящик, вынул из кармана очки, надел их, поглядел вверх, потом поднял руку, постучал докторским согнутым пальцем в потолок и, объявив сердито: «Глупая шутка!» — велел Тиме идти за собой. И они слышали, как десятник Мослаков проворчал где-то сзади:

— Хозяевы ходят, как по улице, тока бы себя выказать!

А другой голос пригрозил:

— Ты более так не шутокуй, а то мы с тобой по-шахтерски шутканем. Скупаем в зумпфе. Враз пропадет охота.

Когда навстречу мчалась партия вагонеток, Тима и папа сходили с пути и прижимались к стенам штрека.

Запах конского пота, фыркание лошади, на мгновение мелькнувшая волосатая голова коня с выпуклым лиловым глазом пробуждали у Тимы щемящее воспоминание о транспортной конторе, о Ваське, и, как острая боль в сердце, охватывала тоска по маме. Но о маме нельзя было думать, потому что сейчас же захочется говорить о ней с папой, а папа и так встает ночью, открывает корзину с бумагами и, сидя на корточках, загородившись от Тимы крышкой корзины, долго рассматривает мамину фотографию. А когда Тима говорит: «Ты чего не спишь?» — папа отговаривается: «Так, запись одну ищу», — и поспешно прячет мамину карточку в корзину.

Каждый раз, когда Тима спрашивал, почему мама так долго не приезжает, лицо у папы страдальчески морщилось, и он отвечал сердито:

— Занята, потому и не едет.

Про мятеж офицеров в городе папа объяснил скупой и скудно:

— На разных стадиях общественного развития классовая борьба принимает различные формы, и контрреволюционный мятеж одна из этих форм, — и, помолчав, предупредил Тиму: — Классовая борьба — процесс длительный, поэтому удивляться тут нечему.

Но Тима беспокоился только о маме. Если ревком дал ей «бульдог», значит, она из него стреляла и ее тоже могли убить. Папа снова сказал, что раз в списке погибших коммунистов мамы нет, значит, беспокоиться излишне.

Тима спросил:

— Когда же люди перестанут убивать друг друга? Сам ты говорил: мы, большевики, на второй день своей власти объявили войну величайшим преступлением против человечности.

Папа сказал твердо:

— Будет мировая революция, и тогда не будет больше войн.

— А если это не скоро случится?

Папа произнес задумчиво:

— Русская революция уже стала примером для многих стран. Теперь нам нужно стараться делать все получше, побыстрее, и тогда народы увидят, как революция необходима всему человечеству.

Тима очень жалел папу и беспокоился за него. Глаза у папы покраснели, щеки запали, голос стал сиплым — и все оттого, что он здесь так много работает.

Марфа Парамонова сказала про папу с уважением:

— Велел в шахты переваренную воду в бочках доставлять, помойки и сортиры известкой засыпать. И верно, перестали люди брюхом хворать. Ну прямо как Иисус Христос, народ без лекарств исцелил. А ведь у нас до этого каждую весну вповалку валялись.

Баня, сушилка, больница и аптека в Партийном клубе — всего этого добился папа. И это он запретил больным туберкулезом работать под землей.

Сапожков пришел к Ирисову, который, ссылаясь на недомогание, саботировал работу в управлении, долго выстукивал и выслушивал его толстую волосатую грудь, потом сказал сурово:

— Ваше недомогание вызвано политическими причинами, и если вы не излечитесь сами, то мы прибегнем к радикальным способам. Предупреждаю: лучшего помещения для яслей, чем ваша квартира, я на руднике до сих пор не обнаружил. — И, показав мандат, объяснил: — Как видите, имею все полномочия.

С того дня Ирисов стал иногда появляться в шахте одетый в новенькую брезентовую шахтерку с медными застежками, с яркой аккумуляторной лампой на железной каске. Мясистое, гладко выбритое лицо его было всегда озабоченно. Встречаясь с папой, он, понизив голос, подробно и обстоятельно рассказывал о всевозможных несчастных случаях, обычных, по его словам, в шахтах, особенно долго смаковал ужасающие подробности подземных пожаров. Папа отвечал брезгливо:

— У вас какая-то кладбищенская память. Вы бы лучше что-либо полезное припомнили,— и спрашивал: — Вам о Рамсее что-нибудь известно?

— Американец из зингеровской компании, что ли? — оживился Ирисов.

— Химик, англичанин.

Ирисов недоуменно поднял брови.

Когда Ирисов ушел, папа сказал Тиме:

— Изучение пожаров угольных пластов, которые иногда продолжались годами, навело Менделеева, задолго до Рамсея, на мысль о том, что настанет, вероятно, со временем такая эпоха, когда уголь из земли вынимать не будут, а там же, в земле, его сумеют превращать в горючие газы и по трубам распределять на далекое расстояние. Вера во всемогущество человека лежит в основе любого великого открытия,— сказал папа убежденно. И с раздражением добавил: — А этот вот только и запомнил, как выглядят люди, обожженные на пожаре. Мослаков тоже его поля ягода — взялся попугивать нас с тобой, но более наглядно и лаконично.

Заплесневевшие перекладины обаяло туго выгнулись под тяжестью кровли. Из треснувших горбылей торчала взъерошенная щепка. Сосновая колоннада стоек, уходящая в глубь штрека, походила на обезглавленную рощу мертвых деревьев. Пахло погребом, и пушистая угольная пыль разлеталась под ногами, словно тучи таежного черного гнуса.

Клубами черного дыма роится пыль перед лицом, колючая, мучнистая, забивает глаза, ноздри, горло, и становится трудно дышать, словно воздух высыхает и дышишь пресным угаром, и тело от него горит и зудит. При малейшем движении облака пыли поднимаются вверх. Они висят в воздухе, не оседая. Эта пыль не только вредна, но и опасна. Она может взорваться от огня, от детонации после отпалки шпуров.

Ирисов говорил со странным удовольствием:

— Угольная пыль во взвешенном состоянии — по существу тот же порох. Водой угольную пыль не погасить.

Сухожилий велел присыпать угольную пыль сланцевой: тогда она не загорится. Перед отпалкой шпура поперек штрека стали подвешивать на веревках доски, а на них наваливали сланцевую пыль. Выпадают шпур, сланцевая пыль разлетится, смешается с угольной и не даст ей загореться или взорваться.

В одном месте в шахте воняет тухлыми яйцами. Это

сероводород. В другом начинает щипать ноздри, глаза — это сернистый газ. А то просто разит, как из болота, гнилью — в обводненном участке гниет крепь.

Но Тима теперь не боялся шахты. С того дня, когда он первый раз спустился под землю и увидел, как работают, лежа в щелях, полуголые шахтеры, казалось отваливая прямо на себя острые осколки угля, неспешно подбивая «подшашки» — короткие куски бревен — под нависший угольный пласт, как в потемках задымленного пылью забоя они нащупывают угольные струи и по кливажу — почти незримым, тончайшим трещинам — прорубают обушком пласт в глубь уступа, а потом обрушивают сверкающей шуршащей лавиной, словно из черного литого стекла, лопнувшую вдребезги глыбу, — видя все это, Тима проникся безграничным доверием к умному, точному, спокойному расчету шахтеров. И Тима вспоминал, как вот этот же забойщик Краснушкин, входя в читалку, тщательно вымыв руки, робко взяв книгу, неуклюже листал ее, дуя между страниц, как он подолгу разглядывал картинки с видами Венеции.

— В воде живут, а гляди, как аккуратно обстроились, — произносил он уважительно. — Значит, в той стороне крепко домишки строят, раз не гниют. — Потом говорил задумчиво: — В обводненных породах крепь тоже можно было бы на каменных столбах ставить.

В забое, то лежа на боку, то сидя на корточках, Краснушкин делал глубокий вруб, и его руки почти по локоть вместе с обушком скрывались в узкой щели. В кожаной сумочке, повешенной на верхняк, у него лежали, словно патроны, отточенные зубки, и, прежде чем сменить зубок, он окунал обушок в воду, — и вода шипела: так нагревался зубок обушка, прогрызая уголь.

А в длинном забое сидел на уступе забойщик, словно на завалинке или на лавке, и косо сплеча рубал уголь. Этот длинный забой назывался лавой.

Саночник, застегнув брезентовый пояс, пропустив между ног цепь, прикрепленную к обитому жестью ящику, который пустой весил три пуда, а с углем — тринадцать, уползал на четвереньках, держа в зубах лампу. Мешкать ему нельзя, если не убрать уголь из забоя, он хрустящей кучей закупорит ходок, и люди начнут задыхаться.

Краснушкин, выбравшись из щели, обросшей тусклым мехом пыли, прижимал пальцем веко (под ним дергалось глазное яблоко — обычная шахтерская болезнь), говорил Тиме, опасливо поглядывающему на нависшую кровлю:

— Ты не гляди, что она давит. Это даже хорошо. Отжим угля получается — рубить легче. А ежели шибко поднажмем — давлением управлять можно. Где обрушим, чтобы ослабить, а где подопрем костром. Крепь вроде колодезного сруба, самая надежная, — постучав ручкой обушка по кровле, спросил: — Слышишь, звенит? Значит, держит. А если звук глухой, вроде посуды треснутой, тогда поспешай с крепью. — Вытерев рукой шершавое, словно присыпанное наждаком лицо, поблескивая перламутровыми белками, сказал: — Когда шахту уважаешь, она тебя не накажет.

А вот Ирисов журил пану:

— Напрасно в шахту, и еще с сыном. Там народ тупой, дикий, отпетый. Видит, купол навис, и нет, чтобы стойку лишнюю поставить. Прожил день — и ладно. — Разводя руками, удивлялся: — Лошадь и та чувствует опасность, а эти, пока кого не задавит, пальцем не пошевелият даром.

В туниковых забоях воздух теплый, как в печи, и шерстистая пыль роится, словно черная зола. Свет лампы мерцает красной точкой, без лучей.

Перевернув сосуд вверх дном, выпустив воду, Тима брал пробу, делая все так, как научил его папа. Кладл сосуд в мешок с ватой и уползал обратно в откаточный штрек.

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

Проходка к новому мощному пласту продвигалась быстро. На шахтном дворе висела доска, и на ней Опреснухин отмечал мелом, сколько погонных аршин прошла за упряжку каждая артель. Сначала шахтеры проходили мимо доски, даже не взглянув на нее. Но потом начали останавливаться, спорить, кому какая порода досталась, а некоторые сердились на Опреснухина за то, что он словно вывеску повесил — людей раздраживать. А когда артель Лопухина прошла больше всех в смену, сначала Лопухина ругали за то, что он заранее крепежным материалом запасся и только поэтому и прошел больше всех, но потом подобрали и для смеха отнесли на руках в землянку, надев ему на голову сразу несколько шахтерских шапок, как это делали загулявшие старатели. Потом повелось уже без смеха чувствовать забойщика той артели, которая выработала больше других: несли на руках до дому, и уже без всякого удовольствия, а как проигравшие в городки возят на спинах выигравшую команду.

— Баловство, — сердито говорил Болотный. — Низят шутовством шахтерское звание.

Харитон Опреснухин, прищурившись, отвечал ему:

— Ты, Тихон, брось такие слова. Когда это было, чтобы шахтера за уголек чествовали?

— Ну, не было, — согласился Болотный.

— Вот и берут завидки, — мягко сказал Опреснухин и вспомнил невесело: — В Австралии я по нечаянности больше своего пая как-то вырубил, так у меня лампу загасили и так молотили ребята — думал, не встану, — добавил с удовольствием: — И правильно: не забывай, кто жиреет с твоего уголька.

Тима научился дышать в шахте. Он уже распознавал, где проходит исходящий поток теплого тухлого воздуха, в котором лампа начинала меркнуть, а где — входящий, пахнувший свежестью и грибами. Он знал: если погаснет лампа, можно выбраться к стволу, следуя за воздушной струей. Тима научился ценить здесь воздух, — и не только тот, который он вместе с папой набирал в длинные стеклянные сосуды, а самый обыкновенный, тухлый, вонючий.

Однажды Тима вдруг ощутил, как сжалось что-то в груди, голова словно начала пухнуть, тело покрылось мелкими холодными капельками пота, глаза давило изнутри. Папа схватил его за руку, поволок к стволу, втащил в клеть, и дальше Тима ничего не помнил. Потом он узнал, что кто-то повредил вентиляционный ствол, и приток свежего воздуха в шахту почти прекратился. Но шахтеры доработали смену и только поругали Опреснухина за то, что вентиляция была плохая и уголь от этого шел трудно.

Несколько дней Тима чувствовал себя как спасенный утопленник, который на воду смотрит с отвращением. Все ходил, дышал и с тоской думал: неужели снова придется лезть в шахту, задыхаться без воздуха? Но папа не звал его, и Тима молчал.

Дуся сказала:

— Приходи вечером венки плести на могилку Язеву, — и объяснила: — Шахтер такой на свете жил. Раз как-то в шахте от взрыва пыли пожар начался. Артель принялась перемышку ставить, чтобы спастись, а он подумал: дерево в перемышке загорится, — и с той стороны, с какой огонь шел, начал перемышку породой обкладывать. Людей спас, а сам сгорел. И стало в обычае, как верба запушится, так из ее лозы венки плести и на могилу Язеву класть.

Утром Тима вновь поплелся за папой в шахту. А папа сказал глубокомысленно:

— Быть храбрым — вовсе не означает не знать страха. Но, испытывая страх, не подчиняться ему — вот истинное мужество.

— У меня зуб болел, — сказал Тима.

На рудничном дворе, в камере, где хранился шахтерский инструмент, папа устроил временную лабораторию и производил там анализы проб воздуха. Трубы паропровода подвели к самому запыленному тупиковому забою артели Краснушкина. Когда Краснушкин начинал подрубать свой пай, при каждом ударе обушка из щели, прорубаемой в пласте, шел сухой дым угольной пыли, мгновенно заполняя все пространство.

Пыль, пушистая, как коготь, нежная на ощупь, тепло и душно оседала на лице, в горле, и отхаркать ее было невозможно. Казалось, она прикрывает все внутренности бархатным удушливым ворсом.

Краснушкин, полуголый, в одних коротких грязных подштанниках, опираясь на ручку обушка, согнув мускулистую спину с выпирающими позвонками, говорил мрачно и недоверчиво:

— Разве пылюку паром сгонишь? Ее вода не берет, а тут пар. Раздует ее на стороны — и все.

Взяв шланг, папа полез в забой и крикнул, чтобы открыли кран. Шипящая струя пара ударила о грудь забоя, и скоро в сизом облаке, пахнущем баней, ничего не стало видно. Когда папа вылез, он был весь мокрый. Протерев очки, вынул часы, взглянул, сел на лежащую крепежную стойку и, подперев рукой влажную бороду, стал ждать. Постепенно собирались шахтеры: одни присаживались на корточки, другие, опираясь о ручки лопат или обушков, отдыхали и молчаливо ждали, принюхиваясь к запаху остывающего пара. Краснушкин сказал шахтерам, словно извиняясь:

— Свой пай я уже вырубил, так что ничего, пускай уголек попарится.

Рядом с Тимой сидел газожог Зайцев. На нем овчинный тулуп шерстью наружу, намоченный водой. В руках он держал закопченный шест, к которому подвешивал лампу со снятой сеткой, когда ползал по ходкам, выжигая скопившийся газ.

На рудничном кладбище Тима видел четыре могилы газожогов, сорная трава на них аккуратно выполота, и холмики посыпаны белым кварцевым песком.

От Зайцева пахло гарью и потом. Повернув к Тиме белоглазое худое лицо, он спросил:

— Это что, из губернии приказ пыль выдуть?

Тима вспомнил слова папы о том, как Ленин хотел облегчить труд горнякам, превратив уголь под землей в горючий газ, и произнес внушительно:

— Совнарком. Ленин велел.

Но на Зайцева это не произвело особого впечатления. Помолчав, он вздохнул и сказал, скорее сочувственно, чем одобчительно:

— Значит, за всех про все думает, — и усомнился тут же: — Что ж твой папаша на себя одного дело взял? Без митинга. Может, кого посноровистее его нашли бы?

Тима обиделся и ничего не ответил. Папа снова посмотрел на часы и, взяв два сосуда для проб воздуха, полез в забой. Потом он велел Тиме идти впереди и освещать путь сразу двумя лампами, а сам пошел след, бережно прижимая к груди завернутые в куртку сосуды.

Вернувшись на рудничный двор, папа не разрешил ходить за ним в камеру, где помещалась лаборатория. Лицо у него было сердитое и напряженное. Человек восемь шахтеров приплелись на рудничный двор и молча расселись у стен штольни. Потом к ним стали присоединяться еще другие, и все поглядывали на железную дверцу камеры, за которой скрылся Тимин папа.

Ни разу на руднике Тима не слышал, чтобы кто-нибудь жаловался на опасности и тяжесть труда. А когда Краснушкин узнал, что с его забоя начнутся испытания по борьбе с пылью, он только сердито предупредил:

— Пока свой пай не выну, никого в забой не пущу. — Шахтерам говорил строго: — Это для науки только полезное, а Советская власть тут ни при чем. С нас уголек причитается, ну и рубай его без оглядки.

— Ты это к чему?

— А к тому, чтобы после разговоров зряшных не было. Мол, пообещали беспыльную работу, вроде как царство небесное, а его нет.

Тима давно заметил, с какой деликатностью шахтеры избегали разговоров с ним о том, удастся или не удастся папе уничтожить пыль в шахте. И больше интересовались тем, как это папа умеет взвешивать воздух и считать в нем количество частичек пыли.

— Умственное дело, — говорили они с одобрением. — Смотри-ка ты, водица упругая, вроде холодца, то-то мы глядим, пыль эта на воде плавает ровно порошок какой. Значит, утопить ее — дело непростое.

Тихо было в рудничном дворе. Журчала черная вода,

текущая по канавкам в водоприемник, шуршал воздух в стволе, гудели рельсы, по которым откатчик катил где-то тридцатипудовую вагонетку. В трубах чавкала вода, идущая из водосборника на-гора.

И Тима знал: если насос испортится, то эта вода, текущая по всем выработкам в узких канавах, начнет медленно заполнять шахту. Но лучше об этом не думать, лучше думать о том, что ты сидишь под землей и над тобой и под тобой лежат гигантские угольные поля, простирающиеся на многие сотни верст, причем толщина некоторых пластов достигает полторы-две сажени. Все это — огромное богатство. И если бы одно только угольное поле можно было бы отвезти в Россию, то во все стороны начали бы быстро катиться поезда, заработали бы все заводы, во всех домах стало бы тепло. Сейчас всюду ждут угля. И его не так вредно будет добывать, если у папы получится. А если не получится? Ведь вот из-за того, что папе нужен пар, клетки поднимают на-гора ручным воротом. И вдруг окажется все зря. Как будет невыносимо стыдно! Приедет мама и узнает, как папа осрамился. Она там дралась в городе с офицерской дружиной, а папа воевал только с пылью, и ничего у него не получилось. Знаменский предупреждал: «Лучше бы вам не брать на себя ответственности за исход испытаний». Но папа упрямо заявил: «Это мой долг».

На рудничный двор пришел забойщик Краснушкин. Войдя в шахтный ствол, он крикнул:

— Эй там, на-гора! Краснушкин вторую упряжку рубать будет. Становь смену в другой забой.

Потом, выйдя из ствола, сказал шахтерам так, будто иначе и не могло быть:

— Пылюки-то нету. Вся в тину слиплась. Одна слякоть. Но дышать вполне свободно, будто входящую струю в забой запустили.

И ушел, помахивая лампой. За ним, не торопясь, последовали все шахтеры.

Тима остался один. Папа вышел из камеры, объявил не очень уверенно:

— Представь, вместо обычных тридцати — тридцати двух миллиграммов на кубический аршин воздуха получил ноль девяносто, — и тут же произнес тревожно: — Возможно, был недостаточный вакуум. Надо снова взять дополнительные пробы.

Повесив за петли одежды лампы, они пошли к забою Краснушкина, но войти туда им не пришлось. Вся проходка была забита шахтерами. Забой светился, словно

горящая печь — столько туда шахтеры навесили ламп. По очереди они лезли в забой и рубили уголь. Одни — раскрыв рот, зверски ухая, другие — стиснув зубы, сосредоточенно, мелкими частыми ударами. Они останавливались, нюхали воздух и водили лампами в зарube уступа, словно ища там чего-то.

Папа предложил поспешно:

— Знаешь, Тима, не будем мешать. Кажется, здесь у них началось совещание. Очевидно, слякоть после пара — все-таки явление нежелательное.

Но Тихон Болотный увидел папу. Он обнял его, поцеловал в бороду и сказал громко:

— Вот тебе шахтерское спасибо! А мы-то промеж себя шутовали: вроде клопов морить паром собрался. А оно, видишь, как ладненько вышло!

Папа пробормотал сконфуженно:

— Собственно, результаты еще не точные, — и пожаловался: — Вакуум в сосудах все-таки не полный.

— Будя тебе про вакуум. Сказано: дышать легче, и все. — Болотный предупредил весело: — Качать тебя сегодня, комиссар, будем.

В эту ночь Тиме снилась тайга, просвеченная лазурным воздухом, муравьи — словно бронзовая крупа, березовая роща в зеленом тумане новорожденной листвы и прозрачная спокойная река, на дне которой лежали разноцветные камешки, а по глянцевиной ее поверхности мелькали отражения ярко-синих стрекоз.

На следующий день, когда Тима сидел в ходке, карауля стеклянные сосуды для проб воздуха, а папа обдавал стены забоя Краснушкина паром, шланг, который он держал в руке, лопнул, и папу ошпарило. Очевидно, кочегары котельной, узнав от шахтеров об удаче испытаний, пустили в паропровод сразу много горячего пара под большим давлением.

Папа вылез из забоя, как-то странно раскорячась, подполз к паропроводу, закрыл кран и сказал Тиме:

— Я, кажется, немножко ошпарился, — и произнес досадливо: — Нужно обязательно, чтобы в каждой шахте была аптечка первой помощи. Надо поставить об этом вопрос в ревкоме, — и потом похвастался: — Благодаря очкам я не повредил себе глаз. — Походка у папы была такая, словно он босой шел по битому стеклу. Тиме он заявил строго: — Пожалуйста, не делай несчастного лица.

Лучшее средство после незначительных ожогов — раствор марганцовки.

Папа стоял голый на табуретке, чтобы Серафиму Игнатьевичу не нужно было нагибаться, и Знаменский обвязывал его бинтами, сквозь которые проступали фиолетовые пятна марганцовки.

Доктор ругал папу и называл его мальчишкой. Лицо у папы раздулось, глаза стали как щелочки. Но когда бинтовали голову, папа беспокоился, чтобы бинтом не прихватили его бородку и оставили ее выпущенной наружу.

Однажды папа сказал маме, глядя на себя в зеркало:

— Ты не находишь, Варенька, что борода у меня, как у Некрасова?

Мама взглянула мельком и произнесла иронически:

— А других его качеств ты у себя не обнаружил?

Сейчас лицо папы было обмотано бинтами, но бородка по-прежнему упрямо торчала наружу.

Несколько дней папа лежал в постели.

Держа, как Знаменский, книгу на груди, папа подозревал Тиму и сказал:

— Если ты человек наблюдательный, то ты не мог не обратить внимания на то, что после отпалки шпуров шахтеры по нескольку часов дожидаются, пока в забое рассеются ядовитые газы.

— Ну и что? — спросил Тима.

Папа продолжал задумчиво:

— Все свободное время я размышлял над этим фактом. У меня возникла мысль, что от пара будет быстрее происходить дегазация и, значит, можно быстрее вести проходческие работы, — и заявил: — Надо попробовать, и незамедлительно.

— Ты же на мумию из-за бинтов похож, — сказал Тима сердито. — А если снова ошпаришься, на тебе кожи здоровой не останется. Сам говорил: человек кожей дышит тоже.

— Молодец! — одобрил папа. — У тебя неплохая память, — и стал медленно одеваться, стараясь при этом не морщиться от боли.

Но Опреснухин решительно запретил папе лезть в забой.

Теперь папа в грязных бинтах сидел вместе с Тимой в откаточном штреке и ждал, пока Степан Бугаев слазит в респираторной маске после отпалки в забой и принесет сосуды с взятыми пробами воздуха.

Каждый раз Степан, бережно передавая сосуды, говорил удивленно:

— Нес пустые. И принес пустые. А по-ученому они, выходит, не пустые.

Подвели паропровод к проходческому забою. И снова собрались в штреке шахтеры. И снова они сидели молча, с озабоченными, ожидающими лицами. Болотный сказал папе:

— Вот ребята говорят, человек ты сочувственный нам. А почему такое, сомневаются. Говорят — может, ты просто чудака какой.

Папа рассердился, очевидно, за слово «чудака», и стал громко рассказывать о том, как Ленин давно решил облегчить труд горняков. Слушали папу напряженно, сдвинувшись вплотную, и слышно было, кроме папиных слов, только, как журчала вода в канавах и потрескивал под ногами шахтеров штыб. А папа говорил о том времени, когда угольный газ будет двигать машины, отапливать дома и все люди станут меньше работать оттого, что самую тяжелую работу за них будут совершать машины.

Когда папа кончил говорить, все шахтеры стояли в прежних позах, неподвижно, молча, и только один Болотный, подняв вверх лицо, глядя на кровлю с выпученными потрескавшимися обаполами, покрытыми мертвой плесенью, произнес шепотом:

— Значит, вот оно какое небушко над нами теперь светит. Ну, спасибо тебе, товарищ Сапожок, — и, обращаясь к шахтерам, сказал сурово: — Да за такое не то что с обушка, а зубами уголек хватать надо, коли его сейчас с нас просят.

Глухо ухнули взрывы в забое, тугая, едко пахнувшая воздушная волна подняла черные тучи пыли. Но никто не пошевелился. Только Степан Бугаев, взяв сосуды под мышку, неохотно побрел к забою. Респираторная маска висела у него на кожаных ремнях. Натянув ее на лицо, он убыстрил шаги и вскоре скрылся из виду.

Вернулся Бугаев очень скоро. Маска болталась на груди; размахивая сосудами для проб воздуха, он заявил торжествующе:

— А я как ходок миновал, маску скинул, чтобы нос был свободный: хотел понюхать, как после пару — шибко угарно в забое или ничего, терпеть можно, и так с голой рожей в самую грудку забоя и уткнулся, ничего не учуяв. Значит, нет совсем угару. Я и посуды марать не стал, раз нет угару. Зачем же их марать зря? И так все ясно.

Папа упрекнул Бугаева:

— Вы, Степан, не только легкомысленный, но и недисциплинированный человек. Это нехорошо.

И пошел со всеми нюхать забой после выпалки и очистки его паром.

Несмотря на то что в забое теперь не очень сильно пахло угаром и шахтеры после отпалки работали быстрее, чем раньше, папа продолжал вести исследование воздуха, стараясь точно установить, каких результатов удалось достигнуть, применяя пар для дегазации. Но то ли оттого, что не хватало каких-то химикалий, то ли оттого, что болячки после ожога стали мокнуть и гноиться, папа часто ронял сосуды, и дело у него подвигалось плохо.

А тут еще Сухожилин сообщил, что применением пара для обесшугивания и дегазации заинтересовался член ревкома соседнего рудника, бывший студент Технологического института Мартынов, и что он даже собирался приехать на Капитальную. Папа от всего этого очень нервничал.

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Инженер Асмолов взялся руководить работами по новой проходке после того, как ему доставили письмо от жены и он узнал, что дома у него все благополучно. Совет управления копиями вынес решение платить Асмолову две тысячи в месяц. Папа сказал, что семье Асмолова отправили муку и масло.

Тима спросил:

— А маме?

Папа ответил:

— Маме я тоже отправил посылку, — пощипал бородку и заметил: — Чудесные окаменелости.

И стал обстоятельно рассказывать Тиме о том, как получился уголь. Много миллионов лет назад в Сибири было жарко, все равно как в Индии, а потом климат изменился. Все это Тима и без папы знал по книжкам. И в этой истории его волновало одно: нельзя ли сделать так, чтобы в Сибири погода опять стала такой, как миллион лет назад.

И вот, шагая по штреку к новой проходке, чтобы отдать Бугаеву сосуды для проб воздуха, и рассуждая с папой о том, как было бы хорошо, если б хвощи, перестав быть жалкой болотной травой, стали снова гигантскими деревьями, Тима вдруг заметил, что под ногами у него хлопает вода. Папа опустил фонарь, посмотрел на воду, широко текущую по штреку, и произнес удивленно:

— Да, странно. Действительно вода, — и добавил: — Весной воды проникают глубоко в почву и даже образуют иногда подводные реки. На выходе подводных рек геологи обнаруживают полезные ископаемые и так иногда совершают очень важные открытия.

Но водный поток быстро подымался все выше и достигал уже колен. Внезапно он вздулся и ударил волной Тиму в живот, отбросив его к стойке.

Папа поднял над головой фонарь, схватил Тиму за плечо и сказал:

— Только не нужно волноваться.

Вода мчалась черной рекой — смердящая болотной цвелью, затхлая и тяжелая. Папа потащил Тиму по течению этой реки, держа высоко фонарь над головой, и озабоченно говорил:

— Вот, брат, искупались мы с тобой, как настоящие шахтеры, — и снова попросил: — Только не надо волноваться.

Где-то в глубине штрека позади них заскрипели стойки, проплыл мимо лапоть, а потом горбыли. Там, где они недавно проходили, что-то глухо ухнуло. Новой водяной волной Тиме поддало в спину, он упал в воду лицом, выронив фонарь. Тима уже плыл, а папа держал его за воротник куртки. Но сам плыть не решался, боясь загасить фонарь. Им удалось выползти вверх по воздушнику, и уже по сухому откаточному штреку верхнего горизонта они побежали к рудничному двору. Сюда тоже натекла черная вонючая вода.

Папа сказал стволowому:

— Увезите, пожалуйста, мальчика.

— А ты? — спросил Тима.

Папа сказал строго:

— Ты забыл, что я медик и мой долг...

Клеть рванулась вверх, и лицо папы в грязных бинтах, с торчащим мокрым клоком бороды, исчезло.

Когда клеть вошла в надшахтное здание, не успел рукоятчик отодвинуть барьер, как толпа шахтеров ринулась в клеть и притиснула Тиму к решетке. Его вытолкнули из клетки с большим трудом, так как никто не хотел выйти, чтобы дать проход Тиме.

В шахтном дворе стояли жители поселка и молчаливо вопросительно глядели на Тиму. Он сказал искренне:

— Я ведь не шахтер. Пошла вода, потом больше... Папа, он медик, остался. А я вот... — и Тима смущенно развел руками.

— Утоплых видел? — спросила женщина с бледным лицом и растрепанными волосами.

Тима ответил честно:

— Лапоть мимо нас проплыл. А потом доска. А люди не от воды бежали, а на воду, — и, пробуя успокоить, объяснил: — Значит, ничего страшного еще не случилось.

— Эх, глупый, — сказала ему печально женщина, жадно глядя на дверцу шахтного ствола. — Разве шахтер бежит от того, что страшно? Он бежит туда, где товарищ погибает. Вот что.

Сторож в сушилке взял Тимину мокрую одежду, развесил, вынес свою, посоветовал подсушить штанины и рукава и сказал задумчиво:

— Раньше, как происшествие в шахте, все кидались начальство бить, а теперь некого. Сами себе властители. — Закурил и проговорил озабоченно: — Раньше как происшествие, начальство сейчас коней запрягать и в гости укатывало, куда подалее. Вот и маркшейдер укатил вчера, — надо думать, не зря, — и сообщил: — Когда господин Ирисов шахтенку затопил, из нее так же цвелою водой воняло. Я на всю жизнь запомнил. Двое сынов у меня в ней утопи. Как же не помнить!

Протяжно, скорбно, почти непрерывно выл гудок на копре Капитальной шахты. А небо блистало свежее, чистое, спокойное.

Возле забора, окружающего шахтный двор, пробилась трава и пахло огурцами. Среди груды ржавых железных обломков росла березка. Ствол ее был кривой, заскорузлый, с черствыми, морщинистыми, как зажившие болячки, наростами, но вся крона дерева — зеленое яблоко из нежных листочков, каждый величиной в мушиное крыло.

Перед железной дверью над стволом шахты стояла очередь горняков, прибежавших с других шахт. Сейчас вниз качали только мешки с песком, крепежный материал и толстые стопы полотнищ брезента.

Женщины, дети, старики стояли молча в отдалении от копра и напряженно, сосредоточенно смотрели на обитую ржавым железом дверь. Когда рукоятчик крикнул: «Еще мешков с песком требуют», — толпа дрогнула, придвинулась ближе, но вдруг рассыпалась, все ринулись к балке. Руками, досками они нагребали песок в рубахи. Дуся сняла с себя платье и, оставшись только в сорочке и в брезентовых шахтерских штанах, набивала песок платье. Когда притащили тяжелые тюки к шахте, рукоятчик сказал:

— Больше не требуется, — и прикрикнул на горня-

ков: — А вы рожи-то отворотите, — и, обратившись к женщинам, разрешил: — Ничего, вытряхайте прямо тут песок из одежды. А то некрасиво полуголышом-то.

Из поднятой на-гора клетки вышла артель подростков. Ребята вынесли на руках Тихона Болотного и положили его на землю. Доктор Знаменский не мог нагнуться к нему. Болотного подняли на руках. Доктор прижался ухом к его груди, потом потрогал пальцем веки, сказал горько:

— Какой человек был, а?

Болотного снова положили на землю. На распахнутую грудь Тихона выполз мокрый мышонок. Какая-то женщина, сдернув с головы платок, хотела было с отвращением сбить его, но Тима успел схватить мышонка и, держа в горсточке, словно птенца, упрекнул:

— Он Болотного столько раз спасал, а вы бить.

— Господи, — воскликнула женщина, — мышь живой, а человека нету, — и зарыдала.

Тяжелые, рыхлые тучи, гонимые ветром, напоздали из тайги. Днища туч низко свисали; были они грязного цвета, словно долго волоклись по болотам, прежде чем выползти на небо... Вьюжно закрутилась на дорогах пыль, и захрипел сухой бурьян на откосах. К Тиме подошел Анисим:

— На вот, отец велел отдать, — и протянул мамин наперсток, который когда-то папа взял себе на память, думая, что он никогда не увидит больше маму.

— Он живой? — тоскливо спросил Тима.

— Целый, — успокоил Анисим. — Лазарет там в рудничном дворе устроил. Кто зашибся — перевязывает.

Из клетки один за другим выходили шахтеры. Мокрые, с серыми лицами, с полузакрытыми глазами, закинув руки на плечи товарищей, они висели между ними так, словно кости у них были перебиты. Шахтеров клали на траву возле забора. Отвернувшись, они судорожно изгибались, терзаемые тошнотой.

Анисим сказал:

— На старую шахту напоролись, затопленную. Вода еще ничего, — после, как схлынула, газ пошел. Гнилой, вонючий, будто могилу распотрошили. Сухожилия прибежал заслон ставить. Всех коммунистов вокруг себя собрал и полез в завал. Степка Бугаев один человек восемь вытащил.

— А погибших много?

— Про инженера Асмолова знаю, — неохотно проговорил Анисим. — Его твой отец биштами обвязывал, а он все-таки помер. Ребята рассказывали: как начал забой пучить-

ся, ползти из каждой щели в породе, аж на две сажени вода полосами хлестала и дробленый камень выбрасывала, словно выпаливала его. Ребята поначалу щит стали ладить, стойками подпирать, а потом как наподдало, так всех в проходку повыбивало. Шахтеры стали Асмолова в восходящий ходок подсаживать, а он ни в какую. Уперся, говорит: «Грунтовая вода только». А ему газожог Зайцев, дружок Болотного, говорит: «Нет, ты нас на старую выработку вывел. Помним мы мачухинскую шахту!» И хватать его стал. Но ребята не поверили в такое злодейство. Начали снова заслон ставить, а как опять поддало заслон, инженера об стойки ударило. Но он не захотел уходить. Больше всех старался, вот и убило. Нашу подростковую артель Болотный выводил. Как захлестнуло водой лампы, он велел всем рубахи снять, в жгуты скрутить, за них братья и идти цепью. И повел по ходкам. Мустафьин задним шел и где-то оторвался. Тихон, как вывел нас на верхний горизонт, пошел назад. Мустафьина искать. Нырлял, нырлял в штреке, нашел и поволок по восходящему ходку. Вынес на сухое место, но, видно, ослаб его на себе тащить. Пошел нас разыскивать, да в потемках в скат рухнул. Потом мы пошли его искать. Сначала Мустафьина нашли живого, а потом Тихона — в скате, всего расшибленного. Тут вода снова начала накрывать. Мы Болотного тащили, он еще живой был, когда по воде волокли, да, видно, изошел кровью и помер совсем тихо.

— А почему мышь не утонул?

— Болотный в зубах берестяной туесок с мышом держал, когда плыли. В рудничный двор вышли, вынул туесок из зубов и обратно за пазуху положил, где он всегда мыша носил.

В руке у Тимы лежал теплый, живой комочек, и сердце мышонка мелко и часто стучало в ладони.

— Ничего, что он у меня?

— Ничего, — разрешил Анисим.

— Ты почему рубаху не выжмешь? — спросил Тима.

— А, все равно дождь, — равнодушно сказал Анисим.

Низкое небо, свисая всклокоченными тучами, лилось на землю серой водой. Но никто не ушел, не прикрылся. Люди по-прежнему стояли толпой возле копра и напряженно глядели на обитую железом дверь.

Рукоятчик кричал на отлежавшихся возле заборов шахтеров, которые хотели снова спускаться в шахту:

— Сказано, не требуют людей, значит, нечего на вас зря пар тратить. Ложитесь обратно; потребуют — свистну.

Снова из клетки вышла группа шахтеров. Они добрались до забора и улеглись там. На лицах — нет и следа только что пережитого ужаса. Все они вели себя просто как очень уставшие люди.

Вот плечистый шахтер сидит на земле, положив на поднятые колени руки с окровавленными, отдавленными пальцами, на одном висит на кожице содранный ноготь. Заметив сострадательный взгляд Тимы, шахтер нехотя поднял руку ко рту, перекусил кожицу, выплюнул ноготь и сказал мечтательно:

— Покурить бы!

А вот другой, костлявый, голый по пояс, с белой, словно берестяной кожей, бродит уныло по двору. На голове его чалмой накручена рубаша, и из-под рубахи кровь течет по щеке и за ухом. Он жалуется всем, то и дело поднося руку к накрученной на голове рубахе:

— Ее теперь ежели и с золой простирнуть, все равно рыжие пятна останутся.

Согнувшись, сидит на земле полуголый шахтер, а из его спины Дуся выковыривает вбившийся в рану уголь, и, послушавив листы подорожника, наклеивает их на раны. Шахтер, жмурясь так, словно ему только щекотно, басит одобрительно:

— Ох, и ловкая ты девка, Дуська. Так и лушит, так и лушит, ровно на сортировке.

Ушибленные и раненые неторопливо жуют принесенную из дома еду, время от времени пробуя, можно ли двигать поврежденной рукой или ногой, и только поглядывают на рукоятчика — не позовет ли снова в шахту.

А дождь все льет с серого, словно покрытого сплошным бельмом неба. Топая, как солдаты, и держа на плечах, словно ружья, обушки, кайла, прибыли горняки с соседнего рудника. Ими командовал, по-петушиному вскидывая голову, узкоплечий человек с хитрыми, веселыми глазами, одетый в студенческую тужурку и в широкие брезентовые штаны, франтовато выпущенные на хромовые сапоги. Но рукоятчик сказал ему:

— Хоть ты и сам Мартынов, у нас свой ревком, ему я и послушный. А тебе — нет, — и, наклонившись над стволом, стал кричать: — Эй, там! Качать вам подмогу или погодить?

Приказав, чтобы не галдели, склонился над стволом, приложив ладонь к уху. Потом разрешил благосклонно:

— Ну ладно, валяйте!

Прибывшие шахтеры стали входить в клеть такие же молчаливые и суровые, как и те, что отдыхали, сидя на земле.

— Эти спасут всех? — волнуясь, спросил Тима.

Анисим сердито дернул плечом:

— Мы и сами управились бы. Но не пускать не товарищески, раз столько верст бегом на помощь бежали.

Шахтеры боролись с водой, ставя перемычки, воздвигая за ними баррикады. Камень брали из обрушенных старых выработок. Черная река расползалась по всем штольням нижнего горизонта. Зацепив крюки ламп за верхняк, люди работали молча, неторопливо, будто спасали не себя и шахту, а строили стену дома, в котором им жить. Уложенную неладно глыбу аккуратно и вдумчиво, взыскательно перекладывали, советовались короткими словами. И труд их совсем не походил на иступленную битву за жизнь.

Измощенные, обессиленные, полузадохшиеся, уползали через ходок на верхний горизонт отлежаться, передохнуть во входящей через вентиляционный штрек струе воздуха, чтобы через несколько минут снова спуститься в черную затхлую подземную реку и, захлебываясь гнилым воздухом, передавать друг другу, стоя по плечи в воде, тяжелые глыбы породы.

Когда забутили последний заслон, Сухожилин решил: если вода сорвет его, произвести обвал проходки. Пробурили шнуры, забили их динамитом, вставили короткие запалы. Взяв динамитный патрон, Сухожилин раскатал его в колбаску, обвязал бечевой, чтобы потом этим факелом можно было сразу запалить все бурки, и велел людям уходить.

Все понимали: Сухожилин остается здесь на смерть. Если бы запалки были длинные, тогда можно было бы успеть уйти, после того как они загорятся, но длинные ставить нельзя: если перемычки поползут, нужно сразу обрушивать на них кровлю.

К Сухожилину подошел слепой забойщик Карасев и сказал:

— А ну-ка, Павел, дай сюда твой фитилек.

Сухожилин отстранил его руку.

— Нельзя тебе, Карасев: пока начнешь руками вокруг обшаривать, бурки зальет.

Хлюпая по воде, к Сухожилину подошел другой горняк, тощий, сухой, с запавшими щеками, заявил:

— Мне комиссар по здоровью бумажку выписал. Все равно одно легкое гнилое.

— Одно? — переспросил Сухожилин. — Ну, так это ничего не значит. Другое в запасе целое. — И сурово приказал: — Торговлю прикрываю. Все до ходка, живо!

И долго слушал, как хлюпает вода под ногами уходящих шахтеров. Но когда перевесил поближе к себе лампу, увидел у дверного оклада Степана Бугаева, небрежно привалившегося к стене кудрявым затылком.

— А тебе отдельное приглашение?

Бугаев открыл глаза, сощурился:

— Ты на меня не гавкай, а то суну в воду башкой, остужу и сволоку до ходка.

— Ну, это еще кто кого!

— Не ты здесь спасатель, а я! — твердо заявил Бугаев. — Значит, не становись надо мной — я народом выбранный.

— Я тоже.

Бугаев помолчал, потом спросил:

— А что, Павел Степанович, насчет загробной жизни это точно — не имеется?

— Чего нет, того нет.

— Ну, а вообще для людей получится у нас что или нет?

— Засомневался?

— Да это я только для разговору, — обиделся Степан. — Любите вы будущее описывать. — Спросил шепотом: — А как вы мыслите: Дуська Парамонова за мной на-гора тревожится?

— А что ты ей?

— Рыжая, а все ж ничего... — мечтательно произнес Степан.

— Шел бы ты отсюда, — сердито сказал Сухожилин. — Ни к чему вдвоем тратиться.

— Вот вы и ступайте. — Не дождавшись ответа, предложил: — Давайте метнемся, кому что. Если решка — моя взяла.

Порылся в кармане, щелчком подбросил монету, она шлепнулась на ладонь. Но Степан почти мгновенно накрыл ее другой ладонью.

— А ну покажи, — попросил Сухожилин и ухватил его за руку. Но Степка не разжимал ладони. И оба они, огромные, долго топтались в воде, оказавшись равными по силе.

— Жулик, — сердито отдуваясь, произнес Сухожилин и, отпустив руки Степана, приказал: — Пошел прочь отсюда, жульман, и все!

Степан снова стал к стене и тяжело сопел там, терпеливо снося оскорбления. И вдруг робко заметил:

— Павел Степанович, водица-то, глядите, опала маленько.

Сухожилин посветил фонарем, согласился:

— Значит, сдержали.

— А может, мачухинская шахтенка опорожнилась?

— Может, и так.

— Вот как за разговором скоро время проскочило! — радостно воскликнул Степан.

— Какой с тобой разговор, когда ты жулик!

— Ну, будя словами кидать, — обиделся Степан. — Не на деньги играли, это на деньги нельзя. А на остальное ловчить можно.

Послышались шаги бредущих по воде людей. Держа высоко лампу, подошел Опреснухин, с ним венгр Дукес, горбоносый, с черными выпуклыми смоляными глазами, и белокурый чех Антон Гетцкий.

— Вы чего тут бродите, как водяные? — сердито спросил Степан.

Опреснухин коротко рассказал:

— На западном участке пыль рвануло, крепь начала гореть, а потом и пласт занялся. Заделали заслоном и кирпичной кладкой.

Дукес спокойно заметил:

— Будет еще гореть. Но шахту не тронет. Хорошо замуровали.

— Замуровали, — поправил Сухожилин.

Гетцкий усмехнулся и согласился:

— Да, крепко замуровали, — и, показывая обожженные руки, объяснил: — Тепло было, а теперь ничего.

Дукес обратился к Степану:

— Ты тут уже давно живешь, надо сменку делать. И спички у тебя сырые стали, а мои сухие.

Сняв шапку, он показал лежащий внутри ее коробок и снова надел шапку на голову.

— Нам компании не требуется! — сердито огрызнулся Степан. — И мы огонек не в кармане носим.

Он тоже снял шапку и показал лежавшую в ней большую медную зажигалку.

Гетцкий осветил лампой стены:

— Уходит водичка. Можно на-гора — сохнуть.

Дукес подошел, тщательно оглядел каменную кладку заслона, одобрил:

— Ничего, красиво.

Они вышли в продольный штрек верхнего горизонта, где отдыхали лежа шахтеры, и вместе с ними побрели к стволу.

Вдруг Степан остановился и сказал:

— Эй, шахтерня, а что, ежели угольком объявить, что копь спасенная?

Сухожилин подмигнул Опреснухину:

— Верно, лучше всякого митинга.

— Это будет даже красиво, — обрадовался Дукес.

Антон Гетцкий поддержал его:

— Пускай пожар, пускай вода, а мы даем революции уголь!

Шахтеры заговорили все разом:

— Правильно, погреемся!

— И у баб слезы просохнут, когда увидят — уголек пошел. Дело ясное.

Шахтеры, разбирая инструмент, согнувшись, поползли в ходок к забою.

Сквозь просветы в облаках прорезывалась луна, а иногда в зияющие промоины высыпали бесшумно звезды, и тогда черные лужи начинали светиться голубовато, трепетно.

Жители поселка не расходились с шахтного двора. Только дети да старики улеглись на рогожах под навесом копра. А все, кто был в силах, стояли и смотрели на его железную дверь.

Когда огромное чугунное колесо на копре закружилось и толстый замасленный канат пришел в движение, все люди придвинулись к шахте, даже те, кто спал, вскочили и бросились к копру. Но на-гора вышла клеть не с людьми, а с вагонеткой, наполненной сверкающими кусками угля.

В первый момент люди не поняли, что произошло, но тут же отозвались шахтерские их сердца, угадали они замысел своих отцов, сыновей: объявить таким способом родным о спасении шахты. И тогда одни стали плакать, другие обниматься, третьи собирать сонных детей, чтобы вести их домой.

Когда медленный белесый рассвет промыл все небо и за тайгой поднялось теплое солнце, шахтный гудок на копре обычным своим сипатым голосом разразился густым ревом, как всегда призывающим в шахту новую смену. А из клетки выходили мокрые, усталые, измученные шахтеры, все в ушибах и ссадинах, обмотанные черными бинтами, обычной, неторопливой поступью брели в поселок — одни в землянки, другие — в балаганы. А те, кто должен был их

сменять, стояли в очередь возле копра, озабоченно ощупывали инструмент и совещались вполголоса, кому какой уголек сегодня доведется рубать.

Все было так, как будто ничего не произошло. Только лица у горняков суровее, чем обычно. И торопливее, чем всегда, спешат они протиснуться в огромную железную, ржавую клеть.

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ

Тяжелые грозовые тучи лохматой кровлей нависли над тайгой, над рудничным поселком и изо дня в день, из ночи в ночь низвергались ливнями. Вода падала толстыми струями; они шлепали, чавкали, будто в потемках бродили на склизких широких ступнях слепые болотные чудища.

Белопламенные трещины молний раскалывали небо землистого цвета, и мгновенные вспышки их гасли в потоках воды. Лиловые утробы туч, распоротые ударами молнии, вываливали свои внутренности, и переполненные водой балки, овраги, захлебываясь, хрипели в глинистых откосах. Сшибаясь, тучи грохотали обвалами. И казалось, под землю тоже вползало это грозное, сырое небо.

Шахтеры работали на нижнем горизонте Капитальной в воде, в черной слякоти. Вода сочилась со стен, с кровли увесистой каплей. На дальнем западном участке в замурованной штольне продолжал упорно тлеть горящий угольный пласт, и теплый угарный сивый пар растекался по штрекам удушливым зловонием подземного пожара, который может мгновенно объять всю шахту огнем, а может тлеть месяцами и годами. Один заслон был поставлен в штреке от огня, а другой — в проходке, от воды. Оба эти заслона могли быть вышиблены: один — газом, другой — давлением воды. И это угрожало людям смертью. Но люди рубили, наваливали, откатывали уголь со спокойным, злым и сосредоточенным упорством, с каким недавно боролись здесь за свою жизнь, спасая шахту. Они знали, что труд их нужен сейчас не для спасения самих себя и шахты: большая беда нависла над ними, и не только над ними — над всей Россией.

В ту же ночь, когда удалось спасти шахту, Сухожилин объявил горнякам о том, что интервенты вторглись в Страну Советов, зажгли пожары контрреволюционных мятежей.

Над Советской страной нависла величайшая опасность.

Не сегодня завтра горняки должны будут уйти на защиту отечества. Может быть, только часы или совсем немногие дни остались им для того, чтобы дать свой последний уголь заводам России. А его нужно дать, чтобы выплавить металл для боев с врагами. И пусть этот уголь сибирских горняков дойдет туда как присяга на верность революции.

В эти дни все ушли в шахты: и семьи горняков, и те, кто работал на поверхности. Не было смен. Усталые, изможденные отсыпались в шахте на мягких кучах угольной пыли. Зажав в коленях горшки, хлебали щи, принесенные из дому детьми, и снова вползали в забой, чтобы, стиснув зубы, рубать уголь.

Выбились из сил кони. Люди вчетвером откатывали тяжелые вагонетки к стволу, почти не видя друг друга в потемках, часто не зная, кто тебе помогает, и не спрашивая, кто рядом с тобой. Одна тревога: удастся или не удастся провезти этот последний уголек сквозь огонь мятежей и штыки интервентов в Россию?

Брели по колено в черной, затхлой, запертой заслонами подземной реке. В западном склоне задыхались от серного, жирного, чадного газа: горел угольный пласт, — и, проводя ладонью по стенам штрека, нагретым жаром, ощущали, как иссохла от этого подземного огня, как шелушилась шершавой чешуей осклизлая плесень. И жалели ее, словно погибшую в таежном пожаре луговину.

Рядом с отгребщиками, горячими лопатами бросавшими уголь в ящики саночников, сидели на корточках жены шахтеров, старики и руками отгребали уголь. А потом ползли по ходу, подталкивая ящик, или волокли его, ухватившись руками за ящичную цепь. Никто не командовал ими. Они сами нашли свое рабочее место. Многим не хватило ламп, — люди привязали себе на шеи светящиеся в темноте гнилушки, чтобы не ушибить друг друга и не терять зря силы на предупреждающие возгласы.

Когда не хватило леса для крепежа, они, никого не спрашивая, вышли на-гора и разобрали срубы барачных, строившихся взамен гнилых и затхлых землянок. Никто не командовал ими, когда они спускали бревна в ходки, торопя друг друга...

Эти бараки грезились многим как дворцы.

Но ни у одного крепыльщика не дрогнула рука, когда он увидел, из каких бревен ладит сейчас стойку, — эти бревна люди выхватывали из реки, скрежещущей льдом, в дни паводка, и не одному шахтеру угрожала гибель, когда с шестом в руках, словно канатоходец, прыгал он с льдины

на льдину, воткнув багор в бревно, волоча его в ледяном грохочущем бое.

А сейчас бревна, пахнущие смолой, свежие, душистые, резали под землей на куски и торчком ставили под кровлю, чтобы несли они на себе невыносимую тяжесть земной толщи, из которой выбивали стальными зубками жесткую черную угольную реку, чтобы даровать пламя жизни заводам России, когда на нее со всех сторон навалились полчища иноземных войск и вспыхнули мятежи. Враги жаждали палаческой расправы над народом, который за краткие месяцы между войнами, в нищете, бедах создавал прообраз своего будущего существования; и уже виделось совсем близко это будущее, и понятным стало оно, озаренное простой, ясной заботой о каждом, о том, чтобы люди жили лучше, светлее, просторнее — так, как достойно человека.

Начиналась всенародная битва за отчизну. Горняки встречали ее последним своим углем, который, они надеялись, еще удастся отдать родине перед тем, как стать ее солдатами.

Петр Григорьевич Сапожков, в запотевших очках, вылезая из обдутого паром забоя, уносил в стеклянных сосудах пробы воздуха, чтобы оставить описание применения пара для обеспыливания более или менее законченным для тех горняков, которые вернутся на шахты.

Тима записывал в тетрадку все, что говорил ему папа, так как ошпаренные руки отца еще не могли держать карандаш.

Тима знал, что города, где прошло его детство, для него уже не существует. Там власть захватили белые. Но на пароходах и баржах успели уйти те, кто не мог и не хотел оставаться в городе без Советской власти. Курсанты Федора вели бои с офицерской дружиной и солдатами иностранного легиона, отходя к реке, точно высчитывая время, когда закончится погрузка и караван уйдет, и тогда можно будет, уже без скупого расчета за свои жизни, броситься в штыковую атаку, откуда никто не вернется живым.

Но Федор не дал им этого сделать. Он отправил людей вдоль берега к таежной чаще, а сам лег за пулемет, прикрывая отступление отряда.

А мама? Про маму отец сказал:

— Возможно, Рыжиков оставил ее в городе в подпольной группе. У мамы есть опыт; я думаю, партия не отказала ей в доверии и поручила ей эту важную работу.

Да, возможно, что мама Тимы скрывалась сейчас на окраине города в какой-нибудь лачуге у знакомых рабочих.

Вот сейчас она нагревает над ламповым стеклом гвоздь и накручивает на него свои пепельные волосы, чтобы они стали кудрявыми, надевает жакетку, обшитую черной тесьмой, и, покусав сухие губы, чтобы они стали красными, идет нажимать на почту телефонисткой. Ведь в царские времена мама помогала партии, работая на телеграфе и подслушивая разговоры жандармов. Но сейчас в городе ее могут быстро опознать как бывшую большевистскую комиссаршу. Ее, конечно, предупреждали об этом в подпольном комитете, но мама, наверное, тряхнув кудряшками, заносчиво сказала (она ведь очень упрямая):

— Самое главное в первые дни — выяснить, что они собираются делать; тогда мы получим возможность спасти людей. Потом это будет не столь важно.

А может быть, мама плывет на барже, где сложены мешки с мукой из продотдельских складов, и смотрит в свинцово-серую холодную воду, несущуюся к океану, мимо берегов, поросших могучей таежной чащей. И тучи висят над рекой низко-низко, — таким она увидела впервые сибирское небо, шагая в партии ссыльных от одного этапного острога до другого. И, может быть, она думает о том, что теперь им, большевикам, снова придется начинать все сначала. Нет, нет, так она думать не может.

Тима вспоминал почь в ревкоме, когда все не спали, а говорили взволнованно, беспокойно о том, как сделать жизнь лучше. Он вспоминал транспортную контору, коммуна, папину больницу, — ведь все это было только для людей, чтобы добром вмешаться в их жизнь. И где было самое трудное, туда, не жалея себя, шли большевики, голодные, плохо одетые, с опухшими от бессонницы веками. На всех на них после революции, о которой они мечтали, за которую боролись, обрушилась неимоверная тяжесть, и может быть, каждому в отдельности жить стало даже хуже, труднее. А они, словно не замечая этого, еще более жестко требовали друг от друга сурового, безмерного труда и непоколебимо подчинялись строгим словам партии: «Так надо». Но зато после революции их стало больше. Вот те, кто вступил в партию на конном дворе, чтобы всю жизнь состоять в ней, — сколько таких по всей земле! Разве они уступят ее кому-нибудь?! Не будут драться за нее? Тима знал: самое страшное — остаться одному. Но теперь этого никогда не будет. Он не один, а со всеми теми, кто вместе с папой и мамой, кто думает, как папа и мама, и хочет того, чего хотят они.

Вот вчера вечером в ревком пришли подводы и с ними

рабочие золотого прииска, которые пять дней сражались с кулацкой бандой. На подводах лежали раненые. Говоруха, с винтовкой за плечами и с головой, обмотанной кровавыми тряпицами, требовал от Сухожилина, чтобы тот принял от него под расписку пять пудов золота. Но Сухожилин приказал Говорухе пробираться в губернский город, а если в городе белые, то идти тайгой в соседнюю губернию, а если и в соседней губернии белые, то хоть до Урала, и там сдать золото Советской власти.

— Ты мной не командуй,— рассердился Говоруха,— бери золото, а то свалю в шахту, и дело с концом.

— Не я тобой командую, а партия,— сказал Сухожилин.— Партия тебе велит золото до места везти. И точка.

После этих слов Говоруха только дал папе перебинтовать себя чистыми бинтами и снова, сев на телегу вместе с Вавилой и другими приисковыми рабочими, уехал в тайгу, и тяжелые струи ливня хлестали их по плечам, а телега вязла в почве по ступицы и колыхалась в жирной воде, словно утлый плотик.

Когда они уезжали, Сухожилин, глядя им вслед, сказал:

— Довезут: шахтеры! Народ твердый, хоть всю землю придется протопать, а доведут.

Пыжов принес Сухожилину планы приисков и образцы найденных им пород.

Сухожилин спросил задумчиво:

— Почему бы вам не задержать их у себя до времени?

— Видите ли,— замялся было Пыжов,— здесь огромные ценности. И для будущего развития края они имеют...

— Понятно,— прервал его Сухожилин и, протягивая осмоленный мешок Пыжову, приказал: — Держи и сохраняй сам пока. Вернемся, тогда вместе поглядим, что к чему, а сейчас нам некогда. Так что береги, дорогой.

И сейчас Пыжов, помогая папе обдавать паром забой, говорил озабоченно:

— На приисках мне удавалось размывать водяной струей довольно твердые породы. Это подтверждает, что добыча угля может вестись подобным способом. Допустим, если б сейчас у меня в руке был шланг не с паром, а вода под высоким давлением, мы могли бы убедиться в эффективности этого способа.

Папа крикнул ему:

— Отлично, если будет заседание ревкома, вам следует кратко информировать об этом на будущее. А если вас сейчас не смогут выслушать, не забудьте напомнить о своем способе при первом же подходящем случае.— И добавил

с сожалением: — Знаете, очень обидно, что приходится в силу сложившейся обстановки временно отказываться от многих прекрасных революционно-технических идей, которые могли бы радикально облегчить труд человека.

Опреснухин, махая лампой, кричал, чтобы все подавались на-гора грузить уголь в порожняк.

В угрюмых сумерках ливня на раскисшей земле, залитой водой, было не лучше, а хуже, чем под землей. Уголь грузили поспешно, навалом; из деревянных желобов вместе с шуршащими потоками угля вырывалась черная от пыли вода и хлестала из железных щелей углярок. Люди работали полуголые, словно в жарком тупиковом забое. И кто-то сказал, чтобы подбодрить других:

— Дождичек уголек отмывает. Еще такого мытенького ни разу не отправляли.

Никто не ответил, потому что разговаривать в этом воздухе, трепыхающемся водой, было так же трудно, как запеть, переплывая реку, взлохмаченную волнами, хлещущими в рот, в глаза, в уши.

Сопровождающие эшелон горняки уселись на угольные кучи платформ, пряча винтовки под брезентовые балахоны и куртки. На последней платформе под укрытием из бересты стоял пулемет с колесами, глубоко врытыми в уголь.

Эшелон ушел, скрылся в водяной мгле без гудка, без прощальных возгласов. А люди снова побрели к копру, чтобы рубать, отгребать, откатывать уголь для другого, последнего эшелона.

Его грузили ночью. Плеск воды, шуршание падающих глыб, хриплое дыхание невидимых людей, лязгание лопат и почти полное молчание всех работавших...

С охраной последнего эшелона ушли Алеша Супырин, Вася Лепехин, Анисим Парамонов и старшим над ними забойщик Краснушкин, у которого в деревянном сундуке лежали связки динамитных патронов с короткими белыми запалками из бикфордова шнура. Этому последнему эшелону не дали пулемета. Но каждому из охраны выдали по восемь фунтов динамита для самодельных бомб.

Дуся, с мокрыми медными волосами и бледным острым личиком, облепленная сырым платьем, обходила ребят.

— Смотрите не промочите бомбы-то, а то придется ими только как камнями швыряться.

Анисиму Дуся дала ведро со щами, обвязанное тряпичей, и приказала:

— Не расплескай, а то рот обдерете всухомятку одни сухари есть.

Подойдя к Васе Лепехину, осветив шахтерской лампой свою голову, обычно туго обвязанную платком, сказала строго:

— Ну, гляди. Видал, какая рыжая? — и, усмехнувшись задиристо, заявила: — Сапоги, может, новые зря трепал из-за рыжей-то?

Вася потупился.

— Все равно ты для меня самая наилучшая. — И пообещал: — А про то, какая ты есть, я все тебе в письмах опишу.

И этот эшелон ушел в трепещущую темноту...

И только кто-то, стоя на углярке, долго махал шахтерской лампой. Словно светлячок метался в черноте ночного мрака, пропитанного потоками воды.

Люди разбредались с террикона усталые, измученные, но никто не знал, надо ли еще рубать уголь или малость погодить, узнать, проскочили ли эшелоны? Пошли спрашивать к Сухожилину.

Тот потер мокрое лицо ладонями, произнес неуверенно:

— Так что ж, на всякий случай, кому еще вмочь, порубать можно, а выдадим на-гора или нет, поглядим.

Одни побрели в шахту, другие, вконец обессиленные, — в землянки и балаганы. Только Дуся все еще стояла на путях, опустив руки и глядя в ту сторону, куда ушел последний эшелон.

Людям не удалось доспать эту ночь. Чуть забрезжил рассвет, как тоскливо и протяжно прозвучал шахтный гудок, к нему присоединился другой, третий. Люди шли, но не к шахтам, а к террикону, к подъездным путям, на которых стоял вернувшийся последний эшелон, доверху нагруженный углем. А на угольных буграх лежали Алеша Супырин, Анисим Парамонов и Василий Лепехин. Лицо Лепехина прикрыто шахтерской тужуркой, а босые ноги удивительно белые.

Эшелону не удалось прорваться.

Сопровождавшие его люди могли спастись, бросив уголь, и, соскочив с платформ, скрыться в лесной чаще. А они стали драться за этот уголь.

Сначала бились врукопашную на паровозе, потом спустились на полотно. Пытались, вооружившись самодельными шахтерскими бомбами, взорвать наваленные перед эшелонном телеграфные столбы, но враги успели

соорудить завал и позади. Пятясь, эшелон уткнулся в этот завал. Враги вынесли пулемет на полотно, чтобы повредить паровоз. Алеша Супырин и Василий Лепехин поползли на пулемет с бомбами. Смертельно раненному Супырину удалось добросить свою бомбу до пулемета. Лепехин долго тащил на себе умирающего товарища, но когда увидел, что со всех сторон окружен, сполз в канаву и оттуда дострелял все патроны из своей винтовки, а потом из винтовки Супырина.

Когда осталась последняя динамитная бомба, Василий разобрал винтовки, расшвырял их части, разулся, изрезал ножом сапоги, запалил фитиль и пошел во весь рост. Он успел метнуть бомбу прежде, чем пуля разбила ему голову.

Пока эшелон медленно пятился, проламывая завал, горняцкий отряд отбил тела погибших. Во время этого боя был смертельно ранен разрывной пулей в живот Анисим Парамонов...

Ливень иссяк. В промоинах рыхлых тяжелых туч появилось солнце. Оно тепло светило на кучи угля, где лежали остывшие, отнятые у жизни Алеша, Василий, Анисим. Когда их подняли с угольного ложа, на нем остались капли, глянцевитые, выпуклые, словно смола, вытекшая из черных блестящих глыб. Старый шахтер Болотный называл ее угольной кровью, рассказывал, будто бы ею сочатся пласты после того, как злая порода убивает горняка, дерзнувшего пробиться к самым богатым залежам.

Мерно тоная, к эшелону подошел шахтерский отряд Красной гвардии. Павел Сухожилин оглядел толпу горняков и скомандовал:

— Что ж, товарищи, подсобите очистить платформы под отряд.

Но никто не мог сразу сдвинуться с места, ни у кого не подымалась рука бросать под откос этот уголь, добытый с таким трудом и надеждой.

Тяжко было сваливать этот уголь. Но когда это было сделано, шахтерский отряд расселся в пустые углярки, и эшелон тронулся. Раздуло ветром колючую угольную пыль, и в черном облаке исчез эшелон.

В этот же день из шахт «выкачали» на-гора лошадей и согнали их в загон, окруженный жердями. Покрытые угольной пылью кони были все одной вороной масти. Но когда их выкупали в реке и привели обратно в загон, лошади оказались разномастными.

Командиром шахтерского кавалерийского отряда избрали Краснушкина. Коногоны на митинге же упростили, чтобы их взяли в кавалерию.

Краснушкин, контуженный в бою, плохо слышал. Люди, разговаривая с ним, вынуждены были кричать, а он думал, что лица людей обретают неприязненное выражение оттого, что он остался жив, когда Алеша, Вася, Анисим погибли, и объяснял виновато:

— Я завалы из бревен подрывать сам полез, чтоб эшелону путь очистить, да меня ушибло взрывом. А они увидали — начальство без дыхания, ну и кинулись без команды, — и произнес, словно давая клятву: — Я теперь к врагу до конца своих дней беспощадный.

И Тима вспомнил Краснушкина в забое, когда тот, лежа на боку в узкой щели, дыша сухим чадом угольной пыли, сжав губы, сурово, сосредоточенно рубил пласт и, словно не обушком, а всем телом своим, прорезал черную каленую толщу. Какой же он будет на войне, этот человек, одержимый сейчас гневом и местью?

В каждой землянке висела на веревках постиранная шахтерская одежда. Еще влажную, женщины раскатывали ее скалками. Отряд должен был уходить вечером.

В коридорах Партийного клуба стояли бочки с солониной, квашеной капустой, мешки с мукой, ящики с тюками книг. Здесь же папа под наблюдением доктора Знаменского укладывал в брезентовые сумки медикаменты. И Тима помогал разливать лекарство из больших бутылей в маленькие, насыпал столовой ложкой йодоформ, заворачивал в вощеную бумагу рулончики бинтов и обвязывал их шпатом.

Щелкая на счетах, Краснушкин подсчитывал, сколько чего приходится на долю его отряда, и, косясь на папу, присл:

— Вы нам вдвое лекарств выдайте. Коней подранят, их тоже лечить надо, а на коня побольше, чем на человека, требуется.

Краснушкин вписал в список имущества отряда точильный станок, объявив, что на нем ловчее точить сабли, чем простыми брусками. Переманил из отряда Опреснухина двух слесарей, пообещав дать им телегу, куда они сложат инструмент, чтобы было чем чинить поврежденное в бою оружие. Выпросил на спасательной станции два противопожарных брезента, чтобы соорудить из них госпитальную палатку. Глядя, как деловито Краснушкин щелкает на счетах, высчитывая, какой рацион можно положить на первое время красноармейцам, Тима думал, что все горняки, уходящие на войну, готовятся к ней, как к тяжелой, опасной работе.

Словно в воскресный день, на копрах застыли неподвижно огромные чугунные колеса, и на улицах не было видно ни одного шахтера с черным от угольной пыли лицом.

Последний раз чугунное колесо на копре Капитальной крутилось после похорон в братской могиле Тихона Болотного, Анисима Парамонова, Алеши Супырина, Василия Лепехина и Юрия Николаевича Асмолова. А намогильный холм горняки выложили тем углем, который дали на-гора в знак того, что люди и шахта были спасены.

Когда кончился траурный митинг, Сухожилин обратился к горнякам с трибуны уже не как к шахтерам, а как к красноармейцам:

— Товарищи красноармейцы, есть предложение отработать последнюю трудовую вахту в Капитальной. — Потер ладонью выпуклый, иссеченный озабоченными морщинами лоб и объявил негромко: — Войне срок не указан, а перемильчики, поставленные против воды и пожара, надо так укрепить, чтобы, когда вернемся, шахта целехонькая стояла. Уголек нам сразу же понадобится. — И скомандовал: — Поотрядно построиться! — Выждал: — Шагом — а-арш!

Только небольшая кучка людей осталась у могилы, и все они провожали глазами тесно, плечом к плечу, мерной поступью уходящих горняков, ставших уже солдатами революции.

Когда отряд пересекал рудничную площадь, на дороге показалась подвода. В телеге сидел в грязном брезентовом балахоне Ирисов, рядом с ним — Коля Светличный, держа на коленях винтовку, а позади лежал прикрытый рогожей милиционер Лепехин.

Ирисов низко натянул на брови фуражку и отвернулся.

Коля соскочил с телеги, поставил винтовку к ноге и отдал честь горняцкому отряду. Отряд прошел, но ни один горняк не взглянул на телегу.

Коля подошел к Ирисову и стал что-то говорить ему, показывая рукой на намогильный угольный холм, потом сорвал с головы Ирисова фуражку, бросил ее на землю и наступил на нее ногой.

И в эту минуту в светло-зеленом небе завертелось огромное тяжелое колесо над копром Капитальной, и спицы его слились в одно прозрачное целое. Это значило: клеть с горняками опускалась в шахту «с ветерком».

К концу рабочего дня густо и грозно проревел гудок, и от Капитальной тем же строгим суровым строем шагали шахтеры и только с площади разошлись по домам для последнего ночлега.

Папа пришел из ревкома, когда совсем смеркалось. Он предложил Тиме:

— Тебе не хочется немного прогуляться перед сном?

Вышли на улицу, освещенную луной. Как всегда, терпко пахло углем, но из тайги доносилось влажное смолистое дыхание лиственниц.

Они шли по серой дороге, где в пыли сверкали черными кристаллами обломки угля — их обронили, когда утром носили уголь на могилу погибших. За рудничным поселком после вырубок началась березовая роща. Белые стволы блестели в лунном свете. Папа сел на пенек, вытянул ноги и сказал протяжно, будто счастливым голосом:

— Как хорошо, а?

— Нет, — сказал Тима, — плохо, все плохо, — и, уткнувшись папе в колени лицом, заплакал.

Папа положил ему на затылок руку, ничего не говорил, не утешал и только осторожно гладил по голове. Потом он сказал, словно не Тиме, а кому-то другому:

— Какую высокую меру, чтобы быть человеком, дало нам время, — подумал и добавил: — и сами люди, — и, подняв Тимину голову со своих колен, спросил озабоченно: — Ты видел, какие люди горняки? — Вытер Тиме ладонью слезы и попросил: — Больше не будем, ладно? — и произнес тихо: — Я ведь тоже о ней думаю.

— А я все время! — воскликнул Тима. — Мы хоть вдвоем, а она одна, и ей хуже нашего!

Папа согласился.

— Да, одному — самое трудное. — Наклонился к самому лицу Тимы и спросил: — Ты поможешь мне и маме, а?

— Как? — спросил Тима.

Папа взял Тиму за плечи, прижал к себе и проговорил так, будто Тима на все уже согласился:

— Ты у нас хороший, и ты будешь жить у доктора Знаменского, а потом я или мама за тобой приедем.

И папа так сильно прижал голову Тимы к своей пахнущей карболкой куртке, что говорить стало трудно. Да и пужно ли?

Папа встал, наклонился, поцеловал Тиму в лоб и произнес дрогнувшим голосом:

— Спасибо, Тима. — Снял очки и стал протирать стекла пальцами, что делал всегда, когда сильно волновался.

Вернувшись на квартиру Знаменского, они тихонько прошли в свою комнату и спали в эту ночь вместе на одной койке, тесно прижавшись друг к другу.

Утром папа проснулся первым, уложил в корзину свои

книги, записки. Подошел к Тиме с маминой фотографией в руке и сказал озабоченно:

— Понимаешь, Тимофей, у нас с тобой одна мамина карточка... Так как поступим?

— Я ее и без карточки помню, — сказал Тима, — бери себе... — Отвернувшись к стене, пробормотал: — Ты еще не уходи, а я еще посплю. — Но он не спал. Он плакал и с силой давил губы кулаком, чтобы папа не слышал, как он плачет...

Когда еще не было революции и Тима жил у Витола, он очень тосковал о родителях и считал себя самым несчастным человеком на свете. И Ян советовал ему:

— Если ты будешь думать не только о себе, а о других, которым тоже плохо, тебе сразу станет легче.

— Как же я могу так думать? — недоверчиво спросил Тима.

— А вот так, — объяснил Ян. — Твои родители страдают оттого, что ты один и тебе плохо. И от этого им очень тяжело. Но чтобы им было не очень тяжело, ты должен думать, что тебе не плохо.

— А откуда они узнают, что я так о себе думаю?

— Сегодня не узнают, завтра тоже, но когда-нибудь узнают и тогда скажут: «Напрасно мы так сильно мучались. У нас хороший сын, он умеет быть храбрым даже перед самим собой; и если снова что-нибудь случится, мы будем уже не страдать, а гордиться им».

— Ладно, я попробую, — пообещал Тима.

Ложась спать, он пытался так думать, но у него ничего не получалось, и, все равно тоскуя, он плакал.

Но с тех пор прошло немало времени, и Тима многое увидел, многое понял.

И сейчас он был обязан думать так, как советовал Ян: и за себя и за маму, иначе папе будет невыносимо тяжело.

И Тима, прикидываясь бодрым, весь день помогал папе снаряжать походные аптечки, увязывать в тюки книги для библиотеки шахтерского отряда, бегал по его поручениям то к Сухожилину, то к Опреснухину и подчеркнуто вежливо обращался к Знаменскому.

Но все ближе конец дня. Круглое багровое солнце сползает к темной зазубренной стене таежной чащи, а когда оно скроется, погаснет, ночью уйдет последний шахтерский отряд, и с ним папа.

И все дольше Тима останавливали тоскующие глаза на отце и, пользуясь каждым случаем, старался подойти ближе, коснуться плечом, дотронуться рукой, вдохнуть

всей грудью его запах — запах карболки, кожи солдатского ремня, угольной пыли.

Лицо папы озабоченно. Очень много людей беспрестанно обращаются к нему с вопросами. Ответив, папа каждый раз оборачивается к Тиме и, задумчиво глядя, произносит протяжно одно и то же:

— Вот, значит, так, — и помолчав, жалуется: — Стекла опять я где-то поцарапал, такая неприятность! — И, подняв на лоб очки, долго и вопросительно смотрит на Тиму, пока глаза не заслезятся, потом снова надевает очки и жалуется: — А без очков видимость совсем плохая. — И просит: — Ты уж, пожалуйста, Тима, постарайся стать хорошим человеком, ладно? — И словно извинялся: — Война, понимаешь, явление временное. Жизнь впереди будет замечательная.

Когда они остались совсем одни, отец притянул Тиму к себе, прижал и, целуя в глаза, попросил:

— Когда маму увидишь, поцелуй вот так же... И скажешь... — Папа застеснялся, махнул рукой и произнес: — Ну, впрочем, ничего не говори, она все сама про меня знает, все.

Из коридора Партийного клуба шахтеры-красноармейцы уже вынесли бочки, ящики, тюки с провиантом и снаряжением, брезентовые сумки с медикаментами.

Папа и доктор Знаменский крепко обнялись на прощание, и доктор сказал папе:

— Не беспокойтесь, я Тиму буду беречь, как сына.

Тима вышел с папой из Партийного клуба, пересек площадь рудничного поселка, где черным холмом сверкал уголь. Стараясь шагать в ногу с отрядом, Тима шел со всеми туда, за терриконы, где, лязгая железом, паровоз толкал кирпичного цвета теплушки.

Огромное небо выгнулось над ними и бесшумно сияло звездами. Шахтные копры вздымали ввысь недвижимые гигантские чугунные колеса, черными кристаллами сверкали обломки угля на дороге и хрустели под ногами. По дорогам двигались слабые мерцающие огоньки.

Их было очень много. Это жены и дети горняков шли с шахтерскими лампами, провожая отцов, сыновей, братьев.

И как бы ни было извечно сияние высокого, беспредельного неба, это множество красных огоньков на земле было сейчас самое негасимое.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ

Часть первая	6
Часть вторая	215
Часть третья	547

Вадим Михайлович
КОЖЕВНИКОВ

Собрание сочинений

Том 5

Редактор Т. Х а л и л о в а. Художественный редактор Т. С а м и г у л и н.
Технический редактор В. К у л а г и н а. Корректоры Н. З а м я т и н а,
Т. С и д о р о в а

ИБ № 4199

Сдано в набор 12.11.85. Подписано в печать 19.03.86. А-10561. Формат
84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая».
Печать высокая. Усл. печ. л. 36,12. Усл. кр.-отт. 36,12. Уч.-изд. л. 41,26.
Тираж 100 000 экз. Изд. № III-2261. Заказ № 146. Цена 2 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная
литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный
Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном
комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

Scan Kreyder - 27.02.2018 - STERLITAMAK

2000

11